СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Предисловие

Десятый выпуск ежегодника «Социальная история» позволяет составить представление о том, как изучается социальная история России в нашей стране и за ее пределами.

Новый выпуск Ежгодника открывает раздел, посвященный исследованиям такого «сословия», как российская интеллигенция. Противоположность, полярность оценок его в старой и современной литературе обусловлена не только пристрастиями, симпатиями и антипатиями авторов, но и различными толкованиями самого термина. Авторы раздела размышляют о содержательном наполнении этой дефиниции, описывают повседневность российской интеллигенции разных социальных эпох, размышляют о возможности гендерной экспертизы характерных черт этой повседневности, показывают, насколько она была связана с общим социально-политическим контекстом. Особенно очевидной эта связь предстала в исследовании истории идеологических кампаний 1940-х гг., когда внедренные в общественное сознание идеологические стереотипы и «образы врага» стали основй для организованного «сверху» противостояния «тлетворному влиянию Запада», «раболепию и низкопоклонству перед иностранщиной», и когда орудием такого противостояния были выбраны инспирированные против интеллигенции (как носительницы опасных для властей идей) «разоблачения псевдонауки и псевдоученых».

Следующий большой раздел десятого выпуска посвящен социальной истории российской бюрократии. Обращение к этой теме подтвердило давно известное наблюдение о том, что любая развитая государственность (и российская в том числе) подразумевает сложные формы управления с разветвленной структурой, и чем сложнее эти формы, тем сильнее вкрапления бюрократических извращений. Власть чиновников в России уже два века тому назад сложилась как особая, тайная «власть канцеляристов», определяемая не столько законом, сколько бюрократической практикой. Авторы этой части Ежегодника, анализируя структуры потребления и дохода российских чиновников, видя в них признаки социальной идентификации местной бюрократии России, выявили весьма своеобразные представления о «престижном потреблении» в чиновничьей среде, обнаружили технологии власти региональных и столичных канцелярий. Это позволило им понять социокультурные трансформации, эволюцию роли бюрократии в Российской империи XIX — начала XX в.

«Повседневноведение», история повседневности различных эпох — тема, давно ставшая для новой социальной истории традиционной. Интерес к изучению частной жизни и повседневности людей разных социальных слоев — общая черта многих исследований последнего времени. Ежегодник представляет вниманию читателей два эссе, посвященных теме «жизни и смерти» — об изменении отношения к детоубийству в русской истории на протяжении почти столетия и о ритуалах, связанных с увековечиванием памяти умерших и погибших. Авторы представили собственные размышления по поводу написанного в рассматриваемое ими время интеллектуалами — юристами, медиками, журналистами, своими публикациями сделавшими тему смерти и памяти актуальной, побуждающей к дискуссиям.

Раздел, посвященный истории общественных настроений, открывает статья о том, как российская провинция откликалась на политические перемены бурного, грядущего в «терновом венке революций», 1917 года в России, как воспринимались в то

время населением провинции революционные лозунги и символика. Тема сложности взаимоотношений личности и власти в советский период и отражения этих взаимоотношений в коллективном бессознательном нашли осмысление в научном эссе о социальном иммунитете в годы советской власти. Автор его полагает, что в современной историографии проявления повседневного неповиновения при Сталине (блат, спекуляция, нетрадиционная сексуальная ориентация, алкоголизм, проституция и другие формы поведения, в которых не было осознанного стремления подорвать основы режима) оказались скованы концептуальной цепью с осознанным героическим проявлением сопротивления (коими являются стачка, демонстрация протеста, восстание). Критикуя подобный подход, в рамках которого «сопротивляющийся субъект» стал центральной фигурой в исследованиях сталинизма, а советское общество — неким «массовым партизанским движением», автор предлагает вместе с ним поразмыслить о природе повседневного неповиновения в годы сталинщины, именуя повседневное неповиновение формой сопротивляемости, своеобразным защитным механизмом — социальным иммунитетом, присущим каждому обществу. Автор следующей статьи этого же раздела, предложив исследовать вариации образа коммунизма у советских людей 1950–1960-х гг., поставил вопрос о соотношении представлений о будущем в официальном и неофициальном дискурсах того времени.

Социальная история моды — еще одна тема, весьма ярко и эмоционально представленная в статье о феномене возрождения моды в советском обществе в 1950-х–1960-х гг. Цель повышения качества и разнообразия товаров, сформулированная в хрущевский период, привела к оживленным деловым контактам с французскими Домами мод. В статье изложены предпосылки, аспекты, детали и последствия тех событий. Желание доказать конкурентноспособность и превосходство социалистической моды над капиталистической привели, как доказывается в статье, к созданию жесткой системы предписаний по выбору одежды в соответствии с назначением, сила регламентации которой превосходила во много раз силу воздействия западного модного дискурса в общественное мнение.

Завершают том ставшие уже традиционными публикации рецензий и обзоры тематически значимых для развития направления социальной истории международных научных конференций.

По всем вопросам связанным с подачей и оформлением статьей для публикации в Ежегоднике, а также по предложениям в области рецензирования, приглашаем Вас ознакомиться с информацией выложенной на нашем сайте по адресу:

www.icshes.ru/sh/index.php

СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Интеллигент конца XIX — начала XX века: Проблемы идентификации (к постановке вопроса)

Б. И. Колоницкий

В исторических трудах, посвященных дореволюционной России, почти всегда фигурирует «интеллигенция» — из сочинений, посвященных данному «сословию», можно составить целую библиотеку. Это пестрое собрание книг весьма разнообразно и по своему качеству, и по отношению к предмету описания. Некоторые историки считают русскую интеллигенцию жертвой большевистской революции. Другие исследователи саму эту революцию рассматривают как интеллигентский эксперимент. Одни авторы рисуют идеализированный и романтический портрет «прекрасного класса» — «специфически русской, высоконравственной, бескорыстной и жертвенной интеллигенции», другие же довольствуются злой карикатурой на «класс сумасшедших полуевропейцев», повинных в многочисленных бедствиях своей страны[1]. Противоположность, полярность оценок обусловлена не только пристрастиями, симпатиями и антипатиями авторов, но и различными толкованиями термина «интеллигенция».

Уже к началу XX в. данное понятие широко использовалось для самоидентификации. Так, в 1900 году в связи с 40-летием литературной деятельности Н. К. Михайловского ему было направлено до 520 приветствий, этот праздник превратился в настоящий смотр сил русской интеллигенции. Во многих поздравлениях звучал один и тот же мотив: «Ваш праздник — наш праздник, праздник русской интеллигенции».[2] Авторы многих адресов с гордостью указывали на свою принадлежность к интеллигенции, а в некоторых случаях и подписывались соответствующим образом: так, Михайловскому были направлены приветствия от «Интеллигенции города Чернигова», «Группы интеллигентов-евреев», «Интеллигенции и учащейся молодежи города Харькова».[3]

Неудивительно, что поздравления такого рода направлялись именно Михайловскому. Писатель не без оснований считался одним из «изобретателей» интеллигентской традиции, именно он наиболее ярко сформулировал гордое кредо интеллигенции. В 1881 г. он писал: «… мы — интеллигенция, потому что мы многое знаем, обо многом размышляем, по профессии занимаемся наукой, искусством, публицистикой. Слепым историческим процессом оторваны мы от народа, мы — чужие ему, как и все

---

[1] *Новиков М. М.* Традиции Московского университета // Двухсотлетие Московского университета: Празднование в Америке. Нью-Йорк, 1956. С.26; *Kucharrzewski J.* The Origins of Modern Russia. New York, 1948. P.88. Цит. по: *Nahirny V. C.* The Russian Intelligentsia: From Torment to Silence. New Brunswick, London, 1983. P.3.

[2] *Пешехонов А. В.* На очередные темы: Материалы для характеристики общественных отношений в России. СПб., 1904. С.420.

[3] ОР ИРЛИ, ф.181 (Н. К. Михайловский), оп.3, д.197, 185, 196.

так называемые цивилизованные люди, но мы не враги его, ибо сердце и разум наш с ним». Роль Михайловского и народников в распространении понятия «интеллигенция» необычайно важна. Не они придумали его, но они придали ему новые значения и новый смысл, с тех пор это слово перестало быть просто нейтральным термином. Соответственно затем многие противники народников скептически и критически относились к данному понятию, а сами народники его защищали. Однако в сам Михайловский еще в том же 1881 году воспринимал термин «интеллигенция» как «нескладное» и «неуклюжее» слово, неудачный термин[4].

В том же году В. А. Гольцев, в будущем видный член сообщества «интеллигентов» писал о «неудачном» слове.[5] Герой же романа П. Д. Боборыкина «Перевал», действие которого происходит в 1880-е гг., гегельянец, «человек 40-х годов» говорит о «варварском слове»[6]. Можно с уверенностью предположить, что автор, имевший репутацию «романиста-репортера», гордившийся репутацией «фотографа» новых и важных общественных явлений, считавшийся крестным отцом термина «интеллигенция», не случайно упомянул об этом высказывании. По-видимому, для него оно было «типичным»[7].

Отчего же Михайловский и другие интеллектуалы той эпохи стали использовать «неуклюжий» и «неудачный» неологизм для самохарактеристики, а затем и создали вокруг него целую традицию? Очевидно, на подобный вопрос нельзя дать какой-то один ответ. Но, по-видимому, немалое значение имело и то обстоятельство, что еще в 1870-е гг. консервативная пресса использовала понятие «интеллигенция» в негативном смысле. В 1881 г. «интеллигенцию» атаковала газета «Новое время», предлагавшая русским интеллектуалам идентификацию «буржуазии». Это предложение было воспринято как вызов «обществу». В условиях наступления реакции Михайловский и некоторые другие интеллектуалы просто вынуждены были «поднять перчатку» и защищать «интеллигенцию» — новое слово и новую субкультуру.[8] По-своему создавали и распространяли идентификацию «интеллигенции» не только П. Д. Боборыкин и Н. К. Михайловский, но и М. Н. Катков и А. С. Суворин—использование понятия и в негативном значении способствовало тиражированию термина, а атаки на «интеллигенцию» провоцировали появление текстов, весьма важных для интеллигентской традиции. Кроме того противники «интеллигенции» нередко оперировали теми же парами оппозиций, что и патриоты «интеллигентской» традиции: «власть — интеллигенция», «народ — интеллигенция».[9]

---

[4] *Михайловский Н. К.* Записки современника // Сочинения. Спб., 1897. Т.5. Стб. 508, 538, 540.

[5] Московский телеграф. 1881. 27 октября.

[6] *Боборыкин П. Д. Перевал // Боборыкин П. Д.* Собрание романов, повестей и рассказов. Спб., 1897. Т.7.С.257.

[7] Показательно, что почитатели именовали Боборыкина «талантливым изобразителем современной русской жизни», «чутким бытоописателем». ОР ИРЛИ, ф.29 (П. Д. Боборыкин), оп.1, д.100 (Поздравления по случаю 40-летия литературной деятельности), л.11, 37, 54, 93.

[8] *Н. Ш.* Очерки русской жизни // Русская мысль. 1890. № 2. С.155–170.

[9] *См.: Колоницкий Б. И.* «Интеллигентофобия» в конце XIX — начале XX в.: К постановке вопроса // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX–XX века: Сб. статей памяти Валентина Семеновича Дякина и Юрия Борисовича Соловьева / Отв. Ред. А. Н. Цамутали. СПб., 1999. С.266–275.

Болезненность вхождения нового слова в русский язык отразилось и в мемуарах образованных современников, явно противопоставлявших себя «интеллигенции». Многие консервативно настроенные интеллектуалы с презрением относились к термину «интеллигент» и не применяли его для самохарактеристики[10]. С. Е. Трубецкой вспоминал: «... быть «культурным человеком» было хорошо, но слово «интеллигент» было столь же мало похвально, как и «чиновник»... Все это вошло в подсознание еще раньше, чем в сознание». С. М. Волконский, директор императорских театров в 1899–1901 гг., учившийся в университете в начале 1880-х, впоследствии вспоминал: «… образование стало понемногу получать характер чего-то сословного. Эта сторона нашла себе, наконец, выражение в ужаснейшем слове «интеллигенция». Я хорошо помню, когда оно впервые раздалось, это безобразное, выдуманное на иностранный лад, на самом деле ни в одном иностранном языке не существующее слово. Тогда оно имело определенно полемический характер и противопоставлялось «аристократии». Наш брат не признавался за интеллигенецию…». Но, похоже, определение своего отношения к «интеллигенции» было важным, хотя и представляло для интеллектуалов-аристократов немалую трудность. Трубецкой вспоминал: «Я знал многих очень симпатичных интеллигентов, но внутренне интеллигенция всегда оставалась мне ... чуждой (как, очевидно, и я — ей!)»[11]. Показательно, что, если для многих интеллигентов немалую проблему представляло отчуждение интеллигенции от народа и (или) от власти, то и отчуждение от «интеллигенции» становилось темой размышления какой-то части российских интеллектуалов-аристократов. Это само по себе свидетельствует о развитости интеллигентской традиции, о ее влиянии даже на тех современников, которые противопоставляли себя интеллигенции.

Термин «интеллигенция» не без трудностей укоренился в России. В «Объяснительном словаре иностранных слов, употребляемых в русском языке», который был выпущен в 1859 г., он еще отсутствует. Однако он использовался все чаще, появляется в печати, обозначая людей образованных. Понятие стало описываться и в словарях. Если в словаре 1866 года оно описывается как «мыслительная сила», дается перевод французского слова intelligence, то в словаре Даля отражается уже новое, «русское» значение слова.[12]

Вскоре понятие появляется и в заголовках публикаций, интеллигенция т. о. становится основным объектом описания в соответствующих текстах. Так, уже в 1870-х гг. его весьма часто использует писатель Н. В. Шелгунов.[13] Однако это отличает его

---

[10] *Лейкина-Свирская В. Р.* Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М., 1971. С.5.

[11] *Волконский С. М.* Мои воспоминания: в 2-х т. Т.2: Родина. М., 1992. С.51–52; *Трубецкой С. Е.* Минувшее. М., 1991. С.49, С.54.

[12] *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1994. Т.1. С.351–352.

[13] *Шелгунов Н. В.* Неудавшаяся «Беседа» и задачи интеллигенции // Дело. 1871. № 5; Его же. Бесхарактерность нашей интеллигенции// Там же. 1873. № 11, 12; Его же. Теперешний интеллигент // Там же. 1875. № 10; Его же. Серединный интеллигент // Там же. 1875. № 10; Его же. Косность нашей интеллигенции // Там же. 1877. № 9; Его же. Народ и интеллигенция, как их характеризует «Русская мысль» // Там же. 1880. № 4; Опыты с магдебургскими полушариями, производимые нашей интеллигенцией // Там же. 1880. № 10. См.: *Бенина М. А.* Журнал «Дело» (1866–1888): Указатель содержания. СПб., 1993. Вып. 1–2. С.124, 191, 193, 237, 285, 343, 357.

индивидуальный стиль, другие авторы журнала «Дело», в котором он сотрудничал, начинают подготавливать публикации, специально посвященные интеллигенции, лишь в начале 1880-х.[14]

Слово проникало в обыденную речь и рекламу. В начале XX века «объявления о знакомстве» в периодической печати упоминают об «интеллигентных дамах», девушках с «интеллигентной внешностью»: «Интеллиг. милов. веселая особа ищ. места по хозяйству к один. солидн. господ. Согл. в отъезд»; «50 руб. в месяц пред. молодой интел. особе, обязат. присл. фотогр. карт.»[15] «Интеллигентность» начинает пользоваться спросом и в этой сфере жизни.

Вскоре термин пришел и в западные языки, уже в русифицированной форме, принося в иные языки те значения, которые он приобрел в России. Наряду с некоторыми другими словами, характеризующими колорит русской жизни, не требовал, казалось бы, перевода: «Прежде англичане из русских слов знали только zakouski и pogrom, теперь знают еще intelligentsia. Все равно, как у нас все знают: если англичанин, значит контора и футбол», — говорил персонаж романа М.Алданова[16]. Соответственно, и в западноевропейских странах слово «интеллиджентсиа» стало использоваться для характеристики известных слоев общества, существовавших ранее терминов «образованные классы» и «либеральные профессии» было недостаточно.[17]

Однако частое и вольное использование одного и того же понятия лишь создавало (и создает) иллюзию взаимного понимания. Участники многочисленных дискуссий об интеллигенции уподобляются толпе, забавляющейся некой игрой, при этом все игроки используют свои собственные правила. В такой ситуации полемизирующие стороны могут с полным основанием считать себя правыми. Каждый участник дискуссии просто обречен в этой ситуации на успех…

Уже поэтому можно с уверенностью предположить, что спор о «русской интеллигенции» продлится еще очень долго.

Но не придаем ли мы чрезмерное значение интеллигентским текстам, полемике публицистов? Ведь обостренное самосознание интеллигентов, тщательно зафиксированное в многочисленных письменных памятниках, часто деформирует историческую память потомков. Они вынуждены смотреть на прошлое, прибегая к помощи интеллектуалов ушедшей эпохи, уподобляясь туристам, которые, попав в незнакомую страну, вынужденно доверяют гидам и переводчикам. Не монополизирует ли российская интеллигенция историю начала XX века? Не является ли вся полемика о русской интеллигенции, лишь колоритным эпизодом, обросшим литературой?[18]

Для ответа на этот вопрос мы, в частности, должны понять для описания каких процессов этот термин описывал, какие функции выполняла данная идентификация.

---

[14] *Онгирский Б. П.* Интеллигенция, народ и буржуазия // Там же. 1881. № 12; *Станюкович.* Толки об интеллигенции // Там же. 1882. № 1; *Кольцов И.* [Тихомиров Л. А.]. // Там же. 1882. № 4. См.: *Бенина М. А.* Журнал «Дело»… С.378, 380, 384.

[15] *Пешехонов А. В.* В темную ночь. СПб., 1909. С.176.

[16] Алданов М. Ключ. М., 1991. С.52.

[17] Мирский Д. Интеллиджентсиа. М., 1934. С.6.

[18] *О влиянии интеллигенции на историческую память см.: Соколов К. Б.* Мифы об интеллигенции и историческая реальность // Русская интеллигенция: История и судьба. М., 1999.С.160–162.

1. П. Д. Боборыкин об интеллигенции. Интеллигенция как субкультура

Исследователь истории интеллигенции не может игнорировать высказывания писателя П. Д. Боборыкина. Этот известный литератор претендовал на авторство термина «интеллигенция», по его словам он ввел его в оборот еще в 1866 г. Подобная точка зрения нашла широкое распространение в литературе и даже отражена в статьях энциклопедических справочников. Многие авторы считали и считают этого плодовитого писателя «отцом» термина[19]. Приоритет Боборыкина, однако, оспаривался и оспаривается. Указывается, например, что уже В. А. Жуковский использовал это слово еще в 1836 году[20].

Однако существенно, что в начале XX в. авторство Боборыкина признавалось многими. Его именовали «крестным отцом» понятия, а автор статьи «Интеллигенция» в одном из энциклопедических словарей того времени писал: «…слово, пущенное в оборот в одном из романов Боборыкина и, несмотря на свою грамматическую неуклюжесть и логическую расплывчатость прочно укоренившееся в нашем словесном обиходе»[21]. Боборыкин считался авторитетным толкователем термина, признанным хранителем интеллигентской традиции. Подобная позиция была важна для карьеры писателя, его авторитета в литературных и общественных кругах. Он был патриотом идентификации интеллигенции, защищавшим ее идеалы от нападок и ревизий.

Стройной концепции интеллигенции Боборыкин не создал. Иногда под «интеллигенцией» он понимал профессиональных литераторов, а также учителей, профессоров, художников. Однако далеко не все актеры включались им в эту группу[22]. Но чаще он именовал «интеллигенцией» людей, следующих определенным правилам, осознающих себя «интеллигентами».

Особый интерес представляют две статьи Боборыкина, обе они были написаны «в защиту интеллигенция». Первая появилась в 1904 г. в журнале «Русская мысль», она представляла собой сокращенное изложение лекции, прочитанной автором в пользу Пречистенских классов для рабочих. Вторая была откликом Боборыкина на появление «Вех», 17 мая 1909 г. она появилась в «Русском слове», а затем была перепечатана в «антивеховском» сборнике статей.

В обеих статьях проявляется элитарное самосознание интеллигенции и претензия на мессианизм: «самый образованный, культурный и передовой слой общества», «самый просвещенный, деятельный, нравственно-развитый и общественно-подготовленный класс граждан», «…все, чего наша страна достигла в своем поступательном движении, было защищаемо в разных сферах умственного труда русской интеллигенцией»,

---

[19] *Амбарцумов Е. А.* Интеллигенция // Большая Советская Энциклопедия. М., 1972. Т.10. С.311.

[20] *Шмидт С. О.* Этапы «биографии» слова «интеллигенция» // Судьба российской интеллигенции: Материалы научной дискуссии. Спб., 1996. С.45–56.

[21] А.Дж. Интеллигенция // Энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат. М., Т.22. Стб.59–60. Автор статьи в другом справочнике (возможно, им был В. В. Водовозов) был более осторожен: «Слово интеллигенция, для обозначения отдельной социальной группы появилось в 1860-х годах, первоначально в России, введение его во всеобщее употребление Иванов-Разумник приписывает Боборыкину...» В-въ В. Интеллигенция // Новый энциклопедический словарь. Т.19. Стб. 537.

[22] *Боборыкин П. Д.* За полвека (Мои воспоминания). М.; Л., 1929. С.168, 204.

«интеллигенция — «высший культурный слой страны», «И в нашем отечестве она знаменует собою все, что есть у нас самого ценного и, быть может, никогда еще она не была более достойна того, чтобы вокруг нее сплотилась вся масса многомиллионного народа, жаждущего умственного и нравственного света»[23]. В 1909 году Боборыкин был более сдержан, но и тогда он именовал интеллигенцию «истинно-развитым классом русского общества»[24].

По-видимому, элитарное сознание такого типа встречалось часто, можно привести и другие примеры самовосхваления интеллигенции: «Наша великая страна во многом глубоко несчастлива, но одно в ней здорово, сильно и обещает выход и освобождение, — это мысль и порыв ее интеллигенции», — писал Р.Виппер[25]. Д. С. Мережковский именовал интеллигенцию «живым духом России».[26]

Иногда же гипертрофированный культ интеллигенции оформлял ментальность русского мессианизма и формулировался с позиций национального превосходства. Некий интеллигент писал в годы Первой мировой войны, отвечая на вопросы одной анкеты: «Россия, привыкшая преклоняться перед массовой европейской культурностью, не замечает, что всякий истинный русский интеллигент по своему духовному развитию, в силу исключительной универсальности образования стоит неизмеримо выше всякого отдельного европейского интеллигента-специалиста»[27].

В центре субкультуры интеллигенции по Боборыкину — литературный процесс и систематическое чтение: «Если разуметь под интеллигенцией по преимуществу литературу во всех ее отделах, то вряд ли в какой-нибудь европейской стране, в течение XIX столетия, она так потрудилась над прогрессом общества, как в нашем отечестве»[28].

Разумеется, интеллектуалы везде и всегда читают. Однако от «настоящего» русского интеллигента рубежа веков требовалось не только читать определенные тексты, одобренные нормами субкультуры (и, напротив, существовали тексты, которые истинный интеллигент ни при каких обстоятельствах не должен был читать). Именно чтение определенных текстов позволяло «вырваться из обывательской массы», стать интеллигентом. Вокруг этого чтения, в соответствии с этими текстами он должен был строить свою жизнь. Чтение «серьезной литературы», ее обсуждение, «умственная жизнь», составляют важнейшую часть жизни идеального интеллигента, неустанно занятого формированием собственного «мировоззрения». При этом интеллигентское

---

[23] *Боборыкин П. Д.* Русская интеллигенция // Русская мысль. 1904. N 12. С.80–82, 88 (паг.2-я); Его же. Подгнившие «вехи» // В защиту интеллигенции. М., 1909. С.129–135. См. также: *Кемпинский Э. В.* К происхождению понятия «интеллигенция» (Петр Дмитриевич Боборыкин) // Российская интеллигенция в отечественной и зарубежной историографии: Тезисы докладов. Иваново, 1995. Т.2. С.520–521.

[24] *Боборыкин П. Д.* Подгнившие «вехи»... С.132.

[25] Виппер Р. Две интеллигенции... С.25. В обращениях интеллигенцию именовали «лучшими русскими людьми». К русской интеллигенции // ОР ИРЛИ, ф.289 (Ф. К. Соллогуб), оп.6, д.33, л.55.

[26] *Мережковский Д. С.* Полное собрание сочинений: В 24 т. М., 1914. Т.8. С.148–154. Цит. по: *Дмитриевский В. Н.* Художественная интеллигенция и власть: Роли, маски, репутации // Русская интеллигенция: История и судьба. М., 1999. С.303.

[27] Баян В. Письмо от 7 февраля 1915 г. // ОР ИРЛИ , ф.289 (Ф. К. Соллогуб), оп.6, д.33, л.63.

[28] *Боборыкин П. Д.* Русская интеллигенция... С.82 (паг.2-я).

самообразование часто противопоставляется образованию официальному и формальному: «Под интеллигенцией здесь разумеется не группа ученых мандаринов, измеряющих свою умственность количеством полученных официальных дипломов…» О том же писал и Р. В. Иванов-Разумник: «К группе интеллигенции может принадлежать полуграмотный крестьянин, и никакой университетский диплом не дает еще права его обладателю приписать себя к интеллигенции». [29]

Среди интеллектуалов-интеллигентов порой считалось хорошим тоном указать на свои былые конфликты с официальной школой во время получения образования, и даже на свои плохие оценки. В то же время они считали нужным подчеркнуть раннюю интеллектуализированность своего образа жизни, свою приверженность чтению. Один из интеллигентов, потративших впоследствии голы на изучение интеллигенции, вспоминал: «Литературные наклонности пробудились с ранних лет, вследствие чего учение гимназическое шло плохо. ... И в гимназии, и в университете — в ущерб всему остальному — жил умственной жизнью»[30]. И в других источниках школа того времени противопоставлялась «истинному» образованию, которое давала «настоящая» литература, прежде всего русская литература. Удивительно, что так считали порой не только учащиеся, но и учащие. Учителя (!) писали Михайловскому: «Многие из нас, разбросанные по разным глухим местам России впервые ощутили потребность разобраться в окружающей жизни, выработать идеалы, с их высоты дать оценку действительности и наметить свой жизненный путь. Школа не давала в этом отношении нам ничего: спасение было в самообразовании, в жадном знакомстве с литературой, с ее могучими образами, с ее глубокими идеями. Оттуда и только оттуда лился к нам свет». И во многих других поздравлениях, адресованных Михайловскому, школа противопоставлялась литературе. Всячески подчеркивалась роль последней в деле создания русской интеллигенции. Чаще всего среди «благородных наставников» назывались имена Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова, Михайловского и Лаврова, Некрасова и Успенского. Авторы отмечали, что «дипломированную образованность» они не считали признаком интеллигенции.[31]

Боборыкин также считал, что интеллигенцию отличает культ знания и интерес к наукам, она признается «руководящей нитью при выработке миропонимания», интеллигент ценит успехи «прикладных наук позволяющим массе поднять свое человеческое достоинство». В трактовке Боборыкина интеллигенция противостоит «ретроградному лагерю», она выдвигает требование гражданской свободы «как для отдельной личности, так и для общества в его совокупности». Следует отметить, что среди современников Боборыкин имел репутацию «ярого» западника, галломана, собратья по перу именовали его Пьер Бобо. Любопытно, что возможным автором идентификации, считавшейся явно русской, стал носитель подобных взглядов. В первой

[29] *Кудрин Н.* Чем русская общественная мысль обязана Н. К. Михайловскому? // На славном посту (1860–1900): Лит. сб., посвященный Н. К. Михайловскому. Изд. 2-е. СПб., 1906. С.31; *Пешехонов А. В.* Материалы для характеристики русской интеллигенции // *Пешехонов А. В.* На очередные темы: Материалы для характеристики общественных отношений в России. СПб., 1904. С.421; Иванов-Разумник Р. История русской общественной мысли: Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века. СПб., 1907. Т.1. С.2.

[30] Письмо Л. М. Клейнборта С. А. Венгерову // ОР ИРЛИ, ф.377, оп.1, д.1779, л.1.

[31] *Пешехонов А. В.* Материалы для характеристики русской интеллигенции… С.421–422.

статье Боборыкина все интеллигенты — непременно западники (он пишет о «наших западных учителях»), вместе с тем они патриоты, их отличает чувство долга перед нуждами и запросами родины. Другие характеристики интеллигенции — общественная солидарность, уважение к труду. Наконец, для интеллигенции характерна религиозная терпимость, ее отличает «защита свободы совести в религиозной жизни и протесты против векового гнета, который исходил от государственно-полицейского церковного быта» (цитата из второй статьи)[32].

Наконец, интеллигенции присуща позиция и народного заступника, и покровителя, и просветителя народа: «…русская интеллигенция … уже не одно столетие полагает свою душу на просветление народной массы, готова ратовать всегда и неизменно за ее материальное и духовное благо»[33]. Роль просветителя «народа» была типична и для многих «интеллигентов», формально не связанных с образованием. Так, в одной из своих статей А. С. Изгоев писал об интеллигенции как о той части «класса интеллектуальных работников», которую отличает «элемент учительства в широком смысле слова»[34].

Субкультура интеллигенции в трактовке Боборыкина, разумеется, идеологизирована (и, по-видимому, она действительно была таковой). Однако при этом нельзя говорить о том, что интеллигенты при этом подходе были носителями какой-то одной идеологии. Точнее было бы утверждать, что всевозможным идеологиям «интеллигентов» предъявлялись некоторые квалификационные требования, ставились известные ограничители, бывшие своеобразным аналогом современной «политической корректности». Так, А. В. Пешехонов указывал, что во всех поздравлениях по случаю юбилея Михайловского содержались схожие пункты: «Благо личности, как цель, сознательное вмешательство ее в исторический процесс, как средство, общественный идеализм, как двигатель…»[35] Иногда требования к политической позиции формулировались более конкретно. В начале века носитель идентификации идеи «студенчества», связанной с идентификацией «интеллигенции» должен был быть антимилитаристом и сторонником «порабощенных народностей» (в годы Первой мировой войны ситуация изменилась). Разумеется, далеко не все учащиеся высших учебных заведений империи придерживались подобных взглядов, не все они были патриотами субкультуры «студенчества». Можно и здесь говорить об известном аналоге современного явления «политической корректности», которое охватывало и сферу эстетики. Соответственно, групповая цензура и самоцензура, понимаемые разными интеллигентами по-разному, отличали субкультуру интеллигенции. Требования «политкорректности» формулировались весьма жестко.[36]

---

32 *Боборыкин П. Д.* Русская интеллигенция... С.82, 83–84, 87; Его же. Подгнивщие «вехи»... С.134–135.

33 *Боборыкин П. Д.* Русская интеллигенция... С. 88. Во второй статье в качестве важнейшего признака интеллигенции указывается «Демократизм общего настроения, вытекающий из интереса, который подлинная русская интеллигенция всегда имела к судьбе народа, крестьянской массы, а впоследствии и рабочего пролетариата». Подгнивщие «вехи»... С.135.

34 Изгоев А. Интеллигенция как социальная группа // Образование. 1904. XIII. С.85, 86 (паг. 2-я).

35 *Пешехонов А. В.* На очередные темы: Материалы для характеристики общественных отношений в России. СПб., 1904. С.427.

36 Л. И. Лутугин, профессор Горного института, видный член сообщества «интеллигентов», и его единомышленники провалили диссертацию коллеги, который подозревался в «черносо-

Их дополняли и определенные требование к образу жизни. Неудивительно, что интеллигенцию нередко сравнивали даже с религиозным орденом, Сталин, именовавший партию большевиков рыцарским орденом, имел немало предшественников. Так, публицист Д. В. Философов в начале века отмечал: «Весь уклон интеллигентской психологии был de facto строго аскетический. Что такое, как не монашеские ордена, наши подпольные политические партии, представители которых от всех благ ради спасения не себя, а человечества?». А философ Ф. А. Степун позднее писал: «У ордена русской интеллигенции не было определенного религиозного взгляда, но он каждое мировоззрение превращал в религию. Никто не давал никаких обетов, но каждый, присоединившийся к ордену, знал, что это на всю жизнь»[37]. Разумеется, реальная жизнь и революционеров, и людей, считавших себя «интеллигентами», нередко совсем не соответствовало данному идеалу. Однако сам факт существования подобного идеала регулировал отношения в среде интеллигентов, программировал их реакции, организовывал их среду обитания.

Как видим, Боборыкин не сводит интеллигенцию к оппозиционерам, но, вместе с тем, он формулирует кредо сословия необычайно жестко, вне интеллигенции в его понимании остаются и многие «интеллектуалы», и многие «революционеры». Так, в начале века вызов субкультуре интеллигенции был брошен, по его мнению, и народниками, и Л. Н. Толстым, и распространителями идей «ницшеанства», «ницшеанского босячества», «декадентского эстетизма»[38]. Одних он обвиняет в антизападничестве, других — в антиинтеллектуализме, третьих — в аморализме. Вторая же его статья защищает интеллигенцию от нападок «Вех».

Разумеется, многие люди, считавшие себя интеллигентами в начале XX в века, не соглашались со всеми пунктами этого «кредо». Однако в своих статьях Боборыкин все же отражал довольно распространенный подход. Сциентизм и вера в прогресс, просветительство и космополитизм, противостояние самодержавному деспотизму в разных формах — все это, по-видимому, отличало самосознание многих «интеллигентов» различных политических убеждений.

Если для одних авторов рубежа веков (а затем и для нескольких поколений исследователей) интеллигенция — это профессиональная группа, а для других — политическое течение, то «интеллигенция» в трактовке Боборыкина, авторитетного «интеллигентоведа», отождествлявшего себя с интеллигенцией, это скорее субкультура. Следование нормам этой субкультуры требует от носителя данной идентификации ведения определенного образа жизни. Поэтому вполне оправданы современные попытки дополнить традиционное изучение интеллигенции, как социальной группы, исследованиями, предметом которых становится образ жизни интеллигенции.[39]

тенстве». *Фенин А. И.* Воспоминания инженера: К истории общественного и хозяйственного развития России (1883–1906 гг.). Прага, 1938. С.28.

[37] *Философов Д. В.* Слова и жизнь: Литературные споры новейшего времени (1901–1908 гг.). СПб., 1909. С.27; Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. Париж, 1991. С.19.

[38] *Боборыкин П. Д.* Русская интеллигенция... С. 84, 86, 87. Ныне толстовство воспринимается порой как важнейшая часть истории интеллигенции. См.: Иоанн (Шаховской Д. А.) К истории русской интеллигенции (Революция Толстого). Нью-Йорк, 1975. 287с.

[39] *Сабурова Т. А.* Интеллигенция Омска на рубеже XIX-XX вв.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 1995.

«Настоящий», «истинный», «подлинный» интеллигент строго следует писанным и неписаным нормам поведения, это отличает его от «самозванной» интеллигенции, интеллигенции «в кавычках». Тех интеллектуалов, которые не соблюдали соответствующих правил, не строили свою жизнь должным образом именовали «интеллигентными обывателями», «размагниченной интеллигенцией».[40]

Эти нормы описываются по-разному, но, как правило, «настоящий интеллигент» должен заниматься «выработкой миросозерцания», соответственно он регулярно должен изучать «серьезную литературу», он должен иметь представление о произведениях, «знакомых каждому интеллигентному человеку». Провинциальные интеллигенты писали Михайловскому: «Вот почему ни один, вероятно, департаментский чиновник не ждет с таким нетерпением двадцатого числа, с каким у нас ждут последних чисел месяца, когда имеет придти новая книжка журнала с новой статьей любимого писателя, у которого ты привык искать ответа на тот или иной мучительный вопрос».[41] Досуг интеллигента жестко регламентирован неписаным кодом поведения: он непременно должен быть интеллектуализирован — им следует много читать и обсуждать прочитанное, для чего многие из них объединяются в кружки. Он занимается просвещением, активно распространяя нормы, знаки и ценности своей субкультуры.

В одном из своих романов Боборыкин дал ироническую зарисовку быта «интеллигентных» москвичей 1880-х гг. Они постоянно общаются с себе подобными, читают и обсуждают «хорошие» книжки, «штудируют» их, посещают лекции, ведут разговоры «с направлением» — рассуждают должным образом на общественные и моральные темы. Они заняты своим «развитием», которое часто проходит под руководством признанного эксперта, «развивателя» — более образованного человека и, в то же время авторитетного носителя субкультуры. Даже ухаживание следует определенному в этой среде коду поведения, романы развиваются в соответствии с тактикой «интеллигентного сближения»[42].

Итак, интеллигент должен постоянно интересоваться «общественными вопросами». При этом не все интеллигенты сами активно участвуют в общественной жизни активно, однако именно такое поведение признается наиболее адекватным идентификации. Автор современного исследования не без основания полагает, что основным критерием самоидентификации интеллигента было явное или воображаемое участие в общественной жизни. Культуре интеллигенции было присуще единство частной и общественной сфер.[43] Такие интеллигенты, сторонники определенного «направления», именовали себя «передовым отрядом интеллигенции», «активной частью интеллигенции», «авангардом интеллигенции».[44] В то же время другие интеллекту-

---

[40] *Пешехонов А.* Из истории чести и совести (По Гл. И. Успенскому) // На славном посту (1860–1900): Лит. сб., посвященный Н. К. Михайловскому. Изд. 2-е. СПб., 1906. С.80; Рубакин Н. Размагниченный интеллигент (Из частной переписки половины 90-х годов) // Там же. С.327–340.

[41] *Пешехонов А. В.* На очередные темы: Материалы для характеристики общественных отношений в России. СПб., 1904. С.426.

[42] *Боборыкин П. Д.* На ущербе // Собрание романов, повестей и рассказов П. Д. Боборыкина. Спб., 1897.Т.5. С.55, 117.

[43] *Лярский А. Б.* Частная и общественная жизнь петербургской интеллигенции, 1907–1914 гг. (Проблема самоидентификации): Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2000. С.9.

[44] *Кудрин Н.* Чем русская общественная мысль обязана Н. К. Михайловскому? // На славном посту (1860–1900): Лит. сб., посвященный Н. К. Михайловскому. Изд. 2-е. СПб., 1906. С.10–12, 16, 20, 22, 23.

алы, осознающие себя «интеллигентами», но стоящие в стороне от общественной борьбы, ощущают подчас свою ущербность, а политические активисты разного толка именуются ими «передовой частью интеллигенции», «передовой интеллигенцией». Показательно, что слова «интеллигенция» и «общество», «общественность» нередко использовались как синонимы[45].

«Настоящий интеллигент» должен быть также просветителем, культуртрегером, «пионером культуры» — он распространяет «настоящую культуру», он активно содействует экспансии субкультуры интеллигенции, соответствующего образа жизни и норм поведения. Идеал требовал, чтобы истинный интеллигент действовал с пафосом миссионера, приобщая к истинным ценностям культуры все новых прозелитов, модернизируя тем самым общество. Перед таким натиском море бескультурья должно будет в конце концов отступить, и островки интеллигентских кружков станут вершинами новых архипелагов и континентов единой великой культуры. А. В. Пешехонов писал: «Одухотворить же активные силы масс сознательной мыслью — это наша задача, задача русской интеллигенции». [46]

В этом отношении субкультура интеллигенции довольно агрессивна, антиантропологична по своей сути: она претендует на собственную монополию, отрицая подчас идею множественности культур (показательны атаки разных поколений интеллигентов «интеллигентов» прошлого на лубок и массовую культуру). Недостижимый идеал интеллигенции — усвоение ее культуры всем «народом». Грандиозный дидактический культурный проект интеллигентов предполагал, что «прогресс» когда-нибудь приведет к тому, что весь «народ» усвоит культуру «интеллигентов».[47] В ближайшей же перспективе надежды возлагались на появление «народной интеллигенции». П. Д. Боборыкин писал: «…народ …прошел уже в нескольких поколениях тяжелую, но развивающую школу фабричного труда, он успел выработать в своей среде такое меньшинство, которое иначе нельзя назвать как народной интеллигенцией»[48].

Образ жизни влияет подчас на быт и костюм «интеллигента» — студент, только что поступивший в университет, например, может специально заказать одежду с карманами, соответствующими формату «толстых» журналов: «… заказывая пальто, я категорически требовал от портного, чтобы карманы были сделаны по размеру тогдашних толстых ежемесячников: «Русской мысли» и «Русского богатства»».[49]

---

[45] *Новиков М. М.* От Москвы до Нью-Йорка: Моя жизнь в науке и политике. Нью-Йорк. 1952. С.237.

[46] *Пешехонов А. В.* На очередные темы: Материалы для характеристики общественных отношений в России. СПб., 1904. С.356.

[47] Neuberger J. Hooliganism: Crime, Culture and Power in St. Petersburg, 1900–1914. Berkeley; Los Angeles, London, 1993. P.7. В 1924 г. «сменовеховец» Ю. В. Ключников использовал эти идеи для привлечения интеллигенции на сторону большевиков и, в то же время, для защиты права интеллигенции на существование: «Я считаю, что задача заключается не в уничтожении интеллигентов во имя того, чтобы остались только рабочие и крестьяне, какими они представляются сейчас, а в том, чтобы рабочие и крестьянские массы стали интеллигентскими и только интеллигентскими». Судьбы русской интеллигенции: Материалы дискуссий 1923–1925 гг. / Отв. Ред. В. Л. Соскин. Новосибирск, 1991. С.44.

[48] *Боборыкин П. Д.* Русская интеллигенция... С.88 (паг.2-я).

[49] *Новиков М. М.* От Москвы до Нью-Йорка: Моя жизнь в науке и политике. Нью-Йорк, 1952. С.37.

Современники говорили даже об определенной моде, о характерном образе интеллигента. Многие черты этого образа сложились в 1860-е гг. Считалось, что демократические убеждения связаны с отрицанием «буржуазного чванства». От «прогрессивных» людей требовалось известное «опрощение». Мужчины подобных убеждений тогда, как правило, носили бороды, а женщины отказывались от корсетов, распространены были простые черные платья с белым воротничком. Появилась мода на очки, которые ранее женщины не носили. Многие интеллигентки стригли волосы, чтобы «не походить на разряженных кукол». Порой интеллигенты выступали против обычая целовать дамам руки. Современница писала об образе жизни интеллигенции, которая, по ее мнению, составляла «огромную часть» образованного общества Петербурга: «Кодекс этих правил был аскетически суровый, однобокий, и с пунктуальной точностью указывал, какое платье носить и какого цвета оно должно быть, какую обстановку квартиры можно иметь и т. п. Прическа с пробором позади у мужчин и высоко взбитые волосы у женщин считались признаком пошлости. Никто не должен был носить ни золотых цепочек, ни браслета, ни цветного платья с украшениями, ни цилиндра; предосудительным считалось иметь в квартире и дорогую обстановку. Хотя эти правила не были изложены ни печатно, ни письменно, но так как за неисполнение их каждый подвергался порицанию и осмеянию, то тот, кто не хотел прослыть заскорузлым консерватором, твердо знал их наизусть».[50]

Представления интеллигентов об одежде повлияли на историю российского парламентаризма. Так, в канун открытия I Государственной Думы трудовики подняли вопрос о том, что в Зимний Дворец следует явиться в пиджаках. Кадеты уговаривали их «не делать невежливости». Однако многие депутаты прибыли во дворец в пиджаках, которые выглядели совершенно неприличными с точки зрения светского и тем более дворцового этикета. Многие современники рассматривали это как явный символический вызов, психологический раскол между представителями различных политических лагерей углубился. В придворных кругах распространялись слухи о том, что «в пиджаках» явились и кадеты. Последние яростно опровергали данные «обвинения», при этом в качестве доказательства они даже демонстрировали заблаговременно сделанные фотографические снимки этого дня.[51]

«Интеллигентская мода» открывала доступ в одни круги, но признавалась совершенно недопустимой многими представителями российского правящего класса. Среди учащихся элитарных учебных заведений слово «интеллигент» стало презрительной кличкой, обозначающей людей чужого круга. Бывший лицеист вспоминал, что в начале XX века так именовали людей, употреблявших слова: «Извиняюсь», «знакомьтесь», «мадам», «пока». Молодые снобы рассуждали: «Это типичный интеллигент, он не бреется каждый день, ест с ножа и дамам не целует руки…». Столь же сурово судили и многих образованных женщин: «Это не настоящая дама, это интеллигентка, она называет свою фамилию, когда ей представляют мужчин».[52]

---

[50] *Водовозова Е. Н.* На заре жизни: Мемуарные очерки и портреты. М., 1987. Т.2. С.36–38, 207, 436.

[51] *Родичев Ф. И.* Воспоминания и очерки о русском либерализме. Newtonville (Ma), 1983. С.93.

[52] *Любимов Л. Д.* На чужбине. Ташкент, 1965. С.44–45.

Разумеется, со временем моды и обычаи людей, считавших себя «интеллигентами», менялись. В различных районах, у людей с различным уровнем образования и дохода они также весьма отличались. Да и в период расцвета моды 60-десятников многие видные и авторитетные «интеллигенты» избирали иной стиль поведения.[53] Интеллектуалы же эпохи «серебряного века», считавшие себя «интеллигентами», вели образ жизни, резко отличавшийся от идеалов своих предшественников. Однако традиция, сложившаяся в тот период повлияла на формирование идеального типа интеллигента. К тому же порой многие интеллигенты просто вынуждены были следовать аскетической моде «шестидесятников», их скромные заработки просто не оставляли им иного выбора. Порой только приверженность интеллигентской традиции, вера в свою миссию «пионера культуры» позволяли переносить бытовые трудности и культурную изоляцию. Сельская учительница писала: «Спасали от тоски только дети, да осознание того, что учитель — единственный подчас носитель культуры в деревне, просветитель… От кого они больше узнают, кроме меня?». Самосознание такого рода поддерживалось корпорацией учителей, подобные письма, например, печатались в профессиональных изданиях.[54]

Показательно и появление сатирических изображений «типичного интеллигента». Интересно, что такой «типичный интеллигент» — почти всегда мужчина, гораздо больше писалось, например, о «нигилистках», чем об «интеллигентках». Странным образом это обстоятельство не привлекло еще внимания сторонников гендерного подхода: типичный «интеллигент» — это мужчина, сознательно борющийся за женское равноправие [55].

Разумеется, «типичный» интеллигент, столь же типичен, сколь и «типичный аристократ», «типичный купец» и т. п. Но и сам факт появления «интеллигента» в ряду этих типажей показателен. Н. А. Бердяев даже писал о своеобразном «физическом облике» по которому «всегда» можно было узнать интеллигента[56]. Это трудноуловимая способность российского «интеллигента» отделять по малейшим признакам «своих» от «чужих» сыграла немалую роль в отечественной истории. Не следует, разумеется, говорить о какой-либо постоянной интеллигентской «форме», но бесспорно, что в начале XX в. появились определенные стереотипы восприятия «типичного» интеллигента. Игнорирование соответствующей «интеллигентской» моды и, наоборот, попытка следования светской моде могли порой повредить репутации «настоящего интеллигента», помешать успешной карьере в «интеллигентских» кругах. И, напротив, некоторые «профессионалы» своим видом отличались от «интеллигентов». Так, юрисконсульты крупных фирм и банков накануне Первой Мировой войны часто носили серые костюмы и коричневые ботинки, что в то время не было распространено в России среди интеллигенции того времени.[57]

---

[53] Е. Н. Водовозова с некоторым удивлением отмечала, что писателю В. А. Слепцову его «светскость» не помешала стать видным «интеллигентом». Указ. Соч. С.433.

[54] *Friden N. M.* Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856–1905... P.125. О тяжелом материальном положении народных учителей см.: *Смирнов Н. Н.* На переломе: Российское учительство накануне и в дни революции 1917 года. СПб., 1994. С.41–44, 49–54.

[55] Интересно, что писательницы, игравшие важную роль в интеллигентских кругах Петербурга, нередко избирали мужские псевдонимы (А.Тыркова, З.Гиппиус).

[56] *Бердяев Н. А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С.17.

[57] *Ривош Я. Н.* Время и вещи: Очерки по истории материальной культуры в России начала XX века. М., 1990. С.136.

В упомянутых статьях Боборыкина отсутствует противопоставление «интеллигенции» и «буржуазии», которое было необычайно важно для многих интеллигентов рубежа веков.[58]

Михайловский писал уже в 1881 году, отвечая уже упоминавшейся статье «Нового времени»: «Задача русской интеллигенции, между прочим, в том и состоит, чтобы бороться с развитием буржуазии на русской почве».[59] При этом в различных ситуациях различные интеллигенты, противопоставляя себя «буржуазии», использовали различные значения последнего термина. Иногда речь шла о социальном классе, иногда же об иной культуре — подразумевалась оппозиция «интеллигенции» и «мещанства», «филистерства». С. Н. Булгаков писал, что «антибуржуазность» интеллигенции является соединением совершенно различных элементов: «Есть здесь и доля наследственного барства, свободного в ряде поколений от забот о хлебе насущном и вообще от будничной, «мещанской» стороны жизни. Есть значительная доза просто некультурности, непривычки к упорному, дисциплинированному труду и размеренному укладу жизни. Но есть, несомненно, и некоторая, впрочем, может быть, и не столь большая доза бессознательно-религиозного отвращения к духовному мещанству, к «царству от мира сего», с его успокоенным самодовольством».[60]

В литературе начала века этот подход — оппозиция «интеллигенции» и «буржуазии» как главный принцип самоопределения интеллигенции — был представлен в работах Д. С. Мережковского, Р. В. Иванова-Разумника, А. А. Блока. При этом они развивали идеи, высказанные А. И. Герценом и П. Л. Лавровым еще до появления самого термина «интеллигенция»[61].

Однако подобное противопоставление отражало не только идеи, но и уже сложившиеся стереотипы поведения: уже многие «интеллигенты», герои романов Боборыкина, с пренебрежением говорят о «буржуе». Примеры «антибуржуазного» поведения можно найти и при изучении быта интеллигентов — в начале XX века некоторые московские студенты, например, именовали не без презрения «буржуями» тех своих соучеников, которые носили лайковые перчатки, украшали свои жилища картинами [62]. Образ жизни «типичных» русских студентов отличал их от студентов других стран. В. А. Маклаков, пожелавший ознакомится со студенческим движением во Франции, вспоминал: «Примеряясь к нашим обычаям, я искал студентов по наиболее дешевым столовым, рассчитывая их увидеть в бедном и поношенном платье». Привычки, сформировавшиеся в студенческие годы, влияли затем на образ жизни части интеллигентов. Так,

---

58 Об антибуржуазности сознания интеллигенции см. также: *Миронов Б. Н.* Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX века): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб., 1999. С.317–326.

59 *Михайловский Н. К.* Записки современника // Сочинения. Спб., 1897. Т.5. Стб. 515.

60 *Булгаков С. Н.* Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) // Вехи.: Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1990. С.28–29. Оппозиция интеллигенции и «мещанства» важна и для ряда современных авторов, дорожащих репутацией «интеллигента». *Егоров Б. Ф.* Интеллигенция и массовая культура // Русская интеллигенция: История и судьба. М., 1999. С.208–214.

61 *Иванов-Разумник Р. В.* Что такое интеллигенция? // Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. М., 1993. С.73–80; *Мережковский Д. С.* Грядущий хам // Там же. С.81–104; Блок А. Россия и интеллигенция. М., 1918. С.38–39..

62 Иванов П. Студенты в Москве: Быт. Нравы. Типы. М., 1918. С.233.

А. В. Тыркова отмечала, что А. С. Милюкова, жена П. Н. Милюкова, со времен московских студенческих кружков сохранила стремление к «опрощению», которое «придавало ей внешний облик типичной русской интеллигентки». В 1917 г. простые манеры супруги главы российского министерства иностранных дел просто шокировали служащих внешнеполитического ведомства [63].

Манерой поведения и костюмом русские студенты, учившиеся в университетах Германии, весьма отличались от своих немецких соучеников. Это затрудняло их общение. Германский корпорант, отвечая на вопрос о причинах «презрительного отношения» к русским коллегам, заявил: «Мы русских студентов терпеть не можем, они низводят университет с его аристократической традицией с высокого пьедестала и стремятся сблизить его с грязными представителями рабочих кварталов. Они ходят грязно, как рабочие, возвращающиеся с фабрик, да и дружат с последними, точно сами чернорабочие, а не студенты». Со своей стороны русские студенты с презрением относились к «варварским» традициям буршей.[64] Они также с неодобрением отмечали, что немецкие студенты протестовали против появления женщин в германских университетах.[65] Равноправие женщин было важным элементом представлений русских интеллигентов о «политической корректности».

Р.Пайпс утверждал, что верующие интеллектуалы никак не могли считаться «интеллигентами». Подобная точка зрения была весьма распространена, многие интеллигенты открыто бросали вызов религии, традиционной морали. Пешехонов утверждал в 1909 г.: «Мне кажется, что русская интеллигенция, как бы она не хотела этого, уже не может сделаться религиозной; если же она сделается, то перестанет быть интеллигенцией». Его же оппонент П. Б. Струве противопоставлял интеллигентской «идеологи» идею религии. В начале века нередкими были рассуждения о безверии интеллигентов. Проводились специальные анкеты, посвященные неверию интеллигенции, а некоторые городские священники считали своим долгом усилить проповедническую деятельность в образованных слоях. В этих кругах раздавались призывы «идти в интеллигенцию».[66]

При этом порой атеистами считали и тех лиц, которые попросту не афишировали свои убеждения. Впрочем, некоторые «интеллигенты» порой скрывали свою религиозность.[67] Однако вряд ли можно считать всех интеллигентов неверующими — достаточно

---

[63] *Маклаков В. А. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954. С.101; Тыркова А. Памяти А. С.* Милюковой // Сегодня. Рига, 1935. 19 февраля.

[64] *Цит. по: Иванов А. Е.* Студенчество России конца XIX — начала XX века Социально-историческая судьба. М., 1999. С.367.

[65] *Новиков М. М.* От Москвы до Нью-Йорка: Моя жизнь в науке и политике. Нью-Йорк, 1952. С.56.

[66] *Струве П. Б.* Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С.238, 245; *Freeze G.* «Going to the Intelligentsia»: The Church and It's Urban Mission in Post-Reform Russia // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia / Ed. E. W. Clowes, S. D. Kassow, J. L. West. Princeton, 1991. P.227, 230; *Белова Т. П.* Петербургские религиозно-философские собрания 1901–1903 гг. как первый опыт открытого диалога светской интеллигенции и духовенства в России // Проблемы теории и истории изучения интеллигенции: поиск новых подходов (Межвузовский сборник научных трудов). Иваново, 1999. С.43, 47.

[67] Ходили слухи, что геолог Л. И. Лутугин в «обществе» демонстрировал «безбожие», а дома бил поклоны перед иконами. *Фенин А. И.* Воспоминания инженера: К истории общественного

вспомнить религиозно-философские собрания и Религиозно-философское общество. Его участники, считавшие себя «интеллигентами», и считавшиеся таковыми были верующими. Показательно, что в научной литературе деятельность данного общества и другие проекты реформирования православия рассматривается как важная страница в истории интеллигенции.[68] В начале века существовали понятия «церковная интеллигенция», «духовная интеллигенция» (так часто именовали образованных священников) и «околоцерковная интеллигенция».[69]

Порой интеллигенты, формулируя свое кредо, ссылались именно на заповеди христианства. Так, А. С. Пругавин указывал, что «священной обязанностью», «священным долгом» интеллигенции является просвещение народа: «Это долг, завещанный людям всей христианской этикой, всем учением Христа». И многих сельских учителей и учительниц, верующих и неверующих, поддерживала в их деятельности внушенная с юности вера в «святость» своего призвания.[70]

Однако формирование самосознания интеллигенции происходило в условиях кризиса традиционной религиозности. И в литературе нередко отмечалось, что интеллигентская этика по-своему компенсировала отвергнутую веру отцов. С другой стороны многие интеллигенты, отвергая религию, продолжали оставаться в поле влияния религиозной традиции. В этих условиях выполнение мирского призвания (понимаемого по-разному) нередко рассматривалось как жизненное нравственное требование. Так, по мнению С. Н. Булгакова для первых поколений интеллигентов были характерны некоторый пуританизм, ригористические нравы, своеобразный аскетизм, строгость личной жизни, которые, впрочем, постепенно исчезали в следующих поколениях интеллигентов. Он писал, что в речах атеистов ему не раз приходилось слышать «отзвуки психологии православия».[71] Булгаков пишет об интеллигентах, порвавших с Православием, он указывает, что среди интеллигентов первого поколения было много выходцев из семей священников. Однако проблема разрыва с религиозной и национальной традицией была важна и для интеллигентов иных конфессий, которые также вносили свой вклад в формирование традиции русской интеллигенции.

и хозяйственного развития России (1883–1906 гг.). Прага, 1938. С.145. В данном случае показателен сам факт возникновения подобного слуха.

[68] *Scherrer J.* Die Petersburger Religiöös-Philosophischen Vereinigungen: Die Entwicklung des Religiöösen Selbstverstäändnissen ihren Intelligencija-Mitglieder (1901–1917). Wiesbaden, 1973; Scherrer J. Intelligentsia, religion, révolution: premières manifestations d'un socialisme chrétien en Russie, 1905–1907 // Cahiers du monde russe et soviétique. 1976. XVII. no 4. P.427–466; 1977. XVIII. no 1 / 2. P.5–32; *Астафьев А. В.* Русская религиозно-философская традиция в идейных исканиях интеллигенции в начале XX в. // Российская интеллигенция на историческом переломе (Первая треть XX века): Тезисы докладов и сообщений научной конференции. СПб., 1996. С.47–50.

[69] *Останина О. В.* Обновленчество и реформаторство в русской православной церкви в начале XX века: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1991. С.40.

[70] *Пругавин А. С.* Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания. СПб., 1895. С.XIX (паг. 1-я), 85, 410 (паг. 2-я); *Родичев Ф. И.* Воспоминания и очерки о русском либерализме. Newtonville (Ma), 1983. С.53.

[71] *Булгаков С. Н.* Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) // Вехи.: Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1990. С.29.

Дискуссии, важные для самосознания интеллигенции, по своему напряжению напоминали споры о вере. Британский журналист Г.Вильямс, хорошо знавший многих представителей интеллигентской элиты, писал: «Интеллигенция скорее носит характер религиозной общины, чем литературно-научного класса. Ее мировоззрение напоминает пуританство. Она обладает сектантским сознанием и ставит идеалом не спасение индивидуальной души, а спасение всего народа» (следует указать, что сам Вильямс писал со знанием дела — он был сыном протестантского священника и мужем А. В. Тырковой, что делало его своим человеком в некоторых кружках интеллигенции)[72].

М.Вебер с известным основанием писал: «Последним значительным движением интеллектуалов, объединенным если не единой, то во многих важных пунктах общей верой и, следовательно, близким к религии, было движение русской революционной интеллигенции»[73].

Сами интеллигенты нередко именовали свои убеждения «верой». Группа интеллигентов из Можайска писала Михайловскому: «… не как формулированное учение, но как религиозная вера, почерпнутая в юности из ваших книг, вера в историческую роль личности спасала нас от отчаяния…»[74]. К. К. Арсеньев писал: «То состояние духа, против которого восстают «Вехи», представляет своего рода веру — и против него нельзя бороться как против безверия». Н. А. Гредескул описывал «народопоклонство» интеллигенции как «монодеизм», и отмечал, что это миросозерцание по своему типу было «почти религиозным».[75]

Выше отмечалось, что историю интеллигенции вряд ли можно сводить к истории общественного и, тем более, революционного движения. Однако и не следует противопоставлять эти темы. Например, складывающаяся традиция интеллигенции была важным фактором, влияющим на развитие студенческого движения[76]. С другой стороны, сложный комплекс отношений между студенчеством и частью старшего поколения, включавший и комплекс вины перед студенчеством, оказывал воздействие на самосознание интеллигенции. Во многих случая жесткое следование кодексу поведения интеллигенции программировало конфликты с властями, буквально выталкивало молодых интеллектуалов в оппозиционное движение.

2. Интеллигенция и профессиональная этика интеллектуалов

В словаре многих русских интеллигентов рубежа веков слово «карьера» имело негативное значение, сама мысль о карьере именовалась «растлевающей».[77] После революции подобные «антикарьерные» представления интеллигенции были порой преобразованы в критику всей дореволюционной интеллигенции. Так, М. А. Рейснер

---

[72] Цит. по: Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. Париж, 1991. С.19

[73] Вебер М. Социология религии. Типы религиозных сообществ // Вебер М. Работы по социологии религии и идеологии. М., 1985. С.206.

[74] *Пешехонов А. В.* На очередные темы: Материалы для характеристики общественных отношений в России. СПб., 1904. С.430.

[75] Интеллигенция в России: Сб. статей. СПб., 1910. С.6, 13, 14.

[76] *Kassow S. D.* Students, Professors and the State: Tsarist Russia. Berkley; Los Angeles; London, 1989. P.108, 176–177.

[77] Кауфман А. Русская курсистка в цифрах // Русская мысль. 1912. № 6. С.93.

в 1924 г. обличал ее якобы «кастовый» характер. Он заявлял: «Погоня за дипломом, открывавшим доступ в касту, циничный карьеризм — вот специфическая черта этой интеллигенции».[78] В данном случае мифология интеллигенции обращалась уже против нее самой.

В начале века А. В. Пешехонов писал: «Не материальные потребности объединяют отдельные личности и выделяют их под именем интеллигенции в особую действующую группу, а служение идеалу, как синтезу научного знания и постулатов общего блага, правды-истины и правды справедливости. Этот идеализм поддерживает рядовых интеллигенции в их будничной, подчас мелкой и до нельзя утомительной борьбе и работе».[79] Не все лица интеллигентных профессий, разумеется, вели себя подобным образом, но таковым должно было быть поведение идеального интеллигента.

Противопоставление образа жизни «интеллигенции» «буржуазным» ценностям приводило к тому, что некоторые интеллигентные профессии и карьеры воспринимались как недостойные в силу своей «буржуазности» в глазах «интеллигентов». Так, порой учителя отговаривали своих учеников, желавших поступать в техническую высшую школу. С сарказмом они рисовали «мечты студента-техника о всяческих благах, которые сулит инженерная карьера: о чинах автомобилях, заграничных командировках».[80]

Подобная оценка профессии инженера как «буржуазной» отражала определенные стереотипы интеллигентского сознания. Однако, действительно, многие инженеры становились предпринимателями и акционерами, а некоторые дельцы 1870-х годов сделали слово «инженер» чуть ли не синонимом «стяжателя». В то же время многие владельцы семейных фирм стремились, чтобы известное число членов этих кланов получили инженерное образование.[81] В этих условиях статус инженера становился пограничным, он мог быть и профессионалом, и предпринимателем одновременно.

В то же время некоторые инженеры-предприниматели, по крайней мере, в своих воспоминаниях, отождествляли себя с «русской технической интеллигенцией». Так, бывший заместитель председателя Совета съезда горнопромышленников Юга России, член правлений ряда акционерных обществ писал, что «промышленные деятели» начала века весьма отличались от циничных дельцов 1870-х годов: «В их деятельности намечались ясные начала общественного творчества, выраженные в устремленности к строительству промышленного «целого». Этой стороной своей деятельности они соприкасались с основными свойствами русской интеллигенции, окрасив эти свойства реальными чертами практической работы, чего часто так недоставало нашей интеллигенции». С гордостью он писал о своей профессии как о интеллигентном призвании: «Мы, не наследственные профессионалы-промышленники, а представители разных слоев русской интеллигенции, может быть одни из первых, в историческом ходе раз-

---

78 Судьбы русской интеллигенции: Материалы дискуссий 1923–1925 гг. / Отв. Ред. В. Л. Соскин. Новосибирск, 1991. С.15.

79 *Пешехонов А. В.* На очередные темы: Материалы для характеристики общественных отношений в России. СПб., 1904. С.430.

80 *Цит. по: Иванов А. Е.* Студенчество России конца XIX — начала XX века: Социально-историческая судьба. М., 1999. С.44.

81 *Добрынин В. В.* Формирование инженерного корпуса до Октября // // Российская интеллигенция в отечественной и зарубежной историографии: Тезисы докладов. Иваново, 1995. Т.1. С.211.

вития нашей интеллигенции, нашли пафос в хозяйственном созидательном труде». Показательно, что себя и своих коллег он именовал «новыми людьми», используя термин, весьма распространенный в интеллигентских текстах эпохи. Однако он же отмечал, что некоторые врачи относились к инженерам свысока, считая их «слугами капитала», «эксплуататорами», чуть ли не «рабовладельцами». Мягче, с известным сочувствием, отнеслась к мемуаристу С. А. Толстая: «Управляете рудником… Ну что-ж, надо же как-нибудь зарабатывать свой хлеб». Автор воспоминаний признавал, что подобное высказывание вполне соответствовало «духу эпохи». С горечью он писал: «… современная русская общественность ни в какой форме не проявляла к нам даже своего интереса. Промышленные, вообще хозяйственные достижения вовсе не интересовали современную нам интеллигенцию». Но интересно, что и он даже в своих мемуарах именовал политических радикалов «передовой интеллигенцией», считая их авангардом или ядром данной группы, к которой себя причислял. [82]

Некоторые же профессии вполне соответствовали представлениям об идеальном интеллигенте рубежа веков: народный учитель, земский врач, земский статистик. Так, А. В. Пешехонов, защитник и хранитель интеллигентской традиции, писал, «что в земском деле искали и находили себе исход лучшие стремления русской интеллигенции…» [83]. Идеализированные образы земского врача и народного учителя играли большую роль в развитии самосознания русской интеллигенции.

На выбор профессии будущими интеллигентами, или, во всяком случае, на обоснование этого выбора влияли интеллигентские представления о жизненном идеале. Так, в переписи слушательниц Санкт-Петербургских высших женских курсов 1909 г. сравнительно мало курсисток указало, что в это учебное заведение их привело исключительно и в первую очередь желание получить определенную профессию. В комментариях к переписи этот факт объяснялся опасением курсисток быть обвиненными в порицаемом среди интеллигентной молодежи меркантилизме. Отсюда и указания на стремления к «общественно-профессиональной деятельности». Материальная заинтересованность как главный мотив к поступлению на курсы ими отрицалась. Некоторые другие виды мотивации также соответствовали интеллигентским идеалам: «поступила для выработки мировоззрения». Порой будущая профессиональная деятельность увязывалась с задачами служения народу: «Преподавать в глуши, в деревне», «в пролетарской среде»; «Быть земским врачом»; «Деятельность земского юриста, если бы таковая была, наподобие земского врача». Мотив романтического «служения народу», «долга перед народом» прослеживался и в переписи московских гимназисток, проведенной Педагогическим обществом в 1912/1913 учебном году: «Мне хотелось бы быть сельской учительницей, жить где-нибудь в глуши…»[84].

Этика интеллигенции оказала и немалое воздействие на самосознание некоторых профессиональных групп, в особенности земских врачей и народных учителей (для

---

[82] *Фенин А. И.* Воспоминания инженера: К истории общественного и хозяйственного развития России (1883–1906 гг.). Прага, 1938. С.7, 8, 63, 80, 117, 118, 143, 144, 160.

[83] *Пешехонов А. В.* На очередные темы: Материалы для характеристики общественных отношений в России. СПб., 1904. С.320.

[84] *Кауфман А.* Русская курсистка в цифрах // Русская мысль. 1912. № 6. С.76, 77, 85, 91, 93; *Иванов А. Е.* Студенчество России конца XIX — начала XX века… С.169.

учителей организация земских медиков была образцом [85]). Культ служения народу, идеал «культурного пионера», просветителя народа формулировался профессиональными активистами. Врач В. О. Португалов, например, писал: «Стомиллионный русский народ ... много вынесший, испытавший все своими вековыми страданиями, купил себе право желать и надеяться, что интеллигенция явится действительным охранителем и настоящим врачевателем его недугов»[86].

Показательна дискуссия о частной практике, развернувшаяся на страницах медицинской печати в начале XX века. Старые земские врачи считали неприемлемой частную практику, и полагали, что в идеале врач не должен требовать гонорара, даже самого скромного. Они даже считали аморальным поднимать вопрос об увеличении своего жалования, ибо увеличение окладов легло бы дополнительным бременем на крестьян-налогоплательщиков. По их мнению, земский врач должен как можно меньше отличаться от своих пациентов-бедняков. В то же время молодые врачи именовали себя «интеллигентным пролетариатом» и считали, соответственно, своим правом бороться за улучшение материального положения. Это, по их мнению, было залогом успешного выполнения профессионального долга.[87]

Интересно, что даже молодые земские врачи, выступавшие за ревизию старых заветов, выбирали и идентификацию, и аргументацию, используя порой язык социалистов. Это весьма отличали их от западных коллег. Различные участники данной дискуссии о заработной плате использовали для обоснования своей позиции разные интеллигентские тексты, различные элементы интеллигентской традиции.

Разумеется, реальная жизнь земских врачей часто весьма отличалась от указанных идеалов. Однако важно, что это нередко рассматривалось как некоторое отклонение от идеала. Известный деятель земской медицины С. Н. Игумнов так описывал воздействие народнической традиции на жизнь своих коллег: «Забывая о личных удобствах, отказываясь от заманчивой или выгодной карьеры, шли в земство, в глухую деревню, в темную, холодную избу; иные врачи поступали на места пунктовых фельдшеров на их оклады; иные вдвоем на одно место, на одно жалование; порою отказывались от части жалования под условием устройства больницы или открытия нового врачебного участка; смотрели на земское дело не как на службу, а как на служение». Правда, Игумнов признавал, что такие идеалисты составляли меньшинство земских врачей, но они задавали тон, остальные тянулись за ними, кто искренне пытаясь им подражать, а кто из карьерных соображений. Последнее особенно интересно: следование интеллигентской традиции могло способствовать карьере, хотя, как мы видели, само слово «карьера» исключалось из лексикона «интеллигентов». Идеалы влияли и собственно на медицинскую практику: порой медики принципиально выступали против принудительного лечения, изоляции, дезинфекции, против поголовных санитарных осмотров

---

[85] *Seregny S. J.* Professional Activism Among Russian Teachers, 1864–1905 // Russia's Missing Middle Class: Professions in Russian History / Ed. H. D. Balzer. New York, 1996. P.171, 185.

[86] *Португалов В. О.* Врачебная помощь крестьянству. СПб., 1883. С.8. Цит. по: *Пирумова Н. М.* Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала XX в. М., 1986.С.92.

[87] *Булгакова Л. А.* Земский врач: Специфика деятельности и самосознания // Российская интеллигенция на историческом переломе (Первая треть XX века): Тезисы докладов и сообщений научной конференции. СПб., 1996. С.23.

и обязательного оспопрививания. Пациенты должны были пользоваться свободой, а врачам никоим образом не следовало брать на себя роль «начальства». Между тем земские врачи были самым организованным отрядом русских медиков, и в известной степени, оказывали воздействие на организацию и формирование профессиональной этики своих коллег. Они рассматривали съезды Пироговского общества как «съезды интеллигенции» и выступали за сохранение подобного их характера. Идеальный тип земского врача становился нормативным[88].

Политические взгляды земских врачей были различными, некоторые из них стали активными противниками режима большевиков. В то же время идеалы земских медиков содержали и такие блоки воззрений, которые позволили им наладить сотрудничество с Народным комиссариатом здравоохранения. При этом некоторые активисты полагали, что революция создает условия для реализации идеалов земской медицины, вступали в Коммунистическую партию.[89]

Некоторые народные учителя также порой считали невозможным для себя искать посторонние приработки: это отвлекало бы их от выполнения своей миссии. Показательно письмо, направленное в Московскую комиссию по организации домашнего чтения: «Понятно, у учителя есть еще доходы, это — частные уроки. Но это, по-моему, только печальное явление финансовой учительской жизни. В народной школе нет времени для частных уроков... Да, работы много, а потому народному учителю заниматься частными уроками стыдно». Но, принципиально отказываясь от приработков и от увеличения своих заработков, интеллигент считал, что другие члены интеллигентского сообщества должны, обязаны оказать ему безвозмездную помощь при выполнении его миссии. Так, автор данного письма просил комиссию предоставить ему литературу бесплатно.[90]

Внутри корпорации педагогов конфликты и противоречия порой оформлялись с помощью различных элементов интеллигентской традиции. Так, народные учителя гордились своим «демократизмом», который противопоставлялся «буржуазности» преподавателей средней школы, отличавшихся от них и образованием, и заработком. Это обстоятельство было использовано впоследствии некоторыми советскими историками, которые утверждали, что народные учителя в основе своей поддержали Октябрь в отличие от «ненародных» преподавателей средней школы. [91]

Этика интеллигенции оказала воздействие на традицию «студенчества», без которой невозможно представить историю студенческого движения в России. Многие студенты нередко именовали себя «молодой интеллигенцией», а в некоторых студенческих

---

[88] Труды XI Пироговского съезда. СПб., 1911. Т. I. С.57–58, 80–82; Frieden N. M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856–1905. Princeton, 1981. P.122, 315.

[89] *Hutchinson J. F.* «Who killed Cock Robin?» An Inquiry into Death of Zemstvo Medicine // Health and Society in Revolutionary Russia / Ed. S. G. Solomon, J. F. Hutchinson. Bloomington, 1990. P.4–5, 21.

[90] Титова А. К истории самообразования в России (Опыт разработки архива Московской комиссии по организации домашнего чтения, 1894–1907 гг.) // Русская мысль. 1908. Кн.7. С.96.

[91] *Критику подобных утверждений см. в кн.: Смирнов Н. Н.* Российская интеллигенция в годы Первой мировой войны и революции 1917 года (Некоторые вопросы историографии проблемы) // Интеллигенция и российское общество в начале XX века. СПб., 1996. С.144.

листовках 1903 г. студенты именовались «наиболее организованной частью русской интеллигенциии».[92]

Современники по-разному оценивали профессиональные качества среднего русского интеллигента. Известно высказывание А. С. Изгоева, который заявлял, что «средний массовый интеллигент в России большею частью не любит своего дела и не знает его. Он — плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист, непрактичный техник… Его профессия представляет для него нечто случайное, побочное, не заслуживающее уважения. Если он увлечется своей профессией, всецело отдастся ей — его ждут самые жестокие сарказмы со стороны товарищей, как настоящих революционеров, так и фрондерствующих бездельников».[93]

Однако можно привести и немало прямо противоположных высказываний. Известно также, что и многие русские революционеры были, одновременно, «интеллектуалами» и «профессионалами», высокий статус которых признавался и в России, и за ее пределами.

Можно предположить, что различные компоненты интеллигентской традиции оказывали различное воздействие на профессиональную этику различных «интеллигентских» профессий. Именно идея служения народу вдохновляла многих земских врачей, учителей, статистиков, представителей иных интеллигентных профессий в их профессиональной деятельности. Однако для многих интеллигентов мода «шестидесятников» на опрощение была суровой реальностью и вынужденной необходимостью, а не только результатом сознательного выбора данного стиля жизни — материальные и правовые условия их деятельности были довольно суровыми (в конце XIX века некоторые сельские учителя даже подрабатывали батраками, пастухами). Ситуация обострялась и психологической изоляцией: в деревне не только крестьяне, но и представители т. н. «деревенской интеллигенции» считали интеллигентов «чужими», а порой смотрели на них сверху вниз. И в этом случае идентификация «интеллигента» была важна — она выполняла известную компенсаторную функцию, помогала преодолеть житейские тяготы и психологическую изоляцию. Она давала чувство принадлежности к жертвенному «ордену» избранных.[94]

Важные интеллигентские тексты, многие произведения русской литературы также влияли на развитие профессиональной этики. В формировании самосознания русских медиков, например, немалую роль сыграли произведения В. В. Вересаева. Он в своих «Записках врача» (1901) сформулировал кредо медика, соединив профессиональную этику врача и традицию интеллигенции. Вересаев противопоставлял «врача интеллигента и гражданина» «сытым врачам». Последние, тем самым, не включались в число «интеллигенции». Показательно, что и сам Вересаев был удостоен звания «писателя-интеллигента»[95]. Соответственно, как бы предполагалось, что не все писатели автоматически становятся интеллигентами. Репутация «интеллигента», отрицающего «ка-

---

[92] *Kassow S. D.* Students, Professors and the State… P.176–177.

[93] *Изгоев А. С.* Об интеллигентной молодежи (Заметки об ее быте и настроениях) // Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1990. 122–123.

[94] *Eklof B.* Russian Peasant Schools: Officialdom, Village Culture and Popular Pedagogy, 1861–1914. Berkley; Los Angeles, London, 1986. P.221; *Balzer H. D.* Introduction // Russia's Missing Middle Class: Professions in Russian History / Ed. H. D. Balzer. New York, 1996. P.19.

[95] *Львов В.* Писатель-интеллигент (К 10-летию литературной деятельности В.Вересаева) // Образование. 1904. N 2. С.80. Ср. аналогичные рассуждения об этике русских врачей: *Елпатьевский*

рьеризм», при этом фактически могла влиять на профессиональную карьеру многих литераторов, она служила знаком политической корректности, служила пропуском в те кружки, редакции и издательства, руководители которых ориентировались на подобную идентификацию, отождествляли себя с «интеллигенцией».

Кодекс интеллигенции оказывал противоречивое воздействие на формирование профессиональной этики корпораций. По-видимому, он препятствовал распространению идентификации «профессионального эксперта», распространенной в Западной Европе. Там в формировании образа интеллигентных профессий большую роль играл рынок[96].

Факт распространения интеллигентской этики и интеллигентской субкультуры объективно препятствовал созданию в России «среднего класса». На Западе интеллектуалы играли немалую роль в сплочении «среднего сословия». В России же «интеллигенция» противопоставлялась мелким и средним собственникам.[97] Последние же без поддержки интеллектуалов не могли играть роль общенациональной силы. Интеллигенты, впрочем, пытались оказывать влияние на самоорганизацию среднего сословия, они стремились даже руководить им. Однако нередко ремесленники, например, отвергали претензии на лидерство со стороны «оторванной от жизни» интеллигенции. В свою очередь интеллигенты, презиравшие «мещанство» во всех его проявлениях именовали собрания и организации ремесленников «темным царством».[98]

В то же время интеллигенты играли немалую роль в формировании институтов гражданского общества, важнейшим элементом которого становились профессиональные организации. Так, земские врачи, одна из наиболее типичных групп русской интеллигенции, играли особенно активную роль в организации и проведении общемедицинских Пироговских съездов.[99]

Необычайно важна была и роль интеллигентов в организации различных обществ, прежде всего просветительских, в провинции. Показательно, что изучение современными авторами общественных организаций в провинции рубежа веков фактически переплетается с исследованиями по истории местной интеллигенции. Исследователи нередко указывают на значение специфической этики российской интеллигенции при формировании провинциальных общественных организаций. Атмосфера известной культурной изоляции, отчуждения от местной жизни, противопоставленность государственным структурам и внутреннее требование просвещать, нести ценности культуры (и своей субкультуры) приводили к организации неформальных сообществ, а затем и общественных организаций, прежде всего просветительских обществ.[100] Именно

С. Я. По поводу разговоров о русской интеллигенции // Русское богатство. 1905. N 3. С.60; Friden N. M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856–1905... P.125, 228.

[96] Friden N. M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856–1905. Princeton, 1981. P.14.

[97] Bailes Kendall E. Reflrctions on Russian Professions // Russia’s Missing Middle Class: Professions in Russian History / Ed. H. D. Balzer. New York, 1996. P.42–43.

[98] *Пешехонов А. В.* На очередные темы… С.332–343.

[99] *Булгакова Л. А.* Земский врач: Специфика деятельности и самосознания // Российская интеллигенция на историческом переломе (Первая треть XX века): Тезисы докладов и сообщений научной конференции. СПб., 1996. С.23–24.

[100] См., например: *Туманова А. С.* Общественные организации города Тамбова на рубеже XIX-XX веков. Тамбов, 1999. 17, 41, 134.

общества становились порой местом, где концентрировалась культурная, духовная жизнь провинциальных городов, в особенности там, где не было высших учебных заведений. Для местных интеллигентов участие в деятельности обществ становилось социальной нормой, важным средством общения. Там они могли реализовать те свои возможности, которые не раскрывались в рамках государственной или частной службы.[101]

Иногда интеллигенты левых воззрений считали данные общества прикрытием для своей политической деятельности. Но и в этом случае они объективно способствовали созданию гражданского общества. Кроме того, сама деятельность в этих структурах оказывала на них воздействие, они порой корректировали свои взгляды в сторону большего легализма.[102]

3. Интеллигентофобия

Доказательством действительного распространенности интеллигентской самоидентификации служат различные антиинтеллигентские кампании, наблюдаемые уже в начале 80-х годов XIX века (они провоцировали полемику, влиявшую на формирование самосознания интеллигенции, вызвав, например, появление ряда важных статей Н. К. Михайловского[103]).

Термин постоянно использовался охранительной публицистикой. Уже в 1878 г., т. е. еще до появления важных «интеллигентских» текстов, М. Н. Катков писал: «Наша интеллигенция выбивается из сил, желая показать себя как можно менее русскою, полагая, что в этом-то и состоит европеизм. Но европейская интеллигенция так не мыслит. ... Наше варварство в нашей *иностранной* интеллигенции. Истинное варварство ходит у нас не в сером армяке, а больше во фраке и даже в белых перчатках». Антинациональной, оторванной от устоев и традиций русской жизни «квазиевропейской» интеллигенции противопоставлялись духовность, почвенность и вера «народа», единого со своим царем [104]. Катков, как видим, использует уже оппозиции «интеллигенция-народ», «интеллигенция-власть», которые затем были необычайно важны для идентификации и самоидентификации интеллигенции.

Уже в конце 70-х годов и некоторые корреспонденты К. П. Победоносцева используют для характеристики оппонентов режима не только привычное и, по-видимому, более распространенное слово «нигилист», но и критикуют подчас «башибузучную» интеллигенцию[105]. Сам Победоносцев также критически отзывался о «либеральной

---

[101] *Сабурова Т. А.* Интеллигенция Омска на рубеже XIX-XX вв.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 1995. С.16.

[102] *Макарчук С. В.* Социалисты-революционеры в культурно-просветительных обществах сибирской интеллигенции (июнь 1907 — февраль 1917 гг.) // Культура России в переломные эпохи (XX в.): Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции. Омск, 1993. С.53–55.

[103] *См.: Михайловский Н. К.* Записки современника (1881 г., декабрь) // Сочинения. Спб., 1897. Т.5. Стб. 531–550.

[104] *Московские ведомости. 1878. 28 апреля. Об антиинтеллигентской позиции М. Н. Каткова см.: Соловьев Ю. Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века. Л., 1973. С.183; Твардовская В. А.* Идеология пореформенного самодержавия (М. Н. Катков и его издания). М., 1978. С.176–178, 185, 201, 230.

[105] Из письма П. Д. Голохвастова, 10 декабря 1879 г. К. П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. М.; Пг., 1923. Т.1, полутом 1. С.17. См. также С.196, 227, 282.

интеллигенции», с презрением писал о «жидких слоях интеллигенции»[106]. Ему приписывали следующее высказывание: «Интеллигенция — часть русского общества, восторженно воспринимающая всякую идею, всякий факт, даже слух, направленный к дискредитации государственной власти; ко всему же остальному в жизни страны она равнодушна»[107]. Интеллигенция и здесь описывается как антигосударственная и антинародная сила.

Показательна и позиция А. Д. Пазухина, он пылко обличал «жалкие увлечения» «беспочвенной», «отчужденной от народа», «относящейся враждебно к историческому государственному строю» интеллигенции, питающейся лишь «книжными доктринами»[108].

В. П. Мещерский считал «интеллигенцию» основным ненавистником дворянства, а значит и русского государства. Его журнал обличал антидворянский «союз русского интеллигента, еврея и поляка»[109]. В данном случае интересно сочетание социофобии и ксенофобии. И в дальнейшем интеллигентофобия не раз оказывалась связанной с ксенофобией, прежде всего с антисемитизмом. Интересно, что враги интеллигенции и в этом, и в других случаях критиковали ее за попытку преодоления сословности.

М. О. Меньшиков, критиковал «интеллигенцию», противопоставляя ее «органическому» и «религиозному» народу, (хотя подчас он использовал термин и как нейтральный, подразумевая людей, живущих «интеллигентно» — чиновников, офицеров)[110].

Антиинтеллигентские настроения стали важным элементом сознания правительственных кругов, занимая важное место в коллективном портрете образов врагов режима. В крайней форме это проявилось в черносотенной публицистике: «... у нас в России на самом видном месте выросла такая огромная куча навозу под названием «интеллигенция», и на этой куче пышно распустился цветок революции...»[111]. Соответствующая проповедь интеллигентофобии идеологически готовила почву для антиинтеллигентских погромов эпохи Первой российской революции. Нападениям подвергались и различные профессиональные организации интеллигенции, и даже больницы. Некоторые организации учителей даже приступили к вооружению своих активистов для самообороны. Впрочем, мотивы для борьбы с интеллигенцией в это время были различными: так, в одних случаях крестьяне видели в них «господ», в других — «смутьянов»[112].

---

[106] *Победоносцев К. П.* Великая ложь нашего времен. М., 1993. С.45; Письма Победоносцева Александру III. М., 1925. Т.1. С.398.

[107] *Воейков В. Н.* С царем и без царя: Воспоминания последнего дворцового коменданта государя императора Николая II. М., 1995. С.178.

[108] Пазухин А. Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886. С. 25, 39–41.

[109] *Соловьев Ю. Б.* Указ. соч. С.296–297; Бодиско Дм. Дворянский вопрос — вопрос государственный // Гражданин. 1897. N 39 (22 мая). С.3.

[110] Меньшиков М. О. Критические очерки. СПб., 1902. Т.II. С.40, 42–44.

[111] Назаревский Б. Бюрократия и интеллигенция. М., 1906. С.6–7.

[112] Об антиинтеллигентских погромах см.: *Ерман Л. К.* Интеллигенция в Первой русской революции. М., 1966. С.172–174, 197–198, 227; *Seregny S. J.* Russian Teachers and Peasant Revolution: The Politics of Education in 1905. Bloomington; Inianapolis, 1989. P.150, 177, 178; Friden N. M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856–1905... P.318, 319. Память об этих погромов была столь сильной, что первой реакцией многих провинциальных интеллигентов, узнавших о Февральской революции 1917 г., было бегство в крупные города. См.: Черносотенная агитация. Единство. 1917. 27 апреля.

Однако и некоторые представители охранительного направления также иногда использовали многозначный термин для самоидентификации. Б. В. Никольский, юрист правых воззрений, заявил императору в апреле 1905 года: «... ведь и я имею несчастье принадлежать к этому незавидному сословию. ... Да, несимпатичное слово. Никогда не пишу его без кавычек. Только тем как дворянин и утешаюсь»[113].

Изобретались и новые «дочерние» и респектабельные с точки зрения консерваторов идентификации. В 1884 г. Катков возлагал надежды на появление «новой» интеллигенции[114]. К. П. Победоносцев, похоже, подчас примерял на себя идентификацию «государственной интеллигенцией»[115]. Даже Союз русских людей в 1906 г. призывал к образованию «истинно-русской интеллигенции», т. е. «людей просвещенных, сознательно проникнутых теми чувствами, чаяниями и стремлениями, которые свято бережет в тайниках души своей православный народ русский, и которые делают порою из безграмотного крестьянина-простеца богатыря-подвижника»[116]. Консервативные проекты создания «своей» интеллигенции предлагали преодолеть оппозиции «интеллигенция-власть», «интеллигенция-народ», которые подчас те же самые авторы использовали для определения интеллигенции.

Однако интеллигенцию атаковали и представители иного политического спектра, при этом аргументация «ретроградного лагеря» подчас повторялась. Так, некоторые народники-»почвенники» утверждали вслед за И. И. Каблиц-Юзовым, что интеллигенция должна не учить народ, а сама учиться у него. Здоровым чувствам и коллективизму «народа» при этом противопоставлялись рассудочность и индивидуализм «интеллигенции». «Эгоистическое большинство» интеллигенции, проникнутой духом «буржуазности» и «интеллигентского бюрократизма», Каблиц противопоставлял «лучшей части интеллигенции» — «альтруистическому меньшинству» (под которым, разумеется, понимались единомышленники автора). Он обвинял «интеллигенцию» в стремлении осуществлять политическое господство над «народом». Автор предлагал свой вариант преодоления оппозиции «интеллигенция-народ», еще в 1878 г. он призывал не учить народ, а учиться у народа. [117]

Высказывается предположение, что взгляды «почвенников» повлияли в этом отношении на позиции русских марксистов[118].

---

[113] *Никольский Б. В.* Из дневника 1905 года // Николай Второй: Воспоминания. Дневники. / Сост. Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин. СПб., 1994. С.74.

[114] *Твардовская В. А.* Идеология пореформенного самодержавия ... С.264.

[115] «Государственной интеллигенции предстоит во всяком случае трудная задача — привлечь на свою сторону и соединить с собою твердо-народное верование». *Победоносцев К. П.* Церковь и государство // Московский сборник. М.,1896. С.4.

[116] Вестник союза русских людей. 1906. N 1. С.10.

[117] *Каблиц И. И. (Юзов И.)* Интеллигенция и народ в общественной жизни России. СПб., 1886. С.55–56, 82, 93, 128. См. также: *Харламов В. И.* Каблиц (Юзов) и проблема «народ и интеллигенция» в легальном народничестве на рубеже 70–80-х годов XIX века // Вестн. Московского университета. Сер.8: История. 1980. N 4. С.39–53; *Балуев Б. П.* Либеральное народничество на рубеже XIX-XX веков. М., 1995. С.43, 44, 46, 53, 65; Его же. Либеральное народничество и Г. В. Плеханов // Революционеры и либералы России. М., 1990. С.46–77.

[118] *Павлова Н. Г., Главацкий М. Е.* К вопросу о «народнических» традициях в марксистской концепции интеллигенции // Проблемы методологии истории интеллигенции: Поиск новых подходов. Иваново, 1995. С.45–51.

Однако и идеология, и политическая практика марксизма при всей ориентации учения на выработку и распространение «научного мировоззрения» (что было очень созвучно этике русской интеллигенции), были запрограммированы на появление антиинтеллигентских настроений. Культ «рабочего класса» неизбежно вел к тому, что именно с ним отождествляли себя марксисты-интеллектуалы любого социального происхождения. Они укрепляли свой статус в политическом движении критикой иных социальных групп, с которыми они отождествляли своих политических оппонентов. Соответственно, русские марксисты резко отмежевывались от «интеллигенции», «интеллигентских иллюзий» и выступали на всевозможных собраниях с настоящей «проповедью интеллигенствоедства».[119]

Кроме того марксизм утверждал себя в России через полемику с народниками. Неудивительно, что многие марксисты резко критиковали столь дорогую народниками идентификацию «интеллигента». Разумеется, подобная критика воспринималась весьма болезненно их оппонентами.[120]

Это не мешало многим социал-демократам эксплуатировать кодекс поведения интеллигенции и ее представления о «политической корректности».

На марксистов известное воздействие оказывали и антиинтеллигентские настроения, присущие части русских рабочих, в том числе и т. н. «сознательных», политизированных рабочих, вовлекавшихся в деятельность революционных кружков.[121] Без учета этих настроений невозможно представить историю рабочего движения в России. Показательно возникновение «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. С.-Петербурга». С одной стороны, Г. А. Гапон, желая заручиться поддержкой властей, указывал на опасность усиления влияния в рабочих кругах «врагов России» — «политиканствующей интеллигенции». Но и некоторые рабочие активисты поддержали первоначально Гапона именно потому, что они были недовольны «интеллигенцией», желавшей руководить рабочим движением. Их отношение к интеллигентам менялось лишь со временем.[122]

Характеристика антиинтеллигентских настроений в рабочей среде будет неполной без упоминания работ Я. В. Махайского (А.Вольского), получивших известное распространения с 1898 г. Он описывал интеллигенцию как «нового врага» пролетариата, как

---

119 *Клейнборт Л. М.* Очерк общественно-литературных направлений... // ОР ИРЛИ, ф.586, оп.1, д.450, л. 76. Антиинтеллигентские взгляды были присущи и многим польским социал-демократам. Так, Р.Люксембург относила интеллигенцию к «антидемократическим» силам, хотя и допускала с ней сотрудничество. *Устюгова А. Г.* Отношение рабочих партий Королевства Польского к интеллигенции накануне и в ходе революции 1905–1907 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1988. С.10.

120 *Пешехонов А. В.* На очередные темы: Материалы для характеристики общественных отношений в России. СПб., 1904. С.397.

121 О таком отношении см.: *Бердяев Н. А.* Самопознание. Л., 1991. С.120–121. О сравнении конфликта между рабочими и интеллигентами внутри различных марксистских организаций см.: *Smith S. A.* Workers, the Intelligentsia and Marxist Parties: St.Petersburg, 1895–1917 and Shanghai, 1921–1927 // International Review of Social History. 1996. # 41. P.18–27.

122 *Потолов С. И.* Петербургские рабочие и интеллигенция накануне революции 1905–1907 гг. «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. С.-Петербурга» // Интеллигенция и российское общество в начале XX века. СПб., 1996. С.60, 64.

эксплуататорский класс буржуазного общества, который всеми средствами старается удержать свою монополию на знание[123].

Другие авторые, использовавшие иной язык, так же описывали интеллигентов как привелигированный класс: «... наживают миллионы, эксплуатируя чужое несчастье». Интеллигенцию якобы отличает лживость, стяжательство и эгоизм[124] .

Для русской марксистской интеллигенции рабочий класс стал «новым народом», соответственно, традиционная уже оппозиция «народ — интеллигенция», преобразовывалась в противопоставление «рабочий класс — интеллигенция».

Некоторых марксистов подобная антиинтеллигентская тенденция пугала. Г. В. Плеханов писал П. Б. Аксельроду: «... я и сам боюсь, не слишком ли рано теперь уже вызывать в рабочих наших огульный антагонизм к интеллигенции вообще»[125]. Но интеллигентофобия стала устойчивой традицией, присущей всем направлениям российской социал-демократии. Сторонники всевозможных фракций и групп отождествляли себя с «пролетариатом», а действия оппонентов и все негативные явления внутрипартийной жизни описывали как пагубное влияние интеллигенции внутри партии рабочего класса, меньшевики в этом отношении не отличались от большевиков. У грузинских же меньшевиков антиинтеллигентские настроения проявлялись в противопоставлении «интеллигентской» русской социал-демократии — «рабочей» грузинской[126].

Очевидно, на формирование позиции социал-демократов повлияли и антиинтеллигентские настроения многих «сознательных», политизированных рабочих, в том числе «рабочей интеллигенции»[127]. Выше отмечалось, что молодые, квалифицированные и политизированные рабочие ориентировались, на образ жизни русской интеллигенции. Вместе с тем «рабочие интеллигенты» часто были носителями антиинтеллигентского сознания. Некоторые из них стали со временем формулировать соответствующую идеологию. Так, показательно выступление Ф. А. Булкина, считавшегося в кругах меньшевиков-»ликвидаторов» «одним из видных представителей пролетарской интеллигенции». Этот активист, живой пример «рабочего интеллигента», персонифицировавший мечты и надежды «ликвидаторов», указывал на «интеллигентскую опасность» в рядах РСДРП, история партии рассматривается им как постоянный конфликт рабочих и интеллигентов, из которого последние неизменно выходят победителями. Интеллигенты виновны во всех «болезнях» партии. Антибольшевизм и легализм также окрашиваются у Булкина в антиинтеллигентские тона[128]. На формирование подобных взглядов немалое

---

[123] *Вольский А*. Умственный рабочий. New York; Baltimore, 1968. С.142–143. 147. Махайский критиковал марксизм, но при этом сам находился в поле влияния марксистской традиции. Немногочисленные кружки его последователей в начале века действовали в Одессе, Екатеринославе, Вильно и Белостоке. Во время Первой российской революции группы махаевцев возникли в Петербурге и Варшаве. Parry A. Jan Waclaw Machajski: His Life and Work // Там же. С.13–16.

[124] Фюллер. Интеллигенты и простачки (Не сказка, а быль). Киев, 1901. Ч. II. С.8, 11, 14.

[125] Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода. М., 1925. Т.1. С.125.

[126] Жордания Н. Моя жизнь. Stanford, 1968. С.51–52.

[127] *См.: Иков В. К.* Листопад // Вопросы истории. 1995. N 10. С.130–131.

[128] *Булкин Ф. Р*абочая самодеятельность и рабочая демагогия // Наша заря. 1914. N 3. С.55–64; *Л. М.* [*Ю. О. Мартов*] Ответ Булкину // Там же. С.64; Антонов К. Интеллигенция в русском рабочем движении // Там же. N 5. С73–76. Письмо Ф. И. Дана П. Б. Аксельроду 14 (27) апреля 1914 г. // Федор Ильич Дан: Письма (1899–1946). Амстердам. 1985. С.309.

воздействие мог оказать П. Б. Аксельрод, который трактовал конфликт в партии как выражение борьбы радикального крыла демократической (якобинской) интеллигенции (т. е. большевиков) против классовой самостоятельности пролетариата (выразителями которой именовались меньшевики). Показательно, что Булкин сочувственно цитирует Аксельрода и посвящает «дорогому учителю» свою книгу. [129]. Булкина поддержали некоторые рабочие-меньшевики, но антиинтеллигентские высказывания были присущи и тем «рабочим-интеллигентам», которые связали свою судьбу с партией большевиков. Не был исключением и А.Фишер, отец известного советского разведчика Р.Абеля.[130]

Следует отметить, что несмотря на свой «пролетарский шовинизм», проявлявшийся в антиинтеллигентских настроениях, «рабочая интеллигенция» культурно и психологически часто ощущала большую близость к «старшей сестре», чем к «массам»[131]. Как мы уже отмечали, «рабочие интеллигенты», подобно многим известным интеллигентам, подчас писали о своей трагической изоляции.

С «рабочей интеллигенцией» «народных интеллигентов» сближала критика «буржуазной интеллигенции», «дипломированной интеллигенции», «интеллигентов-мещан», «привелигированной интеллигенции», «лжеинтеллигенции», «интеллигентов-банкротов духа». После Первой российской революции особенно часто утверждалось, что «старшая» сестра», предала «заветы» «истинных интеллигентов» — представителей старших поколений. «Критика всего, чему верили и поклонялись, начинается с интеллигенции», — писал Л.Клейнборт, именовавший иногда «народную интеллигенцию» «полуинтеллигенцией» (что не носило уничижительного характера). «Стоит только «человеку из народа» дорваться теперь до пера и чернил, как он непременно фатально выведет на клочке бумаги: *интеллигенту* анафема! — и часто с такой экспрессией, будто удар кулака», — писал, откликаясь на одну статью Клейнборта, К.Чуковский. По его свидетельству, М.Горький, изучивший множество рукописей писателей из простонародья, пришел к неутешительному выводу: «Самый значительный факт — отрицательное отношение к интеллигенции». В простонародных драмах, повестях и рассказах «тип интеллигента рисуется как тип барина, привыкшего командовать, всегда плохо знакомого с действительностью и трусливого в момент опасности» [132].

За что же критиковали «интеллигенцию» «народные интеллигенты»?

В первую очередь — за аполитичность и за отход от оппозиционного движения: «Пролетариат, народ не оправдал надежд интеллигенции. Захотелось жить для себя

---

[129] *Булкин (Семенов) Ф*. Рабочий класс и рабочая партия. Ч.1: Социал-демократия и рабочее движение в русской революции (Критические очерки). Спб., 1914.

[130] Фишер А. В России и в Англии: Наблюдения и воспоминания петербургского рабочего (1890–1921 г.). М., 1922. С.42, 49.

[131] *Wildman A*. Op. cit. P.115.

[132] *Клейнборт Л. М.* Народная демократия // Новая жизнь. 1911. N. 4. Стб.201, 205 213; Его же. Рукописные журналы рабочих // 1917. Кн.7/8. С.275- 298; *Чуковский К.* Указ. соч.; *С. К.* Наши дни и задачи // Друг народа. М., 1915. N 1. С.1–2; От редакции // Народная семья. 1912. N2. С.2, 3; Р. К. О народной интеллигенции // Друг народа. 1915. N2. С.1–2; Деев-Хомяковский Г. Культурные уголки и культурные одиночки // Там же. С.11; Народная семья. 1912. N 2. С.3; Афанасьев Н. По поводу очерка М.Горького «Писатель» // Там же. С.3; Рогожин Н. Народная интеллигенция // Учительский вестник. Оренбург, 1913. N 10. С.15–16.

и за себя, и покаялись Савинковы, Бурнакины, ибо приятнее сидеть где-нибудь в десятом ряду театра и смотреть «Синюю птицу», чем путешествовать на казенный счет по якутской области». Интеллигенцию упрекали в отходе от идеалов «общественности», в эгоизме: «Карьеризм, жизнь для себя разъели старшую сестру» [133].

Наконец, многие «народные интеллигенты» обличали «бесстыжую литературу»: «Когда рабочий жаждет света и духовной жизни, вы ему подносите напитанную мерзостью половую проблему» [134].

Нельзя не видеть, что обвинения интеллигенции «народной интеллигенцией» подчас совпадали с позициями защитников старой культуры интеллигенции, защищавшими «общественность», осуждавшими интерес к «половым проблемам», требовавшим от автора самоцензуры[135].

Подобно «рабочим интеллигентам», противостоявшим влиянию «интеллигентов» в рабочем движении, «народная интеллигенция» протестовала против покровительственной «опеки» со стороны «дипломированной» интеллигенции. Часто эти протесты оформляли конкурентную борьбу, которую вели писатели «из народа», декларирующие свое превосходство, с «засильем» «дипломированной» интеллигенции. «Народный писатель» утверждал : «Духовная жизнь русского народа идет своей дорогой нормального развития и миазмы, заразившие интеллигенцию так называемого общества совершенно бессильны над духовными проявлениями народности: наряду с упадком и разложением интеллигенции общества, из недр народа встает новая великая сила — народная интеллигенция, которая и будет истинным выразителем народности». Доставалось и безупречным, казалось бы, писателям прошлого: интеллигенты прошлого «понимали умом мужицкое горе, нужду, но они никогда не чувствовали этого сердцем». (Правда автор последних строк в частном письме Л.Клейнборту признавался, характеризуя многих «народных писателей»: «Если наша интеллигенция всегда понимала умом и горе и страдание народа, но не могла почувствовать это сердцем, то здесь получилось обратное: чувствуя неправоту в жизни, испытывая страдания, они не могли понять, что вне умственного развития, вне изучения общественной жизни и понимания ее различных течений, для них нет жизни, нет творчества. ... Уж лучше интеллигентское понимание умом, чем такое чувствование сердцем») [136]

На рубеже веков угроза ценностям интеллигенции исходила от многих течений. Боборыкин, например, адресует соответствующие обвинения и народникам, и Л. Н. Толстому, и распространителям идей «ницшеанства», «ницшеанского босячества», «декадентского эстетизма»[137]. В некоторых случаях опасения Боборыкина

---

[133] *Афанасьев Н.* По поводу очерка М.Горького «Писатель» (продолж.) // Народная семья. 1912. N5. С.4; Рогожин Н. Народная интеллигенция // Учительский вестник. Оренбург, 1913. N 10. С.16.

[134] *Чуковский К.* Указ. соч.

[135] *Kelly A.* Self-Censorship and the Russian Intelligentsia, 1905–1914 // Slavic Review. 1987. Vol. 46. N 2. P.193–213.Статья частично опубликована по-русски: Келли А. Самоцензура и русская интеллигенция: 1905–1914 // Вопр. философии. 1990. N 10. С. 52–61.

[136] *Клейборт Л.* Что думает интеллигенция из народа // Новая жизнь. 1911. N 4. С.187; С. К. Наши дни и задачи // Друг народа. 1915. N 1. С.2; Ковалев К. Недоразумение // Там же. N 3. С.11. Афанасьев Н. По поводу очерка М.Горького «Писатель» // Народная семья. 1912. N 1. С.5; Письмо Н.Афанасьева Л.Клейнборту, 9 февраля 1914 г. // ОР ИРЛИ, ф.586, оп.1, л.8, 9 (об.).

[137] *Боборыкин П. Д.* Русская интеллигенция... С. 84, 86, 87.

подтверждались антиинтеллигентскими высказываниями соответствующих авторов. Так, Л. Н. Толстой писал в связи с полемикой о «Вехах»: «Развратить народ? Да, это она может, могут те люди, которые называют себя интеллигенцией. Это они и делали, и делают, к счастью, благодаря духовной силе русского народа, не так успешно, как они желали бы этого, но просветить они уже никак не могут». Он призывал интеллигенцию не просвещать, а учиться у народа [138]. Еще ранее схожие обвинения в адрес интеллигенции выдвинул М. Е. Салтыков-Щедрин, воспринимавшийся как «учитель» интеллигенции: «В том суть-с, что наша интеллигенция не имеет ничего общего с народом, что она жила и живет изолированно от народа, питаясь иностранными образцами и проводя в жизнь чуждые народу идеи и представления, одним словом, вливая отраву и разложение в наш свежий непочатый организм».[139] И интеллигентская, и антиинтеллигентская традиции становятся частью российской национальной культуры, проникая в тексты ее виднейших представителей.

Отметим, что высказывания такого рода можно было встретить и в народнических, и черносотенных изданиях. Авторы самых разных воззрений и самого разного калибра использовали одни и те же оппозиции, один и тот же язык.

Антиинтеллигентские высказывание можно встретить и у интеллектуалов, пользовавшихся безупречной «интеллигентской» репутацией. Так, А. П. Чехов, который ныне воспринимается как символ русского интеллигента рубежа веков, писал И. И. Орлову 22 февраля 1899 г.: «В нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю, даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр»[140]. Следует, однако, отметить, что подобная точка зрения высказывалась в частном письме, а не утверждалась публично. Необходимо различать антиинтеллигентские тексты от самокритики интеллигенции.

Быстрое распространение популярности термина «интеллигенция», идентификации «интеллигента» в конце XIX начале XX веков сопровождалось появлением антиинтеллигентских настроений и антиинтеллигентских идеологий. Само по себе это свидетельствует о популярности и значении идентификации «интеллигента».

Часто соответствующие выступления в печати провоцировали полемику, влиявшую на формирование самосознания интеллигенции, вызвав, например, появление ряда важных статей Н. К. Михайловского, который первоначально без энтузиазма относился к появлению этого термина, но, затем, отвечая критикам интеллигенции, способствовал его созданию, развитию и распространению.[141].

Полемисты использовали подчас одни и те же идеологиемы — и для многих носителей идентификации, и для всевозможных критиков интеллигенции очень важно было противопоставление «интеллигенции» и «народа» (для марксистов «новым народом» стал «рабочий класс»). При этом различные критики «интеллигенции» отождествляли себя с «народом». Оппозиция «интеллигенции» и «народа» прочно утверждалась

---

[138] *Толстой Л. Н.* [О «вехах»] // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М., 1992 (репринтное воспроизведение издания 1928–1958 гг.). С.289.

[139] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. Соч.: В 20 т. М., 1957. Т.5. С.241.

[140] *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений. М., 1949. Т.18. С.89.

[141] *См.: Михайловский Н. К.* Записки современника (1881 г., декабрь) // Сочинения. Спб., 1897. Т.5. Стб. 531–550.

в сознании эпохи и благодаря усилиям интеллигентов, и вследствие действий их оппонентов. И те, и другие способствовали распространению «интеллигентсткого дискурса». В этом отношении «изобретателями» интеллигентской традиции можно считать не только Михайловского и Боборыкина, но и Суворина, и Каткова.

Появлялись и специфические «дочерние» идентификации, в которых ориентации на различные компоненты интеллигентской традиции могли сочетаться с критикой интеллигенции («новая интеллигенция», «государственная интеллигенция», «истинно-русская интеллигенция», «пролетарская интеллигенция», «рабочая интеллигенция», «народная интеллигенция»). В некоторых случаях на основе данных идентификаций формировались субкультуры, в которых ориентация на культуру интеллигенции сочеталась с антиинтеллигентскими настроениями.

Заключение

Почти не одно исследование, посвященное интеллигенции рубежа веков, не обходится без цитирования сборника «Вехи», выпущенного в 1909 г. Он задумывался именно как книга, посвященная «критике интеллигенции». Книга стала важным событием в общественной жизни, общий тираж сборника, выдержавшего пять изданий превысил 16 тысяч экземпляров.[142]

Тексты сборника отражали многие аспекты т. н. «кризиса интеллигенции», но в то же время становились автономным фактором, обостряющим этот кризис.

Революция 1905 года создала новую ситуацию, непривычную для традиционного «интеллигентского» сознания. Появилась Государственная Дума, были существенно изменены цензурные правила. Возникли новые интеллигентские профессии и специализации, исчезали старые. Сама революция, по мнению многих интеллигентов, выявила уязвимость «интеллигентского» мировоззрения. Многие новые явления в художественной и научной жизни противоречили, казалось бы, старому интеллигентскому сознанию. Современная поэзия теснила традиционный роман, в живописи реализм уступал свои позиции, профессиональная философия и психология ставили под вопрос существование «философствующей» публицистики. Эстетика Чернышевского, социальные темы «передвижников», материализм и атеизм воспринимались многими русскими интеллектуалами как нечто старомодное. Но прав ли Р.Пайпс, который считает, что к 1909 г. русская «интеллигенция» в узком смысле этого слова стала чем-то вроде культурного анахронизма?[143]

Авторы «Вех» предлагали интеллигенции произвести радикальную перестройку своего сознания. При этом в разных статьях предлагались различные проекты подобной перестройки, и, соответственно, различные варианты самоидентификации интеллигенции. Например, Н. А. Бердяев предлагал интеллигенции преодолеть «интеллигентщину», инертность мысли и консервативность чувств, народническое миросозерцание и утилитарную оценку. С. Н. Булгаков отмечал что обновление России невозможно без обновления интеллигенции.[144]

---

[142] *Колеров М. А.* Архивная история сборника «Вехи» // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 1991. № 4. С.12, 15.

[143] Pipes R. Struve: Liberal on the Right, 1905–1944. Cambridge (Mass.); London, 1980. P.110.

[144] Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1990. С.1, 2, 21, 26.

Пожалуй, П. Б. Струве сформулировал «антиинтеллигентскую» позицию особенно резко и непримиримо. Еще в 1907 г. он говорил о том, что «грех революционаризма» интеллигенция может преодолеть лишь собственным перевоспитанием.[145] Речь шла о своеобразной корректировки идентификации. Но к моменту работы над сборником Струве усилил критику интеллигенции. Показательно, что он отклонил первый вариант названия «Вех», предложенный М. О. Гершензоном: «Интеллигенты об интеллигенции».[146] Возможно, это было связано с тем, что в это время сам Струве отвергал для себя идентификацию «интеллигента», и критиковал интеллигенцию «извне». Это отличало его от других «веховцев», которые продолжали себя считать «интеллигентами».

Струве считал, что интеллигенция, отрешившись от «безрелигиозного государственного отщепенства», перестанет существовать как особая культурная категория. Интеллигенция по Струве исторически обречена: в процессе экономического развития она «обуржуазится», примирится с государством и втянется в существующий общественный уклад, распределившись по разным классам общества. Этот процесс следует лишь ускорить с помощью духовного и культурного переворота.[147] Струве фактически требовал от интеллигенции и интеллигентов, чтобы они отказались от своей идентичности. Он фактически призывал к самоубийству субкультуры, к уничтожению идентификаций, выполнявших разнообразные функции в российском обществе того времени.

Однако к этому времени частью политической культуры интеллигенции стал устойчивый «рефлекс защиты интеллигенции». Он выработался как ответная реакция на несколько предшествующих антиинтеллигентских атак, которые только приводили к укреплению и развитию интеллигентской субкультуры. В ответ на критику интеллигенции создавались новые интеллигентские символы и тексты. Идеологи интеллигенции навязывали своим оппонентам свой язык полемики, свой «интеллигентский дискурс».[148]

Современники рассматривали призыв «Вех» как продолжение определенной антинтеллигентской традиции и использовали традиционные методы контратаки. Струве игнорировал укорененность и функциональность этой интеллигентской традиции, поэтому его проект можно рассматривать как утопический призыв к культурному «большому скачку». Символический капитал, выработанный в рамках интеллигентской традиции, имел такое значение, что он не мог быть попросту отброшен: его сразу начали бы использовать многочисленные претенденты на роль «истинных интеллигентов» из «левого», и «правого» лагерей. Так, появление «Вех» было сразу же использовано многими представителями «рабочей интеллигенции» и «народной интеллигенции». Они упрекали «старшую сестру» в измене «заветам» и представляли себя истинными их хранителями.[149]

---

[145] *Струве П. Б.* Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С.44.

[146] *Колеров М. А.* Указ. Соч. С.13.

[147] Там же. С.172–173.

[148] Об этом см.: *Колоницкий Б. И.* «Интеллигентофобия» в конце XIX — начале XX в.: К постановке вопроса // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX — XX века: Сб. статей памяти Валентина Семеновича Дякина и Юрия Борисовича Соловьева / Отв. Ред. А. Н. Цамутали. СПб., 1999. С.266–275.

[149] См.: *Колоницкий Б. И.* «Рабочая интеллигенция» в трудах Л. М. Клейнборта // Интеллигенция и российское общество в начале XX века. Санкт-Петербург, 1996. С.124–132.

Однако и «интеллигенты» не стремились отказываться от старой идентификации. Сама публикация «Вех» вызвала всплеск литературы об интеллигенции, провоцируя развитие интеллигентской традиции.[150] Сработал выработавшийся десятилетиями «рефлекс защиты интеллигенции», разработка интеллигентской традиции получила новый импульс. При этом на защиту «интеллигенции» выступили и те интеллектуалы, которые в начале XX века воспринимались Боборыкиным как ее противники.

Разумеется, авторы «Вех» и, в частности, П. Б. Струве отражали определенные настроения известной части «лиц интеллигентного труда». Так, современники фиксировали нарастание аполитичности, «чистого профессионализма» среди студенчества. Их образ жизни отличал их от патриотов старой идеи «студенчества». Однако само отрицание традиции не делало их «веховцами». Идеология «Вех» не стимулировала процесс символотворчества, без которого невозможно было создать новую традицию, противостоящую субкультуре «интеллигенции».

Показательна позиция журнала «Голос политехника», издававшегося студентами петербургского Политехнического института. С 1906 г. Струве был профессором этого учебного заведения и оказывал известное влияние на своих учеников. Будущие инженеры, казалось, соответствовали тому идеальному типу русского интеллектуала, который предлагался Струве. Его мечтой было появление слоя прагматичных профессионалов, патриотичных граждан, энергично «европеизирующих» Россию, развивающих систему капитализма.

По мнению радикальных публицистов, «Голос политехника» отстаивал схожие идеалы: он де воспевал «практицизм», соединенный с «буржуазностью и карьеризмом», и с «идеализмом». Студенты левых убеждений именовали авторов журнала «гуннами, пляшущими на могилах старых идеалов русской интеллигенции».[151] Иными словами, журнал воспринимался как попытка распространения «веховских» идей в студенческой среде.

Однако на деле сам автор статьи, которого упрекали в «популяризации идей Струве о личной годности», с возмущением отвергал упреки в «карьеризме» и «буржуазности». Да и в своем первом номере журнал обличал «обросшие плесенью карьеризма сердца» своих соучеников. Лозунги «практицизма», «зрелости» и «европеизации» излагались с помощью языка русских интеллигентов.[152]

Сам Струве имел все основания признать, что авторы «Вех» — не «вожди»: «Может быть, они и хотят вести кого-нибудь, но никто пока за ними не идет…»[153]

---

[150] См.: Read C. Religion, Revolution and the Russian Intelligentsia, 1900–1912; The Vekhi Debate and its Intellectual Background. London, 1979.

[151] Сватиков С. Студенческая пресса // Путь студенчества. М., 1916. С.235, 240.

[152] Голос политехника. Пб., 1909. № 1. С.4; № 2. С.4; № 3. С.6–7.

[153] *Струве П. Б.* Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С.254.

Повседневность учительниц земских школ (конец XIX — начало XX в.)[1]

И. В. Зубков

Такой новый в истории модернизации российского общества феномен, как женщина, занимавшаяся самостоятельным «интеллигентным» трудом, начал формироваться в сфере образования. Это стало возможным благодаря созданию демократической системы начального обучения в 1860–1870-х гг., в рамках которой женщины получили право на службу, а затем и в результате расширения государством доступа женщин к работе в средней общеобразовательной школе — сначала в женской, затем в мужской. Ниже мы попытаемся рассмотреть основные особенности повседневной жизни самой крупной группы учительниц в конце 19 — начале 20 вв. — преподавательниц земских школ, доля которых в составе педагогического персонала непрерывно возрастала: с 1890-х гг. женщины уже численно преобладали, составив 57,6% от общей численности педагогов земских школ в 1898 г.[2], затем их доля продолжала расти и к 1917 составила почти ¾[3].

Повседневность женщин-учительниц не была ещё предметом изучения**.** Вместе с тем, тему настоящей статьи нельзя признать новаторской — она вполне укладывается в общее направление развития того направления историографии, которое находится на пересечении социальной истории и истории народного образования в пореформенной России. Хотя и поныне преобладают исследования, в которых изучается в основном вся совокупность «учительства», то есть учителя всех типов начальной и средней школы (или преподаватели всех типов школ одной из ступеней образования) как единый объект, и предметом работ остаётся социоструктурная характеристика[4], в 1990-е — 2000-е гг. в связи с общим интересом к истории земств утвердилась тенденция к выделению земских школ в качестве особого объекта исследования — первоначально также в рамках традиционного социоструктурного анализа[5]. В 2000-х гг.

---

[1] Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ (грант 10–01–00436А).

[2] Обзор деятельности земств по народному образованию, по данным за 1898 год. СПб., 1902. С. 28–29.

[3] Начальные училища ведомства б. Министерства народного просвещения в 1915 году. Пг., 1919. С. XXIII, XXV.

[4] Крупнейшими из них являются следующие: *Сучков И. В.* Социальный и духовный облик учительства России на рубеже XIX — XX вв. // Отечественная история. 1995. № 1; *Он же.* Учительство в России в конце XIX — начале XX вв.: [Спецкурс]. М., 1998; *Гошуляк Н. Д.* Народные школы Пензенского края во второй половине XIX — начале XX веков. М., 2000; *Сулимов В. С.* Светское школьное образование Тобольской губернии конца XIX — начала XX вв. / Автореф. дисс… канд. ист. наук. Барнаул, 2006; *Калинина Е. А.* Организация и деятельность народных школ в XIX — начале XX века (на материалах Сямозерской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии) / Автореф. дисс… канд. ист. наук. Петрозаводск, 2007; и др.

[5] *Прокофьев Ю. А.* Социальный облик учителя земских школ Новгородской губернии // Интеллигенция Новгородской земли: Проблемы и судьбы. Великий Новгород, 1998; Волконская А. Н.

предмет изучения учительской интеллигенции стал расширяться: многие аспекты положения и деятельности учителей земских школ уже исследованы на материалах Казанской губернии[6], северных уездов Владимирской и южных уездов Костромской губерний[7], осуществлены первые опыты изучения профессиональной этики учителей начальных школ[8], их повседневной жизни[9].

Почему, как нам кажется, избранная тема имеет право на то, чтобы быть исследованной? Известно, что школа — это прежде всего преподаватели; от уровня их подготовки, характера мотивации и условий их деятельности прямо зависит эффективность обучения. В отношении земской начальной школы это утверждение нужно переформулировать следующим образом: школа — это учитель или учительница. Вся обстановка и устройство земской одноклассной (3–4 года обучения), то есть наиболее распространённой, школы с современной точки зрения были настолько элементарны, что как учреждение практически вся она воплощалась в педагоге. Узнать, как жили эти люди, в каких условиях работали, — значит, с одной стороны, приблизиться к пониманию того, что давала земская школа народу, а с другой — сделать ещё один шаг к решению проблемы сути отечественной интеллигенции как социокультурного феномена.

Бытовые условия жизни сельской учительницы

Поступая на службу, учительницы впервые должны были начать самостоятельно вести своё хозяйство — в подавляющем большинстве случаев вдали от родных, не имея никаких знакомств и поддержки, почти при полном отсутствии жизненного опыта — педагогическая служба для учительниц земской школы, за единичными исключениями, была первым самостоятельным занятием, к которому они приступали сразу по достижении требовавшихся законом 16 лет (девушки с начальным и неполным средним образованием) или сразу после окончания среднего учебного заведения, то есть в любом случае в очень молодом возрасте (16–19 лет), ещё до наступления социальной зрелости и гражданского совершеннолетия. Многие из учительниц впервые попадали в сельскую среду, так как среди них, в отличие от учителей, было много выходцев из дворянских семей, семей чиновников и мещан. Но для значительной части учительниц (дочерей священно- и церковнослужителей и крестьян) сельская среда была привычной и не требовала адаптации.

Средства, которыми располагали учительницы, были очень скромными. В середине 1890-х гг. среднегодовое жалованье учительниц составляло 252 руб. Размер жалованья сильно различался в зависимости от состоятельности земств и их при-

---

Земские школы Саратовской губернии (1890 — 1917 гг.). Саратов, 1999; *Еремин А. С.* Земская школа Ирбитского уезда // Ирбитский край в истории России. Екатеринбург, 2000; *Бережная Е. А.* Земская школа Воронежского уезда / Автореф. дисс… канд. ист. наук. Воронеж, 2005.

[6] *Железнякова Е. Ю.* Земская школа Казанской губернии. Казань, 2005.

[7] *Балдин К. Е., Иванов В. В.* Земские школы Ивановского края (конец XIX — начало XX века). Иваново, 2000.

[8] *Змеев М. В.* Народное учительство в Пермской губернии рубежа XIX — XX веков: Профессиональная этика и повседневность // I Астафьевские чтения. Пермь, 2003.

[9] *Илюха О. П.* Сельский учитель в Олонецкой губернии: труд и социальный облик // Из истории русской интеллигенции. СПб., 2003.

оритетов[10]. После начала реализации государственного проекта введения всеобщего начального обучения (1907–1908 гг.), когда с каждым годом всё бóльшая часть преподавателей земских школ фактически переходила на государственное содержание (к середине 1915 г. учительский персонал получал основную часть своего содержания из казны в 414 уездах, то есть почти повсеместно[11]), уровень материального обеспечения учителей и учительниц земских школ в целом возрос, сократился разрыв в доходах педагогов разных местностей. Базовым окладом стало содержание в размере 360 руб. в год, к которому в большинстве уездов доплачивались «прибавки» за выслугу лет. В 1911 г. основной оклад земских учителей и учительниц в среднем составлял 344 руб., жалованье преподавателей со стажем свыше 5 лет — 399 руб., со стажем свыше 10 лет — 441 руб.[12] (для сравнения, доходы штатных преподавателей мужских гимназий и реальных училищ в 1910 г. составляли в среднем 2327 руб. в год[13]). В 1913–1914 гг. педагогам со стажем 15–20 лет введены доплаты за выслугу лет и от государства — по 60 руб. в год за каждые 5 лет службы. В 1916 г., уже в условиях военной инфляции, такие же доплаты стали отпускаться учителям и учительницам, прослужившим не менее 10 лет[14]. Важно отметить, что учительницы на службе в земской и других типах начальной школы имели равное с мужчинами материальное обеспечение; однако в среднем учительницы получали меньше, так как средний срок продолжительности их службы был короче срока службы учителей-мужчин, и они в меньшем объёме были обеспечены прибавками к жалованью за выслугу лет. Очень редко, в отличие от учителей, учительницы имели стабильные подсобные заработки — держали огород или даже занимались хлебопашеством, пчеловодством и т. д.

Учительницы и учителя земских школ считали, что их доходы, будучи наименьшими в группе интеллигентных профессий, если и позволяли более или менее сносно существовать одинокому человеку (считая при этом каждую копейку), то были явно недостаточно для семейных людей. «Постоянная материальная необеспеченность, грозящая, под влиянием неблагоприятной обстановки службы и жизни, ежеминутно обостриться до степени безысходной нужды — вследствие ли потери или понижения способности к труду, или несчастных семейных осложнений, или же служебных неудач»[15], — в разных вариантах это утверждение многократно повторялось

---

[10] *Фомин П.* Начальное народное образование в Харьковской губернии. Харьков, 1899. С. 222–225.

[11] Объяснительная записка к смете Министерства народного просвещения на 1916 г. Пг., 1915. С. 30.

[12] Первый Общеземский съезд по народному образованию 1911 года. Сводка сведений, доставленных губернскими земствами по программе, разосланной Бюро Съезда. М., 1911. Отдел VII. С. 3–4.

[13] *Титов И.* Бюджет служащих в мужских гимназиях и реальных училищах по данным анкеты Прогрессивной группы // Русская школа (РШ). 1910. № 7/8. С. 185.

[14] *Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Пг., 1916. Т. 33. № 39762; Доклады Бюджетной комиссии по рассмотрению проекта Государственной росписи доходов и расходов на 1916 год, с приложениями. Четвертый созыв. Сессия четвертая. 1915–1916 г. г.* Пг., 1916. Вып. 2. № 18. Справка № 9.

[15] Обращение Зубцовского общества взаимопомощи учащим и учившим к Зубцовскому очередному уездному земскому собранию 1905 года // Научный архив Российской академии образования (НА РАО). Ф. 21 (Личный фонд Н. В. Чехова). Оп. 1. Д. 28. Л. 81.

в коллективных обращениях учителей и учительниц земских школ. В их отзывах об уровне оплаты своего труда часто подчёркивалась тревога перед необеспеченной старостью (подавляющее большинство педагогов земской школы до конца 1900-х гг. не имели права на пенсию) или временем, когда потребуется нести расходы на образование детей[16]. «Эта крайняя материальная недостаточность, — писал инспектор народных училищ, — действует угнетающим образом на всю человеческую природу учащих, подавляя их дух, расстраивая здоровье»[17].

В этом отношении учительницы земских школ находились в более выгодном положении, чем учителя: во-первых, лишь незначительная часть учительниц имела семью (об этом ниже), да и при этом в семье они очень редко были единственными кормильцами — обыкновенно основу семейных доходов составлял заработок мужа. Во-вторых, учительницам в силу их социального происхождения гораздо реже, чем учителям, приходилось отдавать родным часть заработка, напротив, многие из них пользовались помощью семьи. Но в случае, если они всё же были вынуждены помогать родным, положение их было очень тяжёлым. Так, молодая учительница, отдававшая подавляющую часть своего жалованья (240 руб. в год) на содержание оставшихся сиротами младших братьев и сестёр, писала в своём дневнике: «Истощилась я ужасно. Слепну, и эта мысль приводит в ужас. Что будет, если я в конец потеряю зрение? Начнёшь тетрадки поправлять, голова кружится, буквы прыгают перед глазами, застилаясь бессильными слёзами отчаяния»[18].

В отличие от интеллигенции, рассматривавшей педагога сельской школы как профессионального мученика, крестьяне считали заработок учительницы, превосходивший средний заработок крестьянина-отходника, очень значительным, и не желали признавать её нуждающимся человеком. Одна из учительниц, указав в анкете Московского губернского земства, что крестьяне относились к ней с «доверием и уважением», далее писала: «Они никак не могут согласиться с тем, что я человек бедный, живущий только своим трудом и в будущем не имеющий ничего. Благодаря такому воззрению они позволяют себе эксплуатировать меня в очень широких размерах. Каждая услуга с их стороны должна мной оплачиваться вдвое или втрое дороже по сравнению с другими: «С кого же и взять, как не с учительницы,» — вот ответ, который слышишь, когда вздумаешь протестовать против их эксплуатации»[19]. Крестьяне вообще не понимали до конца ценности учительского труда, не видя непосредственных физических усилий в педагогической работе и конкретных материальных благ в ка-

---

[16] *Вахтеров В.* Заметки о народной школе // Журнал Министерства народного просвещения (ЖМНП). 1891. № 8. С. 91; *Петров В. В.* Вопросы народного образования в Московской губернии. М., 1897. Вып. 1. С. 176; Положение учителей сельских народных школ в Симбирской губернии // Вестник воспитания. 1898. № 2. С. 104–105; Сборник материалов и статистических сведений по народному образованию в Тамбовской губернии. Тамбов, 1901. С. 209.

[17] Отчёт инспектора народных училищ Карачевского уезда Орловской губернии за за 1902/03 учебный год // Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Ф. 459 (Канцелярия попечителя Московского учебного округа). Оп. 4. Д. 2980. Л. 54 об.

[18] *Пухлякова К. А.* Одна из многих (Из дневника сельской учительницы) // РШ. 1905. № 7/8. С. 73.

[19] *Петров В. В.* Указ соч. С. 187.

честве её результата; они считали, что «учительская работа лёгкая», что учительница или учитель «ничего не делает»[20].

По установившейся практически во всех уездах практике, закреплённой законодательно в 1908 г., по месту службы преподаватели земских школ получали от содержателей школы бесплатные квартиры или, при неимении свободных помещений, «квартирные» деньги. Первоначально обязанность предоставления жилья преподавателю лежала на сельском обществе. Отводившиеся крестьянами помещения, как правило, оказывались совершенно неудовлетворительными — земские статистические исследования, инспектора народных училищ постоянно отмечали, что учительские квартиры от сельских обществ были тесными, душными, холодными, нередко печи в них отравляли своих хозяев угаром. Сами педагоги оставили много ярких и горьких описаний своих квартир. За редкими исключениями, они находились в том же доме, что и училище (а училищное помещение обычно представляло собой крестьянскую избу со сломанными перегородками), и зачастую были отделены от класса только дощатой перегородкой, неспособной в полной мере обеспечить тайну личной жизни преподавателей. На своём съезде педагоги Мещовского уезда Калужской губернии в начале 1905 г. признали этот распространённый недостаток их квартир наиболее существенным среди прочих[21]. «Квартирный вопрос» вызывал «всевозможные недоразумения» между педагогами и сельскими властями, которые приводили к тому, что отношения между ними принимали «крайне нежелательный характер»[22].

К 1890-м гг. большинство земств (к концу 1900-х гг. — все) стали самостоятельно нанимать или строить помещения для учителей, что повлекло за собой заметное улучшение качества жизни преподавателей. Так, здания, строившиеся в 1890-е гг. по планам Московского губернского земства, имели квартиру для преподавателя площадью 43,6 м^2 (из них площадь кухни — 20,6 м^2), что было вполне достаточным для одинокого учителя или учительницы[23]. Земское школьное строительство, неотъемлемой частью которого было сооружение благоустроенных квартир для преподавателей, приняло особенно большой масштаб в конце 1900-х гг. — 1910-е гг., после того, как государство начало субсидировать деятельность земств в области образования. С 1912 г. к проектам школ и квартир для преподавателей предъявлялись специальные санитарно-технические требования, разработанные МНП. Установив, что число квартир при школе должно соответствовать числу педагогов, особо оговорив необходимость отделения квартиры от других школьных помещений капитальными стенами, требуя наличия у квартиры отдельного выхода на улицу, правила закрепили право сельских учителей на относительно комфортное бесплатное

---

[20] Записка директора народных училищ Орловской губернии по вопросу о мерах к ограждению учительниц от тяжких нравственных и бытовых условий жизни [1904 г.] // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 3233. Л. 30 об.; *Петров В. В.* Указ. соч. С. 186–187; *Константинов С.* Два года в земской школе // РШ. 1913. № 4. С. 62; *Железнякова Е. Ю.* Указ. соч. С. 68, 74.

[21] Съезды народных учителей // ЖМНП. 1905. № 2. С. 141.

[22] Доклад Бежецкой уездной земской управы по народному образованию за 1904/05 учебный год // НА РАО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 28. Л. 21.

[23] [Планы земских школ] // ЦИАМ. Ф. 184 (Московская губернская земская управа). Оп. 6. Д. 416. Л. 12.

жильё[24]. Только в 1912–1915 гг. на средства школьно-строительного фонда были построены или находились в процессе строительства училищные здания на 20,1 тыс. школьных «комплектов», каждый из которых предусматривал квартиру для одного «учащего»[25]. Однако открытие новых школ в конце 1900-х — начале 1910-х гг. было таким массовым, что по прежнему часть педагогов была вынуждена жить в наёмных крестьянских избах.

Педагоги, не получавшие квартиры «натурой», оказывались, как правило, в трудном положении, так как в большинстве селений было очень трудно найти помещение, удовлетворявшее «обычным условиям культурной жизни». Один из инспекторов народных училищ называл «отсутствие квартиры при училище и заботы о приискании её в деревне» «первым злом» для работников сельской школы и приводил в пример учительницу, которая была вынуждена 4 года жить в «квартире», где «всякий приплод» домашней скотины помещался вместе с хозяевами и учительницей в единственной комнате[26].

Большинство учительских квартир состояли из одной небольшой или очень маленькой комнаты, реже встречались учительские квартиры двух-, трёх- и четырёхкомнатные. Например, в Псковской губернии в 1899 г. менее принятой там нормы (8,1 м^2) имели 26,4% учительских квартир, площадь 8,1–16,5 м^2 имели 48,4% квартир, свыше 16,5 м^2 имели 25,2% квартир. В Новгородской губернии в 1906 г. однокомнатными были 52% учительских квартир, двухкомнатными — 27%, остальные 21% квартир имели 3–4 комнаты; из числа всех квартир имели площадь не менее принятой там нормы (30 м^2) 45% жилых помещений для преподавателей земских школ. Кухни имелись при немногих квартирах и, как правило, были общими для двух квартир[27].

Преподаватели по-разному относились к неудобствам квартир, в которых они были вынуждены жить. Учителя и учительницы, имевшие только начальное образование, «выйдя из до крайности скудной обстановки», довольствовались, как писал Н. В. Чехов, «самыми примитивными удобствами или даже полным отсутствием их», называли удобным такое жилище, в котором отказывался жить человек, «вышедший из несколько лучшей обстановки сельского духовенства или мелкого чиновничества», выросший «хотя и в скромной, но здоровой и до известной степени гигиенической обстановке». Жалобы на неудобства помещений исходили главным

---

[24] В школе с 3 и большим числом комплектов квартиры для семейных учителей должны быть в пределах 48–68 м^2, для одиноких учителей и учительниц — в пределах 27–32 м^2, или до 41 м^2 с кухней. Заведующему многокомплектной школы полагалась квартира из 3 комнат и кухни, одному учителю в этой школе — квартиру из 2 комнат и кухни, двум учителям — по 2 комнаты при общей кухне (Всеобщее обучение. Сборник законов и правительственных распоряжений / Сост. К. Денисов. СПб., 1913. Вып. 1: 1907–1913 гг. С. 95–99).

[25] Объяснительная записка к смете Министерства народного просвещения на 1916 г. Пг., 1915. С. 30.

[26] Докладная записка инспектора народных училищ Касимовского уезда Рязанской губернии 35-му очередному Касимовскому уездному земскому собранию // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 2986. Л. 86 — 86 об.

[27] Сборник материалов и статистических сведений по народному образованию в Тамбовской губернии. Тамбов, 1901. С. 178; Быт учащих в Новгородской губернии // Вестник Новгородского земства. 1906. № 16. С. 22–23.

образом от учительниц со средним образованием. В земских управах эти жалобы нередко объясняли «избалованностью или привередливостью «барышень»»: «жили же раньше в этой школе учителя и не только не жаловались, но даже хвалили помещение». Тем не менее, «постоянные и настойчивые жалобы на неудобства школьных зданий» со стороны учительниц способствовали их улучшению и активизации земского школьного строительства[28].

Обстановка учительской квартиры была скромна и обыкновенно состояла из кровати, нескольких стульев или табуреток, одного или двух столов, зеркала, часов и полки с книгами, а также самовара. В квартире учительницы или учителя, так же как и у крестьян, был красный угол с иконой и зажжённой под ней лампадкой. Учительницы из состоятельных семей, приезжавшие в деревню для «культурной работы», привозили и некоторые несвойственные для деревенской жизни предметы. Так, среди вещей учительницы, прибывшей на службу в 1884 г., был рояль[29]. Инспектора народных училищ и мемуаристы отмечали, что квартиры учительниц отличались от квартир холостых учителей чистотой и опрятностью.

Одежда учительниц была в целом городской: они носили платья, имели пальто или шубу; традиционный для села головной платок учительницы старались заменять шляпками. Из обуви учительницы располагали валенками, галошами, сапогами и туфлями. Молодые учительницы при всей ограниченности своих средств стремились следовать за модой, о чём свидетельствуют и фотографии, и, в частности, следующее наставление директора народных училищ Тульской губернии: «Учительницы также должны одеваться скромно, без претензий на моду; лифа и юбки гладкие, без модных отделок; шляпки без птиц, цветов и перьев и т. п., так как смешно видеть их в глуши селений, на простой сельской учительнице. Всё это скоро полиняет, сомнётся и повиснет, как старая, линючая тряпка». Из этого же наставления можно заключить, что учительницы часто не довольствовались просто уложенными волосами, но и завивали их и подрезали «с напуском на лоб»[30]. Качество учительской одежды и обуви с точки зрения городской интеллигенции оставляло желать лучшего; как это следует из резолюции 1-го общеземского съезда по народному образованию (1911 г.), сельский педагог часто не мог появиться «в городе или в обществе людей, равных ему по образованию, не привлекая к себе общего внимания и не вызывая насмешливых или соболезнующих замечаний»[31].

Несмотря на свою бедность, практически все учительницы, как и учителя, имели свою наёмную прислугу или пользовались услужением училищных сторожей. В некоторых уездах в обязанности последних входило услужение преподавателям, в других

---

[28] *Чехов Н. В.* Материальное положение учащих Тульской губернии // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 2341. Л. 94 об. — 95.

[29] *Круглов А. В.* Из быта сельских учительниц. (Заметки из записной книжки) // Женское образование. 1879. № 1. С. 43–44; *Кившенко Н. Д.* Дневник сельской учительницы. СПб., 1887. С. 5; *Тютрюмов А.* Съезды народных учителей как общественно-педагогическая мера // РШ. 1894. № 5/6. С. 163; *Кушнерев А.* Из воспоминаний сельского учителя // Педагогический вестник Московского учебного округа. 1914. № 5/6. С 69; *Балдин К. Е., Иванов В. В.* Указ. соч. С. 346.

[30] *Яблочков М. Т.* Русская школа. Наставления директора народных училищ. Тула, 1895. С. 71.

[31] Ежегодник народного образования. Пг., 1915. Вып. 1. С. 108.

местах последние сами доплачивали сторожам небольшую сумму[32]. В 1911 г. учительницы и учителя земских училищ 73% уездов (от обследованных 279) в той или иной степени пользовались «даровой» училищной прислугой или получали специальные деньги для найма прислуги[33].

Рацион учительниц был более разнообразным, чем пища крестьян, и обычно включал такие, например, продукты, как лимоны, рис, конфеты, сливки. Однако некоторым преподавателям, воспитанным в городских семьях, приходилось иногда мириться с крестьянской пищей: как утверждал один учитель, «в деревнях едят плохо, а готовить «по-городскому» совсем не умеют». «Для умственного труженика, — считал он, — крестьянская пища не подходит». Вновь назначенная учительница, ранее воспитывавшаяся в доме помещицы, называла крестьянскую пищу «бурдой» и отказывалась принимать её. Поэтому учителя и учительницы часто прибегали к «чаю с кренделями», подменявшего им полноценное питание. Учительницы иногда находили время готовить самостоятельно такие блюда, которые удовлетворяли их «городскому» вкусу. Однако не везде можно было найти необходимые для этого продукты: зачастую за ними необходимо было отправляться в город или крупное торговое село. Многие учительницы, как и учителя, недоедали, или во всяком случае питались недостаточно разнообразно (об этом, в частности, свидетельствует то, что с повышением жалованья в структуре учительских расходов увеличивались главным образом затраты на питание). В постные дни часть преподавателей позволяла себе есть скоромную пищу, что, если это делалось известным, вызывало осуждение со стороны крестьян[34].

Учительницы на службе

Начинающие учительницы в первый же день занятий убеждались в огромной трудности вести занятия сразу с тремя или двумя отделениями детей. В таких условиях находилось абсолютное большинство преподавателей на всём протяжении существования земской школы.

Во многом эти трудности были следствием отсутствия специальной подготовки или её недостаточностью у начинающих учительниц, что иногда дополнялось и их слабым общим развитием. Уровень общего образования учительниц значительно превосходил уровень образования учителей — основная часть учительниц уже в 1880-е гг. имела среднее образование. К началу 20 в. во многих уездах девушки с образованием ниже четырёх классов среднего учебного заведения определялись на должности учительниц

---

32 *Дмитриев В.* Школьные будни (Из записок сельского учителя) // Мир Божий. 1896. № 2. С. 45–46; Начальное образование в Ярославской губернии по сведениям за 1896/7 учебный год. М., 1902. С. 301; Материалы по вопросу о современном состоянии начального образования в Рязанской губернии. Рязань, 1911. С. 75; *Железнякова Е. Ю.* Указ. соч. С. 108.

33 Первый Общеземский съезд по народному образованию 1911 года. Сводка сведений, доставленных губернскими земствами по программе, разосланной Бюро Съезда. М., 1911. С. 10.

34 *Круглов А. В.* Указ. соч. 1878. № 1. С. 38–39. 1879. № 1. С. 49; *Дидо*. Заметки и наблюдения (Из заметок бывшего сельского учителя) // РШ. 1899. № 7/8. С. 239; *Анастасиев А. И.* Народные учительницы // ЖМНП. 1905. № 10. С. 122; *Саломатин П.* Как живет и работает народный учитель. (Личные впечатления). СПб., 1913. С. 55–56.

только по чьей-либо протекции. Но с началом реализации проекта введения всеобщего начального образования вновь в массовом порядке к педагогической службе земства стали привлекать девушек с образованием ниже среднего (в 1911 г. таких было около 35,2%). По уровню образования учительницы уступали учителям как социальной группе только в одном — доле лиц со специально-педагогическим образованием, которая среди учительниц в 1911 г. составляла лишь около 4,9% (против 38,1% среди учителей)[35].

Педагогическая подготовка выпускниц гимназий и епархиальных училищ в условиях сельской школы была во многом бесполезна и могла лишь служить основой для приобретения практических навыков. Педагогический курс в этих учебных заведениях был краток, пробные занятия с тремя отделениями велись только в учительских семинариях, при которых существовали т. н. образцовые начальные школы; в женских гимназиях и епархиальных училищах будущие учительницы практиковались в обычных городских школах, где разделение классов на отделения отсутствовало. К тому же сказывалось различие между городскими и сельскими детьми, для работы с которыми требовались разные подходы. Положение усугублялось тем, что в однокомплектных школах молодой учительнице не у кого было спросить совета и не с кем было поделиться своими переживаниями. Инспектор народных училищ успевал посещать подведомственные ему учебные заведения один или, что было гораздо реже, два раза в году, иногда и вовсе не имел возможности заглянуть в школу за весь учебный год[36]. К тому же визиты инспекторов были очень короткими и не все из них были способны дать педагогический совет, а преподаватели нередко боялись обращаться за ним, воспринимая инспекторов прежде всего как ревизоров.

Выпускница епархиального училища писала о начале своей педагогической деятельности: «И теперь ещё живо, точно это было вчера, впечатление страшной беспомощности, угнетённости духа при сознании полной неумелости взяться за ответственное дело… ровно никакого представления я не имела в то время о ведении занятий в сельской школе. Можно себе представить, как при таких обстоятельствах могла справиться со своей серьёзной работой девочка в 16 лет, одна с сотней необузданных ребят»[37]. Учительницы из числа городских уроженцев сталкивались с тем, что крестьянские дети не понимали городской речи и на их вопросы отвечали либо молчанием, либо смехом, либо невпопад. Затем учительницы обнаруживали свою неспособность установить порядок и тишину на уроке, без которых учение невозможно: пока они работала с одной группой учеников, дети из двух других групп начинали шуметь и шалить[38]. Работать сразу с тремя отделениями учеников было очень трудно и опытному педагогу. Учительница земской школы с 14-летним стажем писала, что

---

[35] Материалы к Съезду по народному образованию. М., 1911. Т. 5. С. 16.

[36] Например, в 1890 г. в Московском учебном округе инспектора не успели посетить 21% подведомственных им начальных училищ, и попечитель округа сетовал, что некоторые училища находились «в такой глуши, куда бывает очень трудно проехать даже в зимнее время» (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 11. Д. 427. Л. 261 об., 263 об.).

[37] Материалы к Съезду по народному образованию. М., 1911. Т. 5. С. 35–36.

[38] *Анастасиев А. И.* Указ. соч. С. 114–115.

«в сельских школах трудно заниматься с тремя отделениями; вообще это тяжелая обязанность совсем разбивает нервы от продолжительных занятий»[39].

Помимо того, что работать учительницам приходилось одновременно с детьми разной подготовки и возраста (в мемуаристике имеются упоминания о том, что в некоторых школах отдельные ученики были ровесниками начинающих учительниц), зачастую они вели занятия сразу с очень большим числом учащихся — от 40 до 70, а в исключительных случаях даже более человек. Из-за кратковременности учебного года в сельских училищах, а также высоких экзаменационных требований рабочий день учительницы в классе, не считая перемен между уроками, длился в среднем 5–6 часов (педагоги Ярославской губернии преподавали в 1896/97 учебном году в среднем 29 часов в неделю, Псковской губернии в 1899 г. — 30 часов в неделю, Казанской губернии в 1911 г. — 28 часов в неделю и т. д.[40]). Рабочий день увеличивался весной, когда приближались экзамены и световой день становился длиннее. Преподаватели земских школ начинали занятия в разное время по собственному усмотрению (как правило, в 8–9 часов утра) и оканчивали их с таким расчётом, чтобы дети из соседних деревень смогли засветло придти домой (как правило, в 14:00–15:30). После окончания занятий учительницы и учителя проверяли тетради учеников, многие были вынуждены вести с учениками старшего отделения дополнительные вечерние занятия (они, конечно, были бесплатными, как и всё для детей в абсолютном большинстве пореформенных сельских школ), особенно накануне экзаменов. Например, в Московском уезде в 1910 г. учителя и учительницы земских школ еженедельно тратили на проверку тетрадей в среднем 8,5 часов, ¾ педагогов занимались после уроков с отстающими учениками и тратили на это в среднем 3 часа 50 минут в неделю. Кроме этого, раздача ученикам книг для внеклассного чтения еженедельно занимала у них в среднем 1 час 50 минут в неделю. Таким образом, полный рабочий день учительницы или учителя достигал 9 часов[41].

В отношении продолжительности учебного года учительницы и учителя земских школ были поставлены в двоякие условия: с одной стороны, рабочими для них было меньше половины всех дней в году (обычно 140–150), с другой — за большие летние каникулы и многочисленные праздничные дни на протяжении учебного года преподавателям приходилось платить перенапряжением своих сил в будни. За 3–4 года преподать крестьянским детям даже те элементарные сведения, которые предусматривались задачами сельской начальной школы, было очень не просто, если учесть уровень развития детей, поступавших в школу, условия работы в ней и слабую педагогическую подготовку «учащих».

Большие осложнения в работу преподавателей вносила существовавшая вплоть до конца 1900-х — начала 1910-х гг. система хозяйственного обслуживания земских

---

[39] *Серополко С. О.* Положение учащих в земских школах Тульской губернии (Доклад, читанный 23 мая 1904 г. в заседании Тульского общества взаимного вспомоществования учащим и учившим). Тула, 1904. С. 10–11.

[40] Положение народных учителей Псковской губернии // Начальное народное образование в Псковской губернии. Псков, 1899. С. 13; Начальное образование в Ярославской губернии по сведениям за 1896/7 учебный год. М., 1902. С. 302; *Акимов В. В.* Деятельность Казанского земства по народному образованию // ЖМНП. 1911. № 10. С. 168; и др.

[41] Из учительского быта. Продолжительность рабочего дня народного учителя // Вопросы и нужды учительства. М., 1910. Вып. 6. С. 90, 91.

школ, при которой обеспечение училищ дровами, освещением, ремонтом, а также найм училищных сторожей относились к обязанностям крестьян — сельских обществ или волостных правлений. Преподаватели, инспектора народных училищ, предводители дворянства (они являлись по должности председателями училищных советов) единодушно отмечали, что крестьяне выполняли принятые на себя обязательства по «училищной части» небрежно и стремились к всемерному сокращению расходов на школы[42]. Поэтому они доставляли дрова с опозданием или в недостаточном количестве[43], нанимали училищного сторожа «за цену неимоверно дешёвую», и тот, соответственно, выполнял свои несложные обязанности — вымести пол, вытопить печь и принести утром ведро воды для питья детям — «насколько возможно небрежно»[44]. Сторожа нередко игнорировали законные требования педагогов ещё и потому, что получали своё скромное вознаграждение из общественных сумм от сельских старост или волостных старшин и никак не зависели от учителей[45]. Некоторые сельские общества предоставляли педагогам самостоятельно заботиться об отоплении, освещении и уборке помещений; в таком случае эти обязанности выполняли либо сами учителя и учительницы, либо дети под их присмотром[46]. «Разные обиды и утеснения» со стороны «отрицательных элементов сельской среды» учительницы терпели, прося крестьян о своевременном снабжении школ дровами, о предоставлении подводы для поездки в город по служебным делам и т. д.[47] Инспектор народных училищ писал:

> «На заявления учащих о тех или других недостатках, на просьбы о необходимости ремонта к попечителям училищ и сельским обществам обращается весьма мало внимания, а жалобами в Училищный совет или инспектору учащие рискуют навлечь на себя серьезные неприятности от лиц, на которых они принесли жалобу. В виду этого иные безропотно мирятся и с тем, что в школе мерзнут чернила и приходится сидеть в шубе, и с тем, что самим приходится поставить самовар и вымести пол, и даже принести дров для печки, и с тем, что за дощатой переборкой живет вечно пьяный и сквернословящий сторож, что попечитель, разбогатевший мужик, говорит учительнице «ты» и обращается с ней хуже, чем со своей прислугой»[48].

---

[42] Доклад Зубковской уездной земской управы Зубцовскому уездному земскому собранию [1905] // НА РАО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 28. Л. 84.

[43] Сборник материалов и статистических сведений по народному образованию в Тамбовской губернии. Тамбов, 1901. С. 215.

[44] Отчет инспектора народных училищ Касимовского уезда Рязанской губернии за 1902/03 учебный год // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 2986. Л. 86 об. — 87.

[45] Отчёт инспектора народных училищ Покровского уезда Владимирской губернии за 1903/04 учебный год // Государственный архив Владимирской области (ГАВО). Ф. 449 (Дирекция народных училищ Владимирской губернии). Оп. 1. Д. 321. Л. 51 об. — 52; Отчёт инспектора народных училищ Юрьевского уезда Владимирской губернии за 1903/04 учебный год // Там же. Д. 382. Л. 103–103 об.

[46] Очерк о развитии народного образования в Бежецком уезде за 50 лет существования земства // Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 800 (Тверская губернская земская управа). Оп. 1. Д. 7694. Л. 31.

[47] *Анастасиев А. И.* Указ. соч. С. 123.

[48] Отчет инспектора народных училищ Ростовского уезда Ярославской губернии за 1902/03 учебный год // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 2991. Л. 144 об.

Следствием небрежных отношений крестьян к своим обязанностям по содержанию школ была грязь в помещениях училищ, которая постороннему человеку казалась невыносимой. Так, недавно назначенный на должность инспектор народных училищ писал:

«Пробудешь в школе на ревизии 2–3 часа, откашляешься — мокрота черная, как сажа, в ушах, в носу грязь, начнешь руки мыть, с них течет грязь, как будто перед этим копался в земле. Грязь в школах объясняется полным невниманием к чистоте: полы в училищах моются обыкновенно один или два раза в год; видел училище, где полы не были мыты в течении года ни разу и на немытых полах начали учение в следующем учебном году; пыль не везде стирается со столов; есть училища, которые не каждый день метутся. Поддерживать чистоту некому: сторожа, вполне завися от общества, совершенно игнорируют всякие требования в этом отношении со стороны учащих. Из 104 начальных училищ уезда могу назвать не более 5, где чистота поддерживается в должной степени.»[49].

Один из учителей писал об условиях работы в земской школе следующее:

«Классная пыль просто делается невозможной для всякого свежего человека, но для нашего брата она уже привычная, хотя надо сказать правду — плохая эта привычка. Пыль лезет в рот, в нос, в глаза и в уши, забирается во все поры тела и прямо-таки затрудняет дыхание… Это пыль какая-то особенная, мельчайшая, одёжная и тельная, с особенным специфическим запахом… На губах у ребят и даже у учительницы чёрные полосы от пыли. Она и свет в классе превращает в какой-то серый»[50].

Вот почему различные лёгочные заболевания, по свидетельству земских врачей, к началу 20 в. стали профессиональными недугами сельских педагогов.

Всё это, — писал инспектор народных училищ, — «нарушало спокойствие духа учащих и понижало в нелёгком их труде необходимую энергию»[51].

Учительницы особенно нелегко переживали свою зависимость от сельских обществ. Если учителя могли «сойтись с кем нужно» и тем самым обеспечить «радение» к школе сельских властей, выпив водки с волостным старшиной, сельским старостой или попечителем школы, то учительницам это средство было совершенно недоступно[52]. Директор народных училищ Тульской губернии в 1904 г. писал, что они редко обладали должной настойчивостью, чтобы добиться выполнения крестьянами своих обязательств по отношению к школе. Как отмечал тогда же директор народных училищ Смоленской губернии, должностные лица крестьянского самоуправления, «разделяя взгляд крестьянского сословия на женский труд в общественных делах» (об этом ниже) и «не будучи знакомы с самыми примитивными потребностями образованного человека», с насмешкой выслушивали жалобы учительниц на холод, угар, сквозняки, немытые полы и другие недостатки школьных помещений, а «в случае настойчивости со стороны учительниц» доходили до препирательств, которые, в свою очередь, «при

---

[49] Отчёт инспектора народных училищ Ливенского уезда Орловской губернии за 1902/03 учебный год // Там же. Д. 2984. Л. 57 — 57 об.

[50] *Дмитриев В.* Школьные будни (Из записок сельского учителя) // Мир Божий. 1896. № 2. С. 65.

[51] Отчет инспектора народных училищ Переяславского уезда Владимирской губернии за 1911–1913 гг. // ГАВО. Ф. 449. Оп. 1. Д. 321. Л. 353.

[52] *Новиков А.* Записки о сельской школе. СПб., 1902. С. 75.

нетрезвой жизни нашего сельского населения», часто переходили в брань, оскорблявшую «не только достоинство, но даже и женственность учительниц»[53].

Один из инспекторов народных училищ полагал, что грубость по отношению к учительницам и игнорирование их справедливых требований происходили от отсутствия «твёрдой власти» в деревне: «нет никакой силы, которая могла бы обуздать этот грубый произвол: исполнительных органов порядка и права нет совсем (один урядник на волость что может сделать?), суд далеко и когда еще будет, простор для мщения полный, начиная от каменьев, кидаемых в окна, и кончая обмазыванием дегтем и пусканием красных петухов»[54].

Когда в соответствии с условиями получения казённых субсидий на начальное образование земские управы стали принимать хозяйственное обеспечение школ на себя, положение сельских педагогов, особенно учительниц, значительно улучшилось. Конечно, и земские управы далеко не всегда с должной внимательностью относились к просьбам учителей и учительниц, касавшихся нужд начальных училищ и условий работы в них. Всё же, в целом, обслуживание земствами школьного хозяйства носило принципиально иной, чем у сельских обществ, характер: оно было планомерным, гораздо реже нарушалось нехваткой средств, почти не зависело от личных взаимоотношений, было направлено прежде всего на соблюдение санитарно-гигиенических норм. Улучшились взаимоотношения сельских педагогов и крестьян.

> «Обычное недовольство [сельских] обществ на учителей, нередко вызываемое жалобами последних на заброшенность вверенных им школ, — говорилось в отчёте инспектора народных училищ Корочанского уезда Курской губернии, — с переходом содержания последних в ведение земства отходит в область преданий, и между преподающими и обществами устанавливаются лучшие отношения, между тем как в училищах, содержимых самими обществами, эта неприязнь к преподавателям, по крайне мере — сельских властей, остаётся в силе»[55].

Несмотря на то, что учительницы оказались более уязвимы перед лицом «нестроений» сельской школы и равнодушия крестьян к училищным нуждам, их воспитательное влияние на детей было сильнее, чем влияние учителей-мужчинам. Инспектора народных училищ отмечали, что «в деле воспитывающего влияния на детей учительниц в большинстве случаев нужно поставить выше учителей»[56], что «хотя у мужчин школьное дело ведётся серьёзнее и основательнее, чем у женщин», зато учительницы «вселяют элемент нежности и сердечности в детях»[57]. «Сравнивая воспитательное воздействие на учащихся учителей и учительниц, — писал инспектор народных училищ, — нужно отдать полнейшее преимущество в этом отношении последним». Инспектор объяснял это

---

[53] ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 3233. Л. 35, 40.

[54] Отчёт инспектора народных училищ Бельского уезда Смоленской губернии // Там же. Д. 2990. Л. 35–35 об.

[55] *Акимов В. В.* Деятельность Курского земства по народному образованию // ЖМНП. 1910. № 11. С. 147.

[56] Отчёт инспектора народных училищ Рязанского уезда за 1902/03 учебный год // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 2986. Л. 24 об.

[57] Отчет инспектора народных училищ Смоленского уезда за 1903/04 учебный год // Там же. Д. 2987. Л. 104 об.

«прирождённым естественным свойством женской натуры понимать ближе детей, особенно в младшем возрасте, и свойственной женщине… домовитостью. Чистота в школах у учительниц весьма часто бывает поразительная, дети всегда причёсаны, грязных рубах на них не видно и прочее. Здесь мне невольно вспоминается учительница Верхопольского училища Бурцева [подчёркнуто в документе. — *Авт.*], у которой составитель отчёта был удивлен, увидев в классе у стены графин с водой и стакан, стоящими на маленьком круглом столике, какие обыкновенно ставятся в углах комнат; на замечание составителя отчёта, что, вероятно, учительнице приходится приобретать графин и стакан ежедневно, получился ответ, что графин куплен уже два года назад. Очевидно, это можно отнести только к особой воспитательной способности учительницы, что действительно подтверждалось дальнейшими наблюдениями за учащимися и дисциплиной. При этом, нужно заметить, дети отличались весёлым видом, любознательностью и прочее»[58].

Учительницы и крестьянство

В зависимости от своего воспитания и социального происхождения учительницы по-разному приспосабливались к окружавшей их сельской среде. Воспитанницы епархиальных училищ хорошо знали крестьян, «их нужды, запросы, характер» и легко уживались с ними, входя в их интересы, пользовались «полным доверием и уважением» крестьян благодаря своему «житейскому такту». Учительницы из гимназий, происходя по преимуществу из семей мелких чиновников, купцов и зажиточных мещан и вообще являясь городскими уроженцами, поначалу с трудом переносили всякого рода материальные лишения и болезненно воспринимали погружение в новую для них сельскую среду с её традиционными ценностями, властью «мира» и выборных должностных лиц, долго не могли свыкнуться с характером крестьян, а потому нередко (несмотря на желание искренне и честно трудиться) через некоторое время стремились перебраться поближе к городу или в город[59]. Тем не менее, как подчёркивал директор народных училищ Смоленской губернии, учительницы-гимназистки старались «сблизиться» с крестьянами, преимущественно с матерями и сёстрами учащихся, и таким путём часто приобретали «любовь и доверие со стороны женского населения и уважение со стороны мужского». Этот же чиновник утверждал, что учительницы, окончившие прогимназию или имевшие ещё более скромное образование, «в решительном большинстве выходящие из беднейших семейств городского населения», сохраняли «мещанские воззрения и предрассудки своих невежественных родителей и родственников», с презрением относились к деревенским жителям, которые, в свою очередь, платили им тем же[60].

Стремление учительниц «сблизиться» с крестьянством нередко наталкивалось на их недоверчивое или прямо враждебное отношение, так как крестьяне считали учительство

---

[58] Отчет инспектора народных училищ Карачевского уезда Орловской губернии за 1902/03 учебный год // Там же. Д. 2980. Л. 59 — 59 об.

[59] Отчет инспектора народных училищ Владимирского и Судогодского уездов за 1908/09 учебный год // ГАВО. Ф. 449. Оп. 1. Д. 321. Л. 342 об. — 343; Отчет инспектора народных училищ Богородского уезда Московской губернии за 1912/13 учебный год // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 6624. Л. 94 — 94 об.; Материалы к Съезду по народному образованию. М., 1911. Т. 5. С. 30.

[60] Записка директора народных училищ Смоленской губернии по вопросу о мерах к ограждению учительниц от тяжких нравственных и бытовых условий жизни [1904] // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 3233. Л. 36 — 36 об.

сферой мужского труда. Так, Остёрский уездный предводитель дворянства писал: «Крестьяне предпочитают учителей учительницам, хотя в сущности учительницы лучше учителей, но народ находит оскорбительным в чём бы то ни было подчиняться бабе»[61]. Инспектор народных училищ, спросив крестьянина о том, как идут дела в школе, получил такой ответ: «Та ничого… Тильки учителька у нас, а не настоящий учитель». «И это почти повсеместное явление», — добавлял инспектор (1890-е гг.)[62]. В 1903 г. другие инспектора народных училищ сообщали, что «между крестьянами господствует взгляд о значительных преимуществах учителя в школе»[63]; «симпатии крестьянских масс, несомненно, но, думается, незаслуженно, идут на сторону учителей», «симпатии населения редко где на стороне учительниц»[64]. Эти примеры можно долго продолжать.

Такое положение было вызвано несколькими факторами. Во-первых, в настороженном или прямо негативном отношении крестьян к учительницам проявлялась одна из доминант крестьянского сознания — большая патриархальная семья, где женщина занимала подчинённое положение.

Во-вторых, учительницы редко могли выступить регентами церковных хоров, устройству которых под руководством педагогов как крестьянами, так и учебной администрацией придавалось очень большое значение. В женских учебных заведениях пение почти не преподавалось. Учительницы не могли брать всех мужских нот, а между тем крестьяне ценили именно «партесное пение с возможностью всем, в особенности басам, кое где дёрнуть на всю на верхах — иначе певчие не только на спевку не придут, но и вовсе на клирос не станут»[65]. «Преимущественно этим обстоятельством объясняется неизменное, часто включаемое в приговоры сельских сходов желание крестьян, чтобы в содержимые ими училища обязательно были назначаемы учителя, а не учительницы», — утверждал инспектор народных училищ[66].

В-третьих, крестьяне вполне обоснованно считали женщин неспособными самостоятельно вести надлежащий «хозяйственный призор за школой». В-четвёртых, они настаивали на применении педагогами телесных наказаний к их детям и часто ставили в вину учительницам «их доброе, сердечное отношение к ученикам, их стремление основать свое воспитательное влияние не на страхе и наказании, а на любви и доверии»[67]. В 1870-е гг. крестьяне рассказывали об учительнице, не использовавшей

---

[61] Материалы, относящиеся до земских учреждений Черниговской губернии. Б. м., б. г. С. 257.

[62] *Щукин П. Н.* Из дорожного дневника инспектора народных училищ // РШ. 1914. № 9/10. С. 61–62.

[63] Отчет инспектора народных училищ Касимовского уезда Рязанской губернии за 1902/03 учебный год // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 2986. Л. 85 об.;

[64] Отчёты инспекторов народных училищ Ржевского и Корчевского уездов Тверской губернии // Там же. Д. 2989. Л. 57, 82.

[65] *Новиков А.* Записки о сельской школе. СПб., 1902. С. 88.

[66] *Кишко Д. О.* К вопросу о допущении женщин на должность инспектора народных училищ (о законопроекте о допущении лиц женского пола к занятию должности инспектора народных училищ) [1909] // Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733 (Департамент народного просвещения). Оп. 176. Д. 156. Л. 3.

[67] Записка директора народных училищ Тульской губернии по вопросу о мерах к ограждению учительниц от тяжких нравственных и бытовых условий жизни [1904] // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 3233. Л. 39 об. — 40.

телесные наказания, как о диковинке: «Право слово, не дерёт! Совсем не дерёт! И розги выкинула… Тоже роптали… да и теперь ропщут иные, да поменьше как будто… видят, что ничего… А диво!.. сам посуди — рази можно без дранья…»[68]. Учительница писала: «Без наказаний, по мнению крестьян, немыслимо учение. Они говорили: «Что это за учительница: ни потаскает за волосы, ни поругает, должно быть, ничему и не научит»»[69]. Другая учительница свидетельствовала о том, что родители перед началом учебного года следующим образом «дружно» напутствовали её: «Будь ты, кормилица, с ними построже, не давай поблажки, повесь вот тут на стенку плёточку, да почаще их ею и стегай! Сторож у тебя сильный, зови его держать»[70]. Такое же часто встречавшееся «наставление» крестьян молодым учительницам цитировал инспектор народных училищ: «А ты, родимая, коли что, так нужды нет, и поучи их — и потрепли коли за дело». На возражения учительниц, что «у нас бить не полагается» родители учеников недоумевали: «Ну как это? У меня вон их четверо только в избе-то: и то ину пору сладу нет. А это вон ведь какая орава… да как тут..? Нет, ты им воли-то не давай»[71].

Со всеми этими причинами были связаны, как писал учитель, преподававший в 1904–1911 гг. в ряде земских школ Епифанского уезда Тульской губернии, факты грубого отношения к учительницам (особенно к «тщедушным», а также к сменившим учителя), издевательств, отказов продавать продукты и т. д., что в целом подчас создавало невыносимые условия и вынуждало учительниц увольняться[72]. Директор народных училищ Смоленской губернии сообщал, что крестьяне часто обращались к училищным советам, директорам и инспекторам народных училищ с просьбами о замене учительниц учителями[73]. Инспектор народных училищ, служивший в Киевском учебном округе, утверждал, что бывали случаи, когда «крестьяне изгоняли и всячески выживали учительниц, назначенных вопреки их желаниям и просьбам»[74].

По мере замещения преподавателей-мужчин в сельской начальной школе женщинами-учительницами убеждение крестьян в том, что женщина не может работать в школе, постепенно разрушалось. Более того, некоторым сельским учительницам удавалось заслужить уважение у населения, и постепенно доля таких учительниц росла. Чаще всего они добивались этого при хороших успехах учеников или, что бывало значительно реже, если сами были способны организовать детский хор. Крестьяне Малышевской волости Меленковского уезда Владимирской губернии в 1904 г. в своем приговоре требовали от директора народных училищ вернуть в Малышевскую женскую школу учительницу Соколовскую, переведённую оттуда в другую школу «по какой-то чёрной жалобе». Обосновывая свое заявление, крестьяне писали:

«Она за своё недолгое пребывание в нашей школе сделала много отрадных нововведений, как-то: под её управлением девочки всей школой стали петь и читать

---

[68] *Круглов А. В.* Указ. соч. 1878. № 1. С. 531.

[69] *Кившенко Н. Д.* Указ. соч. С. 22.

[70] Год в сельской школе. (Из воспоминаний учительницы) // РШ. 1905. № 5/6. С. 63.

[71] Отчет инспектора народных училищ Арзамасского уезда Нижегородской губернии за 1902/03 учебный год // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 2983. Л. 166.

[72] *Саломатин П.* Указ. соч. С. 61, 67–68, 88.

[73] ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 3233. Л. 35.

[74] *Кишко Д. О.* К вопросу о допущении женщин… // РГИА. Ф. 733. Оп. 176. Д. 156. Л. 3.

в церкви, во-вторых, она сама неопустительно присутствовала при службе, вставала на клиросе и пела с певчими. За все это мы её ценили и радовались, что пение стало лучше, что дети наши стали более близки к храму и за это кроме благодарности ничего к ней не имели»[75].

Крестьяне деревни Моногарово Ливенского уезда Орловской губернии в конце 1904 — 1905 гг. энергично защищали перед уездным училищным советом учительницу, переведённую по инициативе инспектора народных училищ в школу с худшими условиями. Крестьяне заявили, что «кроме г. Кузнецовой другой учительницы или учителя не желаем». При предыдущем учителе, доказывали они, «требовалось 2–3 года для того, чтобы наши дети кое-как научились разбирать по складам, теперь же Ю. А. Кузнецова в каких либо три месяца научила их правильно читать и писать»[76].

О том, каким авторитетом могла пользоваться учительница среди крестьян, писал инспектор народных училищ Елецкого уезда Орловской губернии в отчете за 1902/03 учебный год: учительница (и вместе с тем попечительница) Сапрычинского училища Евдокия Николаевна Игнатова

«почти буквально отдаёт школе всё, что имеет: силы, здоровье и материальные средства. Небогатая женщина, она на собственные средства выстроила здание школы; на свой счёт покупает учебные пособия и одевает бедных детей. В обращении с учениками от неё веет безграничной материнской лаской и теплой любовью. В школе у неё чисто, опрятно и уютно. Ученики у неё скромны, благовоспитанны и обладают хорошими познаниями по всем предметам. К ней идут за советом и поделиться своим горем и взрослые обыватели деревни. Молодые деревенские парни, сделавшие какой-нибудь проступок, стыдятся и беспокоятся, что-то подумает о них Евдокия Николаевна»[77].

Большинство учительниц в окружении сельской среды вольно или невольно выступали в роли носителей культурных новшеств. При этом поведение учительниц нередко вступало в противоречие с крестьянским традиционализмом. Так, в отличие от семейных учителей, которым было крайне трудно, подчас непосильно, отказаться от добровольных приношений крестьян, одинокие учительницы не принимали их: если зажиточные родители могли подносить их без всякого ущерба для своего благосостояния, для бедных родителей, чьи дети по занятости в крестьянском хозяйстве, как правило, учились хуже, это было затруднительно. Выпускник одного из земских училищ Серпуховского уезда Московской губернии (конец 1870-х гг.) вспоминал, как перед Рождеством родители отправили его с куском шерстяной материи на платье к учительнице, но она подарок принять отказалась и велела прислать отца. Отец также вернулся вместе с подарком. Бабушка мальчика предположила, что подарок мал, а работник — что подарок надо заменить деньгами. «Что деньгами, — сердито ответил на это отец, — я было предложил, а она страсть как рассердилась, вспыхнула вся до ушей… «Как вам, говорит, не стыдно! Я говорю — это подкуп, а вы опять

---

[75] Обращение крестьян Малышевской волости к директору народных училищ Владимирской губернии [1904] // ГАВО. Ф. 449. Оп. 1. Д. 382. Л. 173.

[76] Обращение крестьян деревни Моногаровой Черкасской волости Ливенского уезда в Училищный совет Ливенского уезда [1905] // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 3975. Л. 9 — 10 об.

[77] Там же. Л. 39 — 39 об.

своё!» Повернулась, хлопнула дверью и ушла». Этот случай удивил и озадачил всех крестьян, привыкших к тому, что «все в округе брали»[78].

Практически все стороны жизни крестьян — их жилища, пища, уход за детьми и их воспитание, приёмы ведения хозяйства и т. д. — вызывали у учительниц недоумение, отвращение, негодование и желание преобразовать жизнь крестьян на рациональных основаниях. Борьба с «непроглядной» «темнотой», суевериями крестьян и т. д. отнимала у учительниц немало здоровья, надолго нарушало их душевное спокойствие[79]. Учительниц отталкивали многочисленные деревенские праздники, во время которых деревня наполнялась пьяной руганью и криками, непристойными песнями, между деревенскими парнями случались жестокие драки[80]. Современники с тревогой отмечали развитие хулиганства в пореформенной деревне, особенно в начале 20 в. «Нередко можно наблюдать среди деревенской молодёжи какое-то как будто враждебное отношение прежде всего к школе, курс которой только что они прошли, и к учащим, которые тратят свои силы и здоровье, трудясь над её образованием, — утверждалось в докладе Владимирской уездной земской управы. — Непристойные выкрикивания, пение неприличных песен, разухабистая пляска прямо перед окнами школы и квартиры учительниц — явления заурядные в деревне, и всё это делается ради того, чтобы показать свою удаль и «свободу»»»[81].

Поиски образованного общества и досуг учительниц

Даже если между учительницами и крестьянством устанавливались благожелательные отношения, учительницы по различным причинам, прежде всего из-за разницы в образовании, не могли найти в крестьянах полноценных собеседников, единомышленников и т. д. Естественно, что они искали близкого им по духу общества. Попробуем рассмотреть, с кем они могли разделить свой досуг.

Если школа помещалась недалеко от помещичьей усадьбы, а помещик (или управляющий) жил в имении круглый год и не избегал общения с «третьим элементом» или даже был попечителем школы, то учительница могла быть вхожа в дом помещика. На практике это встречалось редко. Напротив, учительницы и учителя подчёркивали, что обычным отношением поместного дворянства к ним было снисходительное или безразличное. Другие «интеллигентные силы» в деревне были представлены земскими служащими, прежде всего сельскими врачами, а в начале 20 в. и агрономами. Однако и общение с ними было затруднено уже в силу того, что местопребывание участковых земских врачей и участковых агрономов могло находиться далеко от школы, так как земские медицинские участки и участки агрономов охватывали несколько волостей.

Редким было и регулярное общение сельских педагогов друг с другом. К нему не располагала уже сама разбросанность сельских начальных школ, особенно во вто-

---

78 *Курнин С.* Две школы. (Из воспоминаний бывшего ученика) // Вестник воспитания 1896. № 5. С. 127–128.

79 *Пухлякова К. А.* Указ. соч. С. 73.

80 *Шмелева Е.* Из дневника учительницы. Хулиганство в деревне // Педагогический вестник Московского учебного округа. 1914. № 2. С. 58.

81 Доклады и журналы чрезвычайных и очередного Владимирских уездных земских собраний 1912 года. Владимир на Клязьме, 1913. С. 307–308.

рой половине 19 в., когда во многих волостях, охватывавших полтора — два десятка селений, школы имелись лишь в двух — трёх сёлах. После «хождения в народ» в 1-й половине 1870-х гг. и особенно после революционных событий 1905–1906 гг. на общение учителей друг с другом были наложены определённые негласные ограничения, вызванные подозрительным отношением со стороны администрации к любым «сборищам» представителей сельской интеллигенции. Князь Павел Д. Долгоруков на Всероссийском съезде обществ вспомоществования лицам учительского звания (конец 1902 — начало 1903 г.) утверждал, что учителя настолько разобщены, что «часто даже не знают в лицо своих товарищей по уезду»[82]. «Правовое или, вернее, бесправное положение учителя таково, что он зачастую поставлен в необходимость отказаться от всех знакомств, от посещения своих сотоварищей и жить отшельником: с сельской буржуазией не всякий учитель решится вести дружбу», — считал И. П. Белоконский[83]. «Мы, учителя окрестных сёл и деревень, — писала учительница Никольского училища Московского уезда (1907–1914 гг.), — встречались только один раз в месяц в З[емской] управе при получении жалованья»[84]. «Всякое случайное собрание учащих в школе или созыв учащим своих товарищей в гости, — писал учитель, — служит поводом к доносу на учащих в том, что они устраивают незаконные собрания. Особенно опасны для учащих те собрания, на которых нет водки и карт, здесь уже обязательно отыщется неблагонадёжность»[85]. В 1890-х гг. учительница из Московской губернии сообщала, что «попытки собраний в 4 и 5 человек с целью чтения и обсуждения школьных вопросов вызывали недоразумения»[86].

Субэлитный слой деревни — деревенские лавочники, сидельцы казённых винных лавок, волостные старшины и писари и др., — если иногда и привлекал учителей как среда для общения, то для учительниц был совершенно чуждым. В целом, эта общественная группа отталкивала педагогов отсутствием «живых интересов и участливого отношения друг к другу», безнравственностью, неумеренным употреблением спиртного[87].

Зачастую единственным человеком, с которым учительница могла разделить свой досуг, был священник — тем более, что приходские священники являлись учителями Закона Божия (законоучителями) в сельских училищах[88]. Однако учительская мемуаристика и отчёты инспекторов народных училищ свидетельствуют о том, что приятель-

---

[82] Отчет Московского охранного отделения о съезде представителей обществ взаимного вспомоществования лицам учительского звания [1903] // Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 102 (Особый отдел Департамента полиции). Оп. 231. Д. 75. Л. 14.

[83] *Белоконский И. П.* Учительский вопрос в народной школе // РШ. 1899. № 1. С. 135.

[84] *Илюхина Н. Г.* Автобиография // НА РАО. Ф. 28 (Коллекция документов о жизни и деятельности видных педагогов, собранная И. М. Диомидовым). Оп. 1. Д. 6. Л. 62.

[85] Правовое положение народного учителя // РШ. 1908. № 5/6. С. 140.

[86] *Петров В. В.* Указ. соч. С. 188–189.

[87] *Шестернин П. А.* Указ. соч. С. 113–114; Народный учитель — его значение и положение // РШ. 1907. № 7/8. Отд. 1. С. 135; Из жизни русского народного учителя // РШ. 1911. № 11. С. 58, 65–66; *Сохнышев В. Е.* Полвека в сельской школе. Записки учителя-общественника. Воронеж, 2003. С. 9–10.

[88] Преподавание этого предмета лицами без богословского образования в начальных школах, кроме церковно-приходских, было запрещено.

ские или дружественные отношения между педагогами и священниками складывались не столь часто, как это можно было ожидать. Рассмотрим причины этого явления.

Приходские священники в силу своего положения выступали в роли своеобразных блюстителей «нравственной и политической благонадёжности» преподавателей и считали себя вправе (и крестьяне, в отличие от педагогов, признавали за ними это право) вникать и «в жизнь своей паствы, и в жизнь отдельных лиц, быть судьёю и слов и дел своих пасомых»[89]. Нередко надзор со стороны священников задевал самолюбие учительниц и учителей, а иногда приводил к их необоснованному увольнению или переводу.

Об этом, в частности, свидетельствует инцидент, произошедший в дер. Красная Грива Ковровского уезда Владимирской губернии. Крестьяне Красногривского общества составили 15 ноября 1905 г. приговор, в котором они просили уездную земскую управу «отменить нашу учительницу» Александровскую и заявили, что до тех пор, пока их просьба не будет выполнена, они не будут пускать детей в школу. Далее крестьяне сообщили, что 8 ноября у учительницы состоялось «собрание учителей и других лиц духовенства», которое они, напуганные слухами об антирелигиозной и революционной пропаганде учителей, приняли за сходку революционеров. Инспектор народных училищ, посетивший 17 ноября Красногривское училище, застал учительницу в «крайне подавленном состоянии духа», а на уроке в школе обнаружил только 7 учеников. Выяснилось, что 8 ноября учительница принимала гостей, крестьяне же оклеветали учительницу под давлением приходского священника, по словам которого учительница «неаккуратно» посещала церковь с учениками. Однако в действительности учащиеся под её руководством исправно посещали храм (в 4-х верстах от д. Красная Грива), пропуская лишь те дни, когда сделать этого было невозможно из-за распутицы. Что послужило причиной вражды священника к учительнице, понять из документов невозможно, но важен тот факт, что, хотя после визита инспектора народных училищ все дети стали посещать школу, он нашёл нужным перевести учительницу в другое училище[90].

«Учитель редко в церковь ходит, постов не соблюдает, не оказывает должного уважения батюшке, — и вот донос уже готов; а в результате учителя лишают места безо всякого суда, часто даже без объяснения причин»; «пропустит, например, учитель воскресную службу, священник, если учитель почему либо неугоден ему, сделает ему замечание, может дискредитировать его в глазах крестьян, пожаловаться инспектору и т. д.»; «при столкновении священника с учителем всё дело сейчас же переносится на нравственную благонадежность учителя»; «очень много ослабляют продуктивность занятий батюшки, вторгаясь в дело преподавания и даже в личную жизнь учащих, предписывая свои правила и навязывая свои взгляды и убеждения. Учащего, который не захочет повиноваться отцу законоучителю, постигает гонение, как со стороны начальства, так и со стороны крестьян», — писали педагоги, имея в виду, конечно, и учителей и учительниц[91]. «Фактически нередко складывающуюся

---

[89] *Шавельский Г., протопресвитер*. Русская Церковь перед революцией. М., 2005. С. 204.

[90] Рапорт инспектора народных училищ Ковровского уезда директору народных училищ Владимирской губернии // ГАВО. Ф. 449. Оп. 1. Д. 382. Л. 389–390.

[91] *Барсов К.* Сельская школа и учитель (Воспоминания и заметки) // РШ. 1896. № 7/8. С. 29–30; Народный учитель — его значение и положение // РШ. 1907. № 7/8. С. 135; Право-

зависимость» их от священников («по большей доверчивости к жалобам последних») директора народных училищ С.-Петербургского учебного округа отнесли в 1905 г. к «хроническим затруднениям» в жизни сельских педагогов[92]. В то же время учительницы и учителя обыкновенно не позволяли себе «каких-либо жалоб и заявлений относительно законоучителей»[93].

Другой причиной конфликтов или натянутых отношений между земскими учительницами и священниками была неурегулированность вопроса о преподавании Закона Божия. По ряду причин священники часто пропускали свои уроки или не посещали школы вообще, что вынуждало учительниц нарушать закон и преподавать Закон Божий самостоятельно — и зачастую безвозмездно. Об этом свидетельствуют учительские мемуары, отчёты инспекторов народных училищ, заявления председателей училищных советов, являвшихся по должности председателями училищных советов.

Впрочем, учительницы реже учителей конфликтовали со священниками — как в силу своей бóльшей религиозности, так и в силу того, что по сравнению с учителями они значительно реже выступали в качестве активных общественных или же политических деятелей, проявляли бóльшую покладистость. В частности, они в силу законодательных ограничений не могли руководить кооперативными организациями (в начале 20 в. кооперация являлась главной сферой приложения общественной активности учителей). В списках педагогов, уволенных от службы за политическую неблагонадёжность, женские имена находятся в явном меньшинстве при численном преобладании женщин в составе преподавательского корпуса начальной школы. Земские обследования показывают, что при постепенном расширении доступности сельским педагогам периодических изданий (единственного источника информации об общественно-политической жизни страны) учительницы меньше учителей интересовались ими. Так, в Московской губернии в начале 1880-х гг. расходы на периодические издания делали 13,9% учителей и 10,5% учительниц[94], в Ярославской губернии в 1896/97 учебном году газеты или журналы выписывали 35% учителей и только 19,3% учительниц земских школ[95]. Реже, чем учителя, учительницы входили в состав и тем более играли активную роль в деятельности различных обществ, прежде всего уездных и губернских профсоюзных объединений учительства начальной школы — обществ взаимного вспомоществования учащим и учившим[96]. Характерно и то, что все «примерные бюджеты», составлявшиеся этими обществами для обоснования своих требований о повышении заработной платы, выполнены в применении к учителям-мужчинам. В учительской мемуаристике, развитие которой на рубеже 19 — начала 20 вв. отражало складывание профессиональной учительской общности, также абсолютно

вое положение народного учителя // РШ. 1908. № 5/6. С. 139; НА РАО. Ф. 19 (Личный фонд В. И. Чарнолуского). Оп. 1. Д. 189. Л. 25.

[92] О съезде директоров народных училищ С.-Петербургского учебного округа // РНУ. 1905. № 10. С. 393.

[93] Отчёт инспектора народных училищ Карачевского уезда Орловской губернии за 1902/03 учебный год // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 2980. Л. 57.

[94] Народное образование в Московской губернии. М., 1884. С. 77.

[95] Начальное образование в Ярославской губернии по сведениям за 1896/7 учебный год. М., 1902. Ч. 1. С. 293–294.

[96] Быт учащих в Новгородской губернии // Вестник Новгородского земства. 1906. № 17. С. 39.

преобладает мужское начало, а все крупные и наиболее значительные опубликованные воспоминания педагогов земских школ принадлежат исключительно мужчинам.

Все указанные выше условия приводили к тому, что важнейшей чертой повседневной жизни подавляющего большинства учительниц было чувство одиночества. Вместе с тем, учительницы лучше учителей переносили отсутствие близкого им общества. Так, среди них совершенно не было распространено пьянство, и этим они разительно отличались от учителей. Не имея семьи, не занимаясь подсобным хозяйством, они чаще учителей находили нравственное удовлетворение в попечительстве над учениками, вольно или невольно отдавая им своё свободное время[97].

«Я очень любила крестьянских ребят и зимой каталась с ними по полям и лугам на лыжах, радуясь вместе с ними», — писала учительница Никольского училища Московского уезда (1907–1914 гг.)[98]. «Если бы не ученики утешали меня, то очень неприглядна была бы моя жизнь в селе зимою… Я была счастлива, когда занималась с учениками, потому что нашла в них всё, даже больше, чем ожидала», — писала другая мемуаристка[99]. Очень часто учительницы оказывали своим ученикам разнообразную помощь, далеко выходившую за пределы их обязанностей. «В глухих заброшенных деревушках приходилось встречать таких учительниц, которые на свой счёт, например, покупают машинку для стрижки волос и сами стригут учеников, зашивают их рваное платье, лечат доступными для них средствами и т. п.», — свидетельствовал инспектор народных училищ Елецкого уезда Орловской губернии в 1903 г.[100]

Совершенно иной была повседневная жизнь учительниц земских школ во время длительных летних каникул, когда большинство из них уезжали «на сторону» — к родным или же в поисках дополнительного заработка. Например, в Московской губернии в 1883 г. в каникулярное время на местах своего служения оставалось 32,6% учительниц (учителей — 41%)[101]. Наиболее удачливые поступали на лето домашними учительницами, другие занимались шитьём, третьи работали боннами или даже горничными. Значительной части учительниц приходилось летом жить если не всецело на иждивении своих родственников, то при значительной помощи с их стороны[102].

Со Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 г., когда Общество взаимного вспомоществования учителям и учительницам Нижегородской губернии организовало в Нижнем Новгороде фактически первый съезд учителей начальной школы, началось развитие летних учительских экскурсий — первоначально по России, а в 1908–1914 гг. также и по зарубежным странам. Экскурсии резко расширяли

---

[97] *Барсов К.* Сельская школа и учитель (Воспоминания и заметки) // РШ. 1896. № 5/6. С. 28; *Шестернин П.* Из воспоминаний сельского учителя // Образование. 1898. № 9. С. 114; Отчет инспектора народных училищ Севского уезда Орловской губернии за 1902/03 год // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 2984. Л. 118.

[98] *Илюхина Н. Г.* Автобиография // НА РАО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 6. Л. 61.

[99] Воспоминания сельской учительницы // РШ. 1902. № 5/6. С. 35, 36.

[100] Отчет инспектора народных училищ Елецкого уезда Орловской губернии за 1902/03 год // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 4. Д. 2984. Л. 39 об.

[101] Народное образование в Московской губернии. М., 1884. С. 73–74.

[102] *Чехов Н. В.* Материальное положение учащих Тульской губернии // ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 2341. Л. 99 об.; ГАТО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 6723. Л. 16; Народное образование в Московской губернии. М., 1884. С. 73–74.

кругозор сельских педагогов. Основная часть учительских экскурсий устраивалась на льготных условиях московскими общественными организациями — Учебным отделом Общества распространения технических знаний и Комиссией по организации экскурсий при Московском отделении Российского общества туристов (некоторые земства выдавали учителям специальные ссуды для заграничных поездок). О масштабе экскурсий можно судить по тому, что первой из названных организаций в 1909 г. были организованы поездки 1089 человек, а в дальнейшем интерес народных учителей к экскурсиям только возрастал[103].

Большое оживление в жизнь преподавателей вносили и устраивавшиеся летом уездными и губернскими земствами краткосрочные педагогические курсы и съезды. Несмотря на то, что учёба на них была необязательной и иногда требовала от педагогов больших расходов, курсы, по опыту Н. В. Чехова, «всегда были праздником» для преподавателей: для них было «огромным лишением не попасть на них и они охотно отдавали и часть своих сбережений (не все получали пособия на поездку на курсы) и значительную часть летнего отдыха на эту работу»[104]. Просьбы ежегодно организовывать курсы или съезды содержались практически во всех коллективных обращениях учителей и учительниц.

«Брачный вопрос» в жизни сельских учительниц

Одним из главных отрицательных последствий одиночества учительниц в деревне была трудность поиска супруга. Между тем, значительная часть учительниц находилась как раз в том возрасте, когда девушка должна была выйти замуж (доля учительниц младше 25 лет в 1911 г. составляла около 60%[105]). Большинство молодых девушек на учительской службе тяжело переживали свою отрезанность от «общества», опасаясь остаться в девицах, — что с некоторыми и происходило. О таких учительницах инспектор народных училищ Киевского учебного округа писал: «Но проходит первый возраст возмужалости, у девицы начинают зарождаться сомнения, опасения; ещё два, три года, наступает тоска, за нею разочарование в жизни, в людях. Стукнуло девице 30–35 лет, и она уже вполне разочарована, озлоблена, она уже перестала любить ближнего, ибо ее прежняя, горячая, быть может, святая любовь к Божьему миру и людям не поддержана, не нашла своего оправдания и постепенно застыла. Теперь все для неё чужие, и она всем чужая: никто не достоин её ласки, милости, сочувствия. Какого воспитательного влияния можно ожидать от этой злой, раздражённой, небрежной, опустившейся девицы? У таких девиц-учительниц класс всегда бывает чрезвычайно рассеянным, небрежным в высшей степени, ленивым, несообразительным и совершенно недисциплинированным»[106]. Инспектору вторил один из учителей земской школы: «В первые годы учительства безбрачное состояние мало

[103] Записка Московского охранного отделения о заграничных экскурсиях народных учителей // ГА РФ. Ф. 102. Оп. 241. Д. 31. Л. 6; То же // Оп. 242. Д. 31. Л. 1, 82 об.

[104] *Чехов Н. В.* Работа среди учителей прежде и теперь // НА РАО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 484. Л. 22.

[105] Однодневная перепись начальных школ Российской империи, произведенная 18 января 1911 года. Пг., 1916. Вып. 16. С. 86.

[106] *Кишко Д. О.* К вопросу о допущении женщин… // РГИА. Ф. 733. Оп. 176. Д. 156. Л. 3 об.

отзывается как на самом учащем, так и на его деятельности… Но… с приближением зрелого возраста безбрачие ярко и обще сказывается на учащих, что как будто даже и не стоит приводить примеры, — можно прямо сделать общее заключение. Влияние это, по весьма понятным причинам, определяется особенно заметно на учительницах. Женщина становится более расслабленной или желчно, жесткой, раздражительной, даже злой… Есть, конечно, исключения, но они так редки, что почти никому не случается их наблюдать»[107].

Отчасти из-за трудности найти супруга в «деревенской глуши» замужних среди учительниц было очень мало, в некоторых губерниях ничтожно мало. В 1911 г. лишь около 17% от всех учительниц земских школ[108]. Определённую роль в «безбрачии» учительниц играло и то, что, как уже указывалось, была велика доля учительниц в столь молодом возрасте, для которого брачное состояние было нетипичным. Но главной причиной было то, что учительницы, как правило, прекращали службу с выходом замуж и рождением детей: беременность и роды требовали от них прервать работу, по меньшей мере, на несколько недель, однако отпуск в связи с рождением ребёнка не был предусмотрен законодательством на всём протяжении существования земской школы и зависел от доброй воли училищного совета, а сохранение содержания на этот период — от позиции земской управы. К тому же земства и дирекции народных училищ редко имели временных заместительниц на случай беременности учительницы. До введения института «запасных» преподавателей (конец 1900-х — 1910-е гг.) учительниц могли заменить на этот период только их мужья, преподававшие в той же школе.

В некоторых местах учительницы после выхода замуж были обязаны покинуть службу, так как рождение ребёнка зачастую делало невозможным нормальную работу. «Мать-учительница, начиная школьные занятия, буквально рвётся на части: едва за стеной раздастся плач, она уже не в состоянии работать, если нет няньки, нужно бежать самой, обрывать занятия на неопределённый срок, чтобы из своей комнаты слышать затем немедленно поднимающуюся бурю шума, драк, возни учеников», — писал деятель учительского движения П. Саломатин[109]. К началу 1900-х гг. дискриминиция выходивших замуж учительниц была нормативно закреплена только в Олонецкой губернии; во всех губерниях Московского учебного округа и в Вологодской и Новгородской губерниях замужние учительницы служили, пока могли «точно исполнять свои служебные обязанности». В остальных местностях вопрос о дальнейшей службе вышедших замуж учительниц официально не регламентировался. Однако и там они были нередко вынуждены покидать службу, подчиняясь устным распоряжениям «правящих в школьном миру учреждений и лиц»; в частности, одна из учительниц сообщала, что положение замужних учительниц «довольно неопределенно, так как их только терпят»[110]. На съезде директоров С.-Петербургского учебного округа отмечалось, что «в большинстве случаев замужество

---

[107] *Говоров С. К.* Брачный вопрос в быту учащих начальной школы. М., 1903. С. 28–29.

[108] Однодневная перепись начальных школ Российской империи, произведенная 18 января 1911 года. Пг., 1916. Вып. 16. С. 86.

[109] НА РАО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 189. Л. 42.

[110] *Говоров С. К.* Указ. соч. С. 10–12.

влечет за собой если и не непосредственно, то в очень скором времени оставление школы учительницами, особенно часто из-за необходимости по делам мужа переменить место жительства»[111].

Во многом поэтому женщины оставались на службе в начальной школе недолго. Так, в Тульской губернии в 1896/97 учебном году педагогический стаж учительниц составлял в среднем 6,2 года, в Тамбовской губернии в 1899 г. — 5,1 года, в Саратовской губернии в 1915/16 учебном году — 6 лет[112].

Любовь между учителем и учительницей могла и не быть оформлена браком, оставаясь секретом Полишинеля для окружающих, ибо в сельской среде такие отношения скрыть было очень трудно — тем более, что поведение педагогов находилось под пристальным вниманием односельчан, осуждавших любовные связи вне брака. Такие отношения иногда прекращались вмешательством начальства, переводившего одного из педагогов в другой угол уезда (переводы учителей и учительниц земских школ делались без их согласия, «для пользы службы», и были средством как наказания, так и поощрения). Столь же часто причинами таких переводов служили необоснованные слухи о связи между учительницей и учителем, которые легко возникали и поддерживались кем-нибудь из враждебно настроенных одному из педагогов крестьян, сельских должностных лиц. Мемуаристика и педагогическая публицистика начала 20 в. сохранила множество примеров подобного рода: бросить тень на репутацию интеллигентной женщины было очень легко. Указывая на вредные последствия в «нравственном отношении» от внебрачных связей между преподавателями, губернатор Тверской губернии П. Д. Ахлестышев в 1892 г. предложил запретить совместное служение учителей и учительниц, но, к счастью, не был поддержан Министерством народного просвещения, указавшим, что «от подлежащего учебного начальства зависит принять соответствующие меры по сему предмету»[113].

* * *

В целом условия жизни и пофессиональной деятельности сельской учительницы с точки зрения интеллигентного человека имели мало привлекательного. Однако учительницы дорожили своей работой, так как для женщин учительство в начальной школе было наиболее доступным поприщем для самостоятельной деятельности, «единственным средством для добывания насущного куска хлеба путём благородного честного труда»[114], а устроиться на должность хотя бы сельской учительницы вплоть до конца 1900-х гг., когда число школ и спрос на учительский труд стали стремительно расти, было сложно. Выпускница Ярославского епархиального училища, учившаяся в нём в 1897–1904 гг., вспоминала, что среди воспитанниц бытовал характерный стишок:

---

[111] О съезде директоров народных училищ С.-Петербургского учебного округа // Русский начальный учитель. 1905. № 10. С. 391.

[112] Начальное народное образование в Тульской губернии за 1896–1897 учебный год. Тула, 1898. С. 31, 33; Сборник материалов и статистических сведений по народному образованию в Тамбовской губернии. Тамбов, 1901. С. 175; Обзор начального образования в Саратовской губернии за 1915–16 учебный год. Саратов, 1917. С. 58.

[113] РГИА. Ф. 733. Оп. 172. Д. 335. Л. 1–2.

[114] *Синицын Н. А.* Из воспоминаний бывшего инспектора народных училищ // Педагогический листок. 1907. Кн. 8. С. 528.

Ой, гнетут дела печальные.
Посуди, народ честной:
У меня епархиальное дочка кончила весной.
Всё четвёрочки, пятёрочки,
Поведенье — с плюсом пять,
А ведь дома-то ни корочки,
Надо б место поискать…
Да поди-ка, не валяется,
Нет у нас в округе мест,
Вон их сколько нынче мается,
Голодающих невест.
Собралися до Овчинного,
Вёрст семнадцать — не беда.
Хвать, Клавдюшку благочинного
Уж назначили туда…

Вслед за теми, кто наблюдал деятельность учительниц земских школ в конце 19 — начале 20 вв., нам остаётся только удивляться и восхищаться тем, как много было сделано этими «культурными одиночками» при скудном жалованье, спартанском быте, зачастую при полном отсутствии какой-либо поддержки, в окружении чуждого общества и в условиях совершенной незащищённости перед «тёмными элементами» сельского мира. И всё же сельские учительницы показывали, что женщины вполне успешно могут заниматься самостоятельным трудом, не связанным с традиционными сферами приложения женского труда — семьёй и усадебным хозяйством. Смиренно переносившие многочисленные трудности, одинокие, более послушные начальству, более религиозные, чем учителя, женщины-учительницы стали основным проводником «образовательной революции» в российской деревне; зачастую учительница была единственным примером «интеллигентного» образа жизни для нескольких окрестных селений, и её деятельность исподволь меняла массовое сознание крестьянства и общества в целом. Проблемы, с которыми сталкивались учительницы, наглядно свидетельствуют о том, с каким трудом происходил этот процесс, как сильна была сила традиции.

«Правильный» человек в «неправильное» время: случай «красного» профессора Михаила Корбута

А. А. Сальникова

24 января 1924 г., «в связи с кончиной вождя мирового пролетариата товарища Ленина», в Казанском университете было срочно собрано заседание университетского правления. Среди прочих, на заседании был поставлен вопрос том, кто будет представлять университет в Москве на похоронах Владимира Ильича. Миссия эта была высока и почетна. Правление единогласно решило, что этим человеком может стать только заведующий рабфаком Михаил Ксаверьевич Корбут — самый преданный, самый идейно убежденный, самый достойный представитель университетского сообщества[1].

Почему выбор пал именно на Корбута? Чем сумел этот молодой (в ту пору 24-летний) человек завоевать уважение и доверие своих коллег и учеников? Какое место занимал он в казанской университетской корпорации, каков был его персональный вклад в ее становление и развитие в новых, советских условиях? Насколько типичной для своего времени была судьба этого провинциального «красного» профессора и насколько гармонично вписывался его индивидуальный социально-психологический портрет в то большое, широкосюжетное и многотипажное полотно, которое представлял собой университетский социум первых десятилетий советской власти?

Михаил Корбут прожил всего 37 лет, не дожив до 38-го дня своего рождения чуть более двух недель: 1 августа 1937 г. Военная коллегия Верховного суда СССР в закрытом судебном заседании приговорила его как одного из руководителей «контрреволюционной троцкистской, террористической организации» к расстрелу. В тот же день приговор был приведен в исполнение. Таким образом, жизнь его оказалась не только короткой, но и искусственно прерванной. При этом она была такой насыщенной, что рассказа о ней хватило бы, пожалуй, на несколько биографий. Ведь, как и у всех представителей этого поколения, это была «жизнь на изломе», жизнь, свойственная той эпохе, когда естественный ход событий был прерван, а новые советские эксперименты приводили к подчас непредсказуемым результатам. Мало того, что Корбут становился активным участником этих экспериментов — он сам инициировал их, вызывая этим похвалу и одобрение одних и критику и неприязнь других.

Михаил Корбут очень хотел стать «своим» для советской власти. В решении этой непростой задачи ему нельзя было отказать ни в приверженности революционному романтизму, ни в четком и трезвом расчете. Жизнь его была полна взлетов и падений, страстных увлечений и горьких разочарований, упорного труда и неожиданных озарений, легко прочитываемых поведенческих стратегий и неких тайных смыслов, которые могут быть поняты лишь в общем контексте той сложной и страшной эпохи.

[1] Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского государственного университета (далее — ОРРК НБЛ КГУ). Д.8823. Л.25.

Он неуклонно и твердо шел к реализации намеченной цели, несмотря на множество «отягощающих» этот путь обстоятельств: «непролетарское» происхождение, впитанные с молоком матери «интеллигентские» манеры и привычки, даже сам облик близорукого, слегка прихрамывающего, невысокого сероглазого блондина, мало похожего на мускулистого, крепкого строителя и творца коммунистического завтра[2].

После 1937 г. имя Корбута оказалось вычеркнутым из советской историографии на долгие десятилетия. Его начали упоминать — и то изредка и вскользь — только в 1960–1970-е гг.[3] Однако по-настоящему Корбут вернулся в историческую науку лишь на волне постперестроечной реабилитации: опубликованный в 1990 г. очерк А. А. Литвина показал необходимость и возможность специального изучения истории жизни этого человека[4]. Впоследствии попытка оценить творческое наследие Корбута была предпринята в диссертационном исследовании Е. С. Масловой[5]. В последнее десятилетие о Корбуте вспоминали чаще всего в связи с 200-летним юбилеем Казанского университета, отмечавшимся в 2004 г.[6] Но все это были лишь разрозненные отрывки, не складывавшиеся в целостный портрет, тем более, в портрет, написанный на фоне эпохи. Создание биографии не столько историко-событийной или творческой, сколько историко-психологической и историко-социальной неизбежно требовало значительного привлечения источников личного происхождения, в первую очередь, частных нарративных документов, принадлежавших перу самого Корбута. Однако такие источники практически не сохранились. «Живой голос» Корбута можно было услышать лишь со страниц его следственного дела и созданных им исторических исследований и публицистики, и отчасти воспроизвести по воспоминаниям его немногочисленных ныне живущих родственников[7]. Наличие таких пробелов обусловило особые методы работы с источниковым материалом. Главным среди них стало

---

[2] См.: Национальный архив Республики Татарстан (далее — НАРТ). Оп.4. №2994; Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан (далее — ЦГА ИПД РТ). Ф.30. Оп.3. Д.1598.

[3] *Элерт А. А.* Очерки студенческого движения в Казани накануне революции 1905–1907 гг.: (Из истории Казанского университета и ветеринарного института). Казань, 1961. С.6–7; *Литвин А. Л., Циунчук А. Г.* Создание и деятельность Татарского истпарта (1920–1939). Казань, 1972. С.68–93.

[4] *Литвин А. А.* Корбут Михаил Ксаверьевич (1899–1937) // Возвращенные имена. — Казань, — 1990. — С.111–115. Интересно заметить, что в опубликованной через 14 лет биографической заметке о Корбуте автор почти полностью пересмотрел свои предыдущие взгляды и представил менее ангажированный и гораздо более человечный портрет своего героя. (См.: *Литвин А. А.* Историк и время // Гасырлыр авазы / Эхо веков. 2004. № 1. С.106–108).

[5] *Маслова Е. С.* Историк М. К. Корбут (1899–1937 гг.). Дисс. … канд ист. наук. Казань, 2004.

[6] Очерки истории Казанского университета. К 200-летию Казанского университета. Казань, 2002; *Сальникова А. А.* Становление советской системы исторического образования. 1917 г. — конец 1930-х гг. // Изучение и преподавание отечественной истории в Казанском университете. Казань, 2003. С.65–139; История Казанского университета. Казань, 2004; *Вишленкова Е. А., Малышева С. Ю., Сальникова А. А.* Terra Universitatis: Два века университетской культуры в Казани. Казань, 2005 и др.

[7] Автор благодарит Е. С. Маслову, помогавшую в выявлении архивного материала и представившую в распоряжение автора неопубликованные воспоминания, связанные с жизнью и деятельностью М. К. Корбута.

выделение «личностной составляющей» в источниках разных типов, видов, жанров и происхождения (в том числе в делопроизводственной документации, творческом наследии Корбута, визуальных текстах) и соотнесение ее с той «общей» информацией, которая отложилась в к счастью хорошо сохранившемся комплексе документов по университетской истории тех лет. Такой подход позволил увидеть за типичным специфическое, за общепринятым — противоречившее ему, а затем интерпретировать эти противоречия и вписать историю жизни Корбута в коллективную биографию университариев его поколения.

Годы учебы: гимназист, студент

Михаил Ксаверьевич Корбут родился 16 августа 1899 г. в Казани в интеллигентной и небедной семье. Отец Михаила, Ксаверий Александрович, поляк из Ковно, окончил Петербургскую консерваторию и хорошо был известен в Казани и как музыкант-исполнитель (фортепьяно, орган), и как авторитетный педагог: Ксаверий Корбут преподавал фортепьянное искусство в знаменитой на все Поволжье музыкальной школе Р. А. Гуммерта, а в начале 1920-х гг. стал профессором только что созданной в Казани Восточной консерватории. Он внес существенный вклад в формирование музыкальной культуры Казани и в значительной степени заложил основы казанской фортепианной школы, не только подготовив большое количество учеников, но и разработав собственную методику преподавания игры на фортепьяно[8].

Мать Михаила Ксаверьевича, Нина Михайловна Корбут (в девичестве — Магницкая), 1872 г. рождения, принадлежала к весьма уважаемой в Казани дворянской фамилии, тесно связанной, как известно, с историей Казанского университета и образования и просвещения в крае.

Родившийся от смешанного брака, Михаил Корбут никогда не позиционировал себя как поляк. «Польскость» Корбута не была очевидной — она не проявлялась ни в проблематике, ни в содержании, ни в оценках, содержащихся в его научных исследованиях. Не нашла она своего отражения и в личных делах историка. В сохранившихся дореволюционных документах он всегда значился православным. Вероятно, это было следствием тогдашней устоявшейся практики, когда ребенка, рожденного от смешанного брака, крестили в православие. Что касается советских официальных автобиографий и анкет, то Корбут везде назывался русским, о своем польском происхождении нигде не упоминал и свою национальную принадлежность никак не подчеркивал. Возможно, он просто не хотел наживать себе лишних проблем.

Брак Ксаверия и Нины оказался недолгим. Супруги разъехались. Нина с сыновьями — старшим Михаилом и младшим Сергеем — переехала в собственный дом брата, гимназического преподавателя Александра Магницкого, на улице Воскресенской. Здесь, неподалеку от Казанского императорского университета, с которым тесно и неразрывно оказалась связана вся жизнь и судьба М.Корбута, прошло его детство[9].

---

[8] Об этом см.: *Ключевская Е.* Забытая графическая сюита // Татарстан. 1996. №9. С.85.

[9] Из беседы с дочерью двоюродной сестры М. К. Корбута Е. П. Ключевской // Архив Е. С. Масловой. Запись 2003 г., а также: НАРТ. Ф.87. Оп.1. Д.7962. Л.52; Д.7958. Л. 90; Д. 7968. Л.11; Д.7998. Л. 2об.; Д.8130. Л.101 и др.

В 1910 г., когда Михаилу исполнилось одиннадцать лет, его зачислили в 1-ую Казанскую мужскую гимназию на своекоштное обучение[10].

Документов о пребывании Корбута в гимназии сохранилось крайне мало. Вероятно, это были не самые приятные годы его жизни: учился гимназист Корбут на редкость плохо. Упорными тройками (а иногда — и двойками) из года в год оценивались Мишины знания по большинству предметов — истории, русскому языку, арифметике (позднее — алгебре, геометрии), закону Божьему, рисованию[11]. Несколько оправдывало его лишь то, что мальчик был очень болезненным — он пропускал занятия целыми четвертями (как отмечал классный наставник, «больше всех в классе»), оставался на второй год, сдавал экзамены экстерном[12]. Той же тройкой, как правило, оценивалось и прилежание ученика, хотя поведение его всегда было «отличным»[13]. Маленький, тихий, робкий, незаметный, он терялся среди своих более успешных и энергичных одноклассников.

Картина изменилась лишь в 1917–1918 учебном году, когда мальчик повзрослел и, видимо, стал задуматься о будущем. В итоговой ведомости напротив фамилии Михаила Корбута наконец-то появились пятерки по истории и закону Божьему[14]. Повлиять на результаты итоговой аттестации могло в какой-то степени то особое расположение, которое руководство гимназии испытывало к ближайшим родственникам Михаила: его дядя Александр служил здесь же учителем и был на хорошем счету, а мать в течение всех лет обучения Корбута оставалась неизменным членом гимназического родительского комитета. С 1915/1916 учебного года Нина Корбут и Александр Магницкий активно участвовали также в работе созданного при гимназии Общества вспомоществования нуждающимся ученикам[15].

Окончив гимназию в 1918 г., Корбут поступил на историко-филологический факультет Казанского университета[16]. Однако вскоре выяснилось, что истфилфак — этот совсем не то место, куда стремился не лишенный честолюбия гимназист. Вспоминая годы студенчества, М. К. Корбут называл 1918–1919 учебный год на истфилфаке «самым нежизненным» годом в университете, когда «цепь старой школы прервалась»[17] и ее уже не существовало, а новая школа еще не была создана. Этот факультет с его, по словам самого Корбута, «неактивным в политическом отношении» преподавательским составом и «разнокалиберным» контингентом сокурсников[18], с преподаваемыми

---

[10] НАРТ. Ф.87. Оп.1. Д.8130. Л.101.

[11] НАРТ. Ф.87. Оп.1. Д.10063. Л.67.

[12] НАРТ. Ф.87. Оп.1. Д.7958. Л.90; Д.7950. Л.26; Д.8007. Л.65 об.; Д.8029. Л.73.

[13] НАРТ. Ф.87. Оп.1. Д.8043. Л.102, 138 об., 157.

[14] НАРТ. Ф.87. Оп.1. Д.8114. Л.154.

[15] НАРТ. Ф.87. Оп.1. Д.7968. Л.11; Д.7998. Л.2 об.; Д.8023. Л.3 об.; Д.8039. Л.3 об.; Д.8058. Л.12 об.; Д.8068. Л.1 об.–3 об.

[16] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.37 л. Д.4. Л.70.

[17] *Корбут М. К.* Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина за 125 лет. 1804/05–1929/30: В 2-х тт. Т.II. Казань, 1930. С.303–304.

[18] *Там же.* Из 1885 студентов, зачисленных в Казанский университет в 1917 г., детей потомственных дворян было 89, личных дворян и чиновников — 765, лиц духовного звания — 370, почетных граждан и купцов — 167, мещан и цеховых — 472, казаков — 16, крестьян — 288, иностранцев — 9, прочих — 9. (ОРРК НБЛ КГУ. Ф. «Казанский универси-

здесь «старыми» «классическими» дисциплинами[19] олицетворял собой отживающее, уходящее, прошлое. Корбут же неудержимо и неотступно стремился ко всему новому, «революционному». В октябре 1919 г. он перевелся на юридико-политическое отделение нового факультета — общественных наук (ФОНа), ориентированного на изучение и пропаганду марксисткой методологии, которое и закончил в 1922 г.

Выбор Корбутом ФОНа для получения дальнейшего образования был вполне закономерен. Конечно же, историко-филологический факультет и его «старая» профессура с такими достойными специалистами в области русской истории, как, например, профессор Н. Н. Фирсов[20], или молодыми П. Г. Архангельским и И. А. Стратоновым[21], вполне могли пробудить в юном студенте желание заниматься академической историей, а не политикой. Но не то тогда было время, и не таким человеком был Михаил Корбут. «Академики» для него было явно недостаточно. Его неуемно тянуло к общественной деятельности, и образование, полученное на ФОНе, открывало в этом плане самые широкие перспективы. Как известно, в отличие от традиций классической исторической школы, студенты ФОНов изучали преимущественно социально-политические дисциплины и считались идеологически надежными и чрезвычайно теоретически подкованными в этой области знаний[22].

Хотя вскоре стало ясно, что процесс обучения на ФОНах ведет в тупик, а ускоренные темпы подготовки и усиленная политизация отнюдь не способствуют улучшению качества образования, в случае с Корбутом ФОН полностью справился с поставленной задачей и сделал из своего студента активного адепта и пропагандиста марксистко-ленинской теории и методологии. Именно здесь произошло становление

тет». Д.6746. Л.1). И все эти (в большинстве своем «классово чуждые») люди продолжали учиться в университете в последующие годы. В 1918 г. студенческая рабоче-крестьянская прослойка в Казанском университете составляла всего 8,5%. (*Вишленкова Е. А., Малышева С. Ю., Сальникова А. А.* Terra Universitatis. С.129). По своему социальному положению в первые годы советской власти все профессора и преподаватели принадлежали к «бывшим». (Там же. С.151).

[19] Вплоть до закрытия факультета в 1921 г. преподавание велось здесь практически полностью по старым дореволюционным учебным планам. (НАРТ. Ф. 977. Оп. Истфилфак. Д.2535. Л.1–8 об; Ф.1337. Оп.2. Д.1. Л.41 об.).

[20] Н. Н. Фирсов (1864–1933) — профессор Казанского университета, автор более 200 работ по социально-экономической истории России XVIII-XIX вв., истории крестьянского движения, многочисленных биографических очерков, в том числе для Энциклопедического словаря Гранат. (Казанский университет (1804–2004): Биобиблиографический словарь. Т.1: 1804–1904. Казань, 2002. — С.560–561).

[21] *А*рхангельский П. Г. (1884–1921) — приват-доцент Казанского университета, специалист в области историографии и аграрной истории России. Стратонов И. А. (1881–1942) — приват-доцент Казанского университета, специалист в области источниковедения и средневековой истории России. (О них см. подробнее, в частности: *Астафьев В. В.* Формирование и эволюция казанской исторической школы во второй половине XIX–начале XX вв. // Изучение и преподавание отечественной истории в Казанском университете. С.57–59; *Сальникова А. А.* Становление советской системы исторического образования. — С.90–94).

[22] Так, например, будучи студентом ФОНа, М.Корбут слушал такие курсы, как «Карл Маркс и его школа», «Теория капиталистического хозяйства», «Публичное право советской республики», «Статистика», «Социология». (Из архива М. К. Корбута // Музей истории Казанского государственного университета).

М. К. Корбута как общественника, и здесь же он сделал свои первые шаги, как исследователь.

Правда, заниматься общественной работой Корбут начал, еще учась на «безжизненном» истфилфаке. Он несколько раз участвовал в заседаниях факультетского совета, в 1919 г. был назначен секретарем комиссии по социальному обеспечению и трудовой повинности студентов, введен в состав согласительной комиссии по выработке новых учебных планов[23]. Выделиться среди окружающих ему было несложно — его сокурсники «из бывших» были в большинстве своем политически неактивны, а новые «красные» студенты пока еще малочисленны и плохо адаптированы к университетским условиям. Кроме того, их на истфилфаке вообще было мало — они предпочитали традиционно более демократичный и практически более востребованный медицинский или новый, открытый в 1918 г., лесной факультет.

На ФОНе студент Корбут оказался среди таких же честолюбивых и карьерно ориентированных молодых людей, каким был он сам, но и здесь он сумел стать заметной личностью. В 1919 г. Корбут вступил в ряды ВКП(б) [24]. В этом же году он был официально включен Отделом ВУЗов Наркомпроса в число студентов-представителей в Совете университета и заседаниях факультета[25]. Вместе с университетскими профессорами он принимал участие в решении таких важных и по большому счету не входящих в компетенцию студентов вопросов, как, скажем, вопросы кадровые («о возвращении бывших профессоров и преподавателей, не принадлежащих к составу университета, к прежним должностям»)[26], что, конечно, очень льстило молодому активисту. В 1922 г. Корбут был утвержден членом Совета факультета общественных наук от коллегии РКП(б) при ВУЗах Казани[27].

Еще будучи студентом, М. К. Корбут участвовал в создании рабочего факультета в Казанском университете и со дня его основания до 1921 г. был членом президиума и секретарем рабфака, а с 1921 по 1926 гг. — его заведующим[28]. «В 1919–1921 гг. мы внедрялись во все поры вузовской жизни, — вспоминал Корбут, — мы завоевывали вузы изнутри. В этом отношении нам колоссально помогло дело организации в составе Казанского университета рабочего факультета»[29].

16 октября 1920 г. в Казани было создано бюро Истпарта. По предложению секретаря Центрального Истпарта В. В. Адоратского, учившего и хорошо знавшего своего «политически активного» студента, М. К. Корбут был назначен уполномоченным Истпарта — председателем его Казанской подкомиссии[30].

---

[23] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.2. Д.1. Л.91; Д.2. Л.16; Д.4. Л.3.

[24] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.36 л. Д.14. Л.89 об.

[25] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.27. Д.2а. Л.162.

[26] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.27. Д.11. Л.8,61; Д.4. Л.47 об., 105.

[27] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.27. Д.15. Л.8.

[28] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.36л. Д.14. Л.89 об.

[29] Цит. по: Диковицкий А. Моменты прошлой борьбы // 5 лет рабочего факультета Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова (Ленина): 1919 — ноябрь 1924. Казань, 1924. С.102.

[30] *Литвин А. А., Литвин А. Л.* Заурядная жизнь незаурядного человека. В. В. Адоратский (1875–1945). — Казань, 2008. — С.82.

Одним из первых изданий Татистпарта стала брошюра А.Бочкова «Три года Советской власти в Казани: Хроника событий, 25 октября 1917–1920 гг.» (1921)[31]. Редактором и автором предисловия к этой работе стал студент Михаил Корбут. «Еще на студенческой скамье, — вспоминал он впоследствии, — я напечатал небольшую работу, написанную мной под руководством В. В. Адоратского «Производственные силы и их роль в обществе»… и тогда же под моей редакцией вышла брошюра А.Бочкова — «Три года Советской власти в Казани»[32]. Кроме того, Корбут начал печатать свои первые статьи и рецензии («Значение культуры в переживаемый период» (1922), «Высшая школа и комстуденчество» (1922), «Царизм по мемуарам гр.Витте» (1922), «Церковные дела и наши задачи: (Обзор печати)» (1922) в издаваемых местным Истпартом журналах «Пути революции» и «Коммунистический путь». Эти журналы сосредотачивали свое внимание на изучении революционной проблематики: В. И. Ленин, Н. Е. Федосеев и первые марксистские кружки в Казани; революционное движение в Казанской губернии; Октябрьская революция и гражданская война в Татарии. Эта проблематика с тех пор и навсегда стала приоритетной в научном творчестве Корбута.

С 1921 г. Корбут стал членом редколлегии журнала «Казанский библиофил», где курировал отделы обществоведения и религии. Его отзывы об исследованиях современников (с 1921 по 1923 гг. в журнале было опубликовано свыше 20 рецензий, написанных Корбутом) вполне соответствовали «духу времени»: по мнению Корбута, историческое исследование должно было быть, прежде всего, доступно пониманию широких масс и пронизано идеями классовой борьбы[33]. Таковы и были главные критерии даваемых им в журнале оценок.

В 1922 г. М.Корбут закончил Казанский университет. Тогда же там перестал существовать и факультет общественных наук.

Студенческие годы Корбута (1918–1922 гг.) пришлись на довольно сложный, переходный период в истории Казанского университета, отечественной высшей школы, да и всей страны в целом. Корбут оказался в ситуации социального и культурного пограничья. С одной стороны, обучаясь на истфилфаке и даже на ФОНе, где по-прежнему много было «старых» университетских профессоров, он волей-неволей приобщался к традициям дореволюционного высшего образования. Он получил неплохие знания, позволившие ему всерьез заняться самостоятельными научными изысканиями. Его гимназическая подготовка, умение говорить и писать по-немецки и по-французски, знание латыни[34] разительно отличало его от студентов, пришедших в университет «от станка и от сохи». Давало себя знать и социальное происхождение, и полученное в семье и гимназии воспитание. Избавиться от всего этого и мгновенно переродиться было нелегко. С другой стороны, все эти «пережитки» неимоверно тяготили Корбута. И в общественной деятельности, и в научном творчестве, и в личных контактах он всячески дистанцировался от «сво-

---

[31] Бочков А. Три года Советской власти в Казани: Хроника событий, 25 октября 1917–1920 гг. — М., 1921.

[32] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.37л. Д.4. Л.70–70 об.

[33] *Корбут М. К. [Рец.]: Волгин В. П.* Революционный коммунист XVIII в.: (Жан Мелье и его «Завещание»). М., 1919 // Казанский библиофил. 1921. № 1. С.64.

[34] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.35л. Д.245. Л.140.

их» и тяготел к «чужим» — студентам-партийцам, рабфаковцам, новым «красным» профессорам. Даже женой его стал «политически правильный» товарищ по партии, сокурсница вначале по истфилфаку, а затем — по ФОНу, член РКП(б) с 1920 г. Рахиль Вольфовна Эйдельсон[35]. Однако в годы ученичества до конца «своим» ни для тяготеющей к гомогенности рабоче-крестьянской студенческой массы, ни для партийно-советского руководства Корбут еще не стал. Это произошло позднее, во «взрослый» период жизни Корбута, начавшийся в ноябре 1922 г., когда он был зачислен профессорским стипендиатом на кафедру марксизма и политэкономии Восточно-педагогического института Казани[36].

Творческий путь: от пропагандиста к исследователю

О периоде пребывания М. К. Корбута в Восточно-педагогическом институте известно совсем немного. В протоколах заседания правления института сохранилось лишь несколько лаконичных записей, перечислявших преподаваемые Корбутом дисциплины[37]. Последняя запись относится к 30 ноября 1927 г. и сообщает о том, что М.Корбут выбыл из профессорско-преподавательского состава ВПИ[38].

В Восточно-педагогическом институте Корбут активно занимался научной работой. Хотя формально научными руководителями Корбута числились профессора В. Т. Дитякин и Ю. Н. Формаковский[39], фактически, по его собственным словам, все эти годы он работал под руководством видного советского историка, большевика В. В. Адоратского[40], оказавшего существеннейшее воздействие на начинающего исследователя и как педагог, и как человек, и как старший товарищ по партии.

Под руководством В. В. Адоратского М. К. Корбут написал статью «Метод диалектического материализма в работах В. И. Ленина (Ульянова) по вопросам права и государства», которая была опубликована в журнале «Коммунистический путь» в 1923 г.[41]. Эта статья писалась М. К. Корбутом в период работы XII съезда ВКП(б), что наложило свой отпечаток на содержание и стиль работы. Хотя М. К. Корбут широко цитировал здесь Г. В. Плеханова, Н. И. Бухарина, того же В. В. Адоратского, основой текста явились прокомментированные выдержки из работ К.Маркса и Ф.Энгельса.

В этом же ключе была выдержана и написанная в 1924 г. статья Корбута «Тактика В. И. Ленина в эпоху демократической революции 1905 года»[42]. Автор не ставил своей целью аналитически осмыслить тактику большевиков в период революции 1905–07 гг., привлечь новые источники или извлечь и обнародовать новые факты. Главной задачей стала популяризация ленинских воззрений и оценок, высказанных им во время и по следам первой русской революции.

---

[35] ОРРК НБЛ КГУ. Ф.25. Д.423. Л.2, 4–17.

[36] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.37 л. Д.4. Л.70.

[37] НАРТ. Ф.Р-1487. Оп.1. Д.75. Л.1 об.; Д.112. Л.1.

[38] НАРТ. Ф.Р-1487. Оп.1. Д.148. Л.33 об.

[39] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.37 л. Д.4. Л.70.

[40] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.36 л. Д.14. Л.56.

[41] *Корбут М. К.* Метод диалектического материализма в работах В. И. Ленина (Ульянова) по вопросам права и государства // Коммунистический путь. 1923. № 4/5. С.26–56.

[42] *Корбут М. К.* Тактика В. И. Ленина в эпоху демократической революции 1905 года // Спутник коммуниста. 1924. № 26. С.23–48.

Таким образом, именно комментирование трудов классиков марксизма-ленинизма стало одним из основных направлений научно-исследовательской и творческой деятельности «раннего» Корбута[43]. Поскольку основным авторским жанром была (и всегда оставалась) для него журнальная (часто — написанная по заказу того или иного общественно-политического издания) статья, это придавало его работам дополнительную публицистичность и политичность. В подобных популяризаторских работах трудно было уловить оригинальный смысл, отличавший их от того вала пропагандистской литературы, который захлестнул тогда советские периодические издания. Но уверенное самоощущение автора как творца новой эпохи проявлялось здесь особенно сильно. Он понимал, что распространению марксистско-ленинской идеологии во многом может способствовать умелое и доходчивое изложение ее основных постулатов, желательно в виде четких и неоднократно повторяющихся формул-лозунгов, доступных пониманию малообразованных людей. Склонность к таким упрощенным формулировкам прослеживалась во всех ранних работах Корбута («Маркс-Энгельс плюс Ленин» исчерпывает содержание марксизма и коммунизма», «Теория Маркса плюс практика пролетарской революции — это и есть ленинизм»[44]).

К середине 1920-х гг. статьи Корбута становятся более самостоятельными, более содержательными, а главное — более историчными. В общем комплексе революционной проблематики Корбут выбирает, в первую очередь, те проблемы, которые так или иначе были связаны с политико- и социально-правовыми вопросами, что отчасти объяснялось полученным им историко-юридическим образованием. «С начала 1924 г. я погрузился в обширную работу — «Рабочее законодательство III Государственной Думы», которую закончил летом 1925 г.», — указывает он в своей автобиографии.[45] Приступая к разработке этой темы, Корбут решил использовать, прежде всего, документы о прохождении российских страховых законов через законодательные инстанции, их реализации и влиянии на жизнь рабочих[46]. Корбут отправился в Ленинград, где изучал документы, отложившиеся в фондах Государственного Совета, Государственной Думы и Департамента полиции. Результатом явилась статья «Рабочее законодательство III Государственной Думы»[47], представленная на публичное обсуждение предметной комиссии педагогического института 6 декабря 1925 г. По его итогам

---

[43] Помимо упомянутых, см. также такие «ранние» работы Корбута, как: *Корбут М. К.* Производственные силы и их роль в обществе // К знанию. 1921. Кн.1. С.17–23; Он же. Этапы развития коммунистической революции в России // Вестник просвещения. 1922. № 1–2. С.119–125; Он же. На пути к мировой коммунистической революции // Казанский библиофил. 1922. № 3. С.62–64 и др.

[44] *Корбут М. К.* Метод диалектического материализма. С.5, 9.

[45] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.37 л. Д.4. Л.70.

[46] *Корбут М. К.* Отчет о двухмесячной командировке в Ленинград // Научно-педагогический сборник Восточно-педагогического института. 1926. № 1. С.37.

[47] *Корбут М. К.* Рабочее законодательство III Государственной Думы // Ученые записки Казанского университета. 1925. Т.856. Кн.2. С.327–347. Эту тему Корбут продолжал разрабатывать и в последующем (См.: *Корбут М. К.* Промышленники, правительство и рабочее законодательство // Сборник истсоцстраха. СПб.; М., 1928. С.18–21; Он же. Страховые законопроекты III Государственной Думы // Там же. 1928. С.11–14; Он же. Страховая кампания по материалам Департамента полиции // Там же. 1928. С.25–27 и др.).

Корбут получил право на самостоятельное преподавание в ВУЗах[48]. Таким образом, эта работа явилась своеобразным аналогом кандидатской диссертации, хотя была очень невелика по объему (всего 20 страниц печатного текста).

Перед молодым ученым простиралось необъятное поле деятельности, вскрывались целые пласты ранее не использованных документов, масса неисследованных проблем. Корбут писал много, печатался везде, особенно активно — в газетно-журнальной периодике[49]. Острые на язык студенты опубликовали в рукописном юмористическом листке Казанского университета «Блоха» «рекламное объявление», поданное якобы от имени Корбута: «Беру подряды на писание передовиц в коммунистических газетах! Фабричное производство! По 120 передовиц в минуту. (Подпись — Корбут)»[50]. В одной из анкет того времени, характеризуя свое материальное положение, Корбут сообщал, что «материально обеспечен вполне»[51] — он работал интенсивно и, как правило, не безвозмездно. Кстати сказать, такой образ жизни был характерен для многих научных работников и вузовских преподавателей тех лет: открывались новые научные общества, газеты, журналы, учебные заведения, а круг лиц, потенциально способных там сотрудничать, был очень ограничен, особенно в провинции. Такая загруженность стала причиной некоторой поверхностности, проявившейся в работах Корбута в рассматриваемый период.

Творческое наследие, оставленное Корбутом, было довольно обширно и насчитывало в общей сложности более сотни работ. Характерной чертой творческих биографий многих историков того времени было многотемье, спровоцированное стремлением подвергнуть фронтальной критике господствовавшую до этого картину мира и утвердить новую систему воззрений и ценностей[52]. В случае с Корбутом разброс научных тем был если уж не самым впечатляющим, то достаточно очевидным. Типичная и обязательная для 1920-х гг. революционная тематика оказывалась при ближайшем рассмотрении многокомпонентной: история рабочего и национального движения в регионе, «летопись» местной большевистской организации, студенческое движение в Казани, Ленин в Казанском университете[53]. А в 1928 г. по поручению университет-

---

[48] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.37 л. Д.4. Л.70.

[49] Корбут активно публиковался на страницах как центральной, так и местной периодики: в столичных журналах «История пролетариата СССР», «Каторга и ссылка», «Красный архив», «Красная летопись», «Новый Восток», «Пролетарская революция», «Революционный Восток», «Советское право»; в казанских периодических изданиях «Вестник просвещения», «Известия общества археологии, истории и этнографии», «Казанский библиофил», «Коммунистический путь», «Красная Татария», «Новое дело», «Ученые записки Казанского университета».

[50] НАРТ. Ф.Р-4882. Оп.1. Д.35. Л.42 об.

[51] НАРТ. Ф.Р-4882. Оп.1. Д.42. Л.2.

[52] Об этом см., в частности: *Бухараев В. М.* «Красный энциклопедизм» как феномен культуры 20-х годов // Интеллигенция и культура: История, современность, перспективы. Казань, 1996. С.81–83.

[53] *Корбут М. К.* В. И. Ульянов в Казанском университете // Новое дело. 1922. № 1. С.10–20; Он же. Революционное движение в России перед войной в оценке Департамента полиции 1911–1913 гг. // Ученые записки Казанского университета. 1926. Кн.2. Т.86. С.340–366; Он же. Казанские рабочие перед Октябрьской революцией // Ученые записки Казанского университета. 1928. Кн.1. Т.88. С.114. В последующие годы: Он же. Национальное движение в Волжско-Камском крае // Революционный Восток. 1929. № 7. С.163–210; Он же. Студенческое движение в Казани в 80-е гг.

ского правления Корбуту было предложено написать юбилейную историю Казанского университета за 125 лет его существования. Этот двухтомник стал вершиной научного творчества Корбута и, безусловно, одной из лучших «университетских историй», написанных в советской время. Он позволил Корбуту не просто осмыслить историю становления, функционирования и развития казанской университетской корпорации, но еще сильнее сплотиться с ней, с новой силой осознав свою к ней принадлежность, вновь испытать чувство гордости за этот прославленный университет. В то же время это была идеологически выверенная, «правильная» работа, противопоставившая старому императорскому университету университет «ленинский», советский, обозначившая точки «разрыва» и возможные пути и способы встраивания классического вуза в новое советское политическое пространство.

125-ую годовщину со дня своего основания Казанскому университету предстояло отметить в 1929 г. Согласно сложившейся как российской, так и европейской традиции, в сценарий университетских юбилеев обязательно входило составление «историй» — подготовка юбилейных изданий, которые призваны были осмыслить предназначение и подвести итоги деятельности учебного заведения, оценить его вклад в развитие отечественной и мировой культуры и просвещения[54]. «Истории» эти представляли собой некие «университетские саморефлексии», поскольку авторами их выступали обычно представители той же самой университетской корпорации. Это был взгляд на историю университета, брошенный «изнутри» — взгляд инсайдера.

У Казанского университета тоже были свои «истории», написанные профессорами Н. Н. Буличем и Н. П. Загоскиным на исходе XIX — начала XX вв.[55] Каждая из этих «историй» отражала авторское понимание смысла и значения университетской жизни, а также представления о сущности жанра юбилейной литературы. Булич сознательно остановился лишь на «детстве и юности» Казанского университета, описав первые 19 лет его существования, причем сделал это в форме ярких, занимательных, построенных на обильных цитатах, рассказов. Н. П. Загоскин создал «классическое», фундаментальное, основанное преимущественно на официальных источниках исследование колоссального объема, однако и оно охватило только первые 25 лет университетской жизни. Корбуту предстояло впервые написать сводную историю университета с момента его основания до конца 1920-х гг. Для написания работы был отведен рекордно короткий срок — один год. А трудности, стоявшие на пути создания книги, были немалые — это и почти полное отсутствие исследований по истории местного края, и слабая изученность истории отечественных университетов, особенно в условиях советской России, и отсутствие специальных работ по истории факультетов и кафедр Казанского университета, студенческой и преподавательской составляющей университетской корпорации.

и Ленин // Каторга и ссылка. 1929. Кн.56. С.7–23; Он же. К вопросу об изучении истории пролетариата Татарстана // История пролетариата СССР. М.,1930. Сб.3–4. С.138–156; Он же. Казанские революционное подполье конца 80-х гг. и Ленин // Там же. 1931. Кн.8–9 (81–82). С.7–10 и др.

[54] Об этом см. подробно: *Вишленкова Е. А., Сальникова А. А.* Юбилейные истории Казанского университета // Отечественная история. 2004. №5. С.133–141.

[55] *Булич Н. Н.* Из первых лет Казанского университета. (1805–1819): Рассказы по архивным документам. Ч.1–2. Казань, 1887–1891; *Загоскин Н. П.* История Императорского Казанского университета за первые 100 лет его существования: 1804–1904: В 4-х тт. Казань, 1902–1904.

«Никто и никогда, — сетовал М. К. Корбут, — специально не занимался изучением истории студенчества Казанского университета на всем ее протяжении»[56].

В октябре 1928 г. Корбут обратился в университетское правление с полной отчаяния запиской: «Должен предупредить, — писал он, — что крайне малый промежуток времени, оставшийся до юбилея, и отсутствие какой бы то ни было разработки архивных данных по истории Казанского университета за последние 100 лет не дают мне возможности гарантировать, что «памятка» (таково было рабочее название будущего двухтомника — *А. С.*) будет в достаточной степени полна и будет подготовлена к сроку»[57]. Нагрузка была колоссальной. Двоюродная сестра М. К. Корбута Н. А. Магницкая рассказывала, как напряженно и интенсивно работал он над книгой: «Поражаюсь до сих пор, как он мог уложиться в данный ему крайне ограниченный срок, и «поднять» такой обширный материал. Днем лекции, а вечер и ночь — его» [58].

Техническую работу по подготовке рукописи к изданию вела жена Корбута Рахиль Вольфовна. Как вспоминала Магницкая, «по настоянию Рахили (здоровье Миши и его маленькой дочки Эллочки было неважное) лето все-таки решили провести за городом, в Услоне. Мы их там навестили. Рахиль была разочарована — вся разница состояла в том, что дома он проводил ночи за письменным столом при электричестве, а здесь работал с керосиновой лампой»[59].

Работая над книгой, Корбут был возбужден, нервозен, временами истеричен. Он настойчиво пытался «выторговать» у университетского руководства определенные материальные блага взамен на написание юбилейного труда в условиях форс-мажора. В заявлении в правление КГУ он в резко ультимативной форме потребовал освободить его на время работы над историей университета от чтения учебных курсов, но сохранить за ним полное доцентское вознаграждение[60]. Вначале отказав, но затем поразмыслив, правление согласилось «оплачивать доценту Корбуту… за специальное поручение по составлению краткой истории университета полную доцентскую ставку»[61]. Источником постоянных конфликтов с правлением стало также финансирование командировок Корбута в Москву для сбора материала для двухтомника. Корбута не устраивал выделяемый на поездки объем финансирования, и он в категоричной и скандальной форме отказывался выезжать на таких условиях[62]. Но в конечном итоге большинство его просьб было удовлетворено[63].

Несмотря на все опасения и сложности, двухтомник по истории университета вышел в срок. Он был столь значителен и значим по содержанию и объему, что современники именовали его не иначе, как «монументальным трудом»[64]. Действительно,

---

[56] *Корбут М. К.* Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина за 125 лет. Т.1. С.5.

[57] НАРТ. Ф.1337. Оп.36. Д.14. Л.43.

[58] Ключевская Е. Забытая графическая сюита. С.86.

[59] Там же.

[60] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.36 л. Д.14. Л.14, 41.

[61] Там же. Л.42, 44.

[62] Там же. Л.47, 49.

[63] Там же. Л.73.

[64] См.: Ахун М. Рецензия на двухтомник Корбута // Красная летопись. 1931. №1(40). С.236–239; Семенов В. [Рец.]: Корбут. Казанский университет // Историк-марксист. 1930. Т.20. С.192–194 и др.

впервые в отечественной историографии автор рассказал читателям о существовании университета в новых политических условиях, о жизни университетского сообщества в первое послеоктябрьское десятилетие. Это потребовало создания четко ориентированной «классовой» концепции университетской истории: назначение книги Корбут видел в том, чтобы «проследить развитие университетского организма как целого, подвергавшегося многоразличным изменениям и ломкам под влиянием классовой борьбы в стране и в университетах, в частности»[65].

Надо отдать должное автору — политический заказ был исполнен талантливо и эмоционально. Текст книги свидетельствовал о наличии, казалось бы, принципиально не сочетаемых, но умело совмещенных автором стилевых подходов: революционно-романтического и строго академического, причем этот «академизм» еще более усиливал и оттенял революционный пафос изложения.

В двухтомнике нашли отражение различные стороны жизни университета: структура управления, система преподавания, содержание учебного процесса. Но не эти сюжеты были для автора главными. В предисловии Корбут особо подчеркнул тот факт, что он не стремился дать историю факультетов или историю развития науки в Казанском университете. Его интересовали, в первую очередь, те социально-политические изменения, которые происходили в жизни страны и не могли не отразиться на жизни университета, и та борьба, «которая развертывалась вокруг происходивших… изменений»[66]. Поэтому особое внимание Корбут сосредоточил на положении казанского студенчества и в еще большей степени на студенческом движении, особенно в 60–80-е гг. XIX в. и в период революции 1905–1907 гг. Специальный раздел книги он посвятил сходке казанских студентов в декабре 1887 г. и участию в ней В. И. Ленина. Корбут считал студенчество не только движущей силой университетской жизни, но, по сути, отождествлял историю студенческого движения с историей самого университета, полагая невозможным отделять одно от другого[67]. Корбут всегда проводил четкую линию между студенчеством «передовым», «социал-демократическим» и студенческой аристократией, контрреволюционная деятельность которой, по мнению Корбута, продолжалась и после октября 1917 г.

Большое место в исследовании Корбут отводил характеристике университетской профессуры. Перед читателем разворачивалась галерея ярких портретов ученых и преподавателей. Оценивалось не только содержание лекций, форма их чтения, но и манера держаться, отношение к студентам, внешний облик, одежда профессоров. Однако всю суть сложных взаимоотношений между «университетскими старцами» и между ними и «университетской молодежью» Корбут политически упрощенно сводил к столкновению «либеральной» и «консервативной» профессуры, боровшейся за влияние в университете. Студенчество и профессура представали со страниц двухтомника Корбута как противодействующие друг другу силы, которым было не по пути. Причем чем дальше, тем это расхождение становилось все более очевидным, достигнув своего максимума в первые постреволюционные годы[68].

---

[65] *Корбут М. К.* Казанский государственный университет… Т.1. С.6.

[66] Там же.

[67] Там же. С.7.

[68] Там же. Т.II. С.139.

Истории университета в советский период Корбут уделил, казалось бы, совсем немного места — одну главу. Однако эта — последняя, завершающая глава — несла на себе огромную смысловую нагрузку. В ней необходимо было показать успешность процесса перестройки университетского организма наиновый лад, утрату им прежних «имперских» черт и обретение к концу 1920-х гг. подлинной «советскости». «Если среди профессуры с новой силой вспыхнули антисоветские настроения, — отмечал исследователь, — то уже значительно изменившийся состав студенчества (демократизировавшийся, но еще не опролетарившийся, кроме рабфака), все более и более втягиваясь в интересы советской власти, все более и более проникаясь ненавистью к старому буржуазному миру и буржуазной высшей школе и стремлением в наиболее короткий срок приступить к строительству социализма, — начинает становиться в своем большинстве на сторону советской политики в высшей школе»[69].

Корбут не грешил против истины. В какой-то степени так оно и было. Только движение от «старого» к «новому» не было столь прямолинейным и триумфальным, как хотелось бы это видеть большевистским строителям советской высшей школы. Нужно отдать должное Корбуту: ни на йоту не отступая от созданной им идеологической схемы, он, вместе с тем, показал всю противоречивость и болезненность этого процесса. На страницах последней главы во всем своем масштабе была прослежена та острейшая борьба, которую вела казанская университетская корпорация за свое существование и выживание в первые годы советской власти, борьба, непосредственным свидетелем и участником которой являлся сам автор книги.

Корбут писал политически ангажированный текст, доказывая читателю (в том числе, новым руководителям и функционерам), что университет лоялен к советской власти, что у него богатые революционные традиции, что он — колыбель вождя международного пролетариата. И, следовательно, университет должен быть сохранен. Повествование о жизни университета за 125 лет он завершал на оптимистической ноте: «Наука и университет являются ныне достоянием широчайших масс рабочих и трудящихся крестьян, которые искренне и с увлечением работая, отдают все свои силы на дело социалистической реконструкции нашей страны»[70]. В советское время, по свидетельству Корбута, в корне изменились формы, методы, вся постановка и организация научно-учебного дела: «Из учреждения, созданного царским правительством на потребу узких кругов дворянства, университет превратился в условиях советского государства в учреждение, обслуживающее громадные массы рабочих и крестьян. Из университета, предназначенного быть одним из помощников царской власти для насильственного обрусения Волжско-Камского края, университет стал учреждением, способствующим политическому и культурному росту трудящихся народов Волжско-Камского края и, в первую очередь, татар»[71].

И эти восторженные оценки оказались весьма кстати. Нужно было спасать alma mater от разрушения, ей грозящего. Ведь именно в конце 1920-х гг. советская власть в рамках «политехнизации» высшей школы поставила Казанский университет на грань его полного исчезновения. Из состава университета был выведен на правах са-

---

[69] Там же. С.294.

[70] Там же. С.326–328.

[71] Там же. С.326.

мостоятельных ряд высших учебных заведений; сам университет — и по контингенту, и по структурному составу — сократился до минимума. Количество преподавателей было меньше, чем в середине XIX в.[72]

Вместе с тем, Корбут писал «историю», руководствуясь не только своими политическими убеждениями и эмоциями, но основываясь на реальных документах. Основу исследования составили преимущественно материалы делопроизводственного характера, отложившиеся в фондах университета и попечителя Казанского учебного округа, а также ряд неопубликованных воспоминаний и дневников. На вершине источниковой пирамиды оказались протоколы университетского Совета. Они, как уверял Корбут, «были проработаны почти все, страница за страницей, сотни тысяч листов дел»[73] и создали канву повествования.

Вдохнуть жизнь в архивные материалы помог Корбуту дневник бывшего попечителя Казанского учебного округа П. Д. Шестакова[74], полученный им от сына Петра Дмитриевича, профессора Казанского университета, историка Сергея Петровича Шестакова. Дневник Шестакова явился богатейшим источником для изучения истории университета 1860 — начала 1880-х гг. XIX в., в особенности для характеристики взаимоотношений внутри университетской корпорации и студенческого движения тех лет.

Созданная Корбутом юбилейная «История» была оценена достаточно высоко[75]. Это было фундаментальное исследование, впервые отразившее историю Казанского университета с первого дня его существования и во многом сформулировавшее новые, советские представления о сущности и назначении университета. Университетские люди устами Корбута сами подсказали советской власти, что они собой представляют, что есть такое и чем может стать для нее настоящий советский университет по сравнению «со всякими там Гейдельбергами»[76]. А власть, вероятно, осознав это, сохранила жизнь университетской корпорации.

Однако вскоре бурные восторги современников сменились молчанием, а затем — и резкой критикой в адрес Корбута: политические преследования автора не могли не сказаться на судьбе его «главной» книги. Историк С. А. Пионтковский писал в то

---

[72] Об этом см. подробно: *Вишленкова Е. А., Малышева, С. Ю., Сальникова А. А.* Terra Universitatis. С.137–139, 151.

[73] *Корбут М. К.* Казанский государственный университет… Т.1. С.5.

[74] Там же. С.6.

[75] Выступая на торжественном объединенном заседании ученых обществ университета 17 мая 1930 г., посвященном университетскому юбилею, председатель Общества археологии, истории и этнографии профессор Н. Н. Фирсов подчеркнул, что «интересная работа нашего уважаемого молодого сочлена М. К. Корбута освобождает от многого, что следовало бы сказать, не будь к настоящему сроку готова означенная история» (*Корбут М. К.* Казанский государственный университет им. В. И.Ульянова-Ленина за 125 лет: Речь, произнесенная на юбилейном заседании 16 мая 1930 г. // Ученые записки Казанского университета. Кн.5. Казань, 1930. С.809), а тогдашний ректор КГУ Г. Б. Богаутдинов увидел главное достоинство труда в извлечении «из архивной пыли важнейших эпизодов… университетской жизни», которые «так захватывающе интересны и вместе многозначительны, что, безусловно, будут предметом дальнейших, более углубленных исторических изысканий». (*Богаутдинов Г. Б.* Итоги 125-летнего юбилея и задачи Казанского государственного им. В. И.Ульянова-Ленина университета // Там же. С.767).

[76] *Корбут М. К.* Рабочие факультеты и высшая школа // 5 лет рабочего факультета. Казань, 1924. С.12.

время в своем дневнике, что волны идеологических проработок, захлестнувших страну, не оставили в стороне и Казань: «В Казани стали прорабатывать Корбута за покрывательство, за его книгу по истории Казанского университета. За эту книгу он получил премию. В прошлом году чествовали его на юбилее Казанского университета. О ней был ряд хвалебных отзывов…, а сейчас ее начинают прорабатывать как оппортунистическое произведение»[77].

В действительности же двухтомник М. К. Корбута явился существенным вкладом в отечественную историографию истории российской высшей школы, причем как социальной, так и в политической. В то же время это был замечательный источник по изучению процесса становления самой советской историографии на начальном этапе ее пути — процесса сложного, неоднозначного, но — в этой своей неоднозначности — любопытного и в чем-то назидательного. Книга заставляла задуматься над многими проблемами — не только исследовательскими, но и морально-нравственными, в особенности касающимися специфики бытования и функционирования академического сообщества и непростых взаимоотношений между его членами, актуальными и трудноразрешимыми по сей день.

Судя по опубликованным работам, можно видеть, что в своем научном творчестве Михаил Корбут был идеологически выдержан и лишен сомнений. Он легко находил новые темы для исследований, но все эти темы, без исключения, были остро конъюнктурны. Он привлекал большое количество новых документов, но произвольно отбрасывал те из источников, которые не соответствовали его концепции. Он обильно цитировал в своих сочинениях классиков марксизма (впрочем, в последних работах — почти исключительно Сталина) и вместе с тем давал несправедливые, резко субъективные оценки современникам и предшественникам и навешивал хлесткие политические ярлыки. Сейчас трудно, а, скорее всего, и вообще невозможно узнать, насколько чистосердечен был Корбут в своих суждениях и оценках — его архив, подготовительные материалы к публикациям, наброски, рукописи, письма и другие личные документы не сохранились. Вероятно, они были изъяты во время ареста 1933 г. и впоследствии утрачены. Между тем, немногочисленные и достаточно отрывочные свидетельства родственников дают основание полагать, что Корбут не был столь однозначен и одиозен, как это могло бы показаться. По воспоминаниям его двоюродной сестры Н. А. Магницкой, Михаил, давая ей книгу И. В. Сталина «Вопросы ленинизма», неожиданно добавил: «Ты читай, да не всему там верь — чепухи много»[78]. Однако, как бы то ни было, жизненные обстоятельства не позволяли Корбуту проявлять, по крайней мере, публично, колебаний и сомнений. Он отрекся от своей среды и своего прошлого, безоглядно устремившись в пучину «классовой борьбы», став ее участником, исследователем и пропагандистом.

Преподаватель. Руководитель. Организатор

Исследовательскую работу Михаил Корбут постоянно совмещал с необычайно интенсивной административной — организаторской, управленческой — и преподавательской деятельностью. Казалось, он просто торопился жить, стремясь быть при-

---

[77] *Пионтковский С.* Черточки жизни. Подготовка к публикации А. Л. Литвина // Татарстан. 1993. № 2. С.53.

[78] Ключевская Е. Забытая графическая сюита. С.86.

частным ко всему, успеть везде, достичь как можно большего и сделать это как можно быстрее — как будто чувствовал, что ему отпущено на этой земле так мало времени.

В преподавательской деятельности Корбут был очень добросовестен и работал с полной самоотдачей. Отвечая на вопрос: «Сторонником какого метода преподавания Вы являетесь?», он говорил: «Того, который делает учащихся обученными»[79]. По воспоминаниям бывшего студента, слушавшего лекции Корбута, «будучи чертовски перегружен научными трудами, а еще более… общественными обязанностями», он иногда читал лекции «слабовато». Но, тем не менее, эти лекции, как отмечали многие, всегда сопровождали «одухотворенность и порой блестящие импровизации и острое словцо»[80].

С 1923 по 1925 гг. М. К. Корбут состоял преподавателем декретированного политминимума в Казанском Политехническом институте. В течение трех лет он вел семинары по истории ВКП(б) в Восточно-педагогическом институте, в 1924–1925 гг. читал курс советского права в Коммунистическом университете, а в период с 1925 по 1926 гг. — лекции по политическому строительству в СССР, а в 1926–1928 гг. — «Основы государства и хозяйственного права» в Казанском университете. В 1925–1928 гг. в Институте сельского хозяйства и лесоводства Корбут преподавал «Историю ВКП(б)» и «Основы государственного и хозяйственного права»[81].

С апреля 1926 г. М. К. Корбут состоял заместителем председателя Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, был его деятельным членом и редактировал «довольно много» выходившие сборники его трудов[82]. В тот же период он стал членом Совета общества мариеведения при Восточно-Педагогическом институте. Одновременно Корбут являлся председателем областного студенческого бюро, заведующим Казанским отделением Истпарта, комиссаром Татарского архивного управления[83], редактором и членом редколлегии многих казанских, а также некоторых московских периодических и непериодических изданий[84]. С 1920 по 1927 гг. он — делегат всех съездов Советов Татарской республики и двух Всесоюзных съездов научных работников.

В 1926 г. М. К. Корбут получил звание профессора. С 1926 по 1928 гг. он работал ректором казанского Института сельского хозяйства и лесоводства.

Но самые яркие страницы преподавательской биографии Корбута связаны, конечно же, с рабфаком — его любимым детищем, надежным пристанищем и опорой, местом, где его не только уважали и ценили, но искренне любили, и где он действительно сумел стать «своим» среди «своих».

Жизнь рабфака КГУ в период с 1919 по 1926 гг. было просто невозможно представить без Корбута. Как свидетельствовала М. В. Нечкина, сама преподававшая на рабфаке Казанского университета в 1921–1924 гг., «рабфаковцу всегда нужен Корбут. За тысячью надобностей — крупных и мелких. И на все лады склоняется: «У Корбута был? Поговори с Корбутом… Где Корбут? Даешь Корбута! Идем к Корбуту…»[85]. Михаил

---

[79] НАРТ. Ф.Р-4882. Оп.1. Д.42. Л.2.

[80] ЦГА ИПД РТ. Ф.30. Оп.3. Д.1579. Л.4–5.

[81] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.37 л. Д.4. Л.70–70 об.

[82] ЦГА ИПД РТ. Ф.30. Оп.3. Д.1579. Л.6 об.

[83] НАРТ. Ф.Р-7. Оп.1 л. Д.13. Л.57.

[84] ЦГА ИПД РТ. Ф.25. Оп.35л. Д.245. Л.138.

[85] *Нечкина М. В.* (Михаил Эрт). Конец зимнего семестра на Казанском рабфаке // Знамя рабфаковца. 1924. № 1–2. С.162.

Ксаверьевич отдавал рабфаку много сил и времени. Немало его работ специально посвящено Казанскому рабфаку — истории его создания и развития, организации процесса обучения, участию рабфаковцев в общественной жизни университета, их борьбе со старым, так называемым, «буржуазным укладом» повседневности, их быту[86].

Образованные в соответствии с декретом СНК от 17 сентября 1919 г. «Об организации рабфаков при всех вузах и втузах и преобразовании существующих курсов в рабфаки», последние сыграли огромную роль в пролетаризации российской высшей школы, изменении ее социального состава и идеологического содержания. «Это была чрезвычайная послереволюционная классовая школа, — писал в своих воспоминаниях бывший студент казанского рабфака Г. П. Афанасьев, — имевшая весьма большие задачи, и не только в подготовке к высшей школе людей из малограмотных рабочих и крестьян, и тем самым пролетаризации высшей школы, а также задачи перевоспитания студентов основных факультетов и профессорско-преподавательского состава»[87].

За декретом от 17 сентября 1919 г. последовало «Постановление Коллегии отдела высшей школы», обязавшее все высшие учебные заведения не позднее 1 ноября 1919 г. открыть рабочие факультеты и организовать при каждом вузе «временное бюро» из трех лиц (представитель местного отдела народного образования и два представителя от Совета высшего учебного заведения — от преподавателей и от студентов) по созданию рабочих факультетов[88]. На заседании Совета Казанского университета от 24 сентября 1919 г. во временное бюро по организации рабфака были избраны: от губернского отдела народного образования — Е. И. Зарницын, от профессуры и преподавателей университета — математик, профессор Н. Н. Парфентьев, от студенчества — студент факультета общественных наук М. К. Корбут. Так начался «рабфаковский» период в его жизни.

На плечи Корбута легла практически вся черновая, будничная работа по организации рабфака. Как самый юный член бюро, он выполнял множество технических обязанностей, вплоть до доставки повесток на заседания и посещения квартир казанских преподавателей, приглашенных для работы на рабфаке. Благодаря беседам, проводившимся во время этих посещений, и многочисленным статьям агитационного характера, публиковавшимся Корбутом в местной прессе, общая идея рабфака быстро стала достоянием широкой общественности, что способствовало привлечению преподавателей на рабфак.

---

[86] *Корбут М. К.* Жизнь рабочего факультета Казанского государственного университета // Новое дело. 1922. Вып.2. С.76–82; Он же. Рабочий факультет Казанского государственного университета // Вестник просвещения. 1922. № 1–2. С.73–80; Он же. Казанский рабочий факультет // Там же. 1923. № 1–2. С.54–56; Он же. Тема дня // Красный студент. 1923, январь. № 1. С.6; Он же. Об организации учетной кампании на рабфаке // Голос пролетарского студенчества. 1924. № 2. С.21–25; Он же. От редакции // 5 лет рабочего факультета Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова (Ленина): 1919 — ноябрь 1924. Казань, 1924. С.3–4; Он же. Рабочий факультет и высшая школа // Там же. С.9–15; Он же. Седьмой выпуск // Рабочий факультет КГУ им. В. И. Ульянова-Ленина. 7-й выпуск. Казань, 1926. С.5–19; Он же. Указатель изданий рабфака, статей и заметок о нем (1919–1926 гг.) // Там же. С.20–25; Он же. Диалектика в идее рабфаков // На путях к высшей школе: 8 лет работы. 1919–1927. Казань, 1927. С.6–11 и др.

[87] *Афанасьев Г. П.* Прошлые эпохи университета // ОРРК НБЛ КГУ. Ед.хр.10074. Л.1.

[88] *Пономарев В. И.* К истории Казанского рабфака // На путях к высшей школе: Сборник № 2. 10 лет работы: 1919–1929. Казань, 1930. С.200.

Перед руководством рабфака в этот период стояла весьма непростая задача — как можно быстрее сформировать собственный педагогический коллектив, который бы хорошо знал специфику работы на этом факультете. Сделать это было крайне сложно, ибо преподавателей, желавших работать на новом факультете с его специфическим контингентом, было немного. В. Д. Игнатович, преподававшая историю на рабфаке с 1919 по 1937 гг., вспоминала, что когда она в 1918 г. пришла в канцелярию подготовительных курсов (предшественников рабфака) с предложением своих услуг, секретарь курсов посмотрела на нее «с радостью и сказала: «Вы не можете себе представить, как будет рад Евгений Иванович Зарницын!» (заведующий — *А. С.*). «Он никак не может найти преподавателей, чтобы открыть курсы. Никто не идет»[89]. Старая профессура в большинстве своем считала работу на рабфаке не только не престижной, но и попросту позорной, а сам рабфак — «исчадием ада», явившимся для «разрушения российской науки»[90]. Остро ощущалась нехватка идеологически «подкованных» преподавателей нового типа, историков-марксистов, способных донести до студентов «новое знание». Об этом красноречиво свидетельствовала выписка из протокола общего собрания студентов казанского рабфака от 19 мая 1924 г., которые просили «занятия в политкружке поручить вести тов. Корбуту… или подобным ему товарищам, а не студенту, который только начал работать по политграмоте и поэтому не даст студентам соответствующих знаний»[91].

Несмотря на многочисленные трудности, и во многом благодаря удачному подбору членов организационного бюро, 1 ноября 1919 г. рабфак Казанского университета (пятый по счету в РСФСР) был открыт. На следующий день на заседании Совета рабочего факультета определился состав его первого президиума, куда вошли профессор Н. Н. Парфентьев, Е. И. Зарницын, М. К. Корбут, В. В. Адоратский (преподаватель истории) и В. А. Берсенев (преподаватель математики). М. К. Корбут вошел в состав и президиума рабфака второго состава, избранного 31 октября 1920 г., а с 1921 г. стал его заведующим[92].

На долю руководства рабфака выпала труднейшая работа по борьбе с голодом, финансовыми и материальными трудностями. На рабфаке в то время было пять дневных (с отрывом от производства) и три вечерних (без отрыва от производства) групп, в среднем по 30 учащихся в каждой, и всех этих людей нужно было не просто обучить, но накормить, одеть, обуть и создать хотя бы мало-мальски подходящие условия для обучения. Занятия проходили в тяжелейших условиях. В аудиториях было холодно, студенты голодали, не хватало опытных преподавателей, не было учебников, программ, необходимого учебного оборудования. Важность новой системы образования не всегда осознавалась и советскими управленцами. Как вспоминал выпускник рабфака красноармеец К.Рогожкин, очень трудно было хлопотать об откомандировании на рабфак, так как это считалось «отлыниванием от службы»[93]. Многие представители новой власти не имели никакого представления о цели деятельности рабфаков.

---

[89] Из истории рабфака Казанского университета. Казань, 1976. С.43.

[90] Известия ВЦИК. 1922. 3 февраля.

[91] НАРТ. Ф.Р-4882. Оп.1. Д.53. Л.53 об.

[92] *Морозова С. В.* Из истории рабочего факультета Казанского государственного университета (1919–1937 гг.) // Из истории рабфака Казанского университета. С.17.

[93] Рогожкин К. Воспоминания // Красный студент. 1922, сентябрь. № 2. С.9 об.

Военкоматы, например, считали рабфак ничтожными «гражданскими курсами, на которых невозможно научиться ничему хорошему»[94]. И таких отзывов было немало. Да и университет, по образному выражению Н. Н. Парфентьева, «на первых порах не знал, как себя держать по отношению к новообразованию: зачем эти новые люди вошли в храм для избранных? Почему не создали рабфак на стороне? Зачем рабфаку дали права, одинаковые с правами других факультетов? Общего языка не было, не было и взаимного доверия, и взаимопонимания»[95].

В этих условиях Корбут упорно отстаивал права рабочего факультета, и его конфликты с правлением университета были обычным делом. Так, в сентябре 1922 г. между Корбутом и правлением возникли серьезные разногласия в связи с отказом последнего расширять предназначенную для рабфака площадь учебных помещений. Корбут потребовал, чтобы на заседания правления, касающиеся рабфака, а также в университетские комиссии, занимающиеся административно-хозяйственными вопросами, обязательно приглашался представитель рабочего факультета. Кроме того, он предложил передать рабфаку пустующие помещения, отведенные ректору, которые обязался «тотчас же очистить, как только ректор пожелает поселиться в них»[96].

В декабре того же 1922 г. Корбут обвинил правление в недобросовестном распределении числа мест по факультетам[97]. Конфликт все более обострялся. В феврале 1923 г. правление обратило внимание вышестоящих органов «на несомненно болезненную психику тов.Корбута, который усматривал во всем преднамеренное недоброжелательное отношение к рабфаку», а Корбут, в свою очередь, писал жалобы на правление в Главпрофобр[98]. Правление, вынужденное оправдываться перед Советом по делам ВУЗов Главпрофобра, представило следующее объяснение: «Тов.Корбут не раз в заседании правления пытался делать нападки на правление за якобы недостаточное внимание его к рабфаку, но ректор университета каждый раз опровергал, на основании конкретного фактического материала, все подобные обвинения и призывал т.Корбута к спокойной солидарной работе, указывая, что интересы рабфака одинаково дороги всем без исключения членам правления. Правление считает настоящий конфликт с заврабфаком лишь печальным недоразумением»[99].

Анализируя и в какой-то степени оправдывая поведение Корбута, его друг и коллега А.Диковицкий в 1924 г. писал: «Корбут, не преувеличивая можно сказать, является душою рабочего факультета, являясь сам его плодом… Ведя рабфак по извилистому лабиринту борьбы, он сам закалялся и рос в этой борьбе. Каждый кусок, каждый уголок он вырывал с боем, не останавливаясь никогда ни перед чем. И никогда не отступал. Он знал, что если не вырвать и если не с боя брать — ничего не получишь. Ибо для каждой комнаты, для каждой вещи было 25000 мест, каждое из которых в глазах профессуры являлось важнейшим, чем рабфак. Он знал, что здесь не подходит

[94] Там же.

[95] *Парфентьев Н. Н.* Ко дню вступления рабочего факультета Казанского им. В. И. Ленина университета в его шестую годовщину // 5 лет рабочего факультета… — С.16–17.

[96] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.1. Д.59. Л.5.

[97] Там же. Л.38 об.

[98] Там же. Л.46, 63.

[99] Там же. — Л.63.

пословица «покорный теленок двух маток сосет», ибо «маткой» здесь была не корова, а зверь, заключенный в железные клети диктатуры пролетариата, который при первой возможности разорвал бы на куски рабфак, если бы он хоть на одну минуточку вообразил себя теленком. И Корбут, поставленный на эту работу партией и революцией, знал и на каждое поползновение сам обнажал зубы, зубы острые, зубы едкие, зубы рабфаковские. То в виде газетной статьи, то выступая на собраниях, то с глазу на глаз. И это вызывало ненависть к нему профессуры, которая поставила вопрос — или он в правлении, и мы не входим, или мы, и он не входит»[100]. Но работать с таким человеком, безусловно, было непросто.

Корбутом была разработана особая концепция развития рабфаковского «нового дела»[101]. Первоначально Корбут исходил из того, что рабочий факультет — это не просто общеобразовательное учебное заведение, «но и политическая организация, проводящая в системе воспитания студенчества определенную идеологию — идеологию рабочего класса»[102]. Но жизнь несколько скорректировала эти «наступательные» планы. Осуществить одномоментную «пролетаризацию» высшей школы оказалось практически невозможным. Рабочий элемент среди рабфаковцев был не столь значительным, как это ранее предполагалось. В итоге замысел о рабочем факультете превратился в идею о факультете рабоче-крестьянском. Задача «вытеснения» старой высшей школы также пока была заменена задачей «учиться, ежедневно насыщаться знаниями». А политическая борьба с остатком господствующих классов и с закоренелостью политического мировоззрения профессуры была вообще объявлена «совсем не делом рабфаков»[103]. Памятуя о преемственности и неразрывности внутривузовских связей и традиций, необходимо было следить за тем, чтобы рабфак в собственном своем росте ни в коем случае не смял «нормальных органов нормального вуза»[104]. Это была уже новая программа взаимоотношений рабфака с вузом, более обширная, более трудная и более реальная — «не вытеснять старую высшую школу, а просачиваться во все ее поры, не ломать, а перерабатывать, не взрывать, а перестраивать, привлекая на свою сторону одного за другим основных работников высшей школы»[105]. Именно такое разрешение сложного «вузовского вопроса», как считал Корбут, оказывалось наиболее правильным и целесообразным в создавшихся условиях.

Лозунг «пролетаризации высшей школы» в условиях многонациональной Татарской автономной республики требовал специального подхода к его осуществлению. Такая «пролетаризация» предполагала постепенное пополнение студенческого контингента представителями местных национальностей, «прежде угнетавшимися царским строем». Рабфак стал интернациональным учебным заведением. В июне 1920 г. здесь были созданы две подготовительные татарские группы по 30 человек в каждой; началась подготовка национальных кадров из чуваш, марийцев, удмуртов

[100] Диковицкий А. Моменты прошлой борьбы // 5 лет рабочего факультета…– С.106.

[101] Именно так назывался печатный орган Казанского рабфака, издававшийся с 1922 г.

[102] *Корбут М. К.* Рабочий факультет и высшая школа. С.10.

[103] Там же.

[104] Там же. С.11.

[105] *Корбут М. К.* Рабочий факультет и высшая школа. С.11.

и представителей других народов (были открыты специальные чувашские группы, в 1924 г. — организован марийско-вотский сектор). К 1923 г. из 624 рабфаковцев татар было 146, чуваш — 51 человек. Первоначально предполагалось, что преподавание будет вестись на национальных языках, но из-за нехватки учебных пособий и неподготовленности преподавательского состава, занятия проводились по-русски[106]. Анализируя условия работы в трех татарских группах в 1925 г., Корбут писал: нужно «принять такое решение, которое обеспечивало бы учебные интересы самих студентов-татар в отношении условий, обеспечивающих им нормальное прохождение учебы на рабфаке и поступление в ВУЗы вполне подготовленными»[107].

Постепенно студенты рабфака, «в немазанных сапогах, в лаптях, грязные, с мозолистыми руками»[108], буквально переродили императорский университет. Уже в июне 1920 г. они составляли шестую часть членов университетского Совета, «с боем ломая все, что заграждало путь… они брали позицию за позицией, отвоевав себе уголок и укрепившись в нем…»[109]. Они издавали газету и журналы, организовывали коммуны и кружки. Учебные занятия на рабфаке ежедневно заканчивались пением «Интернационала». В 1922 г. благодаря рабфаку в университете появилась ячейка РКСМ, куда входило 12 комсомольцев и 2 коммуниста. Но уже на следующий год ячейка разрослась до 95 человек. И во всех этих делах рядом с рабфаковцами был Корбут[110].

Однако влияние рабфаковцев на студентов других факультетов оставалось ограниченным, ибо рабфаковцы, по свидетельству современников, считали остальных студентов «мещанами», «обывателями» и сознательно избегали контактов с ними. Такое неприятие было обоюдным. Традиционное — «старое» — студенчество также относилось к рабфаковцам с неприязнью и насмешкой, раздавались призывы к борьбе с рабфаком, «как с туберкулезом»[111], проводились собрания с целью отделить рабфак от университета[112]. Лишь на четвертый год существования рабфака резкая грань между «старым» студенчеством и рабфаковцами начала стираться. По мнению Корбута, стирание этой грани было обусловлено «приходом на основные факультеты новых людей, который повлек за собой спад идеологического напора буржуазного студенчества»[113]. Таким образом, несмотря на все трудности и издержки процесса, главная цель советской власти — «пролетаризация» студенчества путем создания рабфаков, вытеснение представителей «социально чуждых слоев», и, в конечном итоге, ломка старой и построение новой школы — была достигнута: «Рабфак шаг за шагом продвигался вперед, окончательно выявляя себя как серьезная структура в образова-

---

[106] Отделение нацмен при рабфаке Казанского государственного университета // Голос пролетарского студенчества. 1924, май. № 2. С.73.

[107] НАРТ. Ф.Р-4882. Оп.1. Д.80. Л.24–25.

[108] Диковицкий А. Пять лет прошло! Ему, студенту рабфака, первые страницы нашего журнала // Голос пролетарского студенчества. 1924, апрель. № 1–2. С.16.

[109] Там же. С.17.

[110] См. фотографии М. К. Корбута с первыми комсомольцами и активистами рабфака. (ЦГА ИПД РТ. Ф.30. Оп.3. Д.1598).

[111] Рогожкин К. Воспоминания. С.10.

[112] Диковицкий А. Моменты прошлой борьбы. С.103.

[113] *Корбут М. К.* Тема дня. С.6.

тельном процессе, завоевывая уважение и внимание к себе со стороны учреждений и отдельных видных работников и во многом благодаря …неустанной работе заведующего рабфаком тов.Корбута»[114].

Совсем иначе — проще, быстрее и лучше — сложились отношения у рабфаковцев с их преподавателями. К чести организаторов рабфака (и Корбута, в том числе), им удалось довольно быстро сформировать коллектив из лучших педагогов Казани, который окончательно оформился к 1922 г. Хотя при подборе кадров основное внимание обращалось на партийную принадлежность (этот признак был определяющим даже при составлении отчетных статистических документов рабфака[115]), среди преподавателей рабфака было немало представителей старой школы, которые верой и правдой служили «новому» рабфаковскому делу.

На примере рабфака работники высшей школы учились тому, как надо разрешать вопрос о взаимоотношениях преподавателей и студентов. Корбут писал о том, что на рабфаке с первых же дней между студентами и преподавателями установились чисто товарищеские отношения: критики не боялись ни те, ни другие. «…Принципы взаимоотношения преподавателей со студентами усваивались организованно, планомерно, без излишней суеты»[116]. С необычайной теплотой через много лет вспоминали рабфаковцы своих учителей, своего заведующего М. К. Корбута[117]. Студенты, окончившие рабфак и продолжившие свое образование в ВУЗах Москвы, в коллективном письме в президиум рабфака КГУ писали: «…Мы с гордостью отмечаем имена руководителей — М. К. Корбута и Н-Б. З. Векслина, которые за время нахождения нас на рабфаке сыграли большую роль в воспитании каждого. Благодаря их умелой постановке дела на рабфаке мы пришли в ВУЗ с хорошим запасом знаний и теперь смело приступили к выполнению завета РКП(б) грызть крепкими, отшлифованными рабфаком зубами, гранит науки»[118].

Оценивая итоги пятилетней деятельности рабфака Казанского университета, Корбут «с чувством отрадного удовлетворения» заключал, что «тихо и незаметно как-то, сделано за эти годы громадное дело, и в сокровищницу общечеловеческой культуры, унаследованной пролетариатом, строительством рабочих факультетов вложен значительный вклад»[119].

В 1926 г. Корбут был избран ректором казанского Института сельского хозяйства и лесоводства, в связи с чем ему пришлось оставить должность заведующего рабфаком. Несмотря на все конфликты, правление университета расставалось с Корбутом

---

[114] Рогожкин К. Воспоминания. С.10.

[115] См. сведения о преподавателях КГУ в 1927 г.: НАРТ. Ф.Р-4882. Оп.1. Д.153. Л.297.

[116] *Корбут М. К.* Диалектика в идее рабфаков. С.9.

[117] «С благодарностью мы вспоминаем своих старших наставников: заведующего рабфаком М. К. Корбута, его заместителя Н-Б. З. Векслина», «особым уважением студентов пользовались заведующий рабфаком М. К. Корбут, завуч Н-Б. З. Векслин, о которых у меня сохранились до сих пор самые лучшие воспоминания», «мы и сейчас вспоминаем их с теплотой». (См. воспоминания бывших рабфаковцев Казанского университета Б. С. Ахмерова, Х. Х. Байгуровой, Р. Ш. Тагирова, А. Ш. Усманова, Г. В. Фазлуллина, А. П. Черзора в кн.: Из истории рабфака Казанского университета. С.64, 69, 73, 77, 78, 89, 95).

[118] НАРТ. Ф.Р-4882. Оп.1. Д.80. Л.85.

[119] *Корбут М. К.* Рабочий факультет и высшая школа. С.9.

с чувством глубокого сожаления. Ему было направлено благодарственное письмо, в котором высказывалась надежда на то, что Корбут не ограничится одной лишь учебной работой в университете и будет по-прежнему принимать участие в научной и общественной его жизни[120]. По мнению руководства университета, именно благодаря М. К. Корбуту рабфак из безвестного учреждения превратился в одну из значительнейших ступеней высшей школы и вышел на одно из первых мест среди рабфаков Республики[121].

Подводя итоги, к которым рабфак пришел к 1927 г., сам Корбут указывал на то, что рабфаки уже в значительной мере «не то, что было». Он пророчил им стабильное будущее: «…их сейчас уже никто и не собирается ликвидировать — ни сегодня, ни завтра»[122]. По мнению Корбута, в своем развитии рабфаки переросли идею их «временности» и превратились в постоянный тип учебных заведений.

Очевидно, что Корбут сделал для рабфака очень и очень много. Но чем он был для Корбута на самом деле: очередной ступенью в его карьерной лестнице или принятым душой и сердцем выбором? Не отрицая первого, следует все же больше склониться ко второму. Корбут в самом начале своей карьеры — инородный элемент в теле университета. Он — чужой для «старой» профессуры и «старого» студенчества в силу своего поведения, убеждений и взглядов. Он — чужой и для «нового» контингента в силу своего происхождения. И Корбут делает осознанный выбор в пользу последних, он ищет и находит в них опору для борьбы с первыми. Он идет на открытые конфликты с правлением университета, чем завоевывает себе еще больший авторитет у рабфаковцев. Он очень деятелен, энергичен, активен. Он безмерно честолюбив, и рабфак — это то место, где есть возможность в полной мере проявить свои способности и таланты. Корбут хорошо понимаем рабфаковцами, они видят в нем своего защитника, истинного выразителя их интересов. И, в итоге, именно здесь, на рабфаке, Корбут становится в полном смысле «своим». В результате университет получает прекрасный рабочий факультет, а Корбут — широкое общественное признание, любовь рабфаковцев и блестящее продолжение карьеры.

Рабфак — это, пожалуй, одна из самых ярких страниц в жизни Корбута. Здесь он реализовался всецело и полностью. И речь идет не только о его особой востребованности, но и о доказательстве правоты исповедуемых им идей и реализации их на практике, что, вероятно, было для Корбута важнее всего.

«Заговорщик» и «террорист»: последние годы жизни

Бурная преподавательская, организационная, административная и творческая деятельность, постоянная напряженная работа отрицательно сказались на здоровье Михаила Корбута, которое и так-то не было идеальным. У Корбута имелись врожденные и приобретенные физические недостатки — укорочение правой ноги на 3 сантиметра, сращение тазобедренного сустава, катар верхушек легких, сильная близорукость, нездоровая полнота[123]. Это был очень больной человек. Поэтому, помимо сведений

---

[120] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.36л. Д.14. Л.11.

[121] Там же.

[122] *Корбут М. К.* Диалектика в идее рабфаков. С.11.

[123] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.35л. Д.245. Л.139.

о постоянных командировках, в университетских документах часто встречаются больничные листки, выданные Корбуту «ввиду полного расстройства здоровья и общего крайнего переутомления»[124].

Тем не менее, превозмогая недомогания и болезни, Корбут продолжал упорно трудиться. Может быть, такая активность являлась своеобразным способом самоутверждения и повышения самооценки, хотя такой «насыщенный» ритм жизни был характерен для многих современников Корбута[125]. К 27-ми годам он имел все, о чем только может мечтать нормальный человек: крепкую семью, научное признание, профессорскую должность, уважение учеников и коллег. Он пережил поистине головокружительный даже для тех времен карьерный взлет.

Все рухнуло в одночасье. В декабре 1927 г. Корбут был исключен из рядов ВКП(б) за участие в «троцкистско-зиновьевском оппозиционном течении»[126].

Корбут полностью открестился от взглядов оппозиции. Обвинители, со своей стороны, не имели никаких подтвержденных данных о его фракционной деятельности. Тем не менее, Корбута сочли «неискренним», поскольку он не предоставил следствию никаких дополнительных сведений ни о себе, ни о своих «соратниках» по фракционной борьбе[127].

Корбут чувствовал, что тучи над ним все более сгущаются. В этих условиях нужно было попытаться реабилитировать свое доброе имя, и Корбут делает абсолютно верный тактический ход — обращается с просьбой о поддержке к секретарю Татарского обкома ВКП(б) М. М. Хатаевичу[128]. Хатаевич, в свою очередь, обращается в ЦК ВКП(б) с письмом, где утверждалось, что исключение Корбута из партийных рядов было грубой ошибкой, что Корбут не мог быть связан с оппозицией, поскольку постоянно и последовательно осуждал оппозиционные настроения и взгляды[129].

Письмо Хатаевича сделало свое дело. В феврале 1928 г. Корбут был восстановлен в партии, правда, в порядке обжалования и с вынесением выговора[130]. Но это не избавило его от клейма «троцкиста». Общественно-политическая карьера его была окончена: его перестали выдвигать в выборные органы, а в качестве наказания или, может быть, проверки, направили работать в партячейку завода № 40 в качестве редактора заводской многотиражки «За коммунизм»[131]. Но и здесь клеймо «троцкиста» давало себя знать. При очередной «чистке» проверком завода обвинил Корбута в неискренности при даче объяснений и справок о себе, а посему решено было «дело т.Корбута передать в Партколлегию ОКК на доследование»[132].

---

[124] НАРТ. Ф.Р-4882. Оп.1. Д.7. Л.41.

[125] Подробно об этом см.: *Вишленкова Е. А., Малышева С. Ю., Сальникова А. А.* Terra Universitatis. С.151–154, 380–382.

[126] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.3л. Д.245. Л.18.

[127] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.2. Д.491. Л.12.

[128] Письмо М. К. Корбута секретарю Татарского обкома ВКП(б) М. М. Хатаевичу, 1927 г. Ксерокопия // Музей истории КГУ.

[129] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.2. Д.491. Л.13; Письмо секретаря обкома ВКП(б) ТАССР М. М. Хатаевича в ЦК ВКП(б) тов.Шкирятову, 1928 г. Ксерокопия // Музей истории КГУ.

[130] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.35л. Д.245. Л.124.

[131] ЦГА ИПД РТ. Ф.292. Оп.5640. Д.264. Л.1.

[132] ЦГА ИПД РТ. Ф.30. Оп.3. Д.1579. Л.1 об.

За Корбутом продолжали пристально наблюдать. Как показывают материалы следственного дела, он постоянно оказывался в «щекотливых» ситуациях, привлекавших внимание органов: то встречался с «подозрительными» людьми, то приносил статью в журнал редактору, за которым следили, то сидел рядом не с тем человеком в читальном зале библиотеки…[133]

В целях подтверждения своей «правильности» и «лояльности» Корбут еще более бескомпромиссно и резко, чем прежде, открещивается от всего «старого», «контрреволюционного», легко предавая университетские традиции, правила и устои. Так, в 1929 г. он принимает участие в похоронах Е. Ф. Будде — известного филолога-слависта, языковеда, ординарного профессора и декана ФОНа КГУ, бывшего члена-корреспондента Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности. Похороны проходили очень пышно: заслуженного профессора хоронили со всеми почестями, принятыми еще в дореволюционном Казанском университете. По воспоминаниям родственников Корбута, эта пышность и помпезность крайне возмущала его и была воспринята им в штыки — «все «старое» вызывало в нем раздражение»[134]. Корбут если активно и не участвует в травле и отлучении от науки своего учителя, профессора-историка Казанского университета Н. Н. Фирсова, то обещает своим старшим товарищам по партии не уклоняться от этой политической кампании и впредь вести по отношению к «фирсовщине» «решительную разоблачительную работу»[135].

С октября 1930 г. Корбут вновь возвращается к преподавательской деятельности. Он занимает должность профессора по кафедре общего учения о праве и государстве Казанского государственного университета, с июля 1930 г. становится заместителем директора вновь открытого Татарского научно-исследовательского института экономики, в 1932 г. уходит преподавать в Казанский институт советского права и советского строительства. При этом Корбут постоянно ощущает свою невостребованность, нереализованность, ненужность: «Работа, к сожалению, не так большая, как я бы этого хотел. Эти моменты, конечно, на меня очень сильно влияют, нет хуже пострадать невинным»; «последнее время нахожусь на преподавательской работе, сейчас не удовлетворен, мог бы руководить ВУЗом или исследовательским учреждением»[136].

Корбут вновь пытается заняться научными исследованиями. С 1 октября 1930 по 1 марта 1931 г. он выезжает в научную командировку в Москву и Ленинград для работы в архивах над монографией «Ленин в Казани». Им были подготовлены к печати документы по этой тематике, снабженные вступительной статьей и хронологической таблицей, отражающей казанский период жизни Ленина, разработан план написания монографии «История пролетариата Татарстана (XVIII-XX вв.)»[137]. Однако в творчестве историка в этот период очевиден явный надлом — оно все более унифицируется в соответствии с «генеральной» линией партии; тон работ становится все более напря-

---

[133] *Об этом см.: Литвин А. А.* Историк и время. С.107.

[134] Из беседы с дочерью двоюродной сестры М. К. Корбута Е. П. Ключевской // Архив Е. С. Масловой. Запись 2003 г.

[135] ЦГА ИПД РТ. Ф.30. Оп.3. Д.1579. Л.1 об.,.3.

[136] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.35 л. Д.245. Л.170, 173.

[137] См.: НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.36 л. Д.14. Л.82.

женным и агрессивным, образ врага все чаще появляется на страницах написанных Корбутом статей: «Как кулак не может врасти в социализм, так и научно-исследовательские и учебные учреждения не смогут врасти в социализм без коренной их перестройки, характеризующейся отсечением всех элементов, безнадежно враждебных социалистическому строительству»[138]. Одну из первоочередных задач своей научной работы Корбут усматривает в изучении «влияния идеологии евразийцев на взгляды вредителей, поскольку они выяснились в процессе Промпартии»[139].

И уж совершенно тягостное впечатление производит одна из самых последних работ Корбута — статья «К вопросу о демократических иллюзиях», посвященная «внутрипартийным разногласиям первых месяцев после Октябрьской революции»[140]. В ней он клеймит Зиновьева, Каменева, Троцкого, Бухарина, клеймит бездоказательно, не останавливаясь перед навешиванием ярлыков. Единственными ссылками, сделанными в этой работе, являются немногочисленные ссылки на Ленина, и сплошные — на работы и речи Сталина.

Однако в 1933 г. и научной деятельности Корбута приходит конец — она прерывается в связи с его арестом. Начинается заключительный и, наверно, самый трагический этап его биографии.

15 марта 1933 г. Партколлегия отделения контрольной комиссии ВКП(б) вновь исключила Корбута из партии «как двурушника-троцкиста»; он был арестован[141]. Из персонального дела Корбута видно, что ему было предъявлено обвинение в защите чуждых партии лиц — «великодержавных колонизаторов» и меньшевиков[142]. «На допросах Корбут виновным себя ни в чем не признал, утверждая, что «контрреволюционной деятельностью не занимался, а только допускал ошибки»[143]. Таковыми Корбут считал свое отношение к Л. Д. Троцкому: «Снятие Троцкого с поста Наркомвоенмора мне показалось несправедливым. Мне казалось, что Троцкого партия обижает. И тут же за слова сочувствия был зачислен в троцкисты»[144]. И далее: «Человек, который целыми ночами сидит, отдает все силы для того, чтобы поднять квалификацию студентов, все это зачеркивается. Меня здесь знают все, как я родился, как вступал в партию. Конечно, меня можно смять, превратить в порошок, если это для партии — пусть это делают. Я доведен до пределов, до пределов самоубийства»[145].

Как вспоминала двоюродная сестра М. К. Корбута Н. А. Магницкая, «мы встречались редко, хотя и жили рядом на Университетской (окна наших квартир были друг против друга). Тем более что Миша бывал всегда очень занят. У него было много друзей — профессора А. В. Васильев, Н. Н. Фирсов, Н. И. Воробьев, И. С. Алуф. Люди к нему тянулись, и сам он был к ним доверчив. Доверчив, но чрезвычайно независим

---

[138] *Корбут М. К.* Роль науки в социалистическом строительстве и научно-исследовательская работа в Татарии за 10 лет. Казань, 1930. С.3.

[139] НАРТ. Ф.Р-1337. Оп.36л. Д.14. Л.82 об.

[140] Красная летопись. 1933. №1(52). С.79–100.

[141] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.35л. Д.245. Л.148.

[142] Там же.

[143] Там же.

[144] *Цит.по: Литвин А. Л.* Репрессированная наука // Гасырлар авазы / Эхо веков. 1998. № 3/4. С.207.

[145] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.35 л. Д.245. Л.175.

и тверд в своих собственных убеждениях… Когда блок «троцкистов» в университете разбили, многие успели покаяться, в том числе и один из самых близких его «друзей» — А.Диковицкий. А Миша заупрямился, настаивал на своих убеждениях»[146]. «Корбут ничего не делает, чтобы опровергать свою партийную линию, — констатировалось на допросах. — Правда, у Корбута развязный язык, что думает, то и говорит». И тут же оговорка: «Но говорит в рамках партийности»[147]. О своей принадлежности к троцкизму Корбут показывал следующее: «Я человек принципиальный, раз отошел от этого дела, то ничего не может быть… Конечно, этот процесс, перелом не мог пройти сразу во мне. В душе перелом проходил постепенно. Выветривались, пересматривались старые взгляды и… я постепенно выправил все троцкистские взгляды, после 1928 г. троцкистских взглядов не осталось»[148]. По словам Корбута, он и Диковицкий «вместе примыкали к троцкизму и одновременно же порвали (его из партии не исключали). Так же, как и я, с тех пор он никакого отношения к троцкизму, кроме отрицательного, не имеет»[149]. Однако в 2003 г. Н. А. Магницкая утверждала, что в душе Корбут всегда был убежденным троцкистом и, видимо, его убеждения и твердость характера не позволили ему прогнуться под ту линию, которая велась партийным руководством страны[150].

Корбут считал Диковицкого самым близким своим другом и, как мог, пытался отвести от него подозрения. Диковицкий же поступал по-другому. Как показывает протокол допроса, он представлял Корбута как одного из будущих лидеров троцкистов, «вышедших на широкую политическую арену»[151]. На допросах привлеченный по делу Корбута аспирант Ф. П. Медведев заявлял, что «его критикует человек, который не стоит его подметки»[152].

Корбут, отвечая на предъявленные обвинения, писал в Татарское отделение контрольной комиссии 9 января 1933 г.: «…я многократно подчеркивал всю тягость моего положения, заключавшегося в том, что не проходит, кажется, полугода, чтобы меня не стремились «пришить» к какому-нибудь делу… Так и в этот раз. Я опять выбит из колеи нормально работающего человека, и опять срывается та моя скромная научная деятельность, которой я отдаю за последние годы всю мою жизнь и все мои способности… Я готов кричать от боли, от обиды, от постоянного унижения… Я готов биться в отчаянии головой об стену…, но все же у меня не иссяк еще остаток надежды, что в конце концов в парторганизации мне подадут руку помощи…»[153]. Корбут надеялся уехать из Казани, предполагая быстро обрести на новом месте «партийный авторитет»[154].

Но надежды Корбута не сбылись. В обвинительном заключении 1933 г. говорилось, что Корбут в 1927, 1928 и 1930 гг. уже «привлекался к партийной ответственно-

---

[146] Ключевская Е. Забытая графическая сюита. С.85–86.

[147] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.35л. Д.245. Л.171.

[148] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.35л. Д.245. Л.188.

[149] ЦГА ИПД РТ. Ф.8233. Оп.2. Д.2–12071. Л.23.

[150] Из беседы с дочерью двоюродной сестры М. К. Корбута Е. П. Ключевской // Архив Е. С. Масловой. Запись 2003 г.

[151] ЦГА ИПД РТ. Ф.8233. Оп.2. Д.2–8087. Л.26.

[152] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.35л. Д.245. Л.101–101 об.

[153] ЦГА ИПД РТ. Ф.8233. Оп.2. Д.2–12071. Л.24–25.

[154] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.35л. Д.245. Л.122.

сти, в первый раз за активную троцкистскую деятельность был исключен из партии и восстановлен ЦК ВКП(б), второй раз был объявлен выговор за идеологические извращения в своих литературных работах, организацию и руководство университетской троцкистской группой. Находясь в партии, двурушничал. С 1927 г. по день ареста не прекращал связи с троцкистским подпольем»[155]. «Едва ли есть в Казани другие члены партии, — в отчаянии восклицал Корбут, — которые бы так часто и так тщательно проверялись, как я! Едва ли есть в Казани другие члены партии, вся деятельность которых проходила бы под таким сугубым партийным и общественным надзором, как моя!». Корбут называл себя обреченным человеком: «С 1927 г., когда влип в эту историю, я жить и работать не могу»[156].

Постановлением особого совещания при НКВД СССР от 28 июля 1933 г. М. К. Корбут был осужден на три года ссылки в Казахстан по статье 58–10 ч.1. УК РСФСР. Но даже в ссылке он не терял надежды и не прекращал работать. Ему удалось устроиться ученым секретарем казахской государственной публичной библиотеки[157], а позже — директором одного из вновь созданных научно-исследовательских институтов в Алма-Ате[158]. Корбут подавал прошение о восстановлении его в рядах партии, но Партко243легия КПК при ЦК ВКП(б) решением от 13 декабря 1934 г. отказала ему[159]. С этих пор жизнь его пошла по заранее «предусмотренному» плану, по пути с неизбежным трагическим финалом. Не только судебные и партийные инстанции, но и общественное мнение было настроено против него. 5 января 1935 г. университетская многотиражка «Ленинец» писала: «Надо помнить, что и в стенах нашего университета подвизались со своими антимарксистскими, антисоветскими «теориями» и «теорийками» Корбут, Диковицкий, Слепков. Разоблачать подобных «теоретиков», проявлять непримиримость ко всяким отклонениям в сторону от генеральной линии партии, беспощадно изгонять из рядов партийной организации всех оппортунистов, двурушников, примиренцев — актуальная задача, стоящая перед коммунистами вуза… Большевистская бдительность — не абстрактное понятие. Во всем содержании научно-теоретического процесса мы должны бороться за генеральную линию партии, систематически и безжалостно борясь против троцкистской контрабанды и эмпиризма»[160].

7 февраля 1936 г. Корбут был снова арестован по обвинению в «контрреволюционной троцкистской пропаганде», в том, что «в контрреволюционном троцкистском плане толковал политику ВКП(б) и советской власти»[161], «…на квартире устраивал совещания контрреволюционной троцкистской группы, где намечались пути и способы дальнейшего развития их деятельности»[162]. Он был повторно осужден и вновь сослан в Казахстан на 3 года, а затем особым совещанием при НКВД СССР от 22 июня 1936 г. переведен в лагерь «Ухтпеглаг» сроком на пять лет. Оттуда 29 декабря того же года его этапировали в Казань, где привлекли в качестве обвиняемого по

[155] Там же. Л.111.
[156] Там же. Л.124 об.,176.
[157] Там же. Л.92.
[158] ЦГА ИПД РТ. Ф.30. Оп.3. Д.1579. Л.6 об.
[159] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.35л. Д.245. Л.142.
[160] Больше партийности в науке // Ленинец. 1935. 5 января.
[161] ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.35л. Д.245. Л.92.
[162] Там же. Л.148.

делу «правого оппортуниста», профессора кафедры методологии естествознания КГУ В. Н. Слепкова. «Последнее, что я слышала о судьбе Миши, — вспоминала Н. А. Магницкая, — это рассказ Иры Егеревой, дочери профессора Егерева, 25 лет отбывшей в ссылке в Сибири. Много лет спустя она мне рассказала, как, еще находясь в подвалах «Черного озера» (здание НКВД ТАССР — *А. С.*), однажды утром услышала, что по камерам передали (перестукиваться уже научились): «Я, Михаил Корбут, прибыл сегодня, нахожусь в одиночке»[163].

17 апреля 1937 г. Корбуту, как одному из руководителей «контрреволюционной троцкистской, террористической организации», было объявлено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по «делу № 2758 — Аксянцева, Шварца и Векслина»[164]. Корбут обвинялся в том, что он «состоял членом контрреволюционной, террористической организации, осуществившей 1 декабря 1934 г. злодейской убийство тов. Кирова С. М. ; с 1928 г. являлся руководителем контрреволюционной террористической троцкистской организации г.Казани; разделял террористические взгляды и лично высказывался о необходимости совершить террористический акт против т.Сталина; в 1932 г. организовал террористический блок троцкистов с правыми г.Казани; систематически проводил контрреволюционную троцкистскую агитацию, организовал нелегальные совещания; проводил вербовку новых лиц; имел личную связь с врагами народа Зиновьевым, Каменевым и Тер-Ваганяном»[165]. 1 августа 1937 г. по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Михаил Корбут был расстрелян[166]. Он, видимо, считался по тем временам очень опасным преступником, поскольку в сталинских расстрельных списках состоял в категории №1[167].

Заключение

Безусловно, Корбут был и продуктом, и жертвой своего времени. Живя в переломную эпоху, когда рушилось все и вся, когда до основания был сотрясен и подорван весь устоявшийся порядок вещей, он не мог быть изолирован от этих процессов, не мог не испытать на себе их влияния. Судьба Михаила Корбута воплотила собой достаточно типичный и в конечном итоге довольно неуспешный пример существования и выжи-

---

163 Ключевская Е. Забытая графическая сюита. С.87.

164 ЦГА ИПД РТ. Ф.8233. Оп.2. Д.2–8087. Л.1.

165 Там же. Л.4.

166 ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.2. Д.491. Л.13; Справка начальника подразделения КГБ ТАССР Н. Г. Давыдова на М. К. Корбута. Ксерокопия // Музей истории КГУ.

167 *Султанбеков Б. Ф.* Татарстан в расстрельных списках Сталина // Гасырлар авазы / Эхо веков. 2003. № 1/2. С.108. Только через 19 лет, 28 июня 1956 г., определением Военной коллегии Верховного Суда СССР М. К. Корбут был реабилитирован, приговор от 1 августа 1937 г. отменен, дело в уголовном порядке прекращено за отсутствием состава преступления. Вопрос о члене ВКП(б) М. К. Корбуте рассматривался в соответствии с постановлением Политбюро ЦК КПСС от 11 июля 1988 г. «О дополнительных мерах по завершению работы, связанной с реабилитацией лиц, необоснованно репрессированных в 30–40-е гг. и начале 50-х гг.». Бюро обкома КПСС постановило: члена партии с 1920 г. М. К. Корбута реабилитировать в партийном отношении (посмертно). (ЦГА ИПД РТ. Ф.30. Оп.3. Д.1579. Л.6 об.)

вания ученого в условиях тоталитарного государства. С другой стороны, она явилась ярким свидетельством многообразия индивидуальных человеческих стратегий, опытов и практик, направленных на адаптацию к новым социальным и политическим условиям, сложившимся в стране после октября 1917 г.

Личность Корбута являла собой своеобразную точку пересечения основных социополитических и социокультурных тенденций раннесоветского и раннесталинского времени: отречение (причем манифестно озвученное) и самоотторжение от родственной социальной среды и примыкание, обретение себя среди социально «чуждых»; последовательное выстраивание «новой» советской биографии (служебной, творческой и личной); встраивание хронотопа собственной жизни в хронотоп эпохи; противопоставление и в творчестве, и в повседневной жизни прежним «буржуазным» научным и культурным ценностям новых советских культурно-символических феноменов и значений; приятие марксизма как единственно верной и все объясняющей теории и методологии, применение ее в пропагандистской деятельности и исследовательской практике.

М.Корбут хотел жить «правильной» жизнью образцового советского человека — мужа, отца, преподавателя, общественника, руководителя, ученого. Казалось, что биография его была чиста. Он не был уличен в открытой поддержке белого движения, как, например, профессор русской истории Н. Н. Фирсов; он не сотрудничал с комучевским Ведомством народного просвещения, как профессор истории М. М. Хвостов, и не уходил из Казани вместе с другими профессорами и преподавателями вслед за «белой армией» в 1918 г. Он не участвовал в знаменитой казанской «профессорской забастовке» 1922 г., как, например, историк И. А. Стратонов. Он всегда славил и воспевал советскую власть и преданно ей служил. Казалось, что все в своей жизни он делал правильно. Но «неправильная» эпоха в один миг перечеркнула эти «правильные» поступки и устремления и расставила все по своим местам в соответствии с собственными правилами игры. Корбут не вписался в новую советскую действительность, хотя, казалось, был так близок к этому. И в этом он повторил судьбу многих своих коллег и учеников — и тех, кто так яростно боролся с советской властью, и тех, кто так горячо одобрял и всячески поддерживал ее.

Вся жизнь Михаила Ксаверьевича Корбута была тесно и неразрывно связана с Казанским университетом. Сюда он пришел юным студентом, здесь дослужился до профессора, проявил свои недюжинные организаторские способности, стал членом ВКП(б), состоялся как педагог и ученый, здесь нашел свое личное счастье. Именно с Казанским университетом связаны наибольшие достижения в жизни Корбута, получившие как прижизненную, так и последующую высокую оценку и признание: работа по организации рабочего факультета и написание двухтомной юбилейной истории КГУ — труда, не утратившего своего значения вплоть до наших дней. И этот факт безусловно роднит Корбута со многими представителями казанской университетской корпорации. Ведь университетская корпоративность зиждется и всегда зиждилась на иных, нежели чем в других социальных общностях, основаниях. В университетскую среду трудно войти, но единожды пришедший — если он соответствует корпоративным стандартам — обычно остается здесь навсегда. Как любил повторять знаменитый ректор Казанского университета М. Т. Нужин, стоявший во главе этого вуза более четверти века (1954–1979), «в Казанский университет приходят только раз, и случайные

люди здесь не задерживаются»[168]. К таким «неслучайным» для университета людям принадлежал и Михаил Корбут.

Жизнь и судьба Корбута, как и любого человека, была, безусловно, его собственной, особой, уникальной. В то же время она оказалась весьма типичной для многих представителей той генерации советских ученых, чья юность и зрелость пришлась на мятежные революционные и постреволюционные годы. Биография Корбута — и событийная, и творческая — достаточно гармонично вписывается в просопографию «новых», «красных» советских профессоров, живших в первые послеоктябрьские десятилетия. Помимо схожего сценария судьбы, у современных Корбуту историков-исследователей проявлялась и некоторая схожесть научных интересов, и определенное единство концептуальной парадигмы, и определенная унификация исследовательских методов. Всех этих людей по большому счету объединяло одно: кто искренне, а кто — умело приспосабливаясь, они хотели быть призванными, признанными, а если можно — и обласканными советской властью. И Корбут не составлял здесь исключения. Таким образом, единичный случай Корбута позволяет ответить утвердительно на вопрос о возможности написания большого исторического нарратива через призму опыта конкретного, отдельного, обычного человека.

Но сам Корбут «обычным» себя никогда не считал и всячески стремился эту «обычность» превзойти: он был первым, он был лучшим, хотевшим больше других, делавшим больше всех. Он был талантливым и честолюбивым, гордым и одновременно компромиссным, в чем-то принципиальным, но и прогибавшимся под давлением времени и обстоятельств. Он мог быть добрым, сострадательным и дружелюбным, а мог — скандальным, необоснованно раздражительным и угрюмо-озлобленным. Все в нем было разорвано, беспокойно и искажено. Он был — живым, этот человек, сотканный из противоречий, человек — проблема, человек-вопрос. Он сам написал сценарий своей судьбы, сам разыграл его, исполнив ту роль, которую и хотел сыграть, выступив главным героем в пьесе с непредсказуемым финалом, дописанным самим временем.

---

[168] Ректоры Казанского университета, 1804–2004 гг.: Очерки жизни и деятельности. Казань, 2004. С.335.

Научно-педагогическая интеллигенция в период идеологических кампаний конца 1940-х — начала 1950-х гг. (На материалах Центрального района России)

Г. А. Будник

«Проблема интеллигенции — ключевая в русской истории …
сегодня интеллигенция опять, без сомнения,
явно держит в своих руках судьбы России,
а с нею и всего мира».

Г. П. Кормер

1. Методологическое введение.

Специфика России такова, что практически все судьбоносные экономические, политические или культурные реформы инициировались и проводились в жизнь не в результате демократических процедур, в которых участвуют широкие слои населения, а в результате деятельности небольшой группы инициативных, реально мыслящих, пассионарных людей, называемых со второй половины 18 в. интеллигенцией.[1] Однако до сих нет пор единого мнения о том, что такое «интеллигенция» — нет. К настоящему времени многочисленные вариации подходов к данному понятию можно свести к двум: *социально-функциональному*, сторонники которого выделяющий интеллигенцию по характеру труда — профессиональному, умственному, требующему выполнения определенных функций; *нравственно-этическому*, при котором акцент сделан на глубоком осмыслении и внутреннем переживании представителями интеллигенции гуманитарных ценностей. Каждый подход имеет свои сильные и слабые стороны, однако ни один из них не может дать объективных результатов. Сторонники первого подхода включают в интеллигенцию всех образованных людей. В соответствии со второй позицией интеллигенция — это оценочная категория, характеризующаяся качественными особенностями личности, определенным типом мышления и поведения. По мнению Л. Н. Когана «интеллигенция — это не социальная группа, а духовная элита общества».[2] Автор данной статьи является сторонником комплексного междисциплинарного подхода к изучению проблем интеллигенции, при котором учитываются научные достижения в смежных областях гуманитарного знания (философии, социологии, психологии, педагогики и т. д.). Междисциплинарный подход приво-

---

[1] Подробнее см.: *Будник Г. А. , Карасева А. В.* Интеллигенция: некоторые подходы к определению понятия // Клио. СПб, 2001. С. 139 — 145.

[2] *Коган Л. Н.* Интеллигенция: слой специалистов или духовная элита общества? // Российская интеллигенция: XX век: Тез. докл. и сообщ. науч. конф. Екатеринбург, 1994. С. 65.

дит к пониманию интеллигенции как сложного социокультурного феномена. Действительно, наличие высшего или среднего специального образования, умственный и творческий характер труда — важный, но не единственный критерий, по которому можно отнести индивида или совокупность лиц к категории «интеллигенция». Что же взять за основу? По мнению профессора В. С. Меметова, высказанному еще в середине 1990-х гг., на протяжении длительного времени у части общества формировались специфические нравственно-этические и социально-психологические качества, названные им *сущностными чертами* интеллигенции.[3] К ним можно отнести: способность анализировать концептуальные идеи, развивать их или отвергать, а также наличие общественно-значимых целей, ориентацию на интересы и нужды народа, подвижничество, милосердие, толерантность, честность, порядочность. Сущностные черты — это основа модели (идеального образа) интеллигенции, который вбирает характерные черты интеллигенции как социальной группы. Они, имеют стабильный и обязательный характер. В тоже время, в каждую историческую эпоху интеллигенции присущи специфические особенности. В соответствии с ними выделяют, к примеру, разночинную, советскую, постсоветскую интеллигенцию.

Итак, *интеллигенция* — это социокультурная общность, представители которой отличаются высоким образовательным уровнем и творческим отношением к профессиональной и общественной деятельности, направленной на производство и сохранение достижений культуры и общечеловеческих ценностей, и обладают особыми психологическими чертами и позитивными нравственно-этическими качествами.[4]

Традиционно интеллигенция делится на профессиональные отряды. В данной статье речь пойдет о научно-педагогической интеллигенции[5] периода позднего сталинизма.

---

[3] *Меметов В. С.* О проблеме дефиниций: от понятия «интеллигенция» к «прединтеллигенции» (постановка вопроса) // Интеллигенция, провинция, Отечество: проблемы истории, культуры, политики. Тезисы докладов межгосударственной научно-теоретической конференции. Иваново, 1996. С. 4 — 7; *Меметов В. С. Данилов А. А.* Интеллигенция России: уроки истории и современность (Попытка историографического анализа проблемы) // Интеллигенция России: уроки истории и современность. Иваново, 1996. С. 3 — 15.

[4] Необходимо иметь в виду, что у научно-педагогических работников послевоенных лет не было рефлексии по поводу того, являются они интеллигентами или нет. Термин «интеллигенция», они использовали в традиционном тогда социологическом смысле. Однако это был верхний, видимый слой их позиционирования. Они имели интеллектуально-духовный облик, вели образ жизни, традиционно присущий подлинной российской интеллигенции.

[5] Интерес представляет мнение российских и зарубежных ученых о том, что профессиональная деятельность влияет на формирование образа жизни, досуг и манеру поведения людей. (См.: *Сорокин П. А.* Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992; *Соскин В. Л.* Нравственный императив интеллигенции: неоднородность выбора // Нравственный императив интеллигенции: прошлое, настоящее, будущие. Тез. докл. междунар. научн.-теорет. конф. Иваново, 1998. С. 15 — 16; *Добрускин М. Е.* Социально-психологический портрет вузовского педагога // Социологические исследования. 1995. № 9; *Хазова Л. В.* Преподаватель: ценностные ориентации и мотивы деятельности // Социально-политический журнал. 1997. № 1; Williams G., Blackston T., Metcalf D. The Academic Labour Market. Economic and Social Aspects of a Profession. Amsterdam, Elsevier sci. publ. co. 1974. XVI.). Преподавательская деятельность, если она является призванием, как никакая другая так захватывает человека, что трудно различить профессиональное и личное. Возможность творчества развивает интеллект, близость к практическим делам обще-

Научно-педагогическая интеллигенция выполняет функцию посредника между поколениями. От ее профессиональных и нравственных качеств во многом зависит интеллектуально-духовный потенциал специалистов — выпускников высшей школы. Однако возникает вопрос: смогла ли вузовская интеллигенция периода идеологических кампаний и репрессий конца 1940-х — начала 1950-х гг. *сохранить* традиционные черты, присущие дореволюционной российской интеллигенции и *передать* их следующим поколениям? В качестве рабочей гипотезы можно высказать предположение, что властным структурам не удалось окончательно превратить научно-педагогическую интеллигенцию в прислужницу власти, ограниченную интеллектуально и духовно. Косвенными аргументами в пользу данного вывода могут служить всплески творческой активности, политической, экономической и культурной инициативы в интеллектуальных слоях российского общества в период оттепели и перестройки.

В настоящее время имеются серьезные исследования, раскрывающие те или иные аспекты данной проблемы,[6] однако на материалах Центрального района России [7] данная тема не получила должного освещения.

2. Источниковая база.

Между тем, материалов для репрезентативного исследования вполне достаточно. Это, в частности, документы, хранящиеся в Государственном архиве Российской федерации (ГАРФ Ф. 9396 — Министерство высшего образования СССР (1945 — 1959 гг.), Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ Ф. 17. Оп. 132 — отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) (1948 — 1953 гг.); Оп. 133 — отдел науки и вузов ЦК ВКП (б) (1951- 1952 гг.); Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ — Ф. 5. Оп. 17. Отдел науки и вузов ЦК ВКП (б) (1951 —

ства — реализм мышления, чувство ответственности, постоянное общение со студентами — терпимость, подвижничество, бескорыстие.

[6] *Бордюгов Г. А.* Сталинская интеллигенция. Интернет-ресурсы. dictionnaire. narod.ru; *Зубкова Е. Ю.* Общество и реформы, 1945–1964. М., 1993; *Селиверстова Н.* Студенчество эпохи сталинизма // Вестн. высш. шк. 1991. № 11; *Казарин В. Н.* Образование, наука и интеллигенция в Восточной Сибири (вторая половина 1940 — середина 60-х гг. XX в.). Иркутск, 1998; *Мерзляков С. Л.* Саратовский государственный университет в годы войны и мира (1941 — 1964 гг.). Дисс. …канд. ист. наук. Саратов, 2008; *Порозов В. А.* Материальные условия жизни и деятельность городской провинциальной интеллигенции в 1946 — 1953 гг. (На материалах Западного Урала). // Интеллигенция и мир. 2005. № 3–4. С. 56 — 72; *Сизов С. Г.* Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946 — 1964 гг. (На материалах Западной Сибири). Ч. 1. Поздний сталинизм (1946 — март 1953). Омск, 2001.

[7] Центральный район России расположен между Москвой и Санкт-Петербургом. В период исследования в него входили: Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Орловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области и город Москва. Его площадь составляла около 3% территории СССР, но это был один из самых экономически развитых регионов. Район занимал первое место в СССР по числу городов. В них проживало 70 % городского населения страны. Здесь было сосредоточено около 30% вузов РСФСР, в которых обучалось почти четвертая часть всех студентов и работало почти 30% преподавателей (См:. Среднерусский регион: проблемы и перспективы. М., 1995. С. 7; *Лаврищев А. Н.* Центральный и Центрально-Черноземный крупные экономические районы. М., 1971. С. 8; Народное хозяйство РСФСР в 1987 г. Стат. ежегод. М., 1988. С. 235, 356).

1953 гг.). Так как партийные органы контролировали *все* вопросы деятельности высшей школы, то документы этих фондов многоплановы по содержанию, насыщены большим объемом информации. Рассматривая вузовскую интеллигенцию в качестве «проводника политики» коммунистической партии в высшей школе, партийные документы содержат многоплановую информацию о воздействии на эту профессиональную группу интеллигенции: меры по повышению квалификации работников высшей школы, методы контроля за подбором кадров и их деятельностью, формы идейно-политического воспитания, участия в научно-исследовательской деятельности и так далее. Автором проанализирован ряд документов, помеченных грифом «секретно», и лишь недавно открытых для исследователей. Эти дела в основном содержат материал о «нездоровых настроениях» среди вузовских работников. Они ценны с точки зрения выяснения мировоззренческих установок вузовской интеллигенции и степени их лояльности правительству, а также отношению органов государственной власти к критическим высказываниям с мест. В них приводится не опубликованная в официальной прессе статистика уволенных по политическим мотивам научно-педагогических работников, факты их инакомыслия.

В областных государственных архивах важным источником, позволяющим сделать вывод о нравственной позиции вузовской интеллигенции, мировоззрении и духовном облике студентов являются фонды вузов, включающие стенограммы заседаний кафедр, ученых советов, лекций и семинаров. Имеющаяся в них информация разноплановa. Это и разбор проблемных вопросов жизни вузов, и размышления преподавателей о смысле своего труда, целях и задачах обучения студентов, и обсуждение организации учебного и воспитательного процесса. В ряде случаев эти протоколы написаны от руки, не отредактированы. В результате они передают атмосферу тех лет, раскрывают мировоззренческие установки преподавателей высшей школы.

Фонды вузовских партийных и комсомольских организаций, имеющихся в областных архивах, содержат как директивные (решения бюро обкомов, райкомов партии, первичных партийных организаций), так и текущие документы (справки, отчеты, заявления). При анализе этого вида документов приходилось учитывать их специфику, которая заключается в том, что акцент в них делался в первую очередь на анализ негативных, с точки зрения коммунистов, моментов в деятельности преподавателей.

В противоположность им СМИ, в том числе и вузовские многотиражки, отражали позитивную, официальную точку зрения.

Большой интерес представляют источники личного происхождения — дневники, мемуары, воспоминания, письма. Ряд воспоминаний опубликован, но многие, хранящиеся в архивах и в музеях вузов практически не изучены.

Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении документы позволяют сделать репрезентативные выводы.

3. Научно-педагогическая интеллигенция в период позднего сталинизма.

После Великой Отечественной войны жизнь в высшей школе изменилась. С фронта и из эвакуации в родные вузы возвращались преподаватели и студенты. В первые послевоенные годы институтские аудитории «поменяли цвет», так как и в мирное время фронтовики продолжали носить военную форму, заслуженно гордясь боевыми наградами. Однако научно-педагогические коллективы изменились не только внешне. Другим, более

раскрепощенным, стал внутренний мир вузовской интеллигенции. Военные испытания показали значение общечеловеческих ценностей, а знакомство преподавателей, принимавших участие в освобождении стран Западной Европы от фашистов, с европейской культурой, способствовало развитию у них самостоятельного мышления, не поддающегося контролю. Бывшие фронтовики были уверены, что после победы над гитлеровцами, в мирных условиях, они легко смогут добиться справедливости, были активны в своих поступках и критичны в высказываниях. Преподаватель Ивановского государственного педагогического института Н. В. Савин так вспоминал о своем мироощущении в те годы: «Выиграв такую войну, многие из нас считали своим долгом бороться за справедливость и были не всегда осмотрительны в своих высказываниях»[8]. Его коллега, профессор П. В. Куприяновский, писал: «Как и многие советские люди, пережившие войну, я ожидал, что с ее окончанием уйдет в прошлое все мрачное, связанное с репрессиями, духом ненависти, подозрений, страха, что жизнь будет свободнее, чище»[9]. Наряду с традиционным одобрением политики И. В. Сталина появились высказывания о необходимости реформ в общественной жизни страны. Впервые эти тенденции были выявлены Е. Ю. Зубковой и Н. Селиверстовой [10].Косвенные сведения о возрождении традиций обсуждения на кафедрах различных вопросов, в том числе и связанных с деятельностью партии и правительства, дают материалы заседаний партийных комитетов многих институтов региона исследования, в которых неоднократно говорится о «нездоровых высказываниях» преподавателей, в воспоминаниях участников событий [11].

Лидеры партии осознавали, что население страны ждет демократических реформ и должны были отреагировать на этот «вызов». «Ответом» И. В. Сталина стало апробированное в предвоенные годы «закручивание гаек», жесткий контроль за деятельностью интеллигенции вплоть до репрессий. Поводом к ужесточению политического курса стала холодная война, которая спровоцировала волну национализма и шовинизма в СССР. Внутренний «враг» был найден — «поклонники Запада». Над этим образом «врага» стала работать мощная машина идеологического аппарата ЦК ВКП(б). Средством борьбы против инакомыслия стало насаждение великодержавной идеи о превосходстве всего советского.

«Гром грянул» уже в августе 1946 г. Появились партийные постановления, как тогда обобщенно говорили, по идеологическим вопросам. Первоначально они затронули незначительный круг интеллигенции, причастной к литературе и искусству. Однако работники высшей школы уже тогда точно поняли их смысл: «Зажимают клапаны»[12]. В стране стала разворачиваться мощная кампания борьбы с «иностранщиной», за утверждение «советского патриотизма». Началом серии идеологических нападок на на-

---

8 Личное дело Б. Л. Манциводы (Музей истории Ивановского государственного университета).

9 Ивановский государственный университет глазами современников. Иваново, 1993. Вып. 1. С. 79.

10 Зубкова Е. Ю. Общество и реформы, 1945–1964. М., 1993; Селиверства Н. Студенчество эпохи сталинизма // Вестн. высш. шк. 1991. № 11.

11 См. напр.: Каждан Я. Ш. Дом на Рождественке. М., 1998. С. 97; Попова Т. Г. На пороге гражданской зрелости: (Опыт московских вузов по нравственному воспитанию студентов). М., 1991; Менделеевец / Московский гос. хим.-технол. ин-т. 1949. 1 июня; Ленинец / Московский гос. пед. ин-т. 1949. 10 мая.

12 Ивановский государственный университет глазами современников: Вып. 1. С. 79.

учно-педагогическую интеллигенцию стало «Закрытое письмо ЦК ВКП (б) «О деле профессоров Клюевой и Роскина»»[13], в 1946 г. разосланное во все партийные организации. В нем подчеркивалось, что «дело имеет большое политическое значение». Главный упор в письме был сделан на то, что «дурная опасная болезнь низкопоклонства перед заграницей может поражать наименее устойчивых представителей нашей интеллигенции, если этой болезни не будет положен конец». Партийным организациям было предложено сосредоточить основное внимание в пропагандистской работе на указании И. В. Сталина о том, что даже «последний советский гражданин, свободный от целей политики, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства». С этим письмом должны были быть ознакомлены не только партийные и советские работники, но и сотрудники высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Этот документ стал отправной точкой борьбы с космополитизмом[14]. «Что такое космополитизм, никто толком не знал. Но атмосфера создавалась гнетущая. Если человек не ура-патриот, то его уже легко было сделать космополитом. Опять началась мутная волна наветов и доносов на этих невиданных еще врагов — слово-то какое придумали — «космополит»», — вспоминала доцент Ивановского педагогического института Л. В. Венкстерн[15].

Идеи «Закрытого письма» были развиты в философской дискуссии 1947 г., на августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г.,[16] сессиях Академии наук и Академии медицинских наук в июне–июле 1950 г. и в других политических кампаниях. В результате стал формироваться «железный занавес», отделявший западное информационное пространство от советского.

В конце 1940-х гг. прекратилось издание журнала «Америка», закрыли газету «Москоу ньюс» и журнал «Иностранная литература». С 1947 г. любые контакты с иностранцами были чреваты обвинением в шпионаже и измене Родине. В это же время более строгими стали наказания за разглашение государственной тайны, к которой

---

[13] Н. Г. Клюева и ее муж Г. И. Роскин — ученые-биологи 1-го Московского медицинского института. Они передали свою рукопись с некоторыми результатами исследования рака в один из американских научных журналов. Хотя сама идея не была передана, факт публикации в зарубежной прессе был расценен как антигосударственный поступок.

[14] Под космополитизмом в изучаемый период истории понимали идеологию, проповедовавшую теорию мирового гражданства, отказ от патриотизма (см.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 280–281). Аналогичным было употребление терминов «низкопоклонство», «раболепие», означавших преклонение перед Западом. В действительности подобные ярлыки были необходимы для оправдания карательных мер в борьбе с реальной и потенциальной оппозицией.

[15] Венкстерн Л. В. То было наше время: (Воспоминания, очерки, заметки). На правах рукописи. Иваново; М., 1997. С. 134.

[16] Руководство СССР использовало научные дискуссии для «усиления партийной направленности в науке», а отдельными ее представителями для сведения счетов с научными оппонентами. Наиболее типичной из таких дискуссий стала дискуссия по проблемам биологии. Ее инициировал президент Всероссийской академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) *Т. Д.* Лысенко. Критика генетиков — «мухолюбов-человеконенавистников» (ученые ставили опыты на мухах-дрозофилах) завершилась тем, что на августовской (1948 г.) сессии ВАСХНИЛ академики А. Жебрак, П. Жуковский, И. Шмальгаузен и их ученики (несколько сот человек) были изгнаны из академии. Вместе с ними на долгие годы оказалась в «изгнании» и сама генетика, в которой отечественные ученые в 1930-е гг. занимали ведущие позиции. Подробнее см.: *Шноль С. Э.* Герои и злодеи российской науки. М., 1997. С. 245–259.

могли быть отнесены практически любые сведения. В результате стали ослабевать, и, в конце концов, практически прекратились родственные, научные, творческие связи граждан СССР с лицами, живущими за границей. Были запрещены браки с иностранцами. Любые научные теории западных авторов объявлялись буржуазными, идеалистическими. Обращаться к ним можно было только с критической оценкой.

В высших учебных заведениях Центрального района России, как и в целом по стране, широко проводилась кампания против «тлетворного влияния Запада», «раболепия и низкопоклонства перед иностранщиной и буржуазной реакционной культурой». Это были годы сурового испытания на прочность традиций отечественной научно-педагогической интеллигенции.

В 1948 — 1950 гг. партийные инстанции организовали многочисленные проверки работы вузов, сопровождавшиеся организационными выводами. По заданию ЦК ВКП(б) было проверено 2018 преподавателей[17]. «Волны» прокатывались то по гуманитарной, то по естественнонаучной интеллигенции. Проверке на политическую благонадежность были подвергнуты научно-педагогические кадры всех специальностей, но наибольший акцент был сделан на работников кафедр общественных наук. В секретном докладе Министерства высшего образования СССР в ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1948 г. отмечалось, что в 1948 г. была проведена проверка руководящих и профессорско-преподавательских кадров кафедр общественных наук вузов СССР. При этом «в целях получения материалов, характеризующих деловые и политические качества преподавателей кафедр общественных наук, Министерством было дано указание директорам вузов СССР к 1 июня 1948 г. представить в управление кадров на всех преподавателей личный листок по учету кадров, подробную автобиографию, развернутую деловую характеристику…». К 28 октября были получены материалы из 568 вузов страны. В ходе «разработки» полученных документов было установлено, что во многих высших учебных заведениях страны существовала «большая засоренность[18] лицами, не внушающими политического доверия». В результате 49 преподавателей были освобождены от педагогической работы и 167 человек были намечены к увольнению[19].

Наибольшее внимание контролирующие органы уделяли вузам Москвы и Ленинграда, которые «должны были быть образцовыми учебными заведениями». В результате многие работники высшей школы Москвы попали, по словам уволенного в 1949 г. из Московского архитектурного института с формулировкой «по мотивам недостаточной квалификации по специальности» доцента, заведующего кафедрой высшей математики Н. И. Вейсфельда «в положение человека, имеющего «волчий билет»»[20]. Ни один вуз Москвы не брал его на работу, жизнь становилась невыносимой, и тогда Н. И. Вейсфельд пишет письмо В. М. Молотову. Вначале он рассказывает о своих реальных профессиональных заслугах, подтвержденных прилагаемыми отзывами академиков

---

[17] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 68. Л. 45.

[18] Интересно посмотреть на значение термина «засоренный», широко использованного в партийных документах тех лет применительно к кадрам работников высшей школы. В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка» (М., 1996. С. 215) он трактуется как «*перен.* Заполнить чем-н. ненужным, отягощающим, вредным». Тем самым раскрывается *суть* отношения коммунистической партии тех лет к интеллектуальной элите общества.

[19] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 64. Л. 14–39.

[20] ГАРФ. Ф. 9396. Оп. 13. Д. 29. Л. 55.

И. Г. Петровского и чл.- корресп. АН СССР В. В. Степанова *(не побоялись! — Г. Б.)*. Далее он размышляет о возможных причинах своего увольнения: «…можно считать очевидным, что я снят с работы не по деловым, а по каким-то другим, от меня скрываемым мотивам … Скрываемый мотив может быть только одним: политическая компрометация. Между тем моя политическая биография ничем не запятнана: я происхожу из бедной семьи, сам себя содержал с 16 лет уроками; выбился собственными силами; в политических партиях не состоял; к антисоветским группировкам не примыкал; репрессиям не подвергался. Тоже относится и к моим братьям, сестрам и семье моей жены. Однако должна же быть какая-либо причина моей компрометации. Я прихожу путем исключения к единственному обстоятельству, которое, вероятно поставлено мне в вину: я переписывался со знакомой семьей в Америке…».[21]

Преподаватели обращались в ЦК партии как в последнюю инстанцию, от которой ждали помощи. Так, имеется просьба одного из преподавателей Московских вузов разрешить ему вступить в ряды ВКП(б). В партию его не принимали, по его предположениям потому, что его жена и теща — немки. Но, мотивируя свою просьбу, автор подчеркивает, что его родные приехали в СССР как политэмигранты.[22] Ни один из авторов не получил положительного ответа.

Были и преподаватели, которые надеялись на здравомыслие партийных лидеров. Они обращались к ним с просьбой разобраться, навести порядок, устранить недостатки в том или ином вопросе. Однако, боязнь за свою судьбу, приводила к тому, что подобного рода письма были анонимными (без подписи) или подписаны вымышленными именами. Так, в 1948 г. анонимный автор в письме на имя секретаря ЦК ВКП(б) Н. А. Вознесенского написал о неудовлетворительном преподавании экономики. В качестве примера автор приводит перспективную, с его точки зрения, но отклоненную ВАК, докторскую диссертацию М. А. Бокшицкого «Технико-экономические изменения в промышленности США во время Второй мировой войны» и работу А. М. Каца «Химическая промышленность, ее особенности и пути развития в СССР». В ответе на это письмо сказано, что «изложенное неверно». Что касается исследования М. А. Бокшицкого, то в нем, по мнению написавших ответ работников МВО СССР, «автор встал на путь преклонения перед «достижениями» капиталистов США…», а А. М. Кац «избрал неправильные методы исследования и пришел к неверным выводам. Автор использовал порочную и осужденную методику сопоставления уровня и темпов роста производительности труда в химической промышленности СССР и США без учета … преимуществ советской экономики…».[23]

В архивных материалах не удалось обнаружить сведений о количестве преподавателей, пострадавших во время идеологических кампаний конца 1940-х — начала 1950-х гг. Однако анализ материалов конкретных университетов и институтов позволяет заключить, что необоснованные увольнения преподавателей были практически

[21] Государственный архив Российской Федерации. Ф. 9396. Оп. 13. Д. 29. Л. 57. Рассмотрение письма Н. И. Вейсфельда было передано в институт. Директор института кроме официального ответа в ЦК ВКП(б) написал личное письмо, в котором отметил: «Возвращение Вейсфельда в институт несомненно поставит под сомнение правильность действий института в части укрепления кадров… Всего освобождено 40 преподавателей, пожаловался один Вейсфельд», следовательно, делает вывод директор, «замена сделана правильно». Там же. Л. 68.

[22] ГАРФ. Ф. 9396. Оп. 13. Д. 29. Л. 92.

[23] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 64. Л. 119, 121.

во всех высших учебных заведениях. Так, в 1949 г. из МГУ был уволен профессор кафедры истории И. М. Разгон и профессор кафедры учета и статистики экономического факультета Б. Ц. Урманис. Причина увольнения последнего было — «низкое идейно-политическое содержание лекций, выразившееся в восхвалении буржуазного статистического учета и принижение деятельности советской статистической науки».[24] Репрессиям чаще всего подвергались наиболее авторитетные, опытные научно-педагогические работники. Среди них были люди с дореволюционным стажем, выпускники известных европейских вузов. Это, например, А. З. Александров, заведующий кафедрой политической экономии Московского педагогического института, окончивший в 1918 г. Сорбонну, М. Я. Катунский, окончивший Цюрихский университет и работавший в Московском химико-технологическом институте мясной промышленности[25].

При этом партийные органы якобы не вмешивалось в дела в конкретных вузах. Так, «чистка» МГУ от «чуждых элементов», увольнения преподавателей производились якобы по инициативе администрации вуза. Между тем имеются сведения об устной директиве ЦК партии и Министерства высшего образования о переводе ряда преподавателей из МГУ в другие вузы.[26]

Профессор С. С. Дмитриев в своих дневниках так передает атмосферу в среде интеллигенции высшей школы тех лет: «Людьми все более овладевает чувство неуверенности во всем. <…> Все ценности продолжают переоцениваться, все смещается и сдвигается, грозя оставить пустое место в итоге такого хаотического мыслетрясения и людотрясения»[27].

Как было сказано выше, после августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г., с одобрения И. В. Сталина и ЦК ВКП(б) в биологии восторжествовала лысенковщина[28]. Это означало, что пересмотрены были планы преподавания в университетах и институтах, прекращены исследовательские работы по генетике, закрыты неугодные биологические журналы, многие ученые-генетики (включая крупнейших) лишились работы, их печатные труды были изъяты из библиотек, их идеи стали запрещенными. Но, главное, началась «перетряска» кадров биологов. После проведенных ЦК партии и Министерством высшего образования проверок руководящего и профессорско-преподавательского состава биологических факультетов и кафедр страны были освобождены от работы как «последователи антимичуринского направления» 127 человек, из них 67 докторов наук, профессоров, 50 — кандидатов наук, доцентов, 10 — преподавателей[29]. Среди снятых с работы были и представители вузов Центрального района России.

---

[24] ГАРФ. Ф. 9396. Оп. 13. Д. 29. Л. 225, 224.

[25] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д.209. Л. 14, 17.

[26] Там же. Л. 230.

[27] Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева // Отечественная история. 1999. № 3. С. 146.

[28] Термином «лысенковщина» в истории естествознания обозначаются одиозные антинаучные идеи, ставшие следствием партийного и правительственного покровительства взглядам Т. Д. Лысенко, О. Б. Лепешинской и их сторонников. Т. Д. Лысенко (1898 — 1976 гг.) отрицая классическую генетику как буржуазную «лженауку», он утверждал возможность наследования приобретенных признаков («перерождение» из одного вида в другой). В результате этой борьбы были разгромлены научные школы в генетике. См., напр.: *Эфроимсон В. П.* О Лысенко и лысенковщине // ВИЕТ. 1989. № 9; Ярошевский М. Г. Сталинизм и судьбы советской науки //Репрессированная наука. /Ред. М. Г. Ярошевский. М., 1991. С. 9 — 33.

[29] ГАИО. Ф. П — 327. Оп. 8. Д. 1337. Л. 80.

Местные партийные органы начали проверки в медицинских и педагогических вузах. На преподавателей были составлены целые «досье».

Целенаправленно «били» по самым квалифицированным кадрам. С 1947 по 1952 г. количество профессоров в вузах СССР сократилось на 600 чел или на 10 %.[30] Во многих вузах не осталось ни одного профессора. Цель — если не физическое, то интеллектуальное уничтожение научной элиты во многом была достигнута.

В поле зрения контролирующих органов с конца 1940-х годов все чаще стали попадать преподаватели-евреи. Всплеск антисемитизма был связан с проамериканской ориентацией вновь образованного государства Израиль, что вызвало негативное отношение органов власти ко всем евреям. Началась борьба с «безродными космополитами», отличавшаяся от предыдущей кампании против «низкопоклонства» более суровыми наказаниями. В ходе нее потеряли работу многие видные ученые 2-го Московского медицинского института — академик Штерн, профессор Этингер, доцент Гернер и другие[31]. Из Ивановского медицинского института летом 1949 года были уволены профессора и доценты А. Д. Бернштейн, А. А. Эпштейн, Я. Ф. Бродский, Э. Р. Геллер, С. С. Мазель[32]. Профессор В. М. Сухарев, начинавший в те годы работу в Ивановском медицинском институте, вспоминал, что с уходом этих преподавателей без научных руководителей остались аспиранты, «идейно выдержанной» стала тематика научно-исследовательских работ ученых и студентов.

Из всех областных центров исследуемого региона, судя по архивным документам, наиболее масштабные проверки прошли в Иванове, где было много высших учебных заведений, а партийные кадры отличались исполнительностью. Кроме того, сюда, «за 101 километр», еще до Великой Отечественной войны высылалась столичная интеллигенция. Покинув Москву, она не утратила «столичной интеллигентности», что проявлялось как в профессиональной деятельности, так и в образе жизни. Немало вузовской интеллигенции приехало сюда, поближе к Москве, к родным, после отбывания срока незаслуженного наказания. Они рассматривали свое пребывание здесь как явление временное, но для большинства оно стало постоянным. К таким вынужденным переселенцам относилась, например, семья Р. А. Кауля и Л. В. Венкстерн, коренных москвичей, высланных в годы войны из Москвы, т. к. глава семьи был по национальности немец. По воспоминаниям его жены, выпускницы МГУ, историка Л. В. Венкстерн, Р. А. Кауля взяли на работу в Ивановский энергетический институт, т. к. вуз был не идеологический, а кадров, тем более высокой квалификации, не хватало. Самой Л. В. Венкстерн, которая устроилась на работу в педагогический институт, приходилось сложнее, но безупречное знание предмета, дефицитная для Иванова специализация по западноевропейскому средневековью позволили ей работать по призванию. Но жизнь на новом месте была сложной. В своих воспоминаниях, изданных «самиздатом» детьми Л. В. Венкстерн и Р. А. Кауля, Лидия Владимировна писала о своем страстном желании увидеть родных, оставшихся в Москве. Иногда она нарушала подписку о невыезде в Москву. Надвинув

[30] РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Д. 475. Л. 15.

[31] Советский медик / 2-й Московский мед. ин-т. 1949. 10 марта.

[32] Костина М. А. Партийно-государственная политика по развитию высшего и среднего специального образования в послевоенный период, 1945–1956 годы (На материалах Верхнего Поволжья). Дис. ...канд. ист. наук. Иваново, 1994. С. 94.

шляпку на глаза, подняв воротник пальто, она в последнюю минуту садилась в поезд, и с замиранием сердца ехала в Москву.[33]

Между тем, к 1950 г. 163 из 802 преподавателей вузов города Иванова были причислены к «несоответствующим требованиям высшей школы». Среди них были такие опытные преподаватели, талантливые ученые, как профессора С. Н. Берлин, И. И. Заславский, А. А. Спрысков, доценты Б. В. Манцывода, Н. С. Сорокин, знаменитый боксер-тяжеловес, преподаватель кафедры физкультуры С. А. Александровский и другие.

В январе 1950 г. прошло бюро Ивановского обкома партии, которое обсудило вопрос «О мерах по устранению недостатков в подборе профессорско-преподавательских кадров в вузах и техникумах г. Иванова». Было признано, что работа с кадрами в вузах ведется неудовлетворительно, потому, что «нарушается большевистский принцип подбора кадров». Одним из доводов был «список профессоров и преподавателей вузов г. Иванова, не отвечающих требованиям высшей школы»[34]. В качестве причин «несоответствия» назывались: национальность (немец), социальное происхождение (из дворян, духовенства), репрессии к членам семьи (ст. 58 или лишение избирательных прав) и т. д. Чем же *в действительности* «пугали» эти, в основном уже пожилые, люди местные органы власти? Анализ архивных документов, воспоминаний современников приводит к выводу, что никто из преподавателей Центрального района России, уволенных или резко критикуемых в конце 1940-х — начале 1950-х гг., *не выступал против Советской власти.* Более того, большинство из них активно выражали свою поддержку политического режима, принимая участие в массовых политических мероприятиях, некоторые были членами партии, другие хотели вступить в ее ряды. Однако это были люди, выделявшиеся из общей массы преподавателей широтой эрудиции, высоким профессионализмом, порядочностью. Другими словами, это были представители подлинной интеллигенции. Их жизнь на основе общечеловеческих ценностей была примером *нравственного служения* народу. Они не «вписывались» в жестко очерченные классовые нормы поведения и представляли тем самым опасность для существующего режима. Надо также иметь в виду, что все их действия и высказывания носили не умозрительный, а конкретно-научный характер. Все они были специалистами высочайшего уровня. Сделанные ими *не политические, а профессиональные* выводы о той или иной научной теории, не совпадающие с официальным мнением, будоражили общественное сознание.

Пик борьбы с космополитизмом приходится на 1950–1953 гг. Как уже отмечалось выше, она стимулировалась «холодной войной» и действительно недружественными акциями западных держав по отношению к СССР, наиболее ярким проявлением которых было создание НАТО (1949 г.). В ответ на это в Советском Союзе не только ускоряется разработка оружия массового поражения, но и усиливается идеологический контроль. В январе 1950 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о применении смертной казни «к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-

---

[33] Будучи студенткой исторического факультета Ивановского государственного университета, в 1974 г. Автор данной статьи училась у Л. В. Венкстерн. Весь наш курс был покорен эрудицией, деликатностью, скромностью этой хрупкой, изящной женщины, с уважением и любовью относящейся к нам, студентам. Тогда мы ничего не знали о ее судьбе.

[34] ГАИО. Ф. П — 327. Оп. 8. Д. 1216. Л. 86.

диверсантам», а в сентябре уже были вынесены смертные приговоры Н. А. Вознесенскому, А. А. Кузнецову, М. И. Родионову и другим обвиненным по «ленинградскому делу». В октябре 1952 г. прошел XIX съезд Коммунистической партии, на котором дальнейшее развитие получили идеи И. В. Сталина об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма и повышении в этих условиях политической бдительности. Так, Г. М. Маленков в отчетном докладе ЦК ВКП(б) съезду партии сказал: «У нас еще сохранились остатки буржуазной идеологии, пережитки частнособственнической психологии и морали. Эти пережитки не отмирают сами собою. Они очень живучи, могут расти, и против них надо вести решительную борьбу. Мы не застрахованы от проникновения к нам чуждых взглядов, идей и настроений извне, со стороны капиталистических государств, и внутри, со стороны недобитых партией остатков враждебных советской власти групп»[35]. Исходя их этих положений, местные и первичные партийные организации делали вывод о том, что необходимо «повышать политическую бдительность» в высших учебных заведениях. В результате началось «выправление» тематических планов занятий, экзаменационных билетов, стенографирование лекций и семинаров, проверка конспектов, обсуждение преподавателей во всех вузах региона исследования. По итогам проверок принимались такие, к примеру, решения: «Доцент Каплин Н. И. прочитал лекцию о пастбищном содержании животноводства на слабом идейном уровне»; «Лекции профессора Ярославцева П. Ф., доцента Балуева В. К. при вполне удовлетворительном теоретическом уровне имеют недостатки со стороны партийного уровня» (Ивановский сельскохозяйственный институт, 1950 г.)[36]. На заседании ученого совета физико-математического факультета Московского педагогического института им. В. И. Ленина были раскритикованы докторские диссертации Б. Т. Гейликмана и А. А. Мейера за то, что «в работах большое количество иностранных источников, мало идеологии», кандидатские диссертации И. А. Ионисяна и И. И. Рогачева («полностью опущены идеологические вопросы»).

Контролировалось все: не только тексты лекций, рабочие программы, темы кандидатских диссертаций, но даже списки рекомендованной студентам литературы. Так, директору Всесоюзного заочного финансового института было указано, что в список художественной литературы, рекомендованной для изучения студентам, недопустимо включать книги представителей буржуазной идеологии: Золя, Бальзака, Лондона, а также «незначительные и низкие по качеству» произведения Безыменского, Гроссмана и др.».[37]

Суровой критике за «идеализм» были подвергнуты труд профессора Е. М. Лифшица «Курс теоретической физики», написанный им совместно с Л. Д. Ландау и монография по атомной физике профессора Э. В. Штольского[38]. Забегая вперед, считаю необходимым отметить, что критикуемые в начале 1950-х годов научные работы впоследствии по заслугам были оценены не только научной общественностью, но и со-

---

[35] Ленинец / Московский пед. ин-т. 1953. 14 апр.

[36] ГАИО. Ф. 2054. Оп. 10. Д. 345. Л. 6.

[37] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 192. Л. 357. Текст письма был подготовлен зам. зав. Сектором науки и учебных заведений ЦК ВКП(б) Л. Мазуром. У писателей, кроме Д. Лондона и Э. Золя не указаны инициалы. Интересно, это знак неуважения к авторам или элементарная безграмотность писавшего?

[38] Ленинец / Московский пед. ин-т. 1953. 31 марта.

ветским правительством. Так, в 1961 г. Президиум АН СССР присудил профессору Э. В. Штольскому золотую медаль им. Н. И. Вавилова. Эта награда вручается один раз в три года за выдающиеся успехи в области физики[39]. Однако в начале 1950-х в высших учебных заведениях нагнеталась атмосфера напряженности, неуверенности преподавателей в своих силах, сознание непрочности своего положения. Это создавало условия для проявления у части научно-педагогических работников таких негативных свойств, как продвижение по служебной лестнице путем унижения или отстранения от работы конкурентов, эгоизм, чванливость. Чаще всего такими чертами обладали люди низкого профессионального уровня, узкого кругозора. При этом надо иметь в виду, что уровень квалификации ученого определяется не столько научной степенью и должностью, сколько наличием интеллектуально-духовного багажа. Так, на вышеупомянутом физико-математическом факультете Московского педагогического института им. В. И. Ленина были желающие «изучить состояние идеологической лекционной и научной работы» своих более именитых коллег[40]. Некоторые преподаватели в «борьбе с космополитизмом» шли даже дальше партийных идеологов. Так, профессор 2-го Московского медицинского института И. И. Рогозин предложил пересмотреть медицинскую терминологию, заменив иностранные термины русскими[41]. Примеры угодничества перед администрацией, доносительства на своих коллег-«космополитов» встречаются и в других институтах исследуемого региона. Наиболее тяжелая обстановка была в медицинских и педагогических институтах. В первых — из-за гонения на генетику и насаждения «лысенковщины», а во вторых — так как подготовка учителей как кадров, занимающихся воспитанием подрастающего поколения, всегда находилась под особым контролем партийных органов. Не все выдерживали подобную «политическую трескотню и блудословие» (С. С. Дмитриев), некоторые могли замкнуться и промолчать, особенно когда посредственные в научном плане личности доказывали научную несостоятельность крупных ученых. Известный историк, профессор МГУ С. С. Дмитриев в своем дневнике пишет о трагедии, произошедшей в Иванове. Здесь «покончила жизнь самоубийством Нина Разумовская. Обстоятельства будто бы были такие: в Ивановском педагогическом институте, где она преподавала, обсуждался вопрос о космополитах в исторической наук. Громили Н. Л. Рубинштейна[42] за историографию. <…> Разумовская вступилась за Рубинштейна. Тогда ее так «проработали» всем собранием, что, придя домой, она повесилась. <…> Это была способная к научной работе девушка (25 лет). Защитила на истфаке МГУ диссертацию»[43]. Перед смертью она написала записку: «Я ничего не имею общего с космополитизмом»[44]. Подобных трагических случаев я больше не знаю, однако очевидно, что атмосфера в высших учебных заведениях была очень напряженной.

---

[39] Там же. 1961. 22 марта.

[40] Там же. 1953. 31 марта. В большой (2 страницы) статье, посвященной серьезным недостаткам в работе партийной организации физико-математического факультета Московского педагогического института им. В. И. Ленина, приводятся фамилии проверяющих и критикующих.

[41] Советский медик / 2-й Московский мед. ин-т. 1949. 31 марта.

[42] Н. Л. Рубинштейн — профессор МГУ, историограф. Был обвинен в космополитизме и уволен с работы.

[43] Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева // Отечественная история. 1999. № 3. С. 159.

[44] *Венкстерн Л. В.* Указ. соч. С. 127.

Трагично сложилась и судьба преподавателя Ивановского педагогического института, заведующего кафедрой иностранных языков, участника Великой Отечественной войны Бориса Леонидовича Манциводы. В Иваново он вернулся после плена в Бухенвальде. Здесь он женился, начал писать диссертацию. Семья материально жила трудно, но, по воспоминаниям его жены, дружно, работали без отдыха. Однако счастье в личной и профессиональной жизни длилось для Б. Л. Манциводы недолго. В письме его жены Г. А. Бурмистровой, хранящимся в музее истории Ивановского государственного университета, написано, что 31 августа 1950 г. Бориса Леонидовича, возвращавшегося из Москвы с семинара, арестовали прямо на вокзале на ее глазах. За плен его осудили на 25 лет с конфискацией имущества. В это время Г. А. Бурмистрова сдала два кандидатских экзамена. Студенты и коллеги были внимательны. Но, тем не менее, администрация была вынуждена ее уволить, так как она была «женой врага народа» и не имела права работать в вузе. [45]

Не смог связать свою судьбу с Ивановским педагогическим институтом молодой кандидат наук, прибывший из Москвы, А. П. Каждан. Он отличался большой эрудицией, склонностью к широким научным обобщениям, самостоятельностью суждений. «Он даже позволял себе не согласиться с точкой зрения заведующего кафедрой, что у нас было не принято, — вспоминали его коллеги. — Свобода мнений. Свобода рассуждений решительно отличали его от нас. … От его высказываний веяло каким-то свежим ветром, позволяющим думать и рассуждать, а не только следовать указаниям учебников, одобренных и принятых ЦК партии в качестве учебных пособий для педагогических институтов». Однако столь явная самостоятельность мышления не поощрялась. И однажды он допустил «…ужасную политическую оплошность — он сказал, что Ленину, как всякому человеку, свойственно ошибаться и что он допускал ошибки. В те годы такое заявление не могло не произвести впечатления разорвавшейся бомбы. … А потом было то, что и должно было последовать за такой «крамолой»: «состряпали дело» и талантливого молодого ученого прогнали, уволили».[46]

Не долго проработал в Ивановском педагогическом институте и Яков Осипович Зунделович. Он родился в 1893 г. Учился во Франции, на «ура» принял революцию 1917 г. и приехал в Москву. Здесь он начал преподавать в Литературно-художественном институте и Высших литературных курсах, был близко знаком с В. Брюсовым. В 1933–1935 гг. в звании профессора он читал лекции по русской и зарубежной литературе в Московском институте философии, истории и литературы, а в последние перед арестом годы становится деканом сценарно-режиссерского факультета ВГИКА, много переводит с польского, немецкого и французского языка. В ночь с 4 на 5 ноября 1937 г. Яков Осипович был арестован и впоследствии осужден по ст. 58 п. 10 на 10 лет. Однако в 1943 г. в связи с тяжелой болезнью он был освобожден (отпустили умирать). Но дочь выходила его и через некоторое время не без труда ему удалось устроиться на работу в Ивановский педагогический институт. Однако и здесь в период борьбы с космополитизмом он задержаться не смог и вынужден был уехать в Самарканд. В музее истории Ивановского педагогического института есть небольшая, изданная его дочерью, книжечка его стихов. На мой взгляд, образным языком поэзии этому

[45] Ивановский государственный университет глазами современников. Вып. 1. С. 75.

[46] Там же. С. 76.

много повидавшему и перенесшему человеку удалось передать трагизм советской интеллигенции, ее неиссякаемую надежду и способность к самосохранению в самые тяжелые времена.[47] Вот, например, стихотворение, написанное им в далеком Самарканде в 1949 г.

«Я — человек, мне даже в мире тесно,
И пусть, как пес, я загнан в конуру –
Я все-таки никак не заору
Псарям и псам хвалебной песни.
Осенне-слякотный стоит февраль:
Как я хочу прозрачно-колкой стужи!..
Ошейник свой я затяну потуже
И буду спать от утра до утра.
Спать для псаря… Я буду ночью выть.
На зов его едва плестись блудливо,
И с хищной дрожью запахи ловить
Неотвратимого весеннего разлива».[48]

В технических вузах «борьба с космополитизмом» велась менее рьяно. Дело чаще всего ограничивалось здесь составлением списков преподавателей, «не отвечающих требованиям высшей школы». Однако не все научно-педагогические работники, попавшие в них, подвергались увольнению. Связано это было в первую очередь с тем, что содержание преподавания специальных дисциплин проконтролировать было труднее. Изучение протоколов заседаний кафедр Ивановских энергетического, химико-технологического и текстильного, Рязанского радиотехнического, Ярославского политехнического институтов за 1945–1953 гг. приводят к выводу, что в них на первом месте всегда стояли вопросы организации учебной и воспитательной работы. Здесь обсуждались посещенные лекции и практические занятия, вопросы успеваемости, проведения производственной практики, анализировались причины неудовлетворительных знаний студентов, и т. д.[49] Анализ протоколов заседаний специальных кафедр в этих институтах показывает, что обычно в выступлениях заведующих кафедрами преподавателям давались рекомендации по использованию в лекционном материале наследия русских ученых и инженеров, что воспринималось ими спокойно, как один из рабочих моментов. В Ивановском государственном архиве сохранились стенограммы лекций по специальным дисциплинам, читаемым в вузах г. Иванова. Их изучение показывает, что материал о советской науке давался взвешенно, в контексте содержания изучаемой темы. Преподаватели кафедры теоретических основ теплотехники (ТОТ), к примеру, во вступительной части всех курсов делали краткий обзор достижений советских и русских ученых и инженеров[50]. Далее в изложении материала присутствовали имена выдающихся ученых и изобретателей мира. Таким образом, требования партии и правительства об изучении достижений русской и со-

---

[47] Материалы музея ИвГУ.

[48] *Зунделович Я. О.* Стихи разных лет. Екатеринбург, 1993. С. 75.

[49] РГАНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 68. Л. 45; Оп. 133. Д. 192. Л. 222; ГАИО. Ф. 318. Оп. 15. Д. 101. Л. 4–123; Д. 51. Л. 2–168; Д. 322. Л. 3–43: ГАРО. Ф.П — 3. Оп. 4. Д. 237. Л. 194 и др.

[50] ГАИО. Ф. 318. Оп. 15. Д. 101. Л. 9.

ветской науки соблюдались, но без ущерба для учебного процесса. Нельзя сказать, что технические вузы были полностью изолированы от научной мысли стран Европы и Америки. В отчетах библиотек инженерно-технических институтов сообщается, что они ежегодно получали книги и журналы по техническим специальностям на иностранных языках, реферативные сборники, с которыми могли познакомиться как преподаватели, так и студенты. Иностранная литература использовалась при подготовке дипломных работ и в процессе изучения иностранного языка. Схожая ситуация была и в столичных институтах, осуществлявших подготовку инженеров[51]. Следовательно, можно заключить, что борьба с космополитизмом в технических высших учебных заведениях не нанесла научному и учебному процессу такого урона, как в педагогических, медицинских и сельскохозяйственных институтах. Поэтому общепринятое мнение о том, что «насаждалось пренебрежительное отношение к достижениям научно-технической мысли зарубежных стран, догматизм, цитатничество… в любой отрасли научного знания», искаженное изложение материала о развитии науки и техники[52], базирующееся на отчетных материалах центральных органов власти, требует уточнения и корректировки для вузов различного профиля. Нельзя, на мой взгляд, согласиться и с выводами В. С. Балакина и Б. И. Илькевича о том, что «господствующая моноидеология подчиняла личные образовательные интересы государственным и общественным…»[53], что привело к исчезновению тонкого слоя подлинной интеллигенции. Реальная ситуация в конкретных вузах была намного сложнее и противоречивее.

Среди вузовской администрации не редки были люди, которые, соблюдая «правила игры», не возражая против официальной линии, направленной на «борьбу с низкопоклонством перед Западом» и «чистоту рядов преподавателей высших учебных заведений», пытались сохранить стабильные преподавательские кадры и пополнить их квалифицированными работниками. Так, в Рязанском педагогическом институте в 1950/51 учебном году не было рассмотрено ни одного персонального дела, не была обсуждена работа ни одной кафедры, на партийном комитете ни разу не были поставлены вопросы о борьбе с космополитизмом[54]. В этом же учебном году директор Ивановского государственного медицинского института П. П. Ерофеев принимал на работу новых преподавателей, несмотря на недостаточную «чистоту» их анкетных данных (имели связи с заграницей, репрессированных родственников и т. д.). К сожалению, такой подход привел к тому, что сам П. П. Ерофеев был снят с занимаемой должности. В марте 1953 г. по указанию обкома партии в институте было проведено собрание партбюро с единственным вопросом — о подборе, расстановке и воспитании кадров. На нем П. П. Ерофеев был подвергнут резкой критике, граничащей с травлей. В постановлении бюро обкома указывалось: «…за нарушение партийных принципов в деле подбора, расстановки и воспитания кадров, за политическую бес-

---

[51] См., напр.: *Костомаров В. М.* О партийности преподавания в высшей школе // Вестн. высш. шк. 1949. № 5.

[52] История России: Новейшее время, 1945–1999: Учеб. для вузов / Под ред. А. Б. Безбородова. М., 2000.

[53] *Илькевич Б. В.* Аксиологический и целевой аспекты военного образования // Педагогика. 2001. № 8. С. 33. См. также: *Балакин В. С.* Отечественная наука в 50-е — середине 70-х годов XX века: (Опыт изучения социокультурных проблем). Челябинск, 1997.

[54] ГАРО. Ф. П — 3. Оп. 4. Д. 237. Л.194.

печность, проявленную в руководстве институтом, П. П. Ерофеева с работы снять… Обязать дирекцию и партийное бюро вуза обеспечить воспитание профессоров, преподавателей и всех сотрудников института в духе преданности партии и государству…»[55]. П. П. Ерофеев был 16-м директором, сменившимся за 16 лет в этом вузе.

Не вмешивался в учебный и научный процесс и секретарь партийного комитета физико-математического факультета Московского государственного института им. В. И. Ленина Е. А. Щегольков. Его позиция заключалась в том, что «в физике очень много спорного, не устоявшегося, поэтому нам вмешиваться нет смысла»[56]. К сожалению, не всегда администрация институтов могла защитить своих преподавателей (да и себя тоже!).

Таким образом, в конце 1940-х — начале 1950-х гг. в высших учебных заведения Центрального района России, так же как и в целом в СССР, властными органами целенаправленно создавалась атмосфера неуверенности и страха — с целью устранения не только реального, но и потенциального инакомыслия. Частично это удалось сделать. Из университетов и институтов были уволены многие крупные ученые, талантливые педагоги. Прекратились научные исследования по перспективным направлениям науки, в первую очередь по генетике, кибернетике, экономике. Тем самым искажался смысл интеллектуальной деятельности, которая стала оцениваться официальными структурами не по научным, а по идеологическим критериям. В этих условиях научно-педагогической интеллигенции для того, чтобы сохранить возможность заниматься любимым делом, иметь средства к существованию, приходилось *приспосабливаться* к существующей обстановке, признавать истинными заведомо ложные научные положения. Или, другими словами, идти на компромисс с собственной совестью. Так, некогда интересные лекции кандидата исторических наук Ивановского педагогического института Н. Н. Мордвишина стали сухими, схематичными, без «выхода» за рамки традиционного, утвержденного в программах материала[57]. Нельзя без сердечной боли читать покаянные речи маститых профессоров Ивановского медицинского института, оправдывавшихся перед партийным собранием или заседанием ученого совета института в том, что они «медленно внедряют в учебный процесс учение Т. Лысенко»[58]. Покаявшиеся и признавшие свои «ошибки» деятели науки и культуры «прощались», за ними сохранялись занимаемые должности. Так, И. Э. Грабарь «раскаялся» в том, что «примирительно относился к формалистическому направлению в искусстве и недооценивал рол актуальных высокоидейных художественных произведений», а академик В. В. Виноградов в том, что он «…отстаивал отжившие традиции русской дореволюционной лингвистики и проповедовал чуждые советской науке теории структурализма».[59] В результате приказ об их выведении из состава ВАК при МВО СССР был отменен.

Как оценить такое поведение вузовских работников? Сервилизм, угодничество? На первый взгляд — «да». Однако выбор большей частью научно-педагогической интеллигенции между компромиссом и отстаиванием научной истины в пользу первого нельзя рассматривать прямолинейно. Для многих это было средством выживания. Бла-

---

[55] ГАВО. Ф. П — 327. Оп. 9. Д. 634. Л. 7.

[56] Ленинец / Московский гос. пед. ин-т. 1953. 3 марта.

[57] Ивановский государственный университет глазами современников: Вып. 2. С. 15

[58] ГАИО. Ф. П — 561. Оп. 1. Д. 91. Л. 90, 97.

[59] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 210. Л. 39–40, 42.

годаря этому выбору в тяжелые годы идеологических кампаний и открытых репрессий против ученых, мнение которых выходило за рамки официальных установок, сохранилась основная масса научно-педагогической интеллигенции. В работах С. А. Красильникова впервые был сделан вывод о компромиссе как средстве «устранения угрозы и конфликтов»[60]. Действительно, нельзя не согласиться с тем, что «принятие и следование утвердившимся в обществе нормам и ценностям является необходимым аспектом социализации личности, слоя, группы и становится предпосылкой и условием функционирования той или иной социальной системы»[61]. Подобная трактовка конформизма объясняет политическую лояльность работников высшей школы, которые, находясь на службе у государства, не могли выходить за рамки официальных предписаний. Однако стремление к самосохранению не должно преступать определенных границ. Вероятно, ни при каких условиях интеллигенция не должна поступаться такими принципами, как научная и человеческая честность и порядочность. Отказ от них, а также доносительство, эгоизм, карьеризм, неразборчивость в средствах выводят обладателей этих свойств личности за пределы интеллигенции. В этой связи глубокого уважения заслуживают те преподаватели высшей школы, которые и в период идеологических кампаний конца 1940-х — начала 1950-х гг. были верны научной истине. В процентном отношении их количество вычислить сложно, но научно-педагогические работники, которые продолжали защищать «реакционное» учение Менделя открыто, как это сделала, например, доцент Рязанского педагогического института Поплавская, заявляя, что «правила Менделя существуют объективно, и эти правила надо излагать студентам как правила, отражающие закономерности, существующие в природе»[62], были практически во всех высших учебных заведениях исследуемого региона. Многие из них, подобно доценту Ивановского педагогического института В. С. Сорокину, который в теме «Солнце» основное внимание обращал на солнечную энергию и ее источник, а не на «критику реакционных толкований связи солнечной деятельности с геофизическими процессами и успехами физики в СССР», были освобождены от занимаемой должности[63]. Однако они «задавали тон», создавали в вузах особую атмосферу порядочности и научной честности. Такие яркие, неординарно мыслящие преподаватели пользовались уважением и поддержкой своих коллег. Так, например, на ученом совете Рязанского сельскохозяйственного института в 1951 г. было рассмотрено персональное дело доктора наук, профессора Н. Н. Левитова. Он обвинялся в «проповеди в институте антинаучных идеалистических взглядов» — то есть он излагал студентам материал в соответствии со научными, а не идеологическими принципами. Он оказался не одинок. Некоторые из его коллег, в частности профессора Королев и Колесник, не поддержали решение партийного бюро об исключении Н. Н. Левитого из института[64].

Подобные факты имели место и в других институтах Центрального района России.

---

[60] *Красильников С. А.* Конформизм российской интеллигенции как социальная ценность в XX веке: (Дискуссионные заметки) // Интеллигенция России в конце XX века: система духовных ценностей в исторической динамике. Екатеринбург, 1998. С. 42.

[61] Там же.

[62] ГАРО. Ф. П — 3. Оп. 4. Д. 237. Л. 183.

[63] Личное дело В. С. Сорокина (Музей истории Ивановского государственного университета).

[64] ГАРО. Ф. П — 3. Оп. 4. Д. 240. Л. 153.

4. Преподаватели высшей школы: интеллигенты или «образованцы»?

Приведенные выше материалы о судьбах научно-педагогической интеллигенции Центрального района России позволяют сделать вывод, расходящийся с типичным для историографии 1990-х гг. суждением о «гибели» интеллигенции в Советской России, о том, что она «срослась с аппаратом власти, служит только ему»[65]. По имеющимся в нашем распоряжении данным, несмотря на идеологические кампании конца 1940-х — начала 1950-х гг., тонкий слой подлинной интеллигенции в вузах исследуемого региона сохранился. В то же время у части работников высшей школы начала формироваться двойная мораль, то есть различное, в зависимости от ситуации, отношение к одним и тем же фактам и событиям и конформизм, выражавшийся в приспособлении личных идеалов и ценностей к идеологическим установкам эпохи. Деформации нравственных устоев части научно-педагогической интеллигенции, естественно, сказались на образовательной среде высших учебных заведений и на учебном процессе. Однако старое убеждение научно-педагогической интеллигенции в том, что «только в утверждении, в работе, в борьбе есть смысл жизни», что «человек, чтобы жить, должен стоять выше жизни», что «повседневную жизнь можно вести, только имея свою «высь», свою «царицу», свой «идеал»»,[66] привело к тому, что большинство преподавателей старались уйти от политики в науку, учебную деятельность, чтобы сохранить себя, подготовить себе смену.

Как свидетельствуют архивные документы, в первую очередь годовые отчеты институтов, научно-педагогические работники очень тщательно относились к подготовке лекционного курса. Содержание лекций, методика их проведения, использование в них новейшей литературы регулярно обсуждались на заседаниях ученых советов, кафедр, партийных собраниях во всех вузах Центрального района России. Так, например, ректором Брянского лесохозяйственного института в январе 1946 г. был издан приказ об усилении внимания к учебному процессу. После этого на каждой кафедре были разработаны соответствующие мероприятия. В соответствии с ними каждый лектор один экземпляр конспекта лекции должен был в день ее прочтения сдавать на кафедру для сотрудников и студентов. До начала идеологических кампаний такой порядок не снижал возможности для свободы творчества преподавателей, он в какой-то мере был оправдан в условиях отсутствия учебников. Кроме того, таким образом повышалась значимость лекций и ответственность преподавателей за их подготовку. На кафедрах и в кабинетах были образцы контрольных, графических и других видов самостоятельных работ, списки обязательной и дополнительной литературы.[67] Много внимания совершенствованию учебного процесса уделялось в Ивановском энергетическом и Ярославском медицинском институтах. Учитывая положительный настрой студентов на учебу, администрация в буквальном смысле слова открывала двери института для жаждущих знания юношей и девушек, по возможности обеспечивая их всем необхо-

---

[65] *Геллер М.* Машина и винтики: История формирования советского человека. М., 1994. С. 247. См. также: Петров Н. Б. Гуманитарная интеллигенция в общественно-политических процессах послевоенного времени: служение народу или борьба за выживание? // Российская интеллигенция: XX век: Тез. докл. науч. конф. Екатеринбург, 1994. С. 106, 107.

[66] Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева // Отечественная история. 1999. № 4. С. 119.

[67] ГАРФ. Ф. А. — 605. Оп. 1. Д. 127. Л. 160.

димым в условиях послевоенного дефицита. Студентам выдавался ватман, тетради, ручки и карандаши. Институтские аудитории никогда не закрывались, и студенты часто группами выполняли домашние задания прямо в институте. Студенты, как правило, приходили в вуз к 9 утра, а домой возвращались поздно вечером. Для студентов-дипломников технических вузов выделялись специальные аудитории, где у каждого был свой стол и кульман. В этих аудиториях дежурили преподаватели-консультанты, которые всегда готовы были придти на помощь студентам[68].

Полагаю, позитивной оценки заслуживает внимание преподавателей специальных кафедр к формированию мировоззрения будущей интеллигенции в процессе учебы. В инженерно-технических вузах региона исследования проводилось всестороннее изучение этого вопроса. Как свидетельствуют дискуссии на заседаниях специальных кафедр Ивановского энергетического и Московского энергетического институтов, не все преподаватели представляли, как в процессе изучения физики или теоретической механики проводить воспитательную работу. Иногда вопрос решался прямолинейно — через рассказ о советских ученых. Но чаще всего преподавателям удавалось не просто объяснять учебный материал, но и показывать его значение для нужд страны, общества[69]. Так, Ивановском медицинском институте во время лекций преподаватели постоянно проводили мысль о гуманности профессии врача, о нравственном долге, подвижничестве медицинского работника, призванного всегда и везде быть готовым придти на помощь человеку, облегчить его боль. Положительной оценки заслуживает практикуемая здесь «слитность всех звеньев учебного процесса: лекций, упражнений, домашних заданий, лабораторных работ, курсового проектирования и производственной практики»[70]. В Московском и Ивановском энергетических, Тульском торфяном институте неоднократно внимание студентов обращалось на важность учета в процессе производственной деятельности экологических факторов, на умение работать не только с механизмами, но и с людьми[71].

Для достижения этой цели в вузах практиковались регулярные межкафедральные и факультетские методические совещания, посещения лекций по техническим специальностям преподавателями-гуманитариями и наоборот. Такая форма работы не всегда положительно воспринималась, так как занимала дополнительное время, а лекции порой были непонятны. Однако объективно это создавало условия для роста методического мастерства преподавателей, междисциплинарных связей.

Анализ архивных документов свидетельствует, что в вузах Центрального района России в конце 1940-х — начале 1950-х гг. работали преподаватели, способные создать вокруг себя атмосферу творчества и подвижничества. Одним из них был доцент Ивановского педагогического института В. С. Сорокин. Выпускник Ленинградского политехнического института, работавший после его окончания с Ландау, Семеновым, Зельдовичем, он попал в Иваново в 1942 году после тяжелого ранения и проработал здесь с некоторыми перерывами до 1968 года. Он был великолепным преподавателем. Его воздействие на

---

[68] ГАИО. Ф. 318. Оп. 9. Д. 259. Л. 14; Д. 314. Л. 15; ЦДНИЯО. Ф. 801. Оп. 9. Д. 259. Л. 14; Д. 314. Л. 15; Д. 233. Л. 15.

[69] ГАРФ. Ф. 9396. Оп. 6. Д. 18. Л. 56, 264.

[70] ГАИО. Ф. 561. Оп. 1. Д. 83. Л. 1,6,7; Д. 108. Л. 10.

[71] Там же. Л. 7; ГАРФ. Ф. 605. Оп. 1. Д. 2690. Л. 41, 61–62.

окружающих проявлялось во всем. Лекции его читались «на одном дыхании, вдохновенно». Студенты хорошо знали материал, не пропускали занятия. Л. Н. Маурин, выпускник МГУ, в тот период начинающий преподаватель, пораженный его мастерством, попросил поделиться «секретами» педагогического труда: «Рецепт Учителя был прост: следует готовиться не к отдельным лекциям, а по всему читаемому курсу; как симфонию — по Моцарту, нужно уметь слушать весь курс сразу, в одно мгновение»[72]. Однако, с точки зрения контролирующих инстанций, его лекции «не соответствовали программе Министерства высшего образования». Неизгладимое впечатление на студентов и преподавателей оказывала личность В. С. Сорокина. Жизнь вокруг него, по словам его учеников, «была насыщена творчеством, мыслью». Он обладал высокой культурой, соединенной с цельным, независимым, прямым характером и высочайшей организацией труда. Это была основа, за которой стоял огромный научный и человеческий авторитет Виктора Сергеевича. Он много внимания уделял подготовке учеников и единомышленников. По его инициативе с 1945 по 1949 год в Иванове работал физический семинар, объединявший преподавателей физики вузов города. Виктор Сергеевич не только руководил им, но и был главным докладчиком. На семинаре было заслушано более 80 докладов, около половины из которых были сделаны В. С. Сорокиным. Доклады основывались на новейших достижениях физики и методологии. Еще одной чертой этого человека была скромность. Он принципиально не хотел получать деньги и льготы за участие в Великой Отечественной войне, так как считал защиту Родины естественным долгом человека[73].

Автор сочла необходимым подробно рассказать о жизни и деятельности В. С. Сорокина, так как этот человек, *не причисляя себя, как и большинство представителей высшей школы Центрального района России к интеллигенции,* в одной из своих книг — «Взаимодействие квантовых систем и вероятности. Два меморандума о русской революции и кризисе XX века», высказывает отношении к интеллигенции. Характерной чертой отечественной интеллигенции Виктор Сергеевич считал «основанную на разуме необходимость соединять личные интересы с общественными, сделав это привычкой»[74]. Судя по характеру деятельности, В. С. Сорокин и многие его коллеги с полным основанием могут быть отнесены к интеллигенции, т. к. это были люди, «способные думать над судьбами человечества» и выполнять функции сохранения и развития культуры даже в период сталинсткого режима [75].

Вывод о том, что научно-педагогическая интеллигенция могла оказывать сильное позитивное воздействие на окружающих, подтверждается и данными психологии. По мнению многих отечественных и зарубежных ученых, «влияние нравственного лидера активизирует… создание и укрепление благородного отношенческого поля в… данном микросоциуме». В результате в сферу его влияния втягиваются единомышленники, которые формируют в коллективе творчески деятельностный тип отношений[76].

---

[72] Маурин Л. Н. К портрету учителя и мастера Виктора Сергеевича Сорокина // Ивановский государственный университет глазами современников: Вып. I. С. 91.

[73] Личное дело В. С. Сорокина (Музей истории Ивановского государственного университета).

[74] Сорокин В. С. Взаимодействие квантовых систем и вероятности: Два меморандума о русской революции и кризисе XX века. Иваново, 1996. С. 60.

[75] Там же.

[76] Психолого-педагогические аспекты многоуровневого образования. Тверь. 1999. С. 321.

Вместе с тем, неверно было бы утверждать, что преподаватели высшей школы послевоенных лет занимались теоретическими рассуждениями о том, кто они: интеллигенты или специалисты. Они жили и работали в очень трудных условиях восстановления разрушенного войной хозяйства, голода и нехватки самого необходимого для жизни. Важнейшей профессиональной задачей для них был вопрос о качестве подготовки студентов, так как знания школьников военной поры и демобилизованных из Красной Армии солдат и офицеров были крайне низкими. Красной нитью через все протоколы заседаний кафедр вузов региона исследования проходит мысль о слабом знании абитуриентов математики, физики, химии. Неудивительно поэтому, что большое внимание в эти годы уделялось совершенствованию методики преподавания, организации учебного процесса. С целью повышения успеваемости на кафедрах вводились журналы повседневного контроля, в которых отмечались все нарушения как в процессе обучения, так и в поведении студентов. Существовали дифференцированные формы работы с отстающими студентами и отличниками. Для отличников рекомендовались индивидуальные задания повышенной сложности, они привлекались в научные кружки при кафедрах. Для слабо успевающих студентов организовывались специальные консультации, собеседования. В центре внимания постоянно были студенты, мобилизованные из армии, участники Великой Отечественной войны. Для них проводились дополнительные занятия и консультации.[77]

Характерной чертой времени было то, что существовала *общая заинтересованность* преподавателей и студентов в овладении знаниями. Это порождало *совместную* работу преподавателей и студентов по освоению учебного материала. Типичной формой такой работы были регулярные отчеты старост групп, отдельных студентов на заседаниях кафедр. Архивные документы свидетельствуют, что обсуждения этих вопросов проходило заинтересованно и конструктивно. Преподаватели вникали в причины неуспеваемости, совместно со студентами вырабатывали пути совершенствования учебного процесса. При этом обстановка на таких заседаниях была доброжелательной. Студенты не боялись высказать критические замечания и пожелания в адрес преподавателей. В результате обсуждений принимались конкретные решения [78]. Так, на заседании кафедры теоретической механики Брянского института транспортного машиностроения (1946 г.), на котором присутствовали старосты всех групп 2-го курса, были приняты следующие решения: неуспевающих студентов больше привлекать на консультации; регулярно обсуждать на кафедре итоги контрольных работ студентов, результаты сессии, по итогам которых составить таблицы результатов и списки неуспевающих студентов. Некоторым преподавателям было рекомендовано снизить темп лекций, переработать контрольные работы таким образом, чтобы они не ограничивались одной задачей, увеличить количество вызовов к доске студентов на семинарских занятиях[79].

Кроме заседания кафедр, вопросы успеваемости регулярно рассматривались на совещаниях у декана, партийных и комсомольских собраниях. Администрация морально и материально поощряла студентов, обучающихся на хорошо и отлично, и наказы-

---

[77] ГАРФ. Ф. 9396. Оп. 6. Д. 140. Л. 26; Ф. 605. Оп. 1. Д. 2690. Л. 39; ГАРО. Ф. П. — 3. Оп. 3. Д. 670. Л. 15.

[78] ГАРФ. Ф. 9396. Оп. 6. Д. 18, 56, 95, 264, 308, 425 и др.

[79] ГАРФ. Ф. 605. Оп. 1. Д. 127. Л. 160.

вала, лишая на некоторое время (обычно на полмесяца или месяц) стипендии или даже исключая из института, неуспевающих студентов. В качестве моральных стимулов использовалась наглядная агитация («экраны успеваемости», заметки в стенгазетах), награждение почетными грамотами и дипломами, бесплатными туристическими поездками, благодарственные письма родителям. Таким образом, формировались психологические стимулы к учебе, осознание ее общественной значимости, отношения взаимопомощи, товарищеской поддержки в студенческих группах, уважение к преподавателям. В послевоенное десятилетие быть лодырем, учиться плохо, прогуливать занятия было позорно, вызывало осуждение сокурсников и преподавателей.[80]

Аналогичная ситуация была и в инженерно-технических вузах столицы. К примеру, доцент кафедры химической физики П. П. Баранов, вспоминая свою учебу в конце 1940-х гг. в Московском физико-техническом институте, в интервью корреспонденту многотиражной газеты отметил, что у студентов и преподавателей были тесные научные и личные контакты. Научно-педагогические работники знали всех студентов по имени. Несмотря на то, что учиться было очень трудно (четыре раза в неделю с 15.30 час. до 20.30 час. приходилось заниматься в лабораториях), а посещение занятий было абсолютно свободным, на занятия ходили все. Особенно любили иностранный язык [81].

Итак, поиск новых форм организации учебного процесса, систематический контроль за успеваемостью, атмосфера коллективной и индивидуальной ответственности способствовали созданию условий для формированию у студентов прочных профессиональных знаний, без которых невозможно существование интеллигенции. Анкетирование студентов, проведенное в Ивановском педагогическом институте в 1951/52 учебном году, свидетельствует, что решающими факторами укрепления учебной дисциплины были упорядочение *самостоятельной работы* студентов, их *добросовестное отношение к делу.* Факты неподготовленности студентов к семинарским занятиям были единичными, курсовые работы представлялись в срок [82]. Многие студенты стали отличниками и обладателями именных стипендий.

Что касается мировоззренческих установок студентов и влиянии на их формирование научно-педагогической интеллигенции — то этот вопрос нуждается в дополнительной проработке. В имеющихся в нашем распоряжении документах сведений об этом нет. Возможно, оберегая студентов, переживая за их (и свою!) судьбу, преподаватели избегали обсуждения с ними вопросов, выходящих за рамки учебных программ, а молодые люди в условиях «железного занавеса» не обладали информацией, побуждающей к критическим размышлениям.

5. Выводы.

Итак, подводя итоги анализу бытования научно-педагогической интеллигенции Центрального района России в первое послевоенное десятилетие, необходимо отметить, что в эти годы были факторы, как благотворно, так и негативно влившие на ее деятельность и интеллектуально-духовный облик. *Позитивным* явлением в эти годы был, *во-первых,*

---

80 ГАИО. Ф. П. — 27. Оп. 7. Д. 119. Л. 126; Ф. 804. Оп. 9. Д. 259. Л. 14; Д. 314. Л. 149.

81 За науку / Московский физ.-техн. ин-т. 1976. 17 сент.

82 Ленинец. Иваново, 1952. 26 авг.

высокий престиж высшего образования. Многие молодые люди стремились поступить в вузы. Об этом, в частности, свидетельствуют высокие конкурсы в университеты и институты. *Во-вторых,* коммунистическая партия и советское правительство принимали действенные меры по восстановлению и развитию высшей школы: несмотря на экономические трудности, вызванные войной, восстанавливались старые и открывались новые университеты и институты. Только в Центральной России за 10 послевоенных лет было открыто 8 новых институтов, а контингент студентов увеличился почти в три раза. *В-третьих,* конкретно-исторический материал архивов Центрального района России свидетельствует, что даже в условиях идеологических кампаний конца 1940-х — начала 1950-х гг. в университетах и институтах региона исследования работали преподаватели, деятельность которых соответствовала традициям отечественной интеллигенции. Личное общение студентов с ними являлось важнейшим условием их духовного роста.

Негативное воздействие на качество профессиональной подготовки студентов, их интеллектуальный и культурный облик оказали идеологические кампании конца 1940-х — начала 1950-х гг. В то же время необходимо помнить, что изоляция от мировой научной мысли не была полной, — что особенно характерно для технических вузов. Вместе с тем анализ учебного процесса позволяет сделать вывод, что в работе научно-педагогической интеллигенции в эти годы достаточно рельефно проявляются *три типа деятельности*. Для *первого* было характерно сохранение самостоятельного видения исследуемых проблем и открытого отстаивания научных истин. *Второму* был присущ «двойной стандарт» в поведении, то есть пассивное согласие на партийных собраниях, ученых советах институтов с официальной позицией по тем или иным научным вопросам, но в то же время сохранения в лекционном материале, на семинарских занятиях достоверных научных положений. И, наконец, *третий* тип учебной деятельности — это целенаправленное включение в учебный процесс явно антинаучных идей и теорий. Преподаватели, действующие из корыстных интересов, ставящие карьеру выше служения научным истинам, склонные к эгоизму, доносительству и нечестности, в нашем понимании не могут быть отнесены к интеллигенции.

Необходимо также отметить, что на организацию процесса обучения существенное влияние оказывала *специфика региона* исследования. Близость к столице способствовала быстрому восстановлению интеллектуального потенциала вузов, пополняемого за счет преподавателей, которые по политическим мотивам не могли работать в Москве и устраивались на жительство в областных городах Центрального района России (за «101 километром»). Их было немного, но это были высококвалифицированные ученые, заложившие в вузах провинции основу для будущих научных школ. Кроме того, профессиональному росту коллег и повышению качества обучения в институтах областей Центрального района России способствовали «десанты» преподавателей столичных вузов и материально-техническая помощь родственных по профилю институтов столицы провинциальным учебным заведениям.

СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ БЮРОКРАТИИ

Структуры потребления и дохода как признаки социальной идентификации местной бюрократии России петровской эпохи[1]*

Д. А. Редин

В 1972 г. один из «первопроходцев» изучения феномена российской бюрократии в советской историографии С. М. Троицкий привел любопытные данные: во всей системе коронного и дворцового управления России середины XVIII в. представители потомственного дворянства составляли всего около 21,6 %, в то время как половина личного состава чиновничества приходилась на долю потомков приказных людей и близких к ним категорий[2].

Восемью годами ранее Н. Ф. Демидова в статье «Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII–XVIII вв.», ставшей, на сегодняшний день, «классикой жанра», сформулировала, среди прочих, перспективный и смелый тезис о чиновниках «как касте», сообществе, функционировавшем в зрелой фазе своего развития «вне связи с их классовой принадлежностью»[3].

Как известно, подобные трактовки не приветствовались историко-партийным официозом, поскольку приходили в противоречие с ленинскими представлениями о классовой, дворянско-буржуазной природе бюрократии[4]. На сегодняшний день, когда монотонность идеологических установок и схоластические путы «единственно верной теории» остались позади, а освоение источникового наследия, напротив, значительно продвинулось вперед, нет, думается, основания отрицать представления о чиновничестве как особой не только функциональной, но и социальной группе. Это, в частности, проявлялось в том, что чиновники, с определенного момента консолидации в особую общность, выработали свое видение целесообразности организации жизни, свое понимание служебного долга, (отличное, по ряду параметров, от нормативно-правового, предписанного законодателем с одной стороны, и «народного» — с другой), свое отношение к понятиям чести, законности, обязательства, благосостояния и т. п. ; свое

[1] * Статья подготовлена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» в рамках исполнения государственного госконтракт 14.740.11.0269 «Человек в условиях социально-культурных трансформаций российского общества в XVII–XX вв.».

[2] *Троицкий С. М.* Социальный состав и численность бюрократии России в середине XVIII в. // ИЗ. 1972. Т. 89. С. 347.

[3] *Демидова Н. Ф.* Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII–XVIII вв. // Абсолютизм в России (XVII–XVIII вв.). М., 1964. С. 206, 207, 242.

[4] Ранняя марксистская историография, в наиболее вульгарных ее проявлениях, вообще считала бюрократию лишь «призраком государственной власти», поскольку объективно и реально эта власть была непосредственно в руках дворян. См., например: *Ольминский М. (Александров М. С.)*. Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России. СПб., 1910. С. 242.

понимание прав и обязанностей в системе общественных отношений; наконец, заняли свое место в системе общественного разделения труда и в системе распределения материальных благ.

Но каким же образом и на основе какого источникового материала возможно реконструировать, хотя бы контурно, те признаки, которые позволили бы говорить о социальной идентификации и самоидентификации бюрократии?

Известно, что наши архивы вплоть до последней четверти XVIII в. очень бедны на письменные источники личного происхождения, дающие наиболее обширные и открытые сведения о том, как позиционировали себя в обществе представители тех или иных его групп и как воспринимали их окружающие. Мне думается, что в определенной мере решению этой задачи может способствовать предложенное В. Б. Кобриным понятие **социальных кодов —** разновидностей знаковых систем социального этикета, отражающих ранжирование членов общества по отношению друг к другу, «маркирующих» положение отдельных общественных групп в социуме в целом. «Социальные коды… — писал ученый, — пронизывают жизнь общества, их можно наблюдать повсюду — от татуировки первобытных племен и современных уголовников до орфоэпических норм современного языка»[5]. Уточняя варианты проявления социальных кодов, Владимир Борисович перечислял среди них особенности одежды, языковых норм, знаков, нашивок, текстовых определений при именах и т. п. Многообразие материальных форм социальных кодов делает их универсальным инструментом познания социальной стратификации и самоидентификации. Объектом применения метода социальных кодов в данном случае станет местное чиновничество — наиболее многочисленная часть госаппарата, представленное урало-сибирской бюрократией.

Одним из важнейших явлений повседневной жизни, имеющим значение социального кода, был рацион питания. Пища, занимавшая первостепенное место в структуре потребления, помимо прямого своего назначения: поддержания физиологических потребностей человека, играла социально маркирующую роль. Принадлежность к привилегированным группам или просто более высокий достаток, чем-то сближавший его обладателя с представителями «верхов», выделявший из массы, выражались в том числе и в более высоком качестве питания. В этом смысле можно даже говорить о престиже тех или иных продуктов питания. Так, например, известно, что самое общее различие между дворянским и крестьянским рационами состояло, прежде всего, в уровне потребления мяса, попадавшего на крестьянский стол исключительно редко. К такого рода различиям можно отнести и разнообразие пищи, также более характерное для потребления дворян и «зажиточных городских слоев»[6]. В связи с этим будет любопытно установить объем и структуру продуктового потребления уральской бюрократии и различных внутренних ее категорий.

---

[5] Цит. по: *Эскин Ю. М., Юрганов А. Л.* Штрихи к портрету ученого, источниковеда, генеалога // Кобрин В. Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV–XVI вв. М., 1995. С. 9–15.

[6] *Семенова Л. Н.* Очерки истории быта и культурной жизни России: Первая половина XVIII в. Л., 1982. С. 257. В этой же книге приводятся примеры своего рода «престижных» продуктов, в частности сахара, который даже в конце XVIII в. воспринимался крестьянством как «боярское кушанье» (Там же. С. 259).

«Чтобы упасти душу», или несколько слов о минимальном продуктовом потреблении в России в XVIII веке

Прежде чем приступить к выяснению норм и структуры продуктового потребления местного чиновничества, следует определиться с минимальным количеством и ассортиментом продуктов питания, потреблявшимися в XVIII в. низшими слоями населения, приняв эти данные в качестве исходной базы для дальнейшего сравнения. В специальной литературе наиболее часто эти вопросы исследовались в связи с выяснением различных аспектов условий жизни и труда русского крестьянства. Так, например, Л. С. Прокофьева, рассчитывая хлебный бюджет крестьянского хозяйства на материалах вотчин Кирилло-Белозерского монастыря 1730-х гг., определила годовую норму потребления хлеба взрослым крестьянином в 12 пудов.[7]

Эта цифра справедливо была взята под сомнение Л. В. Миловым, назвавшим эту норму голодной: «ее не хватало даже для минимума (чтобы “упасти душу”…)». Обычной нормой для XVIII в. ученый предложил считать 24 пуда (3 четверти) в год, поскольку «такая норма, как правило, встречается в помещичьих инструкциях XVIII в., когда речь идет о содержании дворовых и работных людей»[8]. Нечто схожее можно обнаружить в уральских материалах. Решением Сибирского обер-бергамта от 9 января 1726 г. месячное содержание сосланного за членовредительство в каторжные рудничные работы школьника Ф. Розмахнина было определено в 2 пуда ржаной муки, что в годовом перерасчете как раз и составляло 24 пуда, или 3 четверти хлебной выдачи. Надо заметить, что обер-бергамтские асессоры, видимо, учитывая тяжесть каторжных работ, постановили выплачивать Розмахнину кроме хлеба еще по 1 коп. в день на другие расходы[9]. Таким образом можно заключить, что и 3 четверти хлеба в год на взрослого человека — это норма, которая соответствовала минимально потребной, или являлась *физиологическим минимумом*.

Исследования Л. В. Милова подтверждают этот вывод:

> «…общепринятая годовая норма зерна в 3 четверти… на взрослого человека, — пишет он, — это норма, ниже которой опускаться рискованно, поскольку в перерасчете на калорийность (с учетом разной калорийности каждого “хлеба” в ассортименте, продиктованном обычаями и представлениями XVIII столетия) это составляло примерно 3200 ккал (овощная пища по калорийности не была существенной добавкой к этому рациону)»[10].

Опираясь на данные, приведенные членом Дворцовой канцелярии И. Елагиным, описавшем в своем «Проекте» 1786 г. структуру и количество продуктового потребления, бывших в представлениях человека XVIII в. *нормальными* для «питания людей низшего слоя общества», автор рассчитал годовую норму потребления взрослого крестьянина в 2 четверти ржи и 3,5 четвертей «разного ярового хлеба». Более подробный

---

[7] *Прокофьева Л. С.* Хлебный бюджет крестьянского хозяйства в вотчине Кирилло-Белозерского монастыря в 30-е гг. XVIII в. // Вопросы аграрной истории (материалы научной конференции). Вологда, 1968. С. 352–353.

[8] *Милов Л. В.* Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. 2-е изд., доп. М., 2006. С. 354–355.

[9] Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24. Оп. 12. Д. 194. Л. 127.

[10] *Милов Л. В.* Указ. соч. С. 356.

ассортимент сытного крестьянского стола в расчете месячной нормы на человека выглядел так (в скобках дана дневная норма потребления): рожь — 66 фунтов (789 г), горох — 12 фунтов (164 г), ячмень — 9 фунтов (164 г), греча — 26 фунтов (355 г), овес — 26 фунтов (355 г), итого — 139 фунтов, или 56,9 кг (1 кг 786 г). Калорийность этой суточной нормы составляет 5867 ккал: «при тяжелом физическом труде и при недостатке мясной пищи это уже не столь избыточно», — прокомментировал ее Л. В. Милов. Правда, по мнению автора «Проекта», И. Елагина, этот показатель был, все-таки, дан с излишком; оптимальной годовой нормой взрослого душевого крестьянского потребления при сохранении вышеизложенной структуры, статский советник счел 4,12 четверти различной «хлебной» продукции. Так или иначе, нормальным (и даже стремящимся к избыточному) уровнем потребления в крестьянской среде XVIII в. считалось 4,12–5,5 четвертей хлеба в ассортименте в год[11].

Продуктовое потребление мастеровых и работных людей первой трети XVIII в. формировалось несколько иначе и имело несколько иную структуру, хотя по величине и калорийности довольно близко соотносилось с крестьянским. Л. Н. Семенова, проводившая исследование на примере казенных мастеровых и работных петербургских верфей, сообщает, что по указу 1710 г. эти категории работников, принадлежавшие, кстати говоря, к низшим разрядам служилых людей «по прибору», при 6-рублевом годовом окладе получали 5 четвертей ржи в год. Этот оклад сопоставим с рекомендуемым продовольственным обеспечением крестьян по самой высшей норме. В 1711 г. им было добавлено по осьмине (4 пуда) крупы в год, причем женатые мастеровые получали вдвое, а с 1714 г. к этому продуктовому жалованью стали добавлять по определенной пропорции наддачи на детей в возрасте от 5 до 10 лет. Интересно заметить, что снабжение казенных петербургских мастеровых оказывается очень близким к окладному денежному и натуральному жалованью сибирских детей боярских и пеших казаков в первой четверти XVIII в. Так, например, в «Ведомости Сибирской губернии города Верхотурья по примеру прежде бывших сметных поместных списков, какого строения в городе Верхотурье… имеется… и о прочем», ориентировочно датированной 1726 г., жалованье детям боярским указано в размере 8 руб. и 5 четвертей хлеба (3 чети ржи и 2 чети овса), казачьему сотнику — 7 руб. и 8 четвертей хлеба (4 чети ржи и овса потому ж), пятидесятникам, десятникам, рядовым пешим казакам и пушкарям — 4 руб., 3 четверти хлеба и полтора четверика (1,5 пуда) крупы[12].

С течением времени структура окладов казенных мастеровых, как и структура окладного жалованья других категорий служилых, менялась за счет увеличения денежной и уменьшения натуральной части. Так, по Адмиралтейскому регламенту 1722 г. при окладе в 12 руб. мастеровые получали уже 3 четверти муки и «небольшое количество крупы» на год. На 1728 г. Л. Н. Семенова зафиксировала еще меньшую продуктовую выдачу. В месячном выражении она составляла 1 четверик (пуд) ржаной муки, 1 «малый» четверик крупы, 5 фунтов мяса (обычно свиного) и 2 фунта соли[13]. На этой основе легко высчитать годовой продуктовый набор: 12 пудов муки (около 196,5 кг), 12 «малых» четвериков крупы

---

[11] Там же. С. 355–356.

[12] Цит. по: *Дмитриев А. А.* Верхотурский кремль и подчиненные ему крепости в XVII–XVIII вв. Пермь, 1885. С. 46.

[13] *Семенова Л. Н.* Указ. соч. С. 229–231.

(примерно 58,8 кг[14]), 60 фунтов мяса (примерно 24,5 кг) и 24 фунта соли (примерно 9,8 кг). Калорийность этой суточной нормы, расчитанная на основе современной таблицы энергоемкости продуктов[15] (считая, что крупу выдавали гречкой и без учета соли, разумеется), составит 2541 ккал. Показатель калорийности в данном случае ниже того, который считается критическим (3200 ккал), но недостаток натурального жалованья каким-то образом компенсировался денежной выплатой (говорю: «каким-то образом», поскольку из денежного жалованья в расходную часть шли издержки на одежду, наем и содержание жилья, выплату податей и т. п.)

В то же время заметно иной выглядит структура продуктового набора: в отличие от крестьянского сюда заложены мясо и соль. Тем не менее и этот показатель близок к физиологическому минимуму. Приведенный набор продуктов обходился, по расчетам Л. Н. Семеновой, в 94,4 коп. в месяц, или в 3,1 коп. в день, реальные же «дневные расходы мастеровых и работных людей на питание колебались в пределах от 3 до 5 коп., постоянно приближаясь к нижнему пределу. Таким пределом был тот минимальный оклад (3 коп. в день), который должен был обеспечить физическое существование работника»[16]. Размеры прожиточного минимума казенных мастеровых оценивались и в денежном выражении. По данным Е. И. Заозерской для московских мастеровых сумма прожиточного минимума составляла 15 руб. при 7–8 руб. стоимости «продуктовой корзины» на человека в год[17]. По мнению Л. Н. Семеновой сумма прожиточного минимума в Санкт-Петербурге была выше, поскольку цены там, особенно на продукты питания, были выше московских. Проведя вычисления на основе минимальных месячных расходов на продукты в среде петербургских мастеровых, можно получить годовой показатель в размере 11 руб. 33 коп. — примерно на 70,5% выше самого высокого годового московского расхода на те же цели. Имея эти цифры, несложно посчитать, какую долю в общей сумме прожиточного минимума занимали расходы на питание.

По Москве доля продуктовых расходов в минимальном объеме душевого годового потребления мастерового составит от 46,6% до 53,3%. Если эта пропорция соответствует и петербургским реалиям, то приняв 11 руб. 33 коп. за 46,6% (по минимальному показателю) от общей суммы прожиточного минимума, мы получим его приблизительную абсолютную величину — 24 руб. 30 коп. в год. Очень интересно и для меня довольно неожиданно оказалось то, что эта цифра почти совпала с той суммарной оценкой прожиточного минимума, которую официально признавали для мастеровых уральских казенных заводов. Асессоры Сибирского обер-бергамта в приговоре от 25 апреля 1726 г. постановили выплачивать жалованье мастеровым, получавшим менее 2 руб. в месяц, т. е. 24 руб. в год, не 3 раза в год, а ежемесячно, «для того, что получаючи такой малой оклад, мастеровые люди, ждать (ожидая. — *Д. Р.*) своего жалованья чрез всю треть года, понуждены будут претерпевать самую нужду, ибо

---

[14] «Малый» четверик был, вероятно, предшественником гарнца. Л. Н. Семенова поясняет, что 1 «малый» четверик равнялся чуть менее 5 кг: это близко к полутора гарнцам (1,5 гарнца = 12 фунтов = 4, 914 кг).

[15] Культура питания. Энциклопедический справочник / Под ред. И. А. Чаховского. 3-е изд. Минск, 1993. С. 272–273.

[16] *Семенова Л. Н.* Указ. соч. С. 232.

[17] *Заозерская Е. И.* Развитие легкой промышленности в Москве в первой четверти XVIII в. М., 1953. С. 450.

правианту сверх денежного жалованья не дается, и оттого есть небезопасно, дабы, терпя такую нужду, от работ не разбежались»[18]. Мотивировка предельно ясна: годовой оклад в 24 руб. без дополнительного натурального обеспечения есть предел, *суммарное денежное выражение прожиточного минимума* в изучаемом регионе. Неожиданность же заключается в том, что размер этого минимума и на Урале, и в Санкт-Петербурге оказался одинаковым, в то время как уровень потребительских продуктовых цен на Урале в эти годы был значительно ниже, чем в новой имперской столице. Какое-то обяснение этого обстоятельства может заключаться в том, что Сибирский обер-бергамт ориентировался на более высокие нормы душевого потребления, учитывая «вогненный» характер большинства производств: работа в горячих цехах, на плавке чугуна и меди, переработке чугуна в железо различных сортов, труд в «молотовых фабриках» требовал не только иного питания, но и более частых расходов на одежду, быстрее приходившую в негодность[19]. Кроме того, на величину минимального оклада могло оказывать влияние состояние трудовых ресурсов. Хотя и на уральских казенных заводах, и в Петербурге основная масса мастеровых и работных людей комплектовалась принудительными способами, потенциальные резервы рабочей силы на Урале были гораздо ограниченнее. Для того, чтобы удержать рабочих, занятых в заводском производстве, региональной горной администрации, возможно, приходилось прибегать и к методам экономического стимулирования, выплачивая им такое жалованье, чтоб они «не разбежались». Конечно, сумма прожиточного минимума для петербургских мастеровых высчитана лишь приблизительно, реально она могла быть выше 24,3 руб., но из всего сказанного все-таки можно извлечь какие-то выводы, вероятно, имевшие общероссийское значение. Для низших слоев общества критическим был уровень потребления продуктов питания ниже 3 четвертей хлеба в год на человека, с калорийностью от 3200 ккал и менее; в крупных промышленных центрах денежное выражение общего прожиточного минимума колебалось от 15 до 24 руб.; при этом структура продуктового потребления социальных низов была весьма однообразна и состояла, главным образом, из зерновых продуктов и овощей.

Следующие показатели дают нам возможность получить представление о том, какое продуктовое обеспечение с официальной точки зрения считалось не просто минимально достаточным, но могущим полностью обеспечить человеческие потребности. На основании Устава воинского, указом сибирского губернатора кн. А. М. Черкасского от 6 октября 1719 г., л.-гв. солдату М. Бобрищеву-Пушкину, направленному в Тюмень для проведения мероприятий в рамках розыска по делу кн. М. П. Гагарина, было велено выдавать на месяц пол-осьмины (2 пуда) ржаной муки, полтора гарнца (12 фунтов) крупы, 31 фунт мяса и 2 фунта соли. Как пояснялось в указе, дача устанавливалась «для того, что будучи ему у того дела, взятков, и подарков, и естного ничего брать не велено»[20]. Таким образом, по мнению руководства, назначенное натуральное содержание не только было достаточным, чтобы поддерживать силы солдата-

[18] ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 194. Л. 127.

[19] Мне известны случаи и по первой, и по второй половине XVIII в., когда уральским мастеровым, занятым на плавильном и литейном производстве, осуществляли доплаты именно за износ одежды.

[20] Государственный архив Тюменской области (ГАТО). Ф. И-47. Оп. 1. Д. 439. Л. 15–15 об.

следователя, но настолько значительным, что давала ему возможность не помышлять о взятках. Дневной рацион М. Бобрищева-Пушкина, расчитанный на основе месячного, составлял чуть более 1 кг муки, приблизительно 158 г крупы, около 410 г мяса и 26,4 г соли. Структура этого пайка абсолютно идентична структуре пайка казенного мастерового, но легко заметить, что в солдатском гвардейском наборе значительно увеличены нормы выдачи муки и мяса, что резко повышало калорийность суточной нормы потребления — до 5932 ккал, обгоняя по содержанию энергии самый лучший из рекомендованных крестьянских показателей.

«А где щи, тут и нас ищи»: чиновничьи представления о престижном потреблении

Знакомство с окладами руководящего и канцелярского состава Урала показывает, что *в среднем* материальное обеспечение местного чиновничества выглядело значительно лучше. Но средние цифры нередко бывают коварными. В данном случае средняя ставка оклада чиновника оказывается высокой за счет высоких ставок воеводских и дьяческих окладов. Кроме того, с точки зрения оценки норм и структуры потребления этой категории местного населения данные по ставкам установленного им жалованья могут играть лишь вспомогательную роль. Как в случае с мастеровыми, мы можем, с большей или меньшей точностью, установить лишь тот минимальный размер обеспечения, который официально считался достаточным для той или иной категории управленцев. Обращаясь к данным о величине окладов администраторов и приказных, можно заключить, что в их среде существовала серьезная имущественная дифференциация и ни о каком внутреннем единстве местной бюрократии, основанной на единстве материального статуса говорить не приходится. В самом деле, все молодые подьячие с их окладами от 1 до 7–8 руб. без натуральных выплат, значительная доля подьячих средней статьи с окладами от 3 до 20 руб., ряд старых подьячих с окладами от 6 до 23 руб.[21] больше соответствуют низшим категориям «приборных» служилых, в том числе — казенным мастеровым, или даже уступают им. При официально признанном прожиточном минимуме в 24 руб. не кажутся невероятно богатыми обладатели даже 50-рублевых окладов. Между тем приказные составляли подавляющую часть местного госаппарата: руководящий состав западных уездов Сибири занимал едва более 36% от общего количества бюрократии края в период первой областной и около 25% — в период второй областной реформы[22]. Очень близко по своему социальному происхождению и уровню официальных доходов к приказной массе находились низшие администраторы: слободские приказчики, земские, судебные, подчиненные и мостовые комиссары, сами, в свою очередь, составлявшие большинство в руководящей части местной бюрократии. Таким образом, основываясь на сведениях

---

[21] Подробнее о размерах окладного жалованья урало-сибирских подьячих в первой четверти XVIII в. см.: *Редин Д. А.* Имущественное положение низшей администрации и канцелярских служащих Урала и Западной Сибири в 1720-е гг (к постановке вопроса) // Меншиковские чтения — 2005 / Отв. ред. П. А. Кротов. СПб., 2005. С. 96–108; *Он же.* Административные структуры и бюрократия Урала в эпоху петровских реформ (западные уезды Сибирской губернии в 1711–1725 гг.) Екатеринбург, 2007. С. 484–501; *Он же*. «Несено Ивану Васильевичю…»: Доходы и расходы провинциальной бюрократии в пеировское время // Родина. Российский исторический журнал. 2007. № 11. С. 110.

[22] Расчеты сделаны на основании материалов, изложенных в монографии: *Редин Д. А.* Административные структуры и бюрократия Урала… С. 392–437.

о размерах окладного жалованья уральского чиновничества, оказывается, что основная его масса обеспечивалась скромно, порой, на грани прожиточного минимума и ниже и не имела ничего общего с небольшой состоятельной верхушкой — уездными воеводами (комендантами), другими близкими к ним по рангу администраторами и дьяками. Между тем все они — от самого ничтожного подьячего и подчиненного комиссара до уездного воеводы с 300-рублевым окладом и губернатора — проявляли удивительное единство представлений о структуре и объемах собственного потребления. Источники позволяют утверждать, что в своих материальных претензиях чиновники не ориентировались на пресловутый прожиточный минимум, их запросы были гораздо выше, независимо от их конкретного должностного ранга или официально установленного оклада. Все они, в частности, хотели обильно питаться, причем питаться не просто обильно (в конце концов, обильное питание могло быть доступно зажиточным крестьянам и посадским), но так, как пристало питаться господам — разнообразно. Именно *структура* продуктового потребления, *одинаковая* для всех категорий местного госаппарата может, на мой взгляд, служить одним из тех самых социальных кодов, раскрывающих *социальное* единство областного чиновничества.

Интересную информацию, характеризующую структуру потребления низшего чиновничества Урала и Сибири, содержат источники, на первый взгляд не имеющие отношения к бытовой повседневности, но хорошо известные историкам: челобитные крестьян на должностные злоупотребления местных администраторов. В моем распоряжении скопился хронологически и территориально компактный материал, состоящий, примерно, из двух десятков такого рода челобитных, в которых крестьяне, жалующиеся на произвол представителей низового административного аппарата, подробно перечисляют «вымученное» с них имущество[23]. Значительную часть в этих перечнях составляют продукты питания. Объем собранного документального материала не велик, но именно его *не уникальность* позволяет говорить о его репрезентативности и делать достаточно обоснованные, с моей точки зрения, выводы.

Крестьянские челобитные (или, по самоназванию, «доношения»), о которых пойдет речь, отложились в ф. 24 («Уральское горное управление») Госархива Свердловской области и своим происхождением обязаны деятельности на Урале генерала В. И. Геннина. Взявший под свое начало горнозаводскую отрасль края, де Геннин в первые годы обладал и особыми полномочиями, которыми он был облечен как глава центральной розыскной канцелярии. В 1723–1724 гг. им были предприняты меры по изобличению и наказанию ряда чиновников дистриктного звена управления, чье лихоимство провоцировало разорение и побеги крестьян, что в свою очередь негативно сказывалось на организации заводских работ. Увидев, вероятно, в связи с этим, в царском эмиссаре своего заступника, к нему в канцелярию со своими жалобами стали обращаться многие обиженные, в том числе не только крестьяне приписных слобод, но и представители других категорий податного населения: пашенные крестьяне, отставные солдаты, тобольские ямщики, новокрещеные татары и т. д. Объектом их обвинений стали земские, судебные и подчиненные комиссары уральских дистриктов и слобод, подьячие и писчики местных контор.

---

[23] ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 5[а]. Т. 1. Л. 2–об., 4–об., 6об., 7–об., 23, 41, 50, 60, 66; Д. 17. Л. 16, 18; Д. 21[б]. Л. 184–188 об.

Из 14 фигурантов рассматриваемых крестьянских доношений двое занимали должности земских комиссаров, один являлся судебным комиссаром, шестеро служили подчиненными комиссарами (слободскими приказчиками), трое — подьячими земских (дистриктных) контор и двое — писчиками. Носители комиссарских званий (более половины обвиняемых — 9 человек) принадлежали, в основном, к известным сибирским (тобольским и верхотурским) служилым фамилиям Фефиловых, Стадухиных, Чернышевых, Дурасовых, Булгаковых, Протопоповых. Инкриминируемые им преступления нередко выходят за хронологические рамки написания доношений (конец 1722 — начало 1724 г.) и относятся к 1713, 1714, 1718–1720 гг., что само по себе показательно, так как позволяет говорить об определенной длительности и безнаказанности практики вымогательств. Материальные предпочтения господ комиссаров и приказных распределялись следующим образом: деньги, продукты питания, лошади и крупный рогатый скот, фураж (сено и овес; последний, скорее всего, вымогался именно в качестве фуража, а не продовольствия) и в очень редких случаях предметы обихода. Ассортимент продуктов питания весьма разнообразен, мы находим среди них индеек, кур, уток, баранов, свинину, рыбу, коровье масло, мед, пшеничную муку, рожь и ячмень, вино, пиво, хмель и конопляное семя. В этом списке и готовые продукты (свинина, рыба, масло, вино и пиво), и, так сказать, полуфабрикаты («хлеб» — немолотые рожь и ячмень, мука, хмель и конопляное семя), и домашняя живность (птица и мелкий скот), перечисленная в таком контексте и в таких количествах, что ее без сомнения надо воспринимать как продукты питания. Несколько сложнее обстоит дело с упоминанием среди взятого с крестьян крупного рогатого скота. Создается впечатление, что он не всегда шел на обеспечение «столового припаса», а отнимался у населения для дальнейшей перепродажи. Так, например, большой тягой к именно этой живности отличался приказчик Верхненицинской слободы Тобольского подгородного дистрикта Федор Протопопов, бравший, по преимуществу, деньгами и скотом. За разные годы своей административной деятельности на посту слободского приказчика, он «смучил» с шестерых челобитчиков и их отцов (тобольских ямщиков, пашенных крестьян и отставного солдата) 8 быков-четырехлеток, 4 коровы, 1 теленка, 2 баранов и 9 лошадей[24].

Крестьянские доношения показывают различия в подходах вымогателей. Для некоторых сбор продуктов — не самоцель; можно подумать, что они брали их потому, что с данного человека и в данных обстоятельствах взять было больше нечего. Подчиненный комиссар Иван Дурасов, несколько лет терроризировавший вверенную ему Калиновскую слободу, относился, скорее всего, именно к таким администраторам. Пьяница и дебошир, порой избивавший крестьян просто из удовольствия, он чаще всего выколачивал деньги. Продукты питания, изъятые им у калиновцев, сводятся, в основном, к хлебу и вину (100 пудов хлеба и 4 ведра вина в разное время, вероятно в 1722–1723 гг.). Среди натуральных поборов Дурасова, словно подчеркивая их «вспомогательный» характер, попадаются сведения о свиной туше и двух красных сафьянах (один из упомянутых редких случаев присвоения не пищевых продуктов)[25]. Большей основательностью отличались натуральные «оброки» подчиненного комиссара Алексея Булгакова и покровительствовавшего ему каменского земского комиссара Федора

[24] ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 21[б]. Л. 184–188 об.

[25] Там же. Д. 5[а]. Т. 1. Л. 4–5об.

Фефилова. Не пренебрегая денежными подношениями, они довольно регулярно взимали с населения продовольствие. Багаряцкие крестьяне покупали на мирские деньги для А. Булгакова (в бытность его подчиненным комиссаром этой слободы) рыбу и вино; разъезжая «по уезду для своих прихотей», Булгаков требовал снабжения «денгами и хлебом», брал «из миру хлебом, и харчом, и денгами»[26]. Среди продуктов, изъятых в пользу Ф. Фефилова, — мед, хлеб (рожь и ячмень), пиво, конопляное семя и хмель. Только за три года (1719–1722) этот чиновник взял с крестьян 6 слобод, составлявших управляемый им дистрикт, «денгами и харчевым» на 248 руб. 38 коп.[27] К сожалению, челобитчики не потрудились подробнее расписать эти «харчевые» и невольно лишили нас интересного материала. Зато не поленились в свое время сделать это сотники Белоярской и Новопышминской слобод Уктусского дистрикта, подавшие 16 декабря 1722 г. доношение, обличавшее уктусского земского комиссара Степана Неелова. Благодаря им мы имеем возможность посмотреть, как можно было устраивать свой быт, занимая скромную должность мелкого администратора в непростое время петровских перемен. Не гнушаясь, подобно другим своим коллегам, денежными поборами, он «взял из за грозы» 10 индеек, 20 кур, 20 уток, 3 барана, 4 пуда пшеничной муки, 10 пудов ячменя, 10 пудов овса и пуд коровьего масла[28].

Не комментируя количественные показатели, а лишь помятуя о том, что цитируемые доношения, скорее всего, лишь фрагментарно освещают преступную деятельность лихоимцев, обратим внимание на поразительную схожесть структуры продуктового потребления названных чиновников со структурой потребления помещиков Европейской России. Обобщая данные отписных книг имений служилых людей центральных уездов страны в конце XVII — первой четверти XVIII в., Ю. А. Тихонов подсчитал, что на столовый припас помещику шло «в среднем с крестьянского двора … ½–2 барана, ½–2 пуда свинины, 1–2 поросенка, гусь, утка, 1–10 кур, ½–1 фунт масла, 10–100 яиц» в год[29]. Обращает на себя внимание и другое. Похоже, что урало-сибирские администраторы и канцелярские служители, лишенные возможности обеспечивать свои продовольственные потребности за счет крепостных собственных поместий, воспроизвели подобие оброчной системы на территории подчиненных им дистриктов и слобод. Облагая государственных тяглецов «владельческими» повинностями, они гибко варьировали натуральную и денежную ренту, сбор которой, будучи юридически незаконным, неизбежно обеспечивался насилием. Эта мысль еще более подкрепляется хотя и единичным, но достойным внимания фактом. Упоминавшийся С. Неелов не только обкладывал своеобразной натуральной рентой белоярских крестьян, но и отдавал им «на мирской откорм» собственную домашнюю птицу, то есть реализовывал типичную для помещичьего хозяйства Центральной России повинность — выращивание на крестьянских дворах господского скота и птицы[30]. Если низшие чиновники могли обеспечивать себе

---

[26] Там же. Л. 8.

[27] Там же. Л. 8 об.; Д. 17. Л. 16.

[28] ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 5ª. Т. 1. Л. 2–2об.

[29] *Тихонов Ю. А.* Феодальная рента в помещичьих имениях Центральной России в конце XVII — первой четверти XVIII в. (владельческие повинности и государственные налоги) // Россия в период реформ Петра I. М., 1973. С. 205.

[30] ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 5ª. Т. 1. Л. 2; *Тихонов Ю. А.* Указ соч. С. 201.

такой «престижный» ассортимент продуктового обеспечения, заметно превышавший покупательную способность получаемого ими окладного жалованья, то, надо полагать, высшие администраторы края по определению не могли жить хуже. *Разнообразие и качество питания были общей отличительной чертой уровня жизни всех категорий управленцев.* Сходные наклонности и методы в деле обеспечения своего стола проявляли чиновники губернских учреждений, коменданты, комиссары и подьячие других уездов и дистриктов, о чем подробнее речь пойдет ниже.

Приведенные примеры показывают, что представители низшего руководящего состава и приказные, волею случая оказавшиеся в поле зрения следствия, в общем-то, были уверены, что имеют право прибегать к насилию во имя достижения того уровня жизни, который, как они полагали, соответствует их рангу. При этом, как мне представляется, их уверенность питалась вовсе не тем, что кто-то из них принадлежал к потомственным служилым людям; среди вымогателей находилось достаточно выходцев из тяглых слоев населения. Важно было другое — принадлежность к власти. Это осознание, несомненно, являлось фактором, интегрировавшем и подьячего, и чиновника губернского ранга в определенную общность, равно удаленную как от простонародья, так и от служилых миров местных гарнизонов. Материальные претензии местной бюрократии, проявившиеся в структуре их продуктового потребления, оказались гораздо более высокими, чем у представителей тяглых слоев населения и низших категорий служилых людей. Даже самые незначительные по иерархическому положению и социальному происхождению управленцы стремились обеспечить собственный уровень жизни (и в количественном, и в качественном смысле) в соответствии с уровнем жизни состоятельного дворянства. В этом отношении дворянство, действительно, являлось для них своеобразным эталоном. В то же время источники не позволяют говорить о том, что в среде уральских приказных петровского времени было заметно выражено стремление к юридической нобилитации, тем более так ярко, как это, например, отмечается в рядах уральских промышленников-заводовладельцев второй половины XVIII в. Для того, чтобы жить, подобно дворянам, вовсе не обязательно было добиваться дворянского статуса: занятие любой, относительно сносной, должности в коронном аппарате оказывалось достаточным. Для изучаемого региона такой «стартовой» могла стать должность подьячего средней статьи в приличной уездной канцелярии или должность слободского приказчика (подчиненного комиссара).

Надо заметить, что при всей социальной пестроте источников комплектования уральской (или урало-сибирской) бюрократии, ее внутреннее состояние в первой четверти XVIII в. оказалось, на мой взгляд, достаточно однородным. Этой однородности, по моему мнению, способствовали два обстоятельства: несущественная дифференциация реального экономического и правового положения различных сословий, принимавших активное участие в формировании местного чиновничества и длительность служебного стажа основного ядра управленцев.

Характерной региональной чертой эпохи петровских реформ местного управления стало то, что даже администраторы высокого ранга оказывались связаны с сибирской службой на многие годы. Правило, которого пыталось придерживаться правительство в XVII в.: не допускать долгого нахождения воевод на одном месте, «чтоб не заворовывались», под грузом крайнего кадрового дефицита пришлось забыть. Основной состав воеводского (комендантского) и ландратского корпуса, сформированного

кн. М. П. Гагариным к моменту создания Сибирской губернии, состоял из людей, попавших в «сибирские города» еще на рубеже XVII–XVIII вв. или в начале XVIII в. Переезжая из Кайгородка в Туринск, из Тюмени в Хлынов, из Кунгура в Соликамск и «до бесконечности», меняя друг друга по уездам, но не покидая губернии, они за 10–12 лет устанавливали прочные деловые, дружеские, а порой и родственные связи между собой, превращаясь в достаточно сплоченную корпорацию, объединенную материальными интересами, которые давала им служба. За эти годы они имели возможность установить такие же лично-патрональные связи с основным приказным контингентом, достаточно компактным и сидевшим по своим приказным избам так долго, что всех его более или менее значимых представителей можно было знать, буквально, в лицо. За 17 лет административных преобразований (от фактического основания губерний в 1711 г. до ликвидации большей части петровских местных учреждений в 1727 г.), существенная смена старшего руководящего состава произошла лишь однажды — в 1719–1723 гг., да и то совершилась она постепенно. Что касается низшего руководящего состава и основной части приказных, то их круг остался почти неизменным и после кадровой смены, вызванной второй областной реформой: зная многих представителей этих категорий местной бюрократии поименно, можно говорить об этом с полной определенностью. Ротация кадров в этой среде, составлявшей, напомню еще раз, принципиальное большинство от общего числа уральского чиновничества, происходила крайне медленно. Совершенные новички, верстанные из посада и приборного «войска», создавали некоторый «социальный бриз» на периферии корпорации, верстаясь в молодые подьячие, но не они определяли климат. Устойчивые кланы, как в приказной, так и в низшей руководящей части местного госаппарата определяли его социальную стабильность. В какой-то мере мнение приказной корпорации, подьячих со стажем, учитывалось даже при принятии кадровых решений и могло влиять на служебную карьеру того или иного подьячего. Подьячие средней статьи П. Рылов и А. Рязанцев, например, произведенные в 1723 г. в старые подьячие вятским провинциальным воеводой В. И. Чаадаевым, рекомендовали на свои прежние места молодых подьячих П. Каркина и А. Юферева, чью пригодность к делам, в свою очередь, подтвердили «подписками» подьячие средней статьи Вятской провинциальной канцелярии Ф. Юферев, П. Глебов, Т. Метелев, Б. Юферев и И. Филимонов[31]. Показательно, что среди поручителей одного из выдвиженцев — Алексея Юферева — двое его родственников: Федор и Борис Юферевы; они и их сотоварищи к этому моменту прослужили в Вятской канцелярии от 8 до 11 лет. Родство как один из факторов корпоративной и, в перспективе, социальной консолидации усиливалось в этой среде свойством: браками между представителями приказных семейств[32]. В этом контексте изначальное происхождение тех или иных подьячих, их посадское или служилое прошлое, было не важным: они были приказными в поколениях. Впро-

[31] Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 425. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.

[32] Например, влиятельный в свое время вятский подьячий Я. Хлудов, выходец из московских приказных, был женат на вдове подьячего Петра Рязанцева, представителя старинной вятской подьяческой династии. РГАДА. Ф. 1113. Оп. 1. Д. 28. Л. 753–753 об. О патримониальных связях на высшем уровне местного руководства: между губернатором кн. М. П. Гагариным и рядом урало-сибирских воевод, подробно писал М. О. Акишин. *Акишин М. О.* Российский абсолютизм и управление Сибири XVIII в. М.; Новосибирск, 2003. С. 87–97.

чем, даже нововерстанные молодые подьячие, в случае удачной карьеры и закрепления в этой среде, едва ли имели большое основание кичиться своим казачьим прошлым или тяготиться посадскими корнями. Не уверен (за неимением надежных свидетельств), что глубокая социальная пропасть разделяла сибирских детей боярских, наследственно занимавших низшие руководящие должности на слободских и острожских присудах, и приказный контингент. Сибирские дети боярские, не служившие в местном госаппарате, с их 5–8-рублевыми денежными окладами и хлебным жалованьем в 5–8 четвертей, едва ли представляли собой более элитную часть общества, чем канцелярские служащие. Конечно, большая часть воеводского корпуса и чинов губернского управления отличалась несравнимо более высоким родовым статусом. Отпрыски старых московских фамилий, восходивших к Государеву двору XVI в. или носители княжеских титулов, попадавшие на сибирскую службу, вероятно ощущали свою исключительность и не ассоциировали свое, говоря современным языком, общественное положение с основной частью местного чиновничества. Но администраторов такого ранга было относительно немного, чтобы определять общий социальный облик уральской бюрократии, а долгий стаж на сибирских воеводствах роднил их с этой средой. Иными словами, человек, попадавший в состав местного госаппарата в годы петровских реформ, в той или иной степени интегрировался в его основную массу. Стаж и география службы так или иначе нивелировали различия первоначального социального статуса, вынуждая, в большей или меньшей степени, отдаляться от исходного социального «контекста».

Имущественные притязания, обусловленные принадлежностью к коронной администрации, а не социальным происхождением, реализовывались на местном уровне через целую систему мер, участие в которой само по себе укрепляло внутреннее социальное единство областной бюрократии. Механизм внутригрупповой консолидации уральских чиновников будет удобно рассмотреть через призму структуры их доходов.

«От трудов праведных не наживешь палат каменных»: легальные источники доходов провинциальной бюрократии в петровское царствование

Способы материального обеспечения жизненного уровня управленцев традиционно являлись одним из мощнейших инструментов внутрикорпоративной интеграции; правда, по сравнению с XVII в. способы эти пережили определенную эволюцию как по структуре, так и по содержанию. Характер процесса изменений способов материального вознаграждения местного чиновничества петровского времени нашел свое отражение в структуре их доходов. Анализ структуры доходов управленцев дает возможность выявления основного, структурообразующего источника доходов. Характеристика основного источника доходов (его происхождение, методы и средства его реализации) позволяет, в конечном итоге, судить о месте изучаемой группы в системе распределения совокупного материального продукта и, в соответствии с этим, служит одним из признаков социальной организации данной группы, ее общественной идентификации и степени внутренней консолидации.

Принято считать, что главным источником доходов приказной бюрократии допетровского периода (особенно в XVII в.), главым элементом общей структуры ее доходов, было служилое землевладение, реализовывавшееся через практику помест-

ного верстания и дач и связанных с ним денежных и натуральных окладов. Считаясь, подобно всем другим категориям служилых людей, в первую очередь военнообязанными, администраторы любого ранга, включая приказных, верстались поместными и вспомогательными окладами не за факт исполнения конкретной управленческой функции и не в соответствии с занимаемой должностью в госаппарате, а в соответствии со своим личным служебным статусом, который на практике обычно соответствовал должности. При всех тонкостях соотношения между различными группами приказных и остальными разрядами служилых людей, первые, по наблюдениям Н. Ф. Демидовой, «по поместным и отчасти денежным окладам… примыкали… дьяки — к служилым людям по московскому списку (думные — к окольничим; просто дьяки — к стольникам), подьячие — к городовым служилым людям от детей боярских и выше»[33]. Это был довольно четкий критерий, который, несмотря на профессиональную специализацию, т. е. место приказной бюрократии в системе общественного разделения труда, делал ее специфической, но *социально не выделенной* из общей массы служилых людей по отечеству. Социальному обособлению гражданской администрации России XVII в. препятствовало и то, что между высшей (административной) и низшей (собственно приказной, канцелярской) ее группами существовал значительный статусный разрыв. Судьи приказов и городовые воеводы, назначавшиеся из аристократических слоев общества, были дистанцированы от чинов канцелярского состава и даже дьячество, в среде которого могли находится выходцы из дворянства, равное в окладах потомственным служилым московского списка, *законодательно* было лишено некоторых сословных прав, присущих высшим группам служилых московских чинов, в первую очередь — права местничества с последними.

Эти черты, характеризовавшие положение представителей госаппарата в XVII в., заметно меняются в связи с реформами первой четверти XVIII в. При этом, на мой вгляд, перемены в положении местной части госаппарата отличались от перемен в центральной.

На условия служебного функционирования и образа жизни чиновников центральных учреждений большее прямое влияние оказывало новое административное законодательство, на местный аппарат — традиция, эволюционировавшая под весьма опосредованным влиянием законодательства. Что же происходило, в этой связи, в западных сибирских провинциях?

В силу объективных причин в Сибири было традиционно не развито служилое землевладение. Сибирские дворяне и дети боярские, как правило, независимо от своей конкретной службы, не владели поместьями в полном смысле этого слова. В лучшем случае им могли отводиться небольшие наделы пашенной земли и угодий, но в целом, поместные оклады заменялись для них натуральными выплатами. Поместные оклады полностью отсутствовали у подьячих сибирских приказных изб[34]. И хотя в моем распоряжении имеются данные о землевладении подьячих, служивших в учреждениях западных городов Сибирской губернии в период петровского царствования, они единичны и не опровергают общей картины, свойственной XVII столетию. Так, какими-

[33] *Демидова Н. Ф.* Бюрократизация государственного аппарата… С. 220.

[34] *Демидова Н. Ф.* Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987. С. 115–116.

то «деревнишками» «в Хлыновском уезде, в Филипове слободке» владел подьячий Я. Хлудов. Недвижимость эта была «благоприобретенной», доставшейся Хлудову от жены, бывшей первым браком за вятским подьячим Петром Рязанцевым[35]. Рязанцевы, в свою очередь, наживали земельную собственность еще в конце XVI–XVII в., причем разными путями: и через верстание, и через купли. Представители этого рода, выходцы из хлыновского посада, в разное время служили городовыми приказчиками и подьячими, входили в состав гостинной и суконной сотен, пополняли ряды местного приходского духовенства[36] Земельные владения Якова Хлудова расширились в 1713 г., благодаря его настойчивости и каких-то особых отношений с губернатором. По его челобитью кн. Гагарин не только поверстал его 50-рублевым денежным окладом (максимальная ставка для подьячих по Сибирской губернии), но велел отмежевать из пустых земель 30 дес. пашни и 15 дес. лугов вместо хлебного жалованья[37]. «Деревнишки», общим числом 6 дворов в Великорецком оброчном стане, принадлежали другому вятскому подьячему — Тимофею Хаустову, который в 1714 г. был в этих краях «на повытьи». Жалуясь на бесчинства Хаустова, великорецкие выборные сообщили, между прочим, что он «с тех деревнишек тягла не платит»[38]. Подьячий Тобольской большой канцелярии Яков Лапин имел в Южном Зауралье, в верхнем течении Уя, «с прошлых давных лет» оброчные рыбные и хмелевые угодья, о существовании которых нам стало известно на основании жалобы крестьян Окуневского острога, донесших в 1716 г., что владелец угодий платит с них мало оброка[39].

Перечисленные и, возможно, имевшие место другие случаи такого рода убеждают, во-первых, что не землевладение являлось главным источником благосостояния интерсующих нас приказных и что, во-вторых, независимо от социального происхождения, основная масса канцелярских служащих и мелких администраторов края были и в начале XVIII в. одинаково не затронуты поместным верстанием. Что касается старшего руководящего состава местного чиновничества, в большинстве своем и при Петре I назначавшемся на сибирскую службу из царедворцев, то и его представители не могли похвастаться значительной земельной собственностью. Принадлежа, несмотря на свои родословия, к средне- и мелкопоместному дворянству, воеводы сибирских городов уже в XVII в., отправляясь на службу, «настойчиво добивались выплаты денежного жалованья», что свидетельствовало о неспособности прокормится в «дальней государевой вотчине»[40] за счет поступлений из экономически маломощных и оставшихся за многие сотни верст поместий и вотчин. Немногие из них были хозяевами более чем сотни крестьянских дворов, разбросанных по нескольким уездам Европейской России. В основном за уральскими воеводами и ландратами числилось от 2 до 80 дворов крепостных, что, с одной стороны, сближало таких царедворцев (в смысле исходного экономического потенциала) с местными служилыми и приказными, а с другой позволяло выглядеть на их фоне едва ли ни магнатами таким редким счастливцам, как кн.

[35] РГАДА. Ф. 1113. Оп. 1. Д. 28. Л. 753–753 об.

[36] *С[пицын] А.* История рода Рязанцевых. Вятка, 1884. С. 5–7.

[37] РГАДА. Ф. 1113. Оп. 1. Д. 28. Л. 469.

[38] Там же. Л. 760–760 об.

[39] Там же. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2313. Л. 483–483 об.

[40] *Вершинин Е. В.* Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998. С. 46.

И. И. Щербатов (331 двор) или В. И. Чаадаев (417 дворов). В 1714 г. возможность увеличить свое недвижимое состояние для всех категорий служилых людей существенно осложнилась. Отмена поместного верстания как способа государственного обеспечения службы, оставила для большинства дворянства только частные способы приобретения имений (купля, приданое, наследование и т. п.).

Реформа в сфере материального вознаграждения гражданской администрации 1714–1715 гг. обычно считается в специальной литературе принципиально важным событием в процессе бюрократизации управления в России, поскольку, параллельно с отменой поместных окладов было введено жалованье как единственный и самостоятельный вид государственных выплат за конкретную деятельность в той или иной отрасли государственной службы.

В отличие от поместного оклада, оклады жалованья (единообразные по указу 1715 г. для большинства категорий управленцев) назначались в зависимости от занимаемой должности и, по замыслу правительства, должны были служить надлежащим стимулом к добросовестному исполнению обязанностей. Тем не менее, введение новых условий оплаты управленческого труда не решило возложенных на нее задач, во всяком случае в системе местного управления. Дело в том, что суммы, положенные на выплату жалованья чинам областной администрации, редко доходили до них в полном объеме и даже будучи выплаченными, в значительной части возвращались в казну через систему чрезвычайных налогов, разовых вычетов и штрафных изъятий[41]. Даже если предположить, что жалованье выплачивалось регулярно и в полном объеме, нетрудно заметить, что, например, для канцелярского состава всех рангов оно было не способно обеспечить высокий уровень жизни, тем более тот, на который эти чиновники претендовали. Таким образом, в структуре доходов местной бюрократии окладное денежное и натуральное жалованье (как и землевладение) не играло решающей роли ни до, ни после указа 1715 г. и, в следствие этого, не оно способствовало корпоративной или социальной консолидации.

Иной потенциальный оппонент может заметить, что этот тезис противоречит случаям многочисленных прошений приказных о повышении их должностных окладов; если значение жалованья было столь незначительно, то почему чиновники настойчиво добивались его увеличения?

Вопрос этот разрешается, на мой взгляд, двояким образом.

Во-первых, не являясь структурообразующим в системе доходов, этот источник, тем не менее, играл свою роль в качестве дополнительного. Было бы странным отказываться от легальной возможности получать больше, хотя бы время от времени.

Во-вторых, примечательна формулировка, которой нередко сопровождались подобные прошения. Наряду со стандартными сетованиями на крайнюю нужду («для того, что мне, рабу твоему имярек, питатца нечем», «того ради, что тем жалованьем з женою и детми (или людми) пропитатца нечем» и т. п.) среди них довольно часто попадаются другие: «и в том я пред своею братью, старыми подьячими, оскужен», «и тем против своей братии умален», «вели, государь, давать мне, рабу твоему, оклад против других подьячих середней статьи» и проч. Если первого рода формулировки

[41] Подробнее об этом: *Редин Д. А.* Административные структуры и бюрократия Урала… С. 497–499.

чаще всего носили «ритуальный» характер, поскольку, как правило, подобного рода челобитчикам было чем «питатца», и весьма неплохо (чему будут примеры ниже), то формулировки второго рода, при своей внешней клишированности, имели смысл. Приказные выражали тем самым, не только и не столько недовольство своим стесненным материальным положением, сколько принижением статуса, неоправданным исключением из круга равных, своей «братии». Денежное жалованье в этом контексте тоже имело значение внутрикорпоративного социального кода, статусный смысл. Думаю, что именно с этой точки зрения размер должностного оклада имел для управленцев, особенно канцелярского уровня, основное значение.

«Полон рот, а все есть просит»: эволюция традиционного воеводского кормления в первой четверти XVIII века

Так или иначе, но в изучаемый период самое главное значение в структуре доходов местной бюрократии приобретают кормления и близкие им формы материального обеспечения. Вопреки общераспространенному представлению об отмене кормлений в ходе судебно-административных реформ середины XVI в., многие историки (и дореволюционные, и современные) в той или иной степени признавали наличие кормленческой практики и в более позднее время[42], оговариваясь, правда, что кормления второй половины XVI–XVII вв. — отдельные архаичные черты, пережитки средневековой традиции управления; что материалы XVII в. не позволяют говорить о кормлениях как системе, но лишь как об элементах материального обеспечения воеводской власти и т. п. Тем не менее, специальные исследования, предпринятые, в первую очередь, Е. Н. Швейковской и Г. П. Ениным, абсолютно и убедительно доказали, что кормления существовали в течение XVII в. как системное явление, имевшее общероссийское распространение и проявляли способность к эволюции, выразившейся в усложнении кормленческой практики, появлении в структуре кормлений таких элементов, которые не были известными в эпоху существования наместничьего аппарата. Этот процесс продолжался и в XVIII в.: Г. П. Енину удалось выявить документы, отразившие последний этап существования кормлений (1760-е гг.), когда они находились, так сказать, «на излете» своей многовековой истории[43]. В первой четверти XVIII в. кормленная система была еще вполне

---

[42] См., например: *Чичерин Б. Н.* Областные учреждения России в XVII в. М., 1856. С. 37, 43, 84; *Градовский А. Д.* История местного управления в России. СПб., 1868. Т. 1. С. 171, 374–377; *Лаппо-Данилевский А. С.* Организация прямого налогообложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований. СПб., 1890. С. 8, 343–344, 511–512; *Дмитриев Ф. М.* История судебных инстанций и гражданского апеляционного судопроизводства от Судебника до Учреждения о губерниях // Соч. М. 1899. Т. 1. С. 67, 74–76, 118, 295–298, 310–311, 445; *Богословский М. М.* Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. М., 1912. Т. 2. С. 238, 285; *Луппов П. Н.* Документы по истории Удмуртии XV–XVII веков. Ижевск, 1958. С. 44; *Чистякова Е. В.* Городские восстания в России в первой половине XVII в. (30–40-е годы). Воронеж, 1975. С.42, 43, 166, 172–200; *Александров В. А., Покровский Н. Н.* Власть и общество. Сибирь в XVIII в. Новосибирск, 1991. С. 52, 57, 66–67, 70–71, 11, 123, 129, 133–134, 173–175, 179, 183, 186, 194, 196 и др.; *Вершинин В. Е.* Указ. соч. С. 48–55 и др.

[43] *Енин Г. П.* Воеводское праздничное кормление в начале 60-х годов XVIII в. // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 1994. Т. XXV. С. 103–116; *Он же.* Словесный воеводский суд (Исследование и источник) // Рукописные памятники. СПб., 1995. Вып. 2.

жизнеспособна и распространена во всех регионах России. Урал, как и Сибирь в целом, не составляли в этом смысле исключения.

Традиционное кормление, включавшее в себя «въезжие», «отъезжие», праздничные и повседневные кормы, собираемые с местного населения в пользу администраторов, процветало как в поморских, так и в западно-сибирских уездах (ставших основой формирования Уральского региона) вплоть до конца XVII в.[44] Было бы странно предполагать, что воеводы и приказные, управлявшие сибирскими городами в этот период и оставшиеся на прежних местах службы в эпоху петровских реформ, по какой-то неведомой причине, с 1711 г., или с 1715 г., или после какой-нибудь очередной «рубежной» даты вдруг отказались бы от кормленческой практики. Такого и не произошло. Система кормлений в крае была поставлена на широкую ногу, причем не только благодаря традиции: первый сибирский губернатор кн. М. П. Гагарин, сам знавший толк в кормлении, упорядочил и, в известной степени, нормативно легализовал процесс.

Пожалуй, главным гагаринским «усовершенствованием» стало то, что кормленные сборы *стали зачитываться им в уплату крестьянских и посадских податей*; во всяком случае, схема такого зачета декларировалась в губернаторских указах, некоторые из которых удалось выявить. Например, в указе кн. Гагарина (декабрь 1714 г.) вятскому земскому старосте Пантелею Непеину прямо предписывалось давать новому коменданту стольнику В. К. Толстому «из земской избы из земского збору на неделю» столько содержания, сколько давали в 1711–1712 гг. воеводе стольнику С. Д. Траханиотову, «а та дача зачтена им будет в подать». Если же Непеин и последующие старосты посмеют давать Толстому «не против Траханиотова», то им, как грозил указ, «учинено будет жестокое наказание»[45]. К большому сожалению, в цитированном указе не описан размер и состав этого недельного корма, но примечательно (помимо обещания его зачета в подати) то, что указ как будто устанавливает какой-то фиксированный размер подношения. Основываясь на наблюдениях Г. П. Енина, выяснившего, что в XVII в. (конец 70-х–80-е гг.) размеры хлыновских кормов были самыми значительными среди поморских городов и даже выше, чем во Пскове, можно предположить, что стремление губернатора к регламентации снабжения В. К. Толстого было вызвано намерением сохранять высокую ставку сбора и впредь[46].

Еще одно указание на практику зачета кормленных мирских расходов, причем как норму губернского масштаба, содержат показания И. Замощикова, бывшего старым подьячим и руководителем ряда столов Тобольской большой канцелярии в гагаринское губернаторство. В ноябре 1720 г. И. Замощиков, как один из фигурантов по делу первого сибирского губернатора, сообщил в следственной канцелярии И. И. Дмитриева-Мамонова и И. М. Лихарева о том, что в 1715 г., например, «необычныя… росходы, которые держаны по приказу губернатора и людей ево из збору крестьян окологородных… волостей», были «по пометам… ево, губернатора… зачитаны в вышеписанные годовые их оброки». Деньги на личные нужды кн. Гагарина, тобольского обер-коменданта И. Ф. Бибикова и коменданта Д. А. Траурнихта собирались, обычно, «по указом ево, губернаторским», как словесным, так и письменным и «по приказу камендантов», хотя «иные росходы и сами оне, крестьяне, отправляли без него». По

---

[44] См., например: *Вершинин Е. В.* Указ. соч. С. 49–50.

[45] РГАДА. Ф. 1113. Оп. 1. Д. 28. Л. 710.

[46] *Енин Г. П.* Воеводское кормление в России в XVII в. С. 69–70.

словам И. Замощикова, крестьянским денежным приношениям велся специальный учет: «зачетные росписи», на основании которых, по подписанию губернатором, происходило внесение указанных сумм в общую уплату податей[47]. Примечательно, что сам кн. М. П. Гагарин, вынужденный давать объяснения по поводу показаний Замощикова, не отрицал их по существу, но не нашел ничего лучшего, как попытался переложить ответственность за свои распоряжения на тобольского обер-коменданта. На допросе 16 ноября 1720 г. князь заявил, что о всем изложенном «он не ведает, потому что в Тоболску он в 715 году не был и губернии не ведал… и таких немалых росходов ему, Замощикову, без указов держать невозможно, и буде такие росходы он… держал, то [пусть] свидетельствуют указы, а в 715 году губернию ведал обор-камендант Бибиков», поэтому он, Гагарин, обо всех этих делах ничего сказать не может, в том числе не знает, зачислялись ли упомянутые крестьянские расходы в окладные сборы[48]. Деньги, взысканные с подгородных тобольских крестьян были действительно велики: только по разбираемому эпизоду — на общую годовую сумму в 1015 руб. 18 алт. 2 ден. В реестре, составленном И. Замощиковым по требованию следователей, подробно расписывались статьи расхода этих средств. Из реестра видно, что перед нами не полная картина годового кормления губернатора и его ближайших чиновников, а лишь ее часть, показывающая траты на хозяйственные нужды, в частности, на содержание и обслуживание их дворов. Так, в реестре показаны расходы на покупку дров (649 сажен на общую сумму в 144 руб 26 алт. 4 ден.) и сена (на общую сумму в 278 руб. 25 алт.) из которых в пользу губернатора («на губернаторской двор») пошло: дров — 192 сажени, сена — 520 возов; обер-коменданту И. Ф. Бибикову: дров — 62 сажени, сена — 160 возов; коменданту Д. А. Траурнихту «и зятю ево Бухольцу»: дров — 64 сажени, сена — 72 воза (правда, от этого количества какое-то число возов было выделено «афицером Бастанову с товарыщи»). Кроме того, «на строение губернаторских 2-х и за особые огороды людей ево, и за чищенье дворов и нужников, и за воску навозов работником за наем» истратили 166 руб.; за те же огородные работы в пользу Бибикова пошло 13 руб., Траурнихта с зятем — 20 руб. Дополнительно «за очиску дворов губернаторских и людей ево, и чтоб насыпали песком» работникам в совокупности выплатили еще 55 руб. На транспортировку 500 возов губернаторских «хлебных запасов» на мельницы и обратно было уплачено в общей сложности 150 руб. Это, так сказать, частные расходы. Но на мирские деньги кн. Гагарин содержал не только себя и комендантов с семьями. Часть средств шла на покрытие казенных потребностей: 30 руб. уплатили за провоз на мельницы и обратно 100 возов казенного хлеба, смолотого «для ямышевской посылки» — на выдачу служилым людям, отправляемым за солью на Ямыш-озеро; в ямышевский же «отпуск» крестьяне купили на 150 руб. «свиных мяс»; 150 саженей дров использовали на отопление Большой канцелярии и 48 саженей — «писарни», т. е. помещения, где трудились переписчики. Еще некоторое количество было потрачено на богоугодное дело: в пользу Вознесенской церкви тобольские «командиры» выделили 49 саженей дров, а 5 возов сена передали «в собор» (надо полагать, в кафедральный Софийский). Наконец, последнюю часть от годового расхода на хозяйственные нужды пришлось пожертвовать на обеспечение работы

---

[47] РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2640. Л. 82, 83 об.

[48] Там же. Л. 84.

следствия. Дело в том, что в 1715 г. продолжался розыск по первому обвинению кн. М. П. Гагарина обер-фискалом А. Я. Нестеровым; именно поэтому губернатора в Тобольске не было. Пока князь давал показания в Петербурге, в следственной канцелярии генерал-лейтенанта и л.-гв. подполковника кн. В. В. Долгорукова, производить расследование на месте, в Сибири, был отправлен л.-гв. капитан кн. А. Л. Долгоруков. Вот ему-то «и афицером ево, Бастанову с товарыщи» и было выделено 46 саженей дров и какое-то, точно не указанное, количество сена. Не исключено, что следствие, проводимое князьями Долгоруковыми, не дало результатов потому, что сибирские власти не поскупились на их содержание, которое, надо думать, дровами и сеном не ограничилось. Во всяком случае, позже обер-фискал Нестеров прямо обвинял следователей в попустительстве кн. Гагарину[49]. Еще 31 сажень дров пошла на отопление двора сыщика стольника С. Павлова и его подьячих, приехавших из Москвы; 8 руб. заплатили за очистку подворья, на котором остановился Павлов[50].

При всем значении личного «вклада» князя Матвея Петровича в поддержание кормленческой практики, было бы наивным полагать, что после его казни ситуация принципиально изменилась. Кормления продолжали оставаться важнейшей и неотъемлемой частью функционирования местного госаппарата и фрагментарность наших представлений о их масштабах и формах есть следствие только лишь того, что изучением этого вопроса в хронологии XVIII в., а соответственно, выявлением необходимых источников, в первую очередь — расходных мирских книг, никто систематически не занимался. Тем не менее, даже тот скупой материал, который попадает в поле зрения, дает достаточно пищи для наблюдений. Если цитированные выше показания И. Замощикова касались некоторых аспектов организации кормления высших чинов губернской иерархии, то материалы другого следственного дела — по обвинению В. Н. Татищева, приоткрывают завесу над организацией корма уездного уровня. Среди противоправных действий, которые инкриминировали капитану Татищеву, фигурировали взятки, полученные им от крестьян ряда уральских слобод. В. И. Геннин, проводивший татищеский розыск, поручил осенью 1723 г. своему доверенному лицу, л.-гв. сержанту О. Украинцеву и местному фискалу И. Крупенникову «проведывать, какие обиды в народе от камандиров были». Выполняя приказ, Украинцев и Крупенников сделали выписки из расходных книг местных старост, выбрав, в частности, те сведения, которые касались В. Н. Татищева. Его имя фигурировало в 7 эпизодах получения корма в Новопышминской, Белоярской, Камышевской слободах и Катайском остроге в 1720–1722 гг. В отличие от денежных поборов с тобольских подгородных крестьян, средства которых пошли на хозяйственные нужды, подношения Татищеву были, в основном, «столовые». Крестьяне Новопышминской слободы в 1720 г. через своего старосту И. Старцева поднесли горному начальнику «харчю на 3 рубли на 67 копеек» и быка, стоимость которого не указали; в 1721 г. ими снова было «несено» через старосту Е. Унесихина «всякого харчю на 1 рубль на 71 копейку», а в 1722 г. — солоду на 10 алтын, который передал староста К. Ежов, еще 10 алтын они потратили на «молотье солоду». Белоярский староста А. Аникин в 1720 г. тоже почтил капитана

---

[49] *Акишин М. О.* Российский абсолютизм и управление Сибири. С. 127; *Бабич М. В.* Государственные учреждения XVIII века: Комиссии петровского времени. М., 2003. С.216–218.

[50] РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2640. Л. 82–83.

съестным на общую сумму 3 руб. 11 коп. Подробнее расписали съестные подношения старосты Камышевской слободы А. Колосов и С. Гусев (1721 г.), давшие в два приноса масла, уток и меду на 2 руб. 95 коп. и кур, хлеба, калачей и пива на 1 руб. 61 коп. Катайский староста С. Ломаев в 1721 г. дал Василию Никитичу масла и мяса на 2 руб. 1 коп. В трех случаях (Новопышминская слобода, 1720 г.; Белоярская слобода, 1720 г. и Катайский острог, 1721 г.) кроме продуктов подносились деньги: 4, 3 и 5 руб. соответственно[51]. В контексте вопроса нет нужды разбирать, виновен или не виновен был Татищев, тем более, что официальное следствие его оправдало. Интересно другое: характер перечисленных кормов. Они явно имеют вид разовых подношений и ассоциируются с древней формой корма «на приезд», который подносился наместникам или воеводам не только во время их первого появления в городе, но и при каждом последующем, после возвращения воеводы из поездки по уезду, а также и при появлении в волостях вверенного уезда[52]. К подобному мнению пришел и генерал де Геннин, сообщивший в одном из своих доношений в Кабинет Е. и. в. (от 26 октября 1723 г.): «А старосты в распросах сказали, что он (Татищев. — *Д. Р.*) им лготы чинить в завоцких работах не обещал, токмо что де по их сибирскому обыкновению в первой ево, Татищева, приезд принесли в почесть бес пристрастия и угрозы»[53].

Но наиболее полно структура, ассортимент, участники воеводского корма в первой четверти XVIII в. предстают в единственной выявленной на сегодняшний день по региону расходной книге тюменского оброчного старосты Епифана Меншикова за 1717 г.[54] Расходные книги крестьянских и посадских общин, входящие составной частью в обширную группу приходо-расходной документации различного происхождения, давно привлекали внимание исследователей в качестве информативно насыщенного и полифункционального источника по истории социально-экономических отношений в России допетровского времени. Как источник, раскрывающий различные аспекты организации воеводского кормления в XVII в., расходные книги специально анализировались Е. Н. Швейковской и Г. П. Ениным[55]. Объединяемые функциональным признаком, эти книги, по замечению Г. П. Енина, «имеют и заметные отличия, обусловленные социальным положением и степенью грамотности писавших их людей, местной традицией кормления и делопроизводства»[56]. Знакомство с расходной книгой тюменского оброчного старосты 1717 г. показывает, что и в петровское царствование общие принципы ведения подобной документации не отличались от принятых в предыдущем столетии. По классификации, предложенной Е. Н. Швейковской, тюменская книга относится к общинной, фиксировавшей мирские расходы оброчных (черносошных) крестьян. Книга 1717 г., скорее всего является документом всеуездного значения; в пользу этого говорит структура кормов: на общине, представленной

---

[51] *Геннин В.* Уральская переписка с Петром I и Екатериной I. Док. № 34. С. 147, то же С. 148–149.

[52] *Енин Г. П.* Воеводское кормление в России в XVII в. С. 56.

[53] *Геннин В.* Уральская переписка с Петром I и Екатериной I. Док. № 34. С. 146.

[54] «Книга записная росходная оброчного старосты Епифана Меншикова». ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1093. Л. 1–28 об.

[55] *Швейковская Е. Н.* Государство и крестьяне России: Поморье в XVII веке. С. 177–198; *Енин Г. П.* Воеводское кормление в России в XVII в. С. 30–45.

[56] *Енин Г. П.* Указ. соч. С. 31.

через старосту Е. Меншикова, лежало обеспечение повседневного кормления уездной администрации и содержание и обслуживание воеводского двора — функция, свойственная, по наблюдениям Г. П. Енина, именно всему крестьянскому миру уезда[57]. Формуляр книги прост и довольно обычен. Записи располагаются в хронологической последовательности, в рамках календарного года, начиная с указания месяца и числа, и содержат описание статей поденных расходов. Весь годовой расход (за единичными исключениями) сводится к тратам на материальное обеспечение коменданта (полковника И. В. Воронецкого), комиссаров, городовых приказчиков (городничих), подьячих комендантской канцелярии и традиционного круга соучастников кормления: родственников и слуг коменданта и комиссаров, наемных мирских людей (приставов, палача, мельника, солодовника, пивовара, плотников и т. п.) и каких-то названных по именам лиц, не занимавших никаких должностей (возможно, всякого рода пособников, «клиентов» коменданта, на существование которых, в качестве соучастников воеводского кормления в XVII в., указал Г. П. Енин[58]). Среди субъектов годового корма время от времени встречаются «княжии драгуны» — нижние чины губернаторского драгунского эскадрона, вероятно, доставлявшие в Тюмень деловую корреспонденцию или осуществлявшие какие-то иные губернаторские «посылки», представители высшего епархиального духовенства, некий «сыщик». Совершенно незначительное место занимают в книге указания на собственно мирские расходы (например, заем «на мирскую держь», покупка бумаги в земскую избу) и ростовщические операции (несколько случаев выдачи общинных денег под проценты пленным шведам). Ведение книги непосредственно осуществлялось сменявшими друг друга мирскими писчиками (палеографический анализ позволяет установить не менее 6 почерков), людьми крайне низкого уровня грамотности. Это обстоятельство отразилось не только в безобразной и неуверенной графике письма, но, что гораздо важнее, на качестве записей. Так, например, расходы на поденный корм коменданту фиксировались то отдельной статьей, то совместно с комиссаром; суммы, затраченные на продукты питания то указывались отдельно от сумм, уплаченных на хозяйственные расходы, то валово; в ряде случаев нарушался строгий хронологический порядок и в апрельскую часть, например, оказывались вписанными расходы за мартовские дни (впрочем, в подобных ситуациях, скорее, была вина старосты, под диктовку которого иногда делалась помета: «потому я не в том числе написал, что я забыл») и т. д. Все эти обстоятельства служат помехой для точной статистической обработки информации, содержащейся в расходной книге, в частности, выяснения полных абсолютного и относительного размеров корма отдельных его адресатов. В довершение всего, при формировании дела в процессе современного архивного хранения его неправильно сшили, в результате чего фрагмент с л. 15 по 20 первоначальной фолиации оказался между 6 и 7 листами; это усугубило разрушение и без того не безупречной хронологической последовательности записей. Еще одной (досадной, с исследовательской точки зрения) особенностью источника является то, что стоимость продуктов, утвари, дров, фуража, услуг и прочих издержек на кормление указана не полностью, а лишь в той части, которая была затрачена данной крестьянской общиной. Логика такого способа

[57] *Енин Г. П.* Указ. соч. С. 167.
[58] Там же. С. 223–224.

записей понятна: старосте надо было зафиксировать не общий, а именно собственный расход. В то же время, повседневный комендантский корм осуществлялся оброчными крестьянами совместно с тюменской посадской общиной — на это есть одно прямое указание в источнике: 30 января Епифан Меншиков осуществил принос «втроем с посацкими старостами»[59]. Поэтому, хотя ассортимент (а иногда и размеры) ежедневного корма записывался полностью, его денежный эквивалент показан только в части, касавшейся крестьянской общины. Для примера приведу одну из наугад выбранных записей: «Февраля 2 день. Несено Ивану Васильевичю куриц, да ососов, да яиц, *с моего повытку* (варианты: «с моего паю», «с моего повытья». — *Д. Р.*) дано 3 алт. 4 ден. Михайлу Петровичю несено студень, с моего повытку дано 6 ден.» и т. п. [60] В силу этой особенности возможно посчитать денежные затраты общины (и среднесуточные, и ежемесячные, и годовые), но невозможно точно представить полную сумму доходов коменданта и других субъектов кормления. Равным образом источник не позволяет судить о количестве приносимых продуктов и предметов быта и обихода, поскольку в большинстве случаев староста Меншиков его не указывал: «несено мяса да тетерь, с моего повытку дано два алт.». В связи с этим нет возможности уверенно установить уровень цен на те или иные продукты питания или другие товары в данном году, исключение составило только топливо: несколько раз староста счел нужным указать, что им куплена *сажень дров*, которая обходилась по 24–25 коп. общинных денег (от 8 алт. до 8 алт. 2 ден.)[61]. И тем не менее, тюменская расходная книга представляет собой интереснейший источник, в частности, в контексте данного исследования, поскольку она дает возможность судить о структуре потребления местной администрации Урала в период петровских реформ, раскрывает структуру годового воеводского корма (по статьям доходов, составу кормленщиков) и позволяет оценить роль и место кормления в структуре доходов управленцев всех уровней.

В тюменской «Книге записной расходной» 1717 г. (далее — КЗР) зарегистрированы кормы нескольких категорий: традиционные, восходящие к практике наместничьего управления, праздничные кормы; праздничные кормы, появившиеся в XVII в. и подносимые в различных уездах по различным церковным праздникам; наконец, повседневное кормление. Признаками праздничных кормлений (к какой бы традиции они не восходили), в той или иной степени выделявшими эти кормления из повседневного круга, было обилие и разнообразие (и, соответственно, стоимость) подношения и широкий круг кормленщиков. Самым заметным и внушительным из праздничных кормов, зафиксированных в КЗР, был, конечно, пасхальный, или великоденный. В 1717 г. Пасха пришлась на 20 апреля. Коменданту И. В. Воронецкому была несена свиная туша, пуд масла, 300 яиц, 10 кур, 5 молочных поросят, лук и хрен. Бывший тогда при коменданте в комиссарах дьяк Семен Герасимович Прасолов получил мясо и яйца. Мясом почествовали всех значимых подьячих комендантской канцелярии: Никифора Ржанникова, Осипа Барашкова, Кузьму Петрова, Степана Подпольнова, Ефима Протопопова, Илью Чурилова, Ивана Беляева и Петра Ржанникова. Деньгами были одарены дворовые люди

---

[59] ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1093. Л. 4.

[60] Там же. Л. 4 об.

[61] ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1093. Л. 17, 17 об., 19. В Тобольске в 1715 г. дрова обходились дороже, по 10 алт. за сажень. РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2640. Л. 82.

коменданта и комиссара и приставы. К сожалению, как уже говорилось, в записях КЗР редко указывалось количество поднесенного, а его стоимость называлась только в той сумме, которую потратил из мирских денег староста Е. Меншиков. Поэтому оценить данный пасхальный корм в полном его денежном эквиваленте очень трудно. Так, например, Меншиков отметил, что за свиную тушу со своего повытья он заплатил 10 алт. 4 ден., пуд масла обошелся в четыре гривны, три сотни яиц — в гривну, десяток кур — в 3 алт. 2 ден., пять молочных поросят — в 2 алт., итого — 5 гривен 15 алт. 8 ден. (99 коп.). Само собой разумеется, что все перечисленные продукты, поданные на комендантский пасхальный стол, стоили значительно больше, даже с учетом относительной дешевизны местного продовольственного рынка. Чтобы хотя бы приблизительно оценить праздничное подношение В. И. Воронецкому, можно прибегнуть к некоторым данным по ценам на отдельные продукты питания в первой четверти XVIII в., имеющимся в источниках и литературе. В 1725 г. в Тюмени пуд «коровьего» (сливочного) масла продавался за цену от 64 до 96 коп.[62]; 40 коп., внесенные старостой Епифаном Меншиковым за покупку пуда масла для тюменского коменданта, составляет половину от некой усредненной цены этого товара. Зная, что помимо оброчных крестьян комендантское кормление обеспечивалось посадской общиной Тюмени, допустимо предположить, что другие 40 коп. за этот пуд вложили городские жители. Эта пропорция вроде бы подтверждается и другими расчетами. Описывая состав и стоимость оброка, собиравшегося в 1706 г. в калужском имении Г. Г. Скорнякова-Писарева, Ю. А. Тихонов привел цены на ряд продуктов: полпуда свинины стоили там 4 алт. 1 ден., баран — 5 алт., курица — 2 ден.[63] Цены эти во многом сопоставимы с уральскими. По таможенной ведомости 1725 г. нижняя цена пуда свиного мяса в Тюмени равнялась 25 коп. (полпуда — 12,5 коп. = 4 алт. 1 ден.), правда, верхняя могла достигать 47 коп.[64] Цена барана в регионе колебалась от 30 до 80 коп.[65], что тоже по нижнему уровню коррелирует с калужскими ценами 1706 г. и позволяет с осторожностью говорить о некоторой стабильности цен на мясную продукцию в Центральном районе и на Урале в 1700-х — первой половине 1710-х гг. Подобное допущение позволяет сделать оценку кур и молочных поросят, вошедших в пасхальный корм тюменского коменданта. Курица, по источникам Ю. А. Тихонова, оценивалась в 4 ден., обычно столько же давали за «ососа» — молочного поросенка[66]. В таком случае, общая сумма, уплаченная за 10 кур пасхального корма, составит 20 коп., а за 5 поросят 10 коп., в то время, как со «своего повытья» Меншиков истратил 3 алт. 2 ден. (10 коп.) и 2 алт. (6 коп.) соответственно. И вновь пропорция как будто указывает на то, что оброчные крестьяне и эти виды продуктов оплатили пополам с посадскими. Стройные расчеты ломает

---

62 ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1095. Л. 1–8.

63 *Тихонов Ю. А.* Феодальная рента … С. 205.

64 ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1095. Л. 1–8.

65 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 21б. Л. 185.

66 Бар. П. П. Шафиров, устанавливавший денежный оброк для крестьян своего арзамасского имения в 1722 г., предписывал брать по два алтына и за молочного поросенка, и за курицу. (Материалы по истории крестьянского и помещичьего хозяйства первой четверти XVIII в. / Подгот. к печати К. В. Сивков. М. 1951. № 8. С. 18). В данном случае «осос» и курица тоже уравнены в цене, но она в 3 раза выше, думаю, потому, что ставка денежного оброка взамен некоторых продуктов, формировалась с учетом высокого уровня петербургских цен: именно в Петербург из упомянутого владения должны были поступать и эти деньги, и столовый запас.

сумма, уплаченная за свиную тушу; она очень мала, всего 10 алт. 4 ден. (32 коп.). Самая низкая цена за свежую свинину — 25 коп. пуд и очень скромная туша в 100 кг (6,25 пуда) показывают общую стоимость в 1 руб. 56 коп.[67] От этой стоимости оброчные крестьяне уплатили 20,5%, или, примерно, пятую часть, а это означает, что либо на покупку свиной туши к великоденному корму деньги внесли не только посадские и крестьяне, но и еще кто-то (например, монастырские крестьяне и ямщики, чья община в Тюмени была значительной), либо, что мое предположение о половинном разделе бремени кормленного расхода между посадскими и оброчными крестьянами Тюмени и Тюменского уезда неправильно, или не всегда соблюдалось, что лишает возможности хоть сколько-нибудь уверенно высчитывать общий кормленный доход коменданта и приказных Тюмени. Совершенно невозможно строить какие-то расчеты подобного рода и на данных о подьяческом пасхальном корме, не деффиренцированном по ассортименту продуктов. Правда, на его основании заметна иерархия приказных комендантской канцелярии. Первенство в ней принадлежало старым подьячим Н. Ржанникову («несено… четверть мяса да свиной окарак, с моего повытья 6 алт. 4 ден.»), О. Барашкову («четверть мяса, с моего повытья шесть алтын»)[68] и К. Петрову («маса (так!) грудину да ссек, с моего повытья 5 алт. 2 ден.»). Далее следовали С. Подпольнов, Е. Протопопов и П. Ржанников, которым было несено «мясо» на 2 алт. («с повытья») каждому, и И. Чурилов и И. Беляев, на мясное угощение которым Е. Меншиков дал по 1 алтыну. В целом же пасхальное кормление 1717 г. обошлось тюменским оброчным крестьянам в 2 руб. 42 коп., на долю коменданта пришлось 99 коп., или чуть более 40% от этой суммы[69]. Удвоив показатели (помятуя о том, что данный корм был оплачен на паях с посадом), мы получим результаты, соспоставимые с теми (хотя и несколько меньшие), которые обычно получали на праздничное кормление воеводы средних уездов (в Поморье, например) в XVII в.[70]

Другим традиционным праздничным кормлением было рождественское. Приношение, сделанное 24 декабря 1717 г., касалось тех же адресатов, которые фигурировали в пасхальном кормлении; в их кругу отсутствовал только комиссар (вероятно, в связи со сменой и временной вакансией этой должности). Ассортимент рождественского корма расписан в книге довольно «глухо», одной строкой: «…несено Ивану Васильевичю да Никифору Ржаникову и всем подьячим мяса, и ососов, и масла, и яиц, и луку, и студень, и душу (так в тексте, правильно — тушу. — *Д. Р.*) баранью, всего на 2 руб.». Как и на

[67] Несомненно, приобретение этой пресловутой туши должно было обойтись «мирам» дороже, поскольку, во-первых, экономить на коменданте в день главного годового праздника было, по меньшей мере, неразумно, а во-вторых, апрель, в данном случае, — не лучшее время для покупки мяса: на период пасхального разговенья цена, скорее всего, была выше минимальной.

[68] На основе величины и качества подношения можно, конечно, судить о иерархии подьячих лишь в общих чертах. Так внутри группы старых подьячих первенство Н. Ржанникова над О. Барашковым не очевидно: во время другого праздничного корма (см. ниже) более солидный дар получил Барашков. Скорее всего они были примерно равны по рангу.

[69] ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1093. Л. 26.

[70] Данные на этот счет см.: *Енин Г. П.* Воеводское кормление в России в XVII в. С. 61–75. Но, повторю еще раз, даже двойное увеличение сумм, зарегистрированных в КЗР, не дает уверенности в их окончательном значении, поскольку большие праздничные кормы оплачивались и теми общинами, которые (в отличие от черносошной всеуездной и посадской) не принимали участие в повседневном кормлении.

Пасху, денежное подношение получили дворовые коменданта и приставы (по 3 алт. 2 ден. на каждую группу), причем эти деньги входили в общую сумму рождественского корма («в тех же двух рублях»)[71]. Очень скудным выглядит подношение на 29 июня, в Петров день. Ассортимент его не расписан, общая стоимость съестных припасов, доставленных «Ивану Васильевичю, и камисару Семену Ярасимовичу (Прасолову. — *Д. Р.*), и Никифору Ржанникову, и Кузме Петрову, и всем мелким подьячим», оценена в восемь гривен, «да еще на сено на 6 алт. на 4 ден.»[72]. Рублевый расход крестьян на это кормление, отсутствие среди субъектов корма «клиентской» группы — все это как-то мало соответствует представлениям об одном из важнейших праздничных кормлений, и если бы не упоминание о дарах, сделанных всем подьячим, кормление 29 июня вообще было бы трудно опознать как праздничное.

Скромность петровского корма с лихвой перекрывалась в январе. В этом месяце четыре дня по составу кормленщиков, ассортименту и стоимости подношений могут быть оценены как праздничные; приносы в эти дни не были обязательными во всех уездах России и обусловливались местными традициями. Первого января, в день обрезания Господня, особо чествовался комендант И. В. Воронецкий. Староста Епифан Меншиков поднес ему «мяса говяжья и свинова и налимов», доставил дров — всего на 5 алт. 2 ден. и дал «за празнишной» 3 алт. 2 ден. деньгами[73]. Четвертого января на предпразднество Просвещения дары получила вся административная верхушка Тюмени: комендант, комиссар-подьячий Михаил Петрович Усталков (предшественник С. Г. Прасолова), городовой приказчик Д. Кузнецов и казачий полковник Д. Г. Угрюмов. Все «командиры», кроме Д. Кузнецова, одарились деньгами. Самая большая сумма — 50 алт. 2 ден., была поднесена полковнику Угрюмову. С чем это было связано, сказать не берусь, возможно, с тем, что он являлся очень редким фигурантом крестьянских кормлений (ниже будет приведен еще один и последний подобный случай). Единственный раз за год денежное подношение коменданту оказалось ниже комиссарского (10 алт. и 11 алт. 4 ден. соответственно); приказчик получил мяса, за которое с «повытку» Меншикова было уплачено 2 алт. 4 ден. На нужды комендантской канцелярии крестьяне и посадские приобрели десть писчей бумаги, взнос за которую обошелся оброчному старосте в 4 алт.; на алтын было несено мяса некоему Ивану Григорьевичу Голенецкому[74]. Общий расход оброчных крестьян за 4 января составил 2 руб. 39 коп., почти достигнув размера пасхального корма[75]! На большой праздник Богоявления, 6 января, крестьяне «кормили» коменданта, полковника Д. Угрюмова и шестерых подьячих (К. Петрова, Е. Протопопова, Д. Подпольнова, И. Ильина и И. Чурилова); всем досталось мясо, подьячим — на 4 коп. каждому (1 алт. 2 ден.), коменданту с казачьим командиром — на 6 коп. каждому (2 алт.). Кроме того, коменданту на двор доставили по возу дров и сена, купили соломы и горшков на

[71] ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1093. Л. 23 об.

[72] ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1093. Л. 10.

[73] Там же. Л. 24. Возможно, в этот день у И. В. Воронецкого были именины.

[74] В целом можно только заметить, что Голенецкие — известная фамилия тюменских приборных служилых людей, представители которой в первой четверти XVIII в. служили в конных казаках и обер-офицерах. Например: ГАТО. Ф. И-181. Оп. 1. Д. 49. Л. 19– 20.

[75] ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1093. Л. 1.

домашний обиход. Но общая сумма крестьянских затрат составила всего 58 коп., значительно меньше того, что было вложено в кормление 8 января, день, с точки зрения церковного календаря, ничем особенным не отличавшийся. Тем не менее, 8 января комендант и два старых подьячих (О. Барашков и Н. Ржанников) получили обильные дары. Полковнику И. В. Воронецкому достались свиная туша, мясо, сметана, уксус, индейки и гусь; на комендантские нужды купили овса и дров. Осип Барашков получил свиную тушу, Никифор Ржанников — зад мяса, на двор владычного наместника послали рыбу, купили мяса какому-то Зубову (аж на 4 алт. 2 ден.) и на все это потратили 1 руб. 74 коп. — свыше полутора раз больше, нежели в Петров день[76].

Интересную картину дает анализ повседневных кормлений. Разумеется, главным адресатом подношений был комендант И. В. Воронецкий. Снабжение его продуктами, обслуживание его двора, обеспечение предметами быта и обихода происходило почти ежедневно: в некоторые месяцы (например, в январе, сентябре, октябре) староста являлся с каким-нибудь «припасом» без перерывов; в ряде случаев староста позволял делать паузы, не появляясь на комендантском дворе от 1 до 5 дней в месяц (в феврале, марте, мае, июне, июле, ноябре, декабре). В апреле подношения коменданту делались в общей сложности, в течение 21 дня, в августе — всего 13 дней. Тем не менее, за исключением времени Великого поста, комендантское снабжение было обильным и разнообразным, с лихвой покрывая текущие потребности полковника и его семьи (судя по подношениям родственникам, небольшой). Ассортимент продуктового кормления включал в себя говяжье и свиное мясо, доставляемое как тушами и крупными частями (полоть, четь, окорок, зад, кострец, грудина), так и более мелкими повседневными порциями по 1,5 — 3,5 кг и более[77]; баранину (редко), студень и сало, молочных поросят, большое количество домашней птицы (кур, уток, индеек, гусей), битой и живой; дичь (чаще тетерева и глухари, реже — куропатки, единично — гуси-казарки и лебеди). Много доставлялось рыбы, живой и мороженной; часто в КЗР перечислялись ее породы: нельма, налим, щука, линь, язь, подъязок, окунь, карась, чебак, плотва, реже — осетр и стерлядь). Хлебная продукция доставлялась зерном и мукой (традиционные рожь и овес, толокно), но чаще в ежедневный корм входили готовые хлебопродукты: ковриги, калачи, ситные хлеба. Обязательными были поставки яиц, сливочного («коровьего») и растительного («симянного») масла и конопляного семени. В зависимости от сезона на комендантском столе появлялась плодоовощная продукция (лук, чеснок, репа, капуста, огурцы, редька, горох), грибы (среди которых всегда особо выделялись рыжики: «несено грибов и рыжиков»), ягоды (не расписанные по сортам, лишь дважды упомянуты «ягоды вересовые» и один раз — клюква). В качестве приправ (кроме лука и чеснока), крестьяне доставляли хрен и уксус.

В обязанности оброчных крестьян входило снабжение воеводского хозяйства посудой и домашней утварью; в связи с этим на мирские деньги ежемесячно приобретались

---

[76] ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1093. Л. 1.

[77] Самая маленькая дневная сумма, затраченная Е. Меншиковым на приобретение мяса коменданту — 3 коп.; очень часто мясной принос обходился в 5–6 коп. в день. При средней цене пуда свежего говяжьего и свиного мяса в 30 коп. (свинина — от 25 до 47 коп. пуд, говядина — от 21 до 47 коп. пуд), нетрудно высчитать натуральный вклад оброчных крестьян в ежедневный мясной комендантский рацион.

корчаги, кадки, бочки, чаны, лагуны, кувшины, ведра, корыта, короба, лукошки, чаши, горшки, ложки, лопаты и заступы, веники, в том числе и банные (голики), санки и веревки. Разумеется, на хозяйственные нужды коменданта регулярно доставляли дрова и сено.

Община тратилась на оплату разнообразных работ в пользу коменданта: «соль толочь на комендантском дворе» (или «на воевоцком дворе»), «пиво варить у Ивана Васильевича на дворе», возить снег и лед в комендантский погреб, глину и песок на комендантское подворье, стирать одежду («рубахи мыть»), огораживать огород и сад («вишенье городить»), обносить «острогом» и крыть комендантский двор, достраивать и убирать жилые помещения («горницы»), осуществлять уход за комендантским огородом («гряды копать, росаду садить, поливать», пропалывать), сечь капусту, стричь овец и т. п.

На втором месте после коменданта по размерам повседневного обеспечения находились его товарищи-комиссары, которых за год сменилось двое (упоминавшиеся М. П. Усталков и С. Г. Прасолов). Частота доставки им кормов была более редкой (от 9 до 14 дней в месяц, чаще — ближе к верхнему показателю, стремящемуся к полумесячному). Главным образом, комиссары получали продукты питания, по ассортименту очень близкие к комендантским и мало уступавшие им по количеству и стоимости. Заметно реже оброчный староста приобретал для комиссаров бытовые предметы; разнообразие их было значительно скромнее по сравнению с комендантским и сводилось, в основном, к столовым и кухонным предметам (горшки, лагуны). Работы в пользу комиссаров, во всяком случае, в 1717 г., крестьянами не оплачивались, но снабжение дровами и сеном осуществлялось регулярно.

Следующей по интенсивности, ассортименту и размерам кормов была группа подьячих. Значительным приказным делали подношения, в среднем, по 5–7 дней в месяц, мясом, рыбой, калачами и деньгами. На праздники эти подношения, как можно было убедиться, достигали значительных размеров. Некоторые подьячие средней статьи и молодые (или «мелкие», как их называли в КЗР) подьячие снабжались реже и скуднее: таким могло быть подношение лишь один раз в месяц, а могло — 3–4 раза. Иногда им носили мясо, но чаще одаривали небольшими суммами в 1–3 коп. Своеобразной формой почести, оказываемой подьячим, было угощение их спиртным за мирской счет. В КЗР эта статья звучала так: «подьячим выпоили на гривну, а с моего повытку 10 ден.», «выпоил подьячим вина, с моего повытку дано 1 алт. 2 ден.», «подьячим выпоил в подвале на 6 ден.», «подьячим дано на пойло 6 ден.». Примечательно, что чаще всего эта «услуга» практиковалась в Великий пост (пять случаев за март), вероятно, облегчая его перенесение приказными. Примерно наряду со старыми подьячими (по частоте и характеру подношений) снабжались городничие (которых за 1717 г. сменилось трое: Данила Кузнецов, Иван Бобонегин и Данила Панфилов). Эта архаичная для середины 1710-х гг. и к этому времени, несомненно, выборная должность, появившаяся в России в связи с реформами 1530-х гг., продолжала существовать в Тюмени ввиду важного военного значения города и приграничного положения уезда. Статус городничих, или городовых приказчиков действующим законодательством не регулировался, но тем не менее, не относясь к коронной администрации, они почитались, в силу традиции и исполнения военно-полецейских функций, наряду с мелкой уездной администрацией.

Довольно частыми адресатами подношений были постоянные соучастники корма: комендантская и комиссарская дворня, приставы и мельник. По частоте подношений

они догоняли наиболее почтенных подьячих, а в некоторые месяцы перегоняли их. Подавали им исключительно деньгами.

Общая сумма годового расхода, потраченная тюменскими оброчными крестьянами, составила в 1717 г. 141 руб. 10,7 коп. Примерно половина ее приходилась непосредственно на долю коменданта. Сумму общего дохода, полученного всеми категориями кормленщиков и соучастников следует увеличить как минимум вдвое, до 282 руб. (округленно). Какой-то кормленный доход, как уже говорилось, несомненно поступал через разовые («въезжие», праздничные) подношения, отдельные «почести» и «посулы» от других категорий податного населения уезда: ямщиков, монастырских крестьян, возможно, от служилых приборных людей местного гарнизона, крестьян отдельных слобод, в частности, подгородной и т. д. В результате получится годовой итог, сопоставимый с тем, которого добивались во второй половине — в конце XVII в. администраторы уездов средней руки: рублей до трехсот, может быть несколько более. Конечно, это небольшие деньги на фоне циклопических кормлений, которые собирали, например, воеводы южнорусских уездов, где в 1690-х гг. счет приносов шел на сотни и тысячи пудов, четвертей и голов[78]. Но даже те суммы, которые можно вычислить на основе данных КЗР 1717 г. позволяют понять, что тюменский комендант И. В. Воронецкий только за счет, так сказать, классического кормления легко получал доход равный, а возможно, превосходящий сумму его годового окладного жалованья. Чем выше был ранг администратора, тем, разумеется, большее количество ресурсов шло на его содержание. Масштабы продуктового потребления и обеспечения быта у этой категории местной бюрократии в разы и на порядки перекрывали прожиточный минимум за счет кормленного дохода. Сюда же следует добавить поступления от различных хищений казны, махинаций по статьям государственных доходов, обогащение за счет получения взяток с подчиненных и прямого вымогательства с населения в процессе осуществления судебной, административной и податной деятельности, входившей в круг должностных обязанностей чинов руководящего состава, о чем многократно писалось в специальной литературе.

«Писаря пируют, а мужики горюют»: кормления «от дел»

В неразрывной связи с комендантами и воеводами получали кормы мелкие администраторы и приказные. Их доля в повседневном и праздничном кормлении, как видно и из приведенных примеров, была значительно ниже, чем у воевод и чиновников губернского ранга. Отчасти это объясняется их более скромным служебным положением, но не только. Получая «по чину» как кормленщики совместно с комендантом, они пользовались полуузаконенной возможностью кормиться «от дел». На мой взгляд, получение доходов с населения в результате выполнения должностных обязанностей, следует отличать от повседневного кормления, хотя и рассматривать как одну из форм кормленной практики. Разница этих вариантов прямого участия в распределении совокупного дохода, очень зыбкая сама по себе, может быть определена тем, что повседневное кормление поступало его адресатам, что называется, в порядке «почести», кормление же от «дел» давало возможность получать доход по конкретным случаям, во время осуществления того или иного административного (в широком смысле) действия. Местные власти, по сути, признавали право приказных на такого рода вознаграждения. В свою

[78] *Енин Г. П.* Воеводское кормление в России в XVII в. С. 136–142.

очередь, приказные и близкие к ним по положению низшие руководители, всяческие приказчики и комиссары, широко этим правом пользовались, прибегая к различным способам изъятия денег и материальных ресурсов у податного населения. Собственно служба в приказных избах и канцеляриях могла приносить небольшой дополнительный доход или не приносить никакого, а могла стать стабильным источником значительных средств. Уже в XVII в. подьячие различали «корыстные» и «некорыстные» службы. Н. Ф. Демидова, например, приводит колоритные примеры невыгодных служб подьячих центрального аппарата, трудившихся в Посольском приказе, приказе Великого княжества Литовского, Смоленском приказе и т. п. Невыгодность нахождения в них обусловливалась отсутствием «челобитчиковых дел», частных прошений, с подателей которых, даже без особого нажима, можно было ожидать мзды. Историк сделала интересный вывод о том, что даже более высокие и регулярно выдававшиеся в подобных учреждениях оклады не могли утешить их сотрудников[79]. Похожие настроения бытовали и у подьячих уральских учреждений петровского времени. Хлопотной и не доходной считал, например, свою службу подьячий Е. Дьяконов, бывший в Вятской приказной избе «у отпуску и досмотру» пленных шведов в 1712 г. Он бил челом не только о повышении оклада, но и о передаче ему в «повытье» вотчин Вятского Успенского монастыря и оброчных сборов с мельниц, пашенных земель и конской площадки[80]. Не пользовались популярностью службы по оформлению финансово-податной документации, о чем ярко свидетельствует доношение подьячего А. Дьячкова. Дьячков в 1713 г. подвизался в Денежном столе Тобольской большой канцелярии под началом старого подьячего Я. Костромина и просил срочной выдачи окладной задолженности, особо подчеркивая, что работает он «у доимки, у самых бескорысных и непрестанных дел»[81]. По той же причине проявлял недовольство старый подьячий Вятской приказной избы Степан Новиков, отправленный комендантом кн. И. И. Щербатовым собирать доимки в Волковский и Бобинский станы. В январе 1714 г. он просил губернатора от тех дел его отставить и велеть дать ему в повытье сборы с хомутов, конской продажи, оброчных мельниц и пчел[82]. Зная чудовищную степень запущенности налоговых сборов, запутанную отчетность, требовавшую едва ли не круглосуточного сидения в канцелярии, потоянную угрозу наказания, висевшую над приказными, причастными к «щету» и полную отрешенность от «челобитчиков дел», нельзя не посочувствовать этим просителям и другим, им подобным. Для сытного и обеспеченного житья приказный должен был «общаться с людьми». Надзор за канцелярскими сборами, проведение переписи, участие в оформлении частных исков с лихвой восполняли подьячим недоданное в рамках воеводского годового кормления. Сидя на выгодном повытьи, подьячий сам становился персональным, прямым и непосредственным адресатом такого «служебного» кормления. Как представители администрации, подьячие широко пользовались правами «въезжих» кормов. Их появление в населенных пунктах уезда обязательно сопровождалось подношением со стороны местных жителей. Но поскольку приказные были все-таки чиновниками низкого ранга и подносили им

[79] *Демидова Н. Ф.* Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987. С. 141–142.

[80] РГАДА. Ф. 1113. Оп. 1. Д. 28. Л. 315–315 об.

[81] Там же. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2251. Л. 315.

[82] Там же. Ф. 1113. Оп. 1. Д. 28. Л. 665.

меньше, чем воеводе, то это провоцировало их частые, так называемые, «безделные» поездки по территориям, нередко сопровождаемые насилием, призванным обеспечить более высокий уровень кормов. Этот древний обычай, свойственный мелким кормленщикам средневековья, был серьезным раздражающим фактором для тяглецов, вызывал рост социальной напряженности и, в конечном итоге, был ненужен власти. Неслучайно, что уже в тексты иммунитетных грамот и грамот наместничьего управления XV–XVI вв. включали норму против такого рода «ездоков» и «незваных гостей», запрещая наместничьим людям, приставам и доводчикам «обедать там, где ночевали и ночевать там, где обедали»[83]. Подобные «окрики» раздавались в адрес подьячих и в изучаемое время. В 1711 г. кн. М. П. Гагарин, в указе, адресованном вятскому и соликамскому воеводам, запрещал собирать подати непосредственно с крестьян, требуя, чтобы полагающиеся с них суммы получали из рук старост и сотников, в присутствии приходского священника, специальные рассыльщики, «люди добрые, не воры, не пьяницы и не мздоимцы». Губернатор мотивировал свое распоряжение тем, что недобросовестные сборщики, разъезжая по уезду «для своей безделной корысти», причиняли населению многие «обиды и налоги», отчего «многие уездные люди в тех городех разорились, и домы их опустели, и оттого государевы подати умалились»[84]. Почти дословно этот указ был повторен через год, 10 декабря 1712 г.; текст его был дополнен характерным фрагментом, под угрозой смерти запрещавшим «подьячим з города в уезд ни для каких государевых и челобитчиковых дел и по своим прихотям всякими вымыслы для своих взятков отнюдь не ездить»[85]. Эти запреты особенно странно звучали на Вятке, где существовала прочная традиция территориальных повытий, возглавляемых именно подьячими. Несмотря на появление, время от времени, подобных запретов, никто всерьез их не воспринимал, в том числе и их авторы в Тобольске. Даже когда насилия мелких администраторов доводили народ до вооруженных выступлений, губернская власть вставала на защиту своих подчиненных. Очень характерен в этой связи эпизод с Семеном Немтиновым, бывшим приказчиком в ишимских слободах в 1713–1714 гг. Немтинов не только вымогал взятки с подведомственных ему крестьян (в среднем, по 10 руб. с человека), волокитя дела, но и собирал под видом казенных платежей некие суммы, из которых, как выяснилось в ходе разбирательств, в Тобольск высылал «малое число», а за собранные таким образом деньги не выдавал отписей. Доведенные до отчаяния, крестьяне разгромили немтиновский двор, но он бежал в Тобольск и подал против крестьян встречную жалобу, обвиняя их в грабеже. Наглость приказчика была столь велика, что в первой, «словесной» челобитной, он показал размер потерянного имущества: 1400 руб. деньгами и 500 четвертей хлеба! Видимо, сообразив, что заявленные суммы совсем ему «не по чину», С. Немтинов в письменной челобитной точных цифр уже не называл, лишь указав, что у него пограбили деньги, скот и хлеб. Тобольские власти однозначно встали на сторону приказчика:

---

[83] *Веселовский С. Б.* Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.; Л., 1947. Т. I. С.120, 124, 272–273; Двинская уставная грамота. Ст. 12; Белозерская уставная грамота. Ст. 4. // Российское законодательство X–XX веков / Под общ. ред. О. И. Чистякова. Т. 2.: Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / Отв. ред. А. Д. Горский. М., 1985. С. 182, 193.

[84] РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2072. Л. 90–91 об.

[85] Там же. Ф. 1113. Оп. 1. Д. 28. Л. 145–145 об.

наказание крестьян было поручено полковнику Петру Нефедьеву с командой драгун. Карательная акция весны 1714 г. переросла в затяжные столкновения, потребовала посылки дополнительных подразделений (подполковника А. Парфентьева и майора И. Бобровского) и повлекла жертвы с обеих сторон. Общее количество участников волнений достигло 1000 человек. Дело приняло такой скандальный оборот, что в него вмешались центральные власти, снарядив к месту происшествия комиссию во главе со стольником М. Ртищевым. Следствие по Ишимскому бунту длилось до 1724 г., но в конечном итоге, Немтинов нисколько не пострадал и был отставлен «за старостию», хотя и обвинялся лидерами повстанцев по «слову и делу»[86]. История Семена Немтинова в данном случае примечательна только тем, что оказалась ознаменована бунтом. Десятки его сотоварищей — слободских приказчиков, судебных, земских, подчиненных и мостовых комиссаров, промышляли тем же, обеспечивая себе достойный уровень жизни, в то время как крестьяне и посадские безропотно терпели их домогательства, в лучшем случае осмеливаясь на подачу доношений в вышестоящие инстанции. Ряд примеров подобного рода был приведен мною выше. И если Немтинов ушел на покой, то другие лихоимцы продолжали нести службу на новых местах, пользуясь неизменной поддержкой вышестоящих начальников.

Как правило, лишенные возможности прямого казнокрадства, подьячие и низшие «управители», имевшие отношение к сбору налогов и проведению переписей, прибегали к казнокрадству косвенному. Описывая «насилства» Немтинова, ишимские крестьяне упомянули о незаконных сборах, которые приказчик собирал, якобы, для отправки в Тобольск. Сбор средств в свою пользу под видом сбора налогов, вероятно, не был изобретением ишимского приказчика. Недвусмыслено, например, фиксируют подобные действия кунгурской администрации источники начала 1720-х гг. Так, едва появившись осенью 1722 г. на Урале, генерал В. И. Геннин обнаружил, «что в Кунгурском уезде посланные ис кунгурской канцелярии, также сотники, и зборщики, и десятники… збирают с народу неуказные излишние многие зборы с великим пристрастием и боем, не объявя, по каким указом и на какие оные потребы повелено збирать, и не дав в платеже таких зборов описи». Пикантность ситуации заключалась в том, что начатая, судя по цитате, с большим размахом «налоговая» кампания, видимо, приурочивалась к встрече самого генерала. Заправлявшие в уездной канцелярии подьячие решили скопить средства на «въезжее» царскому посланцу и его многочисленной свите и, заодно, вознаградить за усердие себя. Во всяком случае, как удалось выяснить де Геннину, за некоторое время до его прибытия в Кунгур, приказные сумели собрать какие-то деньги. Генералу пришлось срочно пресечь их инициативу и указом от 15 октября 1722 г. под страхом смерти запретить «неуказные излишние зборы», следующие «бутто бы… генералу-маэору или при мне обретающимся служилым мастеровым людем и канцелярским служителем в поднос, называя

---

[86] РГАДА. Ф. 248. Кн. 19. Л. 485–496; Кн. 641. Л. 742 об.–747. Подробную информацию по Ишимскому бунту и некоторые следственные документы по нему см.: *Голикова Н. Б.* Восстание крестьян ишимских слобод в 1714 г. (из истории классовой борьбы сибирского крестьянства) // Вестник МГУ. 1963. Сер. 8: История. № 3; *Акишин М. О., Шашков А. Т.* Фискальный гнет петровской эпохи и сибирское крестьянство (к вопросу о достоверности переписей конца XVII — начала XVIII в.) // История русской духовной культуры в рукописном наследии XVI–XX вв. Новосибирск, 1998.

в почесть». Генеральский указ предписывал тяглецам ничего не давать по подобного рода запросам и доносить о них фискалу, а если фискал не примет мер, то мимо фискала «вышним без опасения»[87]. Геннинские воззвания, его решимость и личная честность, необычно контрастирующая с общим фоном, произвели впечатление: как указывалось выше, народ увидел в нем настоящего царского слугу, могущественного и справедливого, и буквально засыпал жалобами на местных начальников, которых генерал преследовал почти два года с момента своего прибытия в край. В кои-то веки монархические иллюзии простонародья получили очевидную поддержку. Но, как известно, преследование лихоимцев принципиально положения дел не изменило.

Все эти примеры (и многие другие, которые можно было бы приводить до бесконечности, делая соответствующие выборки из архивных документов и литературы), были изложены не для того, чтобы в очередной раз убедить себя и читателей в алчности, изворотливости, цинизме и жестокости чиновничества изучаемой эпохи. В контексте моих рассуждений они имеют другой смысл. Кормления и близкие к ним формы обеспечения бюрократии за счет управляемого населения, рассматриваемые обычно именно в качестве источников дохода управленцев, могут, на мой взгляд, быть оценены и с другой точки зрения: как средство, или инструмент социальной консолидации этой категории российского общества, как еще один, присущий ей социальный код. *Чтобы иметь право на кормление, необходимо было принадлежать к одной корпорации, занимать место в системе государственного управления.* Перефразируя известный постулат XVII в. можно вывести формулу, характеризующую положение местного чиновника: «Нет службы без кормления и кормления без службы».

***

Таким образом, кормление есть то специфическое явление, которое одновременно отражает как особое место изучаемой общественной группы в системе разделения труда, так и особое место в системе распределения совокупного дохода. Привлекательность коронной службы обусловливалась тем, что она давала возможность обогащения: в этом заключался главный стимул для тех, кто принадлежал к числу ее «сотрудников». Кормленческая практика интегрировала управленцев всех рангов, вне зависимости от социального происхождения и уровня изначального благосостояния; была первичным и общим в определении их социального статуса. Но что же нового привнесли в систему кормлений преобразования первой четверти XVIII в.? Любой историк, изучавший практику организации государственного управления в XVII столетии, увидит в изложенном выше материале продолжение традиции XVII столетия, ничего более. Но на мой взгляд, изменения, все-таки, произошли. С отменой поместного обеспечения, обозначившегося процесса измельчания дворянского землевладения, неспособности государства предложить местному чиновничеству стабильного, достаточного и легального материального вознаграждения, изменилась сама структура доходов бюрократии. В этом контексте кормления и близкие к ним формы обеспечения превратились в структурообразующий элемент системы содержания чиновничества и однозначно закрепили за собой социально маркирующий характер.

---

[87] ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 5[а]. Т. 3. Л. 539 об.–540 об.

«Власть канцелярии» и «искусство редактирования» в Имперской России XIX–начала XX века

А. В. Ремнев

Давай играть, будто мы туда можем пройти!
Вдруг стекло станет тонким,
как паутинка, и мы шагнем сквозь него!

Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье

Входя в любое государственное учреждение, мы с трепетом или возмущением пересекаем границу, за которой нас встречает пространство канцелярии, с ее таинством и ритуалами, священнодействием над бумагами и демонстрацией чуть ли не сакральности документа, а сами ее служители предстают с показной значимостью и намеками на свои почти неограниченные возможности в толковании свыше предписанных законов и инструкций. Это мир, сконструированный не только строгими юридическими нормами, но и ведомыми только ее творцам обычаями и ролевыми сценариями, своего рода фантастическая реальность, прочно удерживающаяся в нашем воображении.

В последнее десятилетие в российской историографии произошел бум в исследовании истории государственных учреждений периода империи. Вместе с тем, историки и государствоведы столкнулись со своего рода методологическим кризисом, свидетельствующим не только о необходимости продолжения накопления фактического материала, но и создания новых объяснительных моделей. Как справедливо заметил М. Д. Долбилов, историки все еще находятся во власти идола «абсолютизма» и мало уделяют внимания «истории самодержавной власти как процесса управления»[1]. Вместе с тем, еще Н. Элиас указывал на то, что «мы можем узнать немало нового о государствах различного типа, если рассмотрим их просто как организации, попытавшись понять их структуру и способ функционирования»[2]. Это обращает нас к истории технологии власти императорской России как на личностном, групповом, так и институциональном уровнях. Государственные учреждения предстают таком случае в качестве особой среды коммуникаций, где, помимо юридически закрепленных норм и статусов, существовала масса практических приемов принятия даже самых важных политических решений. «Бюрократическая реальность, — как ее описывает Г. А. Орлова, — может быть определена как мир админи-

---

[1] *Dolbilov M.* The Political Mythology of Autocracy: Scenarios of Power and the Role of Autocrat // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2001. Vol. 2. No. 4. P. 774–775. см. также: *Ремнев А. В.* Самодержавное правительство. Комитет министров в системе высшего управления Российской империи второй половины XIX — начала XX в. М.: РОССПЭН, 2010.

[2] *Элиас Н.* Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной аристократии с Введением: Социология и история. М., 2002. С. 174.

стративного опыта, структурированного посредством письма»[3]. Действительно, это был особый мир, со своими акторами, методами, мотивациями и ценностями. Под воздействием модернизационных процессов канцелярский чиновник, казалось, превращался в своего рода воплощенную функцию, восходя к образцу веберовского «идеального бюрократа». Но при этом канцелярская среда оставалась местом тайным с культивируемым чиновничьим долгом «держать служебные секреты»[4], закрытостью от общественного взгляда, где устойчиво сохранялись традиционные черты патримониального общества с его клиентализмом, перекрывающим официальные нормы и институции[5].

Бюрократизация управления неизбежно вела к замещению целей средствами, когда канцелярские процедуры приобретали самоценность, порождая устойчивую связку «письмо-власть» (М. Фуко). Бюрократическая ментальность в своей основе является письменной, в которой документ имеет не только определяющее, но и своего рода сакральное значение, определяющим ритуалы делопроизводства. Эти ритуалы охватывали все уровни бюрократической иерархии, включая самого императора[6]. Управление при помощи письма становилось основой технологии властвования. Формализация делопроизводства и лавинообразное нарастание объемов документооборота ставило уже саму власть в зависимость от канцелярских процедур, хотя правовое регулирование и строгое следование нормативным правилам нередко отторгалось канцелярской средой. Имперский государственный аппарат продолжал оставаться «правительством царских агентов» и в пореформенное время, несмотря на модернизацию ряда его институтов и рационализацию действий бюрократии. Внутриправительственная трансформация, как это предлагает Дж. Ейни, может быть описана в таком случае, как столкновение «личных агентов» монарха и институтов «легального порядка»[7]. Между тем, сферы власти и общества не оставались безнадежно разделенными, а грань между чиновниками и интеллигенцией не казалась уже столь непреодолимой.

Возраставшая бюрократизация управления, централизация власти, запутанность законодательного механизма, сложная организация принятия управленческих решений порождали новые функции канцелярий. «В связи с ростом сложности и технологичности политические решения все в большей мере — отметил Е. Этциони-Хейлви — требуют специальной экспертной оценки. Осуществляет экспертизу бюрократия, так как политические лидеры, в том числе министры, не обладают для этого достаточными знаниями и навыками. Из-за нехватки подобных знаний они не могут реально контролировать свои министерства, и сами неизбежно начинают зависеть от них»[8]. Это неизбежно вело

---

[3] *Орлова Г. А*. Бюрократическая реальность // Общественные науки и современность. 1999. № 6. С. 96.

[4] *Дингельштедт Н. А*. Канцелярская тайна у нас и за границей // Вестник Европы. 1897. № 3. С. 316.

[5] См.: *Шаттенберг Сузанне*. Культура коррупции, или к истории российских чиновников // Неприкосновенный запас. 2005. № 4 (42).

[6] *Долбилов М. Д*. Рождение императорских решений: Монарх, советник и «высочайшая воля» в России XIX в. // Исторические записки. М., 2006. Т. 9 (127). С. 5–48.

[7] *Yaney G. L*. The Systematization of Russian Government: Social Evolution in Domestic Administration of Imperial Russia, 1711–1905. Urbana: University Illinois Press, 1973. P. 5–10.

[8] Цит. по: *Пушкарева Г. В*. Государственная бюрократия как объект исследования // Общественные науки и современность. 1997. № 5. С. 83–84.

к повышению роли чиновников среднего звена, а делопроизводство становилось не только техническим элементом, но и действенным средством управленческого процесса[9]. Это была своего рода латентная «власть канцеляристов», определяемая не столько законом или иными нормативными документами, сколько бюрократической практикой[10]. Интеракции в связке начальник — подчиненный были более сложными, чтобы их можно было описать только в категориях поручения — исполнения. В «зазеркалье» канцелярского мира роли начальников и подчиненных могли претерпевать существенные трансформации, неожиданно открывая путь простым труженникам пера к деятельному участию в государственных делах. Это было не только стремление получить личную выгоду или опасение «подставить» своего патрона, но и желание поправить его действия, улучшить решения и направить их в «правильное» русло. Подобные устремления могли наполнять канцелярских служителей чувством ведомственного патриотизма и корпоративной солидарности, ощущением сопричастности к большому делу государственного и общественного служения, возвышать их статус. Значение чиновников среднего звена при частой сменяемости министров, невысокой профессиональной подготовленности последних и перегруженности «административной вермишелью», в реальности оказывалась гораздо выше той официальной роли, которую им отводили.

В данной статье я буду оперировать, главным образом, материалом, связанным с деятельностью высших государственных учреждений Российской империи XIX — начала XX в. Именно в это время в столичных канцеляриях становились наболее заметны перемены, приведшие к появлению новой генерации чиновников, когда власть и наука, бюрократия и интеллигенция искали допустимые формы сотрудничества. Возможно, это позволит лучше понять противоречивые тенденции, определявшие социокультурную трансформацию государственных канцелярий.

Социокультурное пространство канцелярии и «власть письма»

Канцелярия представала особым социокультурным пространством, в котором действовали письменные технологии власти, а процедуры и стадии прохождения документов в процессе их подготовки являлись структурным каркасом бюрократической повседневности, сближавшей ее с мануфактурным производством, обезличивавшим и превращавших канцелярских работников в своего рода «винтики» государственного механизма. Делопроизводственный документ становился продуктом конвейера, на котором каждый исполнитель мастерил свою деталь и отвечал за ее качество[11]. Примечательно, что уже современники признавали сходство бюрократической администрации с машиной. «Чем более канцелярская сторона походит на устройство машины, чем точнее очерчены ее формы и составные части, чем определеннее ее формы и составные части, тем лучше, с точки зрения письмоводства, она устроена, и тем более

---

[9] *Шепелев Л. Е.* Некоторые проблемы источниковедческого и историко-вспомогательного изучения делопроизводственных документов XIX — начала XX вв. // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. XVI. Л., 1984. С. 25.

[10] *Мустонен П.* Собственная его императорского величества канцелярия в механизме властвования института самодержца. 1812–1858. К типологии основ имперского управления. Хельсинки, 1998. С. 164–165.

[11] *Литвак Б. Г.* Очерки источниковедения массовой документации XIX — начала XX в. М., 1979. С. 130–134.

она имеет свойств машины»[12]. Канцелярия представляла собой сложный механизм с большим количеством операций над документами[13]. Действия канцелярских служителей были стандартизированы и сведены к разделенным по времени операциям письмоводства, чтения, собирания справок, согласований и доклада. Изготовление документа закрепляло в канцелярском пространстве устойчивые социальные роли: те, кто писал и те, кто переписывал и те, кто подписывал бумаги. Траектория прохождения документов и производимые над ними операции с особой тщательностью были прописаны в законодательных актах и инструкциях. Канцелярия становилась наиболее регламентированной сферой управленческой и судебной деятельности, что представлялось особой формой контроля за чиновниками, традиционно подозреваемыми в склонности к злоупотреблениям[14].

Внутри бюрократического мира, делопроизводственный текст являлся своего рода маркером профессионализма канцелярских служащих, поэтому эстетические и содержательные качества подаваемого «по начальству» документа приобретали самостоятельный ценностный смысл. Приверженность к канцелярскому стилю управления сопровождалась лавинообразным увеличением «бумажной массы». Эффективность учреждения оценивалась по количеству входящих и исходящих бумаг, решенных и нерешенных дел, времени нахождения их в производстве, умению своевременно «очистить» бумаги и обеспечить быстроту прохождения документов через разные инстанции. В одном из самых популярных руководств по составлению делопроизводственной документации середины XIX в. не без основания указывалось, что «стилистически правильно составленный документ не встретит препятствий на всем сложном пути своего движения…»[15]. Для среднего и низшего чиновничества количество составленных документов служило показателем успешной работы, а бюрократическое письмо, в их глазах, становилось символом и смыслом государственной деятельности[16]. Перманентные попытки, исходившие сверху, сократить объемы документооборота, учреждение комитетов по сокращению делопроизводства, как это было в 1851 г., или издание специальных законов: «О сокращении делопроизводства и переписки по гражданскому управлению» (1852 г.), «О мерах по сокращению переписки» (1860 г.), особого успеха не имели[17].

---

12 *Ржевский В. К.* Взгляд на теорию бюрократической администрации // Русский вестник. 1860. Т. 29. Октябрь. Кн. 2. С. 803.

13 К середине XIX в. насчитывалось 54 делопроизводственные операции при рассмотрении дела в губернском правлении, 34 в департаменте министерства, 36 — в Комитете министров. — Руководство к изучению форм и порядка делопроизводства. СПб., 1848. см. также: *Митяев К. Г.* История и организация делопроизводства в СССР. М., 1959. С. 74.

14 *Такой взгляд на канцелярских чиновников особенно был распространен в дореформенный период.* — См.: *Писарькова Л. Ф.* Российский чиновник на службе в конце XVIII — первой половине XIX века // Человек. 1995. № 3, 4.

15 *Варадинов Н. В.* Делопроизводство или теоретическое и практическое руководство к гражданскому и уголовному, коллегиальному и одноличному письмоводству, к составлению всех правительственных и частных деловых бумаг и к ведению самих дел. СПб., 1857.

16 *Орлова Г. А.* Бюрократическое письмо как механизм господства // Политические исследования. 1999. № 5. С. 76–82.

17 *Вялова Л. М.* Тенденции сокращения документооборота в XIX в. // Делопроизводство. 2000. № 2. С. 80–85.

Стандартизация и формализация (бланк-трафарет) убивали индивидуальность делопроизводственного документа, превратив его в технический атрибут процесса управления. В бюрократическом сознании процедура принятия решений и их документальное оформление возводились в своего рода ритуал, которому необходимо было тщательно следовать и несоблюдение которого осуждалось. Однако формально закрепленное авторство за тем, кто подписал документ, скрывало сложный процесс выработки и оформления документа. Несмотря на многочисленность нормативных актов, организующих пространство канцелярского действия, оставалась важная сфера, где чиновники руководствовались неписанными традициями, своеобразными нормами обычного права, определявшими ускользавшую от закона условность и конвенциональность моделей их поведения.

Чиновная служба, как отметил Ю. М. Лотман, сохраняла в начале XIX в. низкий общественный престиж: «Русская бюрократия, являясь важным фактором государственной жизни, почти не оставила следа в духовной жизни России: она не создала ни своей культуры, ни своей этики, ни даже своей идеологии»[18]. Между тем, он, почему то не захотел заметить, что в канцелярской среде, особенно в столице, именно в это время начались важные перемены. На государственную сцену выходят новые люди, которые сформировались в бюрократической «школе» М. М. Сперанского. В петербургских канцеляриях появляются свои законодатели моды, которые пользовались славой умения составлять бумаги. В их числе, несомненно, был лицейский однокашник поэта А. С. Пушкина и дипломата князя А. М. Горчакова государственный секретарь барон М. А. Корф (1800–1876). Самостоятельных постов в бюрократической иерархии он почти не занимал, хотя считался «вечным кандидатом» в министры, однако, оказал огромное влияние канцелярскую сферу XIX столетия. Руководя делопроизводством ряда высших учреждений Корф сумел окружить его «особенным блеском»: «Порядок делопроизводства был доведен до совершенства. Дела решались безостановочно; во всех канцелярских отправлениях господствовала величайшая точность; переписка бумаг отличалась щегольским изяществом»[19]. Упоминая о своих заслугах, сам он, в частности, утверждал, что «извлек» канцелярии Комитета министров и Государственного совета «из той моральной грязи, в которой обе валялись при прежних начальниках, и возвел ту и другую на невиданную у нас степень честности, правдивости и порядка»[20].

Действительно, фактическая бесконтрольность действий глав канцелярий предоставляла немало возможностей не только для влияния на ход делопроизводства, но и для злоупотреблений. Так, в 1831 г. управляющий делами Комитета министров Ф. Ф. Гежелинский был обвинен в том, что он по нескольку раз докладывал дела, пользуясь тем, что министры нерегулярно посещали заседания, задерживал министерские представления и даже подчищал царские резолюции[21]. Действия Гежелинс-

---

[18] *Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб, 1994. С. 27.

[19] *Грот Я. К.* Воспоминания о графе М. А. Корфе // Русская старина. 1876. № 2. С. 423.

[20] *Цит. по*: *Долгих Е. В. К проблеме менталитета российской административной элиты первой половины XIX века*: *М. А. Корф*, *Д. Н.* Блудов. М., 2006. С. 151.

[21] *Середонин С. М.* Исторический обзор деятельности Комитета министров. Т. 2. Ч. 1. СПб., 1902. С. 33. Суд над Ф. Ф. Гежелинским // Русская старина. 1898. № 4; *Корф М. А*. Записки. М., 2003. С. 10–28. см. также: *Шепелев Л. Е.* Чиновный мир России. СПб., 1999. С. 65–67.

кого послужили поводом к упорядочению деятельности канцелярии, но решительных преград повторению их в будущем поставлено не было. Власть управляющего делами, даже тщательно определенная в законе, по мнению Корфа, оставалась важной:

«1) управляющий делами есть начальник и хозяин канцелярии. Председатель по закону (подчеркнуто в тексте. — А. Р.) не имеет над нею никакого начальства, а члены устранены даже и от косвенного на нее влияния; 2) все дела вносятся в Комитет через его посредство. Засим предоставляется ему возвращать министрам их представления, если он признает их, не подлежащими рассмотрения Комитета; 3) он подносит журналы Комитета государю, что прежде делалось лично, теперь же совершается при докладных записках; 4) он соединяет в своем лице всю исполнительную власть по делам Комитета, и ни одна бумага не выходит иначе как за его подписью»[22].

Кроме того, имелся целый ряд практических приемов, которые делали, по выражению Корфа, власть управляющих канцеляриями почти беспредельной. Сам он признавался, что, будучи государственным секретарем, «беспрестанно без всякого зазрения совести и страха» пересочинял проекты указов и положений, вносимых министрами в Государственный совет, пользуясь тем, что министры могли не помнить всех тонкостей документа[23]. Желание угадать и угодить, могло перерасти в стремление вложить свои мысли и понимание вопроса в голову начальника. Однако канцелярским деятелем хотелось большего, их уже не устраивала роль «смышленого уборщика чужих мыслей». Но переход из канцелярии в среду так называемой активной администрации оставался все еще затруднен, а высшие государственные посты, даже в гражданской администрации, продожали занимать аристократы и военные. Не случайно, уже на закате жизни, оценивая свою служебную карьеру, Корф подвел неутешительный итог «двуличности» и приниженности своего положения:

«Сколько нужно осторожности и навыку, чтобы не выходить их пределов канцелярского доклада и между тем соединять с ним защиту или опровержение мнений, когда противная сторона [держит] с своих руках все средства прямого рассуждения, ораторских выходок и пр.; как скользко это поприще, где никогда нельзя вполне ограничиваться только или наведением справок, или рекапитуляциею обстоятельств дела, или цитированием законов; где надо только намекать, а додумывать — давать другим; как тяжко, наконец, это среднее положение, где лишнее слово, одна, сорвавшаяся в порыве фраза, один неловкий оборот речи могут навлечь призвание к порядку, с тьмою еще других непрятностей, и где, при [вместе с тем] иногда так трудно возобладать над собою и не выронить этого лишнего слова, тень совета, ясно и определенно высказав свое мнение, защищать его, свободно, всеми орудиями диалектики, всею силою живого слова в мере доставшегося ему в удел дарования; Госуд[ударственный] Секретарь, напротив, должен всюду идти ощупью, обиняками, твердо помнить роль, предписанную ему уставами Совета и обстоятельствами, ни на минуту не предаваться влечениям и порывам чувства; члены могут призывать к себе на помощь и ум, и сердце, Госуд[ударственный] Секретарь — всегда лишь один ум; первый вправе высказать, что думает, а последний редко может всецело выговориться; у того — полная

---

[22] Записка М. А. Корфа о Комитете министров в 1831–1834 гг. // Советские архивы. 1976. № 5. С. 62.

[23] *Корф М. А.* Дневник. Год 1843-й. М., 2004. С. 149.

фраза, у этого — одни отрывочные намеки. И к тому еще, когда член через передачу своей мысли на общий суд Совета только исполняет прямую обязанность, к которой он призван своим званием, у Госуд[ударственного] Секретаря все, что и удается ему высказать, принимает вид как бы личности против представившего Министра или говорившего члена, а они надолго не могут простить его оппозиции, хотя бы последняя была направлена, очевидно, против лица»[24].

Однако, когда в 1843 г. Корф стал членом Государственного совета, он расценил это назначение, как почетное, но лишившее его личной власти, «которая всегда так сильна в руках даже и самого благонамеренного редактора», у него не стало начальника, но он лишился и подчиненных. «Чувствую, что в новой моей сфере я несравненно менее буду полезен, менее виден, нежели в прежней»[25]. Не случайно, некоторые посчитали, что такое назначение могло быть следствием недовольства императора, или какой-либо интриги[26].

Новый бюрократический стиль и язык

«Дней александровых прекрасное начало» знаменовало модернизацию государственного аппарата, рационализацию делопроизводства. Рождалась новая бюрократическая реальность, в которой письменная культура делопроизводственного документа и новый бюрократический стиль были главными составляющими. Забота о языке правительственного документа становилась важной государственной задачей, направленной на его грамматическо-стилистическую и риторическую нормализацию, создание системы правил построения текста и документооборота[27]. Канцелярский документ оказался открыт новым литературным и лингвистическим веяниям, а М. М. Сперанскому удалось обеспечить внедрение нового литературного языка в делопроизводство, созданные им тексты стали своего рода каноном бюрократической словесности. Это достигалось путем выразительности и краткости изложения, стандартизацией форм и речевых оборотов, точным применением терминов, апелляцией к законам и повелениям монарха. Ссылки на Священное писание или другие церковные тексты сменяются на авторитетные высказывания ученых и видных исторических деятелей, рациональная мудрость которых становится важным аргументом, способным убедить или опровергнуть оппонента, произвести впечатление на участников заседания, на того, кто будет утверждать документ. Расширялась практика использования правовой лексики, которая активно внедрялась в делопроизводственный обиход, благодаря усиливающемуся влиянию профессиональных юристов. «Потребности модернизации делопроизводства, — отмечает Л. Е. Шепелев, — послужили стимулом к изменению «приказного стиля», или «официального слога», то есть общепринятого условного

---

[24] Дневник М. А. Корфа // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817. Ч. XIV. Л. 125–126.

[25] *Корф М. А.* Дневник. Год 1843-й. С. 172–173.

[26] Примечательно, что полвека спустя, когда управляющего делами Комитета министров А. Н. Куломзина в 1902 г. назначили в Государственный совет, то он рассуждал примерно также и воспринял повышение, как переход «из кабинета в спальню». — *Куломзин А. Н.* Пережитое // Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1642. Оп. 1. Д. 199. Л. 48.

[27] *Романенко А. П.* Проблемы нормализации русского канцелярского стиля первой половины XIX в. Дисс. … канд. филол. наук. М., 1981. С. 77.

канцелярского языка. Язык этот страдал многими недостатками, из которых пространность (многословие) и неточность (витиеватость) были главными»[28]. Каллиграфическое мастерство — предмет достоинства многих поколений письмоводителей — было поставлено под сомнение с расширением сферы грамотности, введением пишущей машинки и типографского способа изготовления документов. Отказ от архаизмов и «высокого стиля» в пользу лексики и фразеологии «среднего стиля», с непременным присутствием автора документа, который соединял в себе как высокого заказчика, так и канцелярского исполнителя. Документ должен был не просто передавать информацию, но и служить средством убеждения, причем литературные достоинства и умение удачно подать мысль высоко ценились. «Начальство требовало, — вспоминал К. Веселовский, — чтобы изложение было литературно вылощено, выглажено, чтобы от него не пахло прежним канцелярским пошибом, причем на выточенность изложения обращалось иногда больше внимания, чем на сущность дела»[29]. С особой тщательностью относились к документам, публиковавшимся от имени императора, в которых следовало избегать излишней высокопарности, сохраняя необходимое достоинство, присущее «беседе Государя со своим народом», при этом не «выговорить лишнего, но и не выронить чего-нибудь нужного»[30]. «Искусство редакции» и его «мастера» становились заметным компонентом управленческого процесса, без них не могли уже обойтись имперские сановники, к чему они стремились, но одновременно и тяготились, понимая свою зависимость от канцелярских сотрудников.

Незаменимы оказывались канцеляристы не только в техническом изготовлении проектов, но и в доведении их до «нужной кондиции». Демонстрируемая ими беспристрастность и бюрократический профессионализм становились залогом успешности служебной карьеры. Высоко ставя роль канцелярии в подготовке дел к решению, Корф, не случайно, в качестве главных достоинств чиновника упомянул не только добросовестность и умение редактировать, но и то, чтобы в изложении разногласий членов высших учреждений не были заметны пристрастия редакторов. «…Это и большое мастерство, большая победа над самим собою, потому что, — как особо отмечал Николай I, — и не имеющему голоса нельзя же не иметь своего убеждения». Демонстрируемое беспристрастие канцелярии ценилось монархами, позволяя им думать, что они остаются свободными «от влияния сильнейшего или слабейшего изложения мнения той или другой стороны»[31]. Корф с чувством несомненной гордости приводил в дневнике похвалы Николая I и признание своих заслуг председателем Государственного совета и Комитета министров графом А. Ф. Орловым: «Да, Государь, — отвечал Орлов, — и мы все ему дивимся, особенно когда у нас выходят разные голоса, и каждая сторона требует, чтобы ее мнение было изложено сильнее, в чем он — не знаю уже как — всегда успевает нас удовлетворить. Вообще он, с пером своим, умеет выставить нас перед [Вашим] Величеством гораздо умнее, нежели мы в самом деле»[32].

---

[28] *Шепелев Л. Е.* Чиновный мир России: XVIII — начало XX в. СПб., 1999. С. 54.

[29] *Веселовский К.* Воспоминания // Русская старина. 1903. № 10. С. 31.

[30] *Корф М. А.* Дневник. Год 1843-й. С. 150.

[31] *Корф М. А.* Записки. М., 2003. С. 221, 222.

[32] *Корф М. А.* Дневник. Год 1843-й. С. 159.

В дореформенный период канцелярские чиновники, как правило, были из выслужившихся писарей, и «горе было тому интеллигенту, который заберется в их среду»[33]. Но постепенно и в канцеляриях оказывались не только сухие и бездушные письмоводители, а также люди, получившие высшее образование, склонные к научным занятиям, не чуждые литературных исканий и увлечений. Канцелярский секретарь — «любитель муз», поэт или писатель, — хотя и был к середине XIX в. явлением неожиданным, но уже не уникальным. Публицистичность стиля, пришедшая из журналистики, оказала заметное воздействие на язык официальных документов, а аналитические справки и теоретические обоснования придавали им черты научных трактатов. Новая канцелярская эстетика и смысловая нагруженность делопроизводственных текстов не могли не изменить оценочную шкалу способностей канцелярского служащего, породить новый делопроизводственный канон. Современный исследователь российской канцелярии XIX в. Г. А. Орлова пишет даже о своеобразной «поэтике бюрократической ментальности»[34].

Все же Корф, по словам его младшего современника, по определению, принадлежавшего уже к поколению реформаторов-«шестидесятников», князя Д. А. Оболенского, был представителем «школы» государственных деятелей прошедшего царствования. «Эта школа выработала так называемую официальную редакцию, заменившую ясный и точный стиль правительственных актов гладким, бесстрастным и лишенным содержания словотечением»[35]. К представителям этой «школы» Оболенский относил помимо Корфа, Д. Н. Блудова[36], В. П. Буткова, А. П. Суковкина[37], которые довели редактирование документов до виртуозности. Выходцем из такой «школы» был и министр внутренних дел П. А. Валуев, который, по словам Д. А. Милютина, превосходно умел «отделываться округленными фразами, с риторическими украшениями, сглаживать всякие шероховатости, разводить все бесцветной водой и приводить самые важные вопросы к нулю, подобно алгебраическим формулам. Эта именно способность, развитая в тогдашних государственных дельцах, вследствие долговременной привычки угождать, сглаживать — и вела к тому, что в самых важных обстоятельствах не умели принять мер действительных, а ограничивались привычными канцелярскими фразами»[38].

Об дальнейших изменениях в стилистике делопроизводственных документов чиновник МВД В. Ф. Романов писал, что в отличие от дореформенного времени, когда по его признанию канцелярский стиль, действительно, был до смешного подобострастным, «язык этот во многих ведомствах эволюционировал в чисто литературный живой язык, сохранив при этом основное свое качество — точность»[39]. Целенаправленно

---

[33] *Куломзин А. Н.* Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 192. Л. 7.

[34] *Орлова Г. А.* Российская бюрократическая ментальность (1801–1917 гг.). Дисс. … канд. психол. наук. Ростов н/Д., 1999. С. 75.

[35] Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. СПб., 2005. С. 381.

[36] Д. Н. Блудов (1785–1864) начал карьеру в канцелярии Московского архива Коллегии иностранных дел и закончил службу председателем Комитета министров и Государственного совета, получив в 1842 г. титул графа.

[37] *А. П.* Суковкин был управляющим делами Комитета министров в 1853–1860 гг.

[38] *Милютин Д. А.* Воспоминания. 1860–1862. М., 1999. С. 367.

[39] *Романов В. Ф.* Старорежимный чиновник (из личных воспоминаний от школы до эмиграции. 1874–1920 гг.) // ГАРФ. Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 598. Л. 124–125.

велась борьба по искоренению архаизмов из делового языка документов, о чем рассылались специальные циркуляры. Но все же специфика канцелярского языка и особой бюрократической ритирики не только сохранялась, но и осознанно культивировалась. Когда только что поступившему в канцелярию Комитета министров выпускнику юридического факультета Петербургского университета И. И. Тхоржевскому поручили написать журнал, то его начальство, удовлетворившись дебютом молодого сотрудника, все же было удивлено, что тот умеет писать[40]. В. Б. Лопухин, перешедший в Государственную канцелярию из Министерства финансов, где считался «недурным редактором», оказался там «мальчишкой и щенком». «Да, там, и только там, — вспоминал он, — путем постепенного, со времен Сперанского, усовершенствования форм делового изложения, выработались традиционно передаваемые от поколения к поколению приемы казенного писания и канцелярский стиль, поистине образцовые»[41].

Канцелярские дельцы переходной эпохи: пример В. П. Буткова

Еще одним достоинством канцелярских деятелей было не только отличное владение пером, но и умение находить компромиссы, редакционным способом примиряя противные стороны в высших государственных учреждениях. Они становились незаменимыми членами и даже председателями разного рода комиссий и комитетов, влияли на ход их деятельности, контролируя делопроизводство. Демонстрируемый ими высокий бюрократический профессионализм становился залогом успешности служебной карьеры. Хотя с середины 1850-х гг. в усилении роли канцелярий и развитии «письмоводства» стали усматривать угрозу бюрократизации государственной власти, подчеркивая принциальное отличие «чиновников-администраторов» от «чиновников-бюрократов». Под последними понимались прежде всего служащие столичных канцелярий, которые проявляли «наклонность стать целию, вместо того, чтобы быть средством, и действительно, — подчеркивал В. К. Ржевский, — мы видим, что письменная администрация, явление, по существу своему служебное, может сделаться явлением господствующим»[42]. Даже М. М. Сперанский не избежал упреков в формализме и незнаний реалий русской жизни, когда его «реформы реформировали только формы». В 1856 г. Д. Н. Блудов отмечал, что при высокой степени централизации власти и бюрократической регламентации масса дел, восходящих до столичных учреждений, оказывается в руках не главных начальств, а их канцелярий, которым они вынуждены передоверять значительную часть своих полномочий. «Таким образом, судьба представлений губернских начальников и генерал-губернаторов весьма нередко зависит не от господ министров, но от столоначальников того или другого министерства»[43]. Именно губернаторам и генерал-губернаторам, которым приходилось проводить много времени в Петербурге, приходилось испытывать неприятные и унизительные для их официально высокого статуса процедуры отношений со

---

[40] *Тхоржевский И. И.* Последний Петербург. Воспоминания камергера. СПб., 1999. С. 30.

[41] Записки бывшего директора I департамента МВД В. Б. Лопухина // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 1000. Оп. 2. Д. 765. Л. 84–85.

[42] *Ржевский В. К.* Взгляд на теорию бюрократической администрации. С. 809.

[43] Записка Д. Н. Блудова «О бюрократии вообще» / Публ. Л. Е. Шепелева // Английская набережная, 4. СПб., 2007. Вып. 5. С. 370.

столичными канцеляристами, что побуждало их искать «протекции» или напрямую обращаться к министру или самому императору.

Несмотря на возрастающую профессионализацию российского чиновничества, особенно заметную в высших и центральных учреждениях Петербурга, канцелярская среда стойко удерживала старые принципы службы. Выпускники высших учебных заведений, хотя и повлялись в канцелярской среде, не произвели ожидаемого переворота. Заниматься письмоводством соглашались лишь наиболее посредственные из них, нередко лишь затем, чтобы удержаться в Петербурге. «Мудрено ли, что они делаются часто врагами науки и обращаются в безусловных поклонников практики и притом практики канцелярской, письменной, формальной, в мире бумаг, отношений, докладов, ведомостей, входящих и исходящих, настольных и всяких других реестров и проч. и проч.?». Хотя они были не прочь «блеснуть ученостью», или поговорить, с видом знатока, о литературе и искусстве, особенно с заезжими провинциалами. Но как бы низко не оценивали это новое явление в бюрократической среде современники, именно эти чиновники, во многом, были первыми, кто оказался способен внести свежую струю в затхлый мир канцелярий. Высшее образование прибавило им амбициозности, тем более что в большинстве своем их непосредственное канцелярское начальство — хранители старины — не вызывало уважения в силу «отсталости» и отсутствия даже минимальных умственных запросов. Канцелярские помощники, формировавшие свою шкалу ценностей и свой инструментарий, стремились уже не только играть закулисную роль, но и выйти из тени, заняв видные государственные посты, что стало главным каналом бюрократизации управления в целом.

Это породило особый тип канцелярского дельца, с его дилетантской «энцикопедичностью» и жизненной «практичностью», который оказался особо востребован в условиях явной неготовности петербургских учреждений к выполнению усложнившихся задач государственного управления. Безусловно, самой заметной фигурой в этом отношении был управляющий делами Комитета министров, а затем государственный секретарь В. П. Бутков (1831–1881), олицетворявший новую миссию канцелярии в государственном управлении. Его биография является хорошим подтверждением переходности наблюдаемого процесса. Он закончил Петербургское высшее училище (еще не университет), начал службу по военному ведомству, но не как офицер, а как сотрудник канцелярии, приобретая необходимый административный опыт. Его звезда взошла на бюрократическом небосклоне привычным способом: он был замечен и выдвинут военным министром, а затем председателем Комитета министров, Государственного совета и ряда высших комитетов графом А. И. Чернышевым. 1 января 1850 г. Чернышев добился назначения Буткова управляющим делами Комитета министров, чтобы иметь его «ближайшим сотрудником», так как «давно знал и ценил его редакторские способности»[44]. Помимо Комитета министров, Бутков управлял делами Кавказского и Сибирского комитетов, а 1 января 1853 г. возглавил Государственную канцелярию. Кроме того, он активно был задействован в разработке крестьянской, судебной и земской реформ. Его знал и ценил сам император, именно ему поручали секретарствовать в секретных высших комиссиях, действовавших во время отъезда

[44] Из воспоминаний А. А. Харитонова // Русская старина. 1894. № 4. С. 128.

Александра II из Петербурга, мог даже влиять на царские решения и со свойственым ему цинизмом заявить: «Я закатил такое высочайшее повеление»[45].

Проницательный наблюдатель, каким, без сомнения, был профессор А. В. Никитенко, оставил меткую характеристику Буткова, увидев в нем своего рода явление меняющегося бюрократического мира: «Вот каким он мне показался. Говорит он бойко и легко, и это, кажется, была одна из причин его быстрого возвышения. Судит он либерально и, кажется, хочет так судить, чтобы казаться человеком времени, человеком просвещенным, прогрессистом, потому что ныне на стороне прогрессистов много умных людей. Но суждения его очень поверхностны: на них очевидные следы слегка прочтенного или слышанного. Ничего глубокого, основательного, государственного в нем не заметно»[46]. Это был «карьерный бюрократ», обладавший не только усердием и трудолюбием, талантом удачно оформлять чужие мысли на бумаге, но хорошо разбиравшийся в хитросплетениях петербургских ведомств и взаимоотношениях представителей высшей администрации. Еще в 1858 г. сам Бутков говаривал: «Комитеты на меня сыплятся беспрестанно; трудов и хлопот множество», но при этом так и не получил самостоятельного высокого положения. Однако с ним были вынуждены считаться министры, генерал-губернаторы и губернаторы, прибегая к его помощи в «проталкивании» своих дел в столичных учреждениях. Нередко среди петербургских сановников можно было слышать: «Э, да об этом надо переговорить с Бутковым, он это дело обделает», или: «Съездите от меня к Суковкину и скажите ему, чтобы он как-нибудь это дело уладил», или: «Бутков предварительно со мною об этом переговорит, и мы с ним это дело устроим». При этом у них была репутация людей неподкупных, взяток не берущих, а «постороннее влияние, [которым] они подчиняются, не могут быть обращены им в укор, потому что собственных убеждений они не имеют решительно»[47]. Кавказского наместника князя М. С. Воронцову, а затем и сменившего его на этом посту князя А. И. Барятинского Бутков регулярно информировал о прохождении кавказских дел в Петербурге, сообщая нередко некоторые сведения «по секрету». При этом он не забывал подчеркнуть с каким трудом ему удается это делать, несмотря на противодействие некоторых министров. Естественно, роль Буткова возрасла, когда в 1851 г. с его непосредственным начальником Чернышевым случился «удар». М. А. Корф записал в дневнике: «Князь Чернышев и на ногах, и в Совете, и в Комитете, и в Министерстве, и в свете, и там будто бы действующий, здесь будто бы действующий лицом, а в существе — ходячий полумертвец. Кто-то очень забавно о нем сказал: «Посмотрите, точно живой!...»[48]. Но и пришедший в 1856 г. на смену Чернышеву в качестве председателя ряда комитетов престарелый граф А. Ф. Орлов фактически оставил все в руках Буткова. Новый председательствующий граф Д. Н. Блудов в 1861 г. получил назначение в возрасте 75 лет и правил всего четыре года, из которых почти 11 месяцев (в 1862 и 1863 гг.) находился в отпуске для лечения. Между тем, у Буткова были далеко идущие амбиции и его явно не удовлетворяло такое положение, тогда как к началу 1860-х гг. он уже имел чин тайного советника и репутацию незаменимого деятеля. Он уже видел себя главно-

---

[45] *А. В. Головнин — А. П.* Николаи // РГИА. Ф. 851. Оп. 1. Д. 11. Л. 47.

[46] *Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. М., 1955. С. 465.

[47] Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. С. 50.

[48] Дневник М. А. Корфа // ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817. Ч. XIV. Л. 96.

управляющим I Отделением собственной его императорского величества канцелярии, ответственным за политику на Кавказе и во всей Азиатской России.

Обнаружившееся влияние и амбиции канцелярских деятелей, не могли не настораживать и раздражать тех, кто был напрямую ответственнен за политические решения. Пришедшим во власть с военных постов, из аристократической среды, сферы науки или предпринимательства, нацеленным на быструю результативность принимаемых мер, мог претить такой стиль, который они воспринимали как бюрократическое крючкотворство, и «несерьезность» редакторских претензий, воспринимая их, как досадную помеху настоящему делу. Не случайно, Оболенский с раздражением писал о Буткове и ему подобных, как о людях, постигших в совершенстве «науку фифиологию»[49], достоинство которых «состоит из ловкости и умения обделывать делишки, т. е. так их спускать с рук, чтобы все были довольны».

«Наука эта, — пояснял он далее, — требует пропасть вспомогательных изучений, и этим главным образом заняты все эти профессора. Они досконально знают все мельчайшие подробности отношений сильных лиц, следят тщательно за всеми изменениями их отношений, и все их внимание обращено только «как бы так обстановить» (это — техническое выражение) дела, чтобы они сошли гладко, будет ли от этого какая польза делу или нет — их совсем не интересует. Никакого серьезного участия к общественному делу, убеждению или мысли в них решительно нет. Заговорите с ними о чем хотите — вы удивитесь поверхности суждения о существе вопроса и подробности изучения его внешней формы. Все высшие лица обыкновенно о них отзываются так: «Способный человек, ловкий, распорядительный, с ним приятно иметь дело». <…> «Им легко дается эта способность соглашать разные мнения, потому что они ни одним мнением они не дорожат, совершенно безучастно относятся к вопросу, как бы ни был он решен. При этом, изучив характер лиц, с которыми имеют дело, чуя инстинктом, куда дует ветер, они без труда и без всякого насилия своим убеждениям направляют дела. К несчастию, успех людей, подвизающихся в этом смысле, заразителен и характер индифферентизма к общему делу сделался у нас в высших сферах преобладающим, он в корень развратил многих способных деятелей»[50].

Подобными упреками в адрес канцелярских дельцов наполнены письма, дневники и мемуары общественных и государственных деятелей. Между тем, потребность в услугах бюрократических посредников увеличивалась, хотя и росла раздраженность от их растущего влияния.

Новые чиновники петербургских канцелярий

В эти же годы, наряду с канцеляристами-дельцами, формируется и новая генерация молодых чиновников, что было связано с распространением высшего образования и прежде всего юридического. Выпускники высших учебных заведений, отмечает

---

[49] Родоначальником сей премудрости считался один из сподвижников Екатерины II граф Ф. Г. Орлов, который, хотя и «уважал науки и искусства, но называл их прилагательными; существительною же наукою называл одну фифиологию, то есть уменье пользоваться людьми и своевременностью, равно как и важнейшим из искусств — искусством терпеливо сидеть в засаде и ловить случай за шиворот». — *Жихарев С. П.* Записки современника. М, 2004. С. 96.

[50] Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. С. 50, 382.

Р. Уортман, стремились привнести в государственные учреждения «ценности науки»[51]. Это способствовало интеллектуализации бюрократии, формированию нового служебного этоса, веры в прогресс и законность, которая становилась ключевым словом[52]. Профессиональная и ведомственная принадлежность формировала специфические кодексы поведения, особый дух корпоративности. От чиновника теперь требовалось не просто умение составить текст, но быть специалистом и даже экспертом. Документы, подготовленые канцелярией, должны были содержать информацию о предыстории вопроса, его состоянии в российском и зарубежном праве, анализ современной ситуации и прогноз развития в будущем, предлагаемые управленческие решения.

Конечно, начало это процесса относится еще к николаевским временам, но по-настоящему востребованы государственной службой такие деятели оказались только в период подготовки реформ царствования Александра II. Они были уже в значительной степени ориентированны на службу и служение, и, пользуясь терминологией тех лет, быстро «перестроились» в условиях «оттепели» второй половины 1850-х гг. Чиновник-профессионал становился все более заметным явлением в государственном аппарате и даже появилось понятие «служилой интеллигенции», как части образованного слоя населения[53]. Границы между властью и обществом размывались, а нечиновная интеллигенция, ориентированная на оппозиционность, могла находить в реформаторском курсе допустимое поле для сотрудничества с администрацией. Причастность чиновника к государственным преобразованиям, улучшениям в жизни народа, становились важнейшими событиями биографии, возвышавшими его до уровня героя, мужественно борющего с косностью и отсталостью. О повышенной внутренней рефлексии и потребности не только в самооценке, но и признании своих трудов обществом, может свидетельствовать большое количество дневников и воспоминаний, написание которых, с намерением дальнейшей публикации, становится потребностью чиновников самого разного ранга. Это было стремлением, пусть и постфактически, заявить не только о себе, но и сделать более открытой сферу государственной службы[54].

С началом «эпохи Великих реформ» и проявлениями «гласности» постепенно меняется политическая культура российского общества, в правящих кругах появляются группировки во главе с лидерами (обычно, министром), которые создают свою структуру политического действия. Но это уже не только традиционные клановые или клиенталистские отношения, они могут включать помимо представителей бюрократии

---

[51] *Уортман Р.* Властители и судьи: Развитие правового сознания в императорской России. М., 2004.

С. 391. см. также: *Миронос А. А.* «Просвещенная бюрократия» и наука в социальном контексте николаевского времени // Николаевская Россия: власть и общество / Под ред. О. Ю. Абакумова и др. Саратов, 2004. С. 116–123.

[52] Бюрократия и великие реформы в России (1860–1870-е гг.). Современная англо-американская историография. М., 1996. С. 9.

[53] *Дубенцов Б. Б.* , *Куликов С. В.* Социальная эволюция высшей царской бюрократии во второй половине XIX — начале XX в. (Итоги и перспективы изучения) // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX-XX вв. / Под ред. Б. В. Ананьича и др. СПб., 1999. С. 72.

[54] *Чернуха В. Г.* Мемуары столичного чиновничества второй половины XIX в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. XIV. Л., 1983. С. 198.

и придворных кругов, членов общественных организаций, земских деятелей, сотрудников журналов и газет. Министерства обзаводятся своими изданиями, налаживают каналы взаимодействия с влиятельными публицистами, стремясь за счет этого приобрести дополнительные аргументы и средства. «Война перьев» становится «неотъемлемой частью межфракционной борьбы внутри бюрократии»[55]. Можно констатировать постепенный рост влияния именно тех министров, за которыми стояли ведомственные «команды», призванные обеспечивать интеллектуальную и профессиональную поддержку своему патрону. Канцелярские чиновники могли судить об эффективности данных им указаний и почти всегда обладали возможностью ускорить или затормозить решение вопроса. «Чиновники среднего звена, — отметил А. Рибер, — слишком глубоко внедрились в аппарат Государственного совета, министерств, в университеты, земства, редакции газет и журналов. Заняв эти плацдармы, они сопротивлялись, уклонялись от проведения контрреформ, тормозили этот процесс, точно так же, как их противники двадцатью годами раньше пытались противостоять реформам»[56].

В канцелярской среде появились новые люди, умеющие не только «ловко» писать, но и способные вложить в проекты аргументы, обеспечивающие их убедительность и даже научную обоснованность. Канцелярские служители сами становились литераторами, публицистами, учеными, их экспертные заключения проникали в общественную сферу, становясь частью интеллектуального дискурса своего времени. Это вело к выходу из бюрократического «зазеркалья» в реальный мир, где сопричастность общественным процессам не могла не воздействовать на канцелярских чиновников. Усердие и трудолюбие оставались в цене, однако, интеллект чиновника становился все более востребован. Необходима была уже не одна лишь исполнительность, а понимание общей цели и доверие начальника, поручившего подготовку того или иного документа. Разумеется, что это явление в первую очередь был присуще столичным учреждениям, хотя свежий ветер перемен проникал и в губернские канцелярии.

Однако этот процесс оставался противоречивым, а покров канцелярской тайны все еще скрывал государственную деятельность от посторонних взоров. На первых порах каналом, через который в общество могли проникать сведения о деятельности правительства оставались столичные салоны. Между тем, появляются и новые формы контактов бюрократии и общественности: литературные кружки, научные и просветительские общества, редакции газет и журналов. Чиновники неизбежно становились сами частью общества, создавая новые формы диалога между властью и формирующимися гражданскими институтами. Сближению с интеллигентной средой, особенно научной, способствовало чувство корпоративной и профессиональной солидарности, порожденной общей студенческой юностью, сохранявшихся у многих чиновников пристрастиях к общественной и научной деятельности. Хорошим тоном, уже считалось проводить самостоятельные исследования, результаты которых в большом количестве охотно печатали как популярные, так и научные издания. Нередким становился переход

---

[55] *Рибер А.* Групповые интересы в борьбе вокруг Великих реформ // Великие реформы в России. 1856–1874 / Под ред. Л. Г. Захаровой и др. М. , 1992. С. 49. см. также: *Ганелин Р. Ш.* «Битва документов» в среде царской бюрократии. 1899–1901 // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. XVII. Л., 1985. С. 214–248.

[56] *Рибер А.* Групповые интересы в борьбе вокруг Великих реформ. С. 69–70.

из бюрократических канцелярий в университеты, а профессура не только выступала в качестве независимых экспертов, но и могла поменять университетскую кафедру на место в государственном аппарате и даже занять министерские посты, как это было в случае министров финансов Н. Х. Бунге и И. А. Вышнеградского. Еще более распространенным этот опыт был в Министерстве народного просвещения. Между военными ведомствами империи и Императорским Русским географическим обществом существовала несомненная связь, а министр финансов С. Ю. Витте стал инициатором создания в 1900 г. под покровительством своего ведомства Общества востоковедения. Тесные связи существовали у Министерства путей сообщения с техническими обществами, а Министерства земледелия и государственных имуществ с сельскохозяйственными объединениями. Поездки чиновников из столицы в губернии, для обозрения на месте состояния того или иного дела, превращались в своеобразные экспедиции со служебными целями, но и научными результатами. Уровень образованности стал играть все большую роль, что демонстрирует появление ученых комитетов почти во всех министерствах[57]. В таких обществах в тесной связи с правительственными структурами (учеными комитетами и департаментами министерств, местными учреждениями) формировались референтные группы ученых, обслуживавших правительственную политику[58]. Известный сибирский публицист Н. М. Ядринцев писал по этому поводу: «Это было время, когда администрация и бюрократия охотно прибегали к помощи писателей, ученых, исследователей. Воздух канцелярии как бы вентилировался доступом свежего воздуха и независимого взгляда»[59]. Именно через канцелярии и научные структуры ведомств профессиональные юридические и экономические знания включались в сферу управления. Так, канцелярия Комитета министров давала, как говорил ее управляющий барон Э. Ю. Нольде, уникальную возможность изучить русское государственное право в «живом действии, в самом процессе его образования». Хотя его предшественник А. Н. Куломзин полагал, что формальная юриспруденция не так важна, куда полезнее заниматься историей экономического развития России. Служилый Петербург, вспоминал И. И. Тхоржевский, как бы предчувствуя предстоящую ему преобразовательную работу, уже запасался людьми: стягивал к себе, обирая профессуру, свежие умственные силы»[60]. При дефиците интеллектуальных сил в стране власть могла привлекать к сотрудничеству даже лиц, как тогда называли, с «предосудительным формуляром», под которым понималась политическая неблагонадежность[61].

Однако образ российского бюрократа, сформированный русской литературой и историческими трудами оставался по преимуществу негативным. Этим, безусловно, пользовалась политическая оппозиция, включая критику чиновников в контекст общей

---

[57] См.: *Миронос А. А.* Ученые комитеты и советы министров и ведомств в XIX веке: Задачи, структура, эволюция. Нижний Новгород, 2000.

[58] Процесс оформления таких «референтных групп» начался в России уже в середине XIX в. — *Улунян А. А.* Русская геополитика: внутрь или вовне? (Российская научная элита между Западом и Востоком в начале XX в.) // Общественные науки и современность. 2000. № 2. С. 62.

[59] *Ядринцев Н. М.* К моей автобиографии // Литературное наследство Сибири. Т. 4. Новосибирск, 1979. С. 328.

[60] *Тхоржевский И. И.* Последний Петербург. С. 24. 29, 32.

[61] О распространенности такого явления писал С. А. Котляревский в статье «Оздоровление» — Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 394.

борьбы с самодержавным режимом. Примечательно, что в таких воззрениях оказывались солидарны не только революционеры и либералы, но и консерваторы, писавшие в духе «народного самодержавия» о «бюрократическом средостении» и «засилии чиновников». Эту отчужденность от общества и интеллигентскую неприязнь сами чиновники часто воспринимали весьма болезненно. Служивший в конце XIX — начале XX в. в МВД В. Ф. Романов, именовавший себя типичным «русским интеллигентом», полагал, что положительные качества чиновников несправедливо не замечались и замалчивались. Недостатки же чиновников он определял как общие для российской интеллигенции, которые видел в преобладании «в нашем воспитании мягких гуманитарных начал в ущерб холодному опыту и в неумении работать размеренно, без излишней впечатлительности, дисциплинированно, одним словом — по-немецки»[62]. О предвзятом «антогонизме» упоминал в своих показаниях Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства в 1917 г. и другой видный чиновник МВД, фактический автор многих государственных законопроектов начала XX в. С. Е. Крыжановский. При этом он пояснял, что чиновничество оказалось «совершенно заплеванным» общественной средой, «которая атаковала, иногда правильно, иногда неправильно; потому что чиновники не были ответственны за ход вещей»[63]. И это несмотря на то, что многих чиновников с интеллигенцией роднила общая образовательная среда университетов и лицеев, а в своих воззрениях на будущее России они в большинстве своем разделяли просветительские и народнические идеалы интеллигенции и даже позволяли себя критические замечания в адрес отдельных сторон самодержного режима. Но степень их готовности к добровольной ассимиляции с интеллигенцией, сдерживалась демонстративной оппозиционностью последней, в чем чиновники видели нередко лишь непрактичность и оторванность от реалий русской жизни.

Новая роль канцелярии и бюрократическое закулисье

К рубежу XIX-XX в. заметно меняется социальная роль канцелярии (прежде всего в столицах), она становится привлекательной для служебной карьеры высших слоев дворянства. Петербургские канцелярии становятся источником формирования деятелей высшего бюрократического эшелона власти. Только из комитетской канцелярии вышло несколько известных государственных и общественных деятелей: министр финансов Ф. П. Брок, министр внутренних дел П. А. Валуев, министр финансов И. П. Шипов, министр иностранных дел Н. Н. Покровский, несколько членов Государственного совета, депутат Государственной думы Н. Д. Крупенский, профессор правоведения К. Д. Кавелин и др. Управляющий делами Комитета министров А. Н. Куломзин закончил свою карьеру на посту председателя Государственного совета в 1915–1916 гг.

Менялась и технология выработки государственных решений, когда канцелярия становилась своего рода лабораторией для разработки реформ и важных политических решений. Это потребовало совершенно иного интеллектуального обеспечения деятельности государственного аппарата. Приоритет принадлежал Государственной канцелярии, где уже с начала пореформенного времени появилось немало людей нового типа,

---

62 *Романов В. Ф.* Старорежимный чиновник . Л. 9, 10.

63 *Допрос С. Е.* Крыжановского // Падение царского режима. Т. 5. М.; Л., 1926. С. 383.

«прошедших высшую научную школу и приобретших в ней, кроме знаний, привычку быстро и объективно разбираться в сложных вопросах». Ф. П. Корнилов, возглавлявший комитетскую канцелярию в 1861–1875 гг., также приглашал на канцелярские должности лиц с высшим образованием. «Фаворитизма, продвижения по протекции, по крайней мере, на ответственные должности, — вспоминал В. И. Гурко, — не было, да оно и было невозможно: работа канцелярии требовала значительного умственного развития, большого навыка и немалого труда»[64]. Канцелярии Государственного совета и Комитета министров стали своего рода «гвардией гражданского ведомства», будучи укомплектованными к концу XIX в. «молодыми людьми из высших сфер общества и придворных кругов»[65]. В петербургском чиновном мире теперь считалось, что молодым людям, стремящимся сделать государственную карьеру, стоит начинать службу в одном из четырех учреждений: Министерстве иностранных дел, Кредитной канцелярии Министерства финансов, канцелярии Комитета и Совета министров или Государственной канцелярии. Как вспоминал М. В. Шахматов, в Государственной канцелярии свою карьеру начинали молодые люди «блестящие в трех отношениях»: деятели науки, искусства, писатели; светские львы, желавшие блеснуть своим положением, но манкировавшие службой; другие же, напротив, стремились продвинуться по бюрократической лестнице, и потому усердно исполнявшие свои обязанности[66].

Впрочем и в столичных учреждениях канцелярская среда продолжала оставаться неоднородной. «Состав служащих, — каким его нашел И. И. Тхоржевский в канцелярии Комитета министров в конце XIX в., — очень замкнутый, пополнялся людьми, не нуждавшимися ни в жалованье, ни в быстрой карьере. Приманки там были другие: 1) сравнительно легко было получить придворное звание и 2) так как все министры, проводившие свои дела через канцелярию, быстро становились знакомыми, то через несколько лет иным из канцелярии удавалось попадать в то или другое министерство уже на видное положение…»[67]. Приходилось мириться и с наличием чиновников без высшего образования из-за необходимости иметь каллиграфов для переписки бумаг[68]. Прослуживший более шести лет (с 1893 по 1899 г.) в комитетской канцелярии будущий министр иностранных дел Н. Н. Покровский отметил, что среди ее сотрудников были «люди белой и черной кости». К первым относились начальники отделений, их помощники и так называемые причисленные, вторые были те, на ком лежала основная письменная работа. Они то и были своего рода рабочими лошадками, переписывавшими от руки бесконечные комитетские бумаги. «Эти писцы выбирались особо из имевших так называемый “царский” почерк»[69].

---

64 *Гурко В. И.* Черты и силуэты прошлого: правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 111–112.

65 *Глинка Я. В.* Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906–1917: Дневник и воспоминания. М., 2001. С. 42.

66 Последние дни Мариинского дворца и Петрограда. Воспоминания М. В. Шахматова // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. Вып. XIV. М., 2005. С. 672–673.

67 *Тхоржевский И. И.* Последний Петербург. С.32.

68 *Куломзин А. Н.* Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 203. Л. 95.

69 Воспоминания Н. Н. Покровского. С. 181. Тип такого канцеляриста старого времени выведен в рассказе А. И. Куприна «Царский писарь».

С введением печатания журналов их значение упало, хотя осталась обязанность переписки всеподданнейших докладов и некоторых особо секретных документов. Потолок их карьеры ограничивался должностью экспедитора, на котором лежала ответственность за порядок делопроизводства во всей канцелярии. Но именно эти люди, хотя и с низким образовательным цензом, были хранителями традиций канцелярии. Поэтому они позволяли себе вести себя независимо даже от начальников отделений. Ведь именно от их исполнительности и аккуратности во многом зависело служебное благополучие последних.

Среди чиновников «белой кости», напротив, большинство получило образование в лицеях, Училище правоведения, университетах. Комитетская канцелярия, которую А. Н. Куломзин возглавлял в 1883–1902 гг., во многом была ему обязана прекрасным подбором сотрудников. Тон в конце XIX в. в ней задавали выходцы из Александровского лицея, которых постепенно потеснили выпускники университетов. Как заметил И. И. Тхоржевский: «Эта школьная близость далеко перевешивала прежнее закулисное влияние знатных «тетушек»; она отступала только перед началом личной годности к службе, полезности оказываемых данным чиновником деловых услуг»[70]. Все это позволяло создать особый корпоративный дух среди служащих канцелярии, о чем с большой теплотой вспоминали все, служившие в ней. Канцелярские чиновники начинали сознавать всю важность своей работы, поднимая ее до высокого статуса государственного дела. Они были, вспоминал Куломзин, составителями «тех многочисленных, нередко научных записок, которые, под скромным названием справок, по принятому мною порядку, подготовлялось направление того или другого предположения»[71]. Иногда эти справки достигали размера целых томов, которые могли издаваться в виде статей и даже книг.

Да и сам управляющий комитетской канцелярией Куломзин, несомненно, принадлежал к новому поколению чиновников пореформенного времени[72]. Получив образование на юридическом факультете Московского университета и поучившись некоторое время в Европе, он начал свою карьеру в Государственной канцелярии, кузнице тогдашних бюрократических кадров столицы, под руководством В. П. Буткова, был «жаден к работе» и, что считалось особенно важным, «писал очень бойко и хорошо, докладывал ловко»[73]. Не чужд он был и научных занятий, что также высоко ценилось в высших петербургских канцеляриях.

Главы канцелярий в Государственном совете и Комитете министров имели некоторую служебную автономность от своих председателей, будучи назначаемыми самим императором. Председатель Комитета министров Н. Х. Бунге говорил в шутку, «что новый управляющий как Лоэнгрин прибывает с небес на лебеде»[74]. В официальной справке указывалось, что, хотя он не входил в состав членов Комитета, «должность

---

[70] *Воспоминания Н. Н.* Покровского о Комитете министров в 90-е гг. XIX в. // Исторический архив. 2002. № 2.

С. 33.

[71] *Куломзин А. Н.* Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 186. Л. 9.

[72] Подробнее см.: Ремнев А. В. Анатолий Николаевич Куломзин // Вопросы истории. 2009. № 8. С. 26–45.

[73] Записки сенатора М. П. Веселовского // ОР РНБ. Ф. F-IV. Д. 861. Л. 642.

[74] *Куломзин А. Н.* Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 192. Л. 8.

управляющего имела все признаки начальника отдельного ведомства»[75]. Положение главы канцелярии определялось не только его довольно высоким статусом, но и многочисленными возможностями, выработанными долголетней канцелярской практикой. Именно в лице главы канцелярии соединялась «власть секретаря и докладчика». К нему стекалась необходимая информация, которой он мог осознанно манипулировать, когда готовил проекты резолюций (в том числе и царских), формулировал решения. «Всякий, кому известны пружины нашего бюрократического строя, — вспоминал Куломзин, — знает, что обязанности управляющего делами каждой коллегии заключались в том, чтобы, сообразив обстоятельства каждого предстоящего к обсуждению дела, и, обняв всю совокупность содержавшихся в деле вопросов, доложить председателю выдающиеся, подлежащие обсуждению, кардинальные пункты, предугадать, по возможности, могущие встретиться возражения и указать наиболее правильные решения, к которым может придти совещание»[76]. Его коллега А. А. Половцов, возглавлявший канцелярию Государственного совета схожим образом определял свое предназначение: «Надо читать и распределять входящие бумаги, назначать дела на доклад, исправлять журналы и т. д. , словом, быть центром и организатором движения совокупных дел Совета»[77].

Некоторые представления, которые председатель и управляющий считали невозможными или вредными, тормозились канцелярией. Таких негласных приемов было довольно много. М. С. Каханов, который имел, по словам А. А. Половцова, привычку вести в Комитете министров дела так, чтобы никто не обиделся, будучи приятен всякому властьимущему[78], систематически предпринимал следующее: «Избирал кого-либо из более умных членов, обыкновенно А. А. Абазу[79], и ему во время заседания нашептывал аргументы в пользу правильного решения, или же изредка, под видом справки, докладывал в Комитет обстоятельства, долженствовавшие привести к их решению»[80]. Графу П. Н. Игнатьеву, который возглавлял Комитет министров в 1872–1879 гг., обычно подавалась краткая записка с канцелярскими замечаниями. Это иногда, по свидетельству Куломзина, ставило председателя в смешное положение: «Граф Павел Николаевич Игнатьев, назначенный в председатели уже в преклонном возрасте, заставлял докладчика читать эти замечания, что вызывало иногда со стороны членов язвительные вопросы: «Чье это замечание?» — председатель отвечал, что это его замечание, а управляющий делами Каханов на ухо объяснял тому или другому члену <…> значение доложенных возражений, и надлежащий вопрос этим путем был разъясняем»[81]. Управляющий делами, с ведома или без ведома председателя, мог посылать чиновника канцелярии к тому из членов, от которого можно было ожидать поддержки. Важное значение в таком случае могла иметь составленная из законов справка, дополненная статистическими сведениями или указаниями на прецеденты. При рассмотрении Комитетом в 1870-х гг.

---

[75] Справка о положении управляющего делами Комитета министров // РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 29. Л. 174.

[76] *Куломзин А. Н.* Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1.Д. 186. Л. 8.

[77] Дневник государственного секретаря А. А. Половцова. Т. I. М., 1966. С. 29.

[78] Дневник А. А. Половцова // ГАРФ. Ф. 583. Оп. 1. Д. 15. Л. 201.

[79] Председатель Департамента государственной экономии Государственного совета в 1874–1880 и 1884–1893 гг.

[80] *Куломзин А. Н.* Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 188. Л. 65.

[81] Там же. Д. 188. Л. 2–3, 64.

железнодорожных уставов Куломзин вошел в соглашение с председателем Департамента государственной экономии Государственного совета К. В. Чевкиным, которому доставлялись канцелярские замечания, а он, в свою очередь, докладывал их в Комитете. «В этих делах Чевкин был неоценим, он с адским терпением отстаивал каждое выражение, каждое слово и уступал только в крайности»[82].

Существовала масса и других предлогов, по которым дело могло быть отложено: чаще всего ссылались на неполноту подготовленных бумаг, отсутствие каких-либо нужных сведений, заключения важного лица, экспертной оценки специалиста или вообще требовалось подождать приезда в Петербург осведомленного о положении дела на месте губернатора или генерал-губернатора. Пока суть да дело, или внесший проект министр сменится, или статистические сведения устареют, или вообще выяснится, что этот вопрос и решать-то не надо было в связи с изменившимися обстоятельствами. Как вспоминал чиновник Государственной канцелярии М. П. Веселовский: «Новое лицо представит соображения, идущие в разрез с мнением его предшественника. Является новый взгляд на дело, вызывающий обсуждение его с иной точки зрения. Проект препровождается к новому министру, который его искалечит до неузнаваемости, или, просто, похоронит»[83]. Управляющий всегда мог задержать дело, сославшись на то, что оно требует дополнительных справок и разъяснений министров. Председатель Департамента законов Государственного совета Э. В. Фриш как то заметил:

«Вот внесет какой-нибудь министр в Комитет ребенка для крещения; казалось бы, ребенок чистенький, гладенький, аккуратный, розовый — все, кажется, благополучно — остается только дать ему наименование и выпустить на свет божий, как вдруг рассылается небольшая справочка, иногда короче утиного носа. Оказывается, не только ребенок вовсе не чистенький и не аккуратный, а он оказывается или совсем уродом, или крестить его нельзя и жизнеспособности в нем нет, или же это давно рожденный и уже успевший быть похороненным трупиком, и в том и другом случае надо его возвратить обратно туда, откуда он принесен и все это ясно как божий день, и министр не находит возражений и не решается защищать свое творение»[84].

Важную роль играл управляющий и при рассмотрении в Комитете министров губернаторских отчетов. Отчеты подавались через I Отделение Собственной е. и. в. канцелярии, царь рассматривал их, делал пометы (иногда была просто отчеркнута, та или иная фраза или стояла на полях «парафа») и налагал резолюции. После чего они направлялись в Комитет, где составлялся краткий журнал о рассмотрении отчета, а извлечения из него с царскими пометами направлялись в соответствующие ведомства и губернаторам[85]. Однако, такое положение могло существенно меняться на практике. Отступления от законодательного порядка в свое время удивили государственного секретаря Е. А. Перетца: «Оказывается, что и управляющий делами Комитета министров представляет государю интимные работы. Все губернаторские отчеты отсылаются к нему для предварительного прочтения, причем он обязан отме-

[82] Там же. Д. 192. Л. 22.

[83] Записки сенатора М. П. Веселовского. Л. 504.

[84] *Куломзин А. Н.* Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 195. Л. 87.

[85] *Дятлова Н. П.* Отчеты губернаторов как исторический источник // Проблемы архивоведения и источниковедения. Л., 1964. С. 235.

чать те места, которые заслуживают внимания»[86]. Губернаторы и министры зачастую отделывались отписками, а периодические ведомости о неисполненных высочайших повелениях, по словам Н. Н. Покровского, «похожи были на неотвязчивых мух, нередко больно кусающихся, когда на ведомости оказывалось резкое напоминание самого Государя». Впрочем, умудренные опытом губернаторы знали, что таким путем вряд ли можно будет чего-либо добиться и вызвать только недовольство министра, которому приходилось отвечать по царским резолюциям. «Познав тщету отчетов, — оценивал ситуацию Покровский, — многие губернаторы, по возможности, сохраняли их изложение, а некоторые доходили до того, что ежегодно писали слово в слово одно и то же, изменяя только цифры и даты. Другие, стеснявшиеся доходить до такой простоты, обыкновенно раньше, чем представлять отчет, при своих посещениях Петербурга выясняли здесь в министерствах виды высшего правительства и вопросы, которые желательно для него поднять в отчете, и тогда уже об этом писали»[87].

Рассмотренные законодательно определенные пределы власти управляющих делами, а также практические приемы влияния на деятельность Комитета, позволяют согласиться с той оценкой, которую дал себе Куломзин, прослуживший в канцелярии этого учреждения более тридцати лет: «Как управляющий делами Комитета министров я был нужен министрам; опасаясь со стороны лица, занимающего это место, в своей сфере, несомненно, влиятельного, каких-либо подвохов и неприятностей, министры редко решались интриговать против управляющего; еще труднее было спихнуть его, если он не желает уходить. Председатель может это сделать, но также и потерпеть неудачу»[88].

Бюрократические приемы и «искусство редактирования»

Составление делопроизводственных документов высших государственных учреждений было возведено в ранг бюрократического искусства, требовавшего от канцелярских чиновников не только отличного владения пером, но и способности находить редакционные решения запутанных вопросов. «Решение, в известном смысле, — вспоминал М. П. Веселовский, — постановлялось в самом заседании, но оно редко формулировалось вполне точно, а большею частью выражалось в общих, дововольно неопределенных словах. Иногда докладчик, смущенный такою неопределенностью, испрашивал у председателя более ясных, подробных указаний, но получал обыкновенно такой ответ: «Уж это вы — как знаете. Придумайте такую редакцию, которая бы вполне выразила нашу мысль»[89]. Таким образом, слово «редакция» понималось, то как нечто формальное, техническое, то ему придавали едва ли не чудодейственное значение.

Конечно, канцелярские чиновники не были чужды преувеличивать свое значение, заявляя порой: «Все зависит от доклада дела: как статс-секретарь доложит, так и постановят решение», — но следует признать, что существенная доля истины в их утверждениях была. Весьма распространенным в бюрократических кургах было также мнение, что члены Государственного совета — «ничто, председатель — кое-что, государственный

[86] Дневник Е. А. Перетца, государственного секретаря (1880–1883). М.; Л., 1927. С. 107.
[87] *Воспоминания Н. Н.* Покровского. С. 206, 209.
[88] *Куломзин А. Н.* Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 213. Л. 63.
[89] *Записки сенатора М. П.* Веселовского. Л. 657–658.

секретарь — все»[90]. Иногда затянувшееся прения приводили к тому, что министры, утомленные длительным заседанием, соглашались на компромисс и предоставляли канцелярии право составить такое заключение, которое, в конечном счете, ничего бы не решало[91]. Будучи министром внутренних дел П. А. Валуев в полной мере осознал силу канцелярий высших имперских учреждений: «Старание опутывать членов коллегий редакционными оборотами журналов, говорить в журнале о том, о чем в заседании не упоминалось, умалчивать о том, о чем было говорено, искажать смысл представленных соображений и выводить заключения, никем из членов коллегии не выведенных, — все это давно вошло не только в обычай, но и в систему наших высших канцелярий...»[92].

Бывали случаи, когда канцелярские чиновники подносили на подпись журналы с чистыми листами, заявляя, что того требует спешность. Однажды главноуправляющий II Отделением князь С. Н. Урусов, увидев чистые листы, поданные ему для подписи, удивленно спросил: «А это что такое?». На что канцелярский чиновник, не смутившись, ответил, что иначе журнал не будет подготовлен к сроку его отправки императору[93]. Иногда по заседаниям Комитета министров вообще не составлялось журнала или запрещалось фиксировать мнение того или иного члена. Управляющий Морским министерством И. А. Шестаков жаловался, что его «намеренно стирают в журналах Комитета»[94]. Куломзин приводит в воспоминаниях следующий анекдотический факт, который составлял одну из маленьких тайн имперских канцелярий. Один из членов Государственного совета обратился к государственному секретарю Н. И. Бахтину с претензией, что в журнале его мнение выражено не совсем точно. На что Бахтин с поразительной откровенностью заметил: «Должность государственного секретаря, Ваше превосходительство, весьма трудная, вот видите, нужно, чтобы было изложено в журнале все, что было говорено и чтобы это было умно»[95]. О силе и мудрости редакции государственный секретарь Е. А. Перетц, явно желая подеркнуть роль канцелярии, в 1880-е гг. писал, что только благодаря ей по отчетам и журналам Государственного совета можно будет предположить, что в нем «сидят чуть ли не Солоны; при публичности заседаний иллюзия совершенно исчезнет»[96].

Управляющий делами имел в почти бесконтрольное поле деятельности, ограниченное только тем, чтобы министры не заметили в журнале подвоха. Принципы, которыми руководствовались чиновники канцелярии, до некоторой степени, проясняются свидетельствами Куломзина: «Ничего не было труднее искусства писать разногласия. Нужно, чтобы лица, принадлежащие к одному мнению, исходили во взглядах своих на дело совершенно с других точек зрения, чем их оппоненты; не должно быть повторений, не должно быть опровержений одних другими»[97]. Такой взгляд подтверждают и его сотрудники.

---

[90] Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. М., 1961. Т. 1. С. 356–357.

[91] см. например: *Милютин Д. А.* Дневник. Т. 2. М., 1949. С. 27.

[92] Дневник П. А. Валуева. Т. 1. С. 336.

[93] *Куломзин А. Н.* Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 193. Л. 40.

[94] Дневник И. А. Шестакова // Российский государственный архив Военно-морского флота (РГА ВМФ). Ф. 26. Оп. 1. Д. 13. Л. 4.

[95] *Куломзин А. Н.* Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 192. Л. 5–6.

[96] Дневник Е. А. Перетца. С. 19

[97] А. Н. Куломзин — Э. Ю. Нольде, 11 марта 1905 г. // Библиотека РГИА. Печ. зап. № 2919. С. 7.

«Это было поистине мученье: журналы Комитета — это были не протоколы, от нас требовалось творчество — надо было в уста каждого говорившего ввести не только то, что он говорил, но и то, что он мог сказать, и притом в наиболее изящной форме. А так как разные министры говорили вещи, нередко совершенно противоположные, то писавшим журналы приходилось проникаться в одинаковой степени самыми различными точками зрения на один и тот же предмет. Легко понять, насколько трудна была эта задача. Это было своего рода умственное деторождение и высшая школа софистического искусства, в котором доходили до своего рода спорта»[98].

В воспоминаниях другого чиновника комитетской канцелярии П. П. Менделеева находим дополнительное разъяснение канцелярских приемов:

«Писать следовало сжато и коротко, так как журналы шли на прочтение и утверждение Государя. А, как известно, краткое изложение куда труднее пространного. Если по делу произошло разногласие, каждое мнение должно быть по возможности с одинаковою убедительностью обосновано. Мало того, требовалось, чтобы по длинноте изложения они друг от друга не отличались. На самом деле далеко не всегда воспроизводилось именно то, что говорилось членами Комитета на заседании. Очень часто Начальник Отделения вынужден был замалчивать сказанное и вставлять в уста выступавших то, что следовало бы им сказать в пользу поддерживаемого им взгляда. Чем удачнее была такая импровизация, тем более Министры были нам благодарны»[99].

И действительно, министры ценили редакторские способности канцелярских чиновников. Так в начале XX в. в Совете министров незаменимым сотрудником считался П. А. Харитонов, которого министр земледелия А. Н. Наумов характеризовал как человека, обладающего «даром точно, логично и обстоятельно излагать свои мысли как на словах, так, в особенности, на бумаге». Недаром его прозвали «акушером», за ту помощь, которую он оказывал «в трудных случаях появления на Божий свет того или другого постановления гг. Министров»[100].

Бывший министр народного просвещения, а затем член Государственного совета А. В. Головнин вспоминал, что Александр II с нескрываемым раздражением реагировал на возражения членов Государственного совета на представления «его министров», которые чаще всего заранее были им одобрены. Отчасти поэтому председатель стремился «приводить членов к одному мнению, зная, что государь очень не любит разногласий»[101]. Поэтому, суждения членов Государственного совета или Комитета министров, если они не были единогласными, обычно сводились канцелярией к двум: большинства и меньшинства. Считалось, что излагать подробно прения нет необходимости, чтобы «не поставить государя в затруднительное положение разбирать резкие препирательства». Но, так как журналы поступали непосредственно к имератору, то каждому из членов Комитета министров «было желательно обратить на свою речь Высочайшее внимание»[102]. Отсутствие обсуждения также было нежелательным. Иначе,

---

[98] *Воспоминания Н. Н.* Покровского. С. 183.

[99] *Менделеев П. П.* Свет и тени моей жизни // ГАРФ. 5971. Оп. 1. Д. 109. Л. 9.

[100] *Наумов А. Н.* Из уцелевших воспоминания. Т. II. Нью-Йорк, 1955. С. 376.

[101] *Головнин А. В.* Записки для немногих. СПб., 2004. С. 439.

[102] *Покровский Н. Н.* Воспоминания о Государственном совете и его канцелярии в начале 1900-х гг. // Российские государсвтенный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф.120. Оп. Д. 38. Л. 1.

император мог заподозрить своих министров или членов Государственного совета в формальном отношении к делу. М. А. Корф заметил, как радовался граф А. Ф. Орлов прениям в Государственном совете даже по мелочам, что создавало впечатление серьезных рассуждений. Если же бы Совет принял какое-то важное дело безмолвно, то император, по его словам, мог бы подумать — «que le Conseil le bonde»[103]. Не возражать было нельзя — таково было требованием хорошего тона в бюрократических кругах, хотя, по свидетельству Н. Х. Бунге, подобные возражения не всегда носили характер широкого государственного взгляда[104]. В условиях ведомственной разобщенности и отсутствия «кабинета министров» в европейском смысле, который бы представлял консолидированное правительство, существовала неудержимая потребность возражать, не останавливаясь перед мелочами, что считалось чуть ли не доблестью. Неприличным считалось также писать краткие отзывы на какой-либо проект, даже если с ним соглашались. «Такова была бюрократическая школа, которую мы проходили, –вспоминал министр торговли и промышленности С. И. Тимашев, переходя на широкие обобщения [105]. — Нас учили, что выуживание, хотя бы мелочных дефектов в чужой работе есть доказательство добросовестного и внимательного отношения к делу; и по этим качествам нас оценивали, что для многих достаточным стимулом к охоте за чужими промахами или даже простыми недомолвками»[106]. В следствие чего рассмотрение дела затягивалось, множилась переписка, создавались согласительные межведомственные комиссии. Все это порождало большое количество бумаг, требовавших документального оформления, подписи начальства и даже фиксации в законодательных актах. Отчасти это было связано с усложнением самих задач управления, но главная причина крылась в чрезмерно высокой степени централизации принятия управленческих решений и сложности бюрократического механизма их подготовки.

Бунт «бюрократов» против «политиков», который редко принимал открытые формы, уходил в пренебрежительное и даже презрительное отношение к своим патронам, снисходительные воззрения на их профессиональные способности и стремление «поправить» политические документы. На государственной «кухне» они часто выступали в качестве «шеф-повара», хотя изготовленные им блюда подавали наверх другие. Впрочем, наверху понимали сложность ситуации и нередко за свои промахи, заставляли расплачиваться канцелярских чиновников. Это заставляло канцеляристов, в свою очередь, искать пути, чтобы обезопасить себя, прикрывшись санкцией начальства. Последнее же не готово было допустить самостоятельности подчиненных, демонстрируя установлением мелочного контроля и обилием указаний свою ускользающую значимость. Н. Х. Бунге вспоминал, что, будучи товарищем министра финансов, должен был подписывать до 300 бумаг в день[107]**.** Разумеется, при таком режиме работы, времени на внимательное чтение или даже ознакомление с ними, не хватало. Так, министр внутренних дел А. Е. Тимашев вообще не утруждал себя такой работой и, по свидетельству

[103] *Корф М. А.* Дневник. Год 1843-й. С. 225. «Что Совет пустое место» (франц.).

[104] *Шепелев Л. Е.* Чиновный мир России. С. 53.

[105] Автобиографические записки С. И. Тимашева (1903–1906 гг.) // С. И. Тимашев: жизнь и деятельность. Избранные сочинения. Тюмень, 2006. С. 244.

[106] Там же.

[107] *Куломзин А. Н.* Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 194. Л. 21.

очевидцев, раскладывал бумаги на бильярде, так чтобы было видно только место для подписи. В Комитет министров он приезжал большею частью не ознакомленным с делами и нередко затруднялся дать объяснения, но при настойчивых возражениях «очень покладисто брал дело назад»[108]. Тимашев даже предлагал «разгрузить» министров при решении мелких дел (которые министр не имел времени, как он выразился, «изучить по-адвокатски»), поручив своим заместителям регулярно заседать в Комитете министров. Заготовками собственных канцелярий пользовались и другие министры. Так, когда в Комитете министров С. Ю. Витте заметили, что в его в его выступлении содержится явное противоречие, то он не постеснялся заметить, что «вовсе не отвечает за всякий вздор, какой чиновники министерства могли написать от его имени»[109]. Нередко обязательная подпись министра или другого начальника являлась следствием желания чиновников снять с себя ответственность. Чиновник канцелярии Государственного совета М. П. Веселовский описывал комическую ситуацию, когда канцелярские служащие гонялись в поисках согласования за председателем Департамента государственной экономии К. В. Чевкиным, что напоминало «погоню кобелей за сукой»[110]. «Ежедневно к подписи министра присылались огромные папки бумаг, — вспоминал уже свой опыт работы в правительстве П. А. Столыпина С. И. Тимашев, — и сколько было в них лишнего! А между тем задерживать текущее дело было нельзя, приходилось подписывать иногда поздно ночью, по возвращении из разных заседаний»[111].

Не лучшим было и положение самого императора, на утверждение которого поступало огромное количество документов, которые он должен был лично изучать или хотя бы просматривать. Журналы Комитета министров и Государственного совета представлялись царю на утверждение управляющим делами без громоздких приложений, исключением могли быть только те бумаги, которые признавалось необходимым предъявить для сведения[112]. Вместе с журналами подавалась и сопроводительная записка, где делались краткие замечания по журналам, могли даваться и устные разъяснения императору при докладе. Если в начале царствования Александр II готов был безропотно читать объемистые журналы Комитета министров, то со временем, чтобы не утомлять его, Куломзин стал требовать от своей канцелярии более краткого изложения. Нередко при докладе, чтобы не утруждать монарха, не зачитывался полностью документ, а делались из него выдержки или ограничивались пересказом. Современники отмечали, к примеру, что доклады С. Ю. Витте особенно нравились Александру III за то, что они были «лишены звонких фраз, просты и хорошо понятны императору и в некоторых случаях сопровождаются простейшими разъяснениями»[113].

---

[108] Там же. Л. 20

[109] Воспоминания Н. Н. Покровского. С. 197.

[110] Записки сенатора М. П. Веселовского. Л. 661.

[111] Автобиографические записки С. И. Тимашева. С. 245.

[112] Уже в начальный период деятельности Комитета министров существовала практика представления государю составленных из журналов подробных и кратких мемории. — «Всякий министр привозил дела с собою». Записка Ф. Ф. Гежелинского о деятельности Комитета министров. 1826 г. // Исторический архив. 2002. № 3. С. 189–190.

[113] *Проппер С. М.* Что не вошло в газету. Воспоминания главного редактора «Биржевых ведомостей» / Публ. С. К. Лебедева // Ананьич Б. В. , Ганелин Р. Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. С. 410.

В бюрократической среде возможность иметь личный доклад у императора, считалось за «счастие, которое составляет конечную цель всей нашей службы»[114]. Изготовление всеподданнейших докладов[115] считалось наиболее важным и ответственным делом в любой канцелярии.

«Это было настоящее священнодействие, — вспоминал чиновник Министерства юстиции И. В. Гессен. — В десять рук рассмотренный и исправленный доклад — нерешительно, не просмотреть ли еще раз, — сдавался, наконец, в переписку особым каллиграфам. Пишущая машинка только еще входила в употребление, но пользование ею для всеподданнейших докладов считалось недопустимым. Два чиновника вслух сверяли изображенную на толстой веленевой бумаге рукопись. Тем же порядком сверял ее начальник отделения с помощником, затем, при особой препроводительной бумаге, доклад представлялся директору и товарищу министра, которые тоже с изощренным вниманием, его читали и отмечали свое участие на препроводительной бумаге. Наконец, министр, одобрив доклад, отчетливо выводил под ним свою подпись, чтобы назавтра отвезти в Царское Село или Петергоф. <…> На первой странице доклада царь писал, обычно цветным карандашом, свою резолюцию, или, большей частью, ограничивался небольшой косой чертой между двумя точками (парафа), означавшей, что он ознакомился с докладом. По возвращении с аудиенции министр под упомянутой чертой писал: «собственной его императорской рукой начертана парафа (или — такая-то резолюция) в Царском Селе такого то числа», а самая парафа или резолюция покрывалась лаком и доклад передавался в архив для хранения на правах реликвии»[116].

Однако, если у министров были довольно обширные канцелярии и множество сотрудников, то монарх не имел такого делопроизводственного обеспечения. Собственная е. и. в. канцелярия никогда такой функции не имела, а с царствования Николая I окончательно превратилась в самостоятельное учреждение с отделениями. По традиции российские императоры, по-преимуществу, должны были скрывать свои взгляды, опасаясь делиться ими со своим окружением. Даже должность личного секретаря монарха казалась подозрительной и могла перерасти в значение могущественного временщика, каким представал в исторической памяти граф А. А. Аракчеев. Так, Николай II обходился без личного секретаря, тратил много времени на корреспонденцию. «Достаточно работы для двух-трех доверенных приближенных, — вспоминал А. А. Мосолов. — Но тут-то заключалась трудность. Надо было довериться кому-либо. А царь недолюбливал доверять свои мысли посторонним. Вдобавок была и другая опасность: секретарь стал бы расти в значении, сделался бы необходимым, влиял бы на монарха. Влиять на того, кто желал слушаться лишь своей совести! Одна эта возможность должна была сама по себе встревожить Николая II»[117].

---

[114] *Корф М. А.* Дневник. Год 1843-й. С. 62.

115 О практике всеподданнейших докладов и их значении в системе личной власти монарха см.: *Мустонен П.* Указ. соч. С. 161–169; *Шилов Д. Н.* Феномен всеподданнейшего доклада в политической жизни Российской империи (XIX — начало XX в.) // Клио. 2000. № 2. С. 60–67; Долбилов М. Д. «…Угадывать волю Вашу»: роль советника в принятии императорских решений в России XIX в. // Петр Андреевич Зайончковский. Сборник статей и воспоминаний к столетию историка. М., 2008.

[116] *Гессен И. В.* В двух веках. Жизненный отчет. Берлин, 1937. С. 131.

[117] *Мосолов А. А.* При дворе последнего императора. СПб., 1992. С. 76–77.

Еще в начале XIX в., рассуждая о возможности монарху «все самому распоряжать», министр внутренних дел В. П. Кочубей заключил: «Как действительно Государю обнять все отрасли правления, когда начальник одной какой-нибудь части, есть ли бы он вздумал все делать сам, никак бы не мог делать с надлежащим успехом. Какое достоинство при том может быть не только для Государя, но даже и для начальника какой-нибудь части писать самому или заниматься еще тем, чтоб писать хорошо. Для сего есть люди, которые, упражняясь непрестанно в сочинении бумаг, имеют и более времени и более к тому привычки. Дело Государя думать и повелевать в больших чертах»[118]. Среди министров крепло убеждение, что император не в состоянии править без бюрократии. «Царь самодержавен, — утверждал уже на рубеже XIX-XX вв. С. Ю. Витте, — потому что от него и только от него зависит установить машину действия, но так как царь — человек, то для управления страною в 130 млн. подданных ему машина нужна, ибо его человеческие силы не могут заменить машину. Царь самодержавен, а потому он может менять по своему усмотрению сию машину и все части ее, когда только захочет, но все-таки может менять, но физически не может действовать без машины»[119].

Заключение

Разумеется, в Российской империи «право на генеральную сигнификацию и тотальное авторство принадлежало императору» и всякая власть действовала от царского имени[120]. Однако, апелляция к верховной санкции и вербальная демонстрация бюрократией своего октроированного положения, скрывали сложные механизмы воздействий, в том числе и через канцелярии, на процесс управления. «Власть письма» постепенно трансформировалась в «знание-власть», что не могло не повлиять на изменение реального статуса канцелярских чиновников. Новые люди, пришедшие из университетов и лицеев, со специальной профессиональной подготовкой в этих условиях вносили модерные перемены в доселе замкнутый мир канцелярии, все еще действовавшей в пределах патримониальной организации, с ее патрон-клиентскими отношениями. Делопроизводственное письмо было языком власти, но оно не было единственным средством установления коммуникаций внутри бюрократического мира, в котором повседневные поведенческие практики играли важную роль. На протяжении XIX — начала XX вв. законодательство, определявшее систему государственной службы, изменилось незначительно. Но и в этой наиболее регламентированной и внешне закрытой сфере все же под влиянием общей социокультурной эволюции и с увеличением каналов коммуникации с обществом происходили постепенные изменения. Поэтому так трудно, но и так важно, уловить эволюцию российской бюрократии, особенно в канцелярской среде, в которой и была сосредоточена техника администрирования. Ситуация осложнялась еще и тем, что уровень бюрократической элиты, уже в силу поколенческих и карьерных различий, с некоторым запозданием оказался затронут переменами. Еще медленней происходила модернизация местной

[118] Записка графа В. П. Кочубея об учреждении Министерств [28 марта 1806 г.] // Сборник Русского исторического общества. Т. 90. СПб., 1894. С. 207.

[119] С. Ю. Витте — Д. С. Сипягину // Красный архив. 1925. № 5. С. 32.

[120] *Орлова Г. А*. Бюрократическая реальность. С. 96.

администрации. В таких условиях канцелярии, особенно в Петербурге, становились уже не только институциями, ответственными за делопроизводство, но и местом сосредоточения специалистов в той или иной области управления, с претензией на экспертные заключения. Авторитет научного знания, который новые люди в канцеляриях формировали, сосуществовал с приниженным статусом в бюрократической иерархии, который не только порождал внутреннее напряжение в их самооценках, но и сопровождался стремлением повысить свою роль путем использования канцелярских приемов, обеспечивавших выход за пределы, очерченные официальной нормой. Канцелярия и делопроизводство, конечно, играли, как я постарался показать, важную роль. Но эта роль оставалась латентной, ограниченной, ее следует принимать во внимание, но не стоит преувеличивать, как не стоит возводить в абсолют «власть письма». Конечно, законодательные акты и делопроизводственные документы, остаются самыми важными источниками изучения функционирования государственных учреждений, но это картина никогда не будет полной, если не учесть бюрократическую повседневность. Обновление состава петербургских канцелярий, повышение образовательного уровня их чиновников, усовершенствование механизма делопроизводства и выработка нового бюрократического стиля не вели автоматически к повышению эффективности бюрократии. Профессионалам-бюрократам все еще было не просто проникнуть в политическую элиту империи. На их пути стояли традиции самодержавного строя, система комплектования и организация работы правительственного аппарата, особенности российской бюрократической «школы». Поэтому процесс профессионализации и интеллектуализации российской бюрократии был столь трудным и противоречивым.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В РОССИИ

Российское образованное общество и проблема детоубийства в контексте истории (вторая половина XIX–начало XX вв.)

Михель Д. В. , Михель И. В.

В этой статье обсуждается вопрос о том, как российское образованное общество отреагировало на проблему детоубийства, стремительно принявшую злободневный характер во второй половине XIX — начале XX в. Она захватила внимание многих людей в России, породив большое число публикаций и дискуссии с участием пишущей интеллигенции и специалистов. На целые полстолетия — от начала эпохи Великих реформ и до начала первой мировой войны — текстуально сконструированные образы невинных мертвых младенцев и жестоких и одновременно несчастных матерей-детоубийц, картины грубых нравов народной жизни и несовершенных законов стали достоянием общественного воображения. Трудно было себе представить более сильный вызов нравственному чувству российской общественности, чем эта проблема. Вступая в начале 1860-х гг. на путь долгожданных преобразований, общество, по мнению его образованной части, должно было двигаться в сторону свободы, справедливости и процветания, а вместо этого столкнулось с ужасающими проявлениями повсеместной дикости и жестокости, препятствующими продвижению к цивилизации. Однако, оказавшись перед лицом проблемы инфантицида (детоубийства — *Д. М. , И. М.*), Россия лишь повторила опыт других европейских стран, о чем свидетельствует современная историография. Правда, по сравнению с Западом период активных дискуссий по поводу проблемы детоубийства в России, кажется, был более коротким, а с установлением советской власти они и вовсе были свернуты. В последние годы они возобновились вновь, приняв форму телевизионных репортажей и газетных статей о скандальных фактах из жизни, однако почти не привлекли внимания отечественных историков и социальных исследователей[1]. Именно поэтому необходимо поднять их на новый уровень осмысления.

Для этого важно обратиться к обсуждению уже имеющегося опыта и попытаться реконструировать те идеи, которые звучали раньше. При этом следует их критически взвесить, поместив в соответствующий исторический контекст и связать с конкретными лицами и обстоятельствами. Полезными могли бы оказаться следующие вопросы: каким образом формулировали проблему инфантицида основные участники развернувшихся дискуссий? Как это было связано с их гражданскими убеждениями и профессиональными интересами? Какие решения проблемы предлагались?

1. Инфантицид в поле зрения историков и других специалистов

Проблема детоубийства в виду ее сложности и многогранности обсуждается представителями разных областей знания. Кроме того, она неизменно является те-

[1] *Михель Д. В.* Общество перед проблемой инфантицида: история, теория, политика // Журнал исследований социальной политики. 2007. Т. 5. № 4. С. 439 — 440.

мой обывательских разговоров и журналистских интерпретаций. В зависимости от того, какой из ее аспектов выходит на первый план, инфантицид принимает черты уголовно наказуемого преступления, социального явления или естественнонаучного факта. С точки зрения критической социальной теории, феномен инфантицида является артефактом и конструируется средствами дискурса.

К настоящему времени сложилось несколько устойчивых дискурсивных стратегий обсуждения проблемы инфантицида. Как правило, они практически не пересекаются между собой, хотя иногда открывается возможность для их сближения, что позволяет рассматривать инфантицид в рамках междисциплинарного диалога. Тем не менее каждая из этих стратегий вполне самостоятельна и обычно претендует на более-менее полную презентацию данной проблемы. Сегодня существует не менее пяти направлений для развития дискуссий об инфантициде. Некоторые из них опираются на устойчивую и давнюю традицию восприятия данного явления. Коротко охарактеризуем каждое из них.

Прежде всего, *юридическое восприятие* инфантицида. Оно представляет инфантицид как одну из разновидностей уголовных преступлений против жизни человека и формируется на базе представлений, которые присущи теоретикам и историкам уголовного права, криминалистам и криминологам, судьям и работникам правоохранительных органов. С учетом той значимости, которую имеют для остальных членов общества представления этих специалистов, юридическая интерпретация традиционно влияет на популярное восприятие инфантицида.

Юридическая трактовка восходит к первым законодательным нормам, которые были сформулированы не один век назад. В России, как и в западных традициях уголовного права, детоубийство обычно определяется как *убийство матерью новорожденного ребенка*. Современная юридическая трактовка инфантицида в России представлена в статье 106 Уголовного кодекса, принятого в 1996 г. В советский период ни один из трех действовавших кодексов не квалифицировал инфантицид как самостоятельный вид преступления. Однако советские юристы не оставляли случаи детоубийства без внимания и имели о них вполне определенное мнение. В свою очередь, советская юридическая традиция восприятия инфантицида опиралась на нормы уголовного права и криминологические концепции, разработанные в дореволюционный период, а те были тесно связаны с правовыми идеями Запада.

За последнее столетие появилось большое количество юридической литературы об инфантициде, которая детально объясняет многие стороны данного явления. Характерной чертой большинства работ, публикуемых юристами, является стремление рассматривать данное явление с учетом исторических, социальных и медицинских его особенностей. Однако эти черты неизменно уходят на задний план, когда речь идет о самой сути явления. Для юристов детоубийство — это преступление, лишение человека жизни. В данной статье мы не ставим задачу дать обозрение всех имеющихся работ юридического содержания, а просто констатируем их наличие и рост интереса данной категории специалистов к проблеме детоубийства в последние годы[2].

---

[2] *Маньковский Б. С.* Детоубийство — убийства и убийцы. М., 1928; *Звирбуль А. К.* Расследование и предупреждение детоубийств. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1969; *Цыбуленко Т. Д.* Детоубийства и меры по их искоренению. Автореф. дис. канд. юрид наук.

Наряду с юридической трактовкой инфантицида на протяжении уже более чем столетия разворачиваются *медицинские и медико-психологические интерпретации*. В виду того, что врачи первоначально вынуждены были обсуждать данную проблему в качестве приглашаемых в суд экспертов, они, как правило, толковали ее, ориентируясь на юридические интерпретации. Тем не менее, с самого начала уникальность позиции, которую они заняли как эксперты, позволила им предложить собственную оригинальную трактовку. Имея дело как с трупами новорожденных, так и с женщинами, обвиняемыми в детоубийстве, медицинские эксперты воспринимали инфантицид в двух проекциях: как возможную причину гибели только что появившегося на свет человеческого существа и как следствие неких состояний, которые определяли поведение действия матери младенца. Как экспертам медикам обычно приходилось совмещать обе эти проекции, чтобы придти к установлению факта инфантицида, и в этом случае им приходилось фокусировать все внимание на фигуре матери, чье поведение им следовало объяснить ясным и непротиворечивым образом. Поскольку убийство кровного родственника, тем более ребенка, традиционно воспринималось как *противоестественное поведение* и отклонение *от социальной нормы*, то медики также склонились к тому, чтобы рассматривать женщину-детоубийцу как ненормальную или, во всяком случае, личность, испытывающую временные психопатолологические состояния.

Медицинская и медико-психологическая литература об инфантициде представлена огромным количеством текстов, как описательного, так и аналитического характера. Как в России, так и в других странах, объем такого рода литературы продолжает увеличиваться, и мы также не намерены обращаться к ее обсуждению[3].

Киев, 1975; *Тимина Л. И.* Ответственность за детоубийство по советскому уголовному праву. Автореф. дис. канд. юрид. наук М., 1980; *Глухарева Л. И.* Уголовная ответственность за детоубийство. М., 1984; *Тайбаков А., Погодин О.* Убийство матерью новорождённого ребёнка // Законность. 1997. № 5. С. 16–17; *Павлова Н.* Убийство матерью новорожденного ребенка // Законность. 2001. №12. С. 43–44; *Лукичев О. В.* Детоубийство: уголовно-правовая и криминологическая характеристика. СПб., 2000; *Кунц Е. В.* Уголовно-правовые и криминологические аспекты детоубийства // Вестник Челябинского университета. Серия 9. Право. 2001. №1 (1). С. 58–63; *Бояров С.* Квалификация убийства детей // Российская юстиция. 2002. № 312. С. 50; *Карасова А. Л.* Убийство матерью новорожденного ребенка: Теоретико-прикладные аспекты ответственности по ст. 106 УК РФ. Автореф. дис. канд. юрид наук. Ростов-на-Дону, 2003; *Сердюк Л.* Детоубийство: вопросы правовой оценки. Российская юстиция. — 2003. № 11. С. 43–45; *Золотов М. А.* Методика расследования убийства матерью новорожденного ребенка. Автореф. дис. канд. юрид наук. СПб., 2004; *Соловьева Н. А.* Методика расследования детоубийств: Учебное пособие. Волгоград., 2004; *Лысак Н. В.* Ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка // История государства и права России. 2005. №1. С. 21–24 и др.

[3] *Emery J. L.* Infanticide, Filicide, and Cot Death // Archive of Disease in Childhood. 1985. Vol.60 (6). P. 505–507; *Pitt S. E. , Bale E. M.* Neonaticide, Infanticide, and Filicide: A Review of the Literature // Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law. 1995. Vol. 23 (3). P. 375–386; *Schwartz L. L. , Isser N. K.* Endangered Children: Neonaticide, Infanticide, and Filicide (Pacific Institute Series on Forensic Psychology). Boca Raton, Florida: CRC Press, 2000; *Spinelli M. G.* (ed.) Infanticide: Psychosocial and Legal Perspectives on Mothers Who Kill. American Psychiatric Publishing, Inc., 2002; *Fitzpatrick M.* Cot Deaths: Tragedy, Suspicion and Murder // British Journal of General Practice. 2004. Vol.54 (500). P. 225; *McKee G. R.* Why Mothers Kill: A Forensic Psychologist's Casebook. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006; *Friedman*

Даже в рамках отдельных периодических медицинских изданий уже накопилась богатая библиография публикаций об инфантициде. Таков, например, случай с «British Medical Journal»[4], на страницах которого тексты такого рода выходят почти полтора столетия[5].

Если юридические и медицинские трактовки инфантицида трактуют его как некую форму отклоняющегося социального поведения, то для *биологов*, которые обратились к обсуждению данной проблемы позднее, *истребление потомства* — это явление, присущее не только человеческому обществу, но и миру животных. Отсюда возникают вопросы о том, правомерно ли считать инфантицид чем-то противоестественным. Одним из первых в XX в. вопрос о инфантициде у животных поставил российский биолог-дарвинист В. А. Вагнер, чья работа «Психология размножения и эволюция» вышла в 1922 г. Вагнер рассматривал инфантицид как случай непримиримого противоречия между биологическими интересами матери и потомства, когда самки животных, спасая свою жизнь, вынуждены бросать детенышей, обрекая их на гибель[6]. В последующие пятьдесят лет его идеи в данной области почти не привлекали внимания, пока в начале 1970-х гг. американка С. Харди, изучавшая в Индии поведение обезьян-лангуров, не сосредоточилась целиком на этой проблеме. В своих исследованиях она доказывала, что инфантицид у лангуров является регулярной практикой, к которой прибегают самцы, чтобы обеспечить возможность сохранить собственное потомство и уничтожить потомство самцов-конкурентов[7]. Предложенная С. Харди гипотеза давала новую жизнь дарвиновской концепции полового отбора и удачным образом решала некоторые трудные вопросы эволюционной теории. В частности вопрос о причинах уникальных репродуктивных свойств человеческого рода, благодаря которым женщины являются единственными среди всех самок приматов, способных к круглогодичному зачатию потомства. По мысли Харди, эта особенность женского организма стала результатом эволюционного ответа женщин на инфантицид, практикуемый самцами-приматами.

S. H. , Resnick P. J. Child Murder by Mothers: Patterns and Prevention // World Psychiatry. 2007. Vol.6 (3). P. 137–141; *Barr J. A. , Beck C. T.* Infanticide Secrets: Qualitative Study on Postpartum Depression // Canadian Family Physician. 2008. Vol. 54 (12). P. 1716–1717.

4 *Bagchi S*. Filmmaker Focuses on Female Infanticide (Film Review) // British Medical Journal. 2005. Vol.331 (2 July). P.56; *Dyer C.* Cherished (TV review) // British Medical Journal. 2005. Vol. 330 (26 February). P.484; *Dyer C*. Mothers Suspected of Killing Their Babies Might Be Dealt with Outside Criminal System // British Medical Journal. 2004. Vol. 328(21 February). P. 425; *Hopkins T. J*. “Safe Havens” for Unwanted Babies Could Reduce Infanticide // British Medical Journal. 2003. Vol. 326 (29 March). P. 678; *Hesketh T., Wei X. Z.*. Health in China: The One Child Family Policy: the Good, the Bad, and the Ugly // British Medical Journal. 1997. Vol. 314 (7 June). P. 1685; *Dyer C.* Britain and US Clash over Infanticide // British Medical Journal. 1996. Vol. 312 (16 March). P. 656.

5 *Homrighaus R. E***.** Wolves in Women’s Clothing: Baby-Farming and the British Medical Journal, 1860–1872 // Journal of Family History. 2001. Vol. 26 (July). P. 350–372.

6 *Вагнер В. А*. Психология размножения и эволюция // Сравнительная психология и зоопсихология. Антология / Сост. и общ. ред. Г. В. Калягиной. СПб., 2001. С. 156–202.

7 *Hrdy S. B.* Male-Male Competition and Infanticide among the langurs (*Presbytis entellus*) of Abu, Rajastan // Folia Primatologica. 1974. Vol. 22. P. 19–58; *Hrdy S. B.* Infanticide as a Primate Reproductive Strategies // American Scientist. 1977. Vol.65 (1). P. 40–49; *Hrdy S. B*. The Langurs of Abu: Male and Female Strategies of Reproduction. Cambridge, 1977.

Выводы Харди встретили возражение со стороны Дж. Боггес, которая предложила рассматривать инфантицид у лангуров не как биологическую норму, но как пример поведенческой патологии, вызванной ухудшением экологической обстановки, в которой обитают популяции индийских лангуров[8]. Дискуссия этих двух американских приматологов породила интерес к проблеме со стороны других западных ученых, которые в последующем описали многочисленные примеры инфантицида у других видов — от рыб и птиц до млекопитающих[9].

Споры Харди с ее оппонентами стали важной вехой в истории биологии. Благодаря ним в науку была вписана еще одна важная страница, повествующая о том, что до сих пор считалось свойственно только людям — способность уничтожать собственное потомство. Впрочем, как показала Д. Харауэй, эти споры не были только формой борьбы за научную истину, но и оказались откликом ученых 1970–1980-х гг. на политические дискуссии о семейном насилии и репродуктивных свободах, инициированные феминистками[10].

Этнографические интерпретации инфантицида восходят к временам первых исследователей, собиравших разнообразную информацию о народах и особенностях их культуры. При желании их можно возвести к трудам Геродота или Плутарха, оставивших некоторые сведения на этот счет в античном мире. Вплоть до XIX в. такие исследования преимущественно были делом любителей и лишь, затем стали занятием профессиональных ученых. С этого момента и до настоящего времени этнографические и социально-антропологические сведения об инфантициде постоянно приумножались. Именно они были постоянным источником сведений для тех юристов и медиков, которые первыми начали писать свои работы о детоубийстве в XIX в. В течение последнего столетия этнографы приумножили копилку знаний об инфантициде в культуре различных народов, в особенности тех, что обитают за пределами западного мира.

---

[8] *Boggess J.* Troop Male Membership Charges and Infant Killings in Langurs (*Presbytis entellus*) // Folia Primatologica. 1979. Vol. 32. P. 64–107.

[9] *Чалян В. Г. , Мейшвили Н. В*. Инфантицид у павианов гамадрилов // Биологические науки. 1990. №3. С. 99–106; *Бутовская М. Л*. Власть, пол и репродуктивный успех. М., 2005; *Goodall J.* Infant Killing and Cannibalism in Free-Living Chimpanzees // Folia Primatologica. 1977. Vol.28 (2). P. 259–282; *Hausfater G., Hrdy S. B.* (eds). Infanticide: Comparative and Evolutionary Perspectives. New York: Aldine, 1984; *Hausfater G.* Infanticide: Comparative and Evolutionary Perspectives // Current Anthropology. 1984. Vol.25 (4). P. 500–502; *Nishida T., Kawanaka K.* Within Group Cannibalism by Adult Male Chimpanzees // Primates. 1985. Vol. 26 (3). P. 274–284; *Hoogland J. L*. Infanticide in the Prairie Dogs: Lactating Females Kill Offspring of Close Kin // Science. 1985. Vol.230 (4729). P. 1037–1040; *Parmigiani S., vom Saal F. S*. (eds.) Infanticide and Parental Care (Ettore Majorana International Life Sciences Series, Vol.13). New York: Routledge, 1994; *Schaik C. P. van, Janson C. H.* (eds.) Infanticide by Males and its Implications. Cambridge: Cambridge University Press, 2000; *Veiga J. P.* Replacement Female House Sparrows Regularly Commit Infanticide: Gaining Time or Signaling Status? // Behavioral Ecology. 2004. Vol. 15 (2). P. 219–222.

[10] *Haraway D. J.* Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science. New York: Routledge, 1989; *Haraway D. J.* Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991. См. также: *Rees A.* Practicing Infanticide, Observing Narrative: Controversial Texts in a Field // Social Studies of Science. 2001. Vol. 31 (4). P. 507–531.

С точки зрения этнографов, инфантицид представляет собой одну из форм *регулирования рождаемости*, которая с давних пор практиковалась людьми наряду с тремя другими — фетоцидом (абортом), контрацепцией и воздержанием. Избегая прямых оценочных суждений о данном явлении, этнографы, тем не менее, в силу своего традиционного восприятия чужой культуры как *иной* по своей сути представляли практики детоубийства как *нехарактерные* для цивилизованного человечества. В дискурсе этнографов XIX в. инфантицид — это форма регулирования числа детей в обществах «дикарей» и «варваров». Этнографические и социально-антропологические исследования XX в. отсылают к «локальному культурному опыту» племен, занятых охотой и собирательством, а также некоторых земледельческих и пастушеских обществ. Как и в предыдущих случаях следует отметить, что существует богатая этнографическая литература, обсуждающая проблему инфантицида. В качестве особого сюжета в числе прочих эта тема часто рассматривалась в рамках фундаментальных работ[11]. Начиная с 1970-х гг. она превратилась в предмет специальных исследований феминистских антропологов[12]. Как и в случае с биологами, здесь правомерен вывод Харауэй о влиянии публичных дискуссий по проблемам пола, сексуальности и насилия на научную работу. По понятным причинам мы также оставляем всю этнографическую литературу за пределами нашего внимания.

Исторические интерпретации инфантицида, безусловно, близки к этнографическим, но все же обладают своеобразием. Как и для социальных антропологов, для историков инфантицид выступает общественным явлением, формой регулирования рождаемости. Между тем историки привыкли иметь дело с «письменными обществами». По этой причине их внимание к феномену инфантицида выражается в интересе к *документам*, посвященным проблеме инфантицида, а такие документы появляются далеко не сразу. Их критическое количество накапливается тогда, когда происходит своего рода столкновение двух культур — «ученой» и «народной», или, в другой терминологии, когда новая политика контроля над рождаемостью вступает в противоречие с традиционными культурными практиками регулирования рождаемости. Тем самым историки сосредотачивают внимание на том, почему и как с определенного историче-

---

11 *Мид М.* Культура и мир детства: Избранные произведения. М., 1988; *Sumner W. G.* Folkways: A Study of Mores, Manners, Customs and Morals. Cosimo, 2007. P. 308–328; *Harris M.* The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories of Culture. N. Y. , 1968. P. 161–164; *Borofsky R.* Yanomami: The Fierce Controversy and What We Can Learn from It. Berkeley, 2005 и др.

12 *Кон И. С.* Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива. М., 1988; *Freeman M. M. R.* A Social and Ecologic Analysis of Systematic Female Infanticide among the Netsilik Eskimo // American Anthropologist. New Series. 1971. Vol. 73 (5). P. 1011–1018; *Cowlishaw G.* Infanticide in Aboriginal Australia // Oceania. 1978. Vol.48 (2). P. 262–283; *Chapman M.* Infanticide and Fertility among Eskimos: a Computer Simulation // American Journal of Physical Anthropology. 1980. Vol.53 (2). P. 317–327; *Pfeffer G.* False conceptions of Socio-Biological Ethnography and Female Infanticide in India // Anthropos. 1983. Vol.78 (5–6). P. 649–660; *Hill C. M. , Ball H. L.* Abnormal Births and Other “Ill Omens”: The Adaptive Case for Infanticide // Human Nature. 1996. Vol.7 (4). P. 381–401; *Briggs C. L.* Mediating Infanticide: Theorizing Relations between Narrative and Violence // Cultural Anthropology. 2007. Vol. 22 (3). P. 315–356; *Hedge R. S.* Fragments and Interruptions: Sensory Regimes of Violence and the Limits of Feminist Ethnography // Qualitative Inquiry. 2009. Vol. 15 (2). P. 276–296.

ского момента в рамках конкретных обществ инфантицид переходит в разряд неприемлемых социальных явлений и вокруг этой проблемы разворачиваются дискуссии.

Не смотря на то, что до сих пор принято обращаться за некоторыми комментариями по проблеме инфантицида к текстам античных авторов, исторические интерпретации инфантицида начали разворачиваться сравнительно недавно. Первые значительные исследования в этой области появились в 1970-е гг. в связи с ростом академических дебатов о власти, сексе и отношениях между полами. Важную теоретическую рамку для современных исторических исследований задал М. Фуко, сформулировавший свою теорию «био-власти» — политических институтов современного типа, заинтересованных в осуществлении контроля над населением и его воспроизводством[13]. Если развивать основной тезис Фуко, то инфантицид становится ненормальным явлением, преступлением лишь в тех обществах, где государство монополизирует право защищать жизнь и обрекать на смерть, отнимая его у рядовых членов общества, в том числе у родителей новорожденного ребенка. С момента возникновения соответствующих законов детоубийство переходит из разряда социально «невидимых» феноменов в область публичной политики и дебатов с участием специалистов.

Социально-конструктивистская модель, связываемая с именем Фуко, сделала для многих историков необходимым более тщательно исследовать вопрос о том, как государственной власти и ее представителям удалось не только придать негативный смысл народным практикам регулирования рождаемости, но и перевести их в разряд криминальных. Кроме того, возник интерес к тому, как шел процесс конструирования образа субъекта данного преступления и его жертв. Вполне понятно, что историки сосредоточились на материалах судебных процессов, посвященных случаям детоубийства, которые стали многочисленными в Европе уже в Новое время. Характерно, что эти процессы были частью более масштабной борьбы с другими проявлениями «народного беззакония» — поджогами, браконьерством, кражами и т. п. На обширном фактическом материале специалисты по социальной истории Запада показали, что в Италии, Англии, Шотландии, Германии и других европейских странах в роли обвиняемых традиционно выступали молодые незамужние женщины, а жертвами — их незаконнорожденные дети; действовала своеобразная машина, постоянно избирающая своими мишенями одних и тех же субъектов[14]. Данное обстоятельство вынудило некоторых исследователей

[13] *Фуко М.* Воля к знанию // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. С. 238–368; *Фуко М.* «Нужно защищать общество»: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году. СПб., 2005. С. 253–278.

[14] *Trexler R. C.* Infanticide in Florence: New Sources and First Results // History of Childhood Quarterly. 1973. №. 1. P. 98–116; *Kellum B. A.* Infanticide in England in the Later Middle Ages // History of Childhood Quarterly. 1974. № 1. P. 367–388; *Langer W. A.* Infanticide: A Historical Survey // History of Childhood Quarterly. 1974. №. 1. P. 353–366; *Wrightson K.* Infanticide in Earlier Seventeenth-century England // Local Population Studies. 1975. Vol. 15. P. 10–22; *Malcolmson R. W.* Infanticide in the Eighteenth Century // Cockburn J. C. (ed.) Crime in England. London, 1977. P. 187–209; *Sauer R.* Infanticide and Abortion in Nineteenth-century Britain // Population Studies. 1978. Vol. 32. P. 81–93; *Montag B. A. , Montag T. W.* Infanticide: Historical Perspective // Minnesota Medicine. 1979. May. P. 368–372; *Piers M. W.* Infanticide: Past and Present. N. Y. , 1980; *Hoffer P. C. , Hull N. E. H.* Murdering Mothers: Infanticide in England and New England, 1558–1803. N. Y. , 1981; *Wrightson K.* Infanticide in European History // Criminal Justice History. 1982. Vol.3. P. 1–20;

уделить особое внимание работе самих судов, а также вкладу судей и судебно-медицинских экспертов в формирование юридических и медицинских трактовок инфантицида. Некоторые историки поставили перед собой цель заново интерпретировать истории о детоубийстве, рассказанные прежде юристами и врачами[15].

Начав с изучения дел в Европе, историки не ограничились анализом только европейских случаев и обратились к изучению проблемы инфантицида в других крупных культурных регионах. В результате этого появились работы, посвященные инфантициду в исламском мире[16], Америке[17], Южной Африке[18] и Японии[19]. Особое внимание

Rose L. The Massacre of the Innocents: Infanticide in Britain, 1800–1939. L., 1986; *Symonds D. A*. Weep Not for Me: Women, Ballads, and Infanticide in Early Modern Scotland. Pennsylvania, 1992; *Kertzer D. I*. Sacrificed for Honor: Italian Infant Abandonment and the Politics of Reproductive Control. Boston, 1993; *Schulte R*. The Village in Court: Arson, Infanticide, and Poaching in the Court Records of Upper Bavaria 1848–1910. Cambridge, 1994; *Jackson M*. New-born Child Murder: Women, Illegitimacy and the Courts in Eighteenth-Century England. Manchester, 1996; *Gowing L*. Secret Births and Infanticide in Seventeenth-Century England // Past and Present. 1997. № 156: P. 87–115; *Jackson M.* (ed.) Infanticide: Historical Perspectives on Child Murder and Concealment, 1550–2000. Aldershot, 2002; *Ferraro J. M.* Nefarious Crimes, Contested Justice: Illicit Sex and Infanticide in the Republic of Venice, 1557–1789. Baltimore, 2008.

[15] *Behlmer G. K*. Deadly Motherhood: Infanticide and Medical Opinion in Mid-Victorian England // Journal of History of Medicine and Allied Sciences. 1979. Vol. 34 (3). P. 403–427; *Geyer-Kordesch I*. Infanticide and Medico-legal Ethics in Eighteenth Century Prussia // Wear A., Geyer-Kordesch I., French R. (eds.) Doctors and Ethics; The Earlier Historical Settings of Professional Ethics. Amsterdam, 1993. P. 181–202; *Jackson M*. Suspicious Infant Death: the Statute of 1624 and Medical Evidence at Coroners Inquests // Clark M., Crawford C. (eds.) Legal Medicine in History. Cambridge, 1994. P. 64–86; *Wessling M. N*. Infanticide Trials and Forensic Medicine: Württemberg, 1757–1793 // Clark M., Crawford C. (eds.) Legal Medicine in History. Cambridge, 1994. P. 117–144; *Jackson M*. Developing Medical Expertise: Medical Practitioners and the Suspected Murders of New-Born Children // Porter R. (ed.) Medicine in the Enlightenment. Amsterdam, 1995. P. 145–165; *Kelly B. D*. Poverty, Crime and Mental Illness: Female Forensic Psychiatric Committal in Ireland, 1910–1948 // Social History of Medicine. 2008. Vol. 21 (2). P. 311–328; *Hager T***.** Compassion and Indifference: The Attitude of the English Legal System Toward Ellen Harper and Selina Wadge, Who Killed Their Offspring in the 1870s // Journal of Family History. 2008. Vol.33 (April). P. 173–194.

[16] *Giladi A*. Some Observations on Infanticide in Medieval Muslim Society // International Journal of Middle East Studies. 1990. Vol.22 (2). P. 185–200; *Giladi A*. Infants, Children, and Death in Medieval Muslim Society: Some Preliminary Observations // Social History of Medicine. 1990. Vol.3 (2). P. 345–368.

[17] *Green E. C***.** Infanticide and Infant Abandonment in the New South: Richmond, Virginia, 1865–1915 // Journal of Family History. 1999. Vol. 24 (April). P. 187–211; *Kramar J. K*. Unwilling Mothers, Unwanted Babies: Infanticide in Canada (Law and Society). Vancouver, 2006; *Parker D. S*. Civilizing Argentina: Science, Medicine, and the Modern State (Book Reviews) // Social History of Medicine. 2007. Vol.20 (3). P. 624–625; *Altink H*. "I Did Not Want to Face the Shame of Exposure": Gender Ideologies and Child Murder in Post-Emancipation Jamaica // Journal of Social History. 2007. Vol. 41 (2). P. 355–387.

[18] *Malherbe V. C*. Born Into Bastardy: The Out-of-Wedlock Child in Early Victorian Cape Town // Journal of Family History. 2007. Vol. 32 (January). P. 21–44.

[19] *Picone M.* Infanticide, the Spirits of Aborted Fetuses, and the Making of Motherhood in Japan // Nancy Scheper-Hughes and Carolyn Sargent (eds.) Small Wars: The Cultural Politics of Childhood. Berkeley, 1998. P. 37–57.

было уделено Китаю[20] и Индии[21], где народные формы контроля над рождаемостью традиционно были связаны с истреблением девочек, а в современный период правительства обеих стран в отличие от остальных государств вынуждены были поддержать меры по ограничению рождаемости.

История инфантицида в России все еще не написана, но первые шаги уже сделаны. Первыми проявили к ней интерес западные историки. В 1988 г. Д. Рэнсел опубликовал работу об истории брошенных детей, в которой на примере московского и петербургского приютов показал, какие масштабы в центральных областях России во второй половине XVIII в. приобрела практика оставления незаконнорожденных детей. Приюты функционировали как особые пункты обмена между образованным обществом и российской деревней. Их цель состояла в том, чтобы сохранить жизнь обреченным детям и, кроме того, они выступали особыми социальными лабораториями по воспитанию будущих ремесленников и мастеровых[22]. Поскольку приютов для подкидышей в России поначалу было немного, то, следуя логике Рэнсела, число обреченных на смерть брошенных детей по всей сельской России еще долгое время было весьма значительным.

В 1989 г. И. Левин в своей книге о сексуальности в России, Сербии и Болгарии затронула проблему инфантицида с другой стороны. Она показала, что с момента принятия православного христианства в славянских странах и вплоть до конца XVII в. инфантицид был следствием повышенной озабоченности со стороны церкви и простого народа, феноменом внебрачных половых связей. Жизнь младенцев, рожденных вне брака, была ценой для спасения женской репутации[23]. Этот вывод, применяемый Левин для российской истории X-XVII вв., применим и в более широкой исторической перспективе. Так, по мнению Ф. фом Зааля, греческая, римская и христианская культуры традиционно были более озабочены предотвращением добрачного и внебрачного секса, нежели заботой о благополучии детей[24].

В 1992 г. Л. Энгельштейн в работе о сексуальности в России на рубеже XIX-XX вв. показала, что некоторое ослабление традиционного социального и церковного контроля над женской сексуальностью в тот период привело к усилению полицейского

---

[20] *Lee J., Campbell C., Tan G*. Infanticide and Family Planning in Late Imperial China: the Price and Population History of Rural Liaoning, 1774–1873 // Rawsky T. G. , Li L. M. (eds.) Chinese History in Economic Perspective. Berkeley, 1992. P. 145–176; *Mungello D. E*. Drowning Girls in China: Female Infanticide in China since 1650. Lanham, 2008.

[21] *Sen M*. Death by Fire: Sati, Dowry Death, and Female Infanticide in Modern India. New Brunswick, 2002; *Bhatnagar R. D. , Dube R, Dube R*. Female Infanticide In India: A Feminist Cultural History. N. Y. , 2005; *Sahni M., Verma N., Narula D., Varghese R. M. , Sreenivas V., Puliyel J. M.* Missing Girls in India: Infanticide, Feticide and Made-to-Order Pregnancies? Insights from Hospital-Based Sex-Ratio-at-Birth over the Last Century // PLoS ONE. 2008. Vol. 3 (5).P.e2224; *Moore E*. Hindu Infanticide, an Account of the Measures adopted for Suppressing the Practice. Bazaar, 2009. См. также: *Cave-Brown J*. Indian Infanticide: Its Origin, Progress, and Suppression. Cole, 2008.

[22] *Ransel D*. Mothers of Misery: Child Abandonment in Russia. Princeton, 1988.

[23] *Levin E*. Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs, 900–1700. Ithaca, NY; London, 1989.

[24] *Saal vom F. S*. The Role of Social, Religious and Medical Practices in the Neglect, Abuse, Abandonment and Killing of Infants // Parmigiani S., vom Saal F. S. (eds.) Infanticide and Parental Care (Ettore Majorana International Life Sciences Series, Vol.13). New York, 1994. P. 62–63.

и медицинского внимания к этой сфере. Одним из важных последствий этой криминализации и медикализации женской сексальности стал рост числа фиксируемых женских преступлений, главным из которых было детоубийство[25].

Идеи о существовании традиционно жесткого социального контроля над частной и сексуальной жизнью русских женщин в X-XIX вв. в 1990-е гг. стали обсуждаться и в российской исторической науке. Н. Л. Пушкарева в целом ряде своих выводов оказалась солидарна с Левин и Энгельштейн, показывая, кроме того, что степени женской сексуальной свободы в России варьировались как относительно различных социальных групп, к которым принадлежали женщины, так и относительно различных исторических периодов. Последнее, очевидно, может быть важным для построения реалистической реконструкции истории инфантицида в России в дореволюционный период[26].

В 2000 г. Б. Н. Миронов опубликовал первое масштабное исследование по социальной истории России XVIII — начала XX в., в котором впервые специально затронул вопрос о детоубийстве в царской России. Миронов справедливо связал его с вопросом о «демографическом менталитете православного населения», сделав, тем не менее, вывод, что детоубийство было сравнительно редким явлением в России, и лишь во второй половине XIX в. число таких преступлений несколько возросло. Кроме того, он заключил, что главными жертвами инфантицида в России были внебрачные дети и отчасти «безнадежные калеки», при этом во многих случаях отцы крестьянских семейств даже приветствовали рождение внебрачных детей. Наконец, по мысли Миронова, общая детская смертность в деревенской России была столь велика, что это становилось причиной равнодушного (в духе Ф. Арьеса[27]) отношения крестьян к их детям и господства фатализма в народном сознании. Инфантицид, с этой точки зрения, был лишь частью общей картины хрупкости детской жизни в дореволюционном российском обществе[28].

В последующие годы появились первые самостоятельные исследования об истории инфантицида в Российской империи[29]. Данная тема фрагментарно развивается

---

[25] *Engelstein L*. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia. Ithaca, NY; L., 1992 (русс. изд.: *Энгельштейн Л.* Ключи счастья: секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX-XX веков. М., 1996).

[26] *Пушкарева Н. Л.* «Огнь естественный» или «грех поганый»? Источники по истории сексуальной этики и эротики в доиндустриальной России (X — первая половина XIX в.) // Пушкарева Н. Л. (отв. ред.) «А се грехи злые, смертные..»: любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России (X — первая половина XIX в.) М., 1999. С. 5–9; *Пушкарева Н. Л.* Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X — начало XIX в.) М., 1997 и др.

[27] См.: *Арьес Ф.* Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург., 1999.

[28] *Миронов Б. Н.* Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): В 2 т. СПб., 2000. Т. 1. С. 201–206.

[29] *Праспальяускене Р*. Преступления стыда и страха // Гендерные истории Восточной Европы / Под ред. Е. Гаповой, А. Усмановой, А. Пето. Минск, 2002. С. 324–331; *Кись О*. Материнство и детство в украинской традиции: деконструкция мифа // Социальная история. Ежегодник 2003. Женская и гендерная история / Под ред. Н. Л. Пушкаревой. М., 2003. С. 156–172; *Косарецкая Е. Н.* Мотивационный комплекс женских преступлений во второй половине XIX — начале XX вв. (по материалам Орловской губернии) // Управление общественными и экономическими системами. Орел. 2007. №1. С. 1–13

и другими авторами, обсуждающими родственные сюжеты, например, вопрос о судьбах внебрачных детей[30]. Затрагивается она и в некоторых исследованиях по крестьянской истории[31], хотя сами исследователи порой не рискуют отступить от господствующих медико-психологических интерпретаций, не смотря на то, что ведут разговор от имени исторического знания[32].

Можно упомянуть также и о том, что наряду с перечисленными выше дискурсивными линиями интерпретации инфантицида осуществляются еще с двух сторон. Во-первых, продолжает разворачиваться церковный дискурс, в рамках которого детоубийство трактуется как «грех» или «преступление перед Богом». Во-вторых, наличествует дискурс журналистики и вообще современных медиа, в рамках которого инфантицид выступает как ненормальное для современного общества явление или «скандал». Если взять пример современной российской журналистики, то периодические сообщения о случаях детоубийства не выходят за границы простого обличения лиц, совершивших его, и крайне редко поднимаются до уровня более значительных выводов.

Таким образом, феномен детоубийства имеет статус социальной проблемы, тогда как сама проблема презентируется с помощью различных дискурсивных конструкций. В общественном сознании она предстает как «грех» или «скандал», а также как «убийство новорожденного матерью», ставшее следствием ее «психического расстройства». Достаточно обратиться к имеющимся в Интернете откликам, чтобы убедиться, что данные интерпретации инфантицида являются господствующими. В свою очередь, они иногда дополняются трактовками, которые предоставляют биология и этнография. Исторические интерпретации проблемы инфантицида по-прежнему остаются уделом специалистов, но при этом дают прекрасную возможность увидеть всю ситуацию в целом.

Схожая ситуация имела место и в царской России во второй половине XIX в., когда проблему инфантицида впервые стала обсуждать образованная общественность. С этого момента старая церковная идея греховности детоубийства была дополнена более новыми юридическими и медицинскими трактовками, а, кроме того, сообщениями журналистов. Рассмотрим теперь, как обсуждение этой проблемы происходило в тот период, и кто принял участие в этих дискуссиях.

2. Инфантицид как преступление: позиция юристов

На протяжении длительного периода российской истории практика детоубийства ускользала от государственного внимания, поскольку и сами дети не представлялись для государства ценностью. Их рождение и смерть были предметом родительской

---

[30] *Щербинин П. П.* Незаконнорожденные дети в семьях солдаток в XVIII-XIX в. в России // Социальная история Российской провинции в контексте модернизации аграрного общества в 18–20 вв. Тамбов., 2002. С. 142–147; *Щербинин П. П.* Плод страсти роковой. Солдатки и их незаконнорожденные дети в XIX — начале XX в. // Родина. 2003. № 8. С. 47–51; *Егорова О. В.* Внебрачный ребенок в чувашской общине: морально-нравственный аспект // Известия Алтайского государственного университета. 2008. № 4 (1). С. 46–49.

[31] *Морозов С. Д.* Демографическое поведение сельского населения Европейской России (конец XIX — начало XX в.) // Социологические исследования. 1999. № 7. С. 99–106; *Безгин В. Б.* Крестьянская повседневность (традиции конца XIX — начала XX века). М., 2004. С. 174–176.

[32] *Безгин В. Б.* Крестьянская повседневность. С. 176.

компетенции, а убийство детей приобретало определение преступления лишь тогда, когда оно совершалось посторонними людьми. Государственная монополия на насилие была объявлена к середине XVII в. Тогда же были введены законы, препятствующие родителям самостоятельно вершить суд над жизнями своих детей.

В 1649 г. было принято «Соборное Уложение» царя Алексея Михайловича, установившее суровые наказания для женщин, лишавших жизни своих незаконнорожденных детей, и менее суровые наказания в случае убийства собственных законных отпрысков[33]. Такая двойственность закона в отношении детоубийц свидетельствовала о том, что царская власть в середине XVII в., как и церковь, больше беспокоилась не о судьбах детей, а о противодействии внебрачным половым связям, в особенности «женской измене»[34].

В 1716 г. Петр I принял Воинский устав, ставший важный вехой в истории законодательного противодействия детоубийствам в России. В соответствии с новым законом вводились одинаково жестокие наказания за убийства как внебрачных, так и законных детей. Еще один важный шаг был сделан при Екатерине II, когда в стране начали строиться приюты для подкидышей, что было первым практическим шагом со стороны государства в деле приумножения численности населения. Тем самым попытки законодательного регулирования народных практик контроля над рождаемостью стали сочетаться с государственным попечением о незаконнорожденных детях. Однако на протяжении всего XVIII в. государство не имело реальных возможностей взять под свой контроль всю ту сферу жизни, которая связана с сексуальностью и репродукцией, и она оставалась в сфере действия народных методов регуляции.

В XIX в. российские законодатели вынуждены были предпринять целый ряд мер по модернизации законодательства, и уже при Александре I началась масштабная работа по наведению порядка в своде законов. Важным итогом ее стало принятие в 1845 г. «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных», в котором появились специальные статьи о детоубийстве. Статья 1451-я была посвящена детоубийству, статья 1460-я — сокрытию трупа мертворожденного младенца. То и другое квалифицировалось как особый тип преступления, равно как и аборт, именуемый «плодоизгнанием»[35]. Новизна закона состояла в том, что теперь наказание за убийство незаконнорожденного младенца по сравнению с наказанием за убийство ребенка, рожденного в браке, было более мягким. Государство в большей степени стало заботиться о сохранении жизни детей, чем противодействию внебрачным связям.

Между тем по сравнению с целым рядом европейских законодательств российские уголовные законы эпохи правления Николая I выглядели более консервативными, а наказания за совершенные преступления — слишком суровыми. Сохранение крепостного права означало сохранение режима телесных экзекуций, которые большинством наследников идей Просвещения мыслились уже как архаическая мера. На этом фоне наказания за детоубийство также воспринимались как весьма жестокие. В зависимости от того, каковы были обстоятельства убийства новорожденно-

---

[33] *Боровитинов М. М.* Детоубийство в уголовном праве. СПб., 1905. С. 13–14.

[34] *Энгельштейн Л.* Ключи счастья. С. 115; *Levin E.* Sex and Society. P. 297–301.

[35] *Боровитинов М. М.* Детоубийство в уголовном праве. С. 14–15. См. также: *Свод Законов уголовных*. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1866.

го, статья 1451-я предусматривала в качестве кары различные меры — тюремное заключение сроком 4–6 лет или каторгу от 10 лет до пожизненного. Однако была предусмотрена возможность квалифицировать это преступление по статье 1460-й и доказать, что женщина «от стыда или страха» оставила новорожденного без помощи и по этой причине он умер; в этом случае ей грозило тюремное заключение сроком от 1,5 до 2,5 лет.

Трудно сказать, какова была правоприменительная практика с 1845 по 1864 г., но хорошо известно, что начиная с 1864 г. ситуация характеризовалась тем, что судьи стали регулярно выносить более мягкие наказания для обвиняемых в инфантициде[36]. Отмена крепостного права привела к быстрому осознанию необходимости отказаться от большинства предусмотренных Уложением 1845 г. суровых наказаний. В 1863 г. появился Указ «О некоторых изменениях в существующей ныне системе наказаний уголовных и исправительных», ограничивающий применение телесных наказаний[37]. В 1864 г. появились суды присяжных и мировые судьи, которым было доверено рассмотрение малозначительных преступлений. Началась борьба с прежней судебной волокитой, и одновременно судьи получили возможность увеличить число рассматриваемых дел. В судах стали чаще разбирать дела, связанные с преступлениями, совершаемыми народом. В контексте этих перемен более часто начали разбираться и дела, касающиеся детоубийства. Одновременно с этим у современников начало складываться представление о том, что число совершаемых детоубийств растет.

Одним из первых на эти перемены отреагировали профессиональные юристы. В 1863 г. в «Юридическом вестнике» вышла статья А. Любавского об инфантициде, в которой он указал на возрастающее число детоубийств и попытался объяснить причины этого явления характером нравов, царящих в обществе. «Желание скрыть свое бесчестие от внебрачного рождения дитяти сделалось настоятельной потребностью несчастной женщины, которая на одну лишь минуту забыла свои обязанности, и тем настоятельнее было это желание, чем скромнее, честнее и развитее была несчастная женщина до ее падения. Совершенное же сокрытие стыда было возможно только посредством истребления дитяти, свидетеля и виновника этого стыда»[38].

В юридических изданиях стали активно публиковать материалы о случаях детоубийств. Быстро стала складываться картина распространяющегося бедствия. «Судебный вестник» рисовал сознанию своих читателей душераздирающие сцены. «Мать зарыла своего незаконнорожденного новорожденного младенца, где он был через полчаса найден и возвращен к жизни»[39]. В 1868 г. восходящая звезда российской юриспруденции, в скором будущем профессор Санкт-Петербургского университета и составитель Уголовного уложения 1903 г. Н. С. Таганцев (1843–1923) писал: «Постоянное возрастание детоубийств, возрастание, поражающее своими размерами, делающее ничтожными все средства, предпринимаемые против него обществом и государством, требует

---

[36] *Гернет М. Н.* Детоубийство: Социологическое и сравнительно-историческое исследование. М., 1911. С. 240–252.

[37] *Наумов А. В*. Российское уголовное право. Т.1. М., 2008. С. 118.

[38] *Любавский А*. О детоубийстве // Юридический вестник. СПб., 1863. Вып. 37. № 7. С. 21–22.

[39] Судебный вестник. М., 1868. №19. С. 132.

серьезного внимания. Оно требует изучения причин, порождающих зло, и орудий, годных для борьбы с ним»[40].

С 1864 г. суды присяжных взяли рассмотрение дел о детоубийстве в свои руки. Стало широко практиковаться вынесение оправдательных приговоров для детоубийц, а суровые наказания заменялись мягкими. Наказание в виде каторги для матерей-детоубийц практически не применялось, а сама каторжная система начала быстро расшатываться[41]. Для российских юристов эта ситуация приняла форму противоречия: с одной стороны, реформы создали условия для растущей криминализации общества, с другой стороны, законы, призванные для его защиты от преступников, выглядели слишком грубыми и малопригодными для регулярного употребления. Естественной реакцией юристов на это было стремление модернизировать законы, сделав их более пригодными для противодействия растущему валу преступности. В 1866 г. была издана новая редакция «Уложения о наказаниях», в которой был зафиксирован отказ от телесных наказаний. В 1885 г. вышла в свет третья редакция, еще более адаптированная к требованиям времени[42].

Вместе с тем в обеих редакциях «Уложения» вопрос о детоубийстве продолжал трактоваться в рамках норм 1845 г. Впрочем, некоторые изменения все же произошли. Законодатели попытались дать более дифференцированное определение данного преступления. Развернутый комментарий по данному вопросу в 1871 г. предложил Таганцев. В своей книге «О преступлениях против жизни по русскому праву» он посвятил целую (3-ю) главу проблемам детоубийства и скрытия трупа мертворожденного младенца[43]. Данный текст представлял собой развернутую версию его же статьи 1868 г. Новизна состояла в том, что Таганцев при обсуждении вопроса о данном виде преступления провел также и сравнительно-историческое исследование, показав, как в разных странах с течением времени происходила эволюция содержания законов и мер наказания, касающихся инфантицида. С тех пор эти сравнительно-исторические экскурсы станут нормой для юридических работ по инфантициду, как в российской, так и в советской юриспруденции.

Совершенствование законов и стремление придать им наибольшую эффективность было главной стратегией, которую избрали российские юристы второй половины XIX в. в решении проблемы инфантицида. В законах они видели инструмент для исправления всех тех антиобщественных явлений, которые трактовались как преступления. Но изменение законов явно не успевало за изменениями в общественной жизни. Поэтому некоторым казалось, что преступное начало скрывается в самой человеческой природе, особенно если она слаба как в случае с женщинами. Так, Таганцев писал: «Жизненный опыт, данные наук медицинских — обратили внимание на то, что состояние родов, родильные муки производят сильное потрясение во всей нервной

---

40 *Таганцев Н.* О детоубийстве: Опыт комментария 2 ч. 1451 и 1 ч. 1460 ст. Уложения о наказаниях // Журнал Министерства юстиции. СПб., 1868. Т. 36. № 2. С. 260.

41 *Миронов Б. Н.* Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): В 2 т. СПб., 2000. Т. 2. С. 32–33.

42 Подробнее см.: *Наумов А. В.* Российское уголовное право. Т. 1. С. 117–120.

43 *Таганцев Н. С.* О преступлениях против жизни по русскому праву. Исследования. Т. 2. СПб., 1871. С. 118–164, 165–241.

системе родильницы, лишающее ее возможности отдавать себе ясный отчет о своих поступках, возбуждающее в ней стремление и наклонности, не существующие в состоянии нормальном»[44].

Между тем к концу XIX в. число регистрируемых детоубийств не уменьшалось. Продолжало расти и число преступлений, совершаемых женщинами. Ученик и коллега Таганцева, профессор Санкт-Петербургского университета И. Я. Фойницкий (1847–1913) в 1893 г. отмечал, что «невозможно ожидать от развития культуры уменьшения женской преступности», и лишь труд, а не домашнее заточение, способен ограничить женщину от втягивания в преступную деятельность. По его данным, 74% всех совершаемых женщинами преступлений были нацелены против новорожденных (детоубийства и аборты)[45].

В конце XIX в. решение проблемы инфантицида ведущим российским юристам виделось в том, чтобы разработать еще более мягкие, но по этой причине и более эффективные, законы, которые могли бы применяться на практике. С 1881 г. по распоряжению правительства небольшая группа законодателей, в состав которой входили Таганцев и Фойницкий, начала разработку нового «Уголовного уложения». В марте 1903 г. новое «Уложение» было полностью готово и утверждено, хотя в полном объеме оно так и не было задействовано в виду начавшейся Революции и последующими за ней потрясениями[46]. Важные перемены коснулись проблемы детоубийства. На этот раз инфантицид уже не рассматривался как убийство ребенка незамужней женщины, а речь шла об убийстве ребенка, рожденного вне брака. Наказание для нее в этом кодексе было более мягким, чем в «Уложении 1845–1885 года»: заключение в тюрьму или в смирительный дом на срок от 1,5 до 6 лет[47].

Разработка более совершенных уголовных законов привела к тому, что наказания для женщин-детоубийц стали применяться более регулярно, а число оправдательных приговоров в судах сократилось. Изменилась и манера рассуждений ведущих российских юристов об инфантициде. На смену до сих пор лидирующей «антропологической школе уголовного права» пришла «социологическая школа», наиболее ярким представителем, которой в начале XX в. стал профессор Московского университета М. Н. Гернет (1874–1953). В 1911 г. он опубликовал свою знаменитую книгу о детоубийстве, в которой наряду с уже привычным обзором истории законодательных мер борьбы с инфантицидом изложил свою концепцию «социальных факторов» применительно к данному преступлению, охарактеризовал новейшее состояние законодательства и обсудил целый ряд других вопросов[48].

---

44 *Таганцев Н.* О детоубийстве: Опыт комментария 2 ч. 1451 и 1 ч. 1460 ст. Уложения о наказаниях // Журнал Министерства юстиции. СПб., 1868. Т. 36. № 2. С.224.

45 *Фойницкий И.* Женщина-преступница // Северный вестник. Журнал литературно-научный и политический. 1893. №2. С. 123–144. О Фойницком см.: *Смирнов А. В.* И. Я. Фойницкий и Санкт-Петербургская школа уголовного судопроизводства // Школы и направления уголовно-процессуальной науки. СПб., 2005. С. 11–14; *Наумов А. В.* Российское уголовное право. Т. 1. М., 2008. С. 187.

46 *Наумов А. В.* Указ соч. С. 120–129.

47 *Боровитинов М. М.* Детоубийство в уголовном праве. С. 16–20.

48 *Гернет М. Н.* Детоубийство: Социологическое и сравнительно-историческое исследование. М., 1911 (далее — Гернет М. Н. Детоубийство...) См. также: *Гернет М. Н.* Детоубийство

Исследование, выполненное Гернетом, сочетало в себе черты традиционного для российских юристов стремления дать четкую юридическую интерпретацию инфантицида и социологическое обсуждение данного явления. Квалифицируя детоубийство как уголовное преступление, Гернет имел возможность более полно, чем его предшественники, оценить характер изменений законодательных мер, предпринимавшихся в России и европейских странах для борьбы с ним. Он справедливо отмечал, что в действующих уголовных кодексах присутствует разнообразие наказаний за детоубийство, и многие из них остаются суровыми. Именно по этой причине российские суды присяжных постоянно обращались к поиску смягчающих вину обстоятельств для обвиняемых. Он показал, как в исторической перспективе наказания за детоубийство эволюционировали от смертной казни и каторги до сравнительно непродолжительного помещения в тюрьму и смирительный дом. Как сторонник современных криминологических теорий Гернет видел в исправительных учреждениях наиболее подходящее средство решения проблемы[49]. Как социолог, придерживающийся эволюционистского подхода, он надеялся, что в будущем инфантицид как таковой сможет исчезнуть. Условием для этого является развитие городов и городской культуры. Детоубийство, по его мысли, преобладает именно среди отсталого деревенского населения, в городах же оно исчезает, и вместо него практикуется аборт[50].

После книги Гернета работ, сопоставимых по значению с ней, в последующие годы уже не появлялось. На этом фоне почти незаметным остается вклад коллеги Гернета по Московскому университету профессора С. В. Позднышева (1870–1942), который в те же самые годы опубликовал свой обобщающий труд по русскому уголовному праву. Теме детоубийства он уделил лишь несколько страниц. Как и в сочинении другого автора, появившемся после 1903 г.[51], Познышев сделал акцент на оценке преимуществ, которые дало новое уголовное законодательство борцам с криминальными сторонами общественной жизни в России[52]. Других аспектов проблемы видный российский юрист уже не затрагивал.

В целом, в дискурсе российских юристов второй половины XIX — начала XX в. проблема детоубийства занимала важное место. По традиции, уходящей корнями в предыдущие столетия, инфантицид считался уголовно наказуемым преступлением и «варварским» пережитком прошлого. Тот факт, что основными виновниками инфантицида по-прежнему считались женщины, позволял юристам усматривать в этом наличие смягчающих обстоятельств. В ходе великих общественных преобразований, начавшихся в 1860-е гг., старые кары за детоубийство воспринимались как слишком суровые, и поэтому дискуссии об инфантициде позволяли настойчиво требовать общего смягчения наказаний за различные преступления и создания более эффективного и рационального законодательства, пригодного для нужд цивилизованной страны.

// Энциклопедический словарь Товарищества Братьев А. и Н. Гранат и Ко. М., 1910. Т. 19. С. 303–313.

[49] *Гернет М. Н.* Детоубийство… С. 240–252, 257–275, 275–278.

[50] *Гернет М. Н.* Детоубийство… С. 141–148.

[51] *Боровитинов М. М.* Детоубийство в уголовном праве. СПб., 1908

[52] *Позднышев С. В.* Особенная часть русского уголовного права. Сравнительный очерк важнейших отделов особенной части старого и нового уложений. М., 1912. §§ 26–29.

Последнее обстоятельство непосредственно отвечало профессиональным интересам российских юристов, и было созвучно их гражданской позиции.

3. Инфантицид как результат отсутствия помощи: взгляд медиков

Эпоха Великих реформ стала временем оживления образованного российского общества. Выпускники российских университетов с неслыханной прежде активностью заявляли о своей готовности участвовать в модернизации России и решении насущных задач во всех областях общественной жизни. Представители свободных профессий объединялись в профессиональные ассоциации, открыто пропагандируя либерально-демократические ценности. Влиятельной социальной силой в России во второй половине XIX в. наряду с юристами стали врачи, лидеры которых сформулировали идеалы бескорыстного служения обществу и охраны общественного здоровья[53].

Для большинства медиков возможность продемонстрировать свою гражданскую активность состояла в исполнении профессионального долга по отношению к простому народу и участии в создании системы общественной медицины. Врачи, точно так же, как земские служащие, учителя, инженеры и присяжные заседатели, стремительно открывали для себя новый мир — мир народных низов. Им предстояло раскрыть великую загадку народной жизни и освободить «дремлющего великана», чье пробуждение могло привести к непредсказуемым последствиям.

С самого начала врачам пришлось столкнуться с тем, что народ, о здоровье которого они были готовы радеть денно и нощно, был совершенно чужд их профессиональным заботам. Крестьяне то и дело отвергали врачебную помощь, поэтому медикам зачастую приходилось постигать реальность народной жизни с другой стороны. Романтические картины деревенских будней быстро сменились образами смертоносного насилия, поражающими воображение. Как и в истории с юристами, случаи детоубийства послужили причиной более пристального медицинского взгляда к проблемам народной жизни, а вместе с тем — и более трезвого осознания собственной профессиональной идентичности.

Обсуждение российскими медиками проблем инфантицида оказалось возможным после того, как в 1835 г. был принят закон об обязательности судебно-медицинской экспертизы. С этого времени медики стали приглашаться в суд для разрешения вопросов по особо сложным преступлениям против жизни и здоровья личности — отравлениям, изнасилованиям, членовредительствам, т. е. когда нельзя было точно определить, имело ли место посягательство на жизнь другого человека или смерть и повреждение здоровья произошли случайно. Они привлекались также для того, чтобы опознать личность убитого, имея дело с обезображенными трупами. Относящиеся к этой сфере случаи детоубийства традиционно представляли собой непростую задачу. Именно здесь нельзя было точно сказать, имело ли место *насильственное умерщвление* новорожденного его матерью, или это была *случайность*, и мать нечаянно довела ребенка до смерти: задавила своим телом, выронила, потеряла и пр.

Когда в 1864 г. в России заработали суды присяжных, количество разбираемых дел о детоубийстве быстро возросло и поэтому в качестве экспертов стали приглашать

---

[53] *Frieden N. M.* Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856–1905. Princeton, 1981.

врачей общей практики. Специалисты из Петербургского Медицинского совета при дворе императора были уже не в состоянии взять на себя всю экспертную работу такого рода, и чтобы координировать ее, в 1865 г. Совет приступил к изданию особого периодического издания — «Архива судебной медицины и общественной гигиены». Неудивительно, что этот журнал быстро превратился в инструмент по разработке медицинской концепции инфантицида, имеющей отличия от более ранней юридической концепции.

Юристы широко признавали важную роль судебно-медицинской экспертизы, позволяющей добывать знание у таких «вещей», как мертвые тела. В случаях детоубийства, когда следователям и судьям приходилось иметь дело не только с невнятными показаниями допрашиваемых, но и с нечеткими физическими знаками на трупах, ценность такого знания еще более возрастала. Таганцев писал: «Во всех преступлениях против жизни, при восстановлении объективного состава преступления, играет важную роль судебно-медицинская экспертиза, но ее значение, как не раз приходилось нам видеть, особенно увеличивается при детоубийстве»[54].

Врачи, привлекавшиеся в качестве экспертов по делам о детоубийстве, формулировали свои задачи весьма пространно. Так, по словам доктора Шергандта, в своем исследовании судебный врач должен был установить: доношен ли был младенец? способен ли был на жизнедеятельность? а также решить следующие вопросы: по случайности ли появились следы насилия на теле младенца? Не зависели ли они от роженицы, или же было совершенно детоубийство? В случае же инфантицида, необходимо было установить, совершен ли он был сознательно, или бессознательно, в припадке безумия[55].

Количество фактов, которые в этих случаях предстояло оценить и сопоставить медикам, было огромным. Бывало, что младенец рождался мертвым с сильными переломами, разорванными сосудами и синяками. Но, бывало, что и вследствие трудных и продолжительных родов на голове младенца появлялись кровяные подтеки, опухоли, переломы костей. Поэтому для судебного врача одних подтеков было недостаточно для обвинения женщины в детоубийстве. Кровяные подтеки на шее трупа новорожденного не всегда указывали, что насилие случилось при жизни младенца. Как сообщает Шергандт, один врач произвел осмотр трупа младенца и предположил, что было совершено умышленное детоубийство. Но все же женщину оправдали, так как при внутреннем осмотре доказали, что младенец умер от апоплексии мозга, а не от задушения. Мать же наложила петлю уже на мертвого ребенка[56].

Как продолжает доктор Шергандт, по запросам суда эксперт должен был выяснить, не подвергалась ли роженица насилию, побоям, падению и прочему. Если беременную сильно истязали, наносили сильные удары в область живота, то следы насилия могли оставаться и на плоде. Таким образом, эксперты-медики должны были доказать, что

---

[54] *Таганцев Н.* О детоубийстве: Опыт комментирования 2 ч. 1451. и 1 ч. 1460 ст. Уложения о наказаниях // Журнал Министерства юстиции. М., 1868. Т. 36. №2. С. 367.

[55] *Д-р Шергандт*. О значении для судебного врача различных знаков насилия на теле мертво — найденных новорожденных младенцев // Архив судебной медицины и общественной гигиены. 1865. № 3. Р. 2. С. 33.

[56] *Д-р Шергандт*. О значении… С. 41.

мать ребенка действительно подверглась насилию, а не нанесла себе данные повреждения сама, путем стягивания живота шнурами и повязками. Если рана была нанесена ребенку острым предметом, а мать отрицала свою причастность к этому, то в этом случае эксперты должны были доказать, что беременная подвергалась насилию, при этом на теле матери тоже должны были остаться повреждения[57].

В статье доктора Шергандта были описаны случаи, когда женщины, рожая тайком и желая поскорее избавиться от бремени, хватали руками за шейку младенца, пока туловище младенца еще не вышло, и тащили его наружу. Поэтому у таких младенцев бывали следы насилия, но сами эти следы еще не означали, что было совершено детоубийство. Такие следы могли оставаться на шейке ребенка и в том случае, если пуповина обвивала шею[58].

В принципе, судебно-медицинская экспертиза по делам об инфантициде представляла собой анализ найденных младенческих трупов с целью выявления насильственных признаков смерти. Однако, как выяснилось, медикам часто было трудно решить эту, казалось бы, простую задачу. Например, смерть от удара должна была подтвердиться наличием кровоподтеков. Однако даже сам факт кровоподтека тяжело было выявить у трупа, найденного, скажем, через неделю после смерти. Смерть от утопления предполагала обнаружить в легких наличие жидкости, но даже в этом случае всегда были сомнения, о жидкости какого рода идет речь. Смерть от удушения вообще было трудно определить, поскольку факт удушения всегда трудно установим, особенно если дело идет о грудном младенце, который мог задохнуться просто в пеленках или от невнимания матери, во время ее сна. Если смерть наступила от переохлаждения, от того, что младенец замерз, то и здесь трудно было дать точный ответ — специально ли его обрекли на такую погибель или это произошло случайно. В сущности, в отличие от взрослых людей младенец мог умереть от чего угодно. Доктора почти никогда не могли дать точного объяснения причин, от которых наступила смерть. Но именно здесь от них и ждали объяснений, которых у судей не было по определению.

Теперь надо сказать о том, что всякому расследованию по делу о детоубийстве обычно предшествовал факт обнаружения трупа мертвого ребенка. Такие факты регистрировались далеко не часто, поскольку полиция обычно оставляла их без внимания или «не сообщала о них в вышестоящие инстанции»[59]. Все же, когда на них обращали внимание и начиналось расследование, требовалось установить связь между найденными трупом и потенциальной матерью мертвого ребенка. Но такую связь установить было не просто. Русские крестьянки во второй половине XIX в. рожали много, особенно летом, поэтому число рожениц в деревне было большим. Если соседи или родственники еще до приезда полиции сами не обнаруживали таковую, судебно-медицинским экспертам приходилась установить потенциально виновную женщину путем экспертизы, через осмотр родовых путей.

Случай, в котором судебно-медицинская экспертиза, оказалась в затруднительном положении, был описан доктором Ширвиндтом.

---

57 Там же. С. 35.

58 Там же. С. 39.

59 *Миронов Б. Н.* Социальная история России. Т. 1. С. 201.

18 сентября 1861 года во рву К. губернии был найден труп младенца. Судебный врач после исследования заключил, что младенец родился живым и дышал, и что смерть наступила от нанесенных ему повреждений в голову. Выяснилось, что детоубийство своего незаконнорожденного ребенка совершила крестьянка Т. З. , которая выкинула его под порог дома. При обследовании Т. З. обнаружили, что она действительно родила младенца, но тот должен был быть недоношенным и поэтому не совпадал с трупом найденного во рву. В конечном итоге судебно-медицинская экспертиза не смогла определить, рожден ли был младенец, найденный во рву, подсудимой Т. З. , был ли он убит и если был, то кем, и, наконец, родила ли Т. З. доношенного или недоношенного младенца[60].

Иногда медики сталкивались с ситуациями отсутствия трупа младенца, несмотря на наличие родов у конкретной женщины. В таком случае подозреваемая обычно отрицала то, что у нее были роды или после осмотра ссылалась на выкидыш. Таким образом, хотя судебно-медицинский осмотр трупов младенцев позволял получить некоторую информацию о причинах смерти умершего ребенка, обычно эта информация была недостаточной для получения всей полноты картины о случившемся.

«Архив судебной медицины» за 1867-й год содержит свидетельства того, что судьи порой не принимали в расчет экспертное мнение медика и склонялись к тому, чтобы попросту оправдать подсудимую. Таким примером может служить дело финской девушки Елены Карванен, которое разбиралось 5 декабря 1866 г. Петербургским окружным судом. Когда приглашенный эксперт доктор Борейшо счел ее способной совершить убийство своего внебрачного ребенка, судьи постановили о ее невиновности на «основании обстоятельств дела», в частности того, что Карванен жила в услужении в чужом доме и, стыдясь позора, избавилась от нежелательного ребенка[61].

Данный случай привел к тому, что возник вопрос о слабости судебно-медицинской экспертизы в России и о необходимости со стороны государства и общества создать более подходящие условия для нормальной работы экспертов. Для специалистов, выступавших на страницах этого журнала, такое положение дел было свидетельством собственного низкого профессионализма. Они призывали развивать это направление, а медикам советовали осваивать эту специальность более тщательно. Кроме того, они призывали развивать специальную судебно-медицинскую службу, где могли бы работать врачи-специалисты, не отвлекавшиеся на лечебную практику и другие обязанности[62]. Описывая слабость судебно-медицинской экспертизы в вопросах установления причин детоубийства, один из докторов в 1868 г. предлагал наиболее простой выход из ситуации: «Лучше уж оправдать виновного, чем осудить невинного»[63].

---

[60] Было ли совершенно детоубийство и кем именно? Извлечено из дел медицинского совета врачом Ширвиндтом // Архив судебной медицины и общественной гигиены. 1865. № 3. Р. 2. С. 97–100.

[61] *Потехин К.* Дело Елены Карванен, рассматривавшееся в заседании С.-Петербургского окружного суда, с участием присяжных заседателей, 5 декабря 1866 года // Архив судебной медицины и общественной гигиены. 1867. № 1. Р. 2. С. 74–88.

[62] *Потехин К.* Дело Елены Карванен. С. 87–88.

[63] *М. Г.* О детоубийстве // Архив судебной медицины и общественной гигиены. 1868. № 1. Р. 2. С. 42.

Тем не менее, слабость судебно-медицинской экспертизы не была следствием только отсутствия развитой судебно-медицинской службы в России. Само явление, с которым сталкивались эксперты-медики, было чрезвычайно сложным. Будучи призваны восстановить картину смерти новорожденного младенца, медики должны были соглашаться, что очень часто трудно провести границу между смертью, вызванной сознательным способом, и смертью, ставшей следствием иных причин.

Экспертизы в отношении случаев детоубийства вообще представляли собой сплошную головоломку. Если в распоряжении экспертов имелся труп ребенка, то приходилось осматривать его на предмет обнаружения черепных трещин и ушибов. Например, такой труп был, и у него обнаруживались повреждения головы. Откуда? Они могли возникнуть вследствие нанесения матерью ударов своему ребенку неким твердым предметом. Но они могли появиться и вследствие падения младенца на пол во время самих родов, если роды происходили в стоячем положении. Дознаться же от подозреваемой матери, что произошло с ребенком в момент родов, и что происходило с самой матерью тот момент, было почти невозможно. Обвиняемые женщины чаще всего ссылались на потерю сознания или беспамятство, которые у них случались при родах.

Классифицируя причины, которые приводили к смерти новорожденных, эксперты соглашались с тем, что по численности первую группу детоубийств занимают детоубийства по неосторожности, вторую — детоубийства действием, а затем — задушение без знаков насилия. Кроме того, смерть ребенка могла наступить в результате еще одной группы причин, вообще никак не связанных с перечисленными выше, например, по недоразвитости младенца, его физической слабости или от замотанной на шее пуповины. Такую ситуацию медики вообще отказывались квалифицировать как убийство, но видели в ней несчастный случай, *результат определенных физиологических состояний*.

Таким образом, будучи призваны проводить экспертизу, позволяющую дать достоверную информацию о факте детоубийства, медики нередко показывали, что трудно провести границу между умышленным убийством новорожденного, неосторожностью матери, приведшей к его смерти, и особыми физиологическими состояниями матери и младенца, которые невозможно было предвидеть и предотвратить.

Еще одной стороной судебно-медицинской экспертизы в делах по детоубийству было освидетельствование обвиняемых женщин-детоубийц на предмет их психического состояния. Такая работа требовала специальных психиатрических знаний, но психиатрии как особой медицинской науки в России в 1860-е гг. еще не существовало. Однако такого рода экспертиза в судах велась, и выполняли ее обычные доктора общей практики. Задача экспертов в этом случае состояла в том, чтобы выяснить, по каким причинам мать допустила смерть новорожденного младенца. Было ли это сознательным намерением или оплошностью, вызванной какой-то психологической характеристикой обвиняемой.

Работа в этой области также поставила медиков перед трудной задачей. Если женщина имела намерение убить ребенка, но не хотела дать разоблачить себя, то обнаружить это медицинская экспертиза не могла. В результате, эксперты были готовы признавать, что женщина причинила смерть младенцу по причине того, что была в обмороке или без памяти в момент, когда произошло убийство. Обсуждая проблему инфантицида с этой стороны, медики обновили привычный портрет женщины-детоубийцы. Они

стали говорить о «родильном шоке», «родильном синдроме», «временном помрачении сознания» и даже о «безумии» у детоубийц.

Хорошим примером психиатрической трактовки причин детоубийства стал случай с крестьянкой Варварой Ероховой из Тамбовской губернии. В декабре 1863 г. она бросила в печь своего двухнедельного сына. Анонимный врач, проанализировав данный случай, доказал, что убийство мальчика было совершенно в состоянии глубокого *умственного расстройства*. В качестве доказательств безумия Ероховой выдвигались сообщения соседей о странности ее поведения, которое состояло в том, что у крестьянки наблюдали «какую-то задумчивость и перемены в лице». По мнению специалиста, который изучал этот случай, у Ероховой не было ни каких мотивов для того, чтобы сжечь своего ребенка, следовательно, она совершила детоубийство в состоянии «временного и преходящего сумасшествия»[64]. Однако автор статьи не представил подробного описания личности женщины, а также не охарактеризовал более полно атмосферу в ее семье, взаимоотношения с мужем и свекровью, которые, конечно, могли стать мотивом совершенного детоубийства.

Оценивая Варвару Ерохову как утратившую рассудок, анонимный доктор, писавший в 1866 г., по-видимому, руководствовался следующей логикой: нормальная мать не может убить ребенка, поскольку ей присущ врожденный материнский инстинкт, значит, убийство было совершенно ненормальной матерью, чей материнский инстинкт был подавлен какими-то внешними причинами. Но что это были за внешние причины?

Наиболее распространенный ответ состоял в том, что такими причинами была социальная среда, т. е. отношение к женщине со стороны родственников и соседей. Случай Ерховой здесь не был показателен. Она была замужем и жила в семье мужа. Однако во многих других примерах о влиянии социальной среды и ее давлении на материнский инстинкт говорилось более ясно.

Случай крестьянки, имя которой было скрыто за инициалами Т. З. , все ставит на свои места. Т. З. родила вне брака, а ее ребенок был *незаконнорожденным*. Стыдясь позора и осуждения со стороны соседей, Т. З. избавилась от него[65]. Т. З. поступила так, как и Елена Карванен, о которой уже шла речь выше. И скорее всего так поступало большинство незамужних женщин в русской деревне, которые избавлялись от своих незаконнорожденных детей подобным способом. Движущей силой детоубийства в этом случае был стыд незамужних молодых женщин перед окружающими.

Делая акцент на *стыде* и *страхе позора* у незамужних матерей-детоубийц, медики тем самым следовали традиционному объяснению, которое разделяли и юристы. В этом стыде они даже видели залог нравственного поведения. Один из авторов «Архива судебной медицины», доктор, который подписывался инициалами «М. Г. », утверждал, что желание незамужней роженицы избавиться от не-

---

[64] Из дел Медицинского Совета. Об умственных способностях крестьянки Варвары Ероховой, обвиняемой в сожжении в печи своего ребенка // Архив судебной медицины и общественной гигиены. 1866. №2. Р. 2. С. 1–4.

[65] Было ли совершенно детоубийство и кем именно? Извлечено из дел медицинского совета врачом Ширвиндтом // Архив судебной медицины и общественной гигиены. 1865. № 3. Р.2. С. 97–100.

законнорожденного ребенка вовсе не безнравственно. «Безнравственная женщина никогда не может быть доведена до такого плачевного положения, потому что она совершенно равнодушна к своему позору; но та, у которой сильно чувство бесчестия, часто бывает лишена силы переносить… борьбу с беспомощным состоянием, угрожающим всей ее жизни… Будь она при другой обстановке жизни, она могла бы сделаться нежною и безукоризненной нравственности женой и хорошей матерью для своих детей»[66].

Акцент на роли внешних обстоятельств, подчеркивание значимости чувства стыда и страха позора побуждали доктора М. Г. не считать инфантицид преступлением. «Инфантицид не следует приравнивать к убийству, так как в случае детоубийства отсутствует умысел и совершается оно под воздействием эмоций и физического страдания»[67]. С ним был солидарен и доктор А. А. Жуковский из Полтавы, полагавший, что женщина, обвиняемая в убийстве детей, действовала не под воздействием холодного разума, а под влиянием чувств: «не видно предварительного умысла и заранее составленного плана»[68].

Вообще, рассматривая инфантицид как следствие особого психического состояния, медики тем самым были не склонны проводить существенных различий между матерями-детоубийцами и примерными матерями. Более того, они подчеркивали, что всякая женщина из народа, которой приходится рожать, испытывает одни и те же проблемы, особенно если это перворождающая молодая крестьянка или незамужняя молодая женщина. Тем самым, медики указывали на то, что причины, побуждающие женщин совершать детоубийства, лежат в условиях жизни, которые сказываются на их душевном состоянии. Но раз так, то можно ли считать инфантицид преступлением?

Влияние внешних обстоятельств на причины инфантицида отмечались докторами и в более поздний период, в 1890-е гг. Подробный обзор этих внешних обстоятельств дал доктор С. Глебовский, описавший ситуацию в Лифляндской губернии. По сложившейся уже традиции Глебовский указывал на психологический срыв, сопровождающий рождение ребенка в неблагоприятных условиях, «часто в родах скрытых»[69] и на обморочное состояние обвиняемых. Из-за таких условий мать-детоубийца не обладает психологическими ресурсами и не способна контролировать свои действия. Например, при своих первых родах женщина часто теряет сознание или впадает в беспричинный гнев против любящего супруга и новорожденного младенца. «Часто рождение ребенка наносит душевную травму невежественной незамужней крестьянской девушке, рожающей в одиночестве в каком-нибудь грязном амбаре или помещении для скота, находящейся на грани безумия от боли и страха»[70].

---

[66] *М. Г.* О детоубийстве. С. 26–27.

[67] *М. Г.* О детоубийстве. С. 55.

[68] *Жуковский А. А.* Детоубийство в Полтавской губернии и предотвращение его // Архив судебной медицины и общественной гигиены. 1870. № 3. Р. 2. С. 6, 10.

[69] *Глебовский С.* Детоубийство в Лифляндской губернии // Вестник общественной гигиены, судебной и практической медицины. 1904. № 10. С. 1272–1273.

[70] *Жуковский А. А.* Детоубийство в Полтавской губернии. С. 41–43.

Глебовский подчеркивал совершенно неприемлемый, антисанитарный характер условий, в которых приходилось рожать крестьянкам: в хлеву, в полях во время сенокоса, на берегах рек, в хозяйственных пристройках. Описывая отчаяние матерей и отсутствие в их действиях преступного умысла, доктор из Лифляндии дал реалистическую картину того, как все это происходило: «… пуповина рвется руками, перегрызается зубами…, так как не всегда в этот момент под рукою оказывается какой-нибудь режущий предмет»[71].

В 1908 г. в Варшаве была подготовлена обширная медицинская диссертация по вопросам о детоубийстве и аборте. По своему объему и теоретической значимости этот труд был схож с наиболее важными работами на эту же тему, выполненными юристами. Автор диссертации доктор Артур Грегори проанализировал десятки дел о детоубийстве, разбиравшихся Варшавским окружным судом в первые годы XX в. и, в известном смысле, дал обобщающий медицинский взгляд на эту проблему.

Главный акцент Грегори сделал на причинах инфантицида как социального явления. Наряду с традиционным уже психологическими факторами он указал на отсутствие должной помощи роженицам, что приводит их к совершению преступления и служит верной причиной гибели младенцев. Он подробно описал, в каких условиях рождались крестьянские дети: хлев, поле, сарай, лес, берег реки, без помощи со стороны родственников, без должного ухода. Отсюда и огромная смертность. По его оценкам, из-за плохого ухода умирало до трети новорожденных детей[72].

Несомненно, эти картины первобытных условий, в которых происходили роды у крестьянских женщин, были поводом сделать вывод о том, что ситуация нуждается в изменении. Грегори, как и другие российские врачи начала XX в., был в ужасе от этих бесчисленных детских смертей в сельской России, предотвратить которые никак не удавалось. Чтобы снизить этот процент смертности, предотвратить плохой уход за новорожденными и не допустить обдуманного или случайного детоубийства, нужно было что-то менять в корне. Нужно было оторвать женщину-крестьянку от тех условий, в которых она рожала, и поместить в другие, более цивилизованные — в больницу или родильный дом, и там оказать медицинскую помощь, которая позволит не допустить как оплошностей, так и преднамеренных действий[73].

Поголовная госпитализация рожениц в сельской местности в царской России в начале XX в. была еще не возможна, а крестьянки практически не пользовались услугами немногочисленных родильных домов, существующих в городах. К тому же «масштабы деятельности врачей в деревнях были незначительны, а преобладающие

---

[71] *Глебовский С.* Детоубийство в Лифляндской губернии // Вестник общественной гигиены, судебной и практической медицины. 1904. № 11. С. 1412.

[72] *Грегори А. В.* Материалы по вопросу о детоубийстве и плодоизгнании (по данным Варшавского окружного суда за 20 лет, 1885–1904). Диссертация на степень доктора медицины. Варшава, 1908. С. 241.

[73] *Вигдорчик Н. А.* Детская смертность среди петербургских рабочих // Общественный врач. 1914. №2. С. 212–253. *Куркин П. И.* Смертность малых детей. Статистика детской смертности. М., 1911 и др. См. также: *Вассерфур Г.* О средствах к уменьшению смертности детей на первом году жизни // Архив судебной медицины и общественной гигиены. 1866. № 2. Р. 3. С. 88–100.

в деревнях фельдшеры не вызывали доверия у деревенских женщин, предпочитающих в случае родов обращаться за помощью к более уважаемым в деревни бабкам-повитухам»[74].

Но все же именно этот вопрос уже вставал на повестку дня: оказывать медицинскую помощь роженицам из числа сельского населения. Роды в больнице, с точки зрения медиков, должны были стать панацеей от всех недугов, в том числе и от инфантицида. Не наказание за то, что закон трактует как преступление, а деятельное проявление человеколюбия в форме оказания медицинской помощи нуждающимся в ней женщинам — как тем, кто состоит в браке, так и тем, кто рожает вне брака. Помещение простой крестьянской девушки-роженицы в больницу поможет ей преодолеть те психические и социальные проблемы, которые сопровождают ее, когда она рожает тайком ото всех в амбаре. Ребенок, появившись на свет, попадет в гостеприимные руки врачей и, пока мать не окрепнет, будет оставаться под их наблюдением и контролем. Этим мудрым решением, как полагали врачи, удастся победить сразу несколько зол. В противном случае, ужасы с детоубийствами будут продолжаться еще долго.

Таким образом, в дискурсе медиков, как и в рассуждениях российских юристов, тема детоубийства занимала важное место. Это был сюжет, который разрабатывался весьма активно на протяжении нескольких десятилетий, и, безусловно, принес дивиденды врачам как профессиональной группе. Впервые столкнувшись с культурными практиками, процветающими в народной среде, врачи акцентировали внимание на том, что не могло не вызвать ужаса и сострадания образованного человека, — на гибели невинных младенцев. Новорожденные могли умирать как от инфекций, так и от жестокости их забитых и невежественных матерей, но и то, и другое в равной мере уже считалось для образованного общества чем-то ненормальным. Как профессионалы и граждане врачи заявили о своем стремлении положить конец этим смертям.

4. Инфантицид как социальное зло: голос журналистов

Российская образованная общественность XIX в. не могла ни приветствовать реформ, начавшихся в стране в 1860-е гг. Ликвидация векового самодержавно-крепостнического порядка считалась делом, давно назревшим и требующим самого скорейшего осуществления. Однако то, с каким скрипом шел процесс создания современных общественных институтов, и те проблемы, которые, выявились при этом, не могло не заставить мыслящих современников задаться вопросами о причинах происходящего.

Одно из самых серьезных откровений для либерально настроенных представителей образованной общественности состояло в том, что препятствием для реформирования России выступало невежество народных масс и те обычаи и нравы, которые царили в крестьянской среде. Русский крестьянин, чья жизнь теперь стала предметом размышлений интеллигенции и исследований специалистов, выглядел, в сущности, настоящим дикарем. Русская деревня продолжала оставаться закрытым миром, который отказывался взаимодействовать с цивилизацией и усваивать современные нормы жизни. Те случаи, когда эти контакты становились возможными, мало радовали,

---

[74] *Михель Д. В.* Общество перед проблемой инфантицида. С. 452.

поскольку наиболее распространенным местом контакта «двух культур» стал суд, где разбирались дела о поджогах, браконьерствах, преступлениях на железной дороге и детоубийствах.

Выше мы уже обсудили реакцию на эти события со стороны таких вновь сформировавшихся профессиональных групп, как юристы и медики. Но как воспринимали подобные происшествия другие представители образованной общественности? Какое место занимала проблема инфантицида в дискурсе пишущей российской интеллигенции, не связанной корпоративными узами с названными выше группами?

Хорошим примером такого рода является реакция журналистов. В России журналисты с успехом исполняли роль «совести общества», и часто именно в их текстах обнаруживалась наиболее «острая» трактовка той или иной проблемы. Нечто похожее мы обнаружили и в ситуации с журналистской интерпретацией проблемы инфантицида в рассматриваемый период. Ограничимся всего двумя случаями, причем начнем с более позднего.

В 1907 г. один из самых выдающихся российских журналистов рубежа XIX и XX в. В. М. Дорошевич (1864–1922) опубликовал очерк «Детоубийство»[75]. То, что он обратился к этой тематике, было неудивительно. Дорошевич уже имел шумную славу исследователя тайн «дна» русской жизни. За десять лет до этого он по примеру А. П. Чехова совершил знаменитое путешествие на Сахалин, изложив его результаты в большой серии очерков «Каторга». Уже то, что он сумел проникнуть на остров каторжников, было настоящей удачей. Собрав массу ценнейшего материала, Дорошевич честно и без прикрас донес правду о жизни отверженных[76].

Вслед за этим наступило время наблюдений за работой российских судов, и Дорошевич стал вести репортажи из залов заседаний. Едва ли не первым его отчетом стал очерк о детоубийстве. В нем Дорошевич поведал историю о том, как Петербургским судом присяжных была оправдана некая Мария Татаринова, 19 лет, убившая свою дочь. Вступая в полемику с воображаемыми оппонентами, Дорошевич заявил, что не собирается обвинять присяжных в ошибке. Все внимание он сосредоточил на анализе причин этого преступления, для чего потребовалось рассказать историю Татариновой.

Текст Дорошевича — искрометный и ироничный, но за каждым его словом скрывается боль. Мы узнаем, что в возрасте 17 лет Мария прибыла со своим мужем из некой деревни в Санкт-Петербург и там устроилась на завод. Ее муж запил и вскоре бросил ее, оставив без денег. Сосед по дому, в котором Мария снимала квартиру, некий мастеровой Гомиловский, 34 лет, подло принудил ее к сожительству. Вскоре Мария забеременела и родила дочь Клавдию. Гомиловский не только не признал никаких обязательств перед появившимся на свет ребенком, но начал всячески издеваться над женщиной. Пользуясь своим положением, он выгнал ее из квартиры. Мария продала все свои вещи, заболела и едва не погибла. После того, как она дошла до предела отчаяния, она задушила свою дочь и бросила ее в отхожее место. «Могла ли

[75] *Дорошевич В. М.* Детоубийство // Собрание сочинений. Т.9. Судебные очерки. М., 1907. С. 37–49.

[76] *Телятник М. А.* Дорошевич, Влас Михайлович // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: Биобиблиографический словарь. М., 2005. Т. 1. С. 648–650.

она не обезуметь, вышвырнутая с ребенком умирать на улицу?», — вопрошает автор. Далее, как свидетельствует Дорошевич, Татаринова созналась полиции в содеянном преступлении и указала на место, куда был брошен труп девочки. Она рыдала над найденным телом ребенка и вскоре оказалась на скамье подсудимых. «Вот вам и вся “женщина-изверг”, “развратница”, “содержанка”, вот вам и вся ее “веселая жизнь” и “ненависть к малютке”». В заключительной части очерка Дорошевич вновь возвращается к оценке решения присяжных. Он соглашается с их решением и дает ему следующую интерпретацию: «Оправдав жертву, доведенную до преступления, они тем самым ответили: Виновен тот, кто довел ее до этого. Они обвинили этим, правда, не того, кто сидел на скамье подсудимых, но разве они виновны в том, что на скамью посадили не того, кого следовало»[77].

Дорошевич был мастером коротких рассказов, и в истории о Марии Татариновой ему удалось в немногих словах вскрыть всю суть данной социальной проблемы. Это была история о страдании простой русской женщины, неопытной и беззащитной перед произволом более сильных и жестоких людей. Это была история о царящих в обществе нравах, возлагающих всю вину за гибель младенцев на их матерей. Дорошевич упоминает в своем тексте о роли отца ребенка, циничного мастерового Гомиловского. Он остался без наказания, хотя вина его вполне очевидна. Нет закона, который мог бы привлечь его к ответственности за то, что случилось, и в этом — трагедия. Дорошевич намекает на существующее в России неравенство между полами, которое столь глубоко укоренилось во всем, что многие совершенно не замечают его. Поэтому-то судьи и делают снисхождение к матери-детоубийце, но их решение — всего лишь паллиатив. Нужны более серьезные меры.

Текст Дорошевича появился не на пустом месте, поэтому автор и мог позволить себе ограничиться лишь короткой зарисовкой. Не так поступил его предшественник С. С. Шашков (1841–1882). Его работы были пространны и обстоятельны. Шашков был уроженцем Иркутска и в журналистику пришел на двадцать лет раньше Дорошевича. Его расцвет пришелся на третью четверть XIX в. Это был разносторонний человек. Он занимался модными тогда этнографическими исследованиями и писал для столичных журналов. За свою недолгую жизнь Шашков снискал славу как один из авторитетных специалистов по этнографии народов Сибири. Кроме того, он был активным глашатаем «женского вопроса» и в этом смысле был одним из первых российских феминистов, посвятив несколько серьезных работ в защиту интересов женщин.

В 1868 г. в журнале «Дело» вышла его статья «Детоубийство»[78], в которой он изложил свой взгляд на суть проблемы. Вскоре Шашков еще раз обратился к ней, издав в 1871 г. книгу «Историческая судьба женщины»[79]. Позднее он развил эту тему еще в одном своем сочинении — «Очерк истории русской женщины» (1871–1872). Работы Шашкова о детоубийстве выходили в один год с работами профессора уголовного права Таганцева и отличались своеобразием в расстановке акцентов. Это была подлинная апология женщины-детоубийцы, и автор заявлял, что детоубийство следует

---

[77] *Дорошевич В. М.* Детоубийство. С. 48, 49.

[78] *Шашков С. С.* Детоубийство // Дело. 1868. №5. С. 1–40.

[79] *Шашков С. С.* Исторические судьбы женщины, детоубийство и проституция. СПб., 1872.

трактовать не столько как страшное преступление, сколько как трагическое общественное явление, *социальное зло*, порожденное всем существующим порядком вещей.

Нечего и говорить о том, что Шашков считал вопрос о детоубийстве предельно актуальным для своего времени. Он писал: «С тех пор, как статистика, вооруженная цифрами и строго логическими выводами, основанными на цифрах, бросила свет на явления общественной жизни, детоубийство, в различных своих формах и проявлениях, сделалось предметом величайшего интереса для современной литературы. Экономическое значение этого вопроса имеет громадную важность для общества; оно не может оставаться равнодушным к детоистреблению, если хоть сколько-нибудь заботится о своем благосостоянии… бедность служит главным источником детоубийства и прямо влияет на его развитие. Чем беднее общество, чем ниже уровень его материального существования, тем слабее любовь родителей к детям и тем выше цифра детоубийств, совершаемых под влиянием гнетущей нужды. Дети — первая жертва такого ненормального порядка вещей. Кроме того, детоубийство имеет непосредственное отношение к организации брака, семейства, к воспитанию, и вообще к тем основным принципам, на которых установлена политическая и общественная форма народной жизни»[80].

Как уже отмечалось выше, многие российские авторы, писавшие об инфантициде, активно использовали метод сравнительно-исторического описания. В сочинениях юристов, начиная от Таганцева и завершая Гернетом, общим местом было вспоминать о том, что практики детоубийства уходят корнями в глубь веков, когда родители могли самостоятельно решать вопрос о жизни и смерти своего потомства. В своей книге Шашков также прибегает к этому приему. Опираясь на многочисленные этнографические свидетельства о жизни так называемых «диких народов» и на тексты историков, посвященные истории Древнего Востока, он широко обсуждает вопрос о распространенности детоубийств в рамках этих обществ. После этого он переходит к античной Греции и Риму и далее к Европе, доводя ситуацию до XIX в.[81]

Примененная им схема изложения материала была типична для исследователей его эпохи, многие из которых следовали концепции эволюционизма[82]. Подобно К. Марксу, Г. Спенсеру и другим зачинателям социальных наук в XIX в., Шашков полагал, что ход развития человечества характеризуется постепенным переходом от «диких» и «варварских» форм общества к «цивилизованным». Тем не менее, по Шашкову, сам переход к современной форме общества вовсе не гарантирует избавления от детоубийства. Напротив, рост населения и появление городов совпадает с ростом бедности и «развращением нравов». XIX-й век, по его мысли, стал свидетелем роста числа детоубийств, и избавление от них сможет принести лишь достижение более совершенного общественного состояния, при котором будет изжита первобытная жестокость[83].

Для Шашкова было важным сравнить современный европейский и российский опыт и выявить главные социальные причины, которые ведут к детоубийству. Здесь

---

[80] *Шашков С. С.* Указ соч. С. 339.

[81] *Шашков С. С.* Указ соч. С. 339–363.

[82] *Bowler P., Morus I. R.* Making Modern Science. Chicago, 2005. P. 299–316.

[83] *Шашков С. С.* Указ соч. С. 375–417.

он выступал борцом с буржуазной моралью и защищал более скромные нравы. По его мысли, в Европе детоубийство совершается «почти исключительно по бедности или расчету», например, в Англии часто убивают застрахованных детей, чтобы после их смерти получить денежную компенсацию[84]. Что касается России, то здесь, по Шашкову, практики детоубийства еще не стали столь распространены, как в Европе. Во многих случаях рождение незаконнорожденных младенцев приветствуется. «В русских деревнях, у солдаток и крестьянок, рождение незаконнорожденных детей не вызывает проблем и детоубийства. Крестьянин при рождении незаконного ребенка дочерью, часто даже женою, радуется ему точно так же, как и законному. Он видит в нем нового работника»[85].

Современные города виделись ему центрами безнравственности, тогда как деревня с ее первобытной культурой еще сохраняла черты древнего благочестия. Отсюда его следующее наблюдение: среди крестьян инфантицид распространен даже меньше, чем в городе, где матери сильнее боятся за свою честь и чаще прибегают к детоубийству и аборту[86]. Но вряд ли следует слишком доверять этому замечанию. В исследованиях Гернета, опиравшегося на более основательные статистические данные, инфантицид рассматривался как преимущественно деревенское, а не городское явление[87].

Следуя аболиционистским идеям, характерным для его времени, Шашков осуждал смертную казнь и вообще жестокие наказания. Уголовные законы Российской империи виделись ему примером драконовского законодательства, которое уже давно отброшено в более просвещенной Европе. По этому поводу он замечал: «Влияние Европы хотя и смягчило немного русские законы, но все-таки они еще далеки даже от того состояния, в каком находятся европейские кодексы относительно этого предмета… По русскому праву даже сокрытие рождения незаконнорожденного ребенка есть самостоятельное преступление, предусматриваемое 2009 статьей XV тома. “Если будет доказано, что младенец родился мертвым, и мать, волнуемая стыдом или страхом, только скрыла его тело, вместо того, чтобы объявить о том, кому следует, она подлежит заключению в тюрьме от 6 месяцев до года”. За что же?»[88]

Издание более гуманных уголовных законов, которое уже началось в России, виделось Шашкову слишком медленным, поэтому он с нетерпением высказывался за появление более мягких санкций против детоубийц, но, в принципе, даже таковые не считал решением проблемы. Вследствие этого он восклицал: «В деле детоубийства корни социального зла лежат гораздо глубже, чем думают юристы. А чтобы уничтожить известное явление, надо уничтожить саму причину, порождающую его. Тут никакие полумеры не помогут исправлению зла. Если мать убивает свое дитя в большинстве случаев из страха, голода и холода, то надо всех матерей накормить и одеть и т. д. »[89] Как и многие интеллектуалы его эпохи, освоившие основные политэкономические

---

[84] *Шашков С. С.* Детоубийство. С. 1, 7–13.
[85] *Шашков С. С.* Детоубийство. С. 30–31.
[86] *Шашков С. С.* Детоубийство. С. 31.
[87] *Гернет М. Н.* Детоубийство // Энциклопедический словарь… М., 1910. Т. 19. С. 309–310.
[88] *Шашков С. С.* Указ соч. С. 430–431.
[89] *Шашков С. С.* Указ соч. С. 434.

идеи XIX в., Шашков видел одну из важнейших социальных причин инфантицида в бедности народных масс. Ликвидация детоубийства, по его мысли, возможна лишь через ликвидацию бедности, а это в свою очередь требует развития всей хозяйственной и общественной жизни в целом.

Наряду с порицанием одних лишь законодательных мер против инфантицида он считал бесполезной и современную филантропическую практику, связанную с созданием домов для подкидышей. Создание таких домов, по его мысли, не уменьшает числа детских смертей, а лишь откладывает их, да и то на непродолжительный период. Младенцы гибнут в них от плохого ухода и отвратительного питания. Часто малыши не получают грудного молока, их кормят из рук, кашей и тюрей. Ссылаясь на мнение западных гигиенистов, Шашков утверждает, что более полезным было бы молоко специально нанятых кормилиц, но для их найма требуются дополнительные средства. Но все же, по его мысли, ничто не заменит младенцу материнского молока, а чтобы оно было, необходимо добиться того, чтобы мать не бросала свое дитя[90].

Самая важная причина роста числа детоубийств и подбрасывания детей в приюты, по мысли Шашкова, кроется в несправедливом отношении общества к женщине. Моральное давление, которое оказывают на нее «фарисеи-обыватели», вынуждают женщин стыдиться своих внебрачных детей и вообще внебрачных половых связей. Общественная мораль и превращает их в детоубийц, толкая на путь преступления в надежде спастись от позора. «При этом, — писал он, — нужно еще вспомнить, что сплошь и рядом, внебрачно-беременные женщины принуждены скрывать свою беременность и родить где-нибудь в уединенном месте, в сортире, хлеве, на улице, на ветру, на морозе, без всякой посторонней помощи». Вот почему, писал он, такими женщинами движет не холодный расчет, но они сразу переживают борьбу двух чувств — «эгоизма и материнской любви»[91].

Представление о врожденности у женщин материнской любви, или, как будет писать в начале XX в. зоопсихолог Вагнер, «материнского инстинкта»[92], казалось Шашкову не требующим доказательств. Мысль о том, что женщины просто могут не любить своих детей или не хотеть иметь детей, не приходила ему в голову. В этом месте своих феминистских рассуждений Шашков, похоже, достигал предела, переступить который уже не мог. Тем не менее, стоит признать, что из всех писавших в царской России авторов-мужчин он более всех высказался в защиту женской эмансипации и именно с ней связывал грядущее решение проблемы инфантицида.

Показателен в этом смысле его общий вывод, сделанный в финале работы о детоубийстве. «Пока не изменятся социальные отношения, пока народные массы не поднимутся из бедности и не разовьются нравственно, пока не освободится женщина, пока современная цивилизация не вступит на более высокую ступень своего развития, — до тех пор ужасная болезнь детоистребления неизбежна, неизлечима, неискоренима, какие бы пожертвования ни делала филантропия для ее предварения и каких бы мер ни выдумывали юристы для борьбы с нею»[93].

---

[90] *Шашков С. С.* Указ соч. С. 431–449.

[91] *Шашков С. С.* Указ соч. С. 449; *его же.* Детоубийство. С. 28.

[92] *Вагнер В. А.* Психология размножения и эволюция. С. 156–202.

[93] *Шашков С. С.* Указ соч. С. 451.

В целом, включившись в дискуссии об инфантициде российские журналисты, такие, как Шашков и Дорошевич, придали ей новую степень актуальности и остроты. Они сумели в ясной форме и эмоциональных выражениях указать на ее социальные корни. В этом смысле, их тексты не были поверхностными сообщениями о скандалах современной жизни. Это был настоящий анализ.

Разумеется, нельзя утверждать, что в таких журналистских работах была исчерпана вся правда о социальной природе инфантицида. Многие сюжеты остались в стороне, но на них могли обращать внимание другие представители пишущей интеллигенции. Если для Шашкова вопрос о детоубийстве был лишь иллюстрацией к картине о непростых судьбах русской женщины, то другие авторы обращали внимание на трудности выживания незаконнорожденных, равнодушие матерей к жизням своих самых младших детей, изменения в сексуальном поведении низов и т. д. [94]

И все же даже журналистские интерпретации не давали решающего ответа на вопрос о том, что делать с проблемой инфантицида. Дорошевич намекал на важность ответственности мужчин за судьбы внебрачных детей, а Шашков говорил о необходимости социального прогресса и грядущего освобождения женщины. Во всех перечисленных случаях дело откладывалось на потом. А что же следовало делать сейчас?

Похоже, главное решение такого рода предлагали те, кто не имел голоса в происходящих дискуссиях, т. е. присяжные заседатели. Они просто голосовали за оправдание и помилование обвиняемых, когда, взвесив все факты и сведения, находили ту или иную женщину-детоубийцу достойной прощения. Что касается профессионалов, которые брались за перо, то они также отчаянно искали решение проблемы. При этом юристы и медики всякий раз били в одну и ту же цель. Первые неизменно подчеркивали важность совершенствования законодательства, а вторые все более склонялись к необходимости профилактики через предоставление помощи. Журналист Шашков мог вполне искренне откладывать решение проблемы детоубийства как социального зла на отдаленное будущее, но для юристов вроде Таганцева и Фойницкого и для врачей, писавших на страницах «Архива судебной медицины и общественной гигиены», ожидание было непозволительной роскошью.

***

Детоубийство выступило одним из мрачных символов перемен, начавшихся в российском обществе в 60-е гг. XIX в. Чем серьезнее и стремительнее были эти перемены, тем более явно обнажались противоречия между народными практиками контроля рождаемости и требованиями современных государственных институтов и социальных структур. Своими новациями в сфере уголовного законодательства власть декларировала экономическую ценность детства, но слишком мало еще было сделано

---

[94] *Афиногенов А. О.* Жизнь женского населения Рязанского уезда в период детородной деятельности женщины. СПб., 1903; *Бородаевский С. В.* Незаконнорожденные в крестьянской среде // Русское богатство. 1898. №10. С. 238–241; *Гиляровский Ф. В.* Исследование о рождении и смертности детей в Новгородской губернии (Записки Русского географического общества. Т.1). СПб., 1866; *Семенова-Тян-Шанская О. П.* «Жизнь Ивана»: Очерки быта крестьян одной из черноземных губерний. СПб., 1914 и др.

для того, чтобы поставить на подобающее место всякую человеческую жизнь. Началась перестройка инертной и безжалостной машины российского правосудия, но этот процесс зачастую шел слишком медленно, и поэтому всякая ее новая версия плохо соответствовала реальности жизни, уже ушедшей вперед. Старая модель социального устройства, в которой женщине отводилась роль существа второго сорта, интуитивно уже воспринималась как неудовлетворительная, но принимаемые в судах решения об оправдании матерей-детоубийц по-прежнему опирались на гендерные стереотипы присяжных, для которых женщины были существами слабыми и не свободными в своих действиях. На свой манер их разделяли и медики, увидевшие на месте причин совершаемых матерями убийств не только «страх позора» и «стыд», но и «психические расстройства». Для некоторых же это было следствием забитости, социальной пассивности и невежества женщин. Все же некоторые позитивные сдвиги уже намечались. Они просматривались в концепции более адекватных наказаний и мер медицинской помощи, а также в оспаривании детоубийства как «чисто женского преступления».

Похороны как аспект городской повседневности (по материалам западносибирской газетной прессы первой половины 1920-х гг.)

Е. И. Красильникова

Февральская, Октябрьская революции и Гражданская война сломали социальную структуру Российской империи, но в начале 1920-х гг. новые социальные страты российского общества еще только оформлялись. При этом трансформировались и все повседневные практики, присущие различным общественным слоям. Колоссальные перемены, охватившие страну, коснулись каждого россиянина, заставив народ по-другому думать, чувствовать и действовать в, казалось бы, привычных обстоятельствах. К началу 1920-х гг. стало заметно, как кардинально меняется культурный ландшафт городов. Появились новые места памяти, связанные с последними политическим событиями. Одновременно стирались с лица земли старые памятные места, параллельно с которыми «растворялись» и исчезали ценностные ориентиры, присущие дореволюционным социальным группам. Менялись и способы закрепления коллективного понимания прошлого, к числу которых можно отнести и церемонии прощания, похороны.

Почему исследователь обращается к такой теме? Измерить глубину перемен в повседневной жизни различных слоев российского общества в переходное, послереволюционное время очень трудно, однако работа над решением этой задачи проливает свет на глобальные вопросы. Это — вопрос соотношения преемственности и новаций в процессе общественного развития России на рубеже эпох; это и проблема соотношения идеологического насилия со стороны государства и добровольности «переустройства» «маленьким» россиянином его образа жизни в соответствии с заданной властью моделью. Анализ выбора похоронного обряда жителями западно-сибирских городов подводит исследователя к пониманию степени готовности российских провинциалов начала 1920-х гг. внутренне принять новую политическую идеологию как основу собственного духовного мира и адаптировать к ней свою повседневную жизнь, ведь после революции российское общество резко изменилось. Исследовать особенности перемен в указанной области — это и подойти к пониманию того, как, на уровне каких повседневных практик, присущих разным социальным группам проявилось наступление новой эпохи и когда именно оно произошло.

Цель данного исследования — характеристика похоронного церемониала первой половины 1920-х гг. как разновидности повседневных практик жителей городов в административных центрах Западной Сибири (Томска, Омска, Новониколаевска, Барнаула и Тюмени). Источниковая база для такого исследования — местные газеты.

Нам кажется перспективным и важным, во-первых, выявить специфику газетной информации о городских похоронах, во-вторых, найти и сопоставить новое

и традиционное в описании городских похорон, в том числе — признаков дореволюционных похоронных обычаев и традиций. В-третьих, важно найти и объяснить взаимосвязь между отраженными в газетах изменениями и сохранением похоронных традиций, найти связь с культурными, социально-экономическими условиями в контексте повседневной жизни горожан в первой половине 1920-х гг. Наконец, немаловажно обнаружить влияние идеологии на коллективное знание о прошлом, показать механизм и процессы идеологизации, создания необходимых власти социальных представлений и национальных символов.

Мы решили не касаться темы массовых захоронений «жертв колчаковщины» в братских могилах, поскольку это — тема отдельного исследования[1]. В центре нашего внимания будут только частные похороны, сведения о которых прежде не подвергались анализу историков.

Тема похорон в трудах российских этнографов и историков

Развитию похоронных традиций и обычаев в России посвящено огромное количество исследований: фольклористов, изучавших традиционные обрядовые песни и плачи, и этнографов, в центре внимания которых были структура и смысл похоронного обряда, его региональные особенности. Еще во второй половине XIX в. классики русской этнографической науки посвятили ряд трудов происхождению и развитию погребальных обычаев славян и народным представлениям о смерти[2]. В похоронной обрядности они видели неотъемлемую часть крестьянской духовной культуры.

Советские этнографы продолжили изучение похорон в контексте семейной жизни[3]. Но, углубление в проблематику, связанную с устойчивыми во времени похоронными обрядами, базировавшимися на религиозных представлениях, было чревато нарушением тонкой грани идеологической корректности. Поэтому, лишь с середины XX в. они приступили к изучению не только крестьянской, но и рабочей похоронной обрядности[4], игнорируя, однако традиции и ритуалы других социальных групп. Полвека тому назад Октябрьская революция, «привнесшая просвещение в народные массы», считалась основным фактором «положительного» влияния и на похоронные обычаи, которые стали освобождаться от «пережитков» прошлого, особенно присущих «застойному быту» крестьянской семьи и обретать гражданский («прогрессивный») характер. Отмечалось, что похороны революционеров носили «новый общественный характер», превращаясь из действа, наполненного религиозным смыслом в «гранди-

---

[1] На примере Новониколаевска данный вопрос рассмотрен в статье: *Косякова Е. И.* (*Красильникова Е. И.*) Мемориальный сквер павших в годы Гражданской войны в Новосибирске как место памяти горожан 20–30-х гг. XX в. // Уральские Бирюковские чтения. Вып. 5. Историко-культурное наследие российских регионов. Часть II. Челябинск, 2008. С. 309–315.

[2] *Котляревский А. А.* О погребальных обычаях языческих славян. М., 1868; *Зеленин Д. К.* Избранные труды. Очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995; *Костомаров Н. И.* Домашняя жизнь и нравы великорусского народа: утварь, одежда, пища и питьё, здоровье и болезни, нравы, обряды, приёмы гостей. М., 1993 и др.

[3] *Токарев С. А.* Этнография народов СССР. М., 1958. С. 85–86.

[4] *Куприянская В. С., Полищук Н. С.* Культура и быт горнозаводского Урала (конец XIX — начало XX вв.). М., 1971. С. 83–84.

озные революционные манифестации»[5]. Советские этнографы (прежде всего М. Г. Рабинович) были вынуждены признать живучесть традиционных похоронных обрядов, особенно на селе, существование констант в похоронных ритуалах, обнаруживающихся по свидетельствам источников и в западносибирских городах 1920-х гг.

Тридцать лет назад, в 1980–1990-е годы, появились отдельные публикации, посвященные именно гражданским похоронам в дореволюционной России и в СССР[6]. Специалисты установили связь между «литературными» похоронами середины XIX в. и формированием обряда «красных похорон» в период Первой русской революции, описали обрядовую специфику «красных похорон» начала XX в., объяснили ее политическое значение и обозначили роль партийных и культурно-просветительских органов в создании новой обрядности. Н. С. Полищук убедительно показала дореволюционные истоки формирования гражданского похоронного обряда советской поры[7] и вписала «красный» похоронный обряд в контексты модернизировавшегося на рубеже веков быта и нравов рабочей среды[8].

Сегодня интерес ученых постепенно смещается от внешней стороны народной обрядности к вопросам национального самосознания, народной памяти, нравственных идеалов, веры и пр. В обобщающих этнографических трудах похоронные обычаи и обряды, по-прежнему, рассматриваются в контексте уклада семейной жизни и обрядов жизненного цикла человека[9]. Теперь ученые дают более адекватную оценку роли религии в формировании похоронно-погребальных обрядов[10]. Уделяется внимание и изменениям в похоронно-поминальной обрядности, произошедшим в советское время. Но, по наблюдениям этнографа И. А. Кремлевой, эта тематика мало изучена[11].

Если этнографов интересуют главным образом похоронные традиции, то историкам интересны изменения в похоронной обрядности, обусловленные модернизационными процессами и политикой. Во-первых, темы похорон касаются те, кто изучают ментальность и особенности духовного мира россиян[12]. Обретает актуальность эта тематика и для социальных историков. Характеризуя феномен революционной жертвенности, затрагивает проблему влияния идеологии на похоронную обрядность

---

[5] Народы европейской части СССР. Этнографические очерки в 2-х т. М., 1964. Т. 1. С. 472 — 473; 477–478.

[6] *Гедрене Р. К.* Гражданские похороны в Литве // Традиционные и новые обряды в быту народов СССР. М., 1981. С. 125–134; *Полищук Н. С.* Обряд как социальное явление (на примере «красных похорон») // Советская этнография. 1991. № 6. С. 25–39.

[7] *Полищук Н. С.* Указ. соч.

[8] *Ее же.* Обычаи и нравы рабочих России (кон. XIX–нач. XX вв.) // Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций (1861 — февраль 1917 г.). СПб., 1997. С. 114–130.

[9] Русские. М., 1999 (далее — Русские). С. 517–531; Украинцы. М., 2000. С. 324–326.; Тюркские народы Крыма. М., 2003. С. 80–86; 302–306; 411–416; Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С. 115–117; 273–278; 419–425.

[10] Православная жизнь русских крестьян XIX — XX вв.: итоги этнографических исследований. М., 2001. С. 72–87.

[11] Русские. С. 518.

[12] *Бердинских В. А.* Крестьянская цивилизация в России. М., 2001. С. 233–237; *Озеров Ю.* В. История погребальной культуры российской провинции в конце XVIII — нач. XX в. (на пример Курской губернии). Афтореф. … дис. канд. ист. наук. Курск, 2004; *Янгиров Р.* Прощание с мертвым телом // Отечественные записки. 2007. № 2 (http: // www.strana-oz.ru)

В. С. Тяжельникова, которая анализирует истоки и значение новой революционной похоронной атрибутики[13]. Ее исследование — показательный пример интенсификации междисциплинарного диалога, в ходе которого социальные историки обращаются к этнографическим и культурологическим материалам, необходимым для воссоздания поведенческих моделей представителей различных социальных групп и специфики их восприятия власти. В этом отношении интересна и работа Е. А. Бесединой, проанализировавшей внедрение в повседневную жизнь рабочих практик, выработанных социал-демократами начала XX века, в том числе и «красных» похорон[14].

Первые этнографические труды о похоронах русских в Сибири опубликовали уже в начале XX в.[15], в 1920-х гг. эстафету подхватил иркутянин Г. С. Виноградов[16]. В дальнейшем изучение похоронной обрядности в Сибири шло в том же русле, что и в других регионах нашей страны. Изучались, главным образом, похоронные обычаи коренных народов Сибири и выявлялись местные особенности похоронной обрядности русских[17]. К характеристике сибирского похоронного крестьянского обряда обращались и историки[18]. Однако городские сибирские похороны, и тем более «красные похороны» в Сибири — это практически неизученная тематика. Лишь отдельные, наиболее масштабные похороны жертв Гражданской войны описаны

---

[13] *Тяжельникова В. С.* «Вы жертвою пали в борьбе роковой…». Генезис и эволюция революционной жертвенности коммунистов // Социальная история. Ежегодник 1998–1999. М., 1999. С. 411–433.

[14] *Беседина Е. А.* Российские социал-демократы в рабочей среде: повседневная революционная практика (1905–1907 гг.) // Рабочие — предприниматели — власть в XX в. Кострома, 2005. С. 6–13.

[15] *Неклепаев И. Я.* Поверья и обычаи Сургутского края // Обряды, обычаи, поверья. Тюмень, 1997. 208–214.

[16] *Виноградов Г. С.* Смерть и загробная жизнь в воззрениях русского старожилого населения Сибири. // Сборник трудов профессоров и преподавателей Гос. иркутского ун-та. Иркутск, 1923. Вып. 5.

[17] *Бардина П. Е.* Быт русских сибиряков Томского края. Томск, 1995. С. 192–196; *Она же.* Материалы о похоронно-поминальном обряде русского населения Среднего Приобья в конце XIX–начале XX вв. // Обряды народов Западной Сибири. Томск, 1990. С. 170; *Бережнова М. Л.* Погребальный обряд русских старожилов Среднего Прииртышья // Этнографо-археологические комплексы. Проблемы культуры и социума. Новосибирск, 1997. Т. 2. С. 310; *Она же. Православные* нормы в погребальном обряде русских Среднего Прииртышья // Народная культура. Омск, 1997. С. 40–44; *Голубкова О. В.* Особенности похоронного обряда у украинцев и русских старожилов юга Западной Сибири // Русские старожилы и переселенцы Сибири в историко-этнографических исследованиях. Новосибирск, 2002. С. 205–213; *Жигунова М. А.* О похоронной обрядности сибирских казаков // Интеграция археологических и этнографических исследований. Алматы; Омск, 2004. С. 191–194; *Новиков А. В., Майничева А. Ю.*, *Кравцов В. М., Грес М. В.* Прошлое Болотнинской земли. С. 88; 90; 93; *Томилов Н. А. , Шаргородский Л. Т.* Погребальный обряд барабинских татар // Обряды народов Западной Сибири. Томск, 1990. С. 124–125; *Фурсова Е. Ф.* Женская погребальная одежда русского населения Алтая // Традиции и инновации в быту и культуре народов Сибири. Новосибирск, 1983. С. 78–82.

[18] *Миненко Н. А.* Русская крестьянская семья в Западной Сибири XVII — первой половины XIX в. — Новосибирск, 1979, С. 252–267; *Андюсев Б. Е.* Традиционное сознание крестьян-старожилов Приенисейского края 60-х гг. XVIII — 90-х гг. XIX в. Афтореф. … дис. канд. ист. наук. Красноярск, 2002. С. 13.

историками, которые, однако, не критично относились к первоисточникам и не пытались интерпретировать обрядовую сторону таких похорон, подчеркивая лишь их политическое значение[19]. Между тем, российские историки начали изучать региональную специфику советской обрядности и ее обусловленность политическими, культурно-ментальными и социально-экономическим обстоятельствами. Так, советская праздничная культура Татарстана (1917–1922 гг.) и соответствующий праздничный коммеморативный нарратив стал предметом исследования С. Ю. Малышевой[20]. Ею показаны способы формирования символического универсума советского общества, социализации советского гражданина, создания и поддержания советской идентичности, рудиментарно существующей и сегодня. Так и неизученный вопрос о сибирских городских похоронах 1920-х гг. вплотную соприкасается с актуальным для современной социальной истории кругом проблем (формирование страт советского общества и советской идентичности, трансформация повседневных практик и рецепция этих процессов населением, сохранение социальной памяти и т. п.).

Похороны как разновидность повседневных практик

История повседневности появилась в итоге междисциплинарного диалога этнографии, этнологии, антропологии и истории[21]. Не все наши коллеги склонны видеть разницу между традиционным бытописательством, которое мало чем отличается от этнографических исследований, и историей повседневности[22]. Но, все-таки, на наш взгляд, историю повседневности принципиально отличает фокусировка исследовательского внимания на внутреннем мире «маленького человека», на его заботах, потребностях, как биологических, так и духовных (возможностях, формах и способах их реализации в различных исторических условиях), эмоциях и переживаниях[23]. Под городской повседневностью мы подразумеваем взаимодействие городских жителей с городской средой в целях реализации многообразных потребностей горожан[24]. Такое взаимодействие происходит непрерывно, вне зависимости от исторических условий, базируется на устойчивых и привычных для обывателя тактиках поведения, окра-

[19] *Корсакова М. И.* Погосты, кладбища и братские могилы // История города. Новониколаевск–Новосибирск. Новосибирск, 2005. С. 359; Памятники Новосибирска. Новосибирск, 1980. С. 54 и др.

[20] *Малышева С. Ю.* Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, исторические мифы (1917–1927). Казань, 2005.

[21] *Пушкарева Н. Л.* Предмет и методы изучения истории повседневности // Этнографическое обозрение.

2004. N 5. С. 39–51*; ее же.* Предмет и методы изучения истории повседневности // Социальная история. 2007. М., 2007. С. 9–21; *Сэбиан Д. У., Кром М. М., Альгази Г.* История и антропология: путь к диалогу // История и антропология: междисциплинарные исследования на рубеже XX — XXI вв. СПб., 2006. С. 30.

[22] См. к примеру: *Букин С. С., Исаев В. И.* Новосибирцы: очерки истории повседневной жизни (конец XIX — начало XXI вв.). Новосибирск, 2008. С. 15.

[23] *Пушкарева Н. Л.* Отличие истории повседневности от этнографических исследований быта // Социальная история российской провинции. Тамбов, 2004. С. 3–17.

[24] *Красильникова Е. И.* Жизнь в городе-акселерате: обеспечение потребностей новосибирцев в межвоенное время (конец 1919 — первая половина 1941 г.). Новосибирск, 2008. С. 36.

шивается эмоционально и постепенно видоизменяется вместе со сменой локальных, государственных и мировых исторических контекстов. Тема «маленького человека» и его «большой трагедии», перед лицом которой он неизбежно оказывается — вечна. Каждый человек соприкасается со смертью, которую неизбежно воспринимает с эмоциональной остротой. Похороны — это всегда событие, потрясение, драма, как для личности, так и для общества. Однако такие потрясения общество переживает регулярно. Похороны, сколько драматичными они бы ни выглядели, все-таки, как правило, не ломают порядок и ритмику повседневности, будучи жестко ритуализированными. Обычно люди, участвующие в похоронах, не рефлексируют над собственными действиями, поступая в логике обыденного сознания. В тоже время повседневность изменчива и «текуча», почти незаметно для общества меняются и довольно устойчивые во времени похоронные обычаи, поэтому и нюансы похоронного обряда, характерного даже для относительно недавнего прошлого, уже не кажутся абсолютно узнаваемыми и понятными нашим современникам.

Похороны, как один из способов приспособления сообществ к конкретным историческим условиям, служат реализации духовной потребности людей в коллективной памяти, которая формирует групповую идентичность, интегрирует сообщества, объясняет их происхождение, усиливает значимость сообществ в глазах их членов, сторонних наблюдателей и даже недругов. Устойчивые обыденные представления о происхождении сообщества и характере внутренних связях его членов формируются, кроме прочего, во время похорон. Похороны — это разновидность коммемораций т. е. совокупности средств, которые используются тем, или иным сообществом для закрепления коллективной памяти и напоминания о каком-либо значимом для себя событии или персоне. Сегодня важно осмысление роли и места похорон в формировании лишь частично осмысленного исследователями коммеморативного метанарратива молодого советского государства и рецепции «красных похорон» в сибирских городах, поскольку все это открывает еще один из возможных путей к пониманию внутреннего мира «маленького сибиряка», оказавшегося, как и множество его современников в сложной социокультурной ситуации переходной эпохи, когда культура подвергается натиску насаждаемых властью новых ритуалов.

Изучение характера похорон в сибирских городах приближает исследователя к пониманию особенностей модернизационных процессов в российской провинции, их глубины, их механизмов. Сведения о том, как люди ведут себя на похоронах, частично проясняют специфику восприятия различными слоями населения провинциальных городов процессов секуляризации, урбанизации и демократизации, выявляют более инертные и более открытые модернизационным переменам социальные группы. Обогащение теоретических моделей эмпирикой способно скорректировать представление философов и историков о модернизациях, которые на практике протекают неоднозначно и вариативно.

Изучение поставленной нами проблемы важно также и в перспективе осмысления «глубины» проникновения государства, где складывается тоталитарный режим, в частную жизнь семей обывателей и локальных сообществ, в сферу повседневного. Политические события, задающие тон повседневности, неизбежно влияют на традиции, однако, как правило, государство, каким бы сильным оно не являлось, на практике не может полностью подчинить идеологии культуру.

Особенности газетной репрезентации похоронной тематики

Решая поставленную исследовательскую задачу, мы обратились к ежедневным газетам, издававшимся в Томске, Омске, Новосибирске, Барнауле и Тюмени: «Знамя революции», «Рабочий путь», «Советская Сибирь», «Известия тюменского Губернского ВРК РКП (б)», «Красный Алтай», «Красное знамя», «Молодежь Алтая», «Дело революции», «Трудовой путь», «Большевик». Помимо газет, отдельные сведения о городских похоронах содержит мемуарная литература, делопроизводственная документация советских организаций (к примеру, по данным книг ЗАГСа можно судить о том, на какой день после смерти и где хоронили усопших). Хронологически мы ограничили себя первой половиной 1920-х гг., когда во всех Западно-Сибирских городах уже была восстановлена Советская власть, стали печататься местные газеты, часто размещавшие объявления о похоронах горожан, некрологи, а также репортажи с церемоний. По наблюдениям Е. А. Бесединой, уже в социал-демократических газетах периода Первой русской революции многократно встречаются шаблонные описания «красных» похорон, что свидетельствует о существовавшей уже тогда работе прессы над выстраиванием образа «настоящих революционеров»[25]. По нашим же наблюдениям в середине НЭПа западносибирские газеты практически перестали публиковать подобные материалы. В первой же половине десятилетия объявлений о похоронах, некрологов и репортажей с похорон печатали довольно много. Это было обусловлено тем, что советской властью искусственно разрабатывался и внедрялся обряд «красных похорон» — средство укрепления революционной идентичности. Параллельно шло «осовечивание» народных праздников[26]. Замечено, что до 1927 г. празднования были ориентированы, прежде всего, фиксацию значимости важнейших октябрьских и послеоктябрьских событий. Празднества последующего времени были четко ориентированы на современность[27]. Изменение вектора политики памяти государства с 1927 г. повлияло, по всей видимости, и на освещение городских похорон в печати. «Красные похороны», которые были слишком ориентированы пусть и на недавнее, но все-таки прошлое и с трудом приживались в народной среде, утратили свою актуальность. Поэтому «похоронная» тематика существенно сократилась в газетах уже к середине 1920-х гг. Из исследования В. С. Тяжельниковой следует и то, что с наступлением периода власти И. В. Сталина утратила актуальность идеологически обусловленная жертвенность революционного поколения, представление о которой формировалось и закреплялось, в том числе, и с помощью особенного похоронного обряда[28]. Не нужны стали и специфичные газетные описания похорон, присущие предшествующему периоду. Стоит добавить, что городские похороны упоминаются в газетах и до, и после революции, но пресса не позволяет составить о них подробное представление. Однако недосказанность в некоторых случаях дает возможность задуматься над особенностями городских похорон первой половины 1920-х гг., читая между газетных строк.

---

[25] *Беседина Е. А.* Указ. соч. С. 11.
[26] *Малышева С. Ю.* Указ. соч. С. 46–48.
[27] Там же. С. 13–14.
[28] *Тяжельникова В. С.* Указ. соч. С. 428–432.

Устойчивая практика публикации в российских газетах некрологов и объявлений о похоронах, как известных людей, так и простых обывателей, сложившаяся к началу 1920-х гг., являлась частью городского похоронного обряда и служила средством приглашения на похороны (по данным этнографов приглашение близкими усопшего на похороны родственников, соседей и знакомых — неотъемлемая часть русского похоронного обряда). Местная жизнь традиционно освещалась в провинциальной прессе подробно, с акцентом на актуальных, с повседневной точки зрения, мелочах. В относительно небольших сибирских городах чья-то смерть была событием, значимым для всей округи и той социальной среды, к которой принадлежал усопший. Частные похороны становились событием городского значения, особенно, если умерший был широко известен. В 1920-е гг., в связи с изменением политического климата изменился и характер газетных материалов о похоронах, которые обязательно пропускались через идеологическое сито. В некрологах и репортажах с похорон еще сохранялась едва уловимые черты жизни конкретного города, где случилось событие, однако возникший шаблон описания гражданских похорон в значительной степени ограничил описание, а следовательно — и наше знание о том, как в действительности осуществлялось погребение, кто присутствовал и т. п. Для советских газетчиков было важнее не зафиксировать увиденное на похоронах с педантичной документальностью, а использовать данный сюжет для политической пропаганды. Еще в 1905 г. социал-демократические газеты предложили шаблонный вариант описания похорон: подчеркивалось величие действа, указывались количество пришедших на похороны людей, маршрут похоронной процессии, особенности революционно-похоронной атрибутики, выступления на митинге[29].

Западносибирские газеты демонстрируют преемственность.

Для понимания того, что в газетных материалах свидетельствовало о похоронных реалиях, а что было обусловлено идеологией, важно учитывать порядок размещения в них статей и заметок на похоронную тему. На первой полосе иногда появлялись описания похорон государственных деятелей и героев масштаба страны, а то и мира. В 1924 г. умер В. И. Ленин. Народ активно раскупал газеты, где сообщались новости о смерти и похоронах вождя. Из прессы жители сибирских городов узнали, что на похоронах присутствовали все лидеры партии и руководители государства, с трудом сдерживавшие слезы, что проститься с умершим вождем шли в Колонный зал Дома Союзов огромные толпы народа, неся многочисленные венки. В последние минуты прощания звучали «Вы жертвою пали» и Интернационал, клятвенные речи, а в момент переноса тела во временный деревянный мавзолей гремели залпы орудий, гудели паровозы, заводы и фабрики. Подробно в сибирских газетах освещались и похороны члена союзного украинского и молдавского ЦИКов, командира конного корпуса Молдавии Г. И. Котовского, который был убит в 1925 г. В прессе сообщалось, что на похороны пришло огромное количество крестьян и рабочих с траурными знаменами и венками. У гроба был митинг — и на вокзале в Одессе (тело перевозили в Бирлузу), так и на кладбище. У могилы звучали клятвы исполнить мечту Котовского об освобождении Бессарабии, а Буденный клялся в том, что «имя его будет нашей памяти,

---

29 *Беседина Е. А.* Указ. соч. С. 11.

как в боях, так и вне боя»[30]. В описании похорон Ленина и Котовского обращалось внимание на те же детали, которые акцентировались и при описании похорон местных героев. Таким образом, заметно, что подобные газетные описания похорон, свидетелями которых не были сибиряки, формировали и закрепляли у них представления о «красных» похоронах и показывали образец проведения частных похорон.

На страницах, посвященных местной жизни, нередко размещались репортажи о гражданских похоронах революционеров, красноармейцев и других местных героев. Они составлялись по рассказам очевидцев, но опираясь на сложившийся шаблон подобных описаний. При этом трудно сказать, какие похоронные репортажи — с первой ли полосы, с последующих ли страниц, — были первичны, определяли складывавшуюся традицию описания гражданских похорон. В конце газеты или где-нибудь в углу на первом ее листе печатались объявления о предстоящих похоронах горожан. По ним мы можем судить о том, как именно на практике собирались устраивать проводы близких в последний путь.

При тождественности идеологической платформы городских сибирских газет, все-таки каждая из них отличалась от других некоторыми авторскими особенностями подачи материала. Скажем, газеты Тюмени и Барнаула были менее объемными, чем в Новониколаевске, Томске и Омске. Соответственно и похоронная тематика, которая все-таки не относилась к кругу наиболее актуальных для этих городов проблем, затрагивалась в этих изданиях редко. В них практически не встречались репортажи с похорон, интересующая нас тематика преимущественно ограничивалась объявлениями о смерти горожан и предстоящих похоронах. Поэтому о похоронах в этих городах едва ли можно составить адекватное представление только лишь в опоре на газетные источники. Наиболее подробные и красочные похоронные репортажи представлены в томской газете «Красное знамя», где размещалось немало идеологически выдержанных некрологов. Далее, в омской же газете «Рабочий путь» также часто можно встретить публикации, связанные с темой городских похорон. Отличительной чертой этого издания является регулярное упоминание омских кладбищ в рубриках хроникального характера. Омские журналисты неоднократно акцентировали внимание на мародерстве, а также вопросах благоустройства кладбищ. В «Советской Сибири» и других газетах, которые выходили в Новониколаевске, в первой половине 1920-х гг. публиковались некрологи, но объявлений о предстоящих похоронах и репортажей с состоявшихся похорон практически не размещали.

Разница в подаче похоронной тематики газетами объясняется общей духовной атмосферой разных административных центров Западной Сибири. В Томске и Омске еще до революции существовало большое количество учебных заведений, научные общества, жили и работали известные во всем регионе ученые и путешественники. В этих городах уже четко оформились места памяти локального уровня, населению хорошо были известны герои местной истории. После Гражданской войны, судя по газетной прессе, в Томске и Омске возрождались краеведческие движения, жители этих городов проявляли заботу относительно уцелевших архитектурных памятников и музейных экспонатов. Поэтому и похороны, как вид коммемораций, заслуживали

---

30 Похороны тов. Котовского // Красный Алтай. 1925. 14 авг.; Имя Котовского не забудется // Там же. 15 авг.

больше внимания томских и омских газетчиков, нежили новониколаевских. Новониколаевск же был еще очень молодым городом, у которого практически не было истории. Городская среда Новониколаевска только складывалась, не отличалась упорядоченностью, а культурная жизнь этого торгового центра и транспортного узла была не такой насыщенной, как в Томске и Омске. Здесь не существовало такого количества героев местной истории, и не осознавалась до такой степени, как в Томске и Омске, ценность коммемораций частного, локального характера. Городской памятник местным героям революции, возводившийся в эти годы, отличался монументальностью и обезличенностью, поскольку, в этом городе новые советские места памяти тенденциозно вымещали всякую локальную коллективную память. Не просто судить о причинах скупой подачи некрологической тематики в газетах Тюмени и Барнаула. Было ли дело в финансировании этих изданий, профессионализме журналистов, или более медленных темпах культурного восстановления этих городов после Гражданской войны? Во всяком случае, газеты этих городов дают мало информации для изучения истории похорон.

Социальная память проявляется по-разному. Одним из ключей к разгадке ее смысла является речь, ведь, по словам социолога М. Хальбвакса, наиболее конкретно социальная память выражается в речи и именно речь создает «наиболее устойчивую социальную рамку памяти»[31]. Поэтому изучение публикаций на похоронную тему, составляющих часть сибирского газетного нарратива 1920-х гг. предполагает поиск речевых штампов и типичных выражений, которые используются при описании похорон, а также и нетипичных, «разовых» слов и выражений.

Какому похоронному обряду горожане отдавали предпочтение в первой половине 1920-х гг.?

Религиозная похоронная обрядовость демонстрирует колоссальную жизнеспособность. Типичные дореволюционные обыватели, горожане, по-прежнему продолжали хоронить своих близких по-старинке. Многие предпочитали традиционные похороны с полным соблюдением всех религиозных традиций — церковных предписаний и обычаев. В газетах практически не нашли отражения похороны представителей иных конфессий, поэтому мы не будем останавливаться на описании традиций погребения магометан и иудеев, которые также нередко находили вечный покой в земле городских кладбищ Западной Сибири.

До революции чаще всего хоронили покойных на третий день после кончины, но бывали и исключения, когда из-за каких-то организационных проблем погребение происходило на второй день или, через несколько дней. К примеру, один из почетных граждан Новониколаевска (А. А. Добронравов) умер 25 февраля 1905 г., а хоронили его только 8 марта[32]. По обобщенным данным этнографов похороны устраивались в дневное время. В дом, где лежал покойный, приходили все его родные и знакомые «проститься», неся с собой свечи. После прощания, в назначенный час, все присутствующие отправлялись на отпевание в церковь[33]. На традиционных русских похоронах

---

[31] *Хальбвакс М.* Социальные рамки памяти. М., 2007. С.118.

[32] ГАНО, Ф. Д-156. Д. 2719. Л. 208 об.

[33] Русские. С. 520.

перед процессией, следующей на кладбище, женщины разбрасывали цветы, несли распятие и икону, один из родственников нес крышку гроба на голове, следом шел священник. За гробом брели родственники, соседи, близкие, знакомые усопшего. Писатель С. Г. Петров (Скиталец) так изобразил богатую похоронную процессию рубежа XIX–XX вв. в губернском городе на Волге:

> «…из церкви попарно, длинной вереницей выходил весь хор, потрясая воздух могучими раскатами похоронного пения. Впереди хора несли крышку гроба, а сзади, на некотором расстоянии, медленно двигался печальный катафалк, сопровождаемый мрачными людьми в черных плащах, толпой народа и вереницей экипажей. За хором шел священник и дьякон в ризах, надетых поверх шубы[34]».

Из этого описания заметно, что «богатые» городские похороны на рубеже веков в целом выглядели традиционно, однако отличались помпезностью и меньшей интимностью, чем простонародные. На простонародных гроб несли на руках, либо везли на телеге (зимой на санях), а в могилу опускали обычно на веревках, или полотенцах, которые тоже помещали в могильную яму или вешали на крест, а иногда раздавали тем, кто нес гроб. Согласно древнему обычаю, люди, присутствовавшие на похоронах, прощаясь с усопшим, бросали в могилу ком земли. Погребение человека выражало его соединение с матерью землей, его кормилицей. На похоронах было принято говорить хорошее об усопшем, скорбеть о его утрате[35]. После погребения снова служили панихиду, а затем покидали погост. Во многих местах усопших начинали поминать едой прямо на кладбище[36]. Традиционные похороны становились горем для округи, на похоронах было принято реветь, горько оплакивать усопшего. В Сибири не практиковалось приглашение на похороны плакальщиков, родные и близкие усопшего должны были самостоятельно исполнять традиционную причеть, выражая скорбь[37]. Плакали обычно и при посещении могилок, на поминках, одинаково жалея всех усопших, вне зависимости от их возраста и от того, умер ли родственник давно, или совсем недавно[38]. В результате переселенческого движения конца XIX–нач. XX в. сибирских городах оседали выходцы из самых разных губерний европейской части станы, которые продолжали придерживаться обрядов, принятых на их Родине. При этом сибирская похоронная обрядность унаследовала больше особенностей от перселенцев из южнорусских губерний[39]. Сибирские старожилы, татары, евреи и представители иных этнических групп хоронили также по-своему. Поэтому, очевидно, что в городах нашего региона к началу 1920-х гг. можно было видеть разнообразные варианты похоронно-погребального обряда.

В первой половине 1920-х гг. о похоронах, устраивавшихся по образцу дореволюционных, обычно сообщалось только в объявлениях, но ни одна западносибирская газета

---

[34] *Скиталец.* Октава // Повести рассказы. М., 1985. С. 15.

[35] *Гаврилова Т. И.* Русский похоронно-поминальный обряд (на материалах Курской области). Курск, 2002. С. 24–25.

[36] Русские. С. 522.

[37] *Хандзинский Н.* Покойнишний вой по Ленине // Сибирская живая старина. Иркутск, 1926. С. 55.

[38] *Бердинских В. А.* Указ. соч. С. 237.

[39] *Фетисова Л. Е.* Похоронные и поминальные причитания // Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока. Свадебная поэзия. Похоронная причеть. Новосибирск, 2002. С. 317.

по антирелигиозным соображениям ни разу не позволила себе представить на своей полосе хотя бы сжатый репортаж с традиционных похорон. Однако из объявлений видно, что представители разных социальных групп выбирали традиционные похороны. К примеру, родственники студента юридического факультета Львовского университета Д. Д. Мельникова, который умер в Тюмени, предпочли отпеть усопшего в католическом костеле, прежде чем похоронить на Текутьевском кладбище, о чем сообщал «отец его, потрясенный постигшим его горем» (традиционная высокопарность, характерная для дореволюционных объявлений)[40]. До середины марта 1920 г. факт смерти фиксировался священниками в метрических книгах. Просмотр этих источников показывает: среди тех, кого отпевали священники городских церквей, были не только мещане, крестьяне, священнослужители и белогвардейцы, но и представители высших слоев дореволюционного российского общества — дворяне и почетные граждане[41].

Традиционные похороны часто выбирали близкие и довольно известных людей. Так в январе 1922 г. умер ректор Западносибирского медицинского института Н. К. Иванов-Эмин. Желающих проститься ним родные приглашали 10 января к 8.30 в кафедральный собор, после чего планировалось отпевание и погребение на Шепелевском кладбище Омска[42]. Газеты указывают, что «старая» интеллигенция преимущественно не принимала в первой половине 1920-х гг. идеи «красных» похорон. Это подтверждают и метрические книги начала 1920 г., где представлено значительное количество записей о смерти и погребении учителей, врачей, ветеринаров, студентов, но практически нет данных о похоронах красноармейцев. Об этом свидетельствует и газетное объявление, согласно которому, умершего преподавателя кафедры общей хирургии и патологии А. И. Дроздова отпевали в Казачьем соборе, после чего хоронили на Казачьем кладбище в Омске[43]. Из газеты «Рабочий путь» известно и то, что Дроздов симпатизировал советской власти. В период тифозной эпидемии он (помимо преподавания) работал во 2-ом военном госпитале и помогал красноармейцам, от которых и заразился тифом[44]. Однако симпатия к большевикам не изменила отношения близких Дроздова к должному устройству его похорон. Возможно, и сам Дроздов не мыслил собственные похороны по образцу «красных». Церемония погребения человека с такими политическими взглядами, как у А. И. Дроздова, могла носить «полугражданский» характер. На подобных похоронах отдельные элементы и атрибуты церковного обряда заменялись или дополнялись советскими[45]. Вероятно, «полугражданские» похороны были устроены и главному бухгалтеру Тюменского губисполкома Г. Э. Боршу, останки которого отпевали в Знаменском соборе Тюмени. Объявление об этих похоронах дали сотрудники советской организации, где работал усопший, на похоронах присутствовали «совслужащие», похороны не были сугубо гражданскими[46]. Похороны доктора ботаники, профессора Томского университета

---

40 [Объявление] // Известия тюменского Губернского ВРК РКП (б). 1920. 11 июня.

41 К примеру: ГАНО, Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 2736. Л. 114 об.; 126; 150 об.; 157 об.; 158 об.

42 [Объявление] // Рабочий путь. 1922. 7 янв.

43 [Объявление] // Рабочий путь. 1922. 12 янв.

44 *Шастин П.* Жертва эпидемии. А. И. Дроздов [некролог] // Рабочий путь. 1922. 14 янв.

45 *Полищук Н. С.* Обряд как социальное явление. С. 30–31.

46 [Объявление] // Известия тюменского Губернского ВРК РКП (б). 1920. 4 июля.

Рабочий путь. — 1922. — 7 янв.

В. В. Сапожникова довольно подробно описаны в газетных объявлениях. Тело этого известного человека, который прославился исследованиями природы Алтая, в соответствии с православной традицией, хоронили на третий день после кончины. Судя по объявлению, гроб с его телом накануне похорон собирались выставить в актовом зале университета, где была запланирована гражданская панихида. На панихиду были приглашены все сотрудники университета, студенты, врачи, члены общества естествоиспытателей, члены томского отдела русского ботанического общества при академии наук и члены томского ориентологического общества. Следующим утром, в 8.30 похоронная процессия должна была отправиться в Новый собор, где, по всей видимости, была отслужена заупокойная литургия и произведено отпевание останков, после чего тело профессора предали земле Преображенского кладбища. Видимо, отпеванием сопровождались и похороны томского горного инженера П. М. Нагаева, тело которого должны были выносить с его квартиры в 8 часов утра[47].

Люди, занятые физическим трудом и в сфере услуг, также склонялись к выбору традиционных похорон. Сестру милосердия И. А. Царевскую, жившую и умершую в Омске отпевали в Казачьем соборе, делалось это, судя по опубликованному в газете объявлению, на второй день после похорон[48].

Некоторые объявления о традиционных похоронах носят сугубо частный характер: в таких объявлениях ничего не сообщается о профессии и политических взглядах усопшего. Такие объявления были адресованы не широкой общественности, а знакомым и родственникам умершего. Примером подобных объявлений может послужить сообщение о кончине О. А. Колондадзе из Новониколаевска, тело которой отпевали, судя по объявлению, в Туруханoвской церкви Новониколаевска[49]. Похожим выглядит объявление о похоронах томички О. Н. Садовской, которую отпевали в Воскресенской церкви и хоронили на Воскресенском кладбище[50]. Размещение таких объявлений в газетах практически прекратилось уже в 1926–1927 гг., когда привычное, традиционное размещение похоронных объявлений о прощании с «маленькими людьми» уходило в прошлое.

Куда подробней газеты информируют о гражданских («красных») похоронах, которые были новы для жителей сибирских городов. Однако, действительно ли гражданские похороны первой половины 1920-х гг., сильно отличались от традиционных?

«Красные» похороны: такие ли уж «нетрадиционные»?

На заре советской эпохи гражданские похороны, о которых писали в газетах, принимали форму «красных», большевистских. В этих описаниях, сделанных с натуры, много указаний на сохранение в «гражданском» обряде традиционных элементов, которые использовались неосознанно, по привычке. По привычке же они фиксировались газетчиками. Во-первых, сами похороны, судя по описаниям, оставались похожими на традиционные похороны по последовательности действий участников события. Умершего выносили из его дома, анатомического покоя или актового зала организации, где он работал. Перед этим собравшиеся могли некоторое время про-

[47] [Объявление] // Красное знамя. 1923. 16 мая.
[48] [Объявление] // Рабочий путь. 1922. 18 февр.
[49] [Объявление] // Сов. Сибирь. 1922. 24 апр.
[50] [Объявление] // Красное знамя. 1923. 1 марта.

вести, прощаясь, сидя или стоя у гроба покойного в помещении. Прощание могло продолжаться и на улице. На похоронах революционерки из Томска Шуры Окунцовой (1921 г.) «от квартиры по обеим сторонам переулка выстроились члены партии и курсанты партшколы, образовав живой коридор». Такие «живые коридоры» устраивались на похоронах и ранее, и позже. На улице перед домом с останками Шуры собравшиеся прощались около тридцати минут. Потом траурная процессия отправлялась на кладбище, гроб несли на руках. Таким способом традиционно выражалось особенное уважение и любовь к усопшему. К слову сказать, что традиционно на руках носили гробы с телами великих деятелей культуры, как в XIX в. (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и др.), так и в 1920-х гг. (С. А. Есенин).

Остановимся на таких деталях, как венки и цветы.

Венки даже на «красных» похоронах оставались одним из распространенных атрибутов.

К примеру, на похороны Ольги Козловой, Клавдии Кабановой и Ольги Владимировой, «зверски убитых преступной рукой белогвардейцев» в Мариинском уезде (1921 г.), комиссия по организации предлагала принести венки, за которые был даже назначен «ответственный», некто Максимов[51]. Как отмечалось выше, по христианскому обычаю, на похороны было принято что-нибудь приносить, чаще всего, свечи. Цветы, принесенные на похороны, также не противоречили традиции.

Французский историк и культуролог Ф. Арьес интерпретировал наличие цветов на похоронах и могилах как символа райских кущ и садов, куда попадают души праведников[52]. По нашим наблюдениям, на гражданские похороны женщин букеты цветов приносили обязательно, а газетчики особенно подчеркивали их красоту и внушительное количество. Осыпать цветами могилу женщины, тем более, молодой, — это однозначно традиционное решение. В описании похорон Шуры Окунцовой отмечено, что рабочие заполнили всю комнату, где стоял гроб, венками и цветами, множество венков несли люди, участвовавшие в похоронной процессии. Могилу после погребения осыпали цветами, уставили венками. Венки из веток хвойных деревьев также часто приносили на «красные» похороны, особенно в зимнее время.

В традициях различных народов России ель и другие хвойные деревья ассоциировались с миром мертвых и имели культовое значение[53]. Цветы, венки и хвою продолжали использовать и в ходе иных коммеморативных практик. В частности, к годовщине расстрела коммунистов, в томской газете «Знамя революции» опубликовали портреты погибших, их поместили в обрамления из рисованных похоронных венков, цветов и хвои[54]. Венки и цветы обычно приносили на братские могилы «героев революции» в Омске и Новониколаевске в дни политических праздников.

Задолго до революции было принято снимать посмертные маски с выдающихся людей, широко известны и живописные произведения, изображающие останки усопших в гробах. В XX в. появилась новая возможность запечатлеть момент скор-

---

[51] Знамя революции. 1921. 28 янв.

[52] *Арьес Ф.* Человек перед лицом смерти. М., 1992. С.55.

[53] *Ершов В.* П. Ель — древо мертвых. Режим доступа http: // www. kizhi.karelia.ru/specialist/pub/library

[54] Знамя революции. 1920. 16 дек.

би — снять фото. Фотографирование на похоронах было распространено в Сибири и до 1917 года. К примеру, сохранились снимки похорон новониколаевского инженера Н. М. Тихомирова: и процессия, и тело в гробу, окруженное венками и цветами[55]. Похороны Шуры Окунцовой несколько раз сфотографировали при остановке на Ленинском проспекте. Показательно, что уже ставшее традиционным действие, осуществлялось в новом месте памяти вождя народа, боровшегося за правое дело, за которое погибла и Шура. По сибирской традиции похоронная процессия неизменно останавливалась с причитаниями возле церкви. В остановках на Ленинском проспекте есть отзвук традиции: для революционеров было свято имя Ленина.

Опять-таки традиционно на «красных» похоронах звучала музыка.

Пышные похороны, как правило, сопровождал хор церковных певчих. От музыкального сопровождения, создающего особую драматичную атмосферу, отказаться, по всей видимости, было сложно. Конечно, церковные певчие не приглашались на «красные» похороны, но похоронный марш, или более оптимистичный интернационал, все-таки звучал. Исполнялся интернационал хором. Такое пение по форме напоминало пение на «богатых» дореволюционных похоронах. Получается, на похоронах революционеров и красноармейцев использовались практически те же практики, что и при погребении «капиталистов». По большому счету значение музыкального сопровождения похорон на традиционных и гражданских похоронах было схожим: в первом случае певчие напоминали убитым горем близким усопшего о бессмертии души, во втором случае — об эпохальном значении дела, которому отдал жизнь умерший, чей подвиг бессмертен. В. С. Тяжельникова обращает внимание на «бессмертие» жертв революционной борьбы, которое обеспечивает «живая память» общества о подвигах жертв[56]. Музыка и цветная пышная похоронная атрибутика оказывали сильное эмоциональное воздействие на присутствующих, как раз и формируя эту «живую», то есть эмоциональную память.

Как известно, по традиции о мертвых стараются не говорить плохо, горько оплакивать. Похоронные плачи как рудимент языческой обрядности не поощрялись церковью, которая учила вере в бессмертие души[57]. На «красных» похоронах, судя по газетным описаниям, к свежей могиле выходили ораторы, чтобы выступить с прощальной или поминальной речью. Традиционными были всевозможные клятвы на могилах, такие клятвы обычно воспринимались как самые серьезные, ведь согласно традиционным представлениям покойные обладают могуществом, покровительствуют и помогают живым, поэтому клясться на могиле, значит заручаться поддержкой мертвых. На красных похоронах клятв заменить усопшего новыми борцами за пролетарское дело и вообще продолжать это дело, судя по газетным репортажам, звучало немало.

Авторы газетных текстов обычно призывали не проливать слез. Но, вероятно, в действительности, не имея сил сдерживать свои эмоции, родные и близкие плакали. Тем более, что «голосить» предписывала традиция, если родные усопшего не плакали на его похоронах, их осуждали, говорили:

---

[55] *Брат А.* Звезды светят из прошлого. Документальная повесть о Н. М. Тихомирове. Новосибирск, 2003. С. 44–45; *Косякова Е. И. (Красильникова Е. И.*) Божья нива // Новосибирский некрополь. Новосибирск, 2009. С. 24–25.

[56] *Тяжельникова В. С.* Указ. Соч. С. 422.

[57] *Рабинович М. Г.* Указ. соч. С. 330.

«Рады, что помер, не дождутся, как закопают»[58].

В статье 1925 г., когда похоронных репортажей стало уже довольно мало, автор отметил, что жены погибших красных командиров плакали, а по дороге на кладбище к процессии подходили крестьяне:

«смотрели, расспрашивали, невольно вспоминали своих сыновей, находящихся в рядах армии»[59].

Вообще, проявлять любопытство к похоронам и сочувствие — обычное настроение для крестьянина и традиционно мыслящего городского обывателя. Газетные источники зафиксировали свидетельства эмоционального отношения к похоронам жителей сибирских городов, в котором было много не только традиционного, обусловленного культурой, но и личного, психологического наполнения.

В настоятельном призыве не плакать на похоронах проявлялась попытка противопоставить новый обычай старому. При этом новый обычай выглядит сегодня искусственным антиподом старого. Присутствующие на похоронах должны были верить в успех дела, за которое погибли коммунисты и мужественно, без слез пережить боль утраты. Один из некрологов, опубликованных в «Советской Сибири», оканчивался словами:

«Мы не будем оплакивать его, а только скажем: «Верьте, взойдет она/ — заря пленительного счастья!/ Весь мир воскреснет ото сна/ И на обломках самовластья/ напишут Ваши имена"»[60].

Это высказывание, частично состоящее из слегка перефразированных строк классического стихотворения А. С. Пушкина, появилось в результате угловатой пролетарской попытки укоренить новый похоронный обычай на старой культурной почве. Традиционно христианская вера в грядущее воскресение умерших также должна была успокоить тех, кто оплакивал покойного. Не плакать, успокоиться верой — это, по сути, старая рекомендация религиозного характера, которую большевик пытается «переодеть» в новое платье. Но пока, в 1919 г. это плохо получалось, автор некролога не смог оторваться от классической литературной традиции и по-новому сформулировать, что же стоит сказать или сделать, вместо того чтобы оплакивать П. П. Клявина. Попытка изменить обычай путем простой инверсии, претендуя на, говоря словами Э. Хобсбаума, «изобретение» новой похоронной традиции, оказывается, по всей видимости, не вполне состоятельной. Более внятно формулирует мысли омский журналист П. Сосновский:

«Мы не будем плакать над его могилой, а дружно пойдем вперед по проложенному уже пути, исполняя заветы покойного»[61].

Мы склоны полагать, что наивный оптимизм Сосновского, как и его единомышленников, на практике мог смягчать драматизм похорон и ту коллективную психологи-

---

[58] *Хандзинский Н.* Указ. соч. С. 55.
[59] Не стало трех командиров // Рабочий путь. 1925. 9 авг.
[60] *Шипов М.* Петр Петрович Клявин [некролог] // Советская Сибирь. 1919. 14 дек.
[61] *Сосновский П. П.* В. Алексашин [некролог] // Рабочий путь. 1922. 1 марта.

ческую травму, которую неизбежно получали люди, присутствовавшие на похоронах. Едва ли в действительности это было выгодно с идеологической позиции государству. Все-таки свободный выплеск эмоций в присутствии большой группы людей порождает эффект психического заражения и способствует укреплению социальной памяти о событии. Сдержанные проводы в последний путь не так глубоко ранят души участников похорон. Источники свидетельствуют о том, что уже через три-четыре года после гражданских похорон жертв «колчаковщины» их могилки забывались и зарастали бурьяном. Приходилось искусственно «подпитывать» память: напоминать о подвигах забытых героев с помощью газет[62], устанавливать более внушительный памятник[63], устраивать субботник по приведению могилы в порядок[64]. Вероятно, в том числе и искусственное сдерживание эмоций на похоронах героев, вело к быстрому забвению погибших. Забвению конкретных жертв революционной борьбы способствовало неизбежное в военных условиях обесценивание человеческой жизни.

В противовес газетчикам, сибирские этнографы видели ценность в живущей в народной среде «причети», которая с легкостью адаптировалась к новым социально-политическим условиям. Так в репертуаре сибирских партизан появились актуальные для военного послевоенного времени причитания по погибшим[65], так, стараниями комсомольцев возникла «причеть» по В. И. Ленину[66]… Н. Хадзинский считал, что если «условия быта вытеснят «причеть» из похоронного обряда, она будет жить среди интимной лирики»[67], поскольку именно в «вытье» проявляется искренняя скорбь.

Еще одним признаком сохранения дореволюционных похоронных обычаев являются, опубликованные в прессе, поминальные стихи и стихи на тему гибели героев. Характерен пример предсмертного стихотворения, написанного в 1920 г. тюменским красноармейцем, который использует образы и рифмы, характерные для поэзии, в том числе и не «высокой» дореволюционного периода.

Не нужно ни плача, ни боли, ни слез
Для смятых грозою, увянувших роз.
Не нужно страданий, и скорби, и мук,
Страданья и муки — лишь тяжкий недуг.
Я знаю, что солнце на небе взойдет,
Я знаю, я верю в рабочий народ,
Я знаю, что вечное солнце горит,
Я знаю, лишь прах мой в могиле лежит[68].

---

[62] *Ван В.* Забытая могила // Рабочий путь. 1922. 1 окт.

[63] В 1922–1924 гг. только в деревнях и селах Новосибирской области было установлено около десятка памятников на могилах «борцов за власть Советов». Об этом см. ГАНО, Ф. Р-2054. Оп. 1. Д. 27.

[64] На могиле товарища Громадской // Красный Алтай. 1921. 23 мая.

[65] *Соколова А.* Материалы для изучения партизанской поэзии (песни и причитания) // Сибирская живая старина. Иркутск, 1926. Вып. I. С. 159–162.

[66] *Хадзинский Н.* Указ. соч.

[67] Там же. С. 55.

[68] Известия тюменского губернского Военно-революционного комитета и Тюменского губернского комитета РКПБ (б). 1920. 13 июля.

Все эти розы, которые рифмуются со слезами, увядшие цветы, «вечно горящее солнце» и сам образ лирического героя, говорящего с живыми из могилы, неоднократно фигурировали и в поэзии классиков, и в типичных кладбищенских надгробных эпитафиях. Традиционна и вполне религиозная мысль о бренности праха, лежащего в могиле, важнее которого, душа человека.

Очевидно и то, что из дореволюционных надгробных эпитафий заимствованы формулировки концовок газетных похоронных репортажей, типа «Спи спокойно, дорогой товарищ и брат[69]». Вообще, обычай называть умерших «дорогими» сложился еще до революции и продолжал бытовать в 1920-е гг., найдя отражение, в том числе, и в языке газетных текстов. Примером может служить объявление о смерти «Дорогой Екатерины Семеновны Шумиловой[70]», которое подали в газету «Красное знамя» ее близкие.

Только ли политика меняла похоронные практики?

При всем том, что похороны первой половины 1920-х гг. еще были очень похожи на традиционные дореволюционные похороны, все-таки крупные социально-политические потрясения, связанные с революциями 1917 г. и Гражданской войной, неизбежно вели к серьезным изменениям похоронных обрядов. Причин изменений такого рода было много. Мы уже выяснили, что традиционные похороны не могли одобряться советской властью по идеологическим причинам, ведь в них было слишком много религиозного и интимного. На отношение общества к похоронам влияли и модернизационные процессы мирового масштаба: секуляризация культуры, урбанизация, демографический переход.

Уже упоминавшийся выше Ф. Арьес пришел к выводу: еще в XIX в. тема смерти и похорон романитизировалась в европейской культуре, но уже безбожный XX в. решительно отказался принимать смерть, воспринимая ее как безобразное и даже постыдное явление[71]. Атеистически настроенные большевистские газетчики мыслили в духе этой культурной тенденции, о чем как нельзя лучше свидетельствует размещение в тюменской газете за 1920 г. лозунга:

> «Кладбище — это вечный упрек человечеству за его темноту и невежество[72]».

Часто осуждали традиционную кладбищенскую эстетику в этот период столичные и местные художники, проектировавшие памятки героям революции. А на практике в условиях разрухи в больших городах было трудно поддерживать порядок на кладбищах. Омская пресса неоднократно сообщала о разорении могил вандалами, которые тащили с погостов все то, что представляло материальную ценность. Эта ситуация была типична и для других городов. Пышность похорон по экономическим причинам ушла в прошлое.

Имелись и причины, связанные с условиями повседневной жизни горожан в годы Гражданской войны. В военное время крупные сибирские города посетила невидан-

---

69 *Ступень Т.* Наши жертвы // Знамя революции. 1921. 10 апр.

70 Красное знамя. 1923. 6 февр.

71 *Арьес Ф.* Указ. соч. С. 471–474.

72 Известия тюменского губернского Военно-революционного комитета и Тюменского губернского комитета РКПБ (б). 1920. 13 июля.

ная разруха, инфраструктура пришла в упадок, распространились эпидемии инфекционных заболеваний, резко возросла смертность. В условиях массового тифозного и холерного мора и нищеты достойные похороны, проведенные с точным соблюдением всех обрядовых нюансов, стали редкостью, привилегией немногих, что приводило к деградации духовной составляющих похорон.

Количество незахороненных жертв боевых действий и инфекций на городских улицах в начале 1920 г. нельзя определить точно. Однако ясно, что города, в которых происходили сражения войск Колчака с красноармейцами, оказались буквально заваленными трупами, после отступления белых. К примеру, в Новониколаевске количество незахороненных погибших исчислялось тысячами. Житель Новониколавска, С. В. Чернышов так запомнил это страшное время:

> «В Новониколаевске весь гужевой транспорт был мобилизован на вывозку трупов. За Каменкой, от военного городка и до кладбища, на расстоянии километра были навалены горы трупов. Говорили, что более 50 тысяч человек. Колчаковские солдаты, беженцы, городские жители, которых не смогли похоронить родственники, потому что во многих семьях болели все поголовно. Много трупов лежало в вагонах. Хоронить их не хватало никаких сил, тем более, зимой, когда трудно копать землю…»[73].

В помещении бывшего кирпичного завода оборудовали крематорий для утилизации останков жертв войны. Всю весну крематорий утилизировал до 80 трупов в сутки. Источники позволяют восстановить имена некоторых кремированных, однако, надо полагать, далеко не все преданные огню трупы, были опознаны. Работники ЗАГСа зафиксировали сведения более чем о двух сотнях кремированных[74]. В печах бывшего кирпичного завода горели не только найденные на улице трупы, но и те, кто умер в лазаретах и госпиталях. Среди их было множество молодых людей, которые воевали, как на стороне красных, так и на стороне белых. Вместе с останками военных в гофмановских печах горели трупы санитаров, заразившихся тифом и умерших в госпиталях, где они прежде работали. В графе «место захоронения» книг актовых записей полагалось указывать кладбище, где произвели погребение усопшего. О тех, кого кремировали, в соответствующей графе обычно записывали «сожжен в крематории» или «крематориум». Эти записи говорят о том, что судьба праха, получавшегося в результате кремации, на тот момент едва ли кого-то беспокоила. Его просто утилизировали. Так от «сожженных в крематории» не оставалось ровным счетом ничего, кроме нескольких неразборчивых строк в книге актовых записей о смерти. Абсолютно ничего не осталось от тех, кого не удалось опознать.

Часть неизвестных мертвецов предали земле. В конце марта 1920 г. на Закаменском кладбище Новониколаевска санитарами было захоронено 4599 жертв политической борьбы, инфекций и голода[75]. Еще почти столько же мертвецов ожидало захоронение в братских могилах. Похоронное дело тех лет не отличалось упорядоченностью, не было четко оговорено, какая организация возглавляет руководство похоронным делом, остро стоял вопрос санитарного состояния кладбищ, которые содержались крайне небрежно. В условиях обесценивания человеческой жизни отношение к мертвым

---

[73] *Чернышов С. В.* В те времена… // Память сердца. Новосибирск, 2003. С. 52.

[74] ГАНО. Ф. Р-2189. Оп. 1. Д. 88.

[75] *Красильникова Е. И.* Жизнь в городе-акселерате. С. 105.

телам изменилось. Складывается впечатление, что их перестали воспринимать как людские останки, трупы воспринимались скорее как источник заразы. Когда «кучи» покойников жгли на кирпичном заводе, или зарывали в землю, было не до поминок. Такие похороны вообще трудно было назвать «похоронами», это была вынужденная ликвидация трупов, побочным эффектом которой была ликвидация памяти о множестве людей. Новониколаевск не являлся исключением из ряда других городов Западной Сибири. Подобные ужасные последствия войны повидали обыватели и других крупных административных центров.

Хотя в 1920 г. в крупных западносибирских городах уже была восстановлена Советская власть, отголоски Гражданской войны по-прежнему дестабилизировали повседневную жизнь горожан. Уровень смертности оставался высоким, ведь в условиях разрушенного городского хозяйства распространились опасные инфекционные заболевания, нередко приносившие в обывательские дома смерть. Многие из погибших были известными в своих городах людьми. Поэтому их кончина находила отражение в местной прессе. В период тифозного мора (зима-весна 1920 г.) о кончине известных людей, которые, однако, не являлись местными борцами за советскую власть, зачастую вскользь сообщалось в разделе «Хроника» или в разделе объявлений и не говорилось о времени и месте погребения усопшего. По всей видимости, такое невнимание к погибшим было обусловлено не только политической ориентацией советской прессы, но и размахом эпидемии, сделавшей похороны слишком привычными, а также и отсутствием материальных средств на проведение достойных похорон. Так, например, в томской газете «Знамя революции» говорилось кратко о смерти профессора ТГУ С. Г. Часовщикова. Где и по какому обряду его хоронили, газета умолчала[76]. В марте 1921 г. скончался профессор кафедры судебной медицины ТГУ П. М. Карганов. «Знамя революции» называло лишь дату погребения[77]. Немногим более информативно объявление о похоронах врача М. Л. Блюменфельда. Газета сообщила лишь то, что вынос тела состоится из Томского университета в 10 часов 21 декабря[78]. Другие объявления не так скупы на информацию. 5 ноября 1920 г. скончался профессор А. А. Линдстрем. Погребение было назначено на 11 часов, всех желающих проводить профессора в последний путь приглашали на Преображенское кладбище[79]. Мы не знаем, какого вероисповедания был профессор, однако, вероятно, рано утром усопшего отпевали.

На какой эффект рассчитывала власть, конструируя «красный» похоронный обряд?

Политика памяти, исходившая от государства, предписывала пересмотр самого смысла похорон. Еще в период Первой русской революции, как заключила в свое время Н. С. Полищук, похороны-демонстрации жертв классовой борьбы были направлены на «выражение солидарности с погибшим», олицетворяли «присягу на верность их идеалам» и протест против «произвола самодержавия»[80]. По мнению Е. А. Бе-

---

76 [Объявление] // Знамя революции. 1920. 28 сент.
77 [Объявление] // Знамя революции. 1921. 20 марта.
78 [Объявление] // Знамя революции. 1920. 21 дек.
79 [Объявление] // Знамя революции. 1920. 5 нояб.
80 *Полищук Н. С.* Обряд как социальное явление. С. 35.

сединой «красные» похороны должны были оказать, прежде всего, эмоциональное воздействие на консервативно настроенного обывателя[81] и «через сердце достучаться до его политического сознания».

Обращаясь к западносибирским примерам, приведем случай из Новониколаевска. Еще в 1908 г. на примере погребения случайно погибшего банковского служащего по прозвищу «Абрам», который состоял в Обской группе РСДРП, видно то, как похороны использовались революционерами для демонстрации силы Обской группы. Во второй половине дня торговые служащие и рабочие направились к месту выноса гроба. Внушительная процессия двигалась к кладбищу. Рабочие и служащие несли венки с красными лентами от Обской группы РСДРП, у могильной ямы был устроен митинг. Внешняя форма традиционного обряда, по сути, сохранялась на этих похоронах, но появлялось новое содержание смысла похорон, отразившееся в деталях обряда. Революционеры призывали, стоя у гроба человека, в действительности ничего особенного не сделавшего для революции, бороться с «произволом царизма». Похороны стали политической акцией. Важно, что жандармы пытались силой остановить эту необычную похоронную процессию, но ее организаторы были готовы к сопротивлению полиции, боевая дружина запаслась оружием и добилась устройства запланированных похорон[82]. Так память о банковском служащем Абраме стала политически окрашенной, роль этого человека в мировой революции была намеренно преувеличена, а могила сделалась одним из первых в Новониколаевске местом памяти о классовой борьбе.

Историк Е. А. Беседина приводит аналогичные примеры «красных» похорон людей, лишь формально связанных с социал-демократами и погибшими вовсе не от руки классового врага, а от руки собственной (самоубийцы) или от опиума. Однако этих «героев» хоронили по «красному» обряду, устраивая из похорон массовую революционную акцию[83].

«Красные» похороны, как выражение политического протеста и классовой солидарности, использовались большевиками и в период диктатуры Колчака[84]. После Гражданской войны уже не нужно было конспиративно готовиться к таким похоронам, отпала необходимость защищать похоронную процессию от жандармов и иных врагов. Теперь большевики хоронили «своих» не просто, как героев, но и как победителей. Однако возраст революции был еще мал, Советское государство только складывалось и завоевывало мировое признание, поэтому чрезвычайно важно было информировать население о подвигах погибших героев (они же и жертвы), подчас гиперболизируя их героизм. Все это имело агитационное значение. Многочисленные похожие между собой газетные репортажи о «красных» похоронах создавали, по всей видимости, ощущение того, что героев много (ведь и жертвы бесчисленны), что они находятся «среди нас» и каждый при желании может стать героем (правда, изначально принеся

---

[81] *Беседина Е. А*. Указ. соч. С. 12.

[82] *Шеин И. И.* В рядах Обской группы РСДРП // Воспоминания о революционном Новосибирске. Новосибирск, 1959. С.17.

[83] *Беседина Е. А.* Указ. соч. С. 11.

[84] *Сухачева-Овечкина М. Н.* Большевистское подполье в Новониколаевске // Воспоминания о революционном Новосибирске. Новосибирск, 1959. С. 92.

в жертву революции свою жизнь). Государство обещало герою славу и вечную память, которая должна была выражаться, прежде всего, в продолжении классовой борьбы и создании социалистического общества.

Не только газеты помогали распространению в народе представлений о «красных» похоронах, для этого были задействованы и другие средства массовой информации. Р. Янгиров считает, что «революция радикально изменила статус кинохроники: отменив прежние цензурные ограничения, она превратила ее в инструмент идеологии», сообразно этому обновилась семантика некрологических сюжетов и их количество. По Мнению Янгирова «советские кинематографисты, например, протоколировали прощания с безымянными и именитыми «борцами за Царство Интернационала», делая акцент на агитационной стороне траурного ритуала»[85].

Помимо элементов «красного» похоронного ритуала, связанного с традицией, большевики использовали и некоторые новшества с точки зрения повседневного обывательского опыта, которые однозначно указывали на политический характер похорон. За счет этих нюансов похоронное действо приобретало новую эмоциональную окраску. От участников «красных» похорон ожидалось не слезное переживание горя, а злость и агрессия, адресованная классовым врагам.

Судя по газетным описаниям, на похоронах появились советские лозунги, которые участники церемонии наносили на транспаранты и ленты траурных венков. Так на похоронах омского коммуниста П. С. Дзюбенко траурное шествие возглавляли люди, которые несли лозунги «Вечная память борцам за Советскую власть» (к стати, формулировка «вечная память» восходит к религиозной традиции, а значит, не так уж и нова) и «Смерть мировой буржуазии» (явная угроза)[86]. Во главе процессии на похоронах томского революционера А. В. Шишкова шли представительницы женотдела с плакатом «Беспощадная смерть палачам!» (снова однозначная угроза и призыв мстить врагам). Как мы помним, на традиционных похоронах процессию, следующую на кладбище, возглавляли женщины, несущие цветы и иконы. В данном случае иконы были заменены политическим плакатом. Следом за женщинами везли гроб. Из процессии исчезла традиционная фигура священника, которой на этих похоронах не нашли замены. За гробом шли родные и в строго определенном порядке представители Губернского бюро РКП, оркестр, военные, томские коммунисты, члены профсоюза. Использовались на «красных» похоронах и советские знамена. Если в период революции 1905 г. красное знамя бросало вызов царской власти[87], то теперь оно олицетворяло единство сторонников революции и победившей советской власти, словно наглядно доказывая, что жертвы контрреволюции не были напрасными. Символическому значению знамен уделяет особенное внимание В. С. Тяжельникова, по выводам которой, они олицетворяли суд в раннехристианском смысле, выявляя верных идее и указывая на них[88]. Знамена символически идейно объединяли участников похорон, однозначно маркируя их политические взгляды, а также указывая на политический характер самого похоронного действа.

---

[85] Янгиров Р. Указ. соч.

[86] Похороны П. С. Дзюбенко // Рабочий путь. 1922. 26 окт.

[87] *Полищук Н. С.* Обряд как социальное явление. С. 29–30.

[88] *Тяжельникова В. С.* Указ соч. С. 420–421.

Поэтому и присутствовать на «красных» похоронах должны были «все партийцы, свободные от работы»[89], в газетном объявлении могло сообщаться и то, что «явка всех членов союза обязательна»[90]. При этом получается, что личные отношения усопшего с теми, кто должен был явиться на его похороны в обязательном порядке, не имели значения. Утрата интимной составляющей похоронного действа задавала новый эмоциональный фон кипучей «благородной ярости», а не «неутешного горя». Массовость «красных» похорон — это одно из важнейших требований к их организации еще со времен революции 1905 г. Для того чтобы собрать максимальное количество присутствующих, похороны, которые больше не зависели от церковного графика отпеваний, чаще всего назначались в послеобеденные или вечерние часы, что противоречило традиции, но отвечало практическим соображениям. Именно вечернее время являлось более удобным для советских служащих и рабочих. К примеру, похороны упомянутого нами революционера А. В. Шишкова состоялись в 20 июля 1920 г. в 19.30.[91] А В. Л. Родионова, революционера из Тюмени, хоронили вообще в 20.00.

Характерной чертой «красных» похорон являлись элементы военизации церемонии. Далеко не все, кого хоронили по «красному» обряду, имели отношение к армии, но даже на похоронах Шуры Окунцовой, возглавлявшей отдел работниц в Томске, дали залп салюта в момент опускания гроба в могилу. Давали салют и на похоронах А. В. Шишкова. Так выражалась готовность большевиков и дальше биться на смерть с врагами революции по примеру уже имеющихся жертв классовой борьбы. Залп салюта на «красных» похоронах — это своего рода предупредительный выстрел в воздух, «адресованный» классовым врагам. Все-таки, «красные» похороны были одним из средств формирования у сторонников революции готовности и свою жизнь принести в жертву «светлому будущему», защищая достигнутые в политической борьбе результаты, устанавливая социальную справедливость и мстя врагам.

Нельзя сказать однозначно, устраивались ли поминальные обеды после «красных» похорон. В некоторых репортажах сообщалось, что после погребения рабочие расходились по домам. Те похороны, которые проходили в середине дня вполне логично могли оканчиваться традиционными поминками, где, скорее всего, продолжался начатый на кладбище митинг. Однако подчеркнутая бедность и своеобразный аскетизм революционеров по большому счету противоречили «старорежимным» тризнам, особенно пышным у состоятельных сословий Российской империи.

Для коммунистов и красноармейцев в некоторых городах стали выделять особые участки кладбищ. Старые кладбища делились на кварталы по религиозному принципу. Коммунисты были людьми, условно говоря, «новой веры», более «правильной», поэтому и их останки должны были покоиться в особом месте. Пресса, в частности, свидетельствует, что в Томске было создано небольшое Коммунистическое кладбище рядом с Преображенским. Дополняя газетные данные о погребении революционеров материалами полевых наблюдений, отметим и то, что на «коммунистических» кладбищах устанавливались памятники нового образца, снабженные не религиозной,

[89] [Объявление] // Красное знамя. 1924. 26 сент.
[90] [Объявление] // Красное знамя. 1924. 13 сент.
[91] Похороны Александра Васильевича Шишкова // Знамя революции. 1920. 20 июля.

а советской символикой (звезда, серп и молот). Таковы основные сведения о городских похоронах в Западной Сибири первой половины 1920-х гг., выявленные нами в газетных источниках.

И все-таки выбор в пользу традиции

Подводя итоги данного исследования, отметим, что советская пропаганда утверждала высокие темпы и «прогрессивный характер» культурных преобразований в послереволюционной России. Вслед за пропагандистами и историки долгое время были склонны придерживаться соответствующих оценок. Однако, как показывает, в частности, наше исследование, глобальная попытка «покушения» советской власти на ломку повседневных практик, имеющих духовное значение для общества, удавалась скорее на словах, нежели на деле. Региональные советские газеты конструировали идеологически обусловленный образ городских похорон, который, лишь частично отражал действительность.

Существует отличительная специфика репрезентации похоронных материалов в разных сибирских городских газетах. В тех городах, где проживало много представителей интеллигенции склонной к выбору традиционного похоронного обряда, было необходимо подробно описывать в средствах массовой информации «красные» похороны, объясняя их актуальность и целесообразность. Там, где образованность являлась достоянием немногих, где почти не было местной истории, там, где, как в Новониколаевске, состав населения был менее стабильным в силу миграционных процессов, журналистов, служивших в редакции местных газет, больше занимали вопросы настоящего и будущего, нежели проблема выбора позиции относительно прошлого. Поэтому и похоронная тематика не была особенна актуальна.

Газетный материал свидетельствует, что в первой половине 1920-х гг. в крупных городских административных центрах Западной Сибири похоронные обычаи во многом сохранились, хотя тяжелые условия хозяйственной разрухи и перемена идеологического климата вели к частичной коррозии традиционной похоронной обрядности. В период войн и революций, охвативших Россию начала XX в., в стране распространился «красный» похоронный обряд, специально сконструированный властью в идеологических целях. В идеале образцовые «красные» похороны противостояли обыденности, будучи мощным средством политической пропаганды. Обыденное сознание «простого» человека первой половины 1920-х гг., эмоционально переживавшего смерть близкого, весьма настороженно отреагировало на рекомендации устраивать похороны по-новому, продолжая в большинстве случаев следовать традиции, или лишь частично использовать новую символику и элементы ритуала. Заметно и то, что новые похоронные атрибуты зачастую понимались по-старому, а старые смыслы атрибутов и действий лишь по внешней форме казались новыми. На примере этого исследования заметно, что при всех стараниях, сильная власть первой половины 1920-х гг. не всегда победоносно прорывалась в сферу частного, поскольку в эти годы советское общество еще довольно надежно защищалось (особенно вдалеке от столиц) щитом традиций. Новая советская похоронная атрибутика в первой половине 1920-х гг. постепенно входила в обиход жителей западносибирских городов, ее укоренение в обряде требовало времени. Публичные гражданские похороны красноармейцев, партийных деятелей и служащих советских учреждений организовывали не

родственники, а советские структуры, к которым умершие имели непосредственное отношение, поэтому и характер похорон был демонстративным и публичным, даже «казенным», что не отвечало традиционным нормам морали, требовавшей открытых, глубоких, индивидуальных переживаний горя и скорби.

Обычные похороны в кругу семьи, для которых был чужд всякий официоз, судя по газетным источникам, продолжали параллельное существование, оставаясь религиозными и интимными (на это указывает малочисленность и краткость частных объявлений о похоронах в газетах). А значит, искать сколько-нибудь подробные сведения о похоронах «обычных» людей стоит лишь в источниках личного происхождения. Исчезновение сведений о частных похоронах из газет более позднего периода может говорить не только о смене политического заказа прессе, но и о стремлении обывателей не афишировать внутренние дела своей семьи, вызванном усилением вмешательства государства в сферу частной жизни.

После революции обыватель ощущал утрату стабильности, потери близких людей усиливали это ощущение. Выбор традиционного варианта похорон помогал чувствам уноситься в спокойное и предсказуемое прошлое. Традиционный обряд позволял «проигрывать», а значит и эмоционально переживать недостающую обществу стабильность. Важно и то, что далеко не все население крупных западносибирских городов внутренне приняло революцию и искренне поверило в «светлое будущее», все-таки на сибирских просторах, где еще совсем недавно господствовал «правитель Омский» Колчак, имевший немало сторонников, советская власть только укреплялась. Для религиозного («старорежимного») человека похоронный обряд выполнял важные с духовной и обыденной точки зрения функции: помочь умершему перейти в загробную жизнь и оградить от действий смерти живых[92]. В условиях хозяйственной разрухи и разгула инфекций данные цели не могли утратить актуальности, ведь смерть была непременно рядом и ее боялись. «Красные» похороны не обещали вечной жизни, «отдыха на том свете», жизнь после смерти могла продолжаться только в форме «живой памяти». Однако в те времена газеты не сообщали о создании каких-либо фондов или обществ памяти героев (жертв) революции, нацеленных на коммеморативную деятельность. По форме могилы революционеров формировали традиционные захоронения, за которыми, кстати, сибиряки довольно небрежно и нерегулярно ухаживали. «Красные» похороны не защищали от действий смерти живых, напротив, подводили участников похорон к мысли о долге каждого умереть за революцию. Но далеко не каждый был к этому готов. Газеты информируют о том, что, к примеру, в Новониколаевске возникали серьезные трудности со сбором продовольствия в пользу голодающих Поволжья, поскольку население не спешило жертвовать собственные запасы, не говоря уж о пожертвовании жизнью[93].

Можно предположить, что «красные» похороны, обрядовая символика которых базировались на традиции, на практике едва ли в полной мере соответствовала стандартным газетным описаниям. Вводя в старый похоронный обряд новую атрибутику, символизировавшую новые идеи, организаторы «красных» похорон, по сути, не сломали структуры и основных констант традиционного похоронного обряда, а просто «подогнали» устраиваемые ими гражданские похороны под новый идеологический

---

[92] *Седакова О. А.* Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. М., 2004. С. 48.

[93] Голосовавший «за». К позорному столбу // Советская Сибирь. 1922. 31 авг.

стандарт. Однако, по большому счету, и сторонники «красного» обряда, участвуя в похоронах революционеров, воссоздавали ту же утраченную стабильность, что и «традиционалисты», выбиравшие церковные похороны. За счет сохранения традиционной основы в новом искусственном обряде обществу удалось все-таки сохранить и обычный фон жизни, и повторяющиеся неосознанные практики, так повседневность оставалась повседневностью, хотя и изменившейся.

Нам не удалось увидеть на примере газетных источников резкие и повсеместные изменения в обрядах похоронного цикла, которые бы были обусловлены политикой государства. Предполагаем, что вдалеке от столиц, в Западной Сибири «красные» похороны устраивались не часто, и именно поэтому их обязательно описывали местные журналисты как значительные события. Если же обратиться к фондам западносибирских музеев, устройство которых было обязанностью не «простых» обывателей, а специалистов, можно наблюдать более существенные преобразования в характере уже привычных для общества коммемораций[94]. Это свидетельствует о сложности и неоднозначности процессов формирования социальной памяти в российских регионах после революции.

[94] Красильникова Е. И. Особенности репрезентации исторического прошлого в музейных экспозициях Томска и Новосибирска 1920-х гг. // Сибиряки: региональное сообщество в историческом и образовательном пространстве. Новосибирск, 2009. С. 83–89.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ, ПРОЯВЛЕНИЯ, РОЛИ

Общественные настроения российской провинции в 1917 году

О. В. Ольнева, В. П. Федюк

История повседневности относится к числу направлений, которые в последнее время разрабатываются в исторической науке особенно активно. Помимо естественного интереса к деталям жизни обычного человека, история повседневности привлекает тем, что позволяет выйти на новое понимание сложных исторических явлений, увидеть в истории не отвлеченные абстракции, а конкретного человека, современника и творца эпохи. Сами специалисты, работающие в этой области исторической науки, признают, что название «история повседневности» — далеко не идеальное определение ее сути, применяемое за неимением лучшего»[1]. Термин «повседневность» относится к числу тех, которые, с одной стороны, понятны всем, с другой — трактуются очень неоднозначно. Поэтому необходимо определить содержание, которые мы вкладываем в это понятие. Повседневность это, во-первых, отношения человека с миром окружающих его вещей. Сюда относятся внешний и внутренний облик жилища, одежда, обувь, привычный рацион питания и т. д. Во-вторых, это устоявшиеся отношения между людьми: общественная мораль, привычки и традиции, нормы поведения и устоявшиеся отклонения от этих норм. В-третьих, это общественные настроения, своеобразное «переживание» общественных изменений, затрагивающих индивида. «Переживание есть реакция на несоответствие наблюдаемой реальности ее ожидаемому проявлению, детерминированному всем предыдущим опытом, то есть прошлым… Переживание может быть сильной одномоментной реакцией на неожиданную ситуацию, выходящую за рамки прежнего опыта, но это может быть и длительное «проживание» неких событий и ситуаций»[2]. Общественные настроения не следует путать с общественным мнением. Общественное мнение конкретизировано и направлено на оценку определенного события, явления, личности. Общественные настроения есть оценка эпохи и определяют активную или пассивную позицию общества по отношению к происходящему.

По словам академика Ю. А. Полякова, «история по существу — это повседневная жизнь человека в ее историческом развитии, проявление стабильных, постоянных, неизменных свойств и качеств в соответствии с географическими и временными условиями, рождением и закреплением новых форм жилья, питания, перемещения, работы, досуга. Старые, традиционные формы человеческих отношений устойчивы, живучи. Они уходят, отживают, медленно, неоднократно возникая из, казалось бы,

---

[1] *Людтке А.* Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии//Социальная история. Ежегодник 1998/99. М., 1999. С. 7; *Пушкарева Н. Л.* Предмет и методы изучения истории повседневности // Этнографическое обозрение. 2004. N 5. С. 41.

[2] *Беловинский Л. В.* Культурно-исторические аспекты повседневности: содержание, структура и динамика. Автреф. дис. … докт. ист. наук. М., 2003.. С. 15–16.

навсегда ушедшего прошлого»[3]. Консерватизм форм и явлений повседневности историкам даже на руку. Изменения в повседневной жизни служат наиболее точным (а, может быть, и единственным) критерием того, насколько глубоки оказались политические и социальные перемены. По этой причине изучение истории повседневности может быть особенно продуктивным применительно к переломным эпохам. Что касается России, то таковой в XX веке (если не брать во внимание конец столетия) был, несомненно, 1917 год и последующее время.

Один из крупнейших знатоков этого времени, академик П. В. Волобуев, писал:

> «Революция и гражданская война всегда создают экстремальные условия существования и отдельных людей, и социумов и народов. На первый план всегда выдвигается насилие — будь то революционное, контрреволюционное или уголовное. Как все это влияет на общественную мораль, как меняет быт, нравы, поведение и привычки — мы должны знать. При этом мы не вправе чураться жестокого и многообразного человеческого бытия. Пересмотр сложившихся взглядов на поведение, как конкретных людей, так и целых классов в связи с этим неизбежен»[4].

Надо сказать, что повседневность периода революций и войн изучена заметно слабее, чем, скажем, чуть более поздний период (эпоха НЭПа). Во второй половине 1990-х гг. в Институте российской истории РАН были проведены две научные конференции на тему «Человек и революция». Вышедшие по их итогам сборники статей содержат крайне интересный материал, касательно революционной психологии и поведения человека в кризисную эпоху[5]. Отдельно следует упомянуть публикации петербургского исследователя Б. И. Колоницкого. Уже его первые статьи привлекли внимание читателей необычностью своей проблематики[6]. Позднее автор обобщил собранные им материалы в монографии «Символы власти и борьба за власть»[7]. Предметом изучения здесь стало утверждение революционных символов: красного флага, «Марсельезы» и «Интернационала», борьба с «символами старого строя». В трактовке Б. И. Колоницкого эти сюжеты выходят за рамки науки о флагах и гербах.

---

[3] *Поляков Ю. А.* Человек в повседневности (исторические аспекты) // Отечественная история. 2000. № 3. С. 125.

[4] *Волобуев П. В.* Вступительное слово//Революция и человек: быт, нравы, поведение, мораль. М., 1997. С. 4.

[5] Революция и человек: социально-психологический аспект. М., 1996; Революция и человек: быт, нравы, поведение, мораль. 1997.

[6] *Колоницкий Б. И.* Антибуржуазная пропаганда и «антибуржуйское» сознание//Анатомия революциии. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб., 1994; он же. «Демократия» как идентификация. К изучению политического сознания Февральской революции//Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1997; он. же. «Политическая порнография» и десакрализация власти в годы первой мировой войны (слухи и массовая культура)//Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1998.

[7] *Колоницкий Б. И.* Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб., 2001. Одновременно была опубликована еще одна небольшая по объему книга этого же автора, которую мы здесь не анализируем, поскольку ее содержание целиком вошло в названную выше монографию. См.: *Колоницкий Б. И.* Погоны и борьба за власть в 1917 г. СПб., 2001. Эта же тема освещена в книге Колоницкого и О. Файджеса, опубликованной на английском языке: Figes O., Kolonitsskii B. Interpreting the Russian Revolutijn: The Language and Simbols of 1917. New Haven; London, 1999.

Утверждение новых символов было утверждением новой психологии масс. Автор абсолютно справедливо замечает, что «новые символы вводили массы в мир политики». Радикальный разрыв с символикой прошлого, культивирование революционной символики, «не могло не привести к дальнейшему революционизированию общества»[8].

Первые исследования по истории повседневности преимущественно рассказывали о жизни столиц. Однако в последние годы появились и интересные работы, написанные на материалах российской провинции[9]. Можно отметить любопытную тенденцию: внимание исследователей, особенно молодых, явно склоняется в сторону проявлений девиантного поведения[10]. Это понятно: отклонения от социальных норм дают более яркий материал, чем размеренная жизнь благонамеренного обывателя[11]. С другой стороны, масштабы распространения социальных аномалий служат показателем «здоровья» общества и при анализе революционной эпохи без этого не обойтись.

Большинство указанных выше региональных исследований по форме представляли либо статьи, либо диссертации. Единственной крупной монографией, посвященной повседневной жизни российской провинции в годы революции, до сих пор остается книга челябинского историка И. Б. Нарского[12]. Эта весьма объемная работа до предела насыщена информацией, но ценность ее не только в приводимых фактах. Выводы автора выглядят очень необычно и радикально. По мнению И. Б. Нарского, «маленький человек», которого традиционно рассматривают как жертву социальных катаклизмов революции, был не в меньшей мере их творцом. Выжить в обстановке развала и хаоса можно было лишь в рамках самых примитивных животных инстинктов.

---

8 *Колоницкий Б. И.* Символы власти и борьба за власть. С. 342–343.

9 *Корниенко Т. А.* Социальная повседневность населения Северного Кавказа в годы первой мировой войны (август 1914- февраль 1917 г.). Автореф. дисс… канд. ист. наук. Армавир. 2001; *Романенко Л. В.* Развитие городской культуры Южно-Русской провинции в XIX — начале XX века (на примере Ставрополья и Терека). Автореф. дисс… канд. ист. наук. Ставрополь. 2002; *Зайцева Е. А.* Ставропольская губерния в период гражданской войны: экономические, социальные и культурные аспекты. Автореф. дисс… канд. ист. наук. Ставрополь. 2002; *Акоева Н. Б.* Экономическая, политическая и социальная повседневность Кубанского казачества на рубеже веков (конец XIX- начало XX веков). Автореф. дисс… канд. ист. наук. Ставрополь. 2002.

10 *Зверев В. М.* «Яма» Российской империи. Социологическая история «рынка любви»// Российская провинция. 1995. №4; *Жукова Л.* Девочку взяла «мадам»… Жизнь проституток 100 лет назад // Родина. 1997. № 6; *Быкова А. Г.* Проституция в городах Западной Сибири (1880-е — 1914 г.)//Социс. 2000. № 5; *она же*. Проституция в истории больших городов Западной Сибири (1880-е — 1914 г.). Автореф. дисс… канд. ист. наук. Омск. 1999; *Панин С. Е.* Повседневная жизнь советских городов в 1920-е гг.: пьянство, проституция, преступность (на материалах Пензенской губернии). Автореф. дисс… канд. ист. наук. Пенза. 2002; *Зоткина Н. А.* Феномен девиантного поведения в повседневной жизни российского общества на рубеже XIX — XX вв.: преступность, пьянство, проституция (на материалах Пензенской губернии). Автореф. дисс… канд. ист. наук. Пенза. 2002; *Савченко М. В.* Производство и потребление водки в России в годы казенной винной монополии в начале XX века (на материалах Пензенской губернии). Автореф. дисс… канд. ист. наук. Пенза. 2002.

11 *Пушкарев А. М.* Отношения между полами в общественных дискуссиях 1920-х гг. в России (отечественная и зарубежная историография). Автореф… дисс. к. и. н. М., 2008

12 Нарский И. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001

«Эти технологии выживания оказались слишком энергозатратными, примитивными, экстенсивными, до предела обострявшими внутривидовую конкуренцию и взаимную агрессивность». Приспосабливавшийся к хаосу обыватель, провоцировал дальнейший хаос. «найденный выход из катастрофы, универсальный для растительного, животного и социального мира, состоял в наращивании этажей агрессии: разрушительная активность населения Советской России стала регулироваться разрушительной активностью по отношению к нему со стороны власти».

Революционные процессы в каждом российском регионе имели свою специфику, будь то Урал или Ярославская губерния, ставшая предметом рассмотрения для нас. Следует оговорить, что мы целенаправленно не затрагивали годы гражданской войны, так как имевшие место тогда изменения в повседневной жизни были слишком сложны и масштабны для подробного анализа в пределах ограниченного объема работы. Мы попытались рассмотреть лишь первый год революции (преимущественно месяцы, когда у власти пребывало Временное правительство), время сравнительно спокойное, но, тем не менее, то, когда рождались перемены, определившие историю страны на десятилетия вперед.

1. Уничтожение символов «старой власти»

Февральская революция стала для ярославцев, как и для большей части страны, полной неожиданностью. В последние недели перед крушением российской монархии город жил другими сенсациями: состоялся концерт в помощь раненым и увечным воинам; в окрестностях Ярославля прошла лыжная гонка, организованная Лигой зимнего спорта. На Угличской улице в доме Михайлова показывают «живое чудо природы»: великан Тимофей Бакулин ростом в три аршина и пять с половиной вершков (в переводе на современные меры почти 2 метра 30 сантиметров). Здесь же можно увидеть девушку 19 лет, весящую 13 пудов 18 фунтов (220 кг.!), которая, несмотря на это, «демонстрирует поразительную красоту»[13]. Еще одно объявление, которое задним числом можно считать символичным, — 26 февраля 1917 г. в Волковском театре заезжая труппа давала оперу Глинки «Жизнь за царя»[14]. Через три дня царя в России уже не было.

Конечно, газеты не в силах полностью передать атмосферу тех дней. Цензура внимательно следила за тем, чтобы в печать не попали хоть сколько-нибудь крамольные сообщения. В значительной мере это компенсировалось слухами. Слухи существовали и будут существовать всегда, но особое распространение они получают в ситуации, когда население не доверяет официальным источникам информации, либо когда такая информация ощутимо ограничивается[15]. В предреволюционной России имело место и то и другое. При этом каждый раз вычеркнутые цензурой сообщения обрастали массой фантастических и волнующих деталей.

Достаточно было властям запретить публикацию речей, прозвучавших на открытии осенней сессии Государственной думы в 1916 г., как содержание их мгновенно

---

[13] Голос (Ярославль). 1917. 8 февраля.

[14] Ярославские губернские ведомости. 1917. 23 февраля.

[15] См. *подробнее*: *Дмитриев А. В. Слухи как объект социологического исследования*// *Социологические исследования*. 1995. № 1; *Латынов В. В*. Слухи: социальные функции и условия появления//Социологические исследования. 1995. № 1

трансформировалось в слухи, зачастую далекие от правды. В декабре 1916 г. рыбинский полицмейстер доносил губернатору:

> «За отчетный период к обычным темам разговоров среди населения присоединились и различные рассказы содержания речей членов Государственной думы Милюкова и Шульгина, причем особое внимание уделяется первому, который будто бы в своей речи указал, что ощущаемое в России вредное для войны немецкое влияние на главных чинов полиции, исходит из придворных кругов, поддерживаемых Государыней императрицей. По этому поводу создаются всевозможные комментарии и вновь появляются затихшие было в последнее время рассказы о Распутине и др.»[16].

Первые известия о революции поступили в Ярославль днем 28 февраля. Утром следующего дня об этом знал уже весь город. К вечеру на собрании представителей губернского земства, городской думы и некоторых общественных организаций «для поддержания порядка в городе» был образован Комитет общественной безопасности. Его возглавил председатель земской управы Д. Е. Тимрот. На следующий день Тимрот и городской голова А. П. Преображенский встретились с губернатором князем Л. Н. Оболенским. В ходе встречи было достигнуто соглашение о том, чтобы отозвать с улиц полицию и заменить ее военными патрулями. Губернатор заявил что в любой момент готов сложить с себя власть и покинуть город и ждет лишь распоряжения правительства на этот счет. 3 марта 1917 г. он официально передал полномочия Комитету общественной безопасности и подписал постановление о назначении временно исполняющим обязанности губернатора бывшего председателя земской управы князя Д. Д. Урусова.[17]. Ярославским градоначальником назначался генерал К. К. Черносвитов, возглавлявший ранее губернский военно-промышленный комитет[18]. Два дня спустя Временное правительство назначило в губернии своих комиссаров, предписав им выполнение обязанностей прежних губернаторов. Ярославским губернским комиссаром стал все тот же Черносвитов.

В тот же вечер, 1 марта 1917 г., когда был образован Комитет общественной безопасности, на собрании представителей фабрик и заводов был создан Совет рабочих депутатов. Через три дня состоялось первое общее собрание Совета, на котором был избран его руководящий орган — Исполком. Между Советом, Комитетом общественной безопасности и губернским комиссаром начались затяжные конфликты, усложнявшие и без того непростую обстановку в губернии. Но в первые дни революции эйфория захлестнула всех. Обычно не слишком людные улицы Ярославля были заполнены народом. У газетных киосков выстраивались длинные очереди. Мальчишки-разносчики, почувствовав возможность сорвать куш, просили от 20 копеек до рубля за газету, обычно стоившую пятак. Прямо на заборах расклеивались полученные с почты агентские телеграммы. К слову, о почтовой службе. В мартовские дни 1917 г. она попросту не могла справиться с захлестнувшим ее потоком корреспонденции. Газеты даже завели специальную рубрику, где публиковались адресаты полученных телеграмм, с тем, чтобы они сами могли прийти на почту, не дожидаясь пока до них доберется почтальон. Почтовая статистика свидетельствует о том, что в 1917 г. ярославцы

---

[16] Государстенный архив Ярославской области (далее — ГАЯО). Ф. 73. Оп. 9. Д.802. Л. 25.

[17] Голос (Ярославль). 1917. 4 марта.

[18] *Марасанова В. М.* , *Федюк Г. П.* Ярославские губернаторы. 1777–1917. Ярославль, 1998. С. 394.

отправили и получили писем значительно больше, чем в предыдущие годы. Это же относится и к получаемым в городе центральным газетам[19]. К сожалению, имеющиеся у нас данные не дают разбивки по месяцам, но без риска ошибиться, что можно сказать главная нагрузка на почту легла именно в марте-апреле. Это служит косвенным доказательством резкого подъема общественной активности. Люди живо интересовались происходящим и хотели поделиться своими настроениями и впечатлениями с родственниками и знакомыми, живущими в других городах.

Незнакомые люди поздравляли друг друга с пришествием свободы. Повсюду царило ощущение праздника и никто думать не думал, что праздник уже скоро отольется тяжелым похмельем. Впрочем, какой-то подспудный страх все-таки ощущался.

> «Дай Бог, чтобы все обошлось спокойно — пока без манифестаций, баз флагов, без митингов. Нужно сохранять самообладание»[20].

Но, конечно, за митингами дело не стало. Уже в субботу 4 марта в городе прошла стихийная демонстрация, собравшая под свои знамена преимущественно рабочих. На следующий день, в воскресенье, состоялась еще более массовое шествие, на этот раз с участием солдат местного гарнизона. К полудню на Семеновской (ныне — Красной) площади стал собираться народ. Войска торжественным маршем прошли перед зданием Городской думы, с балкона которой их приветствовали члены Комитета общественной безопасности. Начальник гарнизона обратился к войскам с приветствием: «Поздравляю вас с торжеством объявления свободы в России!». Солдаты отвечали дружным «Ура!»[21].

Обратим внимание на эту сцену. «Объявление свободы», — так можно было сказать о царском манифесте, но никак о революции. Однако в России привыкли к тому, что все, в том числе и свобода, даруется сверху. За дарованием свободы должно было последовать разъяснения, что теперь можно, а что по-прежнему нельзя. Но в этот раз никакого разъяснения не было. Итогом стала сначала растерянность, а потом хаос и анархия.

Вот, что в эти дни писала местная пресса: «Глаза наши искрятся радостью и счастьем, голоса прерываются от волнения. — Как хорошо! Как хорошо! Лучше Пасхи! — Много лучше, Пасха каждый год, а такого дня не было никогда… Я думаю, теперь двадцать военных займов пойдет без труда, успевай выпускать, народ все возьмет, и картин раскрашенных не надо вешать. Скажи только новое правительство: на войну деньги нужны, народ и выручит. Неси, кто сколько сможет. Засыплем с головой».

Радость, кружившая головы, рождала планы в духе фантастических утопий:

> «Боже мой, дух занимает от счастья. Как хорошо жить будем! Школы построим, откроем народные университеты… Крестьяне будут работать машинами, не все руками ворочать… Пришел великий творческий момент нашей истории! Народ поднял себя! Народ творит волю свою!»[22].

Такие настроения в те дни были по всей огромной стране. Прежний режим казался настолько незыблемым, что происшедшее создавало впечатления чуда. Ощущение

---

[19] Гуревич М. Историко-статистический сборник по Ярославскому краю. Ярославль, 1922. С. 224.

[20] Голос (Ярославль). 1917. 3 марта.

[21] Голос (Ярославль). 1917. 7 марта.

[22] Голос (Ярославль). 1917. 8 марта.

того, что теперь возможно все, приводило иногда к странным последствиям. Примерно в это же время, а точнее 10 марта, массовая манифестация по случаю свободы прошла и в Рыбинске. На заседании, состоявшемся в тот же день, рыбинский Совет постановил считать 10 марта первым днем весны[23]. Можно иронизировать по поводу столь явного пренебрежения календарем, но это решение было вполне в духе времени. Свободный народ может все — и сроки наступления весны перенести и даже солнце заставить пойти по небу вспять. К тому же природа действительно как будто подчинилась приказу. После холодного и снежного февраля столбик термометра в начале марта поднялся до +7, а из-за туч выглянуло долгожданное солнышко. «Пришла весна» — эти слова повторялись в те дни чаще всего.

В одной из ярославских газет было опубликовано стихотворение местного поэта, начинавшееся словами:

«Пришла весна, темнеют крыши,
В сердцах России яркий май,
Исчезли козни старца Гриши,
Сошел с арены Николай» [24].

Конечно анонимный поэт (скрывшийся под псевдонимом «Символист»), перепутал март с маем. Но в этих строках очень четко виден рубеж, который отпечатался в массовом сознании. Теперь — свобода, прежде — Распутин. Мрачноватая и мистическая фигура «старца» стала символом, обозначившим прежний порядок. По этой причине утверждение свободы на первых порах и вылилось в борьбу с «распутинщиной».

Распутин вообще превратился в символическую фигуру, сконцентрировавшую в себе отношение населения к верховной власти. Именно он был главным персонажем всевозможных слухов, сплетен и всевозможных рассказов, где фигурировали помимо того царь, царица и высшие государственные сановники. Можно понять, что когда же вынужденная необходимость молчать исчезла, запретные прежде темы вылились на голову обывателя настоящим потоком, далеко не всегда при этом чистым.

Уже в первые недели после Февральской революции прилавки книжных магазинов России заполонили многочисленные, наспех изданные, брошюры со скандальными рассказами о жизни царского семейства. Качество большинства их них было ниже всякого уровня. Восемь месяцев спустя в обзоре публикаций на эту тему отмечалось: «Почти все, что появилось до сих пор не может быть названо иначе, как книжной макулатурой»[25]. Царь, царица и Распутин потеснили Вильгельма II в качестве главных персонажей лубочных картин. Не отставал и новый, самый популярный, вид искусства — кинематограф.

22 марта 1917 г., спустя всего три недели после свержения монархии, на экраны Ярославля вышел фильм «Смерть Гришки Распутина»[26]. Несмотря на очень высокие цены на билеты — от 75 коп. до полутора рублей, владельцы кинотеатров не

---

[23] ЦДНИ ЯО, Ф. 394. Оп. 1. Д. 33. Л. 8.

[24] Свободное слово (Ярославль). 1917. 18 марта.

[25] Сивков К. Николай II и его царствование: библиографический обзор // Голос минувшего. 1917. № 9–10. С. 386.

[26] Голос (Ярославль). 1917. 22 марта.

оставались в убытке. Создатели фильмов на скандальную тему острейшим образом конкурировали межу собой. Акционерное общество Г. И. Либкина опубликовало в газетах сообщение о том, что в электротеатре «Прогресс» на Сенной площади будет демонстрироваться фильм «Темные силы (Гришка Распутин)», с триумфом прошедший по экранам столиц. Объявление предупреждало о том, что все прочие ленты со схожими названиями к фирме отношения не имеют.

Интересно, что один из фильмов на эту тему (возможно, именно выпущенный фирмой Либкина) снимался в Ярославле. 8 марта (еще раз напомним — со времени отречения императора прошло менее недели) газеты сообщили, что накануне в Ярославле проходили съемки ленты об убийстве Распутина. При этом роль Юсуповского дворца выполнял дом Вахрамеева на Стрелецкой улице. Отсюда на глазах зевак, привлеченных работающими кинокамерами, выносили зашитый в рогожу тюк, призванный изображать труп Распутина[27].

Фильмы о Распутине стали, если можно так сказать, первыми эротическими лентами российского кинематографа. На непривычного зрителя некоторые их эпизоды могли произвести шокирующее впечатление. В результате в Москве комитет по регламентации театральной жизни по моральным соображениям потребовал вырезать из ленты фирмы Либкина сцены, в которых Распутин «учил смирению»[28]. Петербургский исследователь Б. И. Колоницкий, один из немногих, кто специально изучал эту проблематику, определил подобный жанр как «политическую порнографию».

Усилиями кинематографа, а также издателей скандальных брошюр и лубочных картинок Распутин спустя полгода после своей смерти из реальной личности превратился в мифического злодея и имел все шансы стать в итоге фольклорным персонажем. Во всяком случае, торговцы игрушками на весенней ярмарке в Ярославле уже успели переименовать популярную детскую забаву — чертика на резинке, в «Распутина»[29].

В один ряд с Распутиным были поставлены и те представители старой власти, кого общественное мнение причисляло к его окружению. В марте 1917 г. Ярославская городская дума исключила из числа почетных граждан города бывшего губернатора и недавнего премьера Б. В. Штюрмера[30]. Еще раньше ярославское дворянство исключило его из своих рядов. При этом как-то забылось, что к ярославскому дворянству Штюрмер был причислен не по собственному почину, а по инициативе самих же местных дворян, на свои средства купивших ему земельный участок, дававший на это право.

Конечно, публика во все времена тяготела к скандальным сплетням. Несомненно и то, что мгновенная реакция издателей и деятелей киноиндустрии диктовалась стремлением поскорее сделать деньги, используя модный сюжет. Но в данному случае широкое муссирование «распутинской» темы имело и более глубокий смысл.

---

[27] Голос (Ярославль). 1917. 8 марта. Автор газетной заметки называет организатором съемок именно фирму Либкина, но, похоже, не очень в этом уверен.

[28] *Колоницкий Б. И.* «Политическая порнография» и десакрализация власти в годы первой мировой войны (слухи и массовая культура) // 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М. 1998. С. 69.

[29] Голос (Ярославль). 1917. 21 марта.

[30] ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3.Д. 519.Л.1.

Революция стала слишком неожиданной для большинства населения страны. На первом заседании ярославского Комитета общественного порядка избранный его председателем Д. Е. Тимрот делился со знакомыми своими ощущениями: «Да, все как неожиданно. Я не верю себе. Сейчас я проводил собрание и голосовал за свержение царя, а ведь не так давно был верноподданным. Родился и вырос в преданности престолу»[31]. Все разговоры о Распутине, нравах царского двора и т. д. , подсознательно оправдывали это мгновенное превращение недавних верноподданных в столь же ярых сторонников свободы. Падение авторитета власти предшествует любой революции. Имело место это и в России. Однако ко времени крушения монархии этот процесс еще не достиг общих масштабов. Поэтому и понадобилась десакрализация прежних символов задним числом, проявлением чего и стала эксплуатация «распутинской» темы.

Характерные для весны 1917-го бесконечные разговоры о Распутине поставили в сложное положение тех, кто носил эту в общем-то обычную фамилию. Летом некий А. А. Распутин, проживавший в Рыбинске на Ново-Мещанской улице, обратился с ходатайством о смене фамилии, мотивируя это тем, что его принимают за родственника убитого «старца». Просителя отсылали по инстанциям более месяца, в итоге направив аж к министру юстиции[32]. Нередким случаем были и аналогичные ходатайства от носителей еще более распространенной фамилии Романов[33].

Массовые переименования всего и вся были одним из характерных признаков общественных настроений весной 1917 года. Уже в начале апреля 1917 г. волжское пароходное общество «Самолет» объявило об изменении названий своих пассажирских судов. «Царь» был переименован в «Короленко», «Благословенный» — в «Чехов», «Великая княгиня Мария Павловна» в «Мельникова-Печерского». «Ольга» стала «Добрыней Никитичем», а «Татьяна» «Алешей Поповичем».

Этому примеру последовало и общество «Кавказ и Меркурий». На этот раз в качестве новых названий были взяты названия городов, политически нейтральные и, значит, приемлемые при любом развитии ситуации. Пароход «Цесаревич Николай» был переименован в «Ревель», «Цесаревна Мария» в «Смоленск», «Ольга Николаевна» в «Чернигов», «Мария Федоровна» в «Воронеж». Пострадали и исторические персонажи. «Екатерина II» стала «Тифлисом», «Царь Алексей Михайлович» — «Харьковом», «Царь Михаил» — «Киевом» [34].

Переименования коснулись и названий городских улиц. Городская дума Рыбинска 16 марта приняла решение о переименовании Столыпинской улицы[35], 1 мая городские гласные Романово-Борисоглебска проголосовали за переименование Александровской улицы[36]. Впрочем, последовательного характера это не носило. Мужская гимназия в Ярославле и позже продолжала носить имя Императора Александра I Благословен-

---

[31] *Цит. по*: *Федюк В. П.* Ярославль. Весна 1917-го... //Историко-революционные памятники Ярославской области. Ярославль. 1989. С. 106.

[32] Голос (Ярославль). 1917. 8 июля.

[33] *Колоницкий Б. И.* Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб. 2001. С. 244.

[34] Голос (Ярославль). 1917. 13 апреля.

[35] ГАЯО. Ф.137. Оп.1. Д.5252. Л. 5.

[36] ГАЯО. Ф.512. Оп.1. Д.1185. Л.30.

ного и как таковая фигурировала во всех официальных документах. Сохранили свои названия женские Екатерининская и Мариинская гимназии. Еще весной городская управа постановила переименовать Романовский детский приют в «приют памяти Освобождения России»[37], однако вплоть до конца 1917 г. он продолжал сохранять вывеску, на которой было указано, что имя свое он получил «в честь царствующего дома Романовых»[38].

Уже в первые дни после получения известий о крушении монархии были вынесены царские портреты из учебных заведений и присутственных мест. Если где-то они еще оставались, то это служило основанием для шумного возмущения демократической прессы. В начале апреля газета «Труд и борьба», издававшаяся ярославским Советом, начала целую кампанию, толчком к которой стало то, что в губернаторском доме, где заседал губернский Комитет общественной безопасности, по прежнему висели портреты бывших венценосцев[39]. Это стало едва ли не поводом для обвинения лидеров комитета в контрреволюционных настроениях. С царскими портретами связано несколько интересных эпизодов. Формально это относится к настроениям крестьянства, а не городских жителей. Однако, нам кажется, что это в равной мере характеризует реакцию городских обывателей на происходившие перемены.

12 марта 1917 г. крестьяне деревни Поповской Еремейцевской волости устроили торжественное сожжение портретов членов дома Романовых. Это было организовано в поле за деревней в присутствии всех ее жителей[40]. Такое же сожжение царских портретов устроили и жители села Кукобой, правда, на этот раз сделав исключение для «царя-освободителя». Мгновенное крушение того, что еще недавно казалось незыблемым, требовало каких-то дополнительных акций для того, чтобы закрепиться в массовом сознании. Такое мероприятие, напоминающее языческий обряд, должно было разграничить старую и новую эпохи.

Рецидивы этого своеобразного «иконоборчества» продолжали ощущаться и позднее. В Рыбинске в ночь с 7 на 8 июля солдатами проходившего через город воинского эшелона была предпринята попытка разрушения памятника Александру II[41]. В итоге на ноги был поднят весь город. Не найдя другой силы, рыбинские власти бросили на защиту памятника пожарную команду. Но солдаты ушли, только добившись от местного Совета обещания, что тот издаст специальное постановление об уничтожении всех монументов старого режима[42]. На пьедестал памятника «царю-освободителю» уже при большевиках был поставлен бронзовый Ленин. Но идея поставить памятник Свободной России возникла уже в первые мартовские дни[43]. Был начат сбор средств на реализацию этой цели, но в вихре последующих событий идея забылась, а деньги, как водится, сгинули неизвестно куда.

---

37 ГАЯО. Ф. 503. Оп.1. Д.1891. Л. 8.

38 Власть труда (Ярославль). 1917. 14 декабря

39 Труд и борьба (Ярославль). 1917. 7 апреля.

40 Голос (Ярославль). 1917. 15 марта.

41 Памятник Александру II был воздвигнут в 1914 г. на средства, собранные жителями Рыбинска. Сам монумент был снесен в 1918 г., а на его постаменте поставлен памятник Ленину. См.: *Петухова И. А*. История одного пьедестала // Анфас (Рыбинск). 1999. 29 апреля.

42 ЦДНИЯО. Ф. 394. Оп. 1. Д. 33. Л. 43.

43 Голос (Ярославль). 1917. 10 марта.

В конце августа 1917 г. на ярославской «толкучке» — рынке, где торговали старьем, произошел еще один случай, попавший в местные газеты. Один из торговцев выставил на продажу большой портрет Николая II. Это заметили проходившие мимо милиционеры и потребовали убрать портрет. Завязался скандал, в который включились проходившие мимо солдаты. В итоге солдаты портрет разорвали, оставив торговцу в утешение раму[44]. Если даже в августе, когда революционная экзальтация уже существенно ослабла, вид царского портрета вызывал такую реакцию, то можно понять накал весенних настроений.

Уничтожались не только царские портреты и памятники, но и изображения государственного герба. В мартовские дни в Ярославле двуглавые орлы на вывесках, кажется, все-таки уцелели, однако ненадолго. 18 апреля 1917 г. (1 мая по новому стилю) в Ярославле, как и в других городах, прошли многолюдные митинги и демонстрации. Толпа, разгоряченная речами и общей атмосферой происходящего, стала срывать со зданий «символы презренного рабства». Над конторой литейного завода Оловянишникова был установлен фирменный знак — массивный колокол, увенчанный двуглавым орлом. Первым на землю полетел орел, а вслед за ним настала очередь и колокола, на котором тоже разглядели прежний герб[45]. В тот же день неизвестными была предпринята попытка сбросить двуглавого орла, венчавшего памятник Демидову. В этой связи общество защиты памятников искусства вынуждено было через газеты обратиться с разъяснением о том, что орел в данном случае символизирует не монархию, но Россию — покровительницу науки[46].

Низвержение государственных символов было показателем явлений серьезных и имевших далеко идущие последствия. Герб и флаг есть олицетворение государства; отношение к ним отражает степень уважения гражданами верховной власти, а значит готовности к законопослушанию. Надругательство над гербом или сожжение флага есть сигнал того, что по установленным правилам люди играть больше не собираются.

Срывая царские портреты и сбрасывая с постаментов памятники обыватель как будто мстил за недавнюю свою верность и лояльность, за то, что революция произошла без его ведома и участия. Однако на смену уничтоженным символам и возникшей в результате этого идеологической пустоте неизбежно должны были прийти новые символы и новая идеология.

2. Революция и политическая культура

Весной же 1917 г. могло показаться, что все жители России, от мала до велика, в недавнем прошлом были революционерами-подпольщиками и теперь спешат наконец раскрыть свои истинные чувства. Слова «республика», «свобода», «демократия» стали своего рода заклинаниями, повторявшимися к месту и не к месту. Вот несколько примеров, характеризующих атмосферу тех дней. Газеты предлагают подписываться на журнал «Свободная женщина», необходимый «каждой женщине обновленной России». Обращение городской думы по поводу расчистки улиц от снега начинается словами «Свободные граждане! Докажите, что вам не нужны административные

[44] Голос (Ярославль). 1917. 27 августа.
[45] Голос (Ярославль). 1917. 20 апреля; ЦДНИЯО. Ф. 394. Оп. 5. Д. 78. Л. 5.
[46] Труд и борьба (Ярославль). 1917. 7 мая.

побуждения, применявшиеся при старом режиме…» И уж совсем курьезно звучит призыв: «Да здравствует свободный русский народ, долой сквернословие!»[47].

Некоторые ситуации выглядели почти анекдотически. Одним из наиболее любимых развлечений городской публики в ту пору была французская борьба. Состязания, как правило, происходили в цирке и по сути были в большей мере хорошо отрежиссированными спектаклями, нежели спортивными соревнованиями. Нередко для привлечения зрителей организаторы состязаний выпускали на арену борца в маске. Аноним, вокруг личности которого немедленно распускались слухи, вызывал на бой любого и продажа билетов, естественно, взлетала вверх. Возвращаясь же к существу дела: в мае 1917 г. по Ярославлю были расклеены объявления о том, что в городском цирке состоится выступление борца, скрывшего свою личность под псевдонимом. Новоявленный фаворит вызывал на бой всех чемпионов. Но главное заключалось в том, какой псевдоним избрал себе герой будущих схваток. Не какой-нибудь «Непобедимый» или «Бесстрашный», а «Заем свободы». Видно совсем уж плохо обстояли в Ярославле дела с распространением облигаций «Займа свободы», если понадобилась такая реклама[48].

Красный цвет в эти дни совершенно заполонил все. Газеты, описывая многочисленные митинги весны 1917 г., совершенно не упоминают трехцветные флаги, но только красные. Подчас это порождало определенные сложности. В мае руководство Московско-Рыбинской железной дороги обратилось к командованию ярославского гарнизона в связи с обыкновением солдат вывешивать на из окон и на крышах вагонов красных флагов, которые железнодорожные служащие принимали за подобный же сигнальный цвет принятый на железной дороге[49]. Несколько раз это приводило к неплановой остановке поездов и созданию аварийных ситуаций.

Красный цвет стал в 1917 г. своего рода «защитным цветом». Каждый, кто хотел продемонстрировать лояльность новым порядкам, должен был поднять над домом красный флаг, нацепить на одежду красный бант или, на худой конец, красный лоскуток. В начале апреля в помещении городского театра состоялась выставка картин ярославских художников. В числе прочих, на ней было представлено полотно Б. Мирова «Ильинская ярмарка». Казалось бы, это должен был быть типичный городской пейзаж, но и здесь не обошлось без красного флага на переднем плане[50]. Приведем еще один эпизод из хроники культурной жизни Ярославля тех дней. Некий Лебедев, «поэт из народа», опубликовал сборник своих стихов под названием «новые песни революции и свободы». Здесь тоже не обошлось без красных флагов: «Под знамя, товарищ, под знамя! Под красное знамя труда, раздуйте народное пламя, чтоб всех освещало всегда!» Эти строки так и напрашивались на пародию, но газетная рецензия ограничилась благожелательными словами о «подкупающих безыскусности и искренности» автора[51]. Иронизировать в этом случае, значило бы поставить под сомнение свою лояльность.

---

[47] Голос (Ярославль). 1917. 24 марта; 6 апреля; 12 апреля.

[48] Голос (Ярославль). 1917. 11 мая.

[49] *Диунов М. Ю.* Тыловые гарнизоны русской армии в 1917 г. (на материалах Верхнего Поволжья). Дисс. …канд. ист. наук. Ярославль. 1999. С. 92.

[50] Труд и борьба (Ярославль). 1917. 6 апреля.

[51] Труд и борьба (Ярославль). 1917. 22 июня.

Прежний бело-сине-красный флаг не нес в себе каких-то ярко выраженных монархических ассоциаций, но вместе с тем и не воспринимался как национальный символ. В этом качестве он конкурировал с черно-желто-белым и ко времени революции так и не было решено, какому же из них отдать предпочтение[52]. Может быть, по этой причине он так быстро уступил место красному полотнищу.

Другое дело — гимн. Понятно, что слова В. А. Жуковского после крушения монархии стали абсолютно неприемлемы. Чаще всего после революции в официальных случаях исполнялась «Марсельеза». Существовало множество вариаций текста на эту музыку, причем вариаций подчас весьма неожиданных. В середине мая в яслях для детей солдат на Никитской улице состоялся вечер, посвященный памяти поэта Плещеева. В программу вечера входило выступление детского хора, исполнившего «Гимн свободной России» и «Марсельезу» **«на специальные детские слова»** (выделено нами — Авт.)[53].

Весной 1917 г., в обстановке революционной эйфории, одной из наиболее популярных тем обывательских разговоров было обсуждение партийных программ и лозунгов. Состоять в рядах эсеров, социал-демократов или, на худой конец кадетов, стало также модно и престижно как прежде состоять в закрытом клубе. Даже у детей игра в большевиков и меньшевиков вытеснила прежних казаков-разбойников[54]. Нужно помнить, что поведение детей всегда является индикатором состояния общества. Летом 1918 г. сразу после подавления антибольшевистского восстания любимой детской игрой в Ярославле стала игра «в расстрел»[55]. Но, так же как у детей игра в «большевиков и меньшевиков» по сути была обычной дракой стенка на стенку, так и у взрослых революционные слова и фразы были не более чем проявлением своеобразной социальной мимикрии.

Язык революции заслуживает того, чтобы остановиться на этом отдельно. Любые языковые новации, как правило, являются результатами социальных и политических перемен. Более того, изменения в устойчивом лексиконе можно считать одним из главных критериев для оценки глубины и укорененности таких преобразований. Это очевидно, ведь новые явления требуют новых слов для их обозначения. В переломные эпохи этот процесс приобретает особенно заметный характер.

К тому же, любой политический режим, а авторитарные и тоталитарные — в первую очередь, осознанно или неосознанно использует язык как инструмент. Так рождается язык официальный или «новояз» (используя термин Д. Оруэлла), призванный лгать во благо государства. Существование советского «новояза» неоспоримо, но в 1917 г. процесс его формирования только начинался и изменения языка не шли далее пополнения обиходного словаря. Однако и это весьма интересно, так как дает возможности проследить перспективные тенденции.

При работе с письменными источниками этой эпохи прежде всего обращает на себя внимание огромное число неуклюжих словообразований, возникших в результате сокращений. Они появились несколько ранее 1917 г. (главкоюз, начштаверх), а революция

---

[52] См.: *Соболева Н. А.* , *Артамонов В. А.* Символы России. М. 1993; Лысенко Н. Флаг национального российского государства — каким ему быть? //Москва. 1991. № 12.

[53] Голос (Ярославль). 1917. 13 мая.

[54] Свободное слово (Ярославль). 1917. ноября.

[55] *Поссе В. А.* В годы гражданской войны // Русское прошлое. Вып. 2. СПб. 1991. С. 218.

дополнила их новыми (совдеп, комиссарверх) с тем, чтобы через несколько лет дойти до совсем уж зубодробительных — Вхутемас, Чусоснабарм и т. д. Без дополнительных пояснений невозможно понять, например, что такое «наглузак». Речь же идет о начальнике Главного управления местами заключения.

На первый взгляд, причиной этого было естественное стремление сократить чрезмерно длинные конструкции. Однако прежде никому в голову не приходило сократить министерство просвещения до «минпроса», хотя само оно существовало к этому времени уже более ста лет. Можно найти еще одну, вполне прозаическую причину, кстати, объясняющую, почему мода на сокращения появилась именно в период мировой войны и касалась поначалу в первую очередь военной номенклатуры. Это — телеграф. Мировая война стала первой войной, когда штабы общались между собой преимущественно по аппаратам Юза, а телеграфный стиль превращал Главнокомандующего Северным фронтом в «главкосева».

Процитируем распоряжение, разосланное из Петрограда на места в июле 1917 г.: «В целях сокращения излишнего числа слов, передаваемых по телеграфу, Министерство почт и телеграфов признало установить условные телеграфные адреса для следующих должностных лиц и учреждений:

Губернский комиссар — ГУКОМ; губернский исполнительный комитет — ГУБИКОМ; председатель губернского исполнительного комитета — ПРИГУБИКОМ; уездный комиссар — УЗКОМ; уездный исполнительный комитет — УЗИКОМ»[56]. Упомянутый выше «наглузак» тоже родился на свет «в целях сокращения расходов при посылке служебных телеграмм»[57].

Но, как нам кажется, была и еще одна причина, особенно любопытная с точки зрения изменения массовой психологии. В дореволюционной России поведение власти носило ярко выраженный ритуализированный характер. Многочисленные (и бессмысленные на первый взгляд) процедуры, — от императорской коронации до водружения орла на зерцало перед началом судебного заседания, должны были символизировать вековую нерушимость режима. Слова являлись составной частью такого ритуала, превращаясь в своего рода заклинания, которые и произносить следовало с особой интонацией, не говоря о том, что недопустимо были принижать сокращением. Произнести «Собственная Его Императорского Величества канцелярия» было ничуть не проще, чем «Совет народных комиссаров», однако сократить это до какой-нибудь «собеивки» было бы равносильно кощунству.

В сокращенных конструкциях слово утрачивало сакральный смысл. В демократическом обществе так, наверное, и должно быть, но Россия меньше всего могла считаться демократической страной. Авторитет власти здесь всегда был основан на страхе перед ее безграничной мощью и божественной сущностью. То, что у власти стоят такие же люди, стало открытием и провоцировало нежелание подчиняться их распоряжениям.

Еще одним показателем «опрощения» языка можно считать легализацию нецензурной брани. Хотя она (в отличие от сегодняшних дней) и не проникла на страницы печати, но и перестала восприниматься как нечто табуированное. В середине апреля

[56] Ростовский филиал ГАЯО, Ф. 211. Оп. 1. Д. 27. Л. 167.

[57] ГАЯО. Ф. 335. Оп. 1. Д. 2440. Л.7.

1917 г. в ярославских газетах было опубликовано обращение за подписью Культурно-просветительной комиссии. В нем говорилось: «Свободные граждане, товарищи-рабочие! Среди взрослых и детей очень развито сквернословие. Рабовладельцы изобрели ругань для рабов, а рабы совершенствовались в ней из удали и бахвальства, подражая господам. Теперь нет ни господ, ни рабов и все мы свободные граждане. Что было нетерпимо даже прежде, при общем рабстве, при некультурности и забитости, то позорно для свободных граждан. Долой же позорящее нас сквернословие, долой скверные надписи с заборов!»[58]. Отметим здесь оригинальную (и вполне в духе революции) трактовку происхождения нецензурных слов. Но главное — публикацию такого обращения в газетах можно считать свидетельством остроты проблемы.

Широкое распространение нецензурной лексики можно объяснить разыми причинами. Во-первых, это извращенное понимание свободы, определявшее в 1917 г. очень многое в поведении людей. Во вторых, для многих это стало проявлением не раз уже упоминавшейся социальной мимикрии. Языковые нормы всегда приспосабливаются к манере говорить, свойственной элите. Когда-то это порождало смесь «французского с нижегородским». Теперь же появились новые хозяева жизни и язык мгновенно отреагировал на это.

И еще одна, может быть самая характерная, особенность революционного лексикона — это мгновенное проникновение в него множества непривычных иностранных слов. Всевозможные «аннексии и контрибуции», «социализм» и «Интернационал» должны были окончательно задурить голову неподготовленному человеку. А ведь вдобавок были совсем уж непонятные «Циммервальд» и «циммервальдисты»[59]. Рассказывали, что где-то в провинции на демонстрации даже несли портрет «Циммервальда» — «приятного мужчины с черной бородой»[60].

Такое вполне могло произойти и в Ярославле. В местных газетах можно найти уличные зарисовки, иллюстрирующие то, как простые обыватели пытались приспособить непонятные иностранные термины к старым привычным понятиям. «Оратор» в этом случае превращался в «орателя» («уж кричит-кричит, верное ему имя дали — оратель»), «аграрное движение» — в «ограбное», Учредительное собрание в «чередительное» («чтобы порешить все чередом»)[61]. Следующий же фрагмент подслушанного разговора без дополнительной расшифровки понять решительно невозможно: «А про войну все повторял — не надо нам, говорит, Аксиньи. От Аксиньи, мол, война будет. — Какая же это Аксинья такая? — А Бог ее знает какая, только нам от нее, говорит, большой вред произойдет… Что за такая вредная, от одной бабы и опять война». А речь шла об «аннексиях» — любимой теме ораторов, выступавших против войны.

Иностранные заимствования –дело обычное и нередко весьма удобное. Ту же «аннексию» можно перевести как «территориальный захват», а это уже два слова, не

[58] Голос (Ярославль). 1917. 12 апреля.

[59] Напомним, что Циммервальд — это деревня в Швейцарии, где в сентябре 1915 г. проходила международная социалистическая конференция, участники которой заняли резко антивоенную позицию. В России в 1917 г. «циммервальдистами» называли те политические группы (прежде всего большевиков), которые призывали к немедленному прекращению войны.

[60] Амфитеатров-Кадашев В. Страницы дневника //Минувшее. Т. 20. М. 1996. С. 464.

[61] Голос (Ярославль). 1917. 1 июня.

говоря о том, что слово «территория» точно так же заимствовано из латыни. Но, применительно к русской революции, обращает внимание явная чрезмерность и какая-то нарочитость в употреблении иностранных терминов и выражений.

Уже упоминавшийся в этой главе Д. Оруэлл, анализируя лексику английских коммунистических изданий, характеризовал ее как своеобразный жаргон, состоящий преимущественно из немецких, французских или русских слов. Тоже самое, только с заменой русского на английский, можно сказать о российских социал-демократах и, хотя в меньшей степени, об эсерах. Частью субкультуры революционного подполья был ее язык, сознательно перенасыщенный иностранными терминами, превращавшими обычную речь в нечто, понятное лишь посвященным. Революция сделала язык победителей языком всей страны.

Отдельного разговора заслуживает слово «товарищ». В дореволюционной России обращение к человеку зависело от титула («Ваша светлость», «Ваше сиятельство»), сословной принадлежности («Ваше степенство», «Ваше преосвященство»), чина («Ваше благородие», «Ваше превосходительство»). «Сударь» и «господин», которые можно рассматривать как варианты универсального предиката, были допустимы только между равными. В общении вышестоящего и нижестоящего даже вежливое «любезный» приобретало иронически-покровительственный характер.

Это было естественно в обществе, поделенном на множество закрытых групп. Революция, провозгласившая равенство своим главным лозунгом, ввела единообразное обращение «гражданин». В первые недели революции оно звучало на каждом шагу. «Мы не кто-нибудь теперь, а граждане»[62]. Распространение обращения «гражданин» могло служить своеобразным критерием проникновения революционных идей в провинцию. В газетах за март-апрель 1917 г. фигурируют «граждане Ярославля», но при этом «ростовские обыватели». В это же самое время «гражданина» начал существенно теснить «товарищ». Обращение «товарищ», зародившееся все в той же среде революционного подполья, обозначало не просто равенство, но и некую корпоративную близость общающихся.

В 1917 г. слово «товарищ» встречалось в самых разных, подчас самых неожиданных, сочетаниях: «товарищи приказчики», товарищи официанты и служащие трактирного промысла» и т д.. В одном из обращений начальника ярославского гарнизона к солдатам появились даже «товарищи-богатыри!» (явно неуклюжая попытка приспособить суворовских «чудо — богатырей» к реалиям революции)[63]. «Товарищ» имел все шансы стать универсальным предикатом еще при Временном правительстве. Во всяком случае, Керенский не возражал, когда к нему обращались «товарищ министр», хотя, будучи воспринятым на слух, это могло принизить его статус (в дореволюционной России «товарищем министра» называли его заместителя).

В советскую эпоху корпоративный характер обращения «товарищ» постепенно исчез. Но в 1917 г. это еще не успело произойти. Поэтому по мере нарастания политической поляризации слово «товарищ» вновь обрело ограниченный характер адресатов. Теперь «товарищ» стало восприниматься как «социалист», «сторонник

---

[62] Голос (Ярославль). 1917. 3 марта.

[63] *Диунов М. Ю.* Тыловые гарнизоны русской армии в 1917 г. (на материалах Верхнего Поволжья). Дисс. …канд. ист. наук. Ярославль. 1999. С.96.

революции» и те, кто себя к таковым не причислял, мог счесть такое обращение обидным.

В одной из ярославских газет в октябре 1917 г. была описана уличная сцена, во время которой слово «товарищ» едва не стало причиной скандала. Вот несколько воспроизведенных газетой реплик: «У них теперь все товарищи! — Вот я и говорю, что все товарищи. Может жулик какой, а тоже называет товарищем…»[64]. После прихода к власти большевиков слово «товарищи» окончательно было отождествлено с ними. Это могли почувствовать на себе меньшевики и эсеры, не желавшие отказываться от традиционного обращения. В дни ярославского восстания 1918 г. меньшевик П. А. Богданов-Хорошев привел в штаб восставших рабочий отряд. По привычке он обратился так: «Товарищи, пришла рабочая дружина, где нам получить оружие?». Но в ответ на это он услышал: «Здесь нет товарищей, здесь только солдаты и офицеры»[65]. Интересно, что отвечавший избежал уточнения «граждане» или «господа».

Сознание человека, как и природа, не терпит пустоты. Вакуум, образовавшийся в результате низвержения старых символов, нужно было чем-то заполнить. И в это-то время, когда обыватель, точнее уже «гражданин Свободной России», искал новых кумиров, ему был предложен в готовом виде фактически завершенный семантический комплекс.

За полвека своей истории революционное подполье в России превратилось в своеобразный, живущий по собственным законам, общественный организм. В силу изолированного существования революционная среда выработала собственную субкультуру со своей историей, традициями, своими представлениями о морали, своим пантеоном богов и героев. Главное же — собственный набор символов и атрибутов, что, собственно, и отличает субкультуру. В результате обыватель и сам не заметил как стал «революционером».

Можно предположить, что одной из причин того, почему Временное правительство не смогло удержаться у власти, было несоответствие характера его деятельности и массового восприятия на уровне знаков и символов. Либеральное и умеренное, оно действовало на фоне осенявшего его красного флага, а это рождало ожидания, которые правительство неспособно было реализовать.

Либеральная же политическая традиция, представленная в 1917 г. прежде всего партией кадетов, оказалась просто неспособной противопоставить что-то агрессивному натиску революционной субкультуры. Возьмем простой пример. У всех на слуху был героический девиз эсеровской партии — «В борьбе обретешь ты право свое!». Может быть, чуть более непонятно, но тоже запоминающееся звучал девиз социал-демократов «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Кадетская партия все предыдущие годы как-то обходилась без девиза. Когда же кадеты попытались придумать что-то подобное, все кончилось конфузом. В руководстве партии явно не было специалистов по рекламе, поэтому вместо емкого девиза получилось нечто длинное и невнятное: «Взаимопомощь, упорство и труд к правде, свободе и счастью ведут».

Более того, поначалу либералы явно попытались усвоить все тот же «защитный» красный цвет. Зал, где проходили заседания VII съезда кадетской партии (март 1917 г.)

---

[64] Голос (Ярославль). 1917. 1 4 октября.

[65] Ярославское восстание. Июль. 1918 года. М. 1998. С.109.

был украшен красными и зелеными флагами. В один из дней депутация делегатов возложила венок с красно-зеленой лентой на братскую могилу жертв революции. Закончились заседания съезда хоровым исполнением «Вы жертвою пали»[66]. Ярославские кадеты вовлекли в свои ряды старого народовольца Н. А. Морозова (которому тогда уже шел седьмой десяток) и он всерьез рассуждал о прямом происхождении «партии народной свободы» (другое название кадетской партии) от революционеров Народной воли[67]. Осенью 1917 г. Морозов неудачно баллотировался в Учредительное собрание по именно кадетскому списку. Впрочем, это не помешало ему позднее воздать хвалу Советской власти, за что он и был награжден орденом Ленина. Попытки либералов усвоить стиль и манеру социалистических партий свидетельствовали только о слабости российского либерализма и еще раз напоминали обывателю о том, кто сейчас заказывает музыку.

В бытность существования революционного подполья у него фактически не было шансов долго противостоять полиции. Срок существования подпольного кружка не превышал полгода, после чего следовал неизбежный разгром и аресты. Любой, кто решился связать свою жизнь с революцией, должен был с самого начала настраивать себя на то, что впереди у него тюрьма, каторга, а то и виселица. По этой причине субкультура революционного подполья была основана на культе мучеников и жертв. Достаточно вспомнить революционные песни («Вы жертвою пали», «Замучен тяжелой неволей» и т. д.), чтобы представить себе ее мрачный колорит.

Не успели забыться демонстрации и митинги первых дней революции, как уже 10 марта 1917 г. в Ярославле была устроена еще одна массовая манифестация. Организаторы посвятили ее памяти жертв революции, хотя в провинции переворот большей частью обошелся без них. В перечне революционных праздников, обсуждавшихся на страницах газет, преобладают те, которые так или иначе были связаны с этим же. Вот что предлагалось в качестве новых праздничных дней: годовщина кровавого воскресенья, Ленского расстрела, декабрьского восстания в Москве. Да и само 1 мая, единственный революционный праздник, успевший получить общегосударственный характер, тоже был связан с памятью жертв полицейской расправы в Чикаго.

Жертвенность почти всегда сопутствует мессианству, а наличие мессианских настроений у русских революционеров неоспоримо. Их вожди ощущали себя апостолами новой веры, к которой они и стремились привести народ, не считаясь с его волей и желанием. Но готовность пожертвовать собой ради великой цели очень опасна, прежде всего для окружающих. Человек, готовый принести свою жизнь в жертву идее, мало считается и с жизнями других. История русской революции стала этому наглядным доказательством.

Если же вернуться к теме праздников, то нельзя сказать что и до революции в России был недостаток в праздничных днях. Так, в 1916 г. было 45 неприсутственных дней: двунадесятые праздники (т. е. 12 главных церковных праздников), плюс дни рождения, тезоименитства (именины) членов императорского дома, годовщина коронации и вступления на престол царствующего императора. В добавок к этому

---

[66] Голос (Ярославль).1917. 30 марта.
[67] Свободное слов (Ярославль). 1917. 12 ноября.

в Ярославле неприсутственными днями считались дни памяти ярославских чудотворцев и праздник иконы Толгской богоматери[68].

В 1917 г. ярославская городская дума утвердила новый список неприсутственных дней. В нем исчезли даты, связанные с членами прежнего царского дома (хотя осталось 6 декабря — тезоименитство бывшего императора, но лишь день «Николы — зимнего»). Из новых праздников в список попало только 1 мая, общее же их число сократилось до 29 [69]. Но это должно было не слишком расстроить любителей погулять вместо работы, так как в перечень постоянно вклинивались внеплановые даты. Ну, а называть ли их праздниками или днями «народного протеста», было не так уж и важно. Примером может служить массовая манифестация, состоявшаяся 15 мая 1917 г. Формально она была созвана в знак протеста против вынесения смертного приговора австрийскому социалисту Фридриху Адлеру. Но уж если даже городской голова в своем донесении по этому поводу перепутал Фридриха Адлера с Виктором Адлером, то большинство собравшихся на митинг заведомо не знали ни того, ни другого[70].

Политические манифестации были еще тем хороши, что в эти дни можно было не работать, но сполна получать положенное жалование. Прецедент здесь создал Рыбинский Совет рабочих и солдатских депутатов. В заседании от 16 марта он принял решение «признать право рабочих требовать от хозяев платы за время массовых политических выступлений, как, например, за дни 3 и 10 марта»[71]. Идею подхватили и в Ярославле, ну а хозяевам не оставалось ничего другого как согласиться.

Целесообразно напомнить, что речь у нас шла о том, что принесла с собой стране субкультура революционного подполья. Быть может, наиболее характерной ее чертой была ярко выраженная агрессивность. Разрушительная идея в сознании русского революционера доминировала над созидательной. 19 марта 1917 г. в Ярославле вышел первый номер газеты «Труд и борьба» — печатного органа губернского Совета рабочих и солдатских депутатов. Газета быстро завоевала популярность и тираж ее превысил две тысячи экземпляров[72]. Но дело не в тиражах, и даже не в содержании публикаций, а в названии самой газеты. Между тем, соединительный союз здесь явно уместнее было бы заменить разделительным. Но для тех, на кого рассчитана была эта газета «борьба» при любых условиях и в любой ситуации была превыше всего.

На улице политическая дискуссия вполне могла вылиться в драку. На упоминавшемся митинге 15 мая 1917 г. один из ораторов, посмевший выступить в поддержку правительства, был избит до потери сознания[73]. Революционная субкультура родилась в обстановке борьбы и не могла существовать без нее. Заняв место культурной доминанты, она неизбежно провоцировала новый конфликт.

---

[68] Справочная книга по Ярославской губернии на 1916 год. Ярославль. 1916. С. IV.

[69] ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д.1925. Л. 4.

[70] Установление Советской власти в Ярославской губернии. Сб. документов и материалов. Ярославль. 1957. С. 96. Виктор Адлер — один из организаторов и лидеров австрийской социал-демократии. Его сын Фридрих Адлер был в 1917 г. приговорен к смертной казни за убийство министра-президента Штюргка.

[71] Голос (Ярославль). 1917. 17 марта.

[72] ГАЯО. Ф.Р-180. Оп.1. Д. 89. Л.1; д.90. Л.1.

[73] Установление Советской власти в Ярославской губернии. С. 96.

3. Поиск врага и начало политического размежевания

В России власть, особенно власть верховная, всегда носила персонифицированный характер. Власть должна была иметь имя и лицо, хотя бы для того, чтобы в присутственных местах можно было бы повесить нужные портреты. Но претендент на положение «лица революции» определился не сразу. Поначалу на эту роль претендовал председатель Государственной думы М. В. Родзянко. Уже 1 марта 1917 г. Рыбинский биржевой комитет направил на имя Родзянко телеграмму, приветствуя его как главу новой революционной власти[74]. Как оказалось, это было сделано слишком поспешно. Уже на следующий день Временный комитет Государственной думы сменило Временное правительство, а в его состав Родзянко не попал. Какое-то время было непонятно, кого же теперь считать лицом и символом государственной власти. Председатель правительства князь Г. Е. Львов поему-то в этом качестве не прижился. Может быть потому, что он был князем, а это не соответствовало резко полевевшим общественным настроениям. Действительно, кому адресовать приветственные телеграммы. «Его сиятельству гражданину председателю Временного правительства»? Зато скоро у обывателя появился кумир, в короткий срок ставший невероятно популярным. Речь идет, конечно, о А. Ф. Керенском.

Весной и летом 1917 г. газеты были полны телеграммами в его адрес. Вот один, взятый наугад, пример: «Команда ярославского военного лазарета, собравшись 9 мая для выборов членов дисциплинарного суда, единогласно постановила приветствовать Вас — первого министра-социалиста, пользующегося любовью и уважением всей Руси великой. С радостью отдаем все наши силы в Ваше распоряжение»[75]. Теперь попробуем в этом разобраться. Лазаретная команда (сколько в ней числилось человек? Двадцать? Тридцать?), собравшись для решения вполне конкретного вопроса, ни с того ни с сего посылает министру телеграмму с выражением преданности и любви. Если подумать, в этом есть что-то ненормальное. Эта патологическая любовь нарастала вплоть до осени. В одной из воскресений августа ярославский Союз печатников устроил на Казанском бульваре гулянье с популярным в ту пору развлечением — «американским аукционом». Портрет Керенского на этом аукционе был продан за 25 рублей, в то время как следующий за ним по стоимости портрет Е. К. Брешко-Брешковской потянул всего на 6 рублей 25 копеек[76].

Когда о Керенском уже говорила вся страна, Ленина чаще всего путали с его однофамильцем — известным актером Малого театра. Впервые о Ленине ярославские газеты начинают писать в середине апреля. По большой части упоминания о нем — это перепечатки из центральных изданий, критические по своему тону. Диапазон критики колебался от умеренной на страницах меньшевистской газеты «Труд и борьба» до довольно резкой в кадетском «Голосе». У читателя в целом должно было сформиро-

---

[74] Вестник Рыбинской биржи. 1917. 2 марта.

[75] Голос (Ярославль) 1917. 11 мая.

[76] Труд и борьба (Ярославль). 1917. 22 августа. О культе Керенского См.: *Федюк В. П.* А. Ф. Керенский и конец «эпохи надежд» // Ярославский педагогический вестник. 1997. № 3; *Колоницкий Б. И.* Культ А. Ф. Керенского: образы революционной власти// Отечественная история. 1999. № 4

ваться негативное отношение к последователям Ленина, но кто он такой газетные публикации толком не объясняли. В апреле на вокзале солдаты задержали и доставили в милицию случайного пассажира только за то, что его фамилия была Ленин[77].Частота упоминания Ленина в газетах заметно возрастает со времени июльских событий. К осени у большевистского лидера уже сложилась всероссийская известность, без чего большевики не могли претендовать на власть.

Что касается Керенского, то одним из первых распоряжений его еще в качестве министра юстиции был приказ об освобождении всех, находящихся на каторге и в ссылке политзаключенных. В Сибирь за ними были посланы два специальных санитарных поезда №№ 182 и 190. Местным властям было предложено широко оповестить население о времени, когда они будут следовать обратно[78]. На маленьких и больших станциях собирались толпы народу с оркестрами и хлебом-солью. Провинциальный обыватель, лишенный зрелищ, как всегда доставшихся на долю столиц, жаждал поглазеть на Марусю Спиридонову или кого-то из других героев революции. Ну, а поезд останавливался в лучшем случае на пять минут или вообще шел мимо не снижая скорости. Очередной «герой революции», глядя из окна на собравшуюся толпу, «скользнул по ней улыбкой нежною, скользнул, а поезд вдаль умчало».

Политика вершилась в Петрограде и Москве, но никак не в тихом Ярославле. Единственной посетительницей из числа известных лиц, побывавшей в ту пору в Ярославле была уже упомянутая Брешко-Брешковская. Сейчас ее, наверное, помнят только историки-специалисты, тогда же имя ее было на слуху у всех. Надо сказать, что основания для такой известности были, так как Екатерина Константиновна была женщиной незаурядной. Участница еще «хождения в народ», первая в России политкаторжанка и прочая, и прочая. Было ей ко времени, о котором мы ведем речь уже 73 года, потому иначе как «бабушка русской революции» ее никто не называл.

Брешко-Брешковская приехала в Ярославль 16 апреля по приглашению местной эсеровской организации. В Волковском театре состоялся митинг, билеты на который разошлись за считанные часы. Ярославцы излили на «бабушку» все то, что не досталось другим знаменитостям, так до города и не добравшимся. Ажиотаж в театре царил чрезвычайный. Букеты заполонили всю сцену, а в довершении председательствующий на митинге объявил, что отныне городской сад в Ярославле будет носить имя Брешко-Брешковской. «Бабушку» это так растрогало, что она не забыла упомянуть об этом в своих воспоминаниях, написанных уже в эмиграции[79]. Но, кажется, ее ввели в заблуждение. Ни в каких документах «сад имени Брешко-Брешковской» не упоминается. Похоже, что устроители митинга уже на следующий день забыли свое обещание. Может быть, это было и к лучшему, сад хотя бы не пришлось вновь переименовывать. Ведь осенью, уже при большевиках, ярославские газеты начали поносить Брешко-Брешковскую, теперь уже как контрреволюционерку, купленную американскими капиталистами за два миллиона рублей[80].

---

[77] Голос (Ярославль). 1917. 25 апреля.

[78] Ростовский филиал ГАЯО. Ф. 211. Оп.1. Д. 4.

[79] *Колоницкий Б. И.* Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб. 2001. С. 231.

[80] Власть труда (Ярославль). 1917. 28 ноября.

Весной же приезд «бабушки» всколыхнул город. Те, кто не сумел попасть в театр, осаждали вестибюль гостиницы «Бристоль», где остановилась «бабушка». Здесь то и началась та трагикомическая история, ради которой мы затеяли весь рассказ. Среди восторженных посланий, адресованных «бабушке», оказался конверт с письмом, содержавшим площадную ругань. Неизвестный автор письма угрожал Брешко-Брешковской расправой в том случае, если она не покинет город. К письму прилагалась коробочка, кокетливо перевязанная бантиком. После того как ее вскрыли, в коробке были обнаружены экскременты[81].

Секретарь Брешко-Брешковской передал письмо и коробку организаторам визита с просьбой разобраться в случившемся. Это было сделать несложно. Первый этаж здания гостиницы занимал магазин фирмы «Треугольник» (крупнейшего в России производителя галош и других резиновых изделий), где бухгалтером служил В. И. Кригер — по общественной своей должности секретарь исполкома местного комитета партии эсеров. В магазин часто захаживал А. З. Рысин, то ли родственник, то ли знакомый Кригера. Рысин (21 год, из евреев-беженцев, ранее безработный) примерно месяц к этому времени числился в рядах ярославской милиции. Ему-то Кригер от имени партии эсеров и поручил заняться этим делом.

Рысин рьяно принялся за поиски анонимного автора «подарка для бабушки». Он опросил швейцара и тот сказал, что письмо и коробку принесла дама высокого роста, одетая в короткую жакетку. Письмо было вложено в фирменный конверт Романовской льняной мануфактуры. Рысин направился в правление мануфактуры, но здесь выяснилось, что конверты лежат в конторе свободно и доступ к ним имеют самые разные люди. Тогда, предъявив членский билет партии эсеров, Рысин потребовал, чтобы ему предоставили доступ к образцам почерков всех служащих правления. Однако ни один образец опознать не удалось.

Но Рысину чем-то не приглянулась Капитолина Классен — жена работавшего в правлении поручика К. П. Классена. Позднее при дознании он выдвигал только один аргумент против нее — «муж у нее офицер, а значит может быть провокатором»[82]. Вызванный в контору швейцар из «Бристоля» подозреваемую не опознал, но Рысин на этом не успокоился. Он стал как на работу каждый день ходить на квартиру к Классен в доме Михайлова на Пробойной, допрашивать денщика ее мужа, горничную, управляющего домом. При этом он говорил, что обо всем доложено Керенскому и со дня на день ожидается приказ об аресте того, что передал «бабушке» «гадский подарок».

Не выдержав этого преследования, Классен и ее муж написали жалобу в Комитет общественной безопасности. В итоге Рысин был уволен со службы, а история с «гадским подарком» так и осталась тайной. Но для нас не так уж принципиально, кто стоял за этой глупой, в сущности, затеей. История с «подарком для бабушки» дает возможность выявить ряд тревожных явлений, заявивших о себе уже на начальном этапе революции.

Обратим внимание на то, что Рысин действовал по поручению партийного начальства, а не своего непосредственного милицейского, а являясь с допросом, предъявлял удостоверение члена партии эсеров, а не милиционера. При этом самое удивительное

---

81 ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д.1161. Л.11.

82 Там же. Л. 14.

то, что все беспрекословно ему подчинялись. Здесь мы снова сталкиваемся с уже отмеченным ранее обстоятельством — революционные партии воспринимались (и, повторим, незаслуженно) как победители, а с победителями лучше не спорить. Интересно и другое — революционеры, любившие повторять как они пострадали он жандармов, сами при случае не прочь были взять на себя жандармские функции.

Уже с первых дней после крушения монархии повсеместно начался поиск врагов революции. Наличие таковых предполагалось чисто логически, поскольку на практике было не очень ясно, кого зачислять во враги. Первым делом туда попало прежнее начальство и представители карательных органов — от жандармов до рядовых полицейских. Ярославский Совет уже на первом своем заседании 1 марта 1917 г. потребовал от Комитета общественной безопасности немедленно приступить к ликвидации старой власти. Одновременно были предприняты попытки погромов бывших полицейских участков и самочинные аресты городовых. Для предотвращения этого Комитет 3 марта отдал распоряжение заключить под стражу губернатора и чинов полиции.

Как уже отмечалось губернатор Н. Л. Оболенский в первые дни революции выразил полную лояльность происходящим переменам, да и в должности своей он пробыл менее четырех месяцев. Посчитав, что никаких преступлений против «революционного народа» он не совершал, Комитет общественной безопасности 6 апреля принял решение освободить бывшего губернатора из-под стражи. Вслед за ним были освобождены и некоторые другие арестованные. Однако это вызвало активное недовольство Совета. Для того, чтобы не обострять ситуацию, Комитет в заседании 19 мая 1917 г. принял решение: «Общего освобождения в настоящее время не производить ввиду имеющихся сведений о тревожном положении Ярославля в отношении неорганизованных выступлений масс»[83]. В персональном порядке дела арестованных представителей старой власти продолжали разбираться и уже к осени большая часть из них была выпущена на свободу.

Со «слугами старого режима» все было более или менее ясно. Но главным пугалом были не они, а некие затаившиеся сторонники прежней власти, обезличенные, а потому особо страшные. По отношению к ним весной 1917 г. наиболее часто употреблялся термин «темные силы». Первоначально под этим подразумевался некий «коллективный Распутин» — сам «старец» и его окружение. Однако довольно скоро это понятие стало трактоваться расширительно. В постановлении губернского комиссара от 18 августа 1917 г. упоминается «погромная агитация темных сил», в октябре к «темным силам» были причислены и большевики. Как и позднейшие «враги народа», ярлык «темные силы» был хорош своей абстрактной неопределенностью, позволявшей навешивать его к чему угодно.

Быть причисленным к сторонникам «темных сил» означало навлечь на себя серьезные неприятности. Немногим более недели спустя после февральско-мартовского переворота ярославские газеты сообщили о характерном случае. В поезде, следовавшем через Ярославль в Кострому, некий священник открыто ругал новую власть. В вагоне нашлись бдительные попутчики и из Бурмакино на следующую станцию была дана телеграмма. В результате священник, позволивший себе неосторожные высказывания, был в Костроме арестован по распоряжению Комитета общественной

[83] Ростовский филиал ГАЯО. Ф. 211. Оп. 1. Д. 27. Л. 22.

безопасности[84]. Дальнейшая судьба его неизвестна. Вряд ли за этим арестом последовало что-то серьезное, но показательно, что уже в дни всеобщей эйфории всего лишь публично высказанное мнение могло стать основанием для репрессий.

Показательно, что героем рассказанной нами истории был священник. Хотя революция поначалу активно использовала ритуалы, заимствованные из церковного обихода, отношение ее к церкви и церковнослужителям было весьма настороженным. В начале апреля в ярославской газете «Труд и борьба» была опубликована статья, автор которой обвинял духовенство во главе с архиепископом Агафангелом в сочувствии к свергнутой власти[85]. Само название статьи «Вибрионы контрреволюции» автоматически причисляло их к числу тайных врагов.

К потенциальным врагам революции было причислено и офицерство. Мы вовсе не собираемся утверждать, что среди священнослужителей или офицеров не было тех, кому новая власть пришлась не ко двору. Но число их поначалу было невелико и если впоследствии и стало большим, то виноваты в этом были сами бдительные защитники новых порядков. В особенной мере это относится к офицерству, которое за годы войны коренным образом изменилось в качественном отношении. Теперь в его рядах абсолютное большинство составляли выходцы из средних городских слоев, крестьян и рабочих[86]. Многие из них с восторгом приняли революцию, но быстро вынуждены были разочароваться. Это можно ярко проиллюстрировать выдержкой из дневника уроженца Рыбинска прапорщика А. И. Лютера:

> «Сидишь, как пень, и думаешь, думаешь о грубости и варварстве. Не будь его — ей Богу, я был бы большевиком, только поменьше социализма… Будь все сделано по-людски, я отдал бы им и землю и образование, и чины, и ордена… Так нет же: «Бей его мерзавца, бей офицера (сидевшего в окопах), бей его помещика, бей дворянина, бей интеллигента, буржуя, соси его последние соки», — и, конечно, я оскорблен, унижен, истерзан, измучен»[87].

Попытки расправы солдат над офицерами в Ярославле отмечались уже с лета 1917 года. Осенью уже многие офицеры предпочитали ходить по улицам в штатском, чтобы не стать жертвой распоясавшихся «защитников революции»[88].

Была еще одна группа потенциальных контрреволюционеров, попавшая в этот разряд в силу не социального, а родственного положения. Как мы помним, бдительный Рысин заподозрил Капитолину Классен в причастности к истории с «гадским подарком» потому что она была женой офицера. Далее у нас речь пойдет о несостоявшем-

---

[84] Голос (Ярославль). 1917. 10 марта.

[85] Труд и борьба (Ярославль). 1917. 6 апреля. На самом же деле ярославское духовенство в массе своей восприняло революцию вполне лояльно. В резолюции общеепархиального съезда, состоявшегося в начале июля, говорилось по этому поводу: «Ярославский общеепархиальный съезд духовенства и мирян искренне приветствует новый государственный строй, вполне соответствующий духу Церкви как учреждения соборного, и будет единодушно и всемерно поддерживать его словм и делом» // *Бабкин М. М.* Духовенство РПЦ и Февральская революция 1917 г. Документы и материалы Святейшего Синода, епархиальных, городских, благочинских съездов и собраний российского духовестства. М. 2002. С. 26.

[86] *Волков С. В*. Трагедия русского офицерства. М. 1999. С. 8.

[87] Лютер А. Дневник офицера // Памятники Отечества. 1992. № 25. С. 156.

[88] Свободное слово (Ярославль). 1917. 2 декабря.

ся еврейском погроме в Ярославле в августе 1917 года. Задержанная по этому делу Мария Рыжова тоже была обвинена в том, что «наверное, она жена полицейского»[89]. Как тут не вспомнить позднейших «жен изменников родины».

С лета 1917 г. применительно к затаившимся врагам революции все чаще начинает применяться общая характеристика — «буржуи». Русская интеллигенция, как уже отмечалось, всегда испытывала сильные симпатии к революционной среде, даже в той своей части, которая ее впрямую не касалась. В результате, многие элементы субкультуры революционного подполья распространились за его непосредственные рамки. Так в общем-то нейтральное слово «буржуа» приобрело в России негативный оттенок задолго до революции.

В «Карманном словаре иностранных слов», выпущенном известным издательством Ф. А. Иогансона, слово «буржуа» расшифровывается двояко: «1. Горожанин, представитель среднего сословия; 2. Защитник интересов капитала против рабочих»[90]. В 1917 г. второе из этих значений фактически стало единственным. Впрочем, в провинции оно долгое время воспринималось как очередное непонятное заклинание вроде «аннексий и контрибуций». Вот очередной подслушанный на улице разговор:

> «И что это, матушка, за буржуат такой? — обращается пожилая самого деревенского вида крестьянка к другой такой же. — Каждый день про него слышишь. О намендни у кум-Егора именины справляли, так тоже крепко ругали буржуата этого. Енерал он что ли какой немецкий? — А Бог его ведает! Частенько, должно быть, ему икается»[91].

К концу года слово «буржуй» окончательно превратилось в бранное, причем бранное, с оттенком презрения. «Буржуй» в этой трактовке вовсе не всесильный «владелец заводов, газет, пароходов», а бесправное существо, больше всего соответствующее уголовному «фраер». В ноябре 1917 г. в ярославские газеты попал следующий эпизод. Поздним вечером ассенизаторы, поленившись доехать до места назначения, стали сливать содержимое своих бочек прямо на Романовской улице. Случай этот, к тому времени мог считаться уже чем-то обыденным, но какой-то прохожий все же высказал свое недовольство. В ответ он услышал: «Ты кто, буржуй? Хочешь выкупаем тебя в бочке? Пойди пожалуйся в губернаторский дом… Мы сами теперь красногвардейцы. Мы теперь возьмемся за вас, буржуев, мы вам покажем, что значит рабочий народ»[92].

Обратим внимание, что все это происходило еще до большевиков, или, во всяком, случае, еще до того как они прочно встали на ноги. Еще не национализированы заводы и пароходы, еще выходят «буржуазные» газеты, а кличка «буржуй» звучит оскорбительнее, чем в былые времена бродяга или зимогор. Вся традиционная система ценностей совершила диаметральный поворот и это было, может быть, главным результатом революции.

Осенью в ярославское городское училище явился старший брат одного из учеников и заявил, что тот больше продолжать учебу не будет. Свое поведение он мотивировал следующим образом:

---

[89] ГАЯО. Ф. 346. Оп. 7б. Д.161. Л.4.

[90] Карманный словарь иностранных слов. СПб.- Киев -Харьков. 1909. С. 99.

[91] Голос (Ярославль). 1917. 29 сентября.

[92] Свободное слово (Ярославль) 1917. 25 ноября.

«Теперь никаких дипломов и аттестатов не будет, теперь неграмотный больше грамотного начнет зарабатывать…»[93].

Богатство и образование больше не являлись предметом гордости. Наоборот. Если ты образованный, значит «буржуй», и значит всю жизнь быть тебе объектом помыкания. Эта извращенное, переиначенное представление о том, «что такое хорошо, и что такое плохо» стало стержнем всей советской эпохи. В годы же революции слово «буржуй» стало восприниматься как суммарное обозначение ее врагов. «Буржуем» мог быть и фабрикант, и нищий офицер, не имевший ничего кроме жалования и просто человек, не соблюдающий униформу революции и рискнувший появиться на улице в шляпе или котелке. Поиск «врага» прежде всего шел по линии классового деления, но старая привычка заставляла искать чужих и среди тех, кто говорил на другом языке, отличался по религиозному или культурному признаку.

4. Национальный вопрос в контексте революции

Еще в конце XIX в. население Ярославля было фактически однородно в национальном отношении. Согласно переписи 1897 г. русских среди жителей города было 95 % (68 470 человек). Среди других национальностей на первом месте стояли евреи — 1,2 % (889 человек), затем поляки — 1%, украинцы — 0,8 %, немцы — 0,4 %, представительство же прочих исчислялась сотыми долями процента[94]. За прошедшие ко времени революции двадцать лет население города почти удвоилось. Однако этот рост был преимущественно достигнут за счет своей же деревни и потому почти не отражался на национальном составе.

Ситуация изменилась во время мировой войны. Одной их характерных примет военного времени стал беженский поток, наводнивший центральные губернии. В 1917 г. в Ярославле было зарегистрировано уже 17 990 беженцев. Среди них русских было 3 982, поляков — 5762, евреев — 2838, латышей — 2636, литовцев — 2457 [95]. Таким образом, доля поляков среди жителей города выросла в шесть раз, евреев — в четыре раза, появились ранее не существовавшие многочисленные общины литовцев и латышей. Суммарно же число беженцев, представлявших нерусские народы, составило 10 % населения, с учетом же тех, кто жил в Ярославле до войны этот показатель нужно увеличить как минимум до 15 %, а это уже ставило в повестку дня национальный вопрос.

Среди вновь появившихся национальных общин были и те, которые не регистрировались беженской статистикой. Формально их представители беженцами не являлись, хотя их появление на ярославской земле тоже было связано с войной. Это, прежде всего, китайцы. Мобилизация породила нехватку рабочих рук, особенно на неквалифицированных работах, которую и восполнили китайские «кули». В Ярославской губернии ко времени революции на дорожных работах и разгрузке речных судов было занято уже около 3 тыс. китайцев. К этому числу нужно прибавить какое-то количество владельцев и служащих прачечных, мелочных лавок, рыночных фокусников.

---

93 Свободное слово (Ярославль). 1917. 21 ноября.

94 Ярославский край в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона. Ярославль. 1996. С. 241.

95 Голос (Ярославль). 1917. 20 сентября.

Точную цифру определить невозможно, поскольку большинство китайцев находилось в России на нелегальном или полулегальном положении.

Отношение жителей Ярославля к китайцам было в целом доброжелательным и даже сочувственным.

> «Вот что буржуазиат-то ихний китайский наделал! Эдакую им далищу из Китая переть пришлось. Известное дело, кому тут сладко. У них тоже мандарины — вроде наших капиталистов»[96].

На дорожных работах были заняты и представители еще одной экзотической тогда для центральных российских губерний национальной общины — сарты и киргизы. Сартами тогда называли узбеков и таджиков, а киргизами не собственно киргизов, а казахов. В городе их видели редко. Большинство азиатских рабочих было занято на строительстве железнодорожной ветки у Данилова[97]. Жили они изолировано, по-русски почти не говорили и как правило избегали контактов с местным населением.

Зато другая национальная община, куда менее многочисленная, постоянно фигурировала на страницах газет и в уголовном делопроизводстве. Речь идет об ингушах, которые нанимались для охраны имений и железнодорожных складов. Ингушей в Ярославле было не более сотни но конфликты с их участием вспыхивали едва ли не еженедельно. В апреле 1917 г. все ярославские газеты обошло сообщение о массовой драке на станции Всполье. По характеру своему она превратилась в настоящую «битву народов», так как в ней приняли участие и ингуши, и солдаты ярославского гарнизона и даже пленные австрийцы. Разобраться в ее причинах теперь уже невозможно (солдаты, якобы, вступились за 13-летнею девочку, которую ингуши пытались изнасиловать). Интереснее другое. После драки солдаты потребовали выселить всех ингушей на Кавказ как «представителей старого строя»[98]. Конечно, весьма сомнительно, что ингуши-охранники были сознательными сторонниками свергнутой монархии. Просто обстановка накладывала свой отпечаток на происходящее, в результате чего бытовой, в общем-то, конфликт получил «революционную» мотивацию.

Что касается беженцев из западных губерний, то они сравнительно бесконфликтно вписались в жизнь города. Время от времени, конечно, возникали разговоры о том, что приток беженцев породил жилищный кризис, что именно они виновны в нехватке продовольствия, но в столкновения на национальной почве это не выливалось. В Ярославле, страдавшем от нехватки жилья и свободных площадей под застройку, беженцы попросту не могли селиться целыми кварталами и улицами. Ну а жизнь бок о бок заставляла местное население и приезжих находить общий язык. Один из современников так вспоминал об этом:

> «Сначала было тяжело нам понимать друг друга, а потом нашлись среди них люди, которые могли бы объясняться на их родном языке — переводить на русский и обрат-

---

96 Голос (Ярославль). 1917. 29 сентября

97 Голос (Ярославль). 1917. 2 июля

98 *Голос* (*Ярославль*). 1917. 13 апреля. Газета «Труд и борьба» вместо ингушей пишет о «тюркменах», т. е. сартах, но из деталей видно, что речь идет все же об ингушах. См.: Труд и борьба. 1917. 13 апреля.

но… Впоследствии часть беженцев определилась на работы и стали (нашими) близкими знакомыми»[99].

Городские власти по мере возможности помогали беженцам, учитывая при этом их национальный состав. В городе действовали общества по пропаганде национальной культуры, в школах были открыты польские, латышские, литовские, еврейские классы[100]. В источниках тех лет нам удалось найти упоминание об единственном конфликте с участием беженцев, в котором с натяжкой можно увидеть национальную подоплеку. Началась эта история 31 июля 1917 г. в переполненном пригородном поезде на станции Путятино. Пассажиры говорили о самом наболевшем — растущих ценах. Какая-то женщина заявила, что все беды от беженцев. Тут-то в разговор и вмешался польский беженец Генрих Табачинский. Он ответил, что беженцы не причем, а цены растут оттого, что идет война. Распалившись, он начал кричать, что «все, стоящие во главе управления воюющих держав дураки, дурак и военный министр Керенский». На его беду в том же вагоне ехал даниловский уездный комиссар. Он-то и потребовал у Табачинского документы, а потом сдал его вызванному милицейскому наряду[101].

Было начато дело об «агитационных речах, направленных против Временного правительства, для него оскорбительных и способствующих распространению дезорганизации и анархии». Затянулось оно на несколько месяцев и лишь в конце ноября, когда не было уже самого Временного правительства, окружной прокурор принял решение о его прекращении. Этот случай интересен с точки зрения разных аспектов, но сейчас для нас важно то, как здесь проявилась национальная проблема. Комиссар, проверив документы Табачинского, сказал: «Вы Генрих, немец. Если бы ваше звание было Иваном или Николаем, вы бы так плохо о Керенском не говорили». На возражение Табачинского о том, что он поляк, комиссар ответил: «Я отправлю вас в Ярославль. Пусть там выясняют, немец вы или поляк». На допросе Табачинский постоянно подчеркивал это: «Повторяю, я арестован потому что звать меня Генрихом, а не Иваном»[102].Заметим, поляк Табачинский был арестован как «немец», а это придает всей истории совсем другой характер.

Как уже было указано, в конце XIX в. количество немцев, постоянно проживавших в Ярославле, не составляло и одного процента от общего числа населения. Если быть точным, то было их 309 человек[103]. По большей части это врачи и аптекари, инженеры и управляющие.

«Немцы держались кучкой, все друг друга знали, поддерживали и продвигали. Кучка эта была довольно обособленная и замкнутая, достаточно тесна, но и в ней была своя иерархия, свои большие и меньшие люди, свое подчинение и почитание. С местным обществом они сносились, но в тесное общение почти не входили и в свой круг русских вводили мало и трудно»[104].

---

[99] *ГАЯО*. *Ф*. Р-849. Оп.1. Д.67. Л. 4.(Воспоминания Пчелина).

[100] См.: *Попинова М. В*. Организация помощи беженцам первой мировой войны (на примере Ярославского городского комитета помощи беженцам) // Народ, политика и власть в истории России. Ярославль. 2000.

[101] ГАЯО. Ф. 347. Оп. 1. Д.1172. Л.12.

[102] Там же. Л. 27–28.

[103] Ярославский край в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона. С. 241.

[104] *Дмитриев С. В*. Воспоминания. Ярославль. 1999. С. 328.

В свою очередь, другие жители города относились к ним с некой долей иронии. Немцы («русский, немец и поляк») были самыми популярными персонажами тогдашних анекдотов, в которых они представали людьми старательными, но слегка придурковатыми. Тем не менее, у большинства ярославских немцев была репутация людей солидных и уважаемых.

Все изменилось с началом мировой войны, когда по инициативе властей в стране была развернута кампания «борьбы с немецким засильем»[105]. Не обошла она стороной и провинцию. Ярославские жандармы всерьез занимались поисками германского шпиона, прибывшего для того, чтобы взорвать мост через Волгу, причем шпион этот «офицер, переодетый в женское платье»[106]. В городской же думе кое-кто из гласных, еще недавно почтительно пожимавших руку соседу-немцу, требовал уже выселения из города всех немцев[107]. В мае 1915 г. в Ярославле дело чуть не дошло до погрома немецких магазинов и аптек[108].

Антинемецкая истерия была раздута явно искусственно, что доказывает ее немедленное прекращение после крушения монархии. В ярославских газетах того времени можно встретить упоминания лишь о единичных рецидивах былой шпиономании. В конце мая на пароходе «Ярослав Мудрый», следовавшим из Нижнего Новгорода в Ярославль, две барышни, прогуливавшиеся по палубе, вздумали завести беседу на английском языке. Однако по доносу бдительных пассажиров (видимо, плохо разбиравшимся в иностранных языках) они едва не были арестованы за то, что «говорили по-немецки»[109].

Более того, по мере нарастания разочарования в завоеваниях революции в обывательской среде начинают возникать симпатии в отношении недавно проклинаемого врага. В августе 1917 года в одной из ярославских газет было опубликовано частное письмо, полученное из оккупированной немцами Риги. Помещено оно было без всяких комментариев, но сама приведенная в нем информация (немцы навели в городе порядок, на улицах появились городовые, по воскресениям на площади играет духовой оркестр) должна была вызвать зависть у истосковавшихся по порядку читателей[110]. Октябрьский переворот и приход к власти большевиков еще более усилил это стихийное германофильство. Среди прокадетски настроенной ярославской интеллигенции в это время гуляла мысль о необходимости сближения России и Германии:

«Высказывалось предположение, что дальнейшее существование советской власти, в течении хотя бы и непродолжительного времени, сделает невозможным возрождение

---

[105] Подробнее об этом См.: *Дякин В. С. Первая мировая война и мероприятия по ликвидации так называемого немецкого засилья //Первая мировая война*. 1914–1918. *Сб. статей. М.* 1968; *Нелипович С. Г. Репрессии против подданных «центральных держав» //Военно-исторический журнал*. 1996 № 6; *Соболев И. Г.* Борьба с «немецким засильем» в России в годы первой мировой войны . Автореф. дисс… канд. ист. наук. СПБ. 1998

[106] ГАЯО. Ф. 73. Оп. 9. Д.679. Л. 1.

[107] *ОР РНБ. Ф.* 266. Оп. 1. Д.554. Л.6.

[108] *Бочкарев В. Н.* Предпосылки революции 1917 года в Ярославском крае // Ярославская старина. 1924. Вып. 1. С. 25.

[109] Голос (Ярославль). 1917. 1 июня

[110] Ярославская мысль. 1917. 23 августа.

государства в будущем, соглашение же с Германией, свергая советскую власть, хотя и наложит на Россию цепи экономического рабства, но тем не менее даст ей возможность возродится в будущем»[111].

Эта длинная и несколько неуклюжая цитата из протокола заседания местной кадетской организации дает представление об изменившемся отношении к Германии и немцам.

Но как же тогда быть с Генрихом Табачинским арестованным за то, что в нем заподозрили немца? На наш взгляд все объясняет дата — Табачинский был арестован 31 июля 1917 года, когда вся Россия жила под влиянием отзвуков недавних петроградских событий. Напомним, что в газете «Живое слово» были опубликованы материалы, обвинявшие Ленина в шпионаже в пользу Германии. «Большевик» и «немец» воспринималось в это время как одно и тоже. Не случайно, что свидетели по делу Табачинского вменяли ему в вину «речи в духе Ленина»[112]. Таким образом, поляк Табачинский был арестован как «немец», что следовало понимать как «большевик». При таком раскладе это дело приобретает политический, а никак не национальный подтекст.

Образ немца-врага не сумел укрепиться в массовом сознании. Все чаще германофобию подменял привычный обывателю антисемитизм. Конечно, Ярославль это не Кишинев или Одесса, однако и в Ярославле в октябре 1905 года имел место еврейский погром[113]. Естественно, что в городе действовали и обычные дискриминационные меры, проводившиеся на государственном уровне. Впрочем, как это бывало везде, еврейское население Ярославля приспосабливалось и к дискриминации. Среди ярославских евреев было немало людей состоятельных и уважаемых: аптекари Аарон Бернштейн и Исаак Моргер, часовщик Гольдберг, хлеботорговец Исаак Робертович и др.[114]

Свержение монархии уничтожило государственный антисемитизм. Весной 1917 г. еврейская община в Ярославле организовалась в самостоятельную корпорацию. 18 марта состоялось собрание евреев, проживающих в городе, на котором были избраны руководящие органы общины[115]. Весной-летом регулярно проводились вечера еврейской культуры. Осенью в Ярославле начал работать «Еврейский рабочий клуб имени Бронислава Гессера»[116]. На Духовской улице было открыто еврейское кафе с характерным названием «Равенство» (позднее оно превратилось в притон пьяниц и наркоманов), однако юдофобские настроения на бытовом уровне, антисемитизм толпы, продолжали существовать и через несколько месяцев достаточно громко заявили о себе.

Впервые о грядущем еврейском погроме в городе заговорили 3 августа. В этот день на Семеновской площади толпой, состоявшей преимущественно из женщин, был задержан интендантский воз с сахаром, следовавший на железнодорожную стан-

---

[111] Цит. по: Федюк В. П. Кадеты и ярославский мятеж 1918 года // Великий Октябрь — торжество идей марксизма-ленинизма. М., 1987. С. 64.

[112] ГАЯО. Ф. 347. Оп. 1. Д.1172. Л.22.

[113] *Размолодин М. Л.* Черносотенное движение в Ярославле и губерниях Верхнего Поволжья в 1905–1915 гг. Ярославль. 2001. С. 15.

[114] ЦДНИ ЯО. Ф. 394. Оп. 5. Д. 80. Л. 152–162.

[115] Голос (Ярославль). 1917. 1 9 марта

[116] ГАЯО. Ф.509. Оп.1. Д. 1877.Л. 508.

цию для последующей отправки в Рыбинск. Несмотря на то, что были предъявлены все необходимые документы на вывоз, толпа предприняла попытку растащить сахар. Раздавались крики о том, что это евреи вывозят из города продовольствие. Лишь прибытие воинской команды с оружием рассеяло собравшихся[117].

Через две недели события эти повторились в еще большем масштабе.16 августа 1917 г. около пяти часов вечера на углу Борисоглебской и Духовской улиц у городского продовольственного комитета собралась толпа, состоявшая преимущественно из женщин. Кто-то из них пришел в комитет для того, чтобы оформить карточки, но попал к закрытию и, естественно был этим недоволен. Кто-то просто проходил мимо и присоединился к собравшимся любопытства ради. Так или иначе, но поведение толпы очень скоро приняло неуправляемый характер. Раздались крики о том, что в нехватке продовольствия виноваты евреи, скупающие и прячущие продукты. Дело дошло до драки, в которой пострадал студент Фрид, к его несчастью попытавшийся урезонить разбушевавшихся женщин. В толпе уже начали звучать призывы к погрому еврейских квартир и только срочно прибывший наряд конной милиции сумел рассеять собравшихся.

Милицией были задержаны жительницы Ярославля Рыжова и Повалихина, кричавшие особенно громко. Забегая вперед, скажем, что для них все закончилось сравнительно безболезненно — на следующий день их отпустили под гласный надзор. Но показания, данные ими во время следствия, очень интересны для выяснения изменения общественных настроений. По словам Повалихиной, толпа собралась громить евреев после того как какая-то еврейка из окна закричала: «Помните, вы русские, как мы Николая II с престола свергли, так и вас теперь перемелем в меленке»[118]. Разумеется, это было выдумкой, и опрошенные свидетели не подтвердили этот эпизод. Зато те же свидетели указали, что призывы к погрому сопровождались утверждением, что евреи хотят захватить власть[119].

Отметим здесь два обстоятельства. Во-первых, утверждение о том, что евреи захватили власть и виновны во всех бедах России, широко было распространено позже, уже при большевиках (в рядах которых действительно было немало евреев), но в нашем случае до прихода большевиков оставалось еще три месяца. Иными словами, не большевистская власть вызвала повальный антисемитизм гражданской войны, корни его лежали глубже.

Второе обстоятельство нам представляется еще более важным. Всего за полгода да этого крушение трона воспринималось как великое счастье, теперь же можно было понимать, что это было трагедией, повинны в которой «враги-евреи». Это очень симптоматично. Можно сказать, что неудавшийся августовский погром был первым зафиксированным показателем коренных изменений общественных настроений ярославцев. Разочарование в революции и том, что она принесла с собой, вылилось в обвинения против евреев и симпатии к немцам. Политический или бытовой пласт лежал в основе всех конфликтов, формально носивших межнациональный характер.

---

[117] Голос (Ярославль). 1917. 5 августа

[118] ГАЯО. Ф. 346. Оп. 7б. Д.161. Л.4.

[119] Там же. Л.23.

***

В середине сентября 1917 г. в ярославской газете «Голос» были опубликованы стихи, присланные в редакцию одним из читателей. Оставим в стороне литературные достоинства этих строк, но внимательно вчитаемся в их содержание.

Просвета нет на сером небе,
Нет утешения в печали дня.
Товаров нету в магазинах,
А в лампочках по вечерам огня.
И каждый день несет невзгоды,
Позор и обнищание стране,
Потерю нам доставшейся свободы
И чувства радости в безрадостной душе[120].

Здесь можно найти все мрачные реалии революционной жизни. Но еще более важно настроение и то, что за этим настроением скрывается. Слова, вырвавшиеся случайно, чаще всего точнее характеризуют мысли, чем специально подготовленная речь. Обратим внимание на «доставшуюся свободу». Большинству жителей России свобода досталась как абсолютно нежданный подарок. Что с нею делать дальше — никто толком не знал.

Первой реакцией обывателя на изменившиеся условия была попытка приспособиться к ним. Приспособление это затрагивало только внешнюю сторону и потому не шедшее дальше социальной мимикрии. Уничтожение «символов старого строя» было ответом на страх перед переменами. Но уже в ходе всеобщего ликования первых недель революции выработалась и новая поведенческая модель, ориентировавшаяся на тех, «кто был ничем». Революция «превращает социальных изгоев в функциональные величины истории, а те начинают действовать и объяснять происходящее на доступном им уровне»[121]. Это проявилось во множестве символических мелочей: от манеры лузгать семечки до поголовной манеры одеваться под солдат.

Это наверняка понравилось многим, но беда была в том, что в бытовом отношении революция не улучшила, а очень быстро ухудшила качество жизни. Отсюда и разочарование в революции (для обывателя политическая составляющая всегда значила меньше бытовой). История с «подарком для бабушки» была не просто хулиганством, а своеобразным выступлением против революции (в этом смысле милиционер Рысин не ошибся). Хулиганская же форма протеста была вполне в духе новых стандартов поведения.

Разочарование и крушение надежд почти автоматически вело к поиску виноватых. Революция предложила широкий выбор «врагов»: представители «старого строя», духовенство, офицеры и, наконец, просто «буржуи». Но общественное сознание упорно стремилось вернуться к прежним стереотипам и виноватыми, как всегда, оказались евреи. Это тоже можно считать проявлением архаизации массового сознания.

---

[120] Голос (Ярославль). 1917. 17 сентября.

[121] *Булдаков В. П.* Революция, насилие и архаизация массового сознания в гражданской войне: провинциальная специфика. М., 2008. С. 5.

В провинции этот процесс шел гораздо быстрее, чем в столицах. На первый взгляд, провинциальная жизнь на начальном этапе революции еще долго сохраняла инерцию мирного времени. Политическая борьба здесь и близко не приближалась к столичному накалу. Но в этой тишине провинция дичала быстрее, чем центры, обосабливалась и теряла связь с цивилизацией.

Провинциальный обыватель был, несомненно, жертвой революции. Его кажущаяся безобидность и беззащитность способна вызвать жалость. Но, движимый стремлением приспособиться, во что бы то ни стало, он сам превратился в безликую силу, в значительной мере способствовавшую нарастанию кризиса.

О социальном иммунитете, или Критический взгляд на концепцию пассивного (повседневного) сопротивления

Е. А. Осокина

Маленький человек плевать хотел на великую эпоху.
Он предпочитает посидеть в уютной компании
и съесть гуляш на сон грядущий.
(Б. Брехт. Швейк во Второй мировой войне. Сцена 1)[1].

Навязчивый оксюморон

В современной историографии сталинизма прочно утвердилась традиция представлять повседневное *неповиновение* властям как сопротивление[2]. В Россию эта традиция пришла из западной историографии. Однако, если западные исследователи сталинизма пытались концептуально обосновать такое политизированное толкование повседневного *неповиновения*, делая ссылки на работы Мишеля Фуко, Мишеля де Серто, и особенно Джеймса Скотта[3], то их российские коллеги в большинстве своем считают толкование повседневного неповиновения как сопротивления либо уже доказанным (при этом они отправляют читателя к работам западных исследователей), либо вообще не требующим обоснования.

В российской историографии мне не известны специальные работы, отдельные главы или разделы в работах, которые концептуально обосновывали бы возможность столь политизированного толкования повседневного *неповиновения*[4]. Несмотря на концептуальную необоснованность, термин «пассивное (повседневное) сопротивление» широко используется российскими историками. Как сорняк, он заполонил поле социальных исследований сталинизма. В «пассивное сопротивление» историки зачисляют все вновь открытые формы социального *неповиновения и способы выживания*, вплоть до домашнего консервирования овощей и фруктов.

В этой статье автор предпринимает попытку объяснить, почему исследователям трудно отказаться от идеи повседневного сопротивления. Думается, это — обратная реакция на абсолютизацию пассивности советского общества, либо абсолютизацию его энтузиазма по отношению к сталинской власти, которые являлись главными

---

1 *Брехт. Б* Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. В пяти томах. Т. 4. // Перевод А. Голембы и И. Фрадкина. М. 1964.

2 Расширенный вариант доклада, представленного на международной конференции «История сталинизма. Итоги и проблемы изучения» (Москва, 5–7 декабря 2008 г.).

3 *Dreyfus H., Rabinow P*. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, 2nd ed. Chicago, 1982; *De Certeau M.*. The Practice of Everyday Life, 1984 (анализ работ Джеймса Скотта).

4 В силу этого невозможно привести для примера работы российских коллег, которые концептуально исследовали бы проблему «пассивного сопротивления». Но сам термин вездесущ.

постулатами исследовательских школ периода холодной войны (западной «тоталитарной» и советской официальной, соответственно). Тот факт, что исследователи держатся за идею «пассивного сопротивления», может быть объяснен и общей слабой концептуальностью главных в изучении сталинизма российской и англо-американской исследовательских традиций (в отличие от немецкой и французской историографий): несмотря на эмпирический взлет, который пережила историография сталинизма, у иссследователей нет концепций, способных заменить идею «маленьких сопротивлений». Наконец, политизация повседневного *неповиновения* является следствием недавнего засилья политической истории, которая до сих пор сохраняет прочные позиции в историческом познании.

Живучести идеи «пассивного сопротивления», кроме названных выше общих, способствуют и другие причины, специфичные для западной и российской историографий. У западных исследователей отказ от идеи «пассивного сопротивления» ассоциируется с отказом от новейших достижений социальной истории в изучении активности общества в период сталинизма и возвращением к политизированным и идеологизированным схемам периода холодной войны. В российской историографии политизация повседневного *неповиновения* отчасти объясняется крайней политизированностью самих исследований сталинизма, где *политика* Сталина и террор остаются подавляющими сюжетами[5]. Но более важно другое. В то время, как на Западе сталинизм представляет *научную тему,* в российской историографии сталинизм во многом остается *морально-нравственной* проблемой. Слишком еще свежи воспоминания о сталинской эпохе, слишком велика травма, нанесенная сталинизмом обществу: политизируя повседневное *неповиновение*, историки (и обществен-

---

[5] См.: *Кип Д., Литвин А*. Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография. М., 2009. Книга состоит из двух неравновесных частей. Первая посвящена анализу западной историографии (Дж. Кип), вторая — анализу российских исследований сталинизма (А. Литвин). Ту часть книги, где дан обзор российской историографии, следовало бы назвать «Сталин и *политическая* история сталинизма», так как она — чистая апологетика политической истории. Даже мемуары и личная переписка рассмотрены там с точки зрения оценок личности и политики Сталина. В то время как в обзоре западной историографии есть специальные разделы, посвященные социальной, гендерной истории, истории повседневности, религии, то в обзоре российской историографии все разделы, кроме источниковедческого, посвящены политическим сюжетам. Даже такие темы, как экономическая модернизация и коллективизация, рассматриваются с точки зрения *политики Сталина,* а не социально-экономического и индивидуального опыта. Общество в этом анализе присутствует лишь как объект и *жертва* экспериментов власти, а не как самостоятельный субъект истории и активный участник событий. Хотя анализ политических сюжетов, проделанный А. Литвиным, является профессионально-добротным, все же вряд ли можно представлять российскую историографию сталинизма без исследований, например, Е. Ю. Зубковой. Социальные и культурологические исследования российских историков упоминаются в обзоре Литвина вскользь. Хваля, скажем, работы И. В. Павловой, автор солидаризируется, по сути, с нею и теми, кто деполитизируя исследования сталинизма, фактически, работает на реабилитацию Сталина (С. 270–271). Крайняя политизированность обзора А. Литвина является и выражением крена, сложившегося в российской историографии, считающей политику Сталина и репрессии главными сюжетами, а историю групп людей, общества, значимость отдельных, не значимых личностей, — второстепенными, тем более, что люди рассматриваются ею лишь как *жертвы* режима.

ное мнение) сознательно или неосознанно пытаются реабилитировать поколения российских граждан, коим выпало жить в тяжелейшее время российской истории, кои не могли выразить свое несогласие в формах открытого массового политического протеста. Именно в силу этого морально-нравственного содержания проблемы сталинизма для россиян, исследователь, ставящий под сомнение существование повседневного сопротивления сталинскому режиму, рискует быть обвиненным в попытках реабилитации Сталина.

В российской историографии есть исследователи, которые высказывают неудовлетворенность термином «пассивное сопротивление», хотя их высказывания и не принимают формы концептуального протеста против политизированного подхода к социально-культурологическим и антропологическим явлениям. Чаще всего речь идет не о необходимости поиска новой концепции, а о замене термина. В качестве альтернативных предлагаются термины «девиантное поведение», «общественные», «субверсивные», «социально-культурные» «практики», «стратегии выживания»[6]. Но даже в работах тех исследователей, которые предпочитают говорить о повседневном *неповиновении* в терминах отличных от «сопротивления», нет-нет, да и промелькнет навязчивый оксюморон[7].

Сложность проблемы состоит в том, что поиск новых терминов, которые потеснили бы «пассивное сопротивление», не может вывести исследователей повседневного *неповиновения* из концептуального тупика. Важно найти не просто новые слова, но новые концепции, которые объяснили бы явление повседневного *неповиновения*, причем разъяснили это не как политический, а как социально-культурологический и антропологический феномен.

Эта статья обращается к вопросу о природе повседневного *неповиновения*. В качестве рабочего подхода автор, опираясь и далее развивая выводы немецкой историографии сопротивления гитлеровскому режиму в Германии, предлагает посмотреть на

---

[6] В этой связи следует отметить работы Н. Б. Лебиной, которая относится к числу немногих российских исследователей, объясняющим методологические основы своих подходов. Изучая городскую жизнь 1920–1930-х гг. (пьянство, проституция, преступность и др.), Н. Б. Лебина обращается к теориям отклоняющегося поведения, к концепции аномии Э. Дюркгейма, согласно которой на рост проявлений девиантного поведения влияет «состояние разрушенности и ослабленности нормативной системы общества, когда старые нормы и ценности не соответствуют реальным отношениям». (*Лебина Н. Б.* . Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920–1930 годы. СПб, 1999. С. 11–18). Однако, что рассмотрение повседневного поведения в рамках дихотомии «норма-аномалия» сужает круг анализа. Идея социального иммунитета, предлагаемая нами, позволяет включить в анализ более широкий спектр проявлений повседневного поведения. Идея социального иммунитета — идея, объединяющая «стратегии (способы) выживания», как те, которые нарушали существовавшие правовые и обыденные нормы, так и те, которые не противоречили закону и традиции. Она, в отличие от идеи аномального поведения, не имеет морально-оценочного подтекста.

[7] В статье «Конституционно-правовые основы общества и историко-культурное наследие советского прошлого в современной России» А. К. Соколов не соглашается термином «пассивное сопротивление», предпочитая говорить о повседневном *неповиновении* в терминах социальных и культурных «практик». Он именует «пассивным сопротивлением» массовый отток в города деревенских жителей, напуганных ужасами коллективизации и раскулачивания. (Рукопись. С. 17).

повседневное *неповиновение* как проявление *сопротивляемости* (в противовес сопротивлению[8]), то есть как форму проявления социального иммунитета.

Эмпирический взлет и концептуальный тупик

Относительно молодая историография сопротивления сталинскому режиму до недавнего времени во многом повторяла этапы развития более маститой историографии сопротивления в гитлеровской Германии. В зеркале немецкой науки историк сталинизма может не только увидеть свое настоящее, но и возможное будущее. Так, уже более полувека немецкие историки спорят о природе сопротивления нацизму[9]. Результаты этой дискуссии, которые исчисляются сотнями работ, могут выглядеть обескураживающе для историков сталинизма: их немецкие коллеги не только не пришли к согласию о том, как определять сопротивление, но и высказали сомнения, нужно ли вообще искать определение этому термину. Историография сопротивления в гитлеровской Германии[10] начиналась, как и историография сталинизма десятилетия спустя, с классического определения сопротивления как героической организованной осознанной жертвенной борьбы. В таком понимании сопротивления мотивы и цель — ниспровержение режима — играли ведущую роль. Исследования немецких историков показали, что сопротивление, в *фундаментальном* смысле этого слова, было борьбой небольшой группы лиц, политической элиты — это было сопротивление без народа. В условиях тоталитарного режима сопротивление и не могло быть иным[11].

Перемены, первые признаки которых обозначились в 1960-е гг., привели к революции в немецкой историографии 1970–1980-х гг. Расширение круга источников, приход в науку молодых, критически настроенных ученых, рост интереса к социальной истории, изменение политического климата в ФРГ привели к формированию новой исследовательской школы. Изучение общественных институтов и организаций, рабочего движения, повседневной жизни простых граждан в годы тоталитаризма неожиданно привели к вводу о том, что безраздельного контроля власти над обществом в Германии не существовало. И не было его именно в силу повседневной активности общества, которое пыталось приспособиться к жизни в новых условиях. Для социльных историков новой школы было не важно, какие мотивы двигали людьми, какие цели они преследовали. Не важно было и то, имели ли действия людей морально-этический характер. Важным было лишь то, что, преследуя свои цели, организации и простые граждане ежедневно блокировали проникновение властного контроля в жизнь общества.

---

[8] Хотя слова *сопротивление* и *сопротивляемость* звучат похоже в русском языке, они означают разные явления. *Сопротивление* подразумевает *осознанную целенаправленную* борьбу с тем, что человек признает неправильным или вредным. Осознанность и целенаправленность борьбы с властью отсутствуют в повседневном *неповиновении.*

[9] Речь о сопротивлении нацизму самого немецкого общества. Природа такого сопротивления на оккупированных Гитлером территориях споров не вызывает.

[10] Обзор немецкой историографии сопротивления гитлеровскому режиму в Германии см.: *Kershaw I.* Resistance without the People? //The Nazi Dictatorship. Problems and Pperspectives of Interpretation. London, 2000.

[11] Историки ГДР и ФРГ по-разному определяли ведущую силу сопротивления: коммунистическое подполье, католическая церковь, нацистская элита, военные… Но в обеих странах историки оперировали фундаментальным понятием сопротивления.

Новый подход являлся социальным и функциональным.

В отличие от фундаменталистов, чье внимание было сосредоточено на действиях *политической элиты*, главным фокусом новых исследований стало поведение *общества*. Не мотивы и цели, а действие как таковое и его эффект — неосознанное и непреднамеренное ограничение властного контроля — являлись для социальных историков новой школы главным в определении понятия *сопротивления*. Оно расширилось и стало включать любые формы поведения, шедшие вразрез с распоряжениями власти; «сопротивление без народа» превратилось в «народное сопротивление».

В развитии идей новой школы важную роль сыграл Баварский проект, осуществлявшийся в 1970-е гг. Институтом Современной Истории в Мюнхене[12]. Теоретическим обоснованием расширительного толкования сопротивления стала теория асимметричного правления. Прямо противоположно убеждению фундаменталистов о том, что в условиях тоталитарного режима по определению не может существовать широкого народного сопротивления, а возможно лишь ограниченное сопротивление политической элиты, историки Баварского проекта утверждали, что действие равно противодействию, иными словами, чем сильнее власть подавляет общество, тем сильнее общество сопротивляется. Сопротивление, таким образом, стало производной от характера власти. Репрессивный характер режима сам по себе представлял достаточное условие для того, чтобы любое несогласие, нормальное в условиях демократической системы, становилось сопротивлением. Историки Баварского проекта освободили понятие сопротивления от мотивов и целей, морально-этического значения и организационной структуры. В конечном итоге, действие, как таковое, теряло значение, а *все определял характер режима, в условиях которого это действие совершалось*.

Революция в немецкой историографии сопротивления сыграла положительную роль в накоплении эмпирического материала и дала жизнь новым направлениям социальных исследований — истории повседневности, истории опыта, истории «низов» и др. Картина жизни немецкого общества при Гитлере перестала быть абстрактной схемой. Но гигантское расширение понятия сопротивления привело к теоретическому тупику. Термин потерял свою концептуальную стройность. Сопротивление теперь объединяло сущностно разные явления — героическую жертвенную борьбу подпольщика, незаконные торговые сделки крестьян-арийцев с немцами-евреями, слухи, апатию и даже молчаливую поддержку режима. Зазвучали тревожные голоса — расширительное толкование сопротивления оборачивалось абсурдом.

Осознание теоретического тупика выразилось в попытках немецких историков структурировать сопротивление по типам неповиновения в зависимости от активности, осознанности и организованности действий. Появились категории активного (оно же реальное, организованное, фундаментальное) и пассивного (оно же стихийное, неосознанное) сопротивления. Типологии делили действия на защитные и наступательные. Пытаясь привести в порядок разнородный эмпирический материал, исследователи строили пирамиды с крошечной точкой «реального сопротивления» на вершине и широченным основанием, объединявшим любые проявления неповиновения и инакомыслия. Историки стали искать термины, обозначавшие подгруппы

[12] По проекту «Сопротивление и преследования в Баварии, 1933–1945» в 1973–1983 было опубликовано 6 томов исследований

внутри разношерстного «народного сопротивления», начиная с «низших» (несогласие), через связующие (отказ сотрудничать) к более «высоким» (протест и собственно сопротивление). Так возникла потребность размежевать разнородные понятия, отделив сопротивление от иных форм *неповиновения,* а под «народным сопротивлением» понимать все-таки осознанную политическую организованную жертвенную борьбу[13].

Исследования антисталинского сопротивления в определенном смысле повторили динамику развития немецкой историографии. Роль немецких фундаменталистов в историографии сталинизма выполнили историки западной «тоталитарной» и официальной советской школ периода холодной войны. При недоступности документов о фактах политической героической жертвенной осознанной борьбы с режимом историки официальной советской и западной «тоталитарной» школ делали вывод об отсутствии сопротивления Сталину. Несмотря на их казавшуюся непримиримость, официальная советская и западная «тоталитарная» школы периода холодной войны имели много общего, ведь работали они на формирование зеркально отраженного сознания, в одном случае коммунистического, в другом — антикоммунистического. Обе школы были «служанками» своих политических систем и идеологий. Отказ советской школы рассматривать вопрос о сопротивлении Сталину объяснялся официальной установкой на показ единства советского общества: *другого* Советского Союза не существовало[14] (сталинский режим пользовался всенародной поддержкой). Западная «тоталитарная» школа советологии, для которой слово коммунизм являлось эквивалентом слова тоталитаризм, представляла советское общество контролируемым, подавленным и разобщенным, хотя *теоретически* историки этой школы признавали возможность существования островков отчуждения от власти и случаев внутреннего диссидентства.

«Смена вех» в историографии сталинизма, как и в Германии, произошла с развитием интереса к социальной истории, приходом нового поколения историков (критически настроенных к крайне политизированным исследовательским школам периода холодной войны) и с последующим изменением политического климата, который позволил российским историкам старшего поколения открыто высказать свои взглядыю. Свою роль сыграла и «архивная революция» в СССР. Увидевшие свет документы говорили о том, что тотальный государственный контроль и бездействующее, равно как и единодушное в своей поддержке режима общество, — это мифы. Общество

---

13 Ян Кершоу, например, предложил концепцию концентрических кругов, в которой, если выразить ее графически, в центре находится крошечная точка «сопротивление» (политические антиправительственные действия), окруженная затем более широким концентрическим кругом «оппозиция» (любые действия, полностью или частично направленные против режима, которые могут включать и частичную его поддержку). Графическое изображение заканчивалось широчайшим пористым и эластичным кругом «инакомыслие» (пассивное выражение протеста, необязательно приводящее к действиям, допускающее и частичную поддержку режима). Хотя между этими концентрическими кругами не было жесткой и четкой границы, но все же поле политического сопротивления, в графическом выражении Кершоу, было отделено от размытого поля инакомыслия широким кругом оппозиции. Для того, чтобы перейти от инакомыслия к собственно сопротивлению, люди должны были качественно изменить свое отношение к власти и начать действовать. (*Kershaw I.* Resistance without the People? P. 207).

14 Это отличало советскую историографию от немецкой, которая стремилась доказать, что *другая*, отличная от гитлеровской, Германия существовала.

при Сталине жило активной, разнообразной и *относительно* независимой жизнью; социальное *неповиновение* было обыденным. В 1990-е гг. «сопротивляющийся субъект» превратился в главную фигуру западных исследований сталинизма, типичной научной интерпретацией поведения человека сталинского времени в западной историографии стало *осознанное* сопротивление[15].

Накопление эмпирического материала о повседневном *неповиновении* привело к ревизии термина сопротивление. Любое неповиновение — блат, нетрадиционная сексуальная ориентация, воровство, спекуляция, опоздания, прогулы, пьянство, проституция, — все, что шло вразрез указаниям властей, предстали формами сопротивления. От одной крайности историки ударились в другую: советское общество, *единодушное* либо в своей *бездеятельности* («тоталитарная» школа) либо в безоговорочной *поддержке* режима (официальная советская историография), стало превращаться в общество партизан — маленьких героев невидимого Сопротивления. Открытие повседневного *неповиновения* так опьянило исследователей, что они потеряли чувство меры и здравый смысл[16].

Гипертрофия сопротивления, которой страдает современная историография сталинизма, имеет много объяснений. Речь идет о сопротивлении не оккупантам, а «своей» власти. В этом — еще одна аналогия с немецкой историографией. И гитлеровский и сталинский режимы претендовали на выражение народных интересов. Пропаганда и демагогия, наряду с реальными социально-экономическими достижениями, играли в этом главную роль. В таких обществах трудно провести границу между неповиновением, приспособлением и сотрудничеством.

Абсолютизация сопротивления имеет и моральные корни, что особенно важно для понимания российской историографии сталинизма. Это — проявление, порой неосознанное, уважения и сочувствия к людям, страдавшим от репрессивных режимов. В отношении сталинизма, соблазн трактовать любое неповиновение как сопротивление усиливается еще и тем, что речь идет о периоде массового голода и репрессий, унесших миллионы жизней советских людей.

«Искусство сопротивления» по Джеймсу Скотту

Преувеличивание размаха народного сопротивления сталинскому режиму началось в западной историографии и произошло во многом под влиянием постколониальных исследований Джеймса Скотта[17]. Ссылки на его работы стали общим местом

---

[15] См.: *Krylova A.* The Tenaciouse Liberal Subject in Soviet Studies // Kritika. 2000. 1 (1): 119–46.

[16] Йохан Хеллбек тоже отметил этот эффект, но назвал его «закономерным ходом историографического маятника». По его мнению, в резком отклонении «маятника» была виновна советская историография: гипертрофия сопротивления в современной историографии сталинизма, по его мнению, является контр-реакцией на насильно внедрявшийся советскими историками постулат о единодушной социальной поддержке сталинского режима. Преувеличивая размах сопротивления, современные историки пытаются «реабилитировать» советское общество. *О роли постулатов «тоталитарной» школы в раскачивании историографического «маятника» Хеллбек не говорит.* См.: *Hellbeck J.* Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia // Kritika. 2000. Winter. 1(1). P. 72.

[17] *Scott J. C.* Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance. New Heaven and London, 1985; *Scott J.C* Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven,

в социальных и антропологических исследованиях сталинизма[18]. Историки сталинизма часто просто заимствуют терминологию и идеи Скотта, не заметив, что Скотт оперирует не одной, а двумя концепциями сопротивления. Он, напомню, начинает свой анализ с представления *повседневного сопротивления как формы классовой борьбы* в контексте отношений антагонистических классов, (богатых и бедных крестьян) в постколониальном капиталистическом аграрном обществе (эмпирический материал был собран Скоттом в одной из малазийских деревень в конце 1970-х гг.). Суть этого классового конфликта также вполне конкретна — речь идет о борьбе за материальные преимущества (земля, налоги, рента и пр.). «Повседневное сопротивление» (термин Скотта) — это реакция бедных крестьян на эксплуатацию и присвоение материальных благ богатыми односельчанами (одна из его глав так и называется «Нормальная эксплуатация, нормальное сопротивление»). В этом смысле «повседневное сопротивление», согласно Скотту, всегда представляет способы выживания социально слабых.

Затем Скотт отрывается от конкретного исторического контекста и делает далеко идущие обобщения, по сути, подменяя свою идею «повседневного сопротивления» *как формы классовой борьбы* бедных против богатых, идеей сопротивления *как любого действия, направленного на изменение любой системы доминирования*[19]**.** Вместо конкретного классового конфликта между богатыми и бедными крестьянами по поводу присвоения материальных благ и обладания средствами производства, его концепция «повседневного сопротивления» приобретает широкое толкование, где в качестве доминирующего субъекта могут выступать не только эксплуататорские классы, но и государство, а в качестве притесняемого — любая социальная группа, даже наиболее обеспеченные. Чем дальше Скотт уходит от первоначального исторического контекста и чем шире его обобщения, тем уязвимее становится его концепция «повседневного сопротивления». Вместо бедного крестьянина-малазийца, сопротивляющегося

1990. Критический анализ идей Скотта см.: *Gal S.* Language and the “Arts of Resistance”. Cultural Anthropology, 1995, 10(3):407–424; *Tilly Ch.* Dominance, Resistance, Compliance… Discourse. Sociological Forum, 1991, 6(3):593–601; Timothy Mitchell. Everyday Metaphors of Power. Theory and Society, 1990, 19:545–577. Цитаты приведены в моем переводе.

[18] Западные исследования сталинизма испытали также влияние идей Мишеля Фуко об активно действующем субъекте как источнике и носителе власти. Одна из блестящих работ современной историографии сталинизма, книга Стивена Коткина «Магнитная гора», посвящена Фуко и, в частности, представляет применение его идей для объяснения природы повседнего неповиновения при Сталине. Целью этого, по терминологии Коткина, «малого сопротивления» была борьба людей за политическую нишу *в пределах рамок, установленных режимом.* «Сопротивляющийся» человек являлся источником и носителем власти, которая представляла альтернативу власти государства. Однако при этом Коткин утверждает, что «малое повседневное сопротивление», в отличие от «большого», хотя и оспаривало границы проникновения государственного контроля в жизнь общества, не представляло вызова фундаментальным целям режима. Коткин ссылается на работы Мишеля де Серто (*Kotkin S.* Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995).

[19] Трансформация концепции происходит в главе «Что такое сопротивление» в книге «Weapons of the Weak» (стр. 289–303). В своей следующей книге «Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts» Скотт продолжает говорить о сопротивлении как реакции на доминирование, однако, не доминирования вообще, а в контексте *антагонистических* отношений — рабство, крепостное право, колониальные и расистские режимы.

эксплуатации богатым односельчанином, читатель получает «повседневное сопротивление» богача, уклоняющегося от уплаты налогов:

«... такое сопротивление не является монополией низших классов. Уклонение от налогов и так называемая теневая экономика в развитых капиталистических странах также являются формами сопротивления, пусть даже наиболее активно и успешно оно осуществляется средним и высшим классами»[20].

Историкам сталинизма не интересна идея Скотта о «повседневном сопротивлении» как форме классовой борьбы между богатыми и бедными, поэтому они заимствуют у Скотта именно вторую трансформированную, неоправданно широкую и уязвимую для критики концепцию о «повседневном сопротивлении» как реакции на подавление государством[21]. При этом они упускают другие важные элементы концепции «повседневного сопротивления» Скотта. Так, согласно ему, вовсе не любое неповиновение является сопротивлением, а только то, в котором *есть намерение* изменить отношения между бедными и богатыми или, в более широком контексте, отношения господства и подчинения. Именно наличие *такого намерения* превращает обыденное неповиновение в сопротивление:

«В первом приближении я мог бы утверждать, что классовое сопротивление включает *любые* действия представителя(лей) подчиненного класса, в которых есть *намерение* либо пересмотреть, либо отвергнуть требования (например, рента, налоги, престиж), предъявленные этому классу представителями высших классов (например, землевладельцы, крупные фермеры, государство), или намерение [представителей низшего класса] предъявить высшим классам свои собственные требования (например, по поводу работы, земли, благотворительности, уважительного обращения)»[22].

Таким образом, по Скотту, чтобы считаться сопротивлением, в повседеневном неповиновении должно присутствовать *осознание* борьбы с имущими классами или доминирующим субъектом (государство), *сознательное намерение* сопротивляться (хотя при этом практически всегда присутствуют и мотивы получения материальной выгоды). Любое проявление «повседневного сопротивления», согласно Скотту, есть способ выживания, но *не всякий способ выживания является сопротивлением*. Так, слухи могут считаться сопротивлением, только если они чернят богатых, но не слухи вообще. Так, воровство является «повседневным сопротивлением» только тогда, когда бедный ворует у богатого, в то время как воровство бедного у бедного, по мнению Скотта, — не сопротивление, а преступление:

«Это понятно без слов, что когда бедный выживает за счет того, что обирает себе подобных, мы более не можем говорить о сопротивлении»; ««Это должно быть очевидным, что сопротивление — не является просто любым действием, к которому крестьяне прибегают, чтобы поддержать себя и свое хозяйство... Бедный безземельный работник, который ворует рис у другого бедняка или отнимает у него жилье, таким образом выживает, но, безусловно, его действия не являются сопротивлением в том смысле, в котором сопротивление определено здесь (то есть определено в его книге — *Е. О.*)» [23].

---

[20] *Scott J. C.* Weapons of the Weak. P. 295 (note 101).

[21] Скотт отчасти подталкивает их к этому, делая экскурсы в советскую историю, в частности, проводя аналогии со сталинской коллективизацией.

[22] *Scott J. C.* Weapons of the Weak. P. 290; P. 35. Note 17.

[23] *Scott J. C.* Weapons of the Weak..

Скотт считает, что, несмотря на трудности выявления истинных намерений людей и трудностей размежевания тех случаев, в которых человеком движет желание получить выгоду, от тех, где есть осознанное намерение изменить структуру собственности и доминирования, это возможно сделать, исходя из контекста ситуации:

> «В тех социальных отношениях, где материальные интересы имущих классов находятся в явном конфликте с интересами крестьян (рента, зарплата, найм на работу, налоги, воинская повинность, распределение урожая), мы можем, как я считаю, сделать выводы о сути намерений, исходя из характера действий как таковых»[24].

По смыслу этой цитаты, *намерение сопротивляться*, которое превращает обыденное действие в «повседневное сопротивление», является исключительно следствием существования антагонистического конфликта. По определению Скотта, только действие в контексте такого конфликта может считаться сопротивлением.

Историки сталинизма, делая ссылки на работы Скотта, выбрасывают из его концепции ее обязательные компоненты: необходимость наличия классового конфликта и *осознанного* намерения человека сопротивляться, часто некритически заимствуют и звучную терминологию Скотта («искусство сопротивления», «стратегии сопротивления»), распространяя ее на действия, которые сопротивлением не являются. Вот почему действие крестьянина, связанное с ухудшением материального положения односельчан, в частности, воровство с колхозного поля, которое ведет к уменьшению доли других колхозников при распределении урожая, не будет являться *сопротивлением*.

Черный рынок при Сталине в условиях хронических кризисов государственного снабжения и рецидивов голода несомненно представлял способы выживания общества, но был ли он проявлением пассивного (повседневного) сопротивления?

Приведу лишь несколько примеров из истории черного рынка 1930-х гг., которые показывают, что концепция «повседневного сопротивления» Скотта не может объяснить социальной природы этого феномена. В годы карточной системы 1931–1935 гг. рабочие, влачившие полуголодное существование, продавали на черном рынке часть своего хлебного пайка[25], чтобы иметь возможность купить другие продукты и товары. Те люди, что покупали «рабочий» хлеб по астрономически высокой цене рынка, могли находиться в еще более плачевном состоянии, чем сами рабочие. Таким образом, полуголодный рабочий выживал за счет еще более обездоленных сограждан. Кто ж был тогда эксплуататором, а кто –угнетенным? Концепция «повседневного сопротивления» явно не может описать характер таких отношений.

Другой пример. Продавец государственного универмага, используя свое служебное положение, покупал, скажем, дефицитное пальто у себя на работе по государственной цене, а затем перепродавал его втридорога на черном рынке. Он наживался на менее обеспеченных согражданах. Его спекулятивные действия нельзя считать сопротивлением. Человек, купивший пальто и выложивжий за него огромные деньги, был согласен на сделку. В этом способе выживания намерение сопротивляться также отсутствует. Вот почему стоит отказаться от представления черного рынка как формы

---

[24] Ibid. P. 301.

[25] Об этом см.: *Осокина Е. А.* За фасадом “сталинского изобилия”. Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации, 1927–1941. М., 1998. С. 89–113, 250–251.

пассивного (повседневного) сопротивления[26], ведь специфика черного рынка при Сталине была такова, что чаще всего менее голодные выживали, а порой и наживались, за счет более голодных. Анализ способов обогащения, из которых был соткан черный рынок при Сталине, доказывает, что в них отсутствовал классовый или другой антагонистический конфликт[27]. Сделки на черном рынке совершались с вынужденного, но обоюдного согласия покупателя и продавца. Не было в действиях людей и *намерения* подорвать существовавшую систему социально-экономических отношений, не говоря уже о цели изменить политическую систему власти.

Развитие черного рынка в недрах планового советского хозяйства было следствием стремления людей приспособиться к жизни в условиях хронического дефицита. Стремление выжить и желание получить выгоду были главными мотивами людей. По своей экономической сути черный рынок был неизбежным продуктом дисбаланса спроса и предложения, а по своей социальной природе — выражением неистребимых человеческих инстинктов: выживания и стремления к обеспеченности. Таким образом, *субъективное* намерение сопротивляться, как и сам эксплуататор и эксплуатируемый, обязательные «по Скотту», в нем отсутствовали. Черный рынок, исправляя огрехи планового распределения, дополнял и уравновешивал его. Плановое хозяйство просто не могло без него существовать. Наличие его делало плановое хозяйство более экономически устойчивым и социально стабильным. Как ни парадоксально это звучит, нарушая закон и участвуя в работе черного рынка, люди помогали не только себе, но (*объективно* и неосознанно) и социалистической экономике.

Возвращаясь к критике концепции Скотта, напомню и такие его слова:

> «За всеми этими поисками стоит изначальный вопрос, “Что такое сопротивление?” А точнее — ведь все определения являются лишь аналитическими инструментами, а не конечной целью — что, в *интересах достижения моей цели может с пользой считаться сопротивлением*?» (выделено мной — Е. О.)[28]

Таким образом, универсального и неизменного определения сопротивления для Скотта не существует. В ходе своей работы он невольно выявил и подчеркнул фундаментальные отличия осознанного сопротивления от повседневного неповиновения. Если первое — политизировано, то второе — оматериализовано (по сути — это конфликт по поводу распределения материальных благ). В то время как целью сопротивления является изменение, ломка существующей системы, целью второго — приспособление к жизни *в условиях* этой системы. Цель повседневного неповиновения — поиск обходных путей, тогда как цель сопротивления — борьба на поражение существующей системы:

---

[26] Вопреки собственной логике, Скотт считал черный рынок «искусством сопротивления».

[27] Черный рынок 1930-х гг. был предметом специального анализа в моих работах «За фасадом “сталинского изобилия” (особенно С. 141–169, 219–234) и «Экономическое неповиновение при Сталине» (*Osokina E. A*. Economic Disobedience under Stalin // In: *Viola L.* (ed.) Contending with Stalinism. Ithaca, 2002. P. 170–200). Джули Хесслер в своей «Социальной истории советской торговли» также рассматривает развитие черного рынка при Сталине (*Hessler J.* A Social History of Soviet Trade. Trade policy, Retail Practices and Consumption, 1917–1953. Princeton, 2005).

[28] *Scott J. C.* Op. cit. P. 290.

« В конечном итоге, цель подавляющей массы крестьянского сопротивления состоит не в том, чтобы напрямую разрушить или трансформировать систему доминирования, а в том, чтобы выжить — сегодня, на этой неделе, в это время года — в рамках этой системы»[29].

Исследования Скотта по сути отпочковались от политической истории крестьянства и являются протестом против преобладавшего в свое время интереса исследователей к изучению крестьянских войн и восстаний в ущерб изучению повседневных негероических будней крестьян. Поэтому, несмотря на оматериализированность идеи сопротивления у Скотта, он продолжает говорить о крестьянстве языком политической истории и в терминах политического сопротивления. Скотт старается приспособить язык и методологический арсенал политической истории к нуждам социальных исследований, в то время, как феномен повседневного неповиновения, на мой взгляд, принадлежит к явлениям социально-культурологического порядка и исторической антропологии, а значит требует своей собственной терминологии и концепций. Механические отсылки к работам Скотта уводят от концептуального решения проблемы повседневного *неповиновения*. Идеи этого автора могут быть эффективно использованы лишь избирательно — для изучения обществ с ярко выраженным классовым конфликтом и для анализа определенной узкой группы способов выживания. Так, «итальянка» (сидячая забастовка), например, действительно, несмотря на пассивность действия, является формой политической борьбы, а значит и сопротивлением. Явления, которые можно было бы отнести к «повседневному» или «пассивному сопротивлению», в том понимании, в котором этот термин использует Скотт, должны быть того же свойства, что и «итальянка».

Используя идеи Скотта, социальному историку придется отфильтровать способы поведения, отделив акты реального повседневного сопротивления от способов «чистого» выживания. За пределами «повседневного сопротивления» останутся многие способы выживания, которые, хотя и являются актами повседневного *неповиновения*, тем не менее не могут считаться сопротивлением (как, например, воровство бедняка у бедняка), такие способы выживания точнее именовать преступлениями. Исследования Дж. Скотта — это протест против традиций политической истории крестьянства, где повседневное существование представлялось тривиальным и незначительным. Значимость его работ в том, что он убедительно доказал, что формы повседневного поведения — не тривиальны, а их содержание, механизм и последствия — сложны, многогранны и значимы. Но он и не ставил задачей обосновать, что явления повседневного *неповиновения* всегда и непременно являются *сопротивлением режиму*. Говоря о «повседневном сопротивлении», он подспудно стремится исторически реабилитировать социальные низы, зачастую достигает противоположного результата. Попытки говорить о повседневном *неповиновении* в терминах сопротивления делают этот феномен второстепенным по сравнению с фактами реального осознанного политического сопротивления, тогда как выделение повседневного *неповиновения* в самостоятельный, концептуально отличный от сопротивления феномен придают ему особый исторический (и историографический) статус.

Настало время размежеваться. Повседневное *неповиновение*, будучи *искусством выживания*, не является ни пред-политической формой сопротивления,

[29] *Ibid*. P. 301.

предшествующей появлению политического протеста, ни аполитичным сопротивлением. Это самостоятельный, отличный от явления сопротивления социально-культурологический и антропологический феномен. В качестве рабочей идеи автор этой статьи предлагает посмотреть на повседневное *неповиновение* как на явление *социальной сопротивляемости* или *социального иммунитета.*

О пределах политического сопротивления и о силе социального иммунитета

Почему историки сталинизма держатся за идею «обыденного (пассивного) сопротивления»? Почему даже те из нас, кто видит концептуальную разницу между партийной группой Рютина и крестьянкой, воровавшей колоски с колхозного поля, чтобы спасти своих детей от голода, и в том и в другом случае говорят о сопротивлении? Два момента, связанные с особенностями сталинского времени, делают отказ от концепции «пассивного сопротивления» трудным — тяжелейшие условия жизни и неадекватные наказания, которые применяла власть. В стране, где во время массового голода за кражу колосков человек мог быть расстрелян или сослан на годы в ГУЛАГ, где правовой защиты практически не было, повседневное *неповиновение* приобретает особый резонанс. Именно этот *исторический фон* придает особое значение обычным и даже нормальным действиям людей и заставляет историков при объяснении природы повседневного *неповиновения* при Сталине искать *сильные* термины.

Этот вывод особенно значим для российской историографии сталинизма. Тогда как для Запада сталинизм является предостережением, а для западных исследователей изучение сталинизма представляет ключевую *научную тему* в понимании природы власти, общества и человека в XX веке, то для России сталинизм — это национальная травма, а для российских исследователей — морально-нравственная проблема. Толкование повседневного *неповиновения* как всенародного *сопротивления* сталинской власти в российской историографии часто является оценочным, а не научно-рациональным. В силу тех же причин главным фокусом российской историографии является изучение политических и карательных функций режима, а обращения к социальным, гендерным, антропологическим, культурологическим исследованиям порой воспринимаются как попытки деполитизации истории сталинизма и реабилитации режима. Подобное *личностное* отношение исследователей и общества к сталинскому периоду российской истории может измениться лишь с течением времени.

Живучесть концепции «повседневного сопротивления» может быть также объяснена слабой концептуальностью историографии сталинизма. Накопление громадного эмпирического материала о повседневном *неповиновении* советского общества при Сталине не привело к попыткам теоретически объяснить этот феномен. В настоящий момент у историков сталинизма просто нет концепции повседневного *неповиновения*, способной заменить идею «маленьких сопротивлений». В условиях концептуальной нищеты отказ от идеи «повседневного сопротивления» ассоциируется у историков с отказом от достижений современной историографии и с возвращением к видению общества в духе «тоталитарной школы» периода холодной войны — пассивного, разобщенного и униженного:

«Рамки сопротивления — не ограничены и не должны быть ограничены, иначе мы рискуем повторить традиционные упрощения и свести понимание государства

и общества к единообразным, монолитным и однородным образованиям в противовес тем сложным и крайне нестабильным структурам, какими они на деле являлись...»[30].

Достижения современной историографии сталинизма бесспорны — вместо схематичных и крайне политизированных образов, созданных официальной советской и западной школами периода холодной войны, историкам открылась картина сложных взаимоотношений общества и власти[31]. Однако накопленный материал о повседневном *неповиновении* более не укладывается в концепцию сопротивления. Нам нужно найти иное концептуальное объяснение открытому историками феномену *неповиновения* при Сталине. Поиски новых концепций не связаны с отказом от достижений историографии сталинизма и возвратом в прошлое одномерное политизированное и идеологизированное историографическое пространство холодной войны, *не являются они и попыткой реабилитировать преступления Сталина и его режима.*

Для автора этой статьи «сопротивление» терминологически и концептуально имеет единственный и определенный смысл — политическая осознанная жертвенная борьба с целью ниспровержения режима. При таком понимании сопротивление по определению должно быть синонимом антисталинизма. Все исследователи повседневного *неповиновения* при Сталине соглашаются с тем, что в нем не было ни политических мотивов, ни целей ниспровержения режима, что *общество боролось, но не с режимом, а с условиями, которые этот режим породил.*

Сопротивление Сталину, в начальном и фундаментальном смысле этого слова, было чрезвычайно ограничено[32]. Оно не достигло уровня сопротивления гитлеровскому режиму в Германии. В истории сталинизма мы не найдем аналога политического заговора против Гитлера, с кульминационной попыткой убить его. Современная историография свидетельствует, что оппозиции Сталину в высшем эшелоне власти в 1930-е гг. не было[33]. Не найдем мы в советской истории сталинского периода и аналогов того сопротивления, какое оказывала католическая церковь гитлеровскому режиму в Германии. Церковь в СССР, как институт, была разгромлена в послереволюционные годы, строптивые священники физически уничтожены еще до прихода Сталина к власти. Немецкие историки скептически отзываются об уровне рабочего

---

[30] *Viola L.*(ed.) Contending with Stalinism. P. 3.

[31] Один из парадоксов современной историографии сталинизма состоит в том, что, говоря о повседневном *неповиновении* как о сопротивлении, историки на самом деле предложили несколько интересных концептуальных объяснений тому, почему массового сопротивления режиму быть не могло. Об этом см.: *Kotkin S.* Magnetic Mountain; а также Jochen Hellbeck. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, 2006.

[32] Даже в современном российском обществе формы организованного сопротивления и массового политического протеста находятся в зачаточном состоянии, что позволяет исследователям говорить о неразвитости, а то и вовсе об отсутствии гражданского общества в современной России.

[33] У историков сталинизма нет и доказательств существования *политической* оппозиции в партийных региональных организациях. Не было в СССР и альтернативной политической партии, которая бы, как коммунистическая партия Германии, уйдя в подполье, боролась бы с диктаторским режимом. Все политические партии, даже «дружественные» социалистические, были разгромлены в ходе или сразу же после революции.

сопротивления Гитлеру — только небольшая часть рабочих боролась с режимом в подполье, но протесты рабочих в СССР были и того слабее. Разрозненные стачки и демонстрации прошли в период первой пятилетки, но политические лозунги, как правило, отсутствовали, рабочие требовали хлеба. Исключением стало масштабное сопротивление крестьян, которые в конце 1920-х — начале 1930-х гг. боролись против насильственной коллективизации. Однако уловками и силой власть подавила и эти спонтанные и разрозненные действия. — Ко второй половине 1930-х гг. деревня приспособилась к жизни в новых условиях и, хотя крестьяне постоянно «держали фигу в кармане», открыто конфликтовать с властью не хотели.

Абсолютизация «пассивного сопротивления» ведет к искаженному представлению о сталинском режиме, да и о советском строе, как якобы не получивших поддержки населения. Если советские люди ежедневно боролись с режимом, — а именно так выглядит сейчас картина «народного сопротивления», — почему тогда режим оказался столь прочным? Отказавшись от «тоталитарной» крайности — видеть в советском обществе пассивную, инертную массу, историкам сталинизма следует отказаться и от другой — видеть в каждом советском человеке борца невидимого и несуществовавшего в действительности Сопротивления.

Ответить на вопрос что такое сопротивление и было ли оно при Сталине, на мой взгляд, не сложно. Сложно найти объяснение тому феномену, который известен сейчас под словами — способы выживания, неповиновение, девиантное поведение, субверсивные практики; тому феномену, благодаря которому люди выживали в условиях диктаторской власти и даже умудрялись получать удовольствие от жизни. Проблема заключается в том, что *не достаточно предложить новый термин, необходимо предложить новые теории, объясняющие природу обыденного неповиновения.*

В 1970-е гг. историки Баварского проекта, о котором говорилось выше, высказали плодотворную мысль. Они противопоставили идее *сопротивления (Widerstand)* концепцию *Resistenz*. В русском языке наиболее адекватным переводом термина *Resistenz* будет *сопротивляемость, невосприимчивость, иммунитет.* По смыслу концепции *Resistenz*, *сопротивляемость* общества походила на явления такого порядка, как сопротивление материалов в физике или иммунная сопротивляемость человеческого организма. Таким образом, концепция *сопротивляемости (Resistenz*), в отличие от идеи *сопротивления*, означала действия, которые не имели характера *осознанной* борьбы против власти. Ограничение тоталитарного контроля, к которому приводила *сопротивляемость*, было не целью людей, а побочным» эффектом. По определению, в поле *Resistenz* попадали практически все проявления повседневного *неповиновения*, и, как и в жизни, *неповиновение* уживалось с приспособлением и даже энтузиазмом по поводу решений и действий власти. Появление самой идеи *сопротивляемости* (*Resistenz*) указывало на то, что теория сопротивления, объединяя концептуально разные явления, стала неудобной для историков. Почему же эта новаторская поведенческая концепция была отвергнута?

Главной причиной, на мой взгляд, было то, что немецкие историки рассматривали оба явления, *Widerstand* (*сопротивление*) и *Resistenz* (*сопротивляемость*), в рамках концепции *сопротивления*. В их понимании, *сопротивляемость* (*Resistenz*) не представляла качественно иного, отличного от сопротивления социального и культурологического феномена, а по-прежнему оставалось формой сопротивления. Именно это

и сделало идею *Resistenz* уязвимой для критики. Политические историки, сторонники первородной чистоты термина «сопротивление», не приняли идею сопротивляемости *как формы сопротивления*, обвинив ее авторов в усреднении героических деяний и повседневного ординарного поведения, в принижении морального звучания и политического содержания идеи Сопротивления. Социальные историки, исследователи феномена повседневного *неповиновения,* не обрели своего собственного концептуального поля. Последний решительный шаг к размежеванию с теорией сопротивления не был сделан. *Сопротивляемость осталась приживалкой сопротивления.*

Неудачным представляется и выбор термина — *Resistenz*, который по звучанию близок к английскому *resistance — сопротивление*. Это затушевало новизну концепции. Из-за близости звучания слов *сопротивление и сопротивляемость,* вместо последнего лучше использовать иной тремин, например, **социальный иммунитет**.

Другим уязвимым местом идеи *сопротивляемости (Resistenz)* был отказ баварских историков рассматривать мотивацию поведения людей. Между тем анализ мотивов повседневного *неповиновения* позволяет лучше понять его природу. Исследования показывают, что повседневное неповиновение, как в Германии при Гитлере, так и в СССР при Сталине, чаще всего имело очень прозаичные и даже «шкурные» мотивы — факт, который свидетельствует о социальной и идейной изоляции политического подполья (сопротивления), его обреченности в условиях отсутствия массовой поддержки общества. «Аполитичность» мотивов повседневного *неповиновения* позволяет и точнее оценить взамоотношение власти и общества — будучи диктаторскими, сталинский и гитлеровский режимы, тем не менее, добились высокой степени общественного конформизма и даже поддержки. Мотивы повседневного *неповиновения* свидетельствуют, что советское общество при Сталине, как и немецкое при Гитлере, не было пассивным. Люди заботились о себе, активно приспосабливаясь к жизни в новых условиях, тем не менее Сопротивление провалилось[34]. Разделение концепций *сопротивления* и *социального иммунитета* (сопротивляемости) помогают объяснить это кажущееся противоречие.

Концепции *сопротивления* и *социального иммунитета* (*сопротивляемости*) имеют каждая свой предмет и методы исследования. Природа описываемых ими явлений разная. Первая рассматривает политические антиправительственные действия и является частью политической истории. Предмет изучения второй — обыденное *неповиновение* — принадлежит социально-культурологическим исследованиям, исторической антропологии с их огромным арсеналом методов.

Социальный иммунитет — защитная функция, имманентно и перманентно присущая любому социальному организму, которая действует как «социальный генетический» код независимо и порой вопреки желанию отдельного человека. *Социальный*

---

[34] По мнению Кершоу, крошечный островок сопротивления (политической борьбы) в Германии, затерянный в океане пассивно выражаемого несогласия, свидетельствует о социальной и идейной изоляции подполья. Тем ярче подвиг людей, бросивших вызов режиму, тем обреченнее выглядит их дело на фоне подавляющей пассивности общества. Немецкое общество, по мнению Кершоу, не представляло реальной опасности для гитлеровской власти, оппозиция режиму не пользовалась не только активной, но и пассивной поддержкой. Признание факта провала политического сопротивления в Германии, однако, не означает возврата к тем временам, когда немецкое общество в исторических исследования выглядело пассивным и безликим. (*Kershaw I.* Op.cit. P. 214).

иммунитет находится в состоянии постоянного включения и, подобно реакции иммунной системы человека на болезнь, немедленно реагирует на угрозу существованию общества, причем сами люди при этом могут и не осознавать, что иммунная система работает.

Социальный иммунитет борется не с системой власти, а с «болезнями системы», как и иммунная система человека борется с болезнью, а не с внешними условиями, ее породившими. Поэтому в обыденном *неповиновении*, посредством которого *социальный иммунитет* проявляет себя, и нет цели ниспровержения режима, оно по определению не может представлять *осознанной* борьбы с властью и допускает широкий спектр мотиваций поведения людей. Движимые инстинктом самосохранения и личными интересами, люди могут и не отдавать себе отчета в том, что их действия объективно ведут к ограничению власти. *Социальный иммунитет* работает на адаптацию к жизни в новых условиях. Он, таким образом, *есть не форма ниспровержения, а форма приспособления.*

Наличие *социального иммунитета*, т. е. определенной невосприимчивости общества к диктату власти, делает общество относительно самостоятельным и независимым от властного контроля. Степень этой независимости — величина относительная и переменная. Она определяется разнообразными факторами и может отличаться в разных странах и в разные исторические периоды.

Социальный иммунитет реагирует не только на изменение климата политического, но и социально-экономического. Исследование черного рынка привело меня к выводу о том, что экономическое *неповиновение* при Сталине — спекуляция, мелкое «несунство», махинации с документами, нелегальное предпринимательство и др. — представляют защитную реакцию социального организма на «болезни» плановой социалистической экономики — хронический дефицит, голод и карточки, искалеченную предпринимательскую инициативу. Сопротивляясь этим «болезням», общество не ставило цели уничтожить породившую их систему, но старалось выработать невосприимчивость к этим «болезням», чтобы жить в условиях данной системы. *Таким образом, мы имеем дело не с пресловутым «пассивным сопротивлением», а с активно действующей социальной иммунной системой.* Опыт моих собственных социально-экономических исследований позволяет сказать, что концепция *социального иммунитета*, в отличие от идеи «пассивного сопротивления», точнее отражает природу экономического повседневного *неповиновения* при Сталине, в котором борьба с режимом как таковая отсутствует. В экономическом *неповиновении* при Сталине не было ни только осознанного намерения и организованных активных действий, направленных на уничтожение режима, но и последствия этого неповиновения не обязательно являлись разрушительными для режима. Они могли быть стабилизирующими, независимо от того, как сама власть воспринимала и представляла их. Об этом, в частности, свидетельствует ранее проведенный анализ роли черного рынка в плановом социалистическом хозяйстве.

Диапазон и спектр поведений, посредством которых *социальный иммунитет* проявляет себя, может не совпадать в обществах с разной политической и экономической системой. С одной стороны, в силу отсутствия многих демократических институтов, через которые общество защищает свои права, проявление *социального иммунитета* в условиях диктаторских режимов может не иметь многих важных форм поведения.

С другой стороны, в условиях диктаторских режимов, где спектр действий, которые считаются противозаконными, значительно шире, чем в демократических, диапазон проявлений социального иммунитета может оказаться шире. Так, производство и перепродажа товаров с целью получения прибыли — пресловутая спекуляция, являясь нарушением законодательства в социалистическом обществе, может считаться проявлением *социального иммунитета*, защитной реакцией на «болезни» плановой экономики. В условиях же рыночной экономики, где спекуляция разрешена законом, она не будет представлять повседневного *неповиновения*. Репрессии могут оказывать двоякое воздействие на социальный иммунитет. Они могут расширить спектр поведений, посредством которых общество защищает себя, но могут, вкупе с «промыванием мозгов», и подавлять *социальный иммунитет*.

Общество всегда выработает защитную систему действий против любого режима власти и типа экономики, потому что на карту поставлено его выживание. В процессе *сопротивляемости* неблагоприятным социальным, политическим и экономическим условиям люди обогащают свой социальный опыт, который затем передают следующим поколениям. Так *социальная иммунная система* учится распознавать новые политические и социально-экономические «болезни». Ведомые социальной исторической памятью, люди продолжают то, что их предки делали испокон веков, но вносят и новое в развитие арсенала защитных действий[35].

Социальный иммунитет это — неотъемлимая функция общества. Как и человеческий организм, общество не могло бы выжить, не обладай оно иммунитетом, системой самозащиты. Сила проявления *социального иммунитета* — творческой, неподконтрольной власти активности общества — показатель его здоровья. В «больном» обществе, где людская инициатива подавлена, *социальный иммунитет* может проявляться слабо, тем не менее уничтожить *социальный иммунитет* никакому тирану неподсилу. Истребить *социальный иммунитет* можно лишь вместе с его носителем — самим обществом.

---

[35] Эти идеи в определенной степени созвучны анализу механизмов воспроизводства и трансформации правовых и неправовых социальных практик Т. И. Заславской. Анализ ее идей см.: *Соколов А. К.* Конституционно-правовые основы общества и историко-культурное наследие советского прошлого в современной России. (Рукопись. С. 29).

Представление о коммунизме у населения СССР на рубеже 1950–1960 гг. в связи с принятием III Программы КПСС

Фокин А. А.

В зарубежной русистике XX века образовались две ведущие школы: тоталитаристов и ревизионистов. Первые, прежде всего, сосредоточивались на властных практиках государства и стремились обосновать тезис о жестком контроле над всеми сторонами жизни. При этом в центре внимания исследователей находился сталинский период отечественной истории, а остальные эпохи были в тени «отца народов». Вторые обращали внимание на повседневную жизнь советских граждан и на основании анализа приходили к выводу, что власть была не всесильна. Таким образом, закономерным оказывался вопрос, можно ли называть советскую общественно-политическую систему тоталитарной[1].

Оценивая чрезмерное увлечение Сталиным многих историков-тоталитаристов, М. Левин пишет: «"Пересталинизация" советской истории, расширение ее в прошлое и будущее является общей практикой»[2]. С этим нельзя не согласиться, поскольку в историографии последующего периода основным сюжетом является XX съезд КПСС и развенчание культа личности И. В. Сталина. Даже неофициальное название десятилетия «оттепель» приобретает смысл только с отсылкой к предыдущим «холодам». Все это позволяет говорить о неком эдиповом комплексе советской истории: фигура «отца народов» И. В. Сталина доминирует в исторических исследованиях. В противовес этой традиции предложим точку зрения, согласно которой наиболее значимым событием 1953–1964 гг. являлся не XX съезд, а XXII съезд. XXII съезд, на котором была принята III Программа КПСС, стал ключевой точкой правления Н. С. Хрущева.

Несмотря на то что III Программа КПСС введена в научный оборот[3] и без анализа этого документа невозможно сформировать адекватное историческим реалиям представление о послесталинском десятилетии[4], Программа, по мнению А. В. Трофимова, в отечественной историографии не имела объективной характеристики и оценки как исторический источник. Исследователей интересовали, как правило,

---

[1] Кип Дж., Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография. М., 2009. С. 13.

[2] Левин М. Советский век. М., 2008. С. 510.

[3] См.: Н. С. Хрущев о проекте третьей Программы КПСС // Вопросы истории КПСС. 1989 № 8.; *Барсуков Н*. Коммунистические иллюзии Хрущева // Диалог. 1991. №. 5; *Луцина Т. Ю*. Миф «развернутого строительства коммунизма» в советском обществе в середине 50-х — начале 60-х годов. ДисС. … канд. ист. наук. Ижевск, 2002..

[4] См.: *Трофимов А. В*. Советское общество 1953–1964 годов в отечественной историографии: политика и экономика. ДисС. … докт. ист. наук. Екатеринбург, 1999. С. 118.

политические аспекты принятия новой Программы партии, поэтому она рассматривалась в русле политической истории и с высокой долей критичности. Над этим документом висело клеймо утопического проекта, которое мешало подойти к изучению беспристрастно[5]. Однако III Программа КПСС, ее разработка и «всенародное обсуждение» отражают голоса рядовых граждан, что позволяет реконструировать представления о предполагаемом будущем страны — коммунизме, которые функционировали среди населения. Определенный задел в данном направлении сделан Э. Кулевигом[6], но в его книге письма во власть рассматриваются только с позиции сопротивления режиму, а значит, снимается только один из многочисленных слоев народного мнения. Интересные данные можно найти в работах Д. Филд[7] и в сборнике «Soviet State and Society under Nitkita Khrushchev»[8]. Хотя напрямую III Программы КПСС они не касаются, но в них можно найти информацию о рецепции коммунистической идеи населением.

Отметим, что существует работа, посвященная изучению коммунистических перспектив в представлениях части населения Советской России[9]. Однако это исследование ограничено как территориально — рамками Европейской части России, так и по групповому принципу, поскольку описываются только представления крестьян, причем хронологические рамки исследования составляет период 1921–1927 гг. Здесь на основании изучения крестьянских писем «во власть» выявляется несколько основных вариантов интерпретации крестьянами марксистско-ленинского коммунизма; дается описание того, как складываются эти варианты, насколько велика частотность проявления того или иного варианта в письмах, а также с чем это было связано. Н. Е. Шаповалова, помимо исследования заявленной проблематики, проводит краткое сопоставление и с последующими периодами, в том числе с рубежом 50–60-х гг. Работа Н. Е. Шаповаловой позволяет выявить сходство и различие в представлениях о коммунизме на протяжении почти 40 лет.

В последнее время заметно увеличение интереса к рубежу 50–60-х гг. XX в., выходит множество работ, которые посвящены различным аспектам того времени. Делать подробный анализ всей историографии хрущевского времени не рационально, так как сместит акценты данной статьи.

Исходя из всего вышеперечисленного, цель данной работы можно определить как выявление представлений о коммунистическом будущем на основе анализа высказываний населения. Источниковой базой данной работы являются материалы

---

5 См.: *Лейбович О. Л.* Реформы и модернизация в 1953–1964 гг. Пермь, 1993.; *Пихоя Р. Г.* Советский Союз история власти. 1954–1991. М., 1998.; *Пыжиков А. В.* Оттепель: идеологические новации и проекты (1953—1964). М., 1998.; *Таубман У.* Хрущев. М., 2005..; *Фирсов Б. М.* Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: История, теория и практики. СПб, 2008.

6 См.: *Кулевиг Э.* Народный протест в хрущевскую эпоху. Девять рассказов о неповиновении в СССР. М., 2009.

7 См.: *Field A. D.* Private Life and Communist Morality in Khrushchev's Russia. Peter Lang Publishing, 2007.

8 См.: Soviet State and Society under Nitkita Khrushchev. Routledge, 2009

9 См.: *Шаповалова Н. Е.* Коммунистическая перспектива в представлениях крестьян Европейской части России (1921–1927 гг.). ДисС. … канд. ист. наук. Армавир, 2001.

«всенародного обсуждения новой Программы партии», которые хранятся в фондах РГАСПИ[10], а также фольклорный материал — анекдоты и частушки[11].

I Программа была принята на II съезде РСДРП в 1903 г. Основное содержание Программы сводится к обоснованию законного места российских социал-демократов в мировом социалистическом движении. В Программе ставятся ближайшие задачи социального, экономического и политического характера, самой главной из которой являлось свержение царского самодержавия и установление демократической республики посредствам созыва учредительного собрания, свободно избранного всем народом[12]. Собственно, это была Программа партии, которая не выделяла себя из общего политического поля, а боролась за осуществление насущного на тот момент комплекса идей. Основываясь на идеологическом базисе и окружающей действительности, социал-демократы пытались повлиять на будущее через изменение настоящего. Таким образом, задача свержения самодержавия по своему характеру может быть сопоставлена с задачей коммунистического строительства[13].

Программа Российской коммунистической партии (большевиков) была принята через 16 лет, в 1919 г., на VIII съезде РКП (б). На тот момент большевики уже находились у власти, что отразилось на содержании II Программы партии. В первой части обосновывается осуществление Октябрьской революции 1917 г. в России как результат закономерного исторического развития. Апелляция к ее неизбежности и предопределенности призвана была закрепить за ней статус революции, а не переворота. Необходимость удержания власти вылилась в критику «буржуазной демократии» и противопоставление ей более прогрессивной диктатуры пролетариата во главе с ВКП (б). Задачи государственного управления требовали пересмотра политики осуществления самых радикальных революционных идей. Сочетание социалистических идей и прагматических принципов управления привело к закреплению в Программе положений, призванных упорядочить судебную, военную, экономическую сферы, что часто означало возврат к дореволюционным практикам. Заботу о населении призван был показать комплекс задач, касающийся социальной сферы: жилья, образования, здоровья и распределения[14]. II Программа партии была уже документом партии, стоящей у власти, чьей первоочередной задачей являлось удержание власти в своих руках и налаживание работы государственного аппарата[15].

III Программа партии логически была призвана завершить тенденцию, намеченную первыми двумя, решив главную задачу марксизма — построение коммунистического

---

[10] РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1.

[11] 1001 избранный советский политический анекдот // http://www.gramotey.com/books/311133715182.html; Русские озорные частушки // thelib.ru/books/avtor_neizvesten/russkie_ozornie_chastushki-read.html

[12] См.: Программа Российской Социал-демократической рабочей партии принятая на II съезде партии // Хрестоматия по истории КПСС. М., 1989. Т. 1. С. 85–90.

[13] См.: *Розенталь И.* Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) // Политические партии России конец XIX — первая треть XX века. Энциклопедия. М., 1996. С. 517.

[14] См.: Программа Российской коммунистической партии (большевиков) // Хрестоматия по истории КПСС. М., 1989. Т. 1. С. 316–337.

[15] См.: *История политических партии России*. *Под ред*. *Зевелева А*. *И*. *Зевелева М*., 1994. С. 409–413.

общества[16]. Эту идею можно обнаружить уже в 1939 г. на XVIII партийном съезде, где даже заговорили о сроке в 20 лет[17]. В 1948 г., комиссия во главе с А. А. Ждановым решила дать точные сроки построения коммунизма. В окончательном проекте Программы ВКП (б), подготовленной в начале 1948 г., декларировалось, что ВКП (б) в ближайшие 20–30 лет ставит своей задачей построение в СССР коммунистического общества[18]. Но на рубеже 40–50-х гг. XX века принять новую Программу партии не удалось.

На XX съезде КПСС Н. С. Хрущев высказался: «советская страна находится сейчас на крутом подъеме. Если образно говорить, мы поднялись на такую гору, на такую высоту, откуда уже зримо видны широкие горизонты на пути к конечной цели — коммунистическому обществу»[19]. И ЦК было порчено «подготовить проект Программы КПСС, исходя из основных положений марксистско-ленинской теории, творчески развивающейся на основе исторического опыта нашей партии, опыта братских партий социалистических стран, опыта и достижений всего международного коммунистического и рабочего движения, а также с учетом подготовляемого перспективного плана коммунистического строительства, развития экономики и культуры Советского Союза»[20].

Для разработки проекта Программы была создана рабочая группа в санатории Управления делами ЦК КПСС «Сосны», находящемся в ближайшем Подмосковье, во главе с секретарем ЦК КПСС Б. Н. Пономаревым. Первоначальные работы над созданием проекта новой Программы начались в середине 1958 года, в итоге в течение трех лет над ней трудились около 100 крупнейших ученых и специалистов[21].

К весне 1961 года работа над проектом завершилась, и его текст был предоставлен Н. С. Хрущеву. 20, 21, 22 и 25 апреля он формулирует свои замечания. После соответствующей доработки проект Программы был рассмотрен 24 мая на Президиуме ЦК КПСС и 19 июня на Пленуме ЦК[22]. 26 июля 1961 г. на заседании Президиума ЦК КПСС текст проекта Программы, предоставленный Программной комиссией, был одобрен[23]. На следующем заседании Президиума ЦК КПСС, 27 июля 1961 г., было принято решение опубликовать проект Программы КПСС в газетах «Правда» и «Известия» за 30 июля 1961 г., а затем в других газетах и журналах с тем, чтобы основная масса населения Советского Союза могла с ним ознакомиться и высказать свои замечания и предложения[24]. Тем самым демонстрировался партийный демократизм, который должен был противостоять «культу личности». «Всенародное обсуждение»

---

16 Более подробно о создании и принятии III Программы КПСС можно прочитать в кн.: *Пыжиков А. В.* Хрущевская «оттепель». М., 2002.

17 См.: *Пыжиков А. В.* Истоки доктрины строительства коммунизма в СССР // Вестник Российской академии наук. 2004. Т. 74, Т 3. С. 246.

18 См.: *Барсуков Н.* Коммунистические иллюзии Хрущева // Диалог. 1991. №. 5. С. 76.

19 XX съезд КПСС. 14–25 февраля 1956 года. Стенографический отчет. Т. 1. М., 1956. С. 118.

20 РГАНИ. Ф. 1 Оп. 4. Д. 10. Л. 10.

21 См.: Н. С. Хрущев о проекте третьей Программы КПСС. С. 3.

22 См.: Там же.

23 См.: РГАНИ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 17. Л. 1.

24 Там же. Л. 127.

помогало выявить запросы и ожидание населения, а эффект сопричастности играл мобилизующую роль.

Партийные ячейки посылали в центр отчеты об обсуждении проекта Программы партии. Газеты и журналы должны были собирать письма населения, поступающие в редакцию и касающиеся проекта Программы, и направлять их для обработки и анализа в специально созданные рабочие группы. Частично присланные письма публиковались в получивших их изданиях. К 15 сентября 1961 г. в 6 журналов и 20 газет поступило в общей сложности 29070 корреспонденций, из которых 5039 было опубликовано[25]. В общей сложности на партийных конференциях, собраниях трудящихся, посвященных обсуждению этого документа, присутствовало почти 44 млн. человек, а с учетом писем в местные газеты, партийные органы, радио и телевидение, по приводимым А. В. Пыжиковым данным, количество корреспонденции составляет 170 801[26].

Несмотря на эти цифры, зачастую положение на местах было совершенно другим. Местные органы власти в силу разных причин не могли или не хотели обеспечивать пропаганду идей новой Программы партии. Агитация, особенно в отдаленных районах, велась крайне слабо и формально. Так, например, партийные органы Челябинской области отмечали: «На некоторых рабочих участках Локомотивного депо ст. Карталы читку провели за три обеденных перерыва, на большинстве отделений Неплюевского совхоза читки были запланированы, назначены ответственные, но из-за бесконтрольности не были организованы, в отделении «40 лет Октября» Миасского совхоза выявлены молодые работницы, которые вообще ничего не знают об опубликовании проекта Программы»[27].

В Программе было зафиксировано определение коммунизма, призванное раскрыть его сущность, и определены меры по достижению новой стадии в развитии. Поскольку данное определение является концентрированным выражением всего второго раздела Программы КПСС, следует процитировать его полностью: «Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на средства производства, полным социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществиться великий принцип “от каждого по способностям, каждому по потребностям”. Коммунизм — это высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа»[28].

III Программа партии ставила своей задачей построение в течение 20 лет коммунизма, но с добавлением «в основном»[29]. Что это означает? Все это значит, что ком-

---

[25] См.: РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 309. Л. 39.

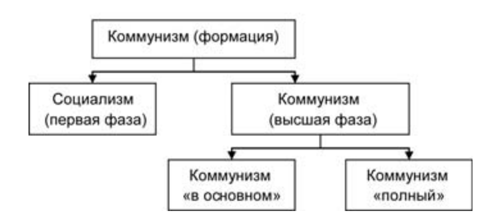
[26] См.: *Пыжиков А. В.* Оттепель: идеологические новации и проекты (1953—1964). С. 135.

[27] ОГАЧО. Ф.288. Оп. 25. Д. 138. Л. 7,8,22.

[28] XXII съезд КПСС. 17–31 октября 1961 года. Стенографический отчет. В. 3-х т. М., 1962. Т. 3. С. 274.

[29] Материалы XXII съезда КПСС. М., 1961. С. 368.

мунизм в официальном дискурсе еще боле дифференцируется. Под термином «коммунизм», на основе трудов классиков марксизма-ленинизма, понималась и совокупность социализма с коммунизмом, и собственно второй этап в коммунизме. Программа КПСС развила это положение, разделив, в свою очередь, коммунизм как следующий этап после социализма, на два подэтапа: коммунизм «в основном» и «полная победа» коммунизма. Визуально это можно представить в виде схемы.



Обратимся к поправкам Н. С. Хрущева к Программе партии: «80-е годы, это все — таки 20 лет, и поэтому нельзя сказать что так же будет и через 40 лет. …А через 40 лет что будет? То же, что через 20 лет? Неправильно это. Поэтому степень развития науки, техники, внедрения автоматизации будет все возрастать, а физических и умственных усилий потребуется затрачивать меньше. Поэтому возрастут и потребности каждого человека. И сами люди будут другими, все будут иметь не только среднее образование, но и высшее. Одним словом, создадутся возможности не только удовлетворять, но и развивать духовные потребности человека. Это будет идти все по возрастающей линии. Видимо, раздел о материально-техническом обеспечении должен быть разбит на периоды или фазы коммунизма»[30]. О. В. Куусинен отмечал, что «коммунизм «в основном» — это уровень производства 80-х годов, это построение условий в материально-технической и общественной сфере, когда удовлетворятся непосредственные запросы, материальные и духовные потребности первой необходимости[31].

Программа в этом случае приобретает прагматичный характер, по сравнению с ее утопическим определением в историографии. Одной из главных кризисных ошибок называют то, что в Программу партии закладывали «классическую» марксистско-ленинскую схему перехода от социализма к коммунизму без учета того, что в СССР не было создан тот социализм, от которого можно было бы переходить к коммунизму[32]. Однако одной из ошибок в интерпретации Программы надо признать то, что исследователи видели в коммунизме 80-х гг. «классический» коммунизм марксистско-ленинской традиции, который, по мысли авторов Программы, должен был наступить значительно позднее.

Предполагалось, что есть три группы задач, которые необходимо решить на пути к коммунизму: создание материально-технической базы коммунизма; развитие коммунистических общественных отношений; воспитание нового человека. Более

---

[30] См.: РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 201. Л. 14.

[31] См.: Там же. Л. 13.

[32] См.: Н. С. Хрущев (1894–1971): Материалы научной конференции посвященной 100-летию со дня рождения Н. С. Хрущева. 18 апреля 1994 года. М.: РГГУ, 1994. С. 43.

развернуто эти идеи озвучил Н. С. Хрущев, выступая на XXII съезде КПСс. Построение коммунизма означает следующее:

«— в области экономической будет создана материально-техническая база коммунизма. Советский Союз превысит экономический уровень наиболее развитых капиталистических стран и займет первое место в мире по производству продукции на душу населения, будет обеспечен самый высокий жизненный уровень народа и будут созданы условия для достижения изобилия материальных и культурных благ;
— в области социальных отношений будет происходить ликвидация существующих еще остатков различий между классами, слияние их в бесклассовое общество тружеников коммунизма, в основном будут ликвидированы существующие различия между городом и деревней, а затем между физическим и умственным трудом, возрастет экономическая и идейная общность наций, разовьются черты человека коммунистического общества, гармонично сочетающего в себе высокую идейность, широкую образованность, моральную чистоту и физическое совершенство;
— в области политической это означает, что все граждане будут принимать участие в управлении общественными делами, в результате широчайшего развития социалистической демократии общество подготовится к полному осуществлению принципов коммунистического самоуправления»[33].

Главной экономической задачей партии и советского народа на ближайшее время являлось создание материально-технической базы коммунизма[34]. Н. С. Хрущев в своих замечаниях к тексту проекта Программы партии писал, что «сфера, где создаются ценности для удовлетворения человеческих потребностей, — это главная сфера и от нее зависит успешное продвижение и создание условий к коммунизму, к коммунистическому распределению благ»[35]. Несмотря на декларирование примата экономической задачи, Программа в значительной степени была направлена на мобилизацию населения. В мобилизации субъективного фактора виделся успеха построения нового общества, поэтому именно туда были направлены основные усилия[36]. Действительно, материально-техническую базу должен был создавать советский человек, а значит, именно он был главным читателем Программы и именно для него она и создавалась.

Если власть выработала некий официальный дискурс о коммунизме, то среди населения не было единства. Можно говорить не о коммунизме, а о коммунизмах, которые циркулировали среди населения. Продуктивным представляется термин «разномыслие», который использовал в своей работе Б. М. Фирсов[37], что позволяет избежать трактовки альтернативных взглядов как сопротивление официальной идеологии. Несколько упрощая, что неизбежно при любой попытке упорядочить материал, можно констатировать, что население к коммунистическим перспективам Программы партии относилось либо положительно, либо скептически. Некорректно говорить, как поступают некоторые авторы, что население верило или не верило в обещание построить

---

[33] Там же. Т. 1. С. 167.
[34] См.: *XXII съезд КПСС. Т.* 3. С. 276.
[35] РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1.Д. 201. Л. 34.
[36] См.: *Пыжиков А. В.* Оттепель: идеологические новации и проекты (1953—1964). С. 115.
[37] *Фирсов Б. М.* Разномыслие в СССР. 1940–1960-е: История, теория и практика. СПб., 2008.

коммунизм в течение 20 лет. Сводить все к одному мнению неправомерно, поскольку источники позволяют проследить, и положительное и скептическое отношение населения к обещанному коммунизму.

В литературе можно выделить две тенденции в характеристике отношения населения к коммунизму. Ф. Бурлацкий пишет, что «новая Программа КПСС была встречена с энтузиазмом во всей партии и в народе, с надеждой и верой в то, что в короткие исторические сроки удастся добиться крупнейших результатов в экономическом и социальном развитии страны, радикально поднять уровень народного благосостояния. В этом были уверены, кажется, все»[38]. Этому мнению противостоит позиция других современников П. Вайля и А. Гениса: «В самом прямом смысле в конкретные цифры Программы никто не поверил <…> Надо отдавать себе отчет в том, что никто и не заблуждался насчет построения коммунизма в 20 лет. Любой мог выглянуть в окно и убедиться в том, что пока все на месте: разбитая мостовая, очередь за картошкой, алкаши у пивной. И даже ортодокс понимал, что пейзаж не изменится радикально за два десятилетия»[39]. Обе точки зрения представляются равнозначными и имеющими право на существование, поскольку на рубеже 50–60-х гг. они не противостояли друг другу, а существовали параллельно.

Советская жизнь предоставляла достаточный материал как для оптимизма, так и для скептицизма. Практически любой автор, обращающийся к 50–60-м гг., отмечает, что в советской действительности происходили существенные изменения в лучшую сторону. В июне 1956 г. была введена новая система пенсионного обеспечения, что увеличило размер пенсии. Вместе с этим вводился один из самых низких в мире пенсионный ценз — для мужчин 60 лет, при стаже работы в 25 лет, для женщин 55 лет, при стаже в 20 лет. Исключительное значение имело то, что впервые в стране устанавливалось государственное пенсионное обеспечения для колхозников[40]. 1961, год принятия новой Программы партии, начался с денежной реформы, в 10 раз укрупнившей рубль. Рост среднемесячной номинальной заработной платы рабочих и служащих составил за 10 лет практически 50%: 679 р. в 1953 г. и 98 р. 50 к. (987 р.) в 1964 г. Возросло потребление мяса, молока, рыбы[41]. Успехи Советского Союза венчались полетом Ю. А. Гагарина в космос. Все это подготавливало почву для оптимистичного восприятия положений Программы партии.

Сдвиг в сознании части населения, произошедший в 1961 г., находит свое отражение в комплексе корреспонденции, в котором граждане предлагают с 1961 г. ввести новое летоисчисление, объявив этот год — первым годом новой эры — эры коммунизма и освоения космоса[42]. Воспринимая эти умонастроения, П. Вайль и А. Генис главу, посвященную коммунизму, называют «20 лет до н. э. ». Другие граждане, ссылаясь на Н. С. Хрущева, писали о том, что отправной точкой для нового календаря должна была стать Великая Октябрьская социалистическая революция. В Программе партии

---

[38] Бурлацкий Ф. Глоток свободы. М., 1997. кн. 1. С. 101.

[39] *Вайль П.*, Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 1998. С. 13, 16.

[40] *Пыжиков А. В.* Оттепель: идеологические новации и проекты (1953—1964). С. 97.

[41] См.: *Аксютин Ю. В.* Хрущевская «оттепель» и общественная настроения в СССР в 1953–1964 гг. М., 2004. С. 345.

[42] РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 306. Л. 1.

планировалось закрепить это положение и к 50-летию Октябрьской революции принять календарь коммунистической эры. Подобно деятелям французской революции, авторы писем в реформе календаря не останавливались на определении новой точки отсчета, они хотели подыскать новые названия дней и месяцев, дабы наполнить их новым смыслом. Один участников «всенародного обсуждения» Программы партии писал: «Зачем нам нужно называть “июль” в честь Юлия Цезаря? Не лучше ли назвать месяцы в честь выдающихся марксистов? Или выдающихся побед в строительстве коммунизма?»[43]. Это позволяет говорить о том, что коммунизм для части населения был некой иной реальностью, которая должна иметь как можно меньше общего с прежним образом жизни.

Вместе с тем в советской действительности было множество нелицеприятных моментов, постоянные столкновения с которыми в повседневной жизни мешали процессу сливания с коммунистической «утопией». Об этих проблемах активно писал «Крокодил», но любой советский человек и без журнала знал, что недостатков в советском обществе еще предостаточно. Простые люди на себе ощущали, особенно после кризисных явлений первой половины 60-х гг., невыполнимость поставленных задач. Данный факт можно проиллюстрировать письмами в редакцию журнала «Коммунист»: «Как можно требовать от советских людей какой-то социалистической идеологии, когда социализм не дал реального обеспечения для развития человеческой личности <…> Возьмем не вашу государственную статистику, а возьмем реальную жизнь советских людей в массе. Возьмем “конкретную экономику” советских людей, возьмем в массе советскую интеллигенцию: инженеров, врачей, учителей и т. д. Ведь это сплошная нищета»[44]. В другом анонимном письме писалось, «часто по радио болтают, что у нас подходят к коммунизму, да подохнем до коммунизма. У Вас, конечно, коммунизм, ну а у нас голодизм и дороговизм»[45]. Подобный скептицизм бытовали не только среди обычных людей, но и среди партийно-государственных деятелей. Так, А. Т. Твардовский записал от публики в санатории «Барвиха» такие воспоминания: «Живут люди под одной крышей, здороваются, встречаются в столовой, в кино, на прогулках — люди больные и здоровые, но люди не рядовые, руководящие, видные партийные. И никогда не произносят слова “коммунизм” иначе, чем в шутку, — по поводу бесплатного бритья в парикмахерской и т. п. »[46].

Параллельное существование двух отношений к обещанному коммунистическому обществу, порожденных столкновением коммунистического идеала с действительностью, будило у его носителя стремление поскорее переделать ее[47]. «Минусы» советской действительности самим своим существованием призывали к собственному уничтожению и к созданию общества без недостатков, а «плюсы» подтверждали верность выбранного курса, который уже сейчас начинал давать позитивный результат. И то, и другое могло стимулировать население на активное участие в решении поставленных Программой задач.

---

43 Там же. Ф. 599. Оп. 1. Д. 170. Л. 14.

44 Цитируется по: *Пыжиков А. В.* Оттепель: идеологические новации и проекты (1953—1964). С. 100.

45 Там же. С. 101.

46 Цитируется по: *Аксютин Ю. В.* Указ. соч. С. 332.

47 См.: Там же. С. 331.

Б. А. Грушин на основании собственных исследований общественного мнения 1960-х гг. выделяет по отношению к коммунизму 5 групп населения: 1) люди, осознававшие себя активными строителями коммунизма, искренне разделявшие принципы этого движения и стремившиеся реализовать их на практике; 2) люди, осознававшие себя активными строителями коммунизма и хотя и не участвовавшие по тем или иным (преимущественно объективным) причинам в строительстве коммунизма, тем не менее активно поддерживавшие его принципы, испытывавшие к ним явный позитивный интерес; 3) люди, не ставившие под сомнение общую идею развития советского общества по направлению к коммунизму, более того, готовые активно участвовать в этом процессе, но не разделявшие принципов обсуждаемого движения, стоявшие в оппозиции (явной или скрытой) по отношению к нему, полагавшие, что у движения нет ни настоящего, ни будущего; 4) люди, участвовавшие в движении либо поддерживавшие его, однако делавшие и то и другое (в силу определенных политических, идеологических причин либо из соображений выгоды, стремления быть как все и т. д.) лишь формально, на словах, без сколько-нибудь искреннего желания строить коммунизм; 5) люди, стоявшие полностью в стороне от обсуждаемой проблематики — как правило, вовсе не верившие в победу коммунизма и, уж во всяком случае, не осознававшие себя участниками "коммунистического строительства"[48].

Когда мы говорим о населении, гражданах, обществе и т. п. , приходится делать допущение индуктивного характера — распространять имеющиеся данные, зачастую не самые обширные, на всю совокупность субъектов, то есть отождествлять часть с целым обществом. По отношению к новой Программе партии можно выделить несколько групп населения, в числе которых люди с минимальной инициативой, не стремившиеся к социальной вербализации, а также значительное количество инертных людей. Не надо путать два варианта: в первом люди имели свою точку зрения, но не высказывали ее, во втором люди были совсем отстранены от партийного проекта. В результате и те и другие оставили информационную лакуну. Возможно, ее заполнение будет целью иного исследовательского проекта или она так и останется Terra Incognita.

Если давать характеристику тем, кто принимал участие в обсуждении III Программы КПСС, то стоит признать, что единого портрета создать не получится, поскольку контингент слишком разнообразен. Единственное, что их объединяет, это стремление донести до власти свою точку зрения. Выступления на различных собраниях зачастую носили формальный характер, а индивидуальные обращения в различные инстанции уже являлись формой непубличного общения, а значит более объективные.

Архивные документы редко указывают на возраст, образование, профессию и иные характеристики, даже пол порой трудно определить. Если анализировать предложения, замечания и высказывания, то можно обнаружить все основные группы советского общества. Были там обращения от женщин и мужчин, от рабочих и интеллигентов, от пенсионеров и комсомольцев и т. д.

Для данного исследования особый интерес представляет положительное отношение к коммунизму, поскольку в этом случае население должно было формировать свой

---

[48] См.: *Грушин Б. А.* Четыре жизни России в зеркале опросов: Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина. Кн. 1. Эпоха Хрущева. М., 2001. С. 252.

образ будущего, либо используя официальную модель, либо предлагая свою альтернативу. Положительное отношение также можно разделить на две большие группы. Первая представлена «аскетическим» коммунизмом «энтузиастов», готовых строить его, «не щадя живота своего», коммунизма, в котором все будут находиться в равных условиях. Их идеалом является идея коммуны с ее уравнительными тенденциями в духе булгаковского героя из «Собачьего сердца». Уравнительные тенденции официальным дискурсом всячески отрицались, поскольку были связаны с разнообразными утопиями. Но применительно к населению рубежа 50–60-х гг. это скорее рецидивы крестьянского сознания с его общинными традициями.

Вторая группа воспринимала коммунизм потребительски, видя в нем «кормушку», к которой можно было припасть и насладиться благами. Причем чем ближе был обещанный срок завершения строительства коммунизма, тем больше и больше должна была это кормушка наполняться.

«Потребительский» коммунизм в своем стремлении к бесплатным благам тоже был не однороден. Одни хотели удовлетворить индивидуальные потребности, другие же ожидали благ для всех жителей страны. Но и в том и другом случае коммунизм выступал своеобразным символом, обращение к которому автоматически приводит к решению насущных проблем. В таком понимании коммунизм предстает как общество, где будут решены основные проблемы.

Можно обнаружить и гендерные различия в наполнении образа коммунизма. Если мужской вариант выражается, прежде всего, в образе героя-космонавта как прототипа человека будущего, то женский коммунизм выражен гораздо ярче. Связано это в первую очередь с тем, что в отличие от мужчин у женщин было больше специфических проблем, а значит, коммунизм должен был решить больше задач, что, естественно, приводит к лучшей разработке образа.

«Скептический коммунизм» также создает образ «светлого будущего»: в анекдотах можно обнаружить описание жизни в будущем. Однако, в отличие от позитивного отношения к коммунизму, «скептический» образ анекдотов завуалировано высмеивал настоящее, а значит, и возможность построения коммунизма.

«Скептический» образ коммунизма являлся образом для «внутреннего» пользования, который не должен был выходить за пределы народного дискурса и не вступать в контакт с официальным представлением о «светлом будущем», а отталкиваться от него для его же высмеивания. «Позитивное» отношение, напротив, изначально предполагало наличие официальных коммунистических перспектив, на основании которых можно было вести диалог с властью, используя идею коммунизма как медиатора. Устанавливая взаимную связь между идеями власти и потребностями населения.

Несмотря на то, что в построение коммунизма в 1980 г. верили не все граждане СССР, это не мешало им желать совершить как можно более быстрый рывок в «светлое будущее». Даже если совсем не верить в возможность завершения коммунистического строительства, то стремиться к коммунистическому изобилию можно. По словам Т. П. Кищенко, в 60-х гг. «вера в лучшую жизнь вовсе не означала веру в коммунизм»[49]. Понятный обычному человеку «потребительский коммунизм» был, как показывают письма и активная борьба с ним со стороны официального дискурса,

---

[49] Цитируется по: Аксютин Ю.В, Указ. соч. С. 334.

одним из самых распространенных вариантов «светлого будущего». Для населения самым популярным и распространенным был момент, выраженный в лозунге, в сознании большей части людей связанном с коммунизмом, — «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Поэтому Ю. М. Тихомиров своим письмом пытался закрепить в Программе партии следующее определение: коммунизм — это общество, где человек «волен работать или не работать вовсе»[50]. Стремление к распределению по потребностям порождало у некоторых граждан нетерпение, особенно это можно обнаружить в письмах людей пожилого возраста, которые говорили, что они, к сожалению, не смогут дожить до коммунизма и поэтому хотели уже во время своей жизни посмотреть на жизнь в будущем и насладиться коммунистическим изобилием. Так, группа участников Гражданской войны и революционного подполья на основании своих былых заслуг перед Родиной предлагала предусмотреть в Программе льготы для себя: «бесплатное жилье, бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, лечение в санаториях»[51]. Некто Н. Князев писал: «Очень хорошо, что молодежь будет жить при коммунизме. Но людям старым, участникам революции, следует тоже дать это почувствовать — надо сейчас установить единую для всех пенсию по старости, освободить от платы за воду, свет, баню, кино и за проезд по городу»[52]. Некоторые люди предлагали уже в 60-х гг. перейти к бесплатному снабжению населения товарами первой необходимости — дешевым хлебом, спичками, солью и т. д. [53].

Официальный дискурс о коммунизме требовал от населения напряжения усилий и некоторых лишений, которые окупятся в будущем, а «потребительский коммунизм», наоборот, настаивал на том, что с построением социализма основные трудности в развитии уже преодолены и можно пользоваться плодами своего или чужого труда. Н. А. Чальян предлагал: «По мере достижения изобилия того или иного продукта переходить к его бесплатному распределению по потребностям»[54]. К тому же после опубликования проекта и его принятия XXII съездом КПСС по сути начинался обратный отсчет времени до наступления коммунизма, а значит, с каждым днем и часом коммунизм становился все ближе и ближе.

Необходимо подчеркнуть, что причина существования «потребительского коммунизма» заключается в его крайней доступности и понятности. Нормальный человек извлекал из текста Программы партии моменты, которые были для него близки и понятны. Современники отмечали, что для населения Советского Союза самыми впечатляющими положениями Программы партии были отнюдь не самые важные с точки зрения авторов. Все говорили о том, что будет бесплатный транспорт, бесплатные коммунальные услуги, бесплатные заводские столовые, а не о дальнейшем развитии принципов социалистической демократии. Данный факт объясняется тем, что Программу партии читали как художественный текст, в котором конкретные и внятные детали брали на себя функцию пересказа[55].

---

[50] РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 302. Л. 84.
[51] Там же. Л. 161.
[52] РГАНИ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 75. Л. 4.
[53] РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 310. Л. 257.
[54] Там же. Д. 302. Л. 10.
[55] См.: *Вайль П.*, *Генис А.* Указ. соч. С. 16–17.

Тот факт, что советское население хотело знать свое будущее, и знать его как можно точнее, демонстрируют многие письма. Комсомолец А. Игошин еще в 1926 г. обращался к И. В. Сталину с просьбой, чтобы тот написал ему, как лучше понять и представить себе коммунистическое общество. В письме был обозначен мотив обращения к И. В. Сталину: «Вы дадите нам оружие, которое поможет разогнать всю муть и увидеть во всей наготе коммунистическое общество, которое идет или нет?»[56]. В 60-х гг. поступали аналогичные просьбы: уже не в ответном письме, а в тексте Программе партии предлагали дать более детальное описание коммунистического общественного устройства и общежития[57]. Помимо общей конкретизации коммунистического общества целиком, поступало значительное количество писем с просьбой уточнить частные вопросы коммунистического образа жизни. Следовательно, можно выявить еще одну бинарную оппозицию в рецепции образа коммунизма. Нечеткость официального дискурса подвигали часть людей на творческую активность, дабы своими силами более четко очертить «светлое будущее» и создать на базе официального свой собственный образ коммунизма. По этому поводу комиссия, занимавшаяся обобщением поступивших писем, сделала следующее заключение: «Авторы некоторых писем на многих страницах формулируют свои, отличные от содержащихся в проекте, теоретические положения и предлагают даже целые разделы проекта Программы в собственных редакциях. Предлагаемые ими формулировки в большинстве случаев идут вразрез с основами марксистко-ленинского учения и свидетельствуют о недостаточной теоретической подготовке их авторов»[58].

Имеющиеся источники позволяют провести разделение «светлого будущего» еще на два варианта: индивидуальный и общественный «потребительский коммунизм». В первом случае главными признавались личные потребности одного конкретного человека — автора послания. В сводке поступивших писем группа, в которой выделяется индивидуалистический вариант, охарактеризована следующим образом: «Имеются письма, появление которых обусловлено, видимо, личной неустроенностью, бытовыми трудностями, носящие по существу характер жалоб»[59]. Зачастую личное неблагополучие авторов писем и их жалобы на свое положение в посланиях связывалось с коммунизмом. Примером может служить письмо О. Д. Гордова, где он, жалуясь на отсутствие в своем районе бани и прачечной, пишет: «Очевидно, через 20 лет, т. е. при коммунизме, люди вообще не будут мыться, если нас уже сейчас лишили этого элементарного гигиенического удобства»[60]. Таким образом, человек, обращаясь к официальным властям, апеллировал к коммунистическому будущему как к некому идеалу общественного устройства, для того чтобы изменить свое настоящее. Помимо вполне обоснованных просьб по улучшению жилищных, продуктовых и других бытовых условий, попадаются весьма курьезные послания, демонстрирующие крайнюю степень «индивидуалистического потребительского коммунизма». Некоторые трудящиеся интересовались, будут ли при коммунизме бани и нельзя ли

---

[56] Цитируется по: *Шаповалова Е. Н.* Указ. соч. С. 75.

[57] РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 302. С. 2.

[58] Там же. Д. 298. Л. 24.

[59] Там же. Д. 298. Л. 24.

[60] Там же. Ф. 599. Оп. 1. Д. 211. С. 40.

в 60-х гг. уже ввести бесплатное пользование ими[61]. Н. Я. Прилепов из Риги в своем письме обращал внимание на необходимость по мере продвижения к коммунизму улучшать сбор сырья с населения, поскольку в 60-х гг. «с населения принимаются только утильсырье, макулатура, металл и бутылки исправные, отечественные. Отечественные я называю потому, что другие бутылки из братских стран не принимаются, а их очень много у нас»[62].

«Общественный потребительский коммунизм» заключался в получении благ не только конкретным индивидом, но и всем обществом в целом. Н. И. Шершов предлагал в течение 5 лет обеспечить гражданам Советского Союза и приезжающим в Советский Союз выдачу хлеба стоимостью до 17 к. за 1 кг бесплатно[63]. А Б. Л. Кербер прямо указывает, что он представляет себе коммунистическое общество не как общественную формацию, в условиях которой можно будет кушать все, что хочешь, и в неограниченных количествах. Это, на его взгляд, наименее значимая сторона, «но вот возможность быстро связаться по телефону в любое время суток как по служебным, так и по личным вопросам — это одно из очень важных обстоятельств»[64]. Предполагалось, что свойственное всей коммунистической формации противоречие между постоянно растущими потребностями членов общества и достигнутым в каждый данный момент уровнем производства должно было составить могучий стимул развития общества по пути прогресса[65]. Естественно, что для нормального взаимодействия официального и народного образов коммунизма «общественный потребительский» вариант не должен был выходить за определенные границы.

Наличие в трактовке населением коммунистических перспектив индивидуалистическо-потребительского варианта мешало достижению коммунизма не только согласно официального дискурса. Сами советские граждане указывали, что такое мировоззрение не позволит выполнить поставленные Программой партии задачи, а тем более в установленные сроки. Студент А. С. Вершинин в своем письме выражал сомнение в том, что «наше поколение будет жить при коммунизме, считал это невероятным, так как еще слишком низкий уровень сознания и общей культуры населения»[66]. Ю. В. Аксютин в своей работе приводит следующие высказывания советских людей: «С нашими людьми строить коммунизм нельзя», «С такими людьми коммунизм не построить», «Коммунизм — это когда народ сознательный, бескорыстный, патриот своей родины», «Ни фига мы не построим, все пропьем», «С нашим народом нельзя коммунизм построить, надо перевоспитать сначала»[67].

Исходя из этого, некоторые граждане, предлагали первоначально локализовать построение коммунизма географически. В письмах имеются предложения приступить к строительству образцово-показательных предприятий и организовать широкое распространение их опыта[68], а также «начать в виде эксперимента создание баз,

---

[61] Там же. Ф. 586. Оп. 1. Д. 300. Л. 32.
[62] Там же. Л. 73.
[63] Там же. Л. 3.
[64] Там же. Ф. 599. Оп. 1. Д. 179. Л. 42.
[65] Там же. Д. 219. Л. 6–7.
[66] Там же. Ф. 586. Оп. 1. Д. 303. Л. 14.
[67] Цитируется по: *Аксютин Ю. В.* Указ. соч. С. 336–337.
[68] РГАНИ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 81. Л. 114.

районов и коллективов, где будут иметь место коммунистические отношения людей в производстве и в быту <…> образовать на территории СССР опытные районы коммунизма с участием всех рас и всех классов нашей планеты, обеспечив эти районы всем необходимым»[69]. И. Романов при определенных условиях брался «возглавить, построить и сформировать производственный коллектив тысяч на пять рабочих с коммунистическим укладом общественной жизни на базе одной из новостроек»[70].

Более четкое выражение идеи наглядного, но территориально ограниченного коммунистического образа жизни можно обнаружить в двух письмах. Тов. Заброда предлагал: «В течение ближайших пяти лет, т. е. с 1962 по 1966 год, построить в различных местах на территории союзных республик СССР — в каждой ССР по одному, — по типовым проектам, характеризующим национальные особенности архитектуры республики, пятнадцать образцово-показательных городов-коммун. Люди, работающие в этих городах, отбираются проверочной комиссией ЦК КПСс. С 1968 г. все остальные граждане СССР, а также туристы из-за границы могут знакомиться с условиями и порядками в этих городах-коммунах»[71]. Е. И. Тимошенко обратился в редакцию «Комсомольской правды» со следующим соображением: «Где-нибудь в Сибири, на берегу Лены или Енисея, построить коммунистический город-лабораторию по всем правилам коммунизма, во всем отличающийся от современных городов. В этом городе, по-моему, должны жить только люди, которые по своим моральным и душевным качествам вполне соответствуют требованиям этих правил и принципов. Нельзя допускать в этот город пьяниц и хулиганов, с тем чтобы там их воспитывать. В основном, жителями этого города должна быть молодежь, чтобы как можно резче отделиться от всего старого, к сожалению еще имеющегося в жизни нашего социалистического общества. А такие коммунистические люди, новые люди, у нас уже есть. Вот и собрать их в один город, а потом все будут туда ездить, смотреть на их жизнь и загораться желанием жить так»[72]. В приведенных отрывках из писем явно проступают черты классической утопии наподобие «Города Солнца». Оба варианта народной утопии преследовали дидактические цели, описывая воплощенный в жизнь коммунистический уклад, они наглядно демонстрировали, насколько лучше будет жить в будущем.

Все, что не устраивало советского человека в его жизни, автоматически не соответствовало коммунистическому идеалу, а значит, мешало его достижению и в период «развернутого строительства коммунизма» должно быть изжито, причем как можно скорее. Кроме того, резкое неприятие многих людей, чей социальный протест под воздействием проекта Программы партии выражался в апелляции к коммунистическому будущему как идеалу справедливости, вызывало игнорирование частью населения одного из принципов «Кодекса строителя коммунизма»: «кто не работает, тот не ест». При этом под трудом подразумевался физический труд, и поэтому работники умственного труда, особенно бюрократы и руководители, воспринимались как лодыри и нахлебники. Недовольные этим авторы предлагали ввести порядок, при котором каждый руководящий работник должен был отработать один месяц в году в качестве

---

[69] РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 302. Л. 86.
[70] Там же. Д. 298. Л. 146.
[71] Там же. Л. 142.
[72] Цитируется по: *Струков Э. В.* Человек коммунистического общества. М., 1961. С. 49–50.

рабочего[73]. Или вообще ввести обязательный труд для всех трудоспособных граждан, в том числе для всех трудоспособных женщин, поскольку крайне нетерпимым считался тот факт, что многие женщины, являясь женами состоятельных людей и имея дипломы об образовании, не работают[74]. Если официальный дискурс выстраивал коммунистические перспективы, исходя из постепенного сближения умственного и физического труда посредством облегчения физического и подъема его до умственного, то народная «коммунистическая справедливость» воспринимала официальный лозунг как руководство к действию и ожидала скорейшего вовлечения всех людей в трудовой процесс. Наиболее радикальное воплощение стремления к борьбе с тунеядцами можно обнаружить в письме К. К. Лавренко, который призывал упразднить такой «рассадник тунеядства», как 3 группа инвалидности[75].

Многие трудящиеся спрашивали, почему бы не ограничить уровень зарплаты высокооплачиваемых работников и за этот счет повысить ее у низкооплачиваемых[76]. Все то богатство, которое производило народное хозяйство СССР, должно было оседать где-то, если оно не доходило до обычного человека. С. К. Игнатюк в своем письме выразил данную мысль следующим образом: «Одни уже сейчас имеют по потребностям и им не страшны 20 лет, а другие должны терпеть недостатки»[77]. Г. Наканов писал, что руководители «утрачивают вкус к борьбе за счастье народа, за коммунизм. Если бы они были такими же простоватыми и наивными, как Галушка из “Калиновой рощи” Корнейчука, то они сказал бы, наверное: “Какой вам еще коммунизм нужен, мы и так уже в коммунизме”»[78].

Некоторые авторы контексте «всеобщего равенства» поднимали еврейский вопрос. В. Сыроваткин писал: «Евреи являются в СССР привилегированной нацией, т. к. они занимаются только умственным или легким трудом и не работают в шахтах, у станков, на тракторе и т. д. , поэтому дружба с ними невозможна»[79]. Показательно, что в сознании автора евреи выделяются из категории советских граждан, с которыми либо можно дружить, либо нельзя, это подчеркивает инородность евреев в рамках Советского Союза. Поэтому нет ничего удивительного в том, что дальше В. Сыроваткин предлагает или выселить всех евреев в Израиль, или собрать их в автономной области.

Отметим, что представители еврейской диаспоры, апеллируя к провозглашаемому в СССР интернационализму, жаловались на разнообразные проявления антисемитизма на улицах, в трамваях, в квартирах, в учреждениях и т. д. , с которыми необходимо было, по их мысли, вести непримиримую борьбу[80]. Тем самым коммунистические перспективы для двух точек зрения, по еврейскому вопросу отчасти являлись средством самозащиты и отстаивания своих интересов.

Согласно III Программе КПСС, постепенное развитие науки и техники приведет к совершенствованию орудий труда, автоматизации производства, что позволит

---

73 РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 298. Л. 48.
74 Там же. Д. 302. Л. 10.
75 Там же. Д. 299. Л. 230.
76 Там же. Д. 299. Л. 111.
77 Там же. Д. 302. Л. 150.
78 Там же. Ф. 599. Оп. 1. Д. 172. Л. 37.
79 Там же. Д. 301. Л. 26.
80 Там же. Л. 25.

существенно сократить рабочий день примерно до 3–4 часов. Та часть населения, которая являлась носителем «потребительского» коммунизма, положительно отнеслась к этому тезису, но «энтузиасты» предложили альтернативный вариант. Они намеревались сократить сроки построения основ коммунизма в СССР путем более производительного и целеустремленного труда и решительной борьбы против всего, что мешает строительству коммунизма[81]. В письмах можно найти предложения не проводить дальнейшего сокращения рабочего дня. П. М. Буровцев прямо писал: «Не сокращать рабочий день в нашей стране до тех пор, пока не будет создана материально-техническая баз коммунизма»[82]. Труд в течение 7-го и даже 8-го часа работы предполагалось использовать для расширения производства материальных благ и укрепления обороноспособности страны или сэкономленные на этом средства направить на поднятие зарплаты низкооплачиваемым категориям работников и на пособия многодетным семьям. Возникала даже идея ввести «час коммунистического труда», дополнительный час рабочего времени, который не будет оплачиваться, а созданные за этот час средства должны были бы передаваться в распоряжение государства[83]. В целом, подобные идеи свидетельствуют о стремлении распространить практику бесплатного труда, примером которого могли выступать «коммунистические субботники», которые изначально и задумывались как своеобразная школа коммунистического труда и средство помощи в развитии народного хозяйства. Повседневным выражением коммунистических принципов труда, заключенных в практике «коммунистических субботников», как уже отмечалось, на рубеже 50–60-х гг. стали «бригады коммунистического труда».

Иногда идея дополнительного рабочего времени соединялась с «потребительским» вариантом коммунизма, порождая еще одну позицию, противостоящую официальным перспективам. С. М. Антропов в своем письме отмечал, что он никогда не слышал от рабочих жалоб на длительный рабочий день. Жалобы, в основном, были связаны с отсутствием и дороговизной продуктов питания и товаров народного потребления. Поэтому, по его мнению, было бы разумно за счет 7 или 8 часа работы обеспечить население необходимыми товарами[84]. О. Г. Торосян предпочел бы работать не по 8 часов за 69 р. в месяц, а по 12–14 часов и не видеть своих детей в нужде[85]. Разница между двумя позициями заключатся в том, для кого эти дополнительные блага будут создаваться. «Энтузиасты» готовы были работать ради всего общества, испытывая в своем настоящем трудности и лишения ради скорейшего завершения строительства основ коммунизма, где уже не будет глобальных проблем. «Потребители» хотели немедленной отдачи от своего труда, причем отдачи весьма конкретной, не в виде роста производства станков или стали на душу населения, а такой, которую можно ощутить своими руками и желудком.

«Коммунистическое нетерпение», бытовавшее среди части населения, выражалось не только в стремлении уже в настоящее ввести элементы коммунистической жизни, но и, как уже отмечалось, «героическим» трудом и беспощадной борьбой с негативными

---

[81] Там же. Ф. 586. Оп. 1. Д. 298. Л. 43.
[82] РГАНИ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 72. Л. 5.
[83] РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 302. Л. 9–10.
[84] Там же. Л. 139.
[85] Там же. Л. 139.

пережитками прошлого досрочно «ступить в светлое здание коммунизма». 20-летний срок многим казался слишком долгим. С энтузиазмом, желанием работать и верой в «светлое будущее», имея Программу партии, можно было сократить срок построения коммунизма на 5–10 лет. А. И. Миссавров предлагал записать в тексте III Программы КПСС, что ликвидация частной собственности и замена ее общенародной осуществится за 5 лет, но «советский народ идет вперед, не задерживаясь на достигнутом, и бессомненно построит коммунистическое общество за 10 лет (1961–1970 гг.)»[86]. «Товарищ Сирадзе» был более осторожен в своих прогнозах, говоря о сроке в 15 лет, зато отмечал, как это можно сделать. Средства для этого можно было найти за счет сокращения непроизводственных расходов на производстве: он предлагал организовать более эффективный учет и отчетность, реорганизовав партийный и государственный аппарат, иначе, по его мнению, «коммунизм для нас превратится снова в мечту»[87].

Из общей массы корреспонденции выделяется значительный блок писем по половому признаку, что позволяет говорить об особом женском варианте коммунистических перспектив. Как отмечает Б. А. Грушин, огромной популярностью пользовалась тогда, в частности, идея женского равноправия; она активно поддерживалась не только женской частью опрошенных, но и мужчинами, особенно молодыми, причем в среде молодых женщин нередко приобретала отчетливые черты тех представлений, которые позже оформились в стране в виде тех или иных концепций феминизма[88].

Выделение «женского коммунизма» из общих вариантов не означает, что эти общие образы являются «мужским коммунизмом». Скорее, их можно обозначить как «андрогинный коммунизм», поскольку в них не выделяется гендерная принадлежность тех, кто его строит, такой коммунизм распространяется на всех, кто при нем будет жить. Выделение «женского коммунизма» связано с наличием ряда чисто женских проблем, решение которых связывалось с коммунистическим строительством. Официальный дискурс связывал бытовые проблемы с интересами женщин, женское население с этим было согласно.

В первую очередь, женщин не устраивало их двойственное положение: с одной стороны, они должны быть работницами народного хозяйства, а с другой, — играть традиционные роли — готовить, стирать, рожать детей. Поэтому во множестве писем отмечалась необходимость введения особого рабочего режима для женщин, при этом авторы многих подобных писем были не женщины, а мужчины. В. Тарасов в своем письме в «Известия» утверждал, что в Программе должен быть специальный раздел о семье, о положении женщин в ней, об улучшении их быта[89]. Возможно, причиной такой заботы со стороны противоположного пола было не стремление к освобождению женщины и созданию семьи нового типа, а наоборот, попытка возвратиться к традиционной семье, где женщина занимается исключительно домашним трудом. Государство, несмотря на провозглашение курса заботы о женщине, не торопилось делать конкретные шаги, ведь женщины составляли около половины всех рабочих и служащих в народном хозяйстве. Перевод их на особый рабочий режим создал бы непреодолимые трудности

---

[86] Там же. Л. 86.
[87] Там же. Л. 86.
[88] См.: *Грушин Б. А.* Указ. соч. С. 333.
[89] РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 298. Л. 3.

в общей организации труда и производства[90]. Чего же, собственно, жаждали советские женщины от коммунизма? Р. Зубкова и Л. Крутьева предлагали дополнить моральный кодекс указанием на справедливое распределение в семье домашнего труда[91]. Конечно, не все женщины активно требовали перемен, вероятно, для многих никакого «женского коммунизма» и не было, но индивидуальные и коллективные письма позволяют говорить о неком комплексе ожиданий, который позволительно анализировать в рамках исследовательской конструкции «женского коммунизма».

Комплекс писем в различные издания, и в первую очередь в журнал «Работница», демонстрирует наиболее распространенные меры, которые, по мысли авторов писем, должны были быть осуществлены в период «развернутого строительства коммунизма», а следовательно, являлись неотъемлемой частью коммунизма. Предполагалось, что зарплата должна устанавливаться в зависимости от состава семьи или к зарплате необходимо делать прибавку в 10% за каждого ребенка. Ожидалось, что в первом десятилетии или даже с 1962 г. всех детей матерей-одиночек и детей из многодетных семей, а также женщин, не имеющи в связи с многодетностью возможности трудиться на предприятиях и в учреждениях, возьмут на полное государственное обеспечение. Выражалось надежда, что государство предоставит возможность в ближайшее современникам время бесплатного содержания детей в дошкольных учреждениях и в школах-интернатах и обеспечит детей в школах бесплатным питанием, одеждой и школьными принадлежностями[92], оплатит бюллетень по уходу за детьми за все время болезни ребенка, ликвидирует ночные смены для женщин, продлит декретный отпуск после родов[93]. Видно, что «женский коммунизм» населения, в отличие от официального, в первую очередь, ориентировался не на кухонно-коммунальную сферу, а на воспроизводство населения.

Особой темой в «женском коммунизме» звучал мотив, исходивший из уст отдельной женской группы — одиноких матерей. Примечательно, что наиболее распространенным предложением от этой группы было устранение самого выражения «одинокая мать». Видимо, выделение их в отдельную «ущербную» группу, в то время как в сознание внедрялись идеи всеобщего равенства, создавало негативный фон как с позиций традиционной морали, так и с точки зрения укрепления социалистической семьи. В желании табуировать термин видно проявление мифологического сознания, когда отсутствие слова приравнивалось к отсутствию явления: если вычеркнуть из языка номинативную единицу «одинокая мать», то данное явление исчезнет и из действительности. Помимо таких ритуальных действий, одинокие матери пытались улучшить свое положение и более прагматическими мерами. Предлагали, во-первых, установить одинаковую материальную и моральную ответственность для обоих родителей за воспитание детей независимо от того, зарегистрированы или не зарегистрированы отец и мать; во-вторых, снять прочерк в графе об отце в свидетельстве о рождении детей от незарегистрированных браков[94]. Все эти предложения обосновывались не интересами одиноких матерей, а исключительно интересами детей.

---

[90] Там же. Д. 299. Л. 116–117.

[91] Там же. Д. 298. Л. 6.

[92] Там же. Д. 302. Л. 146.

[93] РГАНИ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 81. Л. 185.

[94] Там же.

«Женский коммунизм» зачастую ставил интересы детей выше остальных. Так, в ряде писем предлагалось исключить из текста Программы партии положение о бесплатном транспорте и бесплатных коммунальных услугах, о бесплатных обедах и санаториях, вместо чего «категорически записать о расширении сети детских яслей, садов, пионерских лагерей, бесплатном школьном образовании, с выдачей детям завтраков, одежды, учебников»[95]. Такая позиция демонстрирует не только наличие «женского» или «материнского коммунизма», но и фрагментацию в сознании части населения образа коммунизма, предлагаемого официальным дискурсом. «Официальный коммунизм», как детский конструктор, состоял из набора элементов, которые в случае необходимости можно было менять местами, выстраивая из них свой собственный образ коммунизма.

Естественно существовали люди, которые были критически настроены по отношению к коммунистическому строительству. Можно выделить два вариант скепсиса. Первый отрицал саму возможность строительства коммунизма, второй стали по сомнение указанные в новой Программе партии сроки. Этот сценарий Программная группа охарактеризовала так: «Встречаются письма демагогического, злопыхательского, клеветнического, антипартийного характера. Характер этих писем требует, чтобы о них были информированы местные партийные органы»[96]. В них под сомнение ставилась сама идея коммунистического общества, а это, в свою очередь, означало покушение не только на «генеральную линию партии», но и на остальные элементы марксистской доктрины. Естественно, что письма, отражающие сценарий скептического отношения к коммунизму, публично обсуждались крайне редко, поскольку не многие граждане Советского Союза решались высказать антипартийные мысли вслух, опасаясь ответной реакции со стороны власти. Следовательно, выражение скептического и негативного отношения к официальному дискурсу не стоит искать в письмах «во власть». Гораздо больше сведений об этом варианте рецепции коммунизма можно найти в народном творчестве.

В анекдотах можно обнаружить две группы объектов для шуток. К первой относится коммунизм как таковой, а также корпус связанных с ним идей. Вторая группа состоит из конкретных примеров строительства коммунизма, здесь обыгрываются отдельные положения Программы партии или высказывания Н. С. Хрущева. Такое разделение может быть сопоставлено со «скептическим» вариантом коммунизма, который прослеживается в письмах: там тоже либо отрицается сама идея «светлого будущего», либо ставятся под сомнение его отдельные элементы.

Ярким примером, иллюстрирующим содержание скепсиса первой группы, могут служить два взаимодополняющих анекдота: «Самый короткий анекдот — коммунизм» и «Самый длинный анекдот — Программа строительства коммунизма, принятая на XXII съезде партии»[97]. Особо популярной темой для анекдотов было саркастическое высмеивание представления о коммунизме как о «светлом будущем». Вот несколько примеров: «Скажите, это уже коммунизм или будет еще хуже?».

«Один старый большевик другому: — Нет, дорогой, мы-то с вами до коммунизма не доживем, а дети... Детей жалко!»

---

95 РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 302. Л. 165.

96 Там же. Д. 298. Л. 24.

97 1001 избранный советский политический анекдот // http://www.gramotey.com/books/311133715182.html

«Можно ли построить коммунизм? — Построить-то можно, но вот выжить при нем — вряд ли»[98].

Уровень жизни, по которому народ оценивал свое счастье, зачастую выражался в «потребительском коммунизме» и особой его разновидности — «продовольственной утопии». Отметим, что именно продуктовая проблема стала первой «осечкой» в выполнение намеченных Программой партии планов. Разрыв между официальными лозунгами о скором продуктовом изобилии и продовольственными трудностями основной массы населения СССР не мог не вызывать скепсиса по отношению к выдвигаемым властью положениям, что, в свою очередь, порождало антиутопию. В «продуктовых анекдотах» зачастую саркастически обрабатывались наиболее распространенные положения о полном удовлетворении человеческих потребностей в коммунистическом обществе. Приведем некоторые примеры:

«Расцвет коммунизма. Объявление на дверях продуктового магазина: сегодня в масле потребности нет».

«Один еврей другому:

— При коммунизме у меня будет свой самолет!

— Зачем тебе самолет?

— А вдруг, скажем, в Калуге муку дают. Полчаса лету — и я там!».

«Правда ли, что при коммунизме продукты можно будет заказывать по телефону? — Правда. Но выдавать их будут по телевизору».

«Наступил коммунизм. — Алло, Манька, включай скорей свой цветной телевизор — красную икру показывают»[99].

Продовольственную тему вслед за анекдотами подхватывал и другой жанр фольклора — частушка. В большинстве своем этот жанр довольно скабрезный, поэтому приведем только один пример:

К коммунизму мы идем,
птицефермы строятся,
а колхозник видит яйца,
когда в бане моется[100].

Через гипертрофированное представление о том, насколько будет плоха продовольственная ситуация в будущем, носители анекдотов выражали свое отношение к продовольственным трудностям в настоящем. Коммунизм выступал как кривое зеркало, в котором отражались проблемы 60-х гг., поскольку официальный дискурс указывал, что коммунистическое общество вырастает из социалистического.

Близки к анекдотам о «продуктовом изобилии» при коммунизме анекдоты о распределении товаров по потребностям. Самым ярким примером может служить анекдот, который существует в нескольких редакциях, не меняющих его сути: «Американский миллионер купил ГУМ и объявил бесплатную раздачу товаров. Вскоре ГУМ и подступы к нему были завалены телами убитых и раненых. Миллионера спросили:

---

[98] Там же.

[99] Там же.

[100] Русские озорные частушки // www.thelib.ru/books/avtor_neizvesten/russkie_ozornie_chastushki-read.html

— Зачем вам это было нужно?

— Мне было интересно, что будет, когда вы перейдете к распределению “каждому по потребностям”»[101]. В этом анекдоте заложена мысль, которую можно обнаружить и в рассмотренных выше письмах, о психологии советских людей, делающей невозможным построение коммунизма.

Декларативность коммунистических перспектив, несоответствие провозглашаемых успехов и трудностей жизни рядового советского человека выражались в анекдотических предположениях, что и коммунизм не будет реально построен, а всего лишь провозглашен: «Когда наступит коммунизм? — Об этом будет сообщено в закрытом письме ЦК».

«Как мы узнаем, что коммунизм уже наступил? — Будет объявлено по радио и в газетах. Если у людей останутся телевизоры, сообщат и по телевидению».

«На повестке дня колхозного партсобрания два вопроса: строительство сарая и строительство коммунизма. Ввиду отсутствия досок сразу перешли ко второму вопросу»[102].

Обыгрыванию подвергались и отдельные наукообразные положения Программы партии, в качестве основной формы изложения здесь выбиралась вопросно-ответная форма:

«Можно ли будет при коммунизме планировать деторождение? — Нет, если орудия производства в этой отрасли останутся в частных руках».

«Будет ли КГБ при коммунизме? — Нет, к тому времени люди научатся самоарестовываться».

«Будут ли при коммунизме деньги? — Югославские ревизионисты утверждают, что будут. Китайские догматики утверждают, что нет. Мы же подходим к вопросу диалектически: будут, но не у всех»[103].

Все вышеприведенные анекдоты демонстрируют, что скептический вариант коммунизма по своей сути являлся оборотной стороной официального и того народного коммунизма, который был убежден в возможности построения основ в течение 20 лет. Это связано с самой природой существования скепсиса, поскольку без «положительного» варианта, служащего базисом, невозможно и функционирование «отрицательного». А. В. Дмитриев писал, что анекдот в советский период в первую очередь являлся механизмом снятия стресса от чрезмерного давления идеологии, а не орудием сопротивления и борьбы с режимом, как это представляют многие исследователи, поскольку большинство не готово было идти дальше насмешек над властью, а только избавлялось от перегрузок окружавшей их действительности[104]. Иными словами, как отмечает Т. В. Чередниченко, «здравый смысл массового сознания реализовал себя большей частью в анекдотах (анекдот не “борется” с мифом, а лишь продолжает его за пределы утопического менталитета, по типу диалектического “снятия”)»[105].

---

[101] 1001 избранный советский политический анекдот…

[102] Там же.

[103] Там же.

[104] См. *Дмитриев А. В*. Социология политического юмора. М., 1998. С. 57.

[105] *Чередниченко Т. В*. Наш миф // Arbor Mundi. Мировое дерево. Международный журнал по теории и истории мировой культуры. № 1. М., 1992 С. 132.

III Программа КПСС наметила основные контуры грядущего коммунизма, не дав четких и конкретных картин будущего. Этот расплывчатый образ, преломленный в текстах, вызвал у населения ответную реакцию. Рецепция коммунистической идеи давала богатый спектр вариантов: кто-то видел в коммунизме решение собственных проблем, часто бытового характера, другие же стремились поскорее воплотить в жизнь идеал коллективного «светлого будущего», часть населения вообще скептически относилась к коммунизму Это могло служить одним из факторов того, что попытка глобальной модернизации страны потерпела неудачу. Население СССР не выступало в роли простого объекта приложений инициатив властных институций, а было равноправным игроком. Данная точка зрения, в силу не разработанности темы, пока не обладает большой доказательной базой, что в свою очередь подразумевает продолжение работы и расширение темы в последующих исследованиях.

СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МОДЫ

Культурный трансфер дискурса о моде из французской прессы в советские журналы 1950-х–1960-х гг.

Л.В. Захарова

В СССР о моде писали много и увлеченно, то устраивая огульную критику этому явлению буржуазного происхождения и соответственно чуждому советскому человеку с его «высокими морально-нравственными ценностями», то пытаясь отстоять право моды на существование в обществе строителей коммунизма.[1] Защита моды происходила с разных позиций. В первое постреволюционное десятилетие художники руководствовались принципом «искусство в жизнь», эстетизируя повседневность и включая моду в цикл стилистической эволюции.[2] Затем сталинская борьба за культурность стала новым теоретическим фундаментом для оправдания моды как неотъемлемого элемента социалистической модернизации.[3] Советское понимание культурности включало умение одеваться красиво, опрятно и со вкусом. В эпоху «Оттепели», в контексте соревнования двух систем, социалистическая мода должна была стать материальным доказательством преимущества советского образа жизни в сравнении с капиталистическим, что усилило позиции адвокатов моды. Дух соревнования в то же время не препятствовал активным «дружественным» контактам между представителями двух соперничающих блоков. Прагматичные аспекты концепции мирного сосуществования, пришедшей на смену парадигме осажденной крепости, отражались в идее использования западного опыта для совершенствования социалистической системы в целом, и производства одежды в частности. Западные кампании принимали у себя советских специалистов швейной промышленности и модного дизайна, а Дома моделей одежды СССР выписывали для своих сотрудников европейские журналы мод и брали в штат переводчиков.[4] Усвоенный таким образом опыт имел практическое и теоретическое значение. Иностранное оборудование закупалось, копировалось и внедрялось в советскую текстильную и швейную индустрию. Тенденции французской моды с ее незыблемым авторитетом вдохновляли советских модельеров, которые в то

---

[1] Gorsuch Anne E., « NEP Be Damned ! Young Militants in the 1920s and the Culture of Civil War », *The Russian Review*, 56 (October 1997), p. 576–577; Gorsuch Anne E., “A Woman Is Not a Man”: The Culture of Gender and Generation in Soviet Russia, 1921–1928”, *Slavic Review*, 55, no 3 (Fall 1996), p. 636–660.

[2] Strijenova Tatiana, *La mode en Union Soviétique. 1917–1945. (Soviet costume and textiles),* Paris, Flammarion, 1991.

[3] Hoffmann David L., *Stalinist Values. The Cultural Norms of Soviet Modernity (1917–1941,.* Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.

[4] ЦГА СПб, ф. 9610 «Ленинградский дом моделей одежды», оп. 3, д. 84 “Отчет по работе с кадрами. 1959 год.», л. 5; д. 112 «Годовой отчет по основной деятельности за 1960 год.», л. 98.

же время критиковали источник вдохновения, отстаивали оригинальность и отличительность своих творений от их западных аналогов на страницах журналов мод, используя при этом обороты, понятия и семантическую систему европейского модного дискурса. В результате этих схоластических умозаключений и культурного трансфера из западной модной прессы сложилась концепция социалистической моды, которая может быть истолкована как система норм и правил, находящаяся благодаря своему риторическому преломлению в постоянной коммуникации с обществом. Художники-модельеры выполняли таким образом их социальную функцию, нормируя повседневность своих соотечественников посредством предписания определенных видов одежды к разным случаям.

Сравнительный анализ текстов французских и советских журналов мод 1950-х-1960-х гг. позволит проследить процесс культурного трансфера из западной моды в советский модный дискурс, который не сводится к простой имитации и воспроизводству, так как нуждается в контекстуализации, освобождающей дискурс от негативной коннотации, связанной с понятием «буржуазная мода» и биполярным видением мира в атмосфере холодной войны. Реконструкция вербального уровня советской моды, который вместе с технологическим (носимая одежда) и иконографическим (фотографическое изображение одежды) уровнями составляет систему моды,[5] поможет оценить степень и качество заимствований из западного модного дискурса, а также увидеть синхронизм и вариации между французской и советской нормативной риторикой моды.

Прежде чем пристуступить к рассмотрению трансфера дискурсов французской моды в советские журналы и определению уровней, на которых происходят заимствования, необходимо кратко представить историю издания модных журналов в СССР и обосновать правомерность сравнительного анализа.

1. Эволюция спектра модных журналов в СССР.

Рождение первых советских модных журналов относится к эпохе НЭПа и совпадает с возобновлением продажи в Советской России французских модных изданий. В 1922 г. советские обыватели могли полистать «Новости мод. Художественный ежемесячный журнал последних парижских мод». В следующем 1923 г. появилось новое издание «Последние моды. Журнал для женщин». А еще год спустя читатели могли приобрести журнал под более лаконичным названием «Моды». В соответствии с духом времени, эти журналы предлагали роскошные дорогие платья для жен предпринимателей той поры. Некоторые издания были «ведомственными», как, например, журнал «Ателье», публиковавший модели ателье мод, открывшегося в 1923 г. и бывшего своего рода прототипом Московского Дома моделей. Состав редколлегии журнала свидетельствует о его значимости в мире модного дизайна. Такие имена как Б. Кустодиев, И. Грабарь, А. Головин, В. Мухина, К. Петров-Водкин, Е. Прибыльская, Н. Ламанова, А. Экстер, И. Фомин, А. Ахматова, К. Федин, О. Форш, М. Шагинян, имевшие непосредственное отношение к журналу «Ателье», говорят о возобновлении интереса художественной интеллигенции к вопросам моды и эстетики одежды. Иллюстрации представляли платья, созданные Н. Ламановой,

[5] Barthes Roland, *Système de la Mode,* Paris, Editions du Seuil, 1988.

А. Экстер, Е. Прибыльской, В. Мухиной. Но содержание статей не соответствовало иллюстрациям. Тексты призывали художников создавать модели одежды для массового производства, тогда как визуальный ряд был по-прежнему ориентирован на роскошные трудоемкие платья, которые легкой промышленности с ее ограниченными технологическими возможностями было освоить не под силу. Журнал прожил всего год и был закрыт по причине своей элитарной ориентации.[6]

Эстафету переняли два других периодических издания: «Искусство» и «Красная нива». Им принадлежит первенство в попытках сформулировать концепцию советской моды, которая нашла свое теоретическое оформление в альбоме «Искусство в быту», издаванном Н. Ламановой и В. Мухиной в 1925 г. Альбом, предназначенный для женщин, шьющих самостоятельно, предлагал модели и выкройки одежды, сгруппированные вокруг трех тем: одежда для дома, для улицы и для работы.

В 1928 г. вышел в свет новый журнал «Искусство одеваться». Его название указывает на возобновление споров вокруг места и значения моды в социалистическом обществе. Конец НЭПа и переход к форсированной индустриализации сменили ментальные ориентиры и нормы, вернув к актуальности психологию аскетизма. Первый номер журнала был открыт статьей Наркома Просвещения Анатолия Луначарского, который начал полемику о своевременности вопроса об эстетике в одежде. В том же номере было опубликовано пять ответов Луначарскому, единодушно доказывавших с разных позиций уместность функциональной и удобной одежды. В частности, Нарком здравоохранения Семашко настаивал на гигиенических характеристиках одежды, эстетически близкой к русскому народному костюму. В ходе этих споров теоретические принципы концепции социалистической моды продолжали уточняться. «Искусство одеваться» было первым журналом, включившим одежду для детей в спектр советского модного дизайна. Однако, первые модели детской одежды, представленные на его страницах, были в большинстве своем копиями одежды для взрослых. Культура презентации творений кутюрье не была еще окончательно сформирована, так как имена авторов моделей не указывались. Несмотря на претензию определить особенности социалистической моды, между фотографиями моделей советских и западных дизайнеров прослеживалась явная параллель. Журнал просуществовал всего год: его публикация прекратилась в 1929 году под предлогом повышенного количества западных моделей на его страницах.[7]

Новая волна издания модных журналов совпадает по времени с моментом институционализации и централизации системы моделирования одежды, произошедшей в 1944 г., когда несколько республиканских домов моделей были подчинены Общесоюзному дому моделей одежды в Москве, а также был основан Всесоюзный институт ассортимента изделий легкой промышленности и культуры одежды. Главным органом последнего учреждения стал «Журнал мод», публикация которого началась в 1945 г. Он выходил раз в триместр тиражом 50 000 экземпляров.

По словам его редакции:

---

[6] Strijenova Tatiana, *La mode en Union Soviétique. 1917–1945. (Soviet costume and textiles),* Paris, Flammarion, 1991, стр. 59–67.

[7] Strijenova Tatiana, *La mode en Union Soviétique. 1917–1945. (Soviet costume and textiles),* Paris, Flammarion, 1991, p. 67–211.

«Журнал мод остается ведущим журналом, который наряду с показом последних новинок моды (...) пропагандирует последние достижения советского моделирования и определяет новое направление моды. Журнал также подводит итоги ежегодных методических совещаний, публикует теоретические статьи, посвященные принципам единого стилевого направления прикладного искусства, подробные отчеты о Международных Конгрессах Мод, информирует о новых тканях, обуви, головных уборах и тому подобном, а также о последних новостях развития моды за рубежом.» [8]

Этот журнал дублировался местными изданиями Домов моделей разных городов и крупных магазинов. Так, например, модели, создаваемые в ателье при ГУМе, печатались в журнале «Моды». После экономической реформы Хрущева 1957 г., направленной на децентрализацию экономики, расформирование министерств и введение совнархозов, началась публикация нового журнала «Модели сезона» под эгидой Государственного Комитета легкой промышленности, подчиненного Госплану и заменившего Министерство. Издание, выходившее два раза в год, было названо журналом «практичной моды, рассчитанным на удовлетворение запросов широких слоев населения в моделях одежды», где публиковались «проверенные временем модели одежды различного назначения для всех групп населения, статьи с информацией о направлении моды сезона и по вопросам культуры одежды; консультации о переделке, трикотаже ручной вязки, рукоделии, шитье по готовой выкройке и полезные советы.»[9]

В 1961 г. Комбинат прикладного искусства московского отделения Художественного фонда РСФСР начинает издавать журнал «Одежда и быт», ставивший особый акцент на стилистической гармонии всех предметов повседневного обихода.

Эти специализированные журналы содержат иконографическое отображение модных тенденций, перемежающееся с текстами толковательного и дидактического свойства, и часто сопровождаются выкройками. Кроме этих изданий существовал огромный спектр альбомов мод, также предлагавших выкройки, но не публиковавших пояснительных статей. Например, Ленинградский Дом моделей одежды публиковал несколько альбомов с графическими иллюстрациями, редактируемых директором Дома В. Г. Каминской:[10] альбомы моделей весенне-летнего и осенне-зимнего сезонов (воспроизводившие западный бинарный принцип сезонной смены модных тенденций); альбом моделей детской одежды, выходивший раз в год; альбом выкроек, выполнявший функции воспитания вкуса у потребителей и внедрения моделей, отвергаемых массовым производством; и, наконец, альбом вышивок и отделок, который давал возможность приукрасить скучные и однообразные платья, выпускаемые швейной промышленностью Ленинграда. Интерес к вышивкам отражает не только вкус эпохи, но и способ демонстрации достатка посредством одежды. На Западе одежда из вышитой ткани безоговорочно ассоциировалась с высокой модой и позволяла отличить ее от одежды массового производства. Возможно, дух соперничества с Западом стал предлогом для привития советским потребителям вкуса к вышивкам. Таким образом, атрибуты потребления роскоши, распространенные в советском

---

[8] «Журнал мод», 1959, № 4, стр. 2.

[9] Там же.

[10] ЦГА СПб, ф. 9610 «Ленинградский дом моделей одежды», ор. 3, д. 78 «Оригиналы альбома моделей. 1959, 4-е издание.», л. 2.

обществе в вульгаризированной, «одомашненной» и дилетантской форме, служили материальным доказательством превосходства социализма.

Кроме этого, Ленинградский Дом моделей тиражировал зарисовки моделей с пояснениями о назначении представленного типа одежды. По ним следящие за модой потребители могли заказать одежду в ателье индивидуального пошива.[11] Количество изданий этого заведения значительно возросло в течение 1950-х — 1960-х гг. Если в 1955 г. Ленинградский Дом моделей издавал 5 журналов тиражом в 100 000 экземпляров, то в 1963 их количество достигло 25, с тиражом в 749 200.[12] Подобный рост сопровождался качественными структурными изменениями, отметившими расслоение советской моды по западному образцу и появление в ней иерархии моделей, основанной на степени их эксклюзивности. В 1960 г. так называемые перспективные модели, воплощавшие модные тенденции будущих лет — аналог западной высокой моды той поры — публикуются в специальном номере «Моды 1961 года», изданном тиражом 90 500 экземпляров.

Фотографии и зарисовки модели модной одежды также печатались в женских журналах, таких как «Работница», в которых существовал особый раздел, посвященный новостям в мире моды и вопросам хорошего вкуса, освещаемым корифеями советского моделирования.

Такое обилие текстов о моде создает дискурсивное поле, наполненное профессиональными предписаниями и регламентирующее нормы внешности. Обратимся теперь к мотивациям, детерминирующим характер текстов, с тем, чтобы выяснить правомерность сравнительного анализа модных дискурсов на Западе и в СССР.

2. Правомерность сравнительного анализа.

В Советском Союзе, как и на Западе, модная пресса являлась неотъемлемым инструментом для распространения моды. Журналы участвовали в ритуале посвящения-погружения читателя в постоянно обновляющийся цикл моды не только с помощью визуального ряда, но и благодаря текстам, выполнявшим дидактическую функцию и авторитарно навязывавшим мнение законодателей моды, не терпевших возражений. Тексты толковали семантику и назначение изображенных моделей, открывая взору читателей ракурсы, недоступные при рассмотрении картинки.

Однако, в отличие от Запада, где журналы, начав с простого отражения творений кутюрье, постепенно достигли статуса законодателей моды, советские модные издания никогда не были конкурентами для художников-модельеров из-за слияния двух профессий и социальных функций дизайнеров одежды и журналистов модной прессы. Большинство текстов в советских модных журналах принадлежит перу самых известных художников Общесоюзного Дома моделей. В то же время принцип отбора моделей для журналов, отдающий предпочтение работам этого

---

[11] Там же, д. 195 «Альбом зарисовок № 1. 1963 год. »

[12] Там же, д. 31 «Годовой отчет по основной деятельности в 1957 году.», л. 16; д. 35 «Техпромфинплан на 1958 год.», л. 64; д. 85 «Годовой отчет по основной деятельности в 1959 году.», л. 6; д. 112 «Годовой отчет по основной деятельности в 1960 году», л. 55–56; д. 145 «Годовой отчет по основной деятельности в 1961 году», л. 35–36; д. 221 «Годовой отчет по основной деятельности в 1963 году.», л. 150.

Дома моделей, отражает иерархию в системе этих учреждений и подчинение провинциальных дизайнеров диктату центра.

Тем не менее, отсутствие конкуренции между журналами и кутюрье в области утверждения модных тенденций усиливало значимость этих изданий, являвшихся подлинными рупорами модельеров. В контексте плановой экономики журналы были верным способом непосредственной коммуникации с потребителями, позволявшим законодателям моды распространять свои идеи, избегая сопротивление инертной легкой промышленности, не способной перестраивать конвейеры каждые полгода для производства одежды новых фасонов. Приложения с выкройками были важным элементом автарксической культуры потребления: они позволяли сшить модную одежду в домашних условиях и освободиться от давления дефицита. Дискурс кутюрье о модных тенденциях не был абстракцией, так как содержал в себе имплицитную ссылку на потенциальные способы воспроизводства моделей — в домашних условиях или в ателье.

Таким образом, модные дискурсы на Западе и в СССР отличаются по своим экономическим мотивациям. В западных журналах публикация предметов коллекций того или иного Дома моды связана с рекламными и коммерческими целями. Но даже если такие ориентации не являются основными задачами советских журналов моды, они все же привлекают внимание читателей к модным новинкам, рассказывая, например, о синтетических тканях. Этот советский вариант рекламы достаточно эффективен, так как благодаря ему увеличиваются продажи определенных товаров. Авторы статей регулируют в определенной мере соотношение межде спросом и предложением, расхваливая одни товары и критикуя другие :

> « К сожалению, в наше, советское время тенденция подражать дорогостоящим произведениям в дешевых магазинах проявляется еще очень часто. Поэтому, несмотря на относительно высокий технический уровень ювелирной галантереи, ее изделия, как правило, отличаются низким художественным качеством. (...) В основе всего ювелирного искусства прошлого лежала неразрывная связь с характером и формой одежды. Но это незыблемое правило почти совершенно игнорируется нашими художниками и мастерами ювелирного дела Проявить же подлинный вкус в ювелирных изделиях можно, лишь хорошо зная и учитывая современный покрой одежды и основное направление моды. (...) Потребность в новых изделиях чрезвычайно велика, но наши ювелирные предприятия продолжают работать «по старинке», создавая произведения, чуждые современному костюму. (...) Одна из ювелирных фабрик умудрилась выпустить брошь в виде курсивом написанного слова «Москва» (словно дорожный знак!), где все буквы состоят из крупных бриллиантов в платиновой оправе. С этим вопиющим безвкусием необходимо вести непримиримую борьбу.»[13]

Параллель с механизмами конкуренции на Западе станет еще более очевидной, если привести пример другого журнала «Одежда и быт», который печатает на своих

---

[13] Ильин М., “Ювелирные изделия и мода”, *Декоративное искусство СССР*, 1959, N° 5, стр. 25–26. У Макаровой Н. в статье «Бижутерия», опубликованной в «Журнале мод», 1959, N° 2, стр. 23–24, можно найти схожую критику мещанских украшений и превозношение бижутерии из дерева, стекла и пластмассы.

страницах, в разделе новинок советской ювелирной промышленности, фотографию броши в виде слова «Москва», не посвящая ей ни одного критического замечания.[14] Подобная ситуация свидетельствует о гетерогенности среды художников.

У советских публицистов реклама или критика модных товаров не связана с экономическими интересами как таковыми. Главной целью их дискурса являлось воспитание вкуса потребителей. Однако, не следует думать, что эта дидактическая направленность является исключительно советской спецификой. Западные модные журналы не менее щедры на советы назидательного тона. Но в отличие от советских текстов, настаивающих на незыблемых нормах хорошего вкуса, западный дискурс стремится показать эволюцию вкуса.

Еще одно отличие между советским и западным модным дискурсом состоит в манере обращения к читателю. Разница в масштабе и частоте использования журналов моды в сравниваемых контекстах объясняет необходимое присутствие в советских изданиях своего рода аннотаций, в которых редакторы учат публику читать журнал и пользоваться им таким образом, чтобы цели кутюрье были бы достигнуты:

> «У модельеров есть свои требования к тем, для кого они трудятся. Чтобы научится красиво одеваться, необходимо разбираться в вопросах моды и уметь смотреть журнал; ведь каждая модель, отобранная для журнала, проходит строгую критику на художественных советах. Просматривая в первый раз новый журнал, нужно сначала уловить общую тенденцию моды: длину, расположение талии, ширину плеч. Одним словом, надо научиться улавливать модный силуэт. Таких силуэтов обычно предлагают несколько, но все они имеют общие черты. Например, высота плеч, линия талии, длина — одинаковы во всех силуэтах, а юбки — различны. Уловив это общее, вы можете подробнее рассмотреть фасоны, то есть разработку каждого силуэта в покрое и деталях»[15].

Советские модельеры в их публикациях исходят из постулата о потребительском консерватизме, который влечет за собой психологические трудности при переходе от одной моды к другой. Чтобы преодолеть подобное сопротивление, они настаивают на неизбежности транзитивности в моде и предлагают рецепты для более легкого ее восприятия:

> «До сих пор еще многим трудно расстаться с огромными подплечиками, делающими все более нелепым самый хороший костюм. Каждая женщина, которая хочет красиво и модно одеваться, должна в первую очередь уловить модный силуэт, модную линию. Мода — временное изменение силуэта. Ее особенность в том, что каждая последующая мода уничтожает предыдущую, поэтому переход от одной формы к другой зачастую бывает очень труден — не всегда легко расстаться с привычными, уже проверенными линиями и деталями костюма, даже если новая мода несет обновление, выявляя в нас новые внешние качества..»[16].

Для более успешного утверждения новых линий и их принятия потребителями, модельеры приводят примеры сложного перехода к новым тенденциям в недалеком прошлом, показывая очевидность распространенности этих силуэтов в мо-

---

[14] *Одежда и быт*, 1962, N° 2, стр. 44.

[15] Ефремова Л. «Заметки о моде», *Модели сезона*, осень-зима 1959–1960, стр. 2.

[16] Захаржевская Р., Литвина Л., «Умение одеваться», *Журнал мод*, 1957, N° 3, стр. 1.

мент публикации статьи. Таким образом, они пытаются предупредить сопротивление постоянному обновлению в моде, доказывая его бесполезность:

> « Мода предлагает все новые линии и формы, меняя старые, привычные, и тем изменяя наш внешний вид. Иногда новые формы не сразу завоевывают всеобщее признание. Вспомним, как настороженно относились женщины 10 лет назад у лифу с цельнокройным рукавом, который сейчас настолько прочно вошел в быт, что едва ли найдется женщина, которая его не носит. Даже полные женщины, вначале считавшие, что этот крой им абсолютно противопоказан, постепенно убедились, что они могут носить и платья, и пальто с цельнокройным рукавом. Сейчас такой новой формой является платье «принцесс». Несмотря на то, что это платье не протяжении нашего века дважды появлялось в моде (1916 и 1936), для многих женщин, особенно для молодых, эта форма совсем не знакома и нова. В облегающем платье типа «принцесс» подчеркиваются формы фигуры, но в его покрое многое непривычно, оно неотрезное в талии, отсутствует пояс. Этим и объясняется с одной стороны большой интерес, а с другой — осторожное отношение к нему. (...) Если женщина хочет быть изящно одетой и по моде, то в своем летнем и зимнем гардеробе ей следует иметь платья такого покроя»[17].

Эта легкая форма дидактизма и нарочито выраженное желание понять поведение потребителей по отношению к моде приносят свои плоды: приглашение к коммуникации находит отклик читателей, которые обращаются за компетентным советом к кутюрье при выборе предметов гардероба:

> «(…) в редакцию начинают поступать письма. В одних случаях требуется совет индивидуальный, иногда пишет целая группа. (...) Художник-модельер Общесоюзного Дома моделей Ольга Леонидована Туманян рассказывает: «Опыт работы художников-модельеров дает нам возможность дать советы и помочь правильно подобрать фасон, ткань, отделку к платьям для выпускного бала»[18].

Подобные обращения свидетельствуют о том, что модельеры успешно выполняют их социальную функцию, так как читатели всецело признают их авторитет в вопросах моды. Такая диспозиция сравнима со статусом западных кутюрье эпохи непоколебимого диктата высокой моды, когда вкусы заказчика в расчет не принимались, а высшее знание об эволюции в моде принадлежало а приори только дизайнерам.

Таким образом, несмотря на различные подтекст формирования дискурса о моде в СССР и на Западе, сравнение кажется правомерным, так как в обоих случаях речь идет об авторитарном мнении, к которому прислушиваются, и о компетентных советах, исполнение которых в массовом масштабе приводит к появлению социальной нормы. Рассмотрим теперь ее составляющие компоненты.

3. Система и масштаб референций, задействованных в процессе культурного трансфера.

В 1950–1960-е гг. мода на Западе становится массовым феноменом, так как знание о ней потребляется через многотиражную прессу.[19] Демократизация запад-

---

[17] Литвина Л., «Платья покроя «принцесс».», *Журнал мод*, 1957, N° 3, стр. 28.

[18] *Журнал мод*, 1957, N° 3, стр. 40.

[19] Barthes Roland, *Système de la Mode*, стр. 290

ной моды дает легитимное основание советским модельерам для использования ее в качестве референции. Однако, по мнению Ролана Барта, западная пресса сохраняет дистинкцию потребителей: некоторые журналы предназначаются ординарной публике (*Elle* и *Echo de la Mode*), тогда как другие издания обращаются скорее к «аристократичной» среде (*Vogue* и *Jardin des Modes*).[20] Эти две категории журналов предлагают совершенно различные концепции моды. Следует выяснить, которая из них переносится в советскую модную прессу. Для этого представляется необходимым сравнить текстовые структуры журналов *Elle* и *Vogue* с дискурсами главных советских женских и модных журналов: «Работница», «Журнал мод», «Модели сезона», «Одежда и быт», а также отдельных специальных публикаций о моде и культуре одежды, написанных модельерами.

Параллельное прочтение приводит к заключению о том, что дистинкция потребителей свойственна также и советской прессе. Этот факт очевиден уже на уровне иконографии. «Работница» предлагает исключительно графические изображения моделей, стиль которых отвечает канонам соц. реализма. Специализированные советские модные журналы, содержат, кроме графических иллюстраций, фотографии, большей частью черно-белые, но периодически раскрашенные с намерением дать представление о модных сочетаниях и гармонии цветов. Модели советских художников чередуются с работами кутюрье социалистических стран, а также со случайными вкроплениями из западных коллекций, под которыми указывается не имя автора, а только страна происхождения. Рисунки поражают манерностью поз и преувеличенной женственностью манекенщиц.

Подобное иконографическое отображение советской моды в специализированных журналах встречает подчас непонимание и отторжение потребителей, упрекающих журналы в опасной склонности к абстракции и в отрыве от действительности. Способ, которым редакторы пытаются обосновать характер художественного оформления журнала, идущий в разрез не только со стилистическими требованиями социалистического реализма, но и с асексуальными требованиями коммунистической морали, свидетельствует об их стремлении принадлежать к международному сообществу творцов моды:

> « В редакцию «Журнала мод» поступает много писем от читателей, высказывающих свое недоумение и даже возмущение характером оформления журнала. Нам хочется рассказать о тех задачах, которые стоят перед журналом и в связи с этим, об его изобразительном языке. В нашей стране издается много журналов и альбомов мод, предлагающих читателям разные фасоны одежды. В отличие от них, «Журнал мод» дает не только конкретные модели, но обобщает направление моды, показывает ее перспективно. Он ставит перед собой задачу довести до читателя характерные черты существующего модного направления, поднять культуру одежды, привить любовь к красивой современной одежде, не только украшающей, но и организующей человека. (…) Иногда от сезона к сезону мода меняется очень резко, а иногда совсем незначительно. Выявить и подчеркнуть характерное в моде сегодняшнего дня, ее отличие от предыдущей является основной задачей журнала. Это можно сделать только острой, выразительной подачей материала, что достигается иногда некоторой утри-

[20] Ibid., p. 21.

ровкой форм и линий. Только тогда читатель безошибочно поймет, даже если он не имеет возможности внимательно и постоянно следить за изменениями моды, что в ней появилось нового. Вот почему мы часто намеренно подчеркиваем узкую или очень широкую юбку, облегающий фигуру лиф, игру фалд свободного пальто, тонкость талии или плавную покатость плеч. Во всем этом есть та необходимая условность графического языка «Журнала мод», которая помогает читателю разобраться в вопросах моды. Условно декоративно бывает иной раз и цветовое решение. Цветовая гамма в оформлении одежды человека определяется многими моментами: красиво подобранными к цвету волос и кожи тканями, отделками, аксессуарами, украшениями, вплоть до оттенка губной помады, если женщина ее употребляет. Пусть простят нам наши читательницы на некоторых рисунках губную помаду в цвет платья, — это намек на то, что нужно подумать и об их соответствии. Нас упрекают также в недостаточно детальном и натуралистичном изображении фигур и лиц. Делается это намеренно и имеет свой смысл, — нам нужно, ничем не отвлекая внимание читателей, акцентировать его на самом главном — на модели модной одежды. Мы считаем вполне возможным давать иной раз только контур головы или шеи, только схему лица, а иногда показывать платье, блузку или юбку и совсем без фигуры человека. Нам хочется напомнить читателям, что красивая одежда обязывает женщину следить за своей походкой, жестами. Мы, советские женщины, часто недостаточно думаем об этом. Но надо признаться, что в поисках изящества и грации художники иногда впадают в манерность — позы и движения оказываются неудачными. В оформлении журнала принимает участие большое количество специалистов, художников, для которых это серьезная работа, полная творческих исканий. «Журнал мод» имеет свой особый графический стиль, допускающий известную утрировку, стилизацию и декоративность форм. Это принято и установлено давними традициями в модных журналах всего мира. Только таким графическим языком можно четко и выразительно донести до читателя сущность моды сегодняшнего дня. Этот язык надо уметь читать»[21].

При беглом знакомстве с этой оправдательной речью складывается впечатление о том, что дискурс построен по принципу двойной морали: изобразительный стиль иллюстраций журнала мод аргументируется, но в то же время в тексте присутствует определенная доля покаяния. Но конец статьи снимает остаток сомнений: журнал причисляет себя к мировой традиции иконографии моды. Ценность профессиональной культуры оказывается значимее, чем необходимость принимать в расчет советский контекст, с его атаками против формализма и абстракции в искусстве. Автор статьи намечает дистанцию между художником и читателем. Художник — это профессионал, тогда как читатель принадлежит к категории дилетантов, не способных понять художественный язык модных журналов, но осмеливающихся его критиковать.

Тексты журнала «Работница» ссылаются, в свою очередь, исключительно на иностранную прессу с ярко-выраженным демократическим профилем и предлагают костюмы для разных аспектов повседневной жизни советской женщины (одежда для работы, для службы, для дома, для путешествий и разных видов отдыха). Эксплицитные референции этого журнала акцентируют внимание на демократической направленности французских аналогов «Работницы».

Специализированные журналы советской моды представляют референции иного порядка, так как их тексты ссылаются на мнения французских кутюрье и открыто

---

[21] Разумовская С., «Об изобразительном языке журнала», *Журнал мод*, 1957, № 3, стр. 41.

говорят о контактах между советскими модельерами и зарубежными Домами высокой моды[22].

Тем не менее общая ссылка на национальный костюм фигурирует в двух типах журналов, являясь частью концепции советской моды, построенной по принципу отрицания ее буржуазного аналога. Новые силуэты зачастую характеризуются с помощью аппеляции к элементам традиционного русского костюма, которые выдают стремление подчеркнуть их привязанность к национальному контексту:

> «Снова появился колоколообразный силуэт пальто, уже знакомый нам под названием «русский сарафан». Но если прежде это была довольно громоздкая форма с фалдами на спине, то теперь это хотя и свободный, но умеренный колокол, расширенный книзу сразу от линии плеча. Фалды отсутствуют. Это, пожалуй, самый новый, еще не распространенный силуэт, но он, безусловно, утвердится и найдет поклонниц»[23].

Однако, принимая во внимание тот факт, что эта модель появляется в советской модной прессе всего несколько месяцев спустя после презентации Ивом Сан-Лораном линии «трапеция» (которая действительно напоминает в общих чертах форму укороченного сарафана), смысл этого схоластического построения становится очевиден. Когда же подчеркивание различий доводится до экстремальной точки, общеевропейский фундамент, из которого развиваются специфические черты советской моды, полностью игнорируется:

> «Сейчас в наших магазинах можно встретить большое количество импортной ювелирной галантереи, которая часто не отвечает требованиям подлинного искусства. Однако, как это не прискорбно, она стала так или иначе воздействовать на творчество наших мастеров-ювелиров. Ряд наших изделий повторяет почти буквально то, что ввозится из-за рубежа. В связи с этим лишний раз хочется подчеркнуть, что необходимо создавать наши собственные, современные и в то же время национальные дешевые ювелирные изделия, формы которых по своему художественному строю были бы созвучны лучшим образцам нашего народного искусства. Думается, что геометрические формы наиболее приемлемы в рисунке современных ювелирных украшений, растительные же требуют большого обобщения и отхода от натуралистического воспроизведения»[24].

В то же время, представляя элементы национального костюма только в виде источника вдохновения художников, авторы публикаций объясняли слабое присутствие подобных мотивов в публикуемых журналами моделях:

> «(…) механическое копирование национальной одежды вместо творческого использования ее мотивов приводит к созданию устаревших этнографических костюмов, не отвечающих требованиям, предъявляемым к современной одежде»[25].

---

[22] Аралова В., «На выставке в Нью-Йорке», *Журнал мод*, 1959, N° 4, стр. 36.

[23] *Журнал мод*, 1959, N° 1, стр. 7. См. также об использовании ссылки на сарафан: *Одежда и быт*, 1962, N° 3, стр. 22, 42.

[24] Ильин М., «Ювелирные изделия и мода», *Декоративное искусство СССР*, 1959, N° 5, стр. 26.

[25] Тер-Овакимян И. А., Моделирование и конструирование одежды в условиях массового производства, М., 1963, стр. 6.

Обращение к национальным мотивам не препятствовало заимствованиям в западной моде, которые аргументировались по-разному в различных категориях журналов. Статья под названием «Выдумка, терпение, вкус. Как одеваются наши французские подруги.», опубликованная в «Работнице» является ярким примером трансфера элементов модного дискурса французской популярной прессы в советский дискурсивный контекст. Перенимаемыми элементами являются такие понятия как экономность (искусство хорошо одеваться с минимальными затратами), умение показать достоинства фигуры благодаря удачному выбору одежды, искусство сочетания деталей и аксессуаров, помогающее разнообразить гардероб:

> «Из трех «ничего нет» француженка сошьет изящное платье». Эта поговорка вспоминается, когда видишь, как французские женщины умеют быть красиво одетыми, хотя заработки их невелики и жизнь трудна. Чем это достигается? Вкусом, умением, терпением. На страницах французского массового журнала «Ви увриер» («Рабочая жизнь») трудящиеся женщины Франции охотно обмениваются своим опытом. (...) Но в чем же секрет умения быть красиво одетой на скромные средства? Вот что говорят об этом французские женщины. Прежде всего они советуют помнить об особенностях своей фигуры. (…) Достаточно умело подобрать какой-нибудь воротничок, шарфик, пуговки, чтобы ваше платье преобразилось. Это не требует больших затрат. (…) Наденьте сегодня одну отделку, завтра другую, и вы всегда будете одеты по-новому. Комбинируйте свои наряды. Когда вы покупаете себе новую вещь, старайтесь, чтобы она подходила к тем, что у вас есть»[26].

В данном случае контекстуализация сведена к минимуму. Референции одного порядка освобождают трансфер от необходимости денотации, то есть поиска нового значения. Принцип экстремальной рациональности оказывается легко переносимым из журнала *Elle*, предлагающего «переделывать вчерашние выкройки по завтрашней моде»[27], то есть перешивать поношенные и устаревшие платья в новую модную одежду, в журнал «Работница», безгранично щедрый на советы по обновлению старых вещей. Но даже «Журнал мод» предлагает своим читательницам схожие идеи:

> «Я думаю, не будут излишними на этих страницах и несколько практических советов. Прежде всего, при выборе фасона для новогоднего платья, можно подумать о переделке какого-либо старого, вышедшего из моды платья. Если оно было из тафты или муара, оно может быть использовано как чехол под тонкое платье, если из какой-либо другой ткани, подходящей по сочетанию с фактурой и цветом вновь купленного вами материала, — на дополнения (фигаро, палантин, и др.) Легкая ткань может быть использована на отделку или детали (пояс, вставки, рукава)»[28].

Однако «Журнал мод» никогда не ссылается на популярные французские модные журналы. Он присваивает их подходы для того, чтобы с ловкостью доказать рациональный характер социалистической моды. Инструменты, используемые французской прессой для демократизации моды, легко вписываются в советский экономический контекст. Речь идет об игре с аксессуарами, которые часто определяют главную ноту в модных тенденциях, по мнению Ролана Барта:

---

[26] *Работница*, 1956, N° 7, стр. 28–29.
[27] *Elle*, le 18 janvier 1954, N° 423, стр. 24–25.
[28] *Журнал мод*, 1957, N° 4, стр. 34.

«Деталь подразумевает две постоянных и взаимодополняющих темы: тонкость и креативность; изюминка является в данном случае типичной метафорой (...): пустячная изюминка, и вот весь наряд проникается смыслом моды, малейшая деталь, меняющая в корне все; (...) деталь, меняющая внешность; детали — гаранты вашей индивидуальности. Деталь покоряет целое, пустяк может значить все. Но это живительное воображение не безответственно; кажется, что риторика детали получает все большее распространение и цель ее экономическая: становясь ценностью масс (посредством журналов или бутиков), Мода должна разработать свои смыслы, производство которых не оказывается дорогостоящим; именно такова сущность детали: достаточно одной «детали», чтобы превратить бессмыслицу в смысл, устаревшее в модное, и при этом деталь не стоит дорого; благодаря этой особенной семантической технике мода выходит из области роскоши и, кажется, уже входит в гардеробы, доступные малым бюджетам; но в то же время, облагороженная под именем находки эта самая деталь за небольшую цену способствует повышению достоинства идеи: бесплатная, великая деталь служит демократии бюджетов, сохраняя при этом аристократию вкусов»[29].

Настаивая на способности каждого одеваться по моде без больших затрат, советские журналы видят в этом достоинство социалистической моды:

«На этой странице мы публикуем две модели платьев, которые при незначительных изменениях в отделке настолько преображаются, что всякий раз выглядят совершенно по-новому. Такие модели чрезвычайно удобны, так как они легко обогащают гардероб и дают возможность разнообразить вашу одежду. Меняя удачно подобранные вставки, шарфики, воротники или свитеры, вы можете придавать этим платьям то нарядный, то строго-деловой характер, носить их с открытым воротом или закрытыми. Важно лишь хорошо подобрать отделку»[30].

Предупреждая упреки в ограниченности возможностей составления комплекта разнообразных аксессуаров, художники предлагают экономные решения :

«Если Вы приобретете хотя бы несколько пар совсем дешевых перчаток (а если две пары, то черные и белые), они помогут Вам небольшими пятнышками цвета дополнить и украсить Ваш костюм»[31].

Таким образом, феномен, сформировавшийся в одном экономическом контексте и перенесенный в новые условия, не только не теряет свою демократическую направленность, способствующую массификации моды, но и приобретает новое звучание в политическом соперничестве двух систем.

4. Регулятивная функция моды, выполняемая через принцип функциональности

Западные журналы представляют моду как незыблемое норматирующее правило, безграничный закон. Этим объясняется императивный тон дискурса. Советская мода перенимает право на нормализацию, ярко проявляющееся через принцип функциональности моды, который предусматривает специфический костюм для каждого вида деятельности.

---

29 Barthes, указ. соч., стр. 25, 246–247.

30 *Журнал мод*, 1957, N° 4, стр. 22.

31 Макарова Н., «Значение ансамбля в одежде.», *Журнал мод*, 1957, № 1, стр. 1.

Один из номеров *Elle* предлагает продуманный гардероб для женщины, возглавляющей предприятие. Это «набор идей, организованных вокруг основных занятий, таких как поездка, дела, дом, отдых, отпуск»[32]. Рубрика «Практичные идеи» журнала *Elle* задает тон нормализации, предоставляя в распоряжение читательниц многочисленные варианты рациональных гардеробов. Для отпуска на берегу моря в Нормандии или Вандее, *Elle* советует взять трикотажный джемпер, короткие шорты, бриджи, спортивную куртку, пляжный костюм, три пары удобной обуви, один выходной костюм, шерстяной комплект (джемпер и кардиган), пляжную сумку, хлопковую юбку, полотняную блузку, костюм из поплиновой блузки и плиссерованной юбки[33]. А вот что предлагает для отпуска «Журнал мод» в статье «В городе, на даче, на курорте»:

> «Что необходимо для женщины, живущей летом в городе? Для дома — короткий или длинный летний халат; два летних повседневных платья — для улицы и для прогулки за город; одно вечернее короткое платье; если вы работаете — платье костюм, юбка или сарафан и несколько блузок. Прибавьте сюда еще плащ или пыльник на случай плохой погоды — и ваш гардероб готов. Да, мы забыли аксессуары! Сумка для работы, более или менее большого размера, из кожзаменителя или ткани; удобные босоножки; маленькая сумочка и туфли для вечера и, если возможно, перчатки дополнят ваш гардероб. Шляпа днем вовсе необязательна, а если уж необходима, то предельно простой формы. Что же брать с собой в отпуск? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, куда вы поедете: в деревню, на дачу, на курорт, к морю или в горы. Разумеется, не нужно готовить для отпуска какой-то особый, специальный гардероб. Те платья, которые предложены вам для города, тем и хороши, что их можно целиком использовать во время отдыха. Только вместо одежды для работы нужно взять комплект для пляжа. Он может состоять из жакета с юбкой, коротких штанишек и свободной блузы. Для женщины более солидного возраста или с полной фигурой лучше сделать платье-халатик на пуговицах, из ситца или сатина не очень крупного и яркого рисунка. В том и другом случае купальный костюм необходим. Хороши и красочные сумки, которые, к сожалению, многие женщины носят в городе, тогда как их место — юг и пляж. Если вы едете на дачу или в деревню, ваша одежда должна быть приспособлена для поля, луга, леса. Поэтому оставьте дома перчатки и туфли на высоких каблуках. Лучше всего взять удобное платье или юбку из ситца, сатина или набивной бязи с гладкой блузкой. Можно также использовать короткие брюки и куртку из прочного хлопчатобумажного репса»[34].

Французская пресса, предназначенная для непретенциозных читателей, говорит о повседневном занятии либо названном своим именем, либо определенном через обстоятельства места и времени; в то время как издания для «аристократической» публики оперируют со светскими значениями (послеобеденные платья, платья для коктейля, вечерние платья)[35]. Предыдущая цитата из советского журнала содержит

---

[32] *Elle*, le 7 juin 1954, N° 443, стр. 32–33.

[33] *Elle*, le 14 juin 1954, N° 444, стр. 38–39.

[34] *Журнал мод*, 1959, N° 2, стр. 20. *Vogue* (juin-juillet 1957, стр. 50) также заботится о парижанках, проводящих лето в городе, предлагая им советы для приспособления отпускного гардероба к городской атмосфере.

[35] Barthes R., *Système de la mode*, стр. 251.

в себе элементы двух подходов. Таким образом, концепция функциональности воспроизводится в женских журналах в СССР, но при этом, в результате контекстуализации, виды деятельности отличаются от занятий, упоминаемых в западных изданиях. Речь идет о специфически советских досуговых практиках, таких как отпуск на курорте или на даче, которые отличаются от нахождения в сельской местности. Если *Elle* советует костюмы для четко определенных недвусмысленных занятий — для вечеринки, семейного обеда, домашнего полдника, официальных визитов, театральной премьеры, парижских коктейлей, легкого ужина и приема гостей,[36] рубрики «Журнала мод» носят более расплывчатый характер, объединяя одежду в общие категории без определения видов занятий внутри них: для службы, для дома (где показывается удобная одежда для домашней работы, а не для полдника или обеда), для выпускного бала, для свадьбы, для занятий спортом, в дорогу, платья, вечерние платья[37]. Идея вечерних платьев явно заимствована во фра выходные нцузской высокой моде с ее классификацией одежды в соответствии со светскими повседневными практиками. Принцип подбора предметов гардероба в зависимости от рода занятий воспроизводится в советской прессе по образцу манеры ориентации читательниц французских популярных модных журналов. Но профессиональная культура советских модельеров выдает их ориентацию на высокую моду, оперирующию светскими символами. Эта неформальная референция камуфлируется за фасадом принципа функциональности: утренние, послеобеденные, коктельные и вечерние платья, фигурирующие в классификациях советских кутюрье, чередуются с функциональными моделями. Элементы повседневности бомонда проникают таким образом в советскую моду. Концепция функциональности в текстуальной структуре советской моды является результатом смешения двух подходов: аристократического и демократического.

Этот принцип смешения проявляется также в моде для мужчин: журналы рекомендуют им составлять гардероб в соответствии с обстоятельствами места и времени, добавляя элемент светской повседневности: вечерний костюм. В мужской моде типичные ассоциации менее богаты и более устойчивы. Так, в 1959 г. «Журнал мод» предлагает мужчинам следующий вариант гардероба:

> «Прежде всего следует назвать повседневный костюм. Он сшит из хлопчатобумажной, полушерстяной или недорогой шерстяной ткани. Фасон должен быть несложным и скромным. Например, пиджак однобортный, застегивающийся на одну, две или три пуговицы. Модными элементами в таком костюме будут: смещение застежки вверх (...), узкий недлинный лацкан и укороченный воротник. Кроме повседневного, полагается иметь выходной костюм. Для выходного костюма приняты более дорогие и нарядные (отнюдь не пестрые и не яркие) ткани. (...) К выходному костюму обычно надевают жилет. Рубашка к выходному костюму принята белая. К выходному костюму рекомендуются черные узконосые туфли на кожаной подметке. (...) Не только молодежь, но и люди среднего возраста могут иметь в своем гардеробе костюм спортивного типа из недорогой гладкой или пестротканной материи. (...) В гардероб мужчины входит также летний костюм без подкладки из хлопчатобумажной, льняной или шелковой ткани. Придя домой с работы, хорошо переодеться в удобную домашнюю одежду — свободную куртку и брюки. Пижаму

[36] *Elle*, 4 janvier 1954, N° 421, стр. 46–47.

[37] *Журнал мод*, 1957, N° 1, N° 3 ; 1959, N° 3.

неправильно использовать как одежду для домашнего отдыха, она предназначена только для утреннего и вечернего туалета. Для работы по дому, в саду, огороде и т. д. можно рекомендовать легкий полукомбинезон из водонепроницаемой хлопчатобумажной ткани» [38].

Советская и французская популярная пресса нормативны, так как дают четкие предписания о разрешенных и запрещенных практиках. Но транзитивность советской моды сильнее, чем на Западе. Во французском дискурсе о моде работа остается неопределенной категорией. Тексты говорят только о маргинальных видах занятий. Праздники как ситуации максимальной социализации находяться в центре внимания. Внешность становится кодовым языком, по которому читается вид развлечения: танцы, театр, церемонии, коктейли, гала, вечеринки, приемы, визиты. Западная мода отмечает прежде всего способ, которым индивид маркирует ситуацию по отношению к среде, в которой он должен действовать: охота, бал, шоппинг представляются в качестве поведенческих социальных практик[39].

Подобная манера ориентации в использовании одежды также свойственна советской моде:

> « Культура одежды заключается не только в правильном понимании того, что надевать, но и в знании того, куда надевать костюм и как его носить»[40].

Но классификация одежды в советской моде не оставляет ни одну сферу повседневности без регламентации:

> «Одежду различают по назначению: одежда бытовая, производственная, спортивная, форменная, зрелищная. К бытовой относят домашнюю одежду, повседневную, нарядную и одежду для отдыха (пляжную, курортную и пр.). Производственная одежда (рабочая) бывает разной в зависимости от специфики труда и производства. Ее подразделяют на служебную, профессиональную и специальную. (...) Спортивную одежду делят в зависимости от вида спорта. Форменная одежда бывает военная и гражданская. Цвет этой одежды, покрой, материал и характер оформления определяются государственным стандартом. (...) Зрелищную одежду в зависимости от видов и жанров зрелищного искусства разделяют на театральную, эстрадную, цирковую»[41].

Степень транзитивности советской моды ярко проявляется в следующем высказывании: « Неправильно донашивать дома вышедшие из моды платья»[42]. Темы моделей покрывают все аспекты воображаемой повседневности, разграниченной на сезоны: одежда для работы (отсутствующая на Западе в модном дискурсе) и для службы, для спорта и отдыха, для дома и выходная одежда. Сам факт включения одежды для работы в систему советской моды очевиден не только для кутюрье, но

---

[38] «Novoe v mužskoj odežde», *Žurnal mod*, 1959, N° 1, p. 22.

[39] Barthes R., *Système de la mode*, p. 252–253.

[40] Киреева Е. В., *О культуре одежды (костюм, стиль, мода)*, Ленинград, 1970, стр. 13.

[41] Литвина Л. М., Леонидова И. С., Турчановская Л. Ф., *Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды*, Москва, 1964, стр. 14.

[42] Киреева Е. В., *О культуре одежды (костюм, стиль, мода*), Ленинград, 1970, стр. 13.

и для политических руководителей. Так, Хрущев в речи, адресованной рабочим рязанского завода, призывает обменять «ватники покроя времен Николая II» на новую одежду лучшего качества и современных фасонов[43]. После подобных обращений художники направляются на заводы и в колхозы наблюдать условия работы с тем, чтобы создать «красивую, модную и удобную одежду для представителей разных профессий»[44].

Этот основополагающий принцип типологии одежды в СССР навязывается всевозможными способами: в теоретических текстах о советской моде, в иконографическом отражении моды в журналах, в дефиле[45]. Однако, некоторые теоретики советской моды стремятся смягчить транзитивность, предлагая различные степени проявления моды для разных видов деятельности:

> «Конечно понятно, что в отношении художественного оформления, требования должны быть строже к модной одежде для гала-концертов и к выходной одежде, чем к обычным вещам — рабочему костюму, спецодежде и т. д.»[46].

Трансфер из одного контекста в другой проводит к тому, что концепция функциональности попадает под влияние известной тенденции к классификации, уходящей корнями в традицию теоретизирования, которая отшлифовывает или даже выдумывает реальность. Теоретики советской моды не наблюдают за реальностью, разрабатывая их концепцию. Их работа представляется своего рода научным проектом, результатом которого становится схематизация реальности. Они занимаются абстрактными социологическими построениями, беря за основу элементы западной системы моды, с тем, чтобы превратить их в реальность, навязывая потребителям нормы повседневных практик. В результате столкновения этой теоретической систематизации с реальностью возникает эффект карикатуры. Но в то же время, нормативная система советской моды порождает социальные правила, предопределяющие поведение потребителей. Вырабатывая нормы внешности, теоретики моды регламентируют и увековечивают практики социальной репрезентации.

Встречая в советских журналах советы о многофункциональной одежде, логично было бы предположить, что речь идет о специфике советского модного дискурса, которую можно было бы объяснить разрывом между концепцией функциональности и ограниченными возможностями потребителей в том, что касается приспособления их гардеробов к различным видам деятельности. Но западной моде также известен специфический вид одежды: платье для любого случая. Такая универсальная одежда, предназначенная для всех возрастов, для всех обстоятельств и для всех вкусов, нейтрализирует функции модного костюма:

> «Может показаться удивительным видеть в Моде универсальную одежду, которая обычно ассоциируется с самыми обездоленными обществами, где человек по причине

---

[43] *Правда*, 13 февраля 1959 года.

[44] Попов В., «Одежда для тружеников села», *Декоративное искусство СССР*, № 5, 1964, стр. 22.

[45] Шипова Л. М., «Новое в моделировании легкого женского платья», *Моды и моделирование*, Москва, 1960, стр. 3.

[46] Русаков С. И., *О требованиях к одежде*, Москва, 1958, стр. 12.

бедности владеет всего одним платьем; но даже если говорить только о структуре, между нищенской одеждой и модной одеждой существует фундаментальное различие: первая является всего лишь признаком абсолютной бедности; вторая — это знак доминирующего превосходства над всеми назначениями; для моды присвоить одному виду одежды совокупность возможных функций не значит стереть различия, но наоборот, значит доказать, что единая одежда приспосабливается как по волшебству к каждому назначению с тем, чтобы выразить его при малейшей необходимости; универсальность здесь влечет за собой не уничтожение, а сложение особенностей; это поле неограниченной свободы; в финальной нейтрализации предыдущие функции присутствуют имплицитно как роли, которые может играть единая одежда: костюм для любого случая не напоминает, собственно говоря, о различиях в употреблении, но скорее об их аналогиях, то есть, обманным путем, о дистинкциях. Это приводит ко второму парадоксу (в этот раз формальному) универсальной одежды. Универсальность поглощает все возможные назначения одежды. Но в действительности, с точки зрения Моды, универсальность остается одним из смыслов (так же как в реальности одежда к любому случаю сосуществует в гардеробе с другой одеждой определенного назначения); достигнув высшей точки последних оппозиций, универсальность проникает в функциональность и не доминирует в ней; это одна из конечных функций, в той же степени, что и время, место, занятие; формально, она не замыкает общую систему семантических значений, но дополняет ее, как нулевая (или смешанная) степень дополняет полярную парадигму»[47].

Подобные платья к любому случаю фигурируют в советских изданиях, рекомендующих маленькое черное универсальное платье (напоминающее гениальное изобретение Шанель) для вечера в театре, для работы, для улицы; или советующих костюм для любого вечера: в театре, на концерте, на празднике[48]. В некоторых случаях, идея многофункциональности используется с тем, чтобы ввести новые модели одежды. Например, «Журнал мод» запускает платье покроя «принцесс» в качестве одежды к любому случаю в 1957 г.:

«Форма и покрой этих платьев разнообразны: они могут быть с цельнокройными рукавами и втачными, с узкой юбкой и широкой. Платье может быть выходным, для улицы, для работы, курорта, а также нарядным — для театра или вечера. Оно может быть дополнено жакетом или пелериной, шарфом или палантином»[49].

В тоже время, наблюдается и обратная тенденция — превратить эту одежду к любому случаю в «классическую», вне моды. Например, один модельер представляет платья со вставками как удобную одежду, «практически никогда не выходящую из моды», подходящую для женщин любого возраста и комплекции[50].

В мужской моде некоторые виды одежды также предназначаются для многочисленных случаев, при умении по-разному их носить. Например, рубашки с разре-

---

[47] Barthes R., *Système de la mode*, стр. 212–213.

[48] Ефремова Л., О культуре одежды, Москва, 1960, иллюстрации 26 и 27; Левашова А., «Пожилым женщинам», *Журнал мод,* 1959, N° 4, стр. 11.

[49] Литвина Л., «Платья покроя «принцесс», *Журнал мод*, 1957, № 3, стр. 28. *Elle* говорит о платьях-принцесс уже в 1954 году: N° 422, le 11 janvier 1954, стр. 42–43. Эта тенденция появляется снова в *Vogue* летом 1957 года, с легким изменением: juin-juillet 1957, стр. 29.

[50] Ксенофонтова Т., «Платья со вставками», *Журнал мод*, 1959, № 3, стр. 21.

зами по бокам представлены как удобная одежда для летнего отпуска. Но их также рекомендуют носить в городе, заправленными в брюки в соответствии с требованиями норм приличия[51].

По словам французского социолога Поля Йоне, западная мода предлагает своего рода игру сочетаний универсальной одежды:

> «Трансформируемая одежда разрешает игровые отношения с социальными правилами, она влечет в какой-то мере к персонализации этих отношений, к индивидуализации ее использования, поскольку неясное назначение этой одежды с расплывчатыми функциями индивидуально по определению»[52].

Советские журналы тоже рекомендуют своим читательницам трансформируемую одежду:

«Хорошо сшитый костюм из недорогой ткани нужен каждой женщине: меняя блузки, туфли и шляпу, можно его разнообразить и носить как на работу, так и в театр»[53].

В результате трансформаций некоторые виды одежды изменяют свое назначение не только в соответствии с родом деятельности, но и в отношении сезонов:

«Заменив меховой воротник большим воротником из основной ткани и сняв манжеты, можно носить это пальто весной и осенью»[54].

Несмотря на схожие инструменты, западный и советский модные дискурсы отличаются нюансами на терминологическом уровне, которые не изменяют смысл текстов: критика эксцентричности в популярных французских журналах[55] сменяется на порицание экстравагантности и вычурности (с добавлением-уточнением «буржуазной моды») в советских журналах[56]. Подобные высказывания оказываются пустыми схоластическими выпадами, противоречащими другим утверждениям, согласно которым в СССР длинные до пола платья хорошо подходят для торжественных случаев, таких как «приемы, банкеты, юбилейные спектакли, Новогодние балы и сценические выступления»[57], или о том, что пальто из ценных мехов «решаются в характере нарядных, торжественных туалетов, часто соединяются с отделкой из другого меха контрастного сочетания. В них используются наиболее нарядные и модные силуэты пальто, но в очень тактичной, сдержанной форме», тогда как «пальто из искусственного меха делаются в двух силуэтах — прямом и расклешенном книзу. Художники предлагают очень лаконичные решения этих

---

[51] «Новое в мужской одежде», *Журнал мод*, 1959, N° 1, p. 21.

[52] Yonnet Paul, *Jeux, modes et masses. La société française et le moderne. 1945–1985*, Paris, Gallimard, 1985, стр. 357. Эта одежда с метаморфозами появляются на страницах *Elle* и *Vogue.*

[53] Семенова Е. В., «По страницам зарубежных журналов мод», *Моды и моделирование*, Москва, 1960, стр. 104.

[54] *Одежда и быт*, 1962, N° 2, стр. 2.

[55] См., например, *Elle*, N° 421, le 4 janvier 1954, стр. 33 ; N° 422, le 11 janvier 1954, стр. 22.

[56] Я нашла только один случай, когда эти слише ставятся под сомнение. Л. Ефремова в брошюре о культуре одежды (Ефремова Л., *О культуре одежды*, Москва, 1960, стр. 13) уточняет, что не следует слепо ассоциировать экстравагантность с плохим вкусом. Она считает, что экстравагантность может быть приемлема, если безупречно сшитое платье носится в соответствующих обстоятельствах.

[57] Семенова Е. В., «По страницам зарубежных журналов мод», *Моды и моделирование*, Москва, 1960, стр. 105.

пальто без лишних деталей, что позволяет этим пальто выглядеть более нарядными и дорогими»[58].

Эффекты контекстуализации западного модного дискурса в советской прессе проявляются в риторике.

5. Сравнение советской и французской модной риторики

В целом, описательный язык советских журналов достаточно техничен и лишен метафор и аллюзий:

«Пальто приняты прямые, для юношей — 5–6 см ниже колен, для мужчин — 8–10 см; зимние пальто несколько длиннее демисезонных. Пиджаки костюмов стали чуть длиннее. Талия на ее естественном месте. Воротник короткий, уступы неширoких лацканов –высокие. Рукава недлинные, заканчивающиеся у основания кистей рук, манжеты рубашки выступают на 1 см. Повседневные костюмы главным образом однобортные. Брюки по-прежнему узкие по всей длине, ширина в низках — 22–24 см»[59].

Система культурных или когнитивных ассоциаций отсутствует в вербальной структуре советской моды. Богатство эпитетов ограничивается прилагательными «удобный», «красивый», «изящный». Согласно Ролану Барту, бедная риторика, то есть сильная денотация, свойственна журналам, предназначенным для читателей, занимающих высшую ступень социальной иерархии (*Jardin des Modes*, *Vogue*) . Соответственно, богатая риторика, развивающая спектр культурных значений и символов, характерна для более популярных журналов (*Elle*). Именно издания, обращающиеся к широкой публике, способны предложить платье, которое вдохновило бы Манэ, или писать о ядовито-розовом цвете, очаровавшем бы Тулуз-Лотрека. По мнению Ролана Барта, это противоречие можно объяснить следующим образом:

«чем выше уровень жизни, тем больше шансов имеет предложенная в журнале одежда быть реализованной, и денотация (...) вступает в свои права; напротив, если уровень жизни низок, одежда нереализуема, и денотация напрасна, поэтому становится необходимым компенсировать ее бесполезность сильной системой коннотаций, свойством которой является утопизм: проще мечтать о платье, которое вдохновило бы Манэ, чем сшить его. И если мы спустимся на уровень ниже по социально-профессиональной лестнице, культурные образы обедняются, (...) денотация популярного журнала (*Echo de la Mode*) бедна, так как она сосредоточивается на дешевой одежде, рассматриваемой как потенциально реализуемая: утопия занимает по справедливости среднюю позицию между практиками бедных и богатых»[60].

В риторике советской моды цвета лишены метафорических ассоциаций. Единственное значение, приписываемое цветам, заключается в «жизнерадостности». Нормативный дискурс о цветах строится порой по принципу оппозиции реальным

---

[58] *Моды одежды на 1962–1963 год.* Учебное пособие для инженеров и руководителей легкой промышленности. Москва, 1963, стр. 4.

[59] *Модели сезона*, осень-зима 1959–1960 года, стр. 12.

[60] Barthes Roland, *Système de la mode*, стр. 248.

практикам, рассматриваемым как признаки плохого вкуса. Например, костюм молодого человека должен состоять из двух предметов одного «спокойного» цвета (серого, голубого), который делает его «скромным и серьезным». Утверждение, согласно которому костюм, дополненный однотонной рубашкой и непестрым галстуком, вошел в моду в 1959 г., строится на отрицании костюма стиляги — «утрированного, вычурного, бесвкусного, с претензией, вызывающей жалость»[61].

Дискурс советской моды ввиду его практической направленности дает впечатление заимствования из самых популярных французских журналов. Одежда, описанная предельно технически, ни в коем случае не может остаться воображаемой. Она должна быть реализована:

«Постепенно эта форма вызывает все больший интерес и симпатии у наших женщин. В связи с этим у многих возникает целый ряд вопросов: из каких тканей лучше шить такие платья, подходят ли они для полных фигур, как их кроить (как делать вытачки), как сохранить форму в узком платье, какое назначение имеет такое платье. (...) Четкость формы достигается покроем: резко выраженными вытачками (вместо одной тальевой вытачки можно делать по две — как спереди и так и на спинке), рельефными швами, а также формой боковых швов. Для узких платьев следует выбирать тяжелые шелка, плотные крепы, легкие твиды и мягкие шерстяные ткани. Они хорошо сохраняют форму, не растягиваются и не сминаются. Если ткань неплотная, например, вуаль, легкий креп, то для сохранения формы часть платья следует делать на шелковой подкладке — «дублировать». При широкой форме платья ткани надо выбирать более плотные, жесткие, т. е. такие, которые хорошо держат форму: для летних платьев — пике, полотно, ситцы, х/б репс и тафту; для нарядных выходных платьев — тафту, муар, репс. В широкой юбке сминаемость тканей менее ощутима, а для поддержания формы можно надевать нижнюю юбку. Как в узких, так и в широких платьях модна застежка спереди до линии бедер или до самого низа»[62].

Практическая направленность этих сведений относительно подбора тканей подкрепляется предоставлением выкроек в распоряжение читателей[63].

Тем не менее, некоторые модельеры, публикующие свои соображения в модных журналах, высказываются против этого технического языка, сводящегося к «конкретному и сухому перечислению модных линий», к «полезным и практическим советам, составленным по определенному, стандартному принципу.» [64] Такова позиция Ефремовой, ратующей за менее формальное общение с читателями с тем, чтобы посвятить их в тонкости эволюции моды и выполнить главную функцию журналов: воспитание вкуса[65].

---

[61] *Журнал мод*, 1959, N° 1, стр. 33.

[62] Литвина Л., «Платья покроя «принцесс», *Журнал мод*, 1957, № 3, стр. 28.

[63] *Vogue* также как *Elle* предлагает выкройки своим читательницам, но они призваны помочь женщине расширить гардероб до такой степени, чтобы иметь возможность «менять платья каждый час и обладать количеством пляжных костюмов, равным числу дней в неделе», заботясь при этом об уравновешенности бюджета для отпуска. *Vogue*, juin-juillet 1957, стр. 68–69.

[64] Ефремова Л., О культуре одежды, Москва, 1960, стр. 4.

[65] Там же.

6. Адресаты модного дискурса: воображаемые и реальные читатели

Советские журналы наследуют подход французских популярных журналов в выборе типа читателей, которым предназначаются рекомендации. Если *Vogue* обращается к идеально красивой молодой женщине без физических недостатков, *Elle* всегда подразумевает многообразие внешних особенностей и возрастных характеристик реальных женщин, каждая их которых может найти подходящие ей советы и модели.[66] Нормативный дискурс советских журналов также строится на основе физических различий потребительниц:

«Умение красиво одеваться и состоит в том, чтобы выбрать из всех фасонов платьев, из всех вариантов цветовой гаммы, из всех возможных украшений сочетание, полностью соответствующее именно тем внешним данным и тому складу характера, для которого этот костюм предназначен. Можно ли совсем игнорировать моду и одеваться, не подчиняясь ей? Нет, сохраняйте свои индивидуальные особенности, свой «стиль», считайтесь со своими достоинствами и ли недостатками, но, в той или иной мере, следуйте моде, иначе вы рискуете стать смешной»[67].

Фраза о необходимости принятия в расчет моды немыслима для западного журнала моды. Ее обыденность в советской модной прессе объясняется неисчезающими сомнениями о легитимности существования явления моды в социалистическом обществе. Советские модные журналы, обращаясь к читателям, не принадлежащим к категории противников моды, участвуют таким образом в вечном споре о месте моды в обществе социалистического типа.

Elle **позволяет себе игру с возрастными различиями, предлагая одежду, омолаживающую владельцев**[68]. Даже если некоторые высказывания советской моды воспроизводят элементы западной игры с возрастными характеристиками («костюмы с короткими пиджаками очень молоды и привлекательны с узкой или широкой юбкой»[69]), их авторы тем не менее не забывают уточнить, что модель не подходит безоговорочно всем[70].

Реалистическое представление о потребителях, без идеализирования и абстрагирования, может быть связано с необходимостью принимать в расчет политические и экономические задачи. Но модельеры стремятся освободиться от идеологического пресса, навязывающего классификацию потребителей по возрастным группам. Подобные стремления очевидны в аппеляции к западной традиции предлагать одни и те же модные тенденции женщинам всех возрастов:

«Не нужно для пожилых женщин создавать какую-то особую моду, как это некоторые думают. Если пожилая женщина не будет придерживаться общего основного модного характера силуэта, она будет выделяться из толпы своей нелепой старомодностью. Но для того, чтобы не подчиняться моде слепо, в ущерб своей

---

[66] Pereire A., « Les jeunes filles », *Elle*, N° 421, le 4 janvier 1954, стр. 32.

[67] Захаржевская Р., Литвина Л., «Умение одеваться.», *Журнал мод*, 1957, № 3, стр. 1.

[68] *Elle*, N° 421, le 4 janvier 1954, стр. 26.

[69] Модели сезона, осень-зима 1959–1960 года, стр. 9.

[70] Там же.

внешности, нужно, зная свои недостатки и достоинства, уметь подчинять моду себе. Небезынтересно привести мнение французских модельеров по этому вопросу. Французские модельеры считают, что пожилая женщина может и должна быть элегантной — они не признают никаких уступок возрасту. Женщина 50 лет не должна застывать на той моде, которая ей шла в дни ее юности. Если она не хочет выглядеть старше своих лет, она должна одеваться по моде сегодняшнего дня. Туалет ее не должен бросаться в глаза, но должен быть красивым и модным. Она должна уметь причесаться к лицу, выбрать изящные, но не слишком броские дополнения к туалету»[71].

С этой точки зрения мода не знает возрастных различий. По этой причине она должна проявляться кроме всего прочего и в детской одежде[72]. Например, в 1959 году мода на узкие брюки затронула и модели одежды для мальчиков[73]. Данная позиция модельеров наталкивается на критику, настаивающую на пагубных моральных последствиях подобного поощрения у детей интереса к малосерьезным вещам. Но кутюрье используют свой излюбленный аргумент о важном значении одежды для воспитания вкуса у детей с самого раннего возраста.

Заключение.

Несмотря на различный политический, экономический и социальный подтекст, советские журналы мод 1950х гг. перенимают элементы французской риторики моды для построения нормативного дискурса, главной целью которого является воспитание вкусов потребителей. Культурный трансфер из западной модной прессы в советский модный дискурс происходит на нескольких уровнях, параллельными и пересекающимися потоками, что приводит к стратификации советских журналов по их источникам заимствований и концепциям моды, складывающимся на их страницах. Ориентация «Работницы» линейна и однозначна: апеллируя к французским журналам демократической направленности, этот журнал воспроизводит концепцию функциональности одежды, основанную на реальных советских повседневных практиках. «Журнал мод» представляет систему референций другого порядка: обращаясь к французским элитным изданиям, он вносит в свой дискурс категории классификации одежды, принятые высокой модой. В результате контекстуализации эти категории оказываются интегрированными в концепцию функциональности, которая в данном случае не отражает действительность, а моделирует и нормализует ее. Построенный на принципе противопоставления буржуазной моде, предельно технический по терминологии советский модный дискурс создает иллюзию реальности благодаря натуралистическому видению потребителей во всем разнообразии возрастов и особенностей внешности. Амбиции

[71] *Журнал мод*, 1957, № 3, 3я стр. обложки. Те же идеи высказываются Левашовой А., «Пожилым женщинам», *Журнал мод*, 1959, № 4, стр. 11. Хотя она и обращается к определенной категории читательниц по установленной классификации, эта модельер советует им следовать общим тенденциям моды, «умело и без излишеств».

[72] В Париже Дом Жанны Ланван (1867–1946) был первым домом высокой моды, создавшим коллекции для детей. Дом Кристиана Диора был первым заведением высокой моды, предпринявшим промышленное производство детской одежды в 1967 году.

[73] *Журнал мод*, 1959, N° 1, стр. 34.

доказать конкурентноспособность и превосходство социалистической моды над капиталистической через семантическую структуру ее риторики приводит к созданию жесткой системы предписаний по выбору одежды в соответствии с назначением, сила регламентации которой превосходит во много раз силу воздействия западного модного дискурса.

Список литературы.

Barthes 1988 — Barthes R. Système de la Mode. Editions du Seuil, 1988.

Gorsuch 1996 — Gorsuch A. E. A Woman Is Not a Man": The Culture of Gender and Generation in Soviet Russia, 1921–1928. // Slavic Review, 55, no 3 (Fall 1996).

Gorsuch 1997 — Gorsuch A. E. NEP Be Damned ! Young Militants in the 1920s and the Culture of Civil War. // The Russian Review, 56 (October 1997).

Hoffmann 2003 — Hoffmann D. L. *Stalinist* Values. The Cultural Norms of Soviet Modernity (1917–1941). Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.

Strijenova 1991 — Strijenova T. La mode en Union Soviétique. 1917–1945. (Soviet costume and textiles). Paris, Flammarion, 1991.

Yonnet 1985 — Yonnet P. Jeux, modes et masses. La société française et le moderne. 1945–1985. Paris, Gallimard, 1985.

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Седьмая общеевропейская конференция по социальной истории (Лиссабон, Португалия, 26 февраля–1 марта 2008 г.)

Н.Л.Пушкарева, А.Ю.Володин, И.Ю.Новиченко

Седьмая общеевропейская конференция по социальной истории, состоявшаяся 26 февраля — 1 марта 2008 г. в Лиссабоне, стала заметным и важным событием мировой научной жизни.

Идея подобных международных встреч родилась в середине 1990-х гг., когда инициативная группа Международного института социальной истории в Амстердаме (Нидерланды) предприняла удачную попытку собрать для обмена мнениями ведущих специалистов разных европейских стран, интересующихся «объяснениями исторических феноменов методами социальных наук» (речь шла не только об истории, но и о гуманитаристике в целом — филологии и социологии, демографии и экономике, культурологии и социальной психологии) [1]. С тех пор встречи социальных историков Европы стали регулярными: раз в два года в одном из европейских университетов они, чтобы обсудить наиболее актуальные и дискуссионные вопросы.

Если на первой конференции в 1996 г. в Лейдене присутствовали 500 участников из 30 стран мира, то на последних — свыше полутора тысяч из почти полусотни стран. Конференция, по-прежнему именующаяся «общеевропейской», давно вышла за рамки Европы и позволяет наладить научные контакты специалистам из Японии, Кореи, Латинской Америки, Африки.

В Лиссабонской встрече приняли участие уже свыше 1600 ученых из более чем 60-ти стран мира. При этом пленарные заседания были, как всегда, сведены к минимуму.

Принцип работы конференции — множество мелких секций по 3–5 участников, которые имеют возможность выступить с большими докладами. За неделю работы конференции состоялось более 400 заседаний в рамках работы 28 тематических секций: Африка; античность; Азия; история преступности; культура; экономическая история; образование и детство; элиты; этничность и миграции; семья и демография; география; здоровье; история и компьютер; рабочая история; Латинская Америка; материальная и потребительская культура; средние века; устная история; политика, гражданство и нации; религия; сельская история; городская история; сексуальность; социальное неравенство; технологии; теория и историография; женщины и гендер; мировая история.

Все участники разослали тексты своих выступлений заранее (за один-два месяца до конференции), поэтому и сами докладчики, и комментаторы, и оппоненты имели возможность детально разобраться в представленных текстах, а затем предметно обсудить их на заседании. Более того, тексты тезисов и выступлений были еще до конференции размещены в Интернете, и каждый желающий мог с ними заблаговременно ознакомиться, а затем посетить интересующую его секцию.

Состав участников конференции претерпел заметные изменения. Впервые удалось достичь высокого репрезентативного уровня формальной междисциплинарности — около 40% докладов по социальной истории были сделаны не историками, а социологами, экономистами, антропологами, культурологами, философами, демографами, географами, лингвистами, археологами, генетиками, биологами, специалистами в области медицины и компьютерных технологий, юристами и др.

Наиболее популярными (по числу представленных докладов) оказались такие направления, как этничность и миграции; семья и демография; рабочая история; политика, гражданство и нации; женщины и гендер; экономическая история; культура; элиты. Каждая из этих секций в отдельности провела более тридцати заседаний, но если учесть еще и число совместных заседаний с другими секциями, то на долю этих направлений пришлось около двух третей вообще всех заседаний конференции.

На фоне постоянной популярности традиционных, устоявшихся тем в социальной истории стоит отметить успех впервые выделившихся в виде секции и сразу же завоевавших внимание исследований в области материальной и потребительской культуры разных социальных слоев в различные хронологические периоды (Б.Блонде, Э.Дик, В. Де Лает, А.Леир, Д.Бурофф и др.).

Еще одно наблюдение касается плюрализации предмета исследования, дробления «всеобщей истории» на множество историй не только этнически и хронологически, но и тематически. Секция средних веков, к примеру, провела менее десяти заседаний, однако на конференции было представлено около ста докладов по истории X–XVII вв. в секциях городской истории, этничности и миграций, семьи и демографии, женской, рабочей истории, истории сексуальной культуры.

Немногочисленные заседания секции теории и историографии (В.Канштайнер, Г.К.Бергер, А.Смит, Д.Смит и др.) обычно пользуются повышенной популярностью, поскольку вопросы методологии социальной истории интересны всем, независимо от конкретной темы исследований. На представление результатов проекта собралась огромная аудитория. Сообщения участников аккумулировали информацию из 29 европейских стран обо всех стадиях профессионализации историков — от структуры образования, числа кафедр и институтов до сети исторических музеев и архивов. Речь шла также о тематике научных публикаций по истории за последние двести лет. Все участники и слушатели попытались дать ответ на вопросы о том, существуют ли динамические зависимости между «исторической» инфраструктурой и качеством национального историописания, численностью историков и количеством публикаций; влияют ли на процесс историописания гендерные, религиозные, географические, политические особенности и подходы? Методы и результаты исследований будут изложены в шести томах, готовящихся к публикации в одном из британских издательств, о некоторых выводах ученые рассказали на заседании.

Так, например, выступавшие пришли к заключению, что подавляющее число историков в Европе занимается исключительно своими национальными историями. Более того, национальные истории стали замещать, а иногда и подавлять иные направления (гендерную историю, историю миграций, историю сексуальной культуры, «новую рабочую историю»). Замкнутость в национальных рамках все чаще становится препятствием к проведению широких межкультурных, социально-исторических сравнений. Следствие замкнутости — заблуждения, выражающиеся в возвеличивании нацио-

нально-культурной самобытности, уникальности, изучение (когда к международным сравнениям все-таки прибегают) не столько соседних государств или близких по типу структур и явлений, сколько социальных историй лишь тех стран, которые считаются «достойными сравнения». Национальные истории — как выяснилось — слишком часто могут становиться инструментом стремления к доминированию (как стран, так и социальных слоев, их элит).

Повышенное внимание участников конференции привлекли четыре заседания секции семьи и демографии, посвященные различным аспектам «социального конструирования крови» в истории — от проблем родства, правил наследования, современного личностного эгоизма до этических, биологических и родственных взаимоотношений с генетическим материалом, евгеники и моральных трудностей усыновления. Ученые все больше склоняются к мнению, что мировая частная экономическая и общественная система, построенная антропологически (на родстве по крови в наследовании прав и собственности), все чаще уступает место культуре дружбы и социальности, а наследование по крови — наследованию «по близости», когда предпочтение отдается не генетическому, а общему социальному, духовному, культурному и нравственному родству. Социальные антропологи считают, что этот сдвиг, произошедший в массовом сознании, уже влияет на поведение людей, особенно в сфере семьи и демографии.

Секция культуры провела пять заседаний, посвященных обсуждению теоретических и практических вопросов становления нового направления — «истории эмоций» (Р.Д.Гоберт, Х.Кук, Ю.Шлегер, О.Ульбрихт, М.Альтбауэр-Рудник и др.). Речь идет о таких вопросах, как репрезентации чувств в культуре, эмоциональный отклик на культурные тексты, генеалогия эмоций, формирование сообществ — национальных, гендерных, социальных — на основе эмоций и т.д. Обоснования историографических традиций, систематизация типов эмоций, определение предмета истории эмоций — все эти проблемы вызвали бурные дискуссии не только между докладчиками и слушателями, но и, прежде всего, между самими выступавшими. Оказывается, эмоции ранее не были предметом изучения только потому, что воспринимались не как типичное явление, характерное для социального слоя, возрастной или гендерной когорты, для своего времени, а как частное и уникальное. Историки склонны были относить эмоции к области социальной психологии (а не «психоистории», в терминах Л.Демоза), их часто объясняли экономическими соображениями и экономическим поведением, а иногда и вовсе относили… к чувственной сфере, присущей только женщинам. Жаркий спор на конференции разгорелся вокруг вопроса о двойственной природе эмоций (что их порождает: рациональное или иррациональное, «телесное»?) Бесспорно одно, история эмоций сегодня — область знания, близкая семиотике культуры, выявляющая типическое в мозаике уникального и казуального; это междисциплинарная тема, объединяющая не только гуманитарные, но и смежные дисциплины с разными предметами исследований.

Секция этничности и миграций (Х.Бергер, В.Руберг, К.Стинберг, М.Буреро, Т.Олсон, К.Вильдхолм) и секция семьи и демографии (В.Гордон, Г.Альфани, С.Минвей, Д.В.Сабиан, Б.Юссен и др.) провели почти по 50 заседаний каждая. Специалисты по этничности и миграциям все больше склоняются к мнению, что многие проблемы в их области исследований объясняются специфическими чертами стратегий выживания домохозяйств в разные эпохи и в разных регионах мира. А специалисты по исто-

рии семьи и демографии постоянно сталкиваются с этническими и миграционными проблемами семей. Участники секций решили, что они нуждаются в более тесном сотрудничестве, особенно в прояснении ряда методологических вопросов, и провели совместный круглый стол. Этот «мозговой штурм» оказался чрезвычайно полезным для ученых. Как позже призналась одна из специалисток по истории античности, Елена Исаев (Университет Эксетера, Великобритания), побывав на конференции, и прежде всего, на круглом столе, она получила в одном месте и в одно время такую концентрацию мыслей по проблеме и столько идей, что один этот день перевешивает годы исследовательской библиотечной работы.

Огромный интерес и массу вопросов вызвало и совместное заседание секций «Женщина и гендер» и «Сексуальность» (Д.Хили, Н.Пушкарева, Э.Шульман, М.Фиделис, Н.Новикова), поскольку была посвящена мало разрабатываемой в нашей исторической науке теме «социализм и сексуальная культура». Обращение к истории сексуальной культуры Советской России и послевоенного социалистического лагеря было представлено в дискуссиях темой, отражающей отношения индивида и власти. Не случайно, подчеркивалось в выступлениях докладчиков, уже в первый месяц после свершения социальной революции ее идеологи задумались (в контексте реализации идеи «переустройства быта») над проблемой свободы и несвободы в личных отношениях мужчин и женщин. Сам факт, что руководители государства занялись «половыми проблемами», означал революцию, важность которой не стоит недооценивать, подчеркнул специалист по истории права и борьбы с насилием, профессор университета в Уэльсе Д.Хили.

Споря о возможности/запретности вмешательства власти в частную, интимную жизнь людей, участники дискуссии пришли к выводу о том, что социалисты старались освободить семью от «эгоистического экономического расчета», эмансипировать женщину, но не справились с этой задачей и в конце концов (реализуя пронаталистскую идею) пришли даже к большей «увязанности» экономики и демографии с брачными отношениями, чем это было в буржуазном обществе. Тем не менее начальные интенции были вполне ориентированы на то, чтобы предоставить индивидам большую свободу, сконструировать «новый мир любви», новые пересечения пола, возраста, гендера, сексуальности.

Одновременно с перечисленными на конференции работала широкая исследовательская сеть «Труд». В рамках организованных ею секционных заседаний был обсужден широкий спектр проблем: от стачек и трудовых конфликтов до концепций социальной мобильности рабочего класса, от глобальной истории трудовых контрактов до истории профсоюзов, от стратегий коммунистических партий до проблем детского труда в эпоху глобализации.

Важная и давно ожидаемая дискуссия состоялась в рамках круглого стола «Глобальное развитие свободного наемного труда в XIX–XX вв.» (организатор — К.Хофмеестер). Учитывая факт публикации коллективной монографии «Глобальная рабочая история сегодня» под редакцией Яна Лукассена [2], вопрос глобального и компаративного подхода в области истории труда стал одним из главных на повестке дня. Участники дискуссии особо подчеркивали тот факт, что переход к свободному наемному труду был одной из ведущих тенденций времен индустриализации и остается таковой и поныне, поскольку большинство людей работают сегодня «за зарплату».

Отсюда вывод: заработная плата — необходимый параметр для сравнений, основа концептуализации идеи перехода от труда заводского рабочего к наемному работнику.

Не менее интересной оказалась дискуссия по докладам в рамках секции «Стачки» (организатор — С. ван дер Вельден). Руководитель авторского коллектива известной книги «Стачки в мире» [3], он предложил два основных подхода к истории стачек: как к средству классовой борьбы и как к жизненной стратегии. Создав базу данных, включающую записи книг актов гражданского состояния в Нидерландах с 1850 г. до наших дней, он совместил ее с данными об участниках стачек в 1882, 1895, 1914 и 1922 гг. Это позволило ответить на вопрос: отличались ли жизненные пути стачечников от их коллег, не принимавших участия в забастовках. Участники секции Х.Дрибуш, П.Берке, Э.Барта и др. поставили вопрос о взаимосвязи между интенсивностью стачечных эксцессов и агрессивностью нанимателей, в том числе, в самое новейшей время (например, в 1960-е гг. в Венгрии и ГДР, в 1990-е гг. в Скандинавии). Дискуссия по докладам касалась, в основном, темы сокращения стачечного движения в XX в., причин и последствий этого социального явления, а также возобновления стачечной активности в последнее десятилетие. Не удивительно в этом контексте, что ряд исследователей (М.Э.Кабадайи, В.Кенефик, А.Ю.Володин и др.) поставили вопрос о различных формах участия государства в разрешении трудовых конфликтов. История российской фабричной инспекции, о которой говорилось в докладе А.Ю.Володина, представленная в сравнении с опытом других европейских стран, показала, что инспекторат оказывался весьма успешным посредником в повседневных противоречиях рабочих и предпринимателей, но не мог справиться с революционными волнениями на предприятиях.

На секции «Формальные и неформальные практики: социальная и экономическая повседневная деятельность и культурное наследие советского прошлого» Л.И.Бородкин представил результаты исследования, посвященного процессу трансформации советских практик заводских рабочих в постсоветское время. Он отметил процесс их формализации при сохранении или наследовании некоторых практик повседневного труда и социальности советской эпохи, особенно в отраслях, где производство претерпело несущественные изменения за годы реформ. С.А.Афонцев также размышлял о дихотомии адаптационных и активных практик, которые возможно исследовать на примере неформальной занятости населения. И.Ю.Новиченко, изучая формальную структуру советских общественных организаций и неформальные практики деятельности городских жителей на примере Москвы в 1950-е — 1980-е гг., сделала ряд любопытных выводов относительно культурных традиций социализации советских граждан. Т.А.Валетов представил результаты анализа форм самоорганизации рабочих-шабашников в 1960–1980-е гг., пытаясь определить, в какой мере законодательство приспосабливалось к потребностям сезонных работ и бригадной инициативе строителей.

В итоге на конференции в разных секциях было представлено чуть более двадцати докладов по российской тематике. Примерно треть из них сделали зарубежные специалисты по истории России. Отечественные исследователи выступали только с докладами по социальной истории нашей страны, поскольку знание российских архивных собраний создает их очевидные преимущества перед коллегами из-за рубежа. Темы докладов российских специалистов (Л.И.Бородкина, Д.В.Будюкина, Т.В.Валетова,

А.Ю.Володина, Е.Н.Главатской, Н.В.Новиковой, М.Г.Муравьевой, И.Ю.Новиченко, Н.Л.Пушкаревой, И.И.Троицкой и др.) касались проблем диаспор, элит и национализма, новой экономической истории и кодификации профессий, истории женщин, детей, феминизма, сексуальности, советского культурного наследия, рабочей истории, семьи и брака, религиозных вопросов.

Однако конференция в Лиссабоне показала и то, что такие темы, как социальная история преступности, здравоохранения, валеологии, социальной работы и социальной мобильности, миграций давно считаются не только социологическими, но именно социально-историческими. Отсутствие докладов российских участников конференции по этим направлениям еще не говорит о том, что новые подходы вовсе не известны молодому сообществу российских социальных историков, но, учитывая динамику их представленности на международных форумах по социальной истории, можно сделать малоприятный вывод: без финансовой поддержки ряд направлений социальной истории грозит заглохнуть или же мы будем, как встарь, идти торенными путями западной науки. Стоит задуматься о причинах, да и последствиях, подобного процесса.

Литература

1. Подробнее см.: Новиченко И.Ю. Первая общеевропейская конференция по социальной истории // Социальная история. Ежегодник. 1997. М., 1998. С. 355–360.

2. Global Labour History. A State of the Art; Bern [etc.], Peter Lang, 2006.

3. van der Velden S., Dribbusch H., Lyddon D., Vandaele K. (eds.), Strikes around the world: Case-studies of 15 countries. Amsterdam: Aksant, 2007.

Повседневная жизнь в России: междисциплинарный подход 13–15 мая 2010 Блумингтон (Штат Индиана), США

Н.Л.Пушкарева

Недавно состоявшийся по инициативе Центра восточно-европейских и русских исследований Университета штата Индиана (Блумингтон, США) международный научный семинар ставил целью подвергнуть разностороннему обсуждению итоги и перспективы изучения бытового, обыденного, повседневного в русской истории (преимущественно XVIII-XX вв.). Тема эта — одна из часто обсуждаемых на международных конгрессах — этнологов, историков, социологов, как в нашей стране, так и за рубежом [Пушкарева Н.Л. 2004, 2005, 2007]

В семинаре приняли участие почти три десятка ученых из России и США. В Оргкомитет семинара вошли известные американские специалисты по российской истории, в том числе Бэн Эклоф (Индианский университет), Чой Чаттерджи (Калифорнийский государственный университет), Карен Петрон (Университет Кентуки), а также руководитель Центра восточно-европейских и русских исследований Индианского университета проф. Дэвид Рэнсел, без публикаций которого по истории и этнологии русской семьи, истории призрения, повседневности купечества трудно было бы оценить значимость вклада американского россиеведения в мировую историографию. В качестве почетного гостя и участницы семинара была приглашена профессор Университета в Чикаго, автор знаменитой книги «Повседневный сталинизм», переведенной ныне на русский язык, Шейла Фитцпатрик [Фитцпатрик Ш. 2008].

От подачи заявки на проведение научной встречи и получения финансирования до самого мероприятия прошло всего три месяца. Все приглашенные разослали тексты своих выступлений заранее, так что вместо чтения докладов предполагались только презентации тем и проектов по определенным кластерам проблем. Таким образом, все участники имели возможность детально разобраться в представленных текстах и аргументации и предметно обсудить их в интенсивной, многочасовой работе семинара. Три дня напряжённых дискуссий оставили впечатление живого и заинтересованного общения, а разница в восприятии тех или иных вопросов, разнообразие подходов к их решению стимулировали мысль и вдохновляли на дальнейший обмен идеями — уже вне рамок формальных обсуждений.

Семинар открылся докладами и проектами первой секции **«Теоретизируя повседневное: междисциплинарный подход»**. Дискуссия по поводу содержания и определения понятия «история повседневности» показала различия в понимании термина российскими и американскими участниками. Большинство американцев полагает, что понятия *быт* и *повседневность* являются синонимичными, в английском языке *daily life* and *everyday life* предстают абсолютными синонимами. Из выступлений участников стало ясно, что как концепт «история повседневной жизни» может пострадать от

теоретической пустоты, и *Д.Рэнсел* упомянул в этом контексте оценку английской исследовательницы, антрополога Катарионы Келли (кстати сказать, члена редколлегии российского журнала «Антропологический форум») данной темы как «методологически илистой», затягивающей, неопределенной, постоянно возникающей под разными методологическими наклейками-лейблами.

Напротив, россияне обратили внимание на нюансы различий между *бытом,* давно являющимся предметом изучения традиционалистов-этнографов (которых в XIX веке так и именовали — «бытописателями») и *повседневностью.* Последнее понятие более широкое, включающее в себя и быт, и событийность, и частную жизнь людей, в том числе их эмоциональное отношение к событиям и явлениям (*Н.Л.Пушкарева*), поэтому «повседневноведами» себя числят не только этнографы, но и историки, социологи и социальные антропологи. «История повседневности» в этом случае предстает обращенной к прошлому «антропологией повседневности», основанной на изучении прежде всего исторических источников разных типов и видов (включая и материалы устной истории и интервью (*С.А.Ушакин, А.Н.Каменский*). Насколько источники позволяют проникнуть в образ мыслей и чувств людей отдаленных эпох? Возможно ли оценить принудительную силу массовых культурных ориентиров в разные столетия российской истории и реконструировать стратегии поведения конкретных индивидов в рамках изменчивых житейских ситуаций? Таким образом, рождается и задача понимания типических для повседневности конфликтных ситуаций, возникавших при столкновении традиционных и вновь возникавших (создаваемых) культурных установок.

Илья Утехин (Европейский университет, СПб), размышляя о роли визуальных средств этнографического расследования повседневной жизни, заметил, что именно они и произвели тот iconic turn, «поворот к изобразительному», в социальных науках, без которого трудно понять решительные перемены в сборе и фиксации материалов о различных культурах. Речь идет не столько о фиксации увиденного, сколько об интерпретации и способах генерализации. На примере анализа документальных фильмов последнего времени (прежде всего работ Л. Парфенова, С.Лозницы и «Монолога» В.Манского), И.Утехин доказал, что аудиовизуальность — есть путь действительной документализации повседневности, поскольку любое описание предполагает избирательность, а кадр и аудиозапись (в том числе шумов) фиксируют абсолютно все. Он же обратил внимание на одну из центральных проблем методического обеспечения историко-антропологической реконструкции — а именно: селекции собранных подчас совершенно разнородных материалов. В обсуждении его текста выявилась другая, не менее важная сторона аудиовизуальной регистрации событий повседневности, — коммуникативная. Ведь «повседневновед» работает не скрытой камерой, отсюда возникает тема кооперации аналитика и привлекших его внимание субъектов коммуникации, а также этические вопросы (не случайно атаки на визуальную антропологию осуществляются именно с этой стороны, так как реальная интерактивность может быть обеспечена не всегда, и этические вопросы согласия/не согласия работать «на камеру» оказываются весьма существенными).

Тема личного сопереживания рассказанному и зафиксированному аналитиком прошла красной нитью через обсуждение текста *Марии Букур* (Индианский университет) — о повседневной жизни граждан в Румынии (как, впрочем, во всем «социалистическом

блоке») в период господства коммунистической идеи. Автор доклада — убежденная феминистка, одна из активных членов Международной федерации исследователей женской истории (МФИЖИ) — пришла к выводу о том, что женщины — главные субъекты повседневности во все эпохи и во всех культурах — чаще всего по сей день не воспринимают себя как исторических агентов и субъектов действия. Именно в силу своеобразия и различий в социализации — ответила она на вопрос о том, почему мужчины хотят обсуждать политику и режим, а женщины говорят совершенно о другом, навсегда остаются частью домашней, а не публичной жизни. И чем проще, примитивнее повседневная жизнь — тем она сильнее гендеризирована, т.к. именно женщины ответственны за повседневное (это им приходилось во времена нехваток и очередей «доставать» мыло, туалетную бумагу, придумывать новые блюда и т.д.).

Автор доклада настаивала на внедрении эмпатии (сочувствия, сопереживания) в работу аналитика, поскольку неотстраненность от объекта изучения — одна из составляющих комплекса феминистских методов работы с эмпирическим материалом. Старшее поколение исследователей, представительницей которого выступила проф. Шейла Фитцпатрик, напомнила, однако, что традиционная наука требовала всегда дистранцироваться от предмета изучения, якобы «чтобы лучше увидеть его», не быть захваченной эмоциями; не случайно эмпатические методы именовались «недопустимой защитой», которая ведет к необъективности, в результате которой «включенные наблюдатели» могут легко превратиться во «включенных реформаторов», которые возьмут на себя смелость советовать, как изменить жизнь. Однако именно такой подход и прописывает (предписывает) феминистская теория. Своеобразием материалов устной истории повседневной жизни в России она назвала поколенческие различия в контенте и подаче материала. Если старшее поколение еще склонно давать не только факты, но и собственные оценки, подводящие итоги жизни в прошлом, то современные информаторы — дав несколько штрихов, — сразу же подводят итог («Вот так и живем!», «Вот такая у нас жизнь!») и мало пытаются дать свои объяснения происходящему.

С этим наблюдением в целом согласился *Дэвид Рэнсел*, который в последнее время ведет проект изучения повседневной жизни рабочих в одном из московских пригородов (Хотьково). Проект нацелен на изучение поколенческой памяти и изучении восприятия различных форм явного и невидимого контроля в повседневных практиках. Презентацией своего проекта он показал, что считает (вслед за Ш.Фитцпатрик) повседневностью «формы поведения и стратегии выживания, которыми пользовались люди, чтобы справиться со специфическими социальными и политическими ситуациями». Иными словами: повседневность с его точки зрения — не столько жизнь, сколько выживание… С этим можно было бы согласиться, если бы изучение повседневности касалось только экстремальных периодов и депривированных или маргинальных групп, однако в современной литературе история повседневности предполагает изучение и повседневности элит, и олигархической верхушки, поэтому предложение *Бэна Эклофа* (Индианский университет) шире пользоваться понятиями «открытого» и «закрытого» гражданства как ключами к пониманию повседневности в советскую эпоху, прозвучало как нельзя кстати. Стоит обратить внимание на официальные фото времен Хрущева, сказал он, согласно которым получается, что все всё время улыбаются (как и при Сталине), но домашние фото того же времени могли быть совершенно иными.

Вторая секция международного семинара — «**Организуя жизненное пространство» —** вобрала в себя презентации проектов, авторы которых старались выявить, как и насколько влияло жизненное пространство, его масштабы, декоративность, удобство на структурирование жизненных вкусов и потребностей людей. Дискуссия по этой теме были связаны с текстами *Молли Кавендер* (Университет Огайо) о повседневности русского провинциального дворянства в их усадебных поместьях и *Ребекки Фридман* (Университет Флориды), которая на материалах журнала «Столица и усадьба» попыталась восстановить общий дух домашней жизни в городском пространстве того времени. Первая из участниц обратила внимание на значимость совершившегося в гуманитарном знании поворота — иногда его именуют лингвистическим — а именно: от изучения собственно жизни («какой она была») к изучению *представлений* о ней. С точки зрения исследвоательницы, «Тверские губернские ведомости» — отличный источник для реконструкции представлений тогдашнего дворянства, содержании его повседневной жизни, не столько об экономической жизни усадеб, сколько о том, как экономические вопросы обсуждались представителями дворянства в его повседневье, и как интерьеры усадебной жизни способствовали организации небольших сообществ сходно мыслящих людей.

Аналогично, *Ребекка Фридман* увидела в интерьере домашней жизни участок "общественного и культурного взаимодействия, которое посторонние или незнакомцы могут посетить, войти, превратив его в локус столкновения» (культурных и иных норм и стереотипов) [Floyd I., Bryden J., 1999: 12–15]. В этот последний досоветский период, отметила докладчица, «дом и сфера частного в повседневной жизни были неуязвимы для сил «общественности», ее принуждения и давления, а потому мода и новые удобства постоянно предлагали индивидам привлекательные образцы новых товаров и эстетического выбора. Не стоит забывать, отметили участники дискуссии, что начало XX в. было временем зарождения массовой культуры и (тем не менее) возможности выбора, который был уничтожен процессами унификации и дефицита товаров в советское время.

Вопрос о возможностях и пределах дестандартизации, влияния периода «оттепели» на рождение ценности частной жизни и личного пространства (поскольку, по остроумному замечанию исследовательницы, в сталинскую эпоху не было деления на публичное и частное, «вся жизнь в пространстве сталинской коммуналки могла быть либо более, либо менее публичной») был рассмотрен *Сюзан Рейд* (Университет Шеффилда). В 2003–2006 гг. в рамках своего проекта «Повседневная эстетика в советской квартире» она собрала десятки интервью о «повседневной эстетике жизни в хрущевках», собрала огромный видеоархив диванов и их декораций подушками и накидками, буфетов, стенок, этажерок, интерьеров кухонь и совмещенных санузлов в Санкт-Петербурге и Москве, Калуге, Самаре, Казани; северных Апатитах и эстонском Тарту. Исследовательница отметила сложность сбора материалов о жизни в 1960-х гг., поскольку люди «не делали фотографий их каждодневных, обычных действий, не вклеивали в свои семейные альбома фото обновленной домашней обстановки — хотя подобную информацию ныне скорее всего можно только и найти, что в семейных альбомах». Через анализ первых советских журналов посвященных вопросам дизайна квартир («В новые квартиры — новую мебель!») С.Реид проследила влияние новых дешевых материалов (пластика, нейлона), а также СМИ на стандартизацию вкусов

советских людей, и сами «хрущевки» предстали в ее докладе средствами «социальной обработки вкусов» советских граждан и гомогенизации общества в хрущевскую эпоху. Вместе с ростом числа находящихся в собственности частных автомобилей, появившиеся в то время относительно дешевые телевизоры стали «тропкой», превратившейся в «пути приватизации жизни» при Брежневе. Выступая с комментариями и дополнениями к тексту С.Рейд, *Роджерс Дуглас* (Йельский университет) обратил внимание на необходимость специального изучения темы «доставаний» (как и что достать?) в обществе дефицита товаров, в том числе необходимых для новых интерьеров

Тема массового жилищного строительства как специфической практики городской повседневности, попытки создания особого типа сообществ (людей-жителей многоквартирных домов) была представлена во многих докладах семинара. Это не удивительно: массовое жилье преобразовало полстолетия назад многие города мира, и кварталы того времени, построенные в Чикаго и Бразилии, Москвы и Париже удивительно схожи. Автор этого наблюдения, подкрепленного фотоматериалами — *Стивен Харрис* (Вашингтонский университет) представил советское массовое жилищное строительство видом ранней глобализации повседневной жизни. «Главный проект современного государства всеобщего благоденствия — массовое жилье, отмечал он, — предоставляло миллионам городских обитателей односемейные квартиры, разработанные согласно стандартизированным планам многоэтажных зданий, где скученно жило множество людей. Так был решен «жилищный вопрос», поставленный урбанизацией 19 века…».

Парадоксальным образом политика, нацеленная на слияние общественной и частной жизни, — отмечалось в обсуждениях прозвучавших докладов, — в действительности оказалась подкрепляющей «раздельность» существования и переоценку значимости преимуществ частного существования.

В рамках обсуждений следующей секции «**Социальное позиционирование повседневного общения и нормы повседневной жизни»,** модертор дискуссий — Ш.Фитцпатрик — предложила обратить особое внимание на то, что «хрущевская эра была, возможно, менее репрессивной, зато более навязчивой». Эта оценка нашла как нельзя лучшее подтверждение в докладе *Доборы Филд* (Адриан коллдж) о «меняющихся параметрах» общественного и частного в дни хрущевской оттепели. Она проанализировала воспитательные тексты (журнальные и книжные), во множестве появившиеся именно тогда, в годы выработки Программы коммунистического строительства, ориентировавшие «современников Гагарина на правильную — с точки зрения коммунистической идеи — частную жизнь, вырабатывавшие определенные инструкции о поле, любви, браке и воспитании детей».

Отметив положительные стороны перемен в повседневной жизни людей в годы оттепели (облегчение процедуры развода, релегализацию абортов (которые, правда, тогда изображались в СССР как «преступления женщин против самих себя, своей природы»), создание «продленок» в школах и Домов быта, существенно облегчивших повседневность матерей), Д.Филд отметила и иную сторону тех реформ. Она обратила внимание на усиление назидательности в воспитании взрослых людей (взамен репрессивной политики и жестокостей сталинских времен). Это особенно убедительно было показано ею на примере фильмов и литературы тех лет.

Текст Д.Филд вызвал дискуссию по проблеме соотношения понятий «частного», «личного», «персонального» в повседневности. Выступившие в дискуссии (*С.Ушакин,*

И.Утехин, Н.Пушкарева, О.Шевченко) подчеркнули, что под «частной жизнью» следует понимать то, что скрыто, не явлено, недоступно, индивидуально, принадлежит только человеку. Есть ли различия между личной и частной жизнью? *И.Утехин* подчеркнул, что «личная жизнь — та, что принадлежит человеку, личности, а частная жизнь — та, что является частью чего-то» (общей жизни социума). Он доказал это на примере повседневности коммуналок, бывших локусами постоянного соседского вмешательства в частную жизнь друг друга. Выгодная, позитивная сторона такого вмешательства особенно очевидна в случаях, в которых соседи заботились о чужих детях, помогали в повседневье (в готовке, стирке и т.д.). «Частное существовало всегда, 'несмотря на' и 'вопреки', — подчеркнул И.Утехин, автор монографии и жизни коммунальных квартир Санкт-Петербурга. С его точки зрения, «частное» — то, что включается в кластер понятий «свободной жизни», а «личное» — то, что принадлежит человеку и уже никуда не включено. Не случайно, персональные дела, разбиравшиеся профсоюзами, комсомолом, парторганизациями, могли еще называться личными. Но никак не частными.

Новая секция — «**Повседневная жизнь, субъективность, сопротивление**» **—** активизировала обсуждение вопросов, связанных с темой повседневного сопротивления навязываемым культурным, поведенческим и т.п. нормам. Доклад *Н.Л.Пушкаревой* (Москва) о повседневности научных работников разных поколений (советского и постсоветского), о гендерной асимметрии в Академии и гендерных дискриминациях (названный строчкой-признанием в одном из интервью: «О себе-то мы молчим…») поставил вопрос о значимости субъективного, индивидуального, личного сопротивления в повседневности, структуры которой навязаны не обязательно администрацией учреждений или властью идеологии, а теми носителями властных начал, которые релевантны отдельным субъектам (в данном случае: женщинам-научным работникам) — родителями, супругами, детьми, значимыми другими (научными руководителями, заведующими лабораториями). Тем самым автор доклада поставила вопрос о возможности распространения концепции пассивного повседневного сопротивления, которую обычно прилагают к изучению частной жизни людей в тоталитарных странах (сталинской России, гитлеровской Германии) [Certeau, 1984] на более поздний период — и хрущевской оттепели, и брежневского застоя.

Среди вопросов, поставленных докладчице, был и вопрос о причинах столь высокого самосознания женщин (которое проступило в проанализированных интервью) в столь очевидно патриархальной стране. Отвечая на него, Н.Л.Пушкарева подчеркнула, что вся история русских женщин отличается парадоксами, и один из них стремительное укрепление правового положения женщин, быстрый рост женского самосознания с началом индустриальной эры — и, одновременно, постоянное отставание практики от теории, неумение женщин не только пользоваться своими правами, но и артикулировать свои интересы («о себе-то мы молчим…»). Отвечая на вопрос о современных научных школах «повседневноведения» в России, о том, с какой историографической традицией -российской этнографической или с западной (рожденной в последние годы и именуемой именно повседневноведческой) более связаны исследования историков в нынешней России, докладчица высказала предположение: изучение «былых времен», быта социальных слоев в XIX — начале XX в. — с традицией «бытописания», сложившейся два века назад,

а изучение современности, «антропологии современного города» — скорее и даже безусловной с западной.

Любопытное толкование «повседневного» предложила *Ольга Шевченко* (Вильямс колледж). Размышляя о повседневной жизни, практической компетентности в определении стратегии действий и сопротивлений навязываемому свыше, а также о неолиберальной риторике постсоциалистической России, она умышленно заострила вопрос и разделила *быт* и *повседневность* по линии конфликтности/бесконфликтности. Т.о. *повседневное* выступило в ее докладе как (1) изучение бессильных («скорее и более, чем сильных и властных», (2) как поле постоянного сопротивления, когда «роскошь прямого сопротивления» недоступна) (3) произвольно определяемый и выбираемый для пристального исследования диапазон тем, избираемых из структур обыденного (досуг, потребление, нравы, манеры и т.д.). В известной мере, автор продолжает типическую для западной историографии тенденцию зачислять в «пассивное сопротивление» все вновь формы социального *неповиновения и способы выживания*, вплоть до домашнего консервирования овощей и фруктов (в нашей историографии ее сторонницей является Н.Б.Лебина) [Kershaw, 2000; Krylova, 2000. 1 (1): 119–46; Лебина, 1999: 11–18].

Текст докладчицы являл собой анализ интервью о повседневности жителей крупных городов (как правило, образованных горожан) в годы перестройки, постперестроечного времени и последнего экономического кризиса, о способах приспособления к меняющейся действительности. Особого внимания удостоились в ее анализе визуальные знаки приватности (личные гаражи-«ракушки» как личные пространства, бесконечные заборчики вокруг участков и заборища в дачных поселках с колючей проволокой наверху, т.е. визуальные меты приватности.

Совсем иной эпохе — концу XIX — началу XX в. было посвящено выступление *Бэна Эклофа* (Индианский университет) — специалиста по истории образования в досоветской России. Своим текстом он по сути утвердил понимание повседневного (в отличие от быта!) как всегда событийного. На примере различных проявлений учителями недовольства и борьбы с увольнениями с помощью доносов на товарищей и коллег, докладчик показал, как формируется решимость высказать недовольство обыденным и тем самым исключить проявление недовольства к себе, при каких обстоятельствах протестное превращается в «исключительное нормальное», а затем и вовсе нормализуется. Протесты самих учителей и доносы на учителей — показал он — является отличным источников по истории повседневного, обыденного, как и любые жалобы — в том числе и более позднего, советского времени («как все это похоже на «моральную неустойчивость и политическую неблагонадежность» советских времен», воскликнул он). Автор доклада размышлял о том, как личная вражда и борьба за власть на местах, к сожалению, часто встречавшиеся в школьной практике, разбор дел в таких конфликтах заменяли, замещали собой образовательные задачи.

В работе секции семинара **«Репрезентации повседневного»** приняло участие довольно много специалистов, поскольку она объединила историков, культурологов, киноведов и филологов.

Хронологически наиболее ранний период — начало XIX века — был представлен в докладе *Молли Кавендер* (Огайский университет). Опираясь на провинциальные издания по сельскому хозяйству, она представила реконструкцию повседневности типического помещика Тверской губернии, чьи мысли занимали такие вопросы, как

цены на рабочую силу (крепостных), соотношения цен (серебро/ассигнации), новые публикации по проблемам механизации, объявления о выборах местного дворянства, новости о случившихся пожарах и погоде на ближайшее время… Выступая в дискуссии по докладу, *Ш.Фитцпатрик* заметила: изучение жизни дворянства в усадьбах — путь к пониманию и… роли дачи в советское время. Для кого-то она всегда была лишь местом отдыха, а для других — местом производства с/х продукции. И производства не только как формы отдыха (т.е. на досуге), но и путем улучшения условий существования семьи. «Это было даже в советское время, да и сейчас, вероятно/, не только производство с/х продуктов, но и агропросвещение, обмен опытом, коммуникация», подчеркнула она. «В советское время государство постоянно и обыкновенно ставило людей в необыкновенные обстоятельства, обучая их выживать, а не жить…» Тут и лежит, с ее точки зрения различие между бытом (просто жизнью) и повседенвностью (которая была в советские времена борьбой за выживание, а не самой жизнью).

Продолжая разговор о «повседневном сталинизме», один из участников семинара *–Петер Позефский* (Вустер колледж) обратил внимание на фильмы о сталинском времени, созданные в перестроечную эпоху. Для них было типично то, что в фильмах 1930–1950-х гг. очевидно отсутствовало — а именно: резкое противопоставление быт верхов, номенклатуры, и низов общества. Докладчик точно приметил черту нынешнего десятилетия — отсутствие интереса к теме социального расслоения, поскольку в последние годы фильмы о сталинском времени заменили костюмные драмы («Статский советник», «Адмирал» и т.п.).

Популярные воззрения на воспитание детей и материнство в эпоху застоя оказались предметом рассмотрения *Элизабет Скомп* (Университет Юга), избравшей тексты Н.Баранской, И.Грековой и журнал «Работница» для анализа представлений об этой черте обыденности тех лет. Кстати сказать, Э.Скомп — филолог по образованию — обратила внимание на ту грань, которую возвели в идеологии период оттепели и застоя вокруг понятий «быт» (что-то низкое) и «бытие» (высокий духовный полет). Пронаталистский дискус тех лет, обращала внимание докладчица, формировал страх перед маскилинизированными женщинами, феминизированными мужчинами, был направлен на критику однодетности и бездетности и, в конечном счете привел к “возрождению понятия традиционной женской роли ”, ориентированной на «естественное (читай: биологическое) значение женщины».

В схожем по подходам докладе другого литературоведа — *Бэна Сатклифа* (Университет Майами), построившего систему доказательств на основании российской женской прозы (прежде всего Л.Улицкой и Т.Толстой) — главной темой, пронизывающей нашу литературу, названа тема противостояния отдельной семьи и Истории, именно оно, с его точки зрения, репрезентирует противостояние общественной и частной жизни.

Наконец, еще один из текстов — *Чой Чэттерджи* (Калифорнийский государственный университет, Лос-Анжелес) — был исследованием путевых записок, путеводителей, рассказов американцев о жизни в СССР: «С каждым годом пребывания в СССР воспоминания американцев о своей жизни там становились все более критическими, они жаловались на систематическую нехватку товаров, низкое качество продовольственных продуктов и товаров народного потребления, недружелюбие коммерческого персонала, безразличие предоставляющих услуги в гостиницах, ресторанах,

и магазинах. В конечном счете, даже просоветские американцы, неистово преданные поначалу большевистскому будущему, должны были вскоре пропустить утопию своих мечтаний через густую сетку того, что им пришлось перечувствовать». При этом, отметила докладчица, те же наблюдатели отмечали исключительное российское гостеприимство, требовавшее от хозяев ставить перед иностранцами то, что сами они не каждый день едят или видят. «Как раннехристианские мученики, они живут полностью в идеях, не замечая, что едят и что носят» — привела докладчица слова одного из побывавших в нашей стране ее соотечественников, придя конце концов к весьма решительному выводу о том, что «американские стандарты потребления, приобретя глобальную значимость в последней четверти двадцатого века, сыграли главную роль в ускорении упадка Советского Союза и всего социалистического мира».

Последняя секция семинара — «**Наблюдатели и наблюдаемые» —** отразила типический для современной науки и искусства (достаточно вспомнить российский фильм Л.Садиловой «Ничего личного» и германский «Жизнь других») интерес к теме, выражаемый тезисом «наблюдение меняет наблюдателя». И хотя, скажем, *А.Н.Каменский* (Москва) говорил о России XVIII в. и горожанах той поры, а *С.А.Ушакин* (Принстонский университет) о последних фильмах В.Манского и Л.Парфенова (документалистике, которая стала интересней, чем художественные фильмы) — они, по сути, говорили об одной проблеме: важности *понимания* тех людей, что действовали в прошлом, проникновения в их эмоциональный мир и склад. *С.А.Ушакин* при этом опирался в своих построениях на классических работы 1920-х гг. — С.Эйзенштейна (утверждавшего, что кино должно «выглядять как хроника, воздействовать как драма» и Дзиги Вертова с его убежденностью, что «старая кинематография, с ее чувствами и психологией, должна-таки освободить место для кино-вещественности» (кино-глаз и радио-ухо должны были обеспечить новый тип обязательств, а киноправда — стать эпистемологическим и визуальным режимом времени, методом коммунистической расшифровки мира».

Этнокультурный аспект проблемы повседневности оказался поднят в докладах *Карен Петрон* (Университет Кентукки, Лексигтон), размышлявшей об опыте и повседневности людей, столкнувшихся вначале с одной культурой, а затем вернувшихся в свою (воины-афганцы и их реинтеграция в современной России) и *Элизабет МакГир* (Университет Беркли) о жизни китайского эмигранта и повседневности российского города в 1920–1930-е гг. (текст был представлен как часть большого проекта исследовательницы, названного «Китайско-советский роман: как китайские коммунисты влюбились в Россию, русских, и российскую революцию»). Обе исследовательницы размышляли о проблемах готовности принять или отвергнуть навязываемый дискурс как один из основных конфликтов и выборов каждого в повседневности. При этом первая как раз говорила об отвержении, сопротивлении навязываемому дискурсу, острой реакции на идеологические интерпелляции в современной России, а вторая — о готовности интериоризировать их (ведь речь шла о времени, когда советская идея еще себя не дискредитировала). В известной степени, тема пересечения культур (не только этнических, но и культур социальных групп, а вместе с ними — и их привилегий, особенностей, характерных черт) оказалась поднята и в докладе *Сэры Филипс* (Индианский университет) «Мобильные граждане: инвалиды и пространственная политика в социалистическом и постсоциалистическом государстве» (речь шла о России и Украине). В последнем докладе прозвучала важная — в методическом смысле — идея об

инвалидности как социальном конструкте, поскольку (утверждала автор) именно среда формирует представление о неполноценности человека, и такой подход позволяет избежать приписывания людям с ограниченными возможностями какие-то «дефекты» и «отклонения». Советское государство использовало функциональную модель неспособности, утверждала докладчица, основанную на медицинских и технических характеристиках, не будучи способным обеспечить "полноценность человека для общества", оно увековечивало социальную исключенность и зависимость. Возможности изменить повседневность таких людей — в нашем отношении к проблеме и в отказе признавать государство «властным в отношении наших тел», какими бы эти тела ни были — слабыми и неполноценными, или здоровыми.

Завершая обсуждения и подводя итоги международного семинара, его участники не только приняли решение о публикации в течение ближайших двух лет материалов выступлений, но и подчеркнули преемственность таких международных научных встреч. Если одна из первых подобных конференций по проблемам повседневности состоялась в 1996 г. в Анн-Арборе (Мичиган) и была посвящена истории русской и российской частной жизни, то за последующие 14 лет тема российского повседневья неоднократно поднималась на конгрессах Ассоциации американских славистов и постепенно стала одной из постоянно дебатируемых и стремительно пополняющихся новыми серьезными исследованиями.

Литература:

Certeau Michel de, The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press, 1984

Floyd I., Bryden J. Domestic Space: Reading the Nineteenth Century Interior. Manchester UP, 1999.

Kershaw Ian. Resistance without the People? //The Nazi Dictatorship. Problems and Pperspectives of Interpretation. London, 2000;

Krylova Anna. The Tenaciouse Liberal Subject in Soviet Studies // Kritika. 2000. 1 (1): 119–46

Лебина Н.Б.. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920–1930 годы. Санкт-Петербург, 1999. С. 11–18

Пушкарева Н.Л. Предмет и методы изучения истории повседневности // Этнографическое обозрение. 2004. N 5.

Пушкарева Н.Л. «История повседневности» и «история частной жизни»: содержание и соотношение понятий // Социальная история. 2004. М., 2005. С. 93–113

Пушкарева Н.Л. «История повседневности» и этнографическое исследование быта: расхождения и пересечения // Glasnik Etnografskogo instituta SAN (Beograd). 2005. N LIII. З. 21–34

Пушкарева Н.Л. Предмет и методы изучения истории повседневности // Социальная история. 2007. М., 2007. С. 9–21

Фитцпатрик Ш. Повседневный сталинизм. М: РОСПЭН, 2008

РЕЦЕНЗИИ

В. С. Дубина

Schattenberg, Susanne. “Die korrupte Provinz? Russische Beamte im 19. Jahrhundert”. Frankfurt am Main: Campus-Verlag, 2008. 294 pp. ISBN: 3593386100.

Предмет книги директора исследовательского центра “Восточная Европа” при университете Бремена (Германия), профессора Сюзанны Шаттенберг — сложность и неоднозначность мира русского чиновничества, его отношений с обществом и властью в XIX в. До сих пор историки (и в нашей стране, и за рубежом) оценивали русский бюрократический аппарат по большей части как управленческую дисфункцию. Цель исследования Шаттенберг, напротив, показать, что управленческая культура России имела свою собственную внутреннюю логику.

Книга Сюзанны Шаттенберг посвящена истории культуры управленческого аппарата провинциальной России в XIX в. В отличие от традиционного социально-исторического подхода, автора в первую очередь интересует не структура управления, не карьерный путь чиновников — хотя всему этому она также уделяет место в книге, — а до сих пор не вполне раскрытая логика функционирования русского чиновничьего аппарата.

Отсутствие в историографии убедительного объяснения этой логики тем более примечательно, что тема далеко не обделена вниманием как западных, так и российских историков. Для отечественных исследователей бюрократия была важной темой изучения уже и в советское время, а в послеперестроечный период стала одной из наиболее активно разрабатываемых[1]. В западной историографии уже только одна немецкоязычная научная традиция может гордиться систематическими исследованиями управленческого аппарата России, до сих пор остающимися актуальными[2]. Однако ученые не искали какой-либо особой логики в действиях чиновников, потому как оценивали русский бюрократический аппарат по большей части как управленческую дисфункцию. Это «гоголевское» отношение к русским чиновникам как к мелким, ничего не значащим в управлении Акакиям Акакиевичам наложило отпечаток на исследователей, которые с 1960-х гг. держали в голове образец идеального чиновника по Максу Веберу. На основе критериев, установленных Вебером для современного чиновника, как пишет Сюзанна Шаттенберг, устраивался своего рода экзамен, на котором российский чиновник с треском проваливался. Он не имел ни специального образования, ни четких компетенций, он не был посредником между интересами государства и общества, не ссылался на предписания и законы, не был независим от своего начальника, а его заработная плата не давала ему уверенности в завтрашнем дне[3].

---

[1] Наиболее авторитетные работы на эту тему в отечественной историографии: *Ерошкин Н. П.* Государственные учреждения России в дореформенный период (1801–1861). — М., 1957; *Шепелев Л. Е.* Чиновный мир России. XVIII — начало XX в. — СПб., 1999.

[2] Torke, Hans-Joachim. Das russische Beamtentum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Berlin, 1967.; Amburger Erik. Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Großen bis 1917. Leiden, 1966.

[3] Schattenberg, Susanne. Die korrupte Provinz? S.17.

Нормативное изучение чиновничества, когда в качестве аналитических категорий использовались понятия современной государственности, заводило в тупик. Базовое предположение о том, что российскую историю следует изображать по образцу истории прогресса, неизбежно приводило к выводу, что за недостатком квалифицированных чиновников Россия обречена на отсталость. Как западные, так и советские историки, в конце концов, объявили предмет своих исследований безнадежным. Даже семиотик культуры Юрий Лотман счел бессмысленным продолжать заниматься российскими чиновниками: «Русская бюрократия, являясь важным фактором государственной жизни, почти не оставила следа в духовной жизни России: она не создала ни своей культуры, ни своей этики, ни даже своей идеологии»[4].

Не отказываясь от авторитетной поддержки теории Макса Вебера, Сюзанна Шаттенберг получает в итоге совершенно другую историю. В своем анализе русского бюрократического аппарата она опирается не на концепцию идеальных типов Вебера, а на его же тип патримониального чиновника. Этот тип, свойственный всем европейским странам в эпоху феодализма, к середине XIX в. в Западной Европе уже по большинству параметров был заменен чиновником современной формации, отсылающей к концепции правового государства. Как пишет Шаттенберг, типичные черты патримониального чиновника (подчинение, основанное не на службе абстрактной цели, а на личных отношениях; отсутствие разделения интересов службы и личных интересов, «частного» и «служебного») в той или иной мере сохранились в Новое время как часть традиции даже в таких «модернизированных» странах, как Франция и Англия. Для России же они были действенны вдвойне. Верность русского чиновника своему «хозяину», отсутствие границы между служебными интересами и личной жизнью вновь и вновь становились поводами обвинения в коррупции. Однако, по мнению автора, «для патримониального чиновника такое поведение является не отклонением от нормы, а самой нормой»[5].

Все это не означает стремления Шаттенберг записать Россию в «отстающие» от общеевропейского прогресса страны. Ее цель — показать, что управленческая культура России до 60-х гг. XIX в. была особенной и имела свою собственную внутреннюю логику. Для раскрытия этой логики автор усиливает свою методологическую базу теоретическими подходами из этнологии и работ по истории Раннего Нового времени. Она использует теорию даров Марселя Мосса, исследования Джеймса Скотта об отношениях патрон-клиент, труды Юрия Лотмана и Мартина Дингенса о представлениях о чести. Это теоретическое многообразие позволяет Сюзане Шаттенберг не отступиться от русского чиновника как от неудачника и не судить его как коррумпированного противника правового государства. Как пишет сама автор, она не осуждает и не защищает, она выступает в качестве «эксперта правил и норм чиновничьей жизни»[6].

В книге Шаттенберг русский управленческий аппарат предстает в совершенно новом свете: как совокупность клиентских и меновых отношений. Проситель был связан с чиновником меновыми отношениями, платя за ведомственные услуги; чиновник, в свою очередь, был связан такими же отношениями с начальником, платя ему лояль-

[4] *Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре. — СПб., 1994. С. 27.

[5] Schattenberg, Susanne. Op. cit. S. 44.

[6] Ibidem. S.129.

ностью и верностью за присвоение очередных чинов и награды. При этом существовали и оппозиционные группы, исключенные из обмена ресурсами. Они пытались бороться с истеблишментом, чтобы получить себе место в этой системе обмена.

«В то время как правящие круги ссылались на “традицию” — например, на назначение царем, “оппозиция” усваивала прогрессивные позиции, идеологии и символы, такие как борьбу с коррупцией и за правовое государство, чтобы под этими знаменами самой добраться до источников власти, престижа и богатства, — пишет Шаттенберг. — Ревизоры вновь и вновь докладывали, что в губерниях образовывались две партии: одна вокруг губернатора, другая — “оппозиционная”, пытающаяся бросить тень на местного властителя и представить его Санкт-Петербургу “коррумпированным”. Вполне очевидно, что лозунги “за царя” и “против коррупции” на самом деле были в первую очередь инструментами в местной борьбе за власть, служащими только для легитимации действий, направленных против противников»[7].

При анализе этой «особой» культуры Сюзанне Шаттенберг удается избежать ловушки «особого пути» (Sonderweg). Русский управленческий аппарат не предстает у нее продуктом некоего чужого мира, а является функциональным ответом на специфические вызовы политических и общественных условий монархического государства. При этом Шаттенберг не упускает из вида параллельное развитие русского и западноевропейского управленческого аппарата. Она указывает на тот факт, что ни Пруссия, ни Франция, ни Англия не являлись теми идеальными бюрократическими государствами, какими их на протяжении долгого времени пытались представить. Однако в этих странах, подчеркивает Шаттенберг, рациональная бюрократическая система сумела утвердиться, и большинство чиновников чувствовали себя обязанными следовать ее предписаниям, тогда как в России это было свойственно только небольшой группе чиновников, воспитанных в университетах и элитарных учебных заведениях. Как пишет Шаттенберг: «Здесь столкнулось два мира: мир патриарха и послушных ему подчиненных с одной стороны, а с другой — мир ревизоров, выступавших в качестве миссионеров законности»[8].

В последней главе книги автор красочно и аргументированно анализирует напряженные отношения, складывавшиеся в среде чиновников по вступлении в должность выпускников университетов или элитарных заведений вроде Александровского лицея и Училища правоведения. Как протеже министра юстиции и министра внутренних дел правоведы сумели утвердить свои представления о необходимости подчинения абстрактному закону. Молодые чиновники посылались из Санкт-Петербурга в составе ревизионных комиссий, обладая невиданными полномочиями — проверять работу старших по возрасту. Для традиционного чиновничьего мира, основанного на принципе старшинства, это было неслыханным нарушением субординации.

Сила книги Сюзанны Шаттенберг состоит в том, что она не выступает судьей прошлого и не встает на сторону какой-либо партии. Она интересуется представителями всех сторон конфликта и показывает в своей красочно написанной книге всю сложность и неоднозначность мира русского чиновничества, а также их отношений с обществом и властью. Она ставит в центр исследования персону чиновника

---

7 Ibidem. S.197.
8 Ibidem. S.34.

и благодаря этому ей удается показать внутренние механизмы действия системы, без того чтобы свести комплексные процессы к роли слуги одного абстрактного тезиса.

В заключении книги Шаттенберг проводит свои выводы за демаркационную линию Октябрьской революции. Она показывает, что и в XX в. отношения патрон-клиент как в России, так и в Западной Европе продолжали играть важную роль в политике, экономике и общественных отношениях. Однако интерес к непрерывности исторического повествования не затмевает от ее взгляда различий между русским обществом в XIX и XX веках. Роль патрона и отношений патрон-клиент в управлении страной изменились, и этому аспекту Сюзанна Шаттенберг также уделила место в своей книге.

К. Гества

Goehrke, Carsten. “Russischer Alltag. Eine Geschichte in neun Zeitbildern vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart”. Band 1: Die Vormoderne. Zürich: Chronos Verlag, 2003. 471 pp. ISBN: 3034005830. Band 2: Auf dem Weg in die Moderne. Zürich: Chronos Verlag, 2003. 547 pp. ISBN: 3034005849. Band 3: Sowjetische Moderne und Umbruch. Zürich: Chronos Verlag, 2005. 560 pp. ISBN: 3034005857.

Заслуженный профессор Цюрихского университета Карстен Гёрке много лет работал над довольно новым и ставшим в последнее время популярным в России направлением — историей повседневности. Его книга представляет собой первую попытку охватить историю русской повседневности, начиная со Средних веков и кончая советским периодом. В Германии эта работа стала научным бестселлером и используется для преподавания в университетах, хотя она, как и всякий обзорный труд, не лишена пробелов и спорных выводов.

Тема повседневности за последние десятилетия прочно вошла в исследовательскую практику специалистов по истории России. Пришедший в русскую науку с задержкой, термин «повседневность» быстро разросся до размеров «культурной истории» (Kulturgeschichte), и его содержание потеряло четкие контуры, расплывшись от частого и многозначного употребления в различных областях исторической науки, будь то история семьи и детства или гендерные исследования. Заслуга Карстена Гёрке состоит в организации поля исследований истории русской повседневности. Автор, заслуженный профессор Цюрихского университета известен как специалист по истории расселения славян и социальной истории Руси. Результатом его многолетнего труда стал трехтомный opus magnum[1]. «Русская повседневность», в котором Гёрке охватил русскую историю начиная с древности и кончая советским периодом.

Понятие повседневного не имеет границ, ведь оно включает в себя все сферы человеческих отношений: и быт и домашнее хозяйство, и нормальное и экстремальное в активности исторических акторов. Вследствие этого «история повседневности» предполагает самые разнообразные сюжеты. Гёрке отдает себе в этом отчет. Он не предпринимает попыток довести дефиницию повседневности до математической точности, что, без сомнения, не внесло бы ясности, а только еще более осложнило бы практическое применение такого определения. Гёрке приравнивает повседневность к социальной практике, понимая ее через главные константы человеческой жизни, как общее жизненное пространство, сцену, на которой происходит повседневное коммуникативное действо. Материальная сторона повседневного представляет наименьшую проблему для автора: ставшие в наши дни доступными архивы содержат обширный материал, позволяющий описать социальные связи и общественные ритуалы. Куда более трудная задача — анализ норм, ценностных ориентаций и многообразных смыслов повседневных действий. Гёрке это прекрасно понимает и потому ищет в своей книге способ соединить материальную и символическую стороны повседневного.

---

[1] Выдающееся произведение (лат). (Примеч. переводчика.)

Для раннего периода русской истории он пользуется приемом так называемой «сценической реконструкции». Исходя из археологических артефактов, автор реконструирует судьбы и представления акторов в стиле исторического романа. Его «это могло бы быть так» может не приниматься историками в качестве научного метода, но значительно повышает наглядность изложения. Этот прием облегчает читателям доступ в мир незнакомых повседневных практик.

В своей работе Гёрке старался учесть интересы тех читателей, которые не являются профессиональными историками, что проявляется в форме изложения. Открывая каждую эпоху, автор предлагает очень краткий историографический обзор, не уделяя внимания различным мнениям и дискуссиям среди ученых. Насыщенный историческими фактами текст охватывает различные аспекты русской повседневности. Однако для интересующегося историей непрофессионала описания эти чересчур подробны, а в глазах историка перекос в сторону эмпирического материала ущемляет аналитическую составляющую работы. Например, вполне можно было сократить некоторые описания (жилищ, дворов) в пользу общей интерпретации картины. Заключения к каждому разделу чересчур кратки; в тексте недостает моделей, объясняющих общие тенденции развития. Нередко изменчивость и противоречивость некоторых процессов заявлена, но недостаточно объяснена. Недостатки избранного метода особенно заметны во втором томе, посвященном периоду с середины XVIII в. по 1917 г. Начавшиеся в русском обществе этого периода изменения, очевидно, требуют больше аналитической работы, чтобы связать между собой микро- и макроисторические структуры. Например, остается неясным, как традиционное крестьянское общество середины XVIII в. принимало формы рыночной и потребительской культуры.

Исследование более чем тысячелетнего периода требует от автора концентрации внимания на тех или иных эпохах и процессах и отказа от рассмотрения других, может быть, имеющих для истории России равнозначную ценность. Этот мучительный выбор Гёрке решает в пользу более или менее спокойных эпох, на протяжении которых сохранялись стабильные социальные структуры. Это позволяет ему представить срез периодов общественной консолидации, когда повседневная жизнь предстает во всем ее многообразии. Однако в жертву такой насыщенности приносится динамика исторических событий: тема войны, например, оказывается на периферии изложения. От этого русская повседневность выглядит удивительно мирной: читатель практически ничего не узнает о травматическом опыте, пережитом населением в период монгольского завоевания XIII в. или в годы «смуты» начала XVII в., а также во время более поздних войн — Отечественной 1812 гю или Крымской (1853–1856). Редко находят место в книге Гёрке и насильственно произведенные перемены (например, в период реформ Петра I), общественные потрясения, пускай и не повлиявшие напрямую на материальную повседневность, но много объясняющие в восприятии и интерпретации событий.

Трилогия носит название «Русская повседневность», поэтому автор исключает из своего повествования все нерусские народы. Даже восточные славяне — будущие украинцы и белорусы — оставлены в период Средних веков без внимания. Сосредоточение на жителях одной только Великороссии, которые после разделов Польши, присоединения Крыма и Украины составляли разве что половину населения России, имеет для такого протяженного по времени исследования свои основания. Однако

в некоторых случаях было бы важно представить сравнение с соседними народами, которые строили свою повседневность на одном пространстве с русскими и в непосредственной взаимосвязи с ними. Например, не упоминаются в книге русские поселенцы на Кавказе, повседневная жизнь которых проходила в напряженных отношениях с «другими», о чем уже существуют отдельные интересные работы[2].

Сравнение России с Западом является в зарубежной историографии излюбленной темой, которую автор не мог обойти. Однако, обращаясь к широкой читательской аудитории, необходимо подчеркивать, что, несмотря на все различия, повседневная жизнь русских крестьян и рабочих имела много общего с жизнью их западноевропейских современников. Насилие и алкоголизм были характерной чертой пролетариата и в Англии, и во Франции, и в Германии. Если не заострять на этом внимание, то существует опасность представить русскую повседневность как будни «варваров» и тем самым просто воспроизвести распространенные стереотипы.

В описании советского периода в третьем томе Гёрке остается верен ранее избранному им методу работы. В своем обзоре XX в. автор концентрируется на трех этапах. Довоенный сталинизм (1929–1941) он описывает как общество «фасадов», период построения сцены, на которой будет разыграна советская жизнь. Второй этап (с 1964 по 1985 г.) — это мостик между «золотой эрой первых десяти лет руководства Брежнева», когда работоспособность советской модели достигла своего зенита, и периодом «застоя» с 1975 по 1985 г. (Band 3. S. 304). Период перемен с 1992 по 2000 год Гёрке оценивает как время между апокалипсисом и началом ностальгии по советскому прошлому. Здесь он говорит о «борьбе за выживание» и рассматривает также «новых русских» и «старый менталитет». Если последний этап русской истории сведен автором до 35 страниц текста, то период довоенного сталинизма рассматривается в качестве некоего русского переломного времени более чем на 260 страницах[3].

Концентрация автора на этих трех этапах приводит к тому, что Вторая мировая война, послевоенное время и период «оттепели» оказываются на периферии повествования. Это позволяет усомниться в выборе Гёрке. Военная и послевоенная повседневность представляют собой основу для анализа механизмов преодоления советской повседневности, позволяющей критически осмыслить стереотипы о нетолерантном поведении homo sovieticus. Несмотря на готовность к насилию и обособление разных общественных групп, как раз 40-е гг. XX в. были периодом социального взаимодействия в советском обществе. Поведение людей в годы нужды и голода показали, что советскому обществу были отнюдь не чужды такие гражданские ценности, как человеческое достоинство, готовность помогать другим и терпимость. Кроме того, промежуток между 1941 и 1964 гг. — очень значим для исследований советского периода. Елена Зубкова и Амир Вайнер, чьи исследования Гёрке, очевидно, упустил из

---

[2] *Barrett Thomas*, Lines of Uncertainty. The Frontiers of the North Caucasus, in: Burbank, Jane; Ransel, David L. (Hgg.), Imperial Russia. New Histories of the Empire, Bloomington 1998, S. 148–173; Baberowski, Jörg, Der Feind ist überall. Stalinismus im Kaukasus, Stuttgart 2003, S. 28–83.

[3] Переломное время (Sattelzeit) — термин, введенный в оборот Райнхардом Козелликом и обозначающий период с 1750 по 1850 г., когда старое и новое время в истории человечества встречаются как бы на одной временной координате. (Koselleck Reinhart. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979. — Примеч. переводчика.)

виду, убедительно доказали своими работами, что военные и послевоенные годы являются ключевыми для советского периода русской истории[4]. Не упомянуты автором и важные труды по советской повседневности, принадлежащие Голфо Алеоксополасу, Дональду Фильтцеру, Джулии Хесслер и Сьюзан Райд. Вследствие этого в описании брежневского периода Гёрке не принимает во внимание исследования советского общественного мнения в 1960–1970-х гг., предлагающие множество возможностей заглянуть как в советскую повседневность, так и в приемы мышления и действий советских граждан[5].

Несмотря на эти лакуны, нельзя не признать, что Гёрке предпринял попытку охватить широкий исторический ландшафт и при этом учесть новые тенденции и исследования в этой области. Так, он уделяет много внимания «женской истории» истории семьи и детства. Или, например, в книге представлен взгляд «изнутри» сталинского времени, основанный на сравнительно недавно найденных и обработанных дневниках современников той эпохи. Обнаруживает Гёрке свою информированность и в вопросах миграции и расселения. Разносторонность и «насыщенное описание» делают его историю русской повседневности очень наглядной[6]. Однако такие аспекты, как спорт, средства массовой информации, общество потребления, остаются на периферии исследования. Слишком поверхностно представлена повседневность лагерей, хотя вопрос о том, как лагерные будни влияли на обычную советскую жизнь, заслуживает больше внимания. Далее, в послевоенные десятилетия у советских граждан появлялось все больше возможностей вступать в контакты с жителями других стран Восточного блока, Запада Третьего мира. Это также не могло не повлиять на устройство их повседневной жизни. Недостаточное место у Гёрке занимает холодная война как конституирующий фактор советской культуры. Автор использует старую концепцию отсталости советского гражданского общества, измеряя его западной меркой и еще раз тиражируя давно известные тезисы о его недостатках. При этом вне поля зрения Гёрке остается тот факт, что процессы, проходившие в Советском Союзе, не были специфическими особенностями социализма, а имели место и во многих других индустриальных обществах. К ним относится, например, разрушение традиционных структур из-за перемещения сельского населения в города, рост преступности в переходный период и др.

Недостаток компаративистики особенно проявляется в заключительной части исследования. Здесь Гёрке впадает в опасный соблазн выявить некие единые процессы, развивавшиеся на протяжении всей русской истории начиная со Средних веков

---

[4] *Zubkova Elena*, Russia after the War. Hopes, Illusions, and Disappointments, 1945–1957, Armonk/NY 1998; Weiner, Amir, Making Sense of War. The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution, Princeton 2001.

[5] *Zemtsov I.* Soviet Sociology. A Study of Lost Illusions in Russia under Soviet Control of Society, Fairfax, Virginia 1985; Российская социология 60-х годов. В воспоминаниях и документах. СПб., 1999; Грушин Б. Мнения о мире и мир мнений. М., 1967.

[6] «Насыщенное описание» (Thick Description) — термин Клиффорда Гирца. Он означает адекватное описание символического действия, то есть основанное на самоинтерпретации, такое, которое дают сами носители изучаемых культур. (*Гирц К.* В поисках интерпретативной теории культуры // Антология исследований культуры. СПб., 1997. С. 183. — Примеч. переводчика.)

и заканчивая советским периодом. Представляется сомнительным, что концепция застройки городов XX века следовала модели «ушедшего хутора» и «московских городских сооружений» или что вычурные виллы новых русских можно рассматривать как «современный вариант средневекового жилища». (B.3. S. 451.) Несложно обнаружить связь между крестьянской общиной, с ее жестким социальным контролем и уравниванием, и общественным коллективизмом советского периода. Однако тем труднее эту связь обосновать. Если в начале Гёрке полемизирует с «упрощенной интерпретацией» Йорга Баберовского, понимающего сталинизм как «насильственную власть, выросшую из деревенской культуры насилия», то в конце работы он сам делает то же самое, объясняя советский феномен пренебрежения к отдельному человеку последовательным развитием крестьянского мироощущения. (B.3. S.21, 454.) По мнению Гёрке, дальнейшее развитие России зависит в огромной степени от того, сумеет ли она «выйти из этого замкнутого круга традиционных, древних представлений». (B.3. S. 455.) Перед лицом такого жестко дихотомичного тезиса встает вопрос, что именно автор понимает под «древностью» и «традицией». В его истории советской повседневности слишком часто зафиксированы живучие стереотипы и слишком редко они подвергаются проверке.

Исследования большого хронологического периода всегда обещают больше, чем они в состоянии предъявить, потому что претензия на тотальность наталкивается на неустранимое сопротивление материала. Но при всех минусах этой работы, Гёрке вносит безусловный вклад в историографию. Несмотря на то, что энциклопедическая полнота данного труда представляет скорее «каменоломню», где лишь периодически попадаются «ценные породы», эта книга еще долгое время останется важным источником цитирования и будет незаменима, особенно для преподавателей. Можно надеяться, что трилогия Гёрке, благодаря ее наглядности, найдет путь и в частные библиотеки, хотя чтение 1600 страниц потребует от читателя немалого терпения.

Реферирование и перевод В. С. Дубиной по материалам:

Klaus Gestwa: Rezension zu: Goehrke, Carsten: Russischer Alltag. Eine Geschichte in neun Zeitbildern vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart. Zürich 2003–2004, in: H-Soz-u-Kult, 27.04.2004,

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2004–2-063

Klaus Gestwa: Rezension zu: Goehrke, Carsten: Russischer Alltag. Sowjetische Moderne und Umbruch. Zürich 2005, in: H-Soz-u-Kult, 26.10.2006,

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2006–4-077

И. А. Гордеева

Беглов А. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР. М.: Издательский Совет РПЦ; Арефа, 2008. 349 p. ISBN: 978–5-94625–303–1.

Понятие «ангажированности» с советских времен является одним из самых популярных историографических ругательств. Как правило, оно употребляется как синоним непрофессионализма и указывает на подмену общепринятых в профессиональном сообществе процедур получения объективированного знания выводами, заранее, еще до проведения исследования, заданными политическими или идеологическими пристрастиями автора. В современной ситуации, однако, употребление данного понятия применительно к исследователям, которые работают над сюжетами новейшей истории России, становится проблемой.

Во-первых, безапелляционность оценок затрудняет осознание того факта, что большая часть из тех, кто сегодня изучает советскую историю, сами «родом из СССР», то есть в интеллектуальном, культурном, социальном и всех прочих смыслах связаны с предметом своего изучения. Это заставляет нас сомневаться в своей беспристрастности и бесконечное число раз обдумывать предпосылки собственного знания[1]. В-вторых, бывают случаи, когда «ангажированность» можно понимать как «вовлеченность» авторов, обеспечивающую их абсолютно легитимную в профессиональном сообществе связь с современными культурно-антропологическими практиками включенного наблюдения, дающими исследователю ряд познавательных преимуществ[2]. Продуктивность данного подхода часто происходит не только из преимуществ их метода и созвучной «вовлеченности» «увлеченности» таких специалистов, но и из их привилегированного доступа к уникальным историческим источникам. В-третьих, огромная и неизбежная роль в современном гуманитарном знании организаций, дающих гранты, почти стирает грань между обязательной для исследования актуальностью и очень близкой к ней ангажированной конъюнктурностью.

И наконец, в-четвертых, требует своего осмысления повсеместное распространение в современной академической науке явлений конфессиональной историографии[3], которая стала официальной составной частью современных академических институтов и даже сумела создать прецеденты влияния на критерии научности ВАКа[4]. Мы

---

1 См., например: *Козлова Н.* Советские люди. Сцены из истории. М., 2005. С. 9–22.

2 Примеры историографических текстов, преимущества которых связаны в первую очередь с «вовлеченностью» их авторов: *Шубин А. В.* Преданная демократия. СССР и неформалы (1986–1989). М., 2006; *Аксютина О.* «Если я не могу танцевать, это не моя революция!» DIY панк/хардкор сцена в России. М., 2008; *Никольская Т. К.* Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах. СПб., 2009.

3 Подробнее см.: *Гордеева И. А.* Христианский нонконформизм в Советской России, 1917–1991: Состояние исследований // Экономическая история: Обозрение. М., 2008. Вып. 14. С. 117–144.

4 См., например: *Алексеев А. В.* Духовно-нравственное состояние русского общества конца XIX — начала XX веков: Историко-конфессиональный (православный) взгляд: Дисс… к-та ист. наук: 07.02.2002; Место защиты: Моск. гос. гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова. М., 2008.

постоянно сталкиваемся с исследователями, получившими полноценное гуманитарное образование, прошедшими все необходимые ступени академической карьеры, принадлежащими к тем или иным академическим институтам, но в то же время открыто и принципиально демонстрирующими свою религиозную небеспристрастность. Это заставляет задуматься о том, с чем мы имеем дело в данном случае — с возвращением в историографию аналога принципа «партийности» в его разнообразных конфессиональных вариантах или все же с нормальной профессиональной деятельностью воцерковленных гуманитариев?

В 2008 г. Издательский совет РПЦ опубликовал монографию Алексея Львовича Беглова, сотрудника Центра истории религии и церкви ИВИ РАН, «В поисках “безгрешных катакомб”: Церковное подполье в СССР». Монография Беглова посвящена изучению нелегальной церковной жизни советского периода. Этому изданию предшествовала защита в 2004 г. автором, выпускником филологического факультета МГУ, кандидатской диссертации под руководством д-ра ист. наук О. Ю. Васильевой в Институте российской истории РАН, а также публикация большого количества статей и исторических источников как в профессиональных, но преимущественно в православных изданиях.

Выбор места издания монографии, претендующей на научность, возможно, и объясняет факт молчания коллег-историков по поводу этой книги. Однако, на мой взгляд, наличие прямой заявки о православной «партийности» (фракция Московского патриархата) автора не может лишить книгу статуса историографического события. Общее впечатление от монографии превосходит ожидания от книги, опубликованной церковным издательством. Результаты исследования и выводы автора заслуживают внимания и обсуждения прежде всего со стороны социальных историков.

В своих исследованиях А. Л. Беглов заявляет о себе как о социальном историке, причем весьма современном, изучающем религиозные сообщества, религиозные практики и социальное поведение верующих. Он отлично ориентируется в действительно очень сложной проблеме исторических источников по изучению новейшей истории России, исключительно аккуратен в использовании терминологии, симпатизирует культурно-антропологическим методам и пытается использовать концепт «народной религиозности».

В своей монографии, текст которой в основном повторяет его диссертацию, Беглов много внимания уделяет терминологии. Рассматривая такое понятие, как «катакомбы» (С. 8–10), он приходит к справедливому выводу, что это слово стало «орудием идеологической полемики авторов, принадлежавших к Русской Православной Церкви Заграницей», которые наделяли «катакомбы» такими качествами, как оппозиционность руководству Московской патриархии, нелегальность в точки зрения советского законодательства и «антисоветская» настроенность. Стремясь преодолеть неуместную в научном исследовании идеологизацию, он выбирает в качестве центрального для своего исследования понятие «подполье», которое определяет «исключительно в юридическом ключе», относя к нему все, «что было советской властью запрещено, объявлено вне закона, стало нелегальным» (С. 12). По мысли автора, такое «юридическое» понимание подполья помогает «отойти от преобладавшего до последнего времени в изучении нелегальной церковной жизни церковно-политического подхода*, оценивавшего ту или иную группу с точки зрения ее оппозиционности или

лояльности по отношению к церковному руководству (* Имеется в виду церковная политика — конфликты между различными церковными группами и лидерами, — необязательно имевшая собственно политическую подоплеку, примечание Беглова)» (С. 12). С его точки зрения, «мотив противопоставления себя государству и легальной Церкви для церковного подполья был вовсе не обязателен» (С. 14). Подобные намерения и выбранное определение представляются мне весьма актуальными, продуктивными и перспективными, ровно как и выбор автором в качестве единицы описания общины, а не движения или группы, возглавляемой каким-либо лидером (С. 14).

Итак, объектом исследования Беглова стали те явления религиозно-церковной жизни православных верующих советского периода, которые оказались за пределами легальности — в подполье, стали нелегальными с точки зрения власти. На мой взгляд, подполье — действительно, интереснейший и до сих пор недооцененный объект для междисциплинарного исторического исследования[5]. Интерес к подпольным феноменам отлично вписывается в такое направление исследований российских социальных историков, как исследование неформальности, «теневых» экономических и социальных практик советского общества, повседневных стратегий выживания и приспособления крестьянства[6]. Беглов сам указывает на эту связь, однако его отношение к опубликованному в рамках данного направления множеству текстов неоправданно избирательно, он упоминает в качестве своего предшественника только Осокину, которая аналогичным ему образом использовала понятие «подполье» Е. А. Осокиной в ее исследовании «За фасадом “сталинского изобилия”» (1999) и «Рынки власти» С. Кордонского. Другое возможное направление исследования подполья — в контексте истории общественных движений, дореволюционного освободительного движения и советского диссидентского движения, но в своем исследовании Беглов сознательно пошел по пути социальной истории с антропологическим уклоном, стремясь избежать политизации своего исследования.

Таким образом, Беглов мыслил свой проект «как исследование форм и закономерностей нелегальной церковной жизни советского периода» (С. 26) и имел намерение «рассмотреть церковное подполье этого периода в контексте других социальных явлений, вытесненных советской властью за пределы легальности» (С. 13), что оказалось в монографии, к сожалению, нереализованным. Подобная постановка проблемы просто требует сравнения процессов, которые происходили в православном подполье, с аналогичными явлениями, имевшими место в дореволюционном старообрядчестве (Беглов отказывается от этого по причинам, которые кажутся лично мне неубедительным, на С. 94)[7], а также в советское время в подпольных частях других христианских

---

[5] *Могильнер М.* Мифология «подпольного человека»: Радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М., 1999; *Завадская Э. Ю. , Эдельман О. В.* Подпольные группы и организации: Авторский комментарий // Крамола: Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе, 1953–1982 гг. Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР. М.: Материк, 2005. С. 317–330.

[6] См., например: Неформальная экономика: Россия и мир / Под ред. Т. Шанина. М., 1999, а также работы А. Леденевой, Л. М. Тимофеева, Е. А. Осокиной, Давыдова, В. Волкова и др.

[7] Ср.: *Данилко Е.* Замкнутый социум в современном мире: Проблемы самосохранения старообрядческих общин Южного Урала // Религиозные практики в современной России. М., 2006. С. 342–355.

деноминаций (евангельских христиан-баптистов, адвентистов, иеговистов и т. п.), упорствовавших в неприятие советской власти.

Помимо традиционных документов государственных, партийных и карательных органов, автор имел возможность использовать ряд труднодоступных для светских исследователей документов нелегальных общин. А. Л. Беглов является автором многих публикаций исторических источников, с середины 1990-х гг. большая часть его публикаций выходит в журнале «Альфа и Омега», частью рецензируемой монографии также является публикация избранных документов по истории церковного подполья в 1930–1940-е годы (С. 259–300), а также составленные автором на основе архивных материалов статистические таблицы со сведениями о подпольных церковных общинах в некоторых областях РСФСР в 1947–1948 гг. (С. 301–315).

Источниковедческая часть работы, однако, не лишена недостатков.По всей видимости, автору осталось неизвестным, что в НИОР РГБ хранится внушительный по объему и интереснейший по содержанию фонд А. И. Клибанова (№ 648), где можно найти самые разнообразные материалы об «истинно-православных христианах» (и не только о них), собранных и созданных в рамках советских религиоведческих экспедиций (в том числе полевые дневники экспедиций 60-х годов, анкеты и записи бесед с верующими, сборники их молитв, другая религиозная литература ИПХ, фотографии), интереснейшие подготовительные материалы, теоретические и методологические работы, черновики, материалы обсуждений, рецензии на исследований самого Клибанова, его учеников и коллег, работы которых неоднократно цитирует Беглов и другие современные религиоведы и историки. Например, прекрасным дополнением к материалам Беглова могло бы стать исследование И. Г. Витковского (еще один «вовлеченный» исследователь, в молод) о религиозной группе «Юноши», информация о которой была доступна Беглову лишь опосредованно через работы других религиоведов. Также заинтересовать его могли бы работы З. А. Никольской, Л. Н. Митрохина, М. К. Теплякова, Л. А. Тульцевой, И. А. Малаховой, Э. Я. Лягушиной и других.

Анализируя историографию, автор старательно открещивается от политизированных подходов к изучения поставленной им проблемы. Главной его претензией к советским историкам является то, что они описывали все религиозное подполье «как своего рода антисоветские организации, что придавало им вид монолитных религиозных институций, которыми они, строго говоря, никогда не были» (С. 19), «не рассматривался специально вопрос о влиянии нелегального статуса на судьбу этих движений, равно как не мог быть поставлен вопрос о нелегальных общинах, верных РПЦ М» (С. 19–20). «Необходимость акцентировать «антиобщественный» характер внецерковных течений имела двойственные последствия. С одной стороны, это позволило исследователям описать различные поведенческие модели и религиозные практики, существовавшие в рамках этих течений, что в свете современных культурно-антропологических подходов представляется очень продуктивным. С другой стороны, мотивы этих моделей и практик трактовались в основном в политическом и социальной плоскостях, а такой несомненный компонент их мотивации, как массовые эсхатологические ожидания, фактически выпадал их поля зрения ученых» (С. 20). Из всех советских авторов, изучавших православное подполье, Беглов ценит работы А. И. Демьянова, который, кстати, сам в молодости был участником православного подполья (в упомянутом мной фонде Клибанова хранится огромный

массив подготовительных материалов к монографии Демьянова), и который в своем исследовании поста

В двух основных частях своей работы[8] методом «добросовестного описания» автор показывает все многообразие нелегальной церковной жизни 20–30-х годов, эффективность подполья как способа сохранения церковной жизни в этот период, взаимосвязь легальной и подпольной православной церкви, отношение к церковному подполью легального епископата.

Особенно интересны для социальных историков материалы параграфа 4 первой части, где описаны «стратегии выживания» в церковном подполье 1920–1940-х годов и выделяются две «поведенческие парадигмы» или модели поведения подпольщиков, «конформистская» и «изоляционистская». «Конформистская» модель объединяет тех представителей церковного подполья, которые, не переставая быть церковными и даже монашествующими людьми, выбрали путь социализации в советском обществе, поступали на советские предприятия и учреждения, внешне демонстрируя лояльность советской власти. Целью такой «поведенческой установки на маскировку собственной религиозности в повседневной жизни», было «сохранение церковной жизни» (С. 82–83). Позволю себе большую цитату:

«Сохранить духовную жизнь можно было лишь *продолжая жить* и в условиях, для нее никак не предназначенных. Их стратегия была стратегией именно *выживания*. Путь ее реализации — вхождение членов этих общин в окружавшую их гражданскую, социальную и, наконец, культурную среду. Ключевая задача определяла и принцип отношения тайных христиан к советской повседневности, который можно назвать принципом *аскетической прагматики*: при выборе места работы, участия в общественной жизни допустимо то, что позволяет сохранить должный духовный настрой и чистоту христианской совести. Если говорить о церковном подполье в терминах *конформизм — нонконформизм*, то поведение членов описанных общин напоминает конформистскую модель. Но благодаря ей их члены достигли поставленной цели. Несмотря на то, что репрессии 1930-х гг. выбила из их рядов почти всех руководителей и многих собратьев, эти группы(если не легализовались во второй половине 1940-х гг.) сохранили свою структуру и продолжали существовать до естественной смерти их членов» (С. 84–85).

Другая поведенческая модель подпольщиков названа Бегловым «изоляционистской» (или «нонконформистской», «инкультурационной»). Главным мотивом ее появления был «антисоветский эсхатологизм» — отождествление советской власти с властью антихриста. Термин «антисоветский эсхатологизм» автор заимствует у В. А. Журавского[9].

Эсхатологические настроения связывали «пришествие антихриста и приближение конца света с революцией 1917 г. и установлением советской власти» (С. 83–85).

---

[8] Распределение материала между которыми весьма странно и противоречиво, в них имеют место систематическое нарушение хронологических рамок и многократные тематические повторы, что скорее всего свидетельствует о некоторых источниковых проблемах автора (первая часть написана в основном на источниках, исходящих из среды самого подполья, а вторая — на материалах официального происхождения) и определенной заданности его выводов.

[9] *Журавский А. В.* Светская и церковная историография о взаимоотношениях правой оппозиции и митрополита Сергия (Страгородского) // Нестор. 2000. № 1.

«Отождествление советской власти с властью антихриста заставило членов столь радикально настроенных групп бойкотировать практически все ее мероприятия, а ее учреждения воспринимать как антихристовы. Прежде всего это коснулось работы в колхозах, совхозах, а позднее и вообще в государственных учреждениях. Отказ от вступления в колхоз и выход из колхоза — ключевая реакция участников эсхатологических групп при соприкосновении с советской действительностью», также для них характерно отрицание «атрибутов советской гражданской, общественной и хозяйственной жизни — документы, паспорта, участие в выборах, членство в профсоюзе, подписка на займы, пенсии и так далее», которые также воспринимались как «печать антихриста», «не было приемлемо для членов этих групп участие в массовых акциях советской власти, равно как обращение к традиционным с 1930-х гг. для советского человека формам досуга», отрицательное отношение к легальному епископату (С. 86–89). Почти все сноски в этой части исследования у Беглова идут на работы советских религиоведов — А. И. Клибанова, Л. Н. Митрохина, З. А. Никольскую и особенно уважаемого им А. И. Демьянова, материалами для исследований которых, однако, послужили общины 50–60-х годов, а не 20–40-х, которые исследуются в данном разделе.

При всем несомненном интересе выделения двух моделей, неубедительным представляется вывод автора о том, что поведение изоляционистов было демонстративным и «в целом приверженцы антисоветского эсхатологизма стремились не спрятаться от мира антихриста, а отделиться от него. Это в полнее соответствовало их задаче — остаться чистыми, незапятнанными антихристовыми происками. Их стратегия выживания была стратегией размежевания с падшим миром» (С. 90).

Пытаясь объяснить происхождение этих двух моделей поведения, Беглов обращает свое внимание на социальный состав приверженцев той и другой парадигмы и приходит к выводу, что «социальной базой этих настроений стали слои, не чуждые крестьянской общинной психологии: сельское и провинциальное духовенство, часть сильно “окрестьянившегося” к началу XX в. монашества, жители городов, еще вчера бывшие сельскими жителями или тесно связанные с сельской средой и, конечно, само крестьянство» и пишет о крестьянском, антимодернизационном пафосе таких настроений.

С точки зрения А. Л. Беглова, к 1950-м годам на основе «изоляционистского» подполья формируется альтернативная (маргинальная) религиозная субкультура (так грамотные академические исследователи называют то, что можно было бы обозначить интуитивно понятных для всех словом «секта» и передать их в руки антропологов), противопоставляющая себя «базовой религиозной культуре Патриаршей Церкви, как легальной, так и подпольной ее части» (С. 97), произошла «редукция богослужений и исчезновение таинств», появилась уверенность в особой благодатной одаренности почитаемых лидеров» (С. 218).

«Мотивы инкультурационной поведенческой парадигмы обусловлены ее основной задачей — *сохранения религиозной жизни* в качестве таковой. Изоляционизм же покоится на жестких идеологических установках — *антисоветском эсхатологизме* и его следствиях: катарских (спасутся только избранные), харизматических (основатель — носитель особого дара Святого Духа или даже воплощенный Бог), хилиастических (наступило 1000-летнее царство) настроениях» (С. 97–98). То есть

в 40-е годы общины «конформистов» сумели за счет своей поведенческой стратегии сохранить главное — религиозную жизнь как таковую и «традиционную религиозную культуру», а в послевоенные годы они регулярно снабжали легальную церковь кадрами священнослужителей и церковных работников, и, оставаясь в подполье, много сделали для развития церковной литературы, богословия, христианского образования (С. 98).

На мой взгляд, собственно говоря, систематически нарушать профессиональные правила Беглов начинает после выделения и противопоставления этих двух поведенческих парадигм. С точки зрения автора, «нелегальное существование» было естественным и эффективным способом сохранения церковной жизни лишь в 20–30-е годы, но после «потепления» государственной религиозной политики в 40-е годы, все изменилось. И свою диссертацию, и монографию автора посвятил периоду 1917–1953 гг., однако из названия монографии хронологические рамки исчезли, и автор позволил себе сделать выводы, уходящие далеко за пределы изученного им периода. Как главный прочитывается вывод автора, согласно которому «определенная степень конформизма, похоже, была условием *выживания* церковного подполья в СССР». Именно этот вывод перечеркивает, на мой взгляд, все несомненные достижения рецензируемого исследования. Автор приходит к такому глобальному выводу, не исследуя последствий для религиозной жизни социализации и «инкультурации» «конформистов», не исследуя эту самую «определенную степень» конформизма, но тем не менее утверждает, что их социализация «была, конечно, частичной: общая с советским окружением профессиональная и общественная жизнь помогала сохранить в тайне их религиозность», упуская возможность поговорить о религиозных истоках советской идеологии, об идеологических и интеллектуальных совместимостях православия и коммунизма, об интеллектуальной и идеологической специфике православия в советский и постсоветский период.

Во второй части своего исследования Беглов, так лихо разделавшийся с «изоляционистами» в первой части, заботливо готовит свой материал для передачи в руки антропологов, пытаясь говорить на их языке, в терминах «механизмов народной религиозности». Со ссылками на знаменитое исследование А. Панченко, он рассматривает, как «освободившись от нормализующей опеки Церкви, практики подполья начинали воспроизводить те схемы народной религиозности, что двумя столетиями раньше привели к формированию мировоззрения и ритуалов русских хлыстов» (С. 207). В «нонконформистском» подполье произошло разрушение иерархических связей, исчезновение или умаление таинств, что вело к утрате представления о значимости апостольского преемства и вообще иерархического принципа в жизни Церкви. Взамен этого распространилось представлением, что носителями благодати являются не епископы, а отдельные харизматические личности, вне зависимости от их иерархического положения (С. 210–211). Несмотря на свой неподдельный интерес к работам культурных антропологов и их концепции «народной религиозности», не обращая внимания на накопленный в рамках данного направления теоретический опыт дистанцирования от непродуктивных этических дискуссий[10], в этой части Бе-

[10] См., например: Религиозные практики в России: основные контуры и методы изучения // Религиозные практики в современной России. М., 2006. С. 11–88.

глов почему-то позволяет себе использовать применительно к «нонконформистам» неполиткорректные термины «хлыстовство» (с. 213), «деградация» (С. 223), «одичание» и «мутации» (С. 227).

В этой же части на С. 164–170 исследователь мужественно пытался поставить вопрос о «хозяйственной деятельности» РПЦ (в терминах современной историографии — «теневых» экономических практик), но не позволил себе цитировать всю современную литературу, созданную по этому поводу и не решился порассуждать на тему о влиянии этих практик на современную экономическую и хозяйственную жизнь РПЦ. Мне показалось, что сам автор очень тонко чувствует, когда нарушает правила исторической науки, а когда в силу сложившихся профессиональных привычек стоит близко к тому, чтобы изменить выбранному «партийному» направлению.

Далее, в такой неканонической для научной монографии части, как «эпилог», выход за хронологические рамки 1920–1940-х годов в котором, видимо, призван оправдать отсутствие каких-либо хронологических рамок в названии монографии и чрезмерную широту ее итоговых выводов, автор дает обзор состояния церковного подполья в 1950–1980-е гг. и делает ряд интересных наблюдений о взаимосвязи истории сельской общины и церковной жизни. С его точки зрения, в 1920-е — 1940-е гг. сельская община оставалась главной социальной базой церковной жизни на приходском уровне и обеспечила жизнеспособность всей Русской церкви в период репрессий, но на рубеже 1950 — 1960-х гг. община и приход вступают в стадию умирания, что связанно с миграциями, вызванными укрупнением колхозов в 1950 г., освоением целинных земель и новой стадией урбанизации (С. 245–246). В этот период центр тяжести религиозной активности все больше перемещался из нелегальной в легальную сферу, влияние церковного подполья снижалось.

Происхождение и характер рецензий на монографию Беглова, свидетельствует о том, что его книга воспринимается все-таки в идеологическом контексте, а не в академическом. Тем не менее, Беглов совершенно искреннее считает себя принадлежащим сразу к двум сообществам — профессиональному и конфессиональному. Складыванию подобной идентичности способствовало абсолютно легальное существование в пространстве современной российской гуманитарной науки полуконфессиональных структур наподобие центров изучения истории религии и церкви при ИРИ и ИВИ РАН. Однако проблемы возникают на стадии производства и распространения текстов. Риторические стратегии Беглова направлены на сохранение верности этим двум сообществам, и они весьма противоречивы.

Несмотря на то, что автор осведомлен о существовании таких направлений, как исследования неформальной сферы и «народной религиозности» и понимает важность именно данного историографического контекста для изучения заявленной им проблематики, он по сути отказался разделить пространство смыслопорождения с указанными направлениями. Не столько само исследование Беглова, сколько его необоснованные выводы возвращают проблематику исследования церковного подполья в СССР в поле политико-идеологических дискуссий, от которых он так старательно и аккуратно отмежевывался, начиная свой проект. Совершить такой возврат ему позволяет во-первых, прагматическое исключение из историографического диалога работ некоторых современных религиоведов и историков (например, Л. Тимофеева,

Н. Митрохина)[11]. Лишенное полемической связи со значительной частью современной историографии, текст Беглова имеет ограниченные возможности распространения в академических кругах.

Во-вторых, верность своему конфессиональному направлению Беглову удается сохранить за счет избегание определенного типа источников (например, созданных православным «диссидентами») и суженной контекстуализация материала, игнорирования ряда историографических проблем (например, вопроса «советского наследия» в современной церковно-общественной жизни проблемы социальной истории советского инакомыслия и диссидентства — как религиозного, так и светского, проблемы последствий частичной социализации верующих в советском обществе).

В конечном итоге получается, что в профессиональном в своей основе исследовании Беглова социальная история в закамуфлированном виде служит политической истории в ее традиционном определении.

Этические мотивы историописания неизбывно присутствуют в современной историографии. Уходя от историографически бесперспективного вопроса «кто виноват», А. Л. Беглов в итоге своего исследования пытается ответить на вопрос «что делать» (приспосабливаться), что все-таки для современной историографии является историографической архаикой и уступает в продуктивности постановке вопроса о различении социально-исторических феноменов.

Антиподом профессионализма, наверное, все-таки является дилетантизм, а не ангажированность. Историографические дискуссии, индекс цитирования и прочие способы установления «гамбургского счета» расставят со временем все по своим заслуженным местам. В конце концов всех профессиональных историков отличает именно умение читать тексты и различать в них разные слои. А проблема артикуляции ценностных предпосылок собственного исследования должна стать частью учебных курсов при подготовке современных гуманитариев.

---

[11] Использование и цитирование советских историков и религиоведов является для него куда более приемлемым и предпочтительным, чем обращение к современным профессиональным работам «либералов».

И. Ю. Новиченко

Bradley, Joseph. “Voluntary Associations in Tsarist Russia. Science, Patriotism, and Civil Society”. Cambridge, London: Harvard University Press, 2009. xiv, 366 pp. ISBN: 978–0-674–03279–8.

Не нужно обладать особой прозорливостью, чтобы предсказать судьбу этой книги — она непременно будет переведена на русский язык и издана в нашей стране, а также будет цитироваться всеми, кто вздумает заняться историей общественных организаций или добровольных обществ в дореволюционной России. Это исследование, по большому счету, первое в зарубежной историографии, за исключением известной работы Адели Линденмейр о благотворительности[1], посвященное истории возникновения, деятельности и роли российских научных обществ в XVIII-XX вв. Широчайший круг использованных источников, и прежде всего, архивных, позволил известному американскому историку, специалисту по истории крестьянских миграций и городской инфраструктуры, профессору Джозефу Брэдли[2] воссоздать общественную атмосферу XVIII–XIX столетей, проследить пути складывания Вольного экономического общества, Московского общества сельского хозяйства, Русского географического общества, Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и Русского технического общества, по крупицам реконструировать их деятельность, а также оценить вклад в развитие отечественных культуры и науки.

Еще собирая материал о функционировании городского хозяйства, Дж.Брэдли вдруг обнаружил множество данных о самых разнообразных общественных объединениях в дореволюционной России, которые вели активную просветительскую деятельность, проводили собрания, публиковали труды и записки, устраивали выставки, организовывали экспедиции, основывали музеи и т. д. Ему не удалось тогда отыскать как в России, так и за рубежом обобщенных работ посвященных феномену организаций в целом и исследований по истории становления и развития этих обществ. Поэтому, настоящая рабо-

---

1 Lindenmeyr A. Poverty Is Not a Vice: Charity, Society and the State in Imperial Russia. Princeton, 1996.

2 *Bradley, Joseph.* Muzhik and Muscovite. Urbanization in Late Imperial Russia. Berkley, University of California Press, 1985, 422 p.; Брэдли Дж. Добровольные общества в Советской России // Вестник Московского Университета. Сер.8. История. 1994. № 4. С. 34–44*; Bradley, Joseph.* Subjects into Citizens: Societies, Civil Society, and Autocracy in Tsarist Russia. // American Historical Review. October 2002. no. 4 (107). P. 1094–1123*; Брэдли Дж.* Наука в городе: основание Московского политехнического музея. // Россия XXI: Общественно-политический и научный журнал. 2005. № 2. С. 96–127; *Брэдли Дж.* Гражданское общество и формы добровольных ассоциаций: опыт России в европейском контексте. // Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской империи: вторая половина XIX — начало XX века: [сборник] Отв. ред. Пиетров-Эннкер Б., Ульянова Г. Н. Москва, РОССПЭН, 2007. С.63–99; *Bradley Joseph*. Pictures at an Exhibition: Science, Patriotism and Civil Society in Imperial Russia. // Slavic Review. Winter 2008. no. 4 (67). P. 934–966; *Брэдли Дж*. Наука в городе: основание Московского политехнического музея. // Культуры городов Российской империи на рубеже XIX–XX веков. СПб., «Европейский дом», 2009. С. 368–383 и др.

та Дж.Брэдли, по его собственным словам, носит почти мессианский характер «спасения российских ассоциаций от историографического забвения» (P. 2). Помещая научные общества в политический и социальный контексты, акцентируя внимание на частной инициативе, автор пытается определить значение общественной жизни и роль ассоциаций в развитии гражданского общества в имперский период. Он стремится изменить мнение об общественной жизни путем предоставления голоса забытым основателям, работникам и членам частных ассоциаций. Дж. Брэдли демонстрирует возможности и ограничения общественной жизни в условиях автократического режима, сотрудничество с властями и одновременное противоборство с запретами.

Самое большое достоинство монографии, на мой взгляд, заключается в том, что Дж.Брэдли удалось вписать историю российских обществ в общемировой контекст. Сравнениям посвящена не только первая глава, в сравнительной перспективе рассматриваются буквально все аспекты темы. Каждая из четырех глав, посвященных истории отдельных российских обществ, открывается небольшим обзором о подобных обществах в Европе в этот же период, а затем автор переходит к характеристике уже российского общественного объединения. Данный подход позволил выявить амбивалентный характер взаимоотношений гражданского общества и государства в континентальной Европе, а также неустойчивый официальный статус добровольных обществ, что было свойственным для всех ключевых европейских держав. В этом плане, по мнению Дж.Брэдли, опыт «России был менее исключительным, чем это принято считать» (P. 36). Царизм обращался с ассоциациями также как и европейские правительства, тем не менее, оставлял возможность участия в общественной жизни.

Вольное экономическое общество и Московское общество сельского хозяйства возникли при активном участии иностранцев, но не смогли бы существовать и успешно развиваться без поддержки как властей, так и российских членов, включавших и землевладельцев, и царских особ, и высших чиновников, и ученых. Автор последовательно останавливается на моментах учреждения обществ, особенностях членства, собраниях, публикациях, проектах, организации и осуществлении научных изысканий, подготовке квалифицированных кадров, наконец, подчеркивает значимость собранных ими тематических книжных коллекций. Он обращает внимание читателей на тот факт, что столичные общества служили примером для создававшихся по всей Российской империи самых разнообразных, но все же преимущественно сельскохозяйственных, обществ. Подобно европейским, российские общества являлись общественными форумами, способствовали распространению научных знаний, участвовали в процессе формирования гражданского самосознания. Они создавали в стране прецедент, полагает Дж.Брэдли, выражения коллективно сформулированных интересов, а также воспитывали чувство самоуважения и личного достоинства (P. 85).

Современный интерес российских властей к Русскому географическому обществу, оказывается не исключительный, а весьма традиционный. Русское географическое общество, с момента основания, всегда пользовалось императорским покровительством. Примечательно, что практически все европейские правительства были озабочены в XIX в. деятельностью «своих» и «чужих» географических обществ. Дж.Брэдли подчеркивает, что помимо научного направления, Русское географическое общество и Общество истории и древностей российских при Московском университете напрямую участвовали в формировании российской национальной идентичности.

Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии, подобно европейским и американским ассоциациям, много сделало для популяризации научных знаний в России, но самым значимым его вкладом стали проведение Политехнической выставки и создание Политехнического музея в Москве. Хочется надеяться, что в будущем обновленном здании современного Политехнического музея найдется место для рассказа об истории его основания и о роли Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, и тогда, возможно, понемногу начнет восстанавливаться традиция участия осмысленной и целенаправленной частной инициативы в общественной жизни. Причем, следовало бы пригласить именно Дж.Брэдли в качестве эксперта в оформлении экспозиции, поскольку именно он — вовремя и с таким уважением и тщанием реконструировал почти забытую историю Общества любителей естествознания.

Русское техническое общество сыграло значимую роль в стимулировании промышленного развития и технического образования, причем, несмотря на серьезное противодействие со стороны царского правительства. Как установил Дж.Брэдли, власти, как в России, так и в Европе, стабильно поддерживали общую идею совершенствования технического образования, но активно противились широкому народному образованию и включению рабочих в сферу профессионального обучения, поскольку опасались роста самосознания трудящихся. Однако интенсивное промышленное развитие формировало спрос на профессиональные кадры. Поэтому Русское техническое общество, практиковавшее обучение рабочих, неожиданно стало важным игроком в публичной политике.

«Если девятнадцатое столетие признается “веком ассоциаций”, то оно также являлось и эрой конгрессов», — отмечает Дж.Брэдли (P. 211). Хотя научные форумы необыкновенно важны для понимания основ складывания публичной сферы гражданского общества, тем не менее, изучены они крайне мало. Восполняя этот пробел, ученый подробно анализирует съезды, обстоятельства их созывов, ход и последствия. Российские естествоиспытатели и врачи сознательно использовали германский опыт научных конгрессов в качестве модели (P. 213), но российские съезды оказались не просто пространством профессионального общения, они обрели серьезную общественную значимость. Процедуры голосования и выборов, равноправное общение, дискуссии, сети горизонтальных контактов, профессиональная идентификация и специализация и др. — все эти явления знаменовали собой рождение новых традиций в научной и общественной жизни. Власти чинили препятствия, предупреждая, ограничивая и запрещая форумы/собрания, но остановить течение научного общения были не в состоянии. Преследования, разумеется, приводили к политизации даже научных съездов.

Если абстрагироваться от споров в рамках парадигмы гражданского общества, уверяет Дж.Брэдли, то наличие собственно ассоциаций свидетельствует о том, что сформировались группы людей, объединенных общим интересом или потребностью. Они стали частью публичной сферы и вмешались в ход национального прогресса. Научные и другие, популяризировавшие науку, ассоциации собирали информацию об обществе, способствовали распространению знаний, пытались улучшить жизнь и общественные институты. Существование ассоциации предполагало проявление инициативы, навыков планирования, координации и организации. В условиях самодержавной России, добровольные общества открывали перспективы, приветствовали изобретательность, самостоятельность, самосовершенствование, предприимчивость,

рациональность, веру в науку и прогресс. Именно это и является сутью гражданского общества (P. 256). Как бы ни были похожи российские общества на европейские ассоциации, тем не менее, имелись и отличия. Инициатива создания «научных» обществ в России обычно исходила от монарха и государевых чиновников, члены обществ одновременно являлись учеными и госслужащими. Эта ситуация приводила к тому, что важные изменения происходили только при содействии власти. На протяжении всего XIX в. российское государство считало необходимым способствовать продвижению научных знаний. Однако к началу XX в. это стремление стало исчезать.

Подводя итоги, ученый задается вопросом — может ли чему-нибудь научить российский опыт роста гражданского общества в недрах самодержавного правления? Различные элементы гражданского общества существуют при различных политических режимах, но «собственно ассоциации не способны создать либеральную демократию». В «самодержавной и бюрократической» России, утверждает Дж.Брэдли, возникновение гражданского общества оказалось не «результатом неприкосновенности личности и жилища, уважения прав частной собственности и верховенства закона, что было свойственным западной традиции, а сопутствующим обстоятельством движения к гражданским свободам» (P. 264). Члены российских обществ вели себя так, как будто были полностью удовлетворены предоставленным им правом на объединение, они никогда не пытались отстаивать это право. При отсутствии гражданских прав и слабости местного самоуправления ассоциации возникли не вследствие развития гражданского общества, а выступали в качестве «ведущего элемента его становления». В том, что в России не удалось создать жизнеспособные демократические институты виновато не гражданское общество, вполне обоснованно заключает Дж.Брэдли, а «самодержавная неуступчивость». Автократический режим допускал существование ассоциаций, тем не менее, не позволял развиваться тому процессу, которому они положили начало.

Эту книгу нельзя обойти вниманием еще и потому, что американский ученый не только «спасает» от историографического забвения российские ассоциации, он создает галерею портретов их основателей, участников и видных деятелей — настоящих интеллектуалов, высокообразованных патриотов, либерально мыслящих людей. История каждого общества раскрывается через призму его членов — инженеров, ученых, университетских профессоров, студентов, землевладельцев, чиновников. Почти позабытые имена и ценные подробности из жизни общественно-активных граждан помогают осознать важность горизонтальных общественных связей, профессионального общения, путей формирования общественного мнения.

Отдельного упоминания достойна библиографическая часть исследования. В отличие от всех предыдущих, она включает исчерпывающие обзоры не только российских книг и статей по теме, но, прежде всего, широчайший круг качественных зарубежных исследований, посвященных всем аспектам истории ассоциаций.

Стародубровская И. В. , Мау В. А. Великие революции от Кромвеля до Путина. Изд. 2-е, доп. М., Вагриус, 2004. 510 с. ISBN: 5–475–00007–7.

Вне всякого сомнения, значение слова «революция» за последние годы расширилось. В Грузии в ноябре 2003 г. протесты против фальсификации выборов, срыв открытия парламента, спешная отставка президента Эдуарда Шеварднадзе и решение Верховного Суда о проведении новых выборов стали известны как «Революция Роз». В Киргызстане весной 2005 г. аналогичные протесты против подтасовки результатов голосования привели к захвату правительственных зданий и схваткам между протестующими и силами безопасности. Президент бежал, и это получило название «Тюльпановой Революции», завершившейся выборами нового президента. Это были существенные корректировки политических систем в направлении чего-го приближающегося к основанной на законе парламентской демократии. Но фундаментальное изменение политической системы, не говоря уже об экономической системе или составе имущего класса, вряд ли было даже в повестке дня. В то время как уличные демонстрации по стандартам этих стран были огромны, вовлеченность населения в целом в процесс политических изменений была спорадической. В Оранжевой революции на Украине в ноябре 2004 г. свидетельства массового участия населения более убедительны. Десятки, а в некоторые моменты сотни тысяч людей выходили на улицы несколько дней подряд при минусовой температуре, хотя это и не перешло в повышенную активность в последующие месяцы и годы. Здесь также политические изменения были ограничены повторным проведением второго тура президентских выборов. Были приняты минимальные поправки к конституции, а подозрительные случаи приватизации пересмотрены. Но никто серьезно не заявлял, что целью всего этого является радикальное изменение экономической и политической власти. Ни один волосок не упал с голов олигархов.

Слово «революция» свободно используется для описания этих событий. Его также относят к переворотам в Восточной Европе в 1988–1990 гг. либо в целом, либо конкретно (например, бархатная революция в Чехословакии или Румынская революция 1989 г.). Но гораздо менее распространено описывать как революцию крушение Советского Союза в 1990–91 гг. Хотя оно и стерло с лица земли одно из крупнейших в мире и несомненно сильнейших государств вместе с его политической системой и заменило его 15-ю приемниками. Его система экономического регулирования была уничтожена вместе с большей частью экономики. Без этого потрясения не могло бы быть «однополярного мира», возможно, ни войн в Персидском заливе ... и, конечно, никакой независимой Украины, Киргызстана или Грузии.

Нерешительность в отношении того, чтобы называть эти перетряхнувшие мир события «революцией», происходит частично из-за широко разделяемых модернистских предположений, которые ассоциируют революцию с прогрессом,– или, как минимум, с его попытками или надеждами на прогресс в отношении разного рода равенства, свободы и справедливости. Этот направленный внутрь взрыв СССР при всех радостях демократизации не вписывается с легкостью в такого рода построения. В частности,

многие на западном левом политическом фланге, даже если у них не было никаких симпатий к монстроподобному советскому политическому режиму и/или они приветствовали по большей части ветер перемен, который дул из Восточной Европы, увидели в 1991 г. разрушение платформы, на которой может быть построено некое подобие экономической справедливости, и произойдет усиление гегемонии США.

Никакие их этих сомнений не беспокоят Ирину Стародубровскую и Владимира Мау, которым прогресс представляется больше как совершенствование рыночных механизмов и стратегий роста в рамках капитализма, чем экономическая справедливость или любое возможное посткапиталистическое общество. Они описывают коллапс СССР и начальную постсоветскую трансформацию (до 1996 г.) не только как революцию, но как «великую революцию», сравнимую с Английской революцией середины XVII в., Французской революцией и, до некоторой степени, с Российской революцией 1917 г. Некоторые их наиболее убедительные аргументы представляют позднюю советскую систему как сплетение ограничителей, которые должны были быть ликвидированы прежде, чем мог начаться экономический прогресс. В «Великих революциях»[1] они стремятся к междисциплинарному подходу, рассматривая свою революцию в контексте разворачивающейся постмодернизации. Эта рецензия будет сосредоточена, во-первых, на выводах, сделанных на основе этого подхода, и, во-вторых, на авторской попытке проследить развитие их революции от умеренной к радикальной, термидорской фазе, а также провести аналогии с другими «великими революциями».

По мнению авторов, мировая экономика проходит через «кризис ранней постмодернизации[2], ознаменовавший начало перехода к постиндустриальному, информационному обществу» (с. 418). Российская революция конца XX в. является выражением этого кризиса, точно также как Английская и Французская революции происходили из «кризиса ранней модернизации», а Российская, Мексиканская, Китайская и другие революции первой половины XX в. выросли из «кризиса зрелого индустриализма». Как и все революции, революция 1990–1996 гг. включала «кризис государства», «фрагментацию общества» и «революционный экономический цикл» (с. 429). К 2000 г. Россия достигла «стабилизации экономической и политической жизни» и «сближения элит» (с. 432), что составило основу экономического прогресса, опирающегося на «резкое повышение динамизма технологической жизни», «практически безграничный рост потребностей», а «доля услуг в ВВП и занятости становится преобладающей» (с. 452–453).

Существует методологическая проблема со всеми этими построениями. «Постмодернизация» представляется как международный феномен безо всякой критики, лишь с небольшим признанием или вовсе без него альтернативных объяснений стадии, которой достигла мировая экономика (как, например, поздний капитализм, финансовый капитализм, глобализация и им подобные). Более того, она для авторов является

[1] Это рецензия на второе издание, в котором дополнен материал и комментарии о российской трансформации до эры Путина. Первое издание было опубликовано в России в 2001 г. и в английском переводе издано как: V. Mau and I. Starodubrovskaya, *The Challenge of Revolution: contemporary Russia in historical perspective* (Oxford, OUP, 2001)

[2] Эту концепцию не следует смешивать с концепцией «постмодернизма»

международной стадией развития, в которой Россия участвует как конкурент другим нациям, но где самому факту российской интеграции в мировую систему, как бы его не называли, не придается никакой важности. Однако, именно эта интеграция в систему, от которой Россия была изолирована советской системой, в существенной мере формировала ее постсоветское развитие. Наиболее очевидное возражение против того, чтобы называть российскую постсоветскую трансформацию «революцией» состоит в том, что первопричиной её было внезапное втягивание России в мировой рынок и что многие внутренние политические изменения, обсуждаемые в рецензируемой книге, были следствием этого, нежели причиной. Наиболее очевидным ограничением аналогии с Английской и Французской революциями является то, что они были тесно связаны с ранним, пионерским капитализмом, тогда как российская постсоветская трансформация привела её в высоко развитую международную систему, которую некоторые могут назвать «глобализованной», а другие могут сказать, что она находится в состоянии упадка. Но это ограничение не признается. Мы остаемся со схемой, в которую авторы стараются, не всегда успешно, вписать реальность.

Возьмем, к примеру, оптимистические предположения, процитированные выше, о том как Россия займет свое место в «постиндустриальном информационном обществе». Тенденция двух последних десятилетий для «постиндустриализма» богатых стран состоит в том, что он гарантирован захватывающим быстрым развитием индустрии в Китае, Индии и других развивающихся странах. Советский Союз был до известной степени изолирован от этой сети международных капиталистических отношений; постсоветская Россия интегрирована в них — не как получающая выгоду от «постиндустриальной трансформации», а как поставщик сырья (нефти, газа и металлов) ... классически подчиненная роль. Её политические лидеры предупреждают об этой уязвимости «проклятия природных ресурсов».

Но Стародубровская и Мау, оба экономисты по профессии, имеют мало что конкретно сообщить о реальном месте России в мировой экономике. Они прекрасно осознают ущерб, который может нанести эта сверхзависимоть доходов от нефти: их расчеты роли этих доходов в советском экономическом кризисе 1980-х годов (с. 122–128) сделаны с восхитительной тщательностью. Но сильнейшая постсоветская зависимость России от этих доходов и последствия, которые это влечет за собой для потенциально подчиненного места России в международном порядке, не рассматриваются. Экономическая политика раскрывается в деталях, но ключевой международный элемент — удивительная и уникальная история российских отношений с западными державами и МВФ в 1990-е гг. упоминается только мимоходом, в контексте роли долгов в революциях (с. 323–331). Широко распространенное утверждение, что правительственная политика в 1990-е гг. формировалась больше под влиянием этих отношений, чем внутренних факторов, не рассматривается. Валютная политика также обсуждается, но отсутствует упоминание одного из наиболее значительных результатов интеграции в мировой рынок, а именно: самая большая волна бегства капитала в истории, которая унесла с собой довольно приличный кусок национального богатства и была гигантским определяющим фактором предпочтений в валютной политике. Так, авторский обзор экономического развития фокусируется на политических альтернативах, обсуждавшихся в 1990-е гг., с ограничениями, порожденными такими факторами, которые принимаются как данность. Дискуссии показываются как конфликт

умеренных и радикальных сил. Авторы приводят захватывающее описание многих такого рода дискуссий. Но им не удается опровергнуть очевидное возражение своим аргументам об экономических движущих силах, толкающих вперед «революционный процесс» — т. е. то, что начало 1990-х гг. было в меньшей степени революцией, а скорее болезненной адаптацией к международной системе, которая ассимилировала Россию в качестве подчиненного игрока.

Стародубровская и Мау показывают схему революционного изменения, почерпнутую из обширного чтения теоретической литературы, включая работы Карла Маркса и более современных западных авторов, в том числе Самюэля Хантингтона (Samuel Huntingon), Уолта Ростоу (Walt Rostow), Теды Скочпол (Theda Skocpol) и Джеймса Голдстоуна (James Goldstone). Главным для утверждения авторов, что постсоветская Россия возникла из революции является то, что, как и в Английской, и во Французской революциях, здесь было «движение революционного процесса от умеренных [Горбачев и Яковлев] к радикалам [Ельцин и Гайдар] и затем к термидору [господству финансово-индустриальных групп в 1995–96 гг.]»] (с. 429).

Некоторые составляющие аналогии работают лучше, чем остальные. Я опираюсь на исчерпывающие расчеты болезненного состояния экономики СССР — ее неспособности справиться с технологическим изменением и провалом «механизмов адаптации», т. е. , сменяющими друг друга мобилизацией и децентрализацией (с. 113–120), которые авторы идентифицируют как начало революционного процесса. Авторы признают, что, хотя формы собственности изменились, была значительная преемственность между советскими и постсоветскими правящими группировками — «партийно-государственной номенклатуре удалось сохранить лидирующие позиции при перераспределении собственности и устойчиво закрепиться в рамках новой элиты» (с. 211). Однако, кажется поверхностным их аргумент, о том, что эффективная победа новой финансовой элиты над «красными директорами» в середине 1990-х гг. являлась «термидорианским» изменением курса.

Но самой неубедительной частью революционной схемы является описание «радикалов», возглавляемых ныне покойным Егором Гайдаром, которые пришли в правительство в начале 1992 г., сразу после распада СССР. Стародубровская и Мау делают прозрачной свою интеллектуальную приверженность Гайдару и симпатизируют его взглядам. (Первое издание содержит посвящение Горбачеву и Гайдару). Они повторяют общеизвестные аргументы, что «радикалы» сдерживались от проталкивания своей полной программы — либерализация цен и ускоренная приватизация, сопровождающиеся подавлением денежной массы для «быстрой остановки инфляции» (с. 202), «умеренными» и консервативными элементами в аппарате.

Аналогия, проведенная между этими радикалами конца XX в. и теми радикалами в других революциях, является абсурдной. Радикалы Английской и Французской революций обращались к городским беднякам с лозунгами свободы и равенства; радикалы Российской революции 1917 г. призывали крестьян к захвату земли и рабочих к захвату фабрик; все они верили, в той или иной степени, что борятся против власти собственности. Гайдар и его коллеги, с другой стороны, опирались на теории экономического прогресса, в которых собственность и права собственности и, в особенности, роль частной собственности по сравнению с государственной, занимает центральное место. Их взгляд на социальную справедливость не имеет ничего общего со взглядами

радикалов в ранних революциях и не занимает центральной позиции в их суждениях. Действительно, общепринятые критические аргументы против «шоковой терапии» (например, Йозефа Штиглица (Joseph Stiglitz), Николая Шмелева, Леонида Абалкина и др.) — которые авторы не рассматривают — состоят именно в том, что она включает навязывание этих экономических теорий как догмы с существенной недооценкой человеческих страданий, причиной которых они являются.

Авторская попытка обозначить социальную базу так называемого «радикализма» демонстрирует сложности аналогии. «Радикалы» в принципе отвергали использование террора или официальной пропаганды, поэтому «они вынуждены были в первую очередь полагаться на социальное маневрирование и поиск механизмов формирования прореволюционных коалиций». Они были способны это сделать при условии, что «приватизация расколола интересы директорского корпуса практически пополам» (с. 204). За таким маневрированием между группами элит, «радикалы» не имели возможности привлечения общественной поддержки. Гайдар, пишут авторы, остро сознавал, что «масса», на поддержку которой он полагался, была «слабо структурирована, она еще не отражает никаких вполне устоявшихся интересов» (с. 208). Авторы признают, что была широкая оппозиция реформам (с. 209): и это вряд ли могло быть по-другому, поскольку, как казалось тогда, эти реформы намеренно поставили под удар миллионы обычных россиян. Итак, аналогии между группой Гайдара и представителями крайнего левого крыла Английской, Французской и Российской революций разваливаются. Заботой Гайдара и его коллег было не поднять городскую толпу на захват того, что было у богатых и власть придержавших, а навязать экономическую политику, которая бы поставила толпу в невыгодное положение, пока расчищается дорога для воссоздания нового господствующего класса.

Поскольку группа Гайдара представляется авторами в роли «радикалов» неудивительно, что Стародубровская и Мау уделяют мало внимания той роли, которую играли в постсоветской трансформации социальные движения «снизу». Они рассматривают революции как характеризуемые не социальными движениями, в общепринятом смысле коллективом, сознающим участие в изменении, а скорее «глубокой фрагментацией общества» и «слабостью государственной власти» (с. 429). Поэтому они обозначают только вкратце комплексную динамику между такими социальными движениями в начале 1990-х и политической и экономической элитой, внутри которой оперировали «радикалы». И опять же, если кто-нибудь сравнит события, сопровождающие коллапс СССР с другими значительными конвульсиями последних декад — такими как Французская революция и всеобщая забастовка 1968 г., Португальская революция 1975 г. или Иранская революция 1979–80 гг. — одно отличие, которое следует учитывать, — это относительно ограниченный характер социальных движений в России в начале 1990-х гг.

Мысль о том, что трансформация была революцией, заслуживает дальнейшего рассмотрения. Но логика Стародубровской и Мау содержит слишком много пробелов, чтобы убедить в этом скептиков.

Summaries

Social History of the Russian Intelligentsia

Kolonitskii, B.I.
The Late 19th Century - Early 20th Century "Intelligentsiia": Issues of Identity (exploratory remarks)

Rapid social change in Russia's Era of Reforms quickly rendered old terms of description and self-description obsolete and inadequate. The entry into middle and higher education of members of different estates produced a society in search of a new language. Alongside the appearance of important "high texts" like works of art, philosophy, literary criticism and political pamphlets, new rituals, traditions, symbols and norms of everyday behaviour were coined. The word "intelligentsiia", still perceived in the 1860s as an ugly neologism, became one of the most famous words of the Russian language abroad. Starting from the writings of P.D. Boborykin, in the first part of the article the author arrives at the conclusion that the phenomenon of the *intelligentsiia* cannot be understood in its entirety if studied only as social group or a political community. Rather, the *intelligentsiia* should be studied as a subculture of sorts. The second part of the article explores the ways in which this subculture affected the professional ethics and self-organisation of a whole array of professions. The third part of the article deals with the phenomenon of "intelligentophobia". Texts and actions directed against the *intelligentsiia* testify not only of the spread and acceptance of the concept of an *intelligentsiia* as such, but also influenced its development. The findings of the article offer a new perspective on the attempt of *Vekhi* to quickly and radically change *intelligentsiia* culture.

Zubkov, I.V.
Everyday Life of Teachers at the Zemstvo Schools (Late 19th - Early 20th Centuries).

The article explores the daily life of an important contingent among female educational workers in late 19th century, early 20th century Russia – village elementary school teachers. Overcoming numerous difficulties and facing distrust and at times even hostility from the side of their pupils' parents they proved to peasants that women are perfectly capable of doing independent work outside traditional spheres of female employment. Working under poor material conditions, mostly alone and bereft of the company of their own kind, these teachers were the main driving force behind the "educational revolution" in the Russian village and its gradual transformation of the peasantry's outlook on life. These women were the social reservoir on which deep-going changes in the field of education fed. Their entry into this field was a shining manifestation of the emancipation process and a decisive factor in the realisation of a system of general elementary schooling.

Sal'nikova, A.A.
A 'Right Man' at a 'Wrong Time': The Case of 'Red' Professor Mikhail Korbut.

The article is dedicated to the life and fate of M.K. Korbut (1899-1937), one of the first generation of Soviet historians and "red" professor of Kazan university, who wholly and unhesitatingly devoted himself to the service of Soviet power, but ended up being rejected, and ultimately even betrayed and cruelly punished by this very same Soviet power. Drawing on a wide array of previously unknown archival documents, unpublished memoirs, and Korbut's creative heritage the article attempts to reconstruct Korbut's life-story and place it within a collective biography of university people of

his generation. The author arrives at the conclusion, that Korbut's life-story did not contain many of the elements typical for the "classical" biography of a historian, as well as for the biography of a historian of his generation. His life-story, therefore, neither conformed to the typical patterns of pre-revolutionary academic life, nor to that of the future "red" professors. At the same time Mikhail Korbut's fate constitutes a fairly typical and in the long run fateful example of the life and work of a scientist under the conditions of a totalitarian regime and as such it contributes to the prosopography of the group of "new", "red" professors of the first post-revolutionary decades. The case of Korbut provides a powerful example of the possibilities of writing a grand historical narrative through the prism of the experience of a single, ordinary person.

Budnik, G.A.

The Scientific and Educational Establishment in the Central Regions of Russia During the Ideological Campaigns of the Late 1940s - Early 1950s.

The article documents the methods of ideological control deployed by the communist party towards the scientific and educational establishment during the late Stalinist period. The forms of Party pressure on teachers in higher education is examined at the micro level of the dramatic and sometimes tragic life histories of ordinary educated people in the province. It shows how pseudo-science triumphed, how this deformed the moral standards of Soviet scholars and contributed to their apolitical attitudes, conformism and servility. The article arrives at a number of assumptions concerning lines of change and continuity in the traditions of the Russian intelligentsia.

Social History of the Russian Bureaucracy

Redin, D.A.

Income and Consumption Patterns as Indicators of the Social Identification among Russian Local Bureaucrats of the Petrine Period.

The article is devoted to the reconstruction and analysis of income and consumption patterns of the Russian provincial bureaucracy in the first quarter of the 18th century. The author pays particular attention to the importance of illegal sources of income, in particular the so-called "kormleniia" – income skimmed off from the territories bureaucrats governed over. The article interprets this form of income as part of the social code, which served as vehicle for the social consolidation of the bureaucracy.

Remnev, A.V.

From the 'Science of Being Smart' to the 'Art of Editing': the Illusory World of Russian 19th Century Bureaucracy.

The article is dedicated to the technologies of power, the socio-cultural transformation of government chancelleries, and the evolution of the role of the bureaucracy in the Russian Empire of the 19th and early 20th centuries, when clerical work evolved from a mere technical means to a proper tool of administration. Professionally trained people from universities and lyceums introduced modern changes into the hitherto closed world of the chancellery, still very much organised along patrimonial lines. This latent "clerk power" was regulated not so much by law as by bureaucratic practice. The clerical lexicon became the language of power, although not the sole means of communication within the world of bureaucracy, where everyday routines were also of great significance. The bureaucratisation of administration inevitably led to the confounding of means and ends, a process in which the procedures of the chancelleries became self-sufficient and self-contained, tightly linking "jargon" and "power".

Life and Death in Russia

Mikhel', D. & Mikhel', I.
Russian Society and the Phenomenon of Infanticide, 1864-1914.

Central to the article is the question how educated people in late 19th - early 20th century Russia perceived and dealt with the phenomenon of infanticide. In the eyes of educated society Russia, having entered onto the path of reform in the 1860s, was supposed to move towards greater liberty and social justice, but rather to the contrary shocking manifestations of "popular savagery" and the imperfection of legal institutions surfaced virtually everywhere. Among the most appalling episodes were cases of infanticide, which attracted a wide attention of experts on criminal law, doctors and journalists. Facing the issue of infanticide Russia repeated the experiences of other European countries, but the period of active discussions was relatively short and was drawn to an abrupt close by the end of the tsarist regime. Today, these discussions have resumed in television reports and newspaper articles, mostly on sensational issues, but have not been picked up by Russian historians. In the framework of this article the authors analyse the work of contemporary western historians, as well as social and natural scientists working on problems of infanticide. Particular attention is paid to the position of Russian legal experts, doctors and journalists of the second half of the 19th and the early 20th century, whose publications raised social awareness on the issue of infanticide and offered a number of solutions to the problem.

Krasil'nikova, E.I.
Funerals as an Aspect of Urban Daily Life (a study of the West-Siberian Press of the early 1920s).

The author studies private funeral ceremonies as everyday practices of the urban population in the administrative centers of West Siberia (Tomsk, Omsk, Novonikolaevsk, Barnaul and Tiumen') during the first half of the 1920s. An analysis of the local press reveals new and old elements in the coverage of urban funerals, among which specific features of pre-revolutionary customs and traditions, explores the links between new features and the persistence of old funeral traditions, and examines the connection to the social, cultural and economic life of the urban population. Finally, it establishes the influence of ideology on collective historical conscience and shows how the authorities created the social attitudes and national symbols they needed. As this study demonstrates, however, all efforts by the authorities notwithstanding, ideology did not always make it into the private sphere, which is explained by the fact that in the early 1920s soviet society was still reasonably well-protected by a shield of traditions.

Popular Mood and Public Opinion: Manifestations and Role

Fediuk, V.P. & Ol'neva, O.V.
Popular Moods in the Russian Periphery, 1917.

The article examines the evolution of public opinion on the Russian periphery between March and October 1917, and the reaction of citizens to political change in a case-study of the Yaroslavl' province. The first stages of the revolution passed relatively quietly here, without events of national significance. Ordinary life continued and did not attract the attention of the newspapers published in the capital, in which respect the region was fairly typical for the country as a whole. The revolution gave rise to new ways of behaviour, modelled after those "who were nothing" – a peculiar "social mimicry" manifesting itself in numerous symbolical details, from the right way of eating sunflower seeds to the fashion of dressing like soldiers. One final consequence of the revolution was the rapid deterioration of living standards, which bred disillusion, demoralisation, and the search for scapegoats.

Osokina, E.A.

The Social Immune System or A Critical View on the Concept of Passive (Everyday) Resistance.

Social, economic and cultural histories published since the 1970s have portrayed civil disobedience under Stalinism within the paradigm of resistance. Phenomena like *blat*, speculation, homosexuality, alcoholism, prostitution, although not deliberately subversive vis à vis the regime, thus became conceptually linked to conscious, open and often heroic manifestations of disagreement, like strikes, protests, demonstrations, and peasant uprisings. "The Resisting Subject" became a central figure in the study of Stalinism, and Soviet society appeared as a mass resistance movement. This article explores the nature of everyday disobedience during the Stalin period. The author rejects its understanding as a form of resistance, whether passive or not, and instead proposes to view everyday disobedience as a manifestation of the social immune (defense) system.

Fokin, A.A.

Notions of Communism among the Population of the USSR during the Late 1950s and Early 1960s and the Adoption of the Third Party Programme.

Drawing on archival data, sociological research, folklore materials and other sources, the article reconstructs notions of communism prevalent among the Soviet population during the late 1950s and early 1960s. In many ways these echoed official communist discourse as enshrined in Party documents. The Third programme of the CPSU, adopted at its 13th Congress in 1961 and the "nationwide discussion" surrounding it served as catalysts for the verbalisation of a number of expectations, worries and grievances which dovetailed closely with the official discourse on communism. This resulted in different perceptions of the "bright future", primarily depending on people's positive or negative attitude towards the goal of the "Full-Scale Building of Communism". Within this overall dichotomy there was further diversity, for example "female communism" which hinged on resolving gender issues. This multiplicity of expectations appears as one of the main obstacles to the realisation of the goals laid out in the Third Party Programme as well as indeed to the very construction of the "bright future" itself.

The Social History of Fashion

Zakharova, L.

The Cultural Transfer of Fashion Discourse from French to Soviet Journals, 1950s-1960s.

The article is devoted to the problem of cultural transfers to the Soviet fashion press in the 1950s-60s. It analyses how the semantic structures of fashion discourse were transposed from French magazines to their Soviet analogies and adapted to fit the specific Soviet context. Claims to the existence of a radical difference between socialist and bourgeois clothing notwithstanding, the concept of Soviet fashion was built around several of the core elements of normative rhetoric used in French fashion magazines. Different Soviet magazines adopted different ways of ranking clothes and clothing styles, and thus contributed, like in the West, to a diversification and stratification of the readership along lines of fashion and lifestyle.

Информация об авторах

Колоницкий
Б. И. — доктор исторических наук, Европейский университет в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник, Санкт-Петербургский институт истории РАН, boris_i_kol@mail.ru

Зубков
Игорь Владимирович — кандидат исторических наук, старший редактор научного издательства «Большой Российской энциклопедии», научный сотрудник музея-заповедника «Царицыно», postum6@yandex.ru

Сальникова
Алла Аркадьевна — доктор исторических наук, профессор, Казанский (Поволжский) федеральный университет, Alla.Salnikova@ksu.ru

Будник
Галина Анатольевна — доктор исторических наук, профессор, Ивановский государственный энергетический университет, budn@inbox.ru

Редин
Дмитрий Алексеевич — доктор исторических наук, доцент, Уральский государственный университет им. А.М. Горького, volot@mail.ru

Ремнев
Анатолий Викторович — доктор исторических наук, профессор, Омский государственный университете им. Ф.М. Достоевского, remnev55@rambler.ru

Михель
Дмитрий Викторович — доктор философских наук., профессор, Саратовский государственный технический университет, dmitrymikhel@mail.ru

Михель
Ирина Владимировна — кандидат философских наук, доцент, Саратовский государственный технический университет, irinamikhel@yandex.ru

Красильникова
Екатерина Ивановна — кандидат исторических наук, доцент, Новосибирский государственный технический университет, katrina97@yandex.ru

Федюк
Владимир Павлович — доктор исторических наук, профессор, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, декан исторического факультета, fediuk@mail.ru

Ольнева
Ольга Владимировна — кандидат исторических наук, Ярославский индустриально-педагогический колледж, olneva_olga@mail.ru

Осокина
Елена Александровна — доктор исторических наук, профессор, университет Южной Каролины (США), osokina@mailbox.sc.edu

Фокин
Александр Александрович — кандидат исторических наук, доцент, Челябинский государственный университет, aafokin@yandex.ru

Захарова
Лариса Викторовна — кандидат исторических наук, доцент, Высшая школа социальных исследований в Париже (École des Hautes Études en Sciences Sociales), larisazakharova@gmail.com

Пушкарева
Наталья Львовна — доктор исторических наук, профессор, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН, pushkarev@mail.ru

Володин
Александр Юрьевич — кандидат исторических наук, доцент, Исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, volodin@hist.msu.ru

Новиченко
Ирина Юрьевна — кандидат исторических наук, Институт всеобщей истории РАН, ino@igh.ru

Дубина
Вера Сергеевна — кандидат исторических наук, докторант института Антропологии и Этнологии РАН, vera.dubina@googlemail.com

Д-р Гества
Клаус — профессор, заведующий Институтом восточноевропейской истории и краеведения университета им. Карла Эберхарда (Тюбинген, Германия)

Гордеева
Ирина Александровна — кандидат исторических наук, доцент, Российский государственный гуманитарный университет, nepl@yandex.ru

Д-р Пирани
Саймон — старший научный сотрудник, Оксвордский институт энергетических исследований (Великобритания), simon.pirani@oxfordenergy.org

Содержание

Table of contents